



КАРАЧАЕВСКО-БАЛКАРСКАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ
СЕРИЯ «КАРАЧАЕВО-БАЛКАРСКАЯ ЛИТЕРАТУРНАЯ КЛАССИКА»
ФОНД «ЭЛЬБРУСОИД»



УДК 82-1/-9

ББК 84

Б 29

*Книга издана фондом «Содействие развитию карачаево-балкарской молодежи «Эльбрусойд»
при финансовой поддержке генерального директора ОАО «Магадан-рыба»*

Руслана Николаевича Теленкова

Батчаев М. Х.-К. Солнце светит всем / Сост. Батчаев А.Х.-К., Байрамукова Ф.И.; – М.: «Эльбрусойд», 2012. – 496 с. – (Карачаево-балкарская энциклопедия. Карачаево-балкарская литературная классика).

ISBN 978-5-91075-011-5

Талантливый поэт, писатель, драматург и переводчик Мусса Хаджи-Кишиевич Батчаев одинаково успешно писал на русском и родном (карачаево-балкарском) языках. Работал он во многих жанрах поэзии и прозы. Его перу принадлежат как новеллы, рассказы, повести, пьесы, так и стихотворения и поэмы.

Книгу составляют не только произведения, ставшие еще при жизни автора классикой карачаево-балкарской литературы, но и ранее неопубликованные повести «Солнце светит всем», «Волки», одноактная пьеса-сказка «Батырджаш и храбрый козел» и стихи. Настоящее издание можно считать полным собранием сочинений Муссы Батчаева на русском языке.

В приложении книги представлены рецензии, отзывы, размышления о жизни и творчестве замечательного писателя его современников, а также фотографии разных лет.

ISBN 978-5-91075-011-5

© Издательство «Эльбрусойд», 2012

© Батчаев А.Х.-К., 2012

Мусса Батраев

СОЛНЦЕ СВЕТИТ ВСЕМ





*«Я пишу о тех, кто выдерживает
испытание своей нележкой судьбы».*

Мамин



Истина, добро, красота

Мусса Хаджи-Кишиевич Батчаев родился в октябре 1939 года в ауле Кумыш Карачаево-Черкесской автономной области. В 1963 году окончил филологический факультет Карачаево-Черкесского педагогического института и стал работать учителем русского языка и литературы в Кумышской средней школе. В том же году на страницах областных газет появились его первые стихи и рассказы.

В 1968 году в Ставрополе вышла из печати его первая книга – сборник новелл и рассказов на русском языке «Быть человеком» и следом за ней вторая – сборник стихов на карачаевском языке «Сагъышла». Уже в этих первых книгах четко выявлена позиция писателя, обозначены основные направления его творчества, его нравственные ориентиры.

Если бы земля была арбой,
А мы ехали на арбе,
Кого бы сделать арбачы?!
Твердый, как железо,
Будет слишком тверд!
Податливый, как вата,
Будет слишком мягок!
Мягкий пусть будет потверже,
Твердый пусть будет помягче,
Тот, кто человечен, –
Пусть будет арбачы.



Эти слова можно поставить в качестве эпиграфа к творчеству писателя в целом.

Пристальное внимание к человеку, его внутреннему миру пронизывают все произведения Муссы Батчаева в поэзии, прозе, драматургии и публицистике. Следующая его книга «Элчилерим» (1972) состояла из повестей «Кюмюш акка» и «Элчилерим». В 1973 – 1975 годах Мусса Батчаев учится на Высших литературных курсах в Москве. В 1974 году он становится членом Союза писателей. В творческой биографии писателя – участие в семинаре драматургов при Государственном институте театрального искусства (ГИТИС) в конце семидесятых годов. Все это было хорошей школой литературного мастерства для Муссы Батчаева. Заниматься делами карачаевской культуры для него было так же естественно, как и собственно литературным творчеством. Он способствовал созданию карачаевской переводческой группы при Литературном институте; изданию книг о выдающемся политическом и общественном деятеле Карачая – Умаре Алиеве («На крыле времени», М., 1972); изданию альбома о Домбае в издательстве «Планета», конкурсу на лучший рассказ-либретто для первого карачаевского балета... Все новое для карачаевской культуры приветствовал первым.

В конце 1970-х – начале 1980-х годов особое место в творчестве М. Батчаева занимал театр. Идеал человека-победителя, творца своей судьбы, а не жертвы воплощается в персонажах его пьес «Хорланган джазыу» («Побежденная судьба»), «Тёппесине джуддуз тийген» («Осенняя звездой»), «Батырджаш». Батчаев творчески использовал в них образы и сюжеты карачаево-балкарского фольклора, его нравственные ценности – утверждение добрых начал в человеке, призыв к активному противодействию злу – в этом пафос его драматургических произведений.

В эти годы Мусса Батчаев переводит на карачаевский язык пьесы испанского драматурга Лопе де Вега «Хитроумная влюбленная», А. Островского «Невольницы», киргизского драматурга М. Байджиева «До самой смерти». Все пьесы, как авторские, так и переводные, обрели сценическую жизнь на карачаевском языке, вошли в книгу «Ёлюб кетгинчи» (1983).

Мусса Батчаев пришел в литературу как поэт. Его художественная одаренность сказалась и в его универсальном творческом проникновении в стихию двух языков. Он писал стихи и на карачаевском, и на русском, сам переводил свою прозу с родного языка на русский. М. Батчаев успешно работал в драматургии и публицистике, но главным содержанием его творчества стала проза. В каждом своем произведении писатель последовательно воплощал идеал человека, для которого главным является вопрос: «Как человеку человеком быть?»

М. Батчаеву было присуще мужество открывать новую глубину и сложность жизни, а также нравственная определенность, зрелость и самостоятель-



ность гражданской позиции, в которых и сегодня так нуждается карачаевская литература и культура в целом. Пристальное внимание к человеку, к его внутреннему миру, умение видеть человека во всей его национальной и социальной глубине позволили автору уважительно и бережно воссоздать облик своих героев.

Период человеческого и художественного ученичества, неизбежный в жизни писателя, у Батчаева остался скрытым. Вся духовная работа была проделана писателем наедине с собой, и к читателю Батчаев пришел личностью во многом сложившейся и зрелой. Показателем такой зрелости в творчестве М. Батчаева стали эмоциональная сдержанность, даже аскетизм, лаконичность выразительных средств, строгость художественной формы. Все эти качества характерны скорее для прозы, к которой закономерно пришел Батчаев.

В предисловии к вышедшей в издательстве «Современник» книге прозы «Серебряный дед» (1972) Батчаев говорит о том, почему военная тема стала для него одной из главных. Детство писателя и его сверстников совпало с самой жестокой и кровопролитной войной, и она осталась в их судьбах навсегда: «Мы были малы для войны. Воевать ушли наши отцы. Сколько их ушло от нас – не знаю. Знаю – больше двухсот в аул не вернулось. Для моего аула Кумыш это было много. Слишком много. Мы были малы, но мы выросли. Мы видели безногих и безруких, мы все яснее понимали, что потерь было еще больше, гораздо больше, чем двести жизней...»

В творчестве М. Батчаева рассказ «Серебряный дед» занимает особое место. Три грани духовности – истина, добро, красота – воплощены в образах мельника, его сына Ахмата и почтальона Ибрагима с огромной художественной силой и представляют истинно национальные и универсально общечеловеческие характеры.

Война была проверкой ложных и истинных представлений о добре и зле, душевной щедрости и черствости, жестокости и справедливости, страхе и бесстрашии. Об этом с беспощадной прямоотой говорит М. Батчаев в своем рассказе «Двое», где нравственное противостояние персонажей столь непримиримо, что может завершиться только смертью.

Важным этапом в овладении новыми формами художественности стала повесть «Элия» (1976). Здесь во всей полноте представлены новые качества его прозы, которые складывались во всех жанрах его творчества – тонкий психологизм, публицистичность, эмоциональная глубина. То, как понял и художественно отразил М. Батчаев драматические коллизии в повседневной жизни, в быту, в сознании людей, демонстрирует чуткость писателя к выявлению истинной нравственности, высокий уровень художественного осмысления действительности.

Герои повести «Элия» действуют в иной социальной действительности, чем герои «Серебряного деда», но перед ними стоят те же вечные вопросы





моральной чистоты и ответственности. С углублением авторского взгляда на мир эти вопросы обретают большую драматичность, находят некую «обратную связь»; существует не только моральный долг младшего перед старшим, уважение к прошлому, к традиции, но и ответственность старших перед последующими поколениями, отца перед сыном. Эта взаимозависимость духовного опыта – условие его преемственности и обогащения.

Обретение и углубление художественной зрелости в творчестве М. Батчаева неразрывно связано со стремлением осмыслить суть жизни, предназначение и путь личности. Вопрос, сформулированный писателем в первых его произведениях: «Как человеку человеком быть?», остается неизменным нравственным лейтмотивом его творчества. В незавершенном романе «Горизонт бескрылых» («Таш ёзен»), проявляется совершенно новый и неизвестный нам Мусса Батчаев. Вперемешку с диалогами и краткими характеристиками героев – формулировки авторской сверхзадачи, прямые авторские размышления такой остроты, что это уже крик души: «...Эта книга (роман) не просто попытка выговориться. Это выход мыслей, которые уже не могут оставаться внутри. Это выход пара из котла, который кипел давно. Читать надо так: – Это правда! – Не полная правда! – Нужна ли правда людям? В конце романа: правда нужна, даже если причиняет людям боль и страдания. Будем страдать, но пусть будет правда. Иначе не жить, не жить, не жить».

Даже в своем мозаичном и незавершенном виде наброски романа «Горизонт бескрылых», его проблематика, характеры, авторский замысел в целом выходят далеко за пределы региональной словесности, демонстрируют глубочайший трагический, философский уровень осмысления человеческого существования в мировом, а не узко национальном духовном пространстве. Наверное, именно такого уровня произведений ждал писатель от родной литературы, когда с высокой требовательностью, обращенной прежде всего к самому себе, писал в одной из своих статей: «Мы не имеем пока книги, которую можно было бы преподнести в качестве подарка взыскательному читателю из соседней республики как бесспорное достижение нашей литературы. Нет у нас книги, которую хотелось бы прочесть дважды, за которой охотились бы заинтересованные читатели. Книги наши лежат невостребованными в библиотеках, не купленными в магазинах, не распакованными на складах».

Сегодня мы можем сказать, что эти слова не относятся к самому Муссе Батчаеву. Его книги любимы и востребованы читателем. И вечной нашей болью остается мысль о том, что только трагический и безвременный уход из жизни не дал ему стать писателем, который сделал бы карачаевскую литературу всемирно известной.

Значение творчества М. Батчаева в духовной жизни и культуре народа огромно. В основе его произведений лежит жизненный материал, пережитый и перечувствованный лично. Беспощадная честность, откровенность харак-





теризуют его прозу даже на самых ранних, начальных ступенях. Он хорошо знал, тонко чувствовал богатство восточной классической поэзии, все многообразии европейской и русской культуры и в то же время был плоть от плоти, кровь от крови родной земли, родных гор, был национален как в своем мировосприятии, так и в глубинных основах своего творчества. Мировосприятие писателя было далеко от этнической ограниченности. Наоборот, его взгляд на мир и человека был интернациональным, глубоко человеческим. Мусса Батчаев вглядывался в человека, анализировал действительность не только с позиций своего народа, но и с позиций человека, творчески воспринявшего все богатство мировой гуманистической традиции, складывавшейся на протяжении веков усилиями всех наций и народностей, составляющих человечество.

З.Б. Караева,
доктор филологических наук,
г. Черкесск, 10 апреля 2010 г.



Серебряный дед





В атаке

*Кайсыну Кулиеву –
поэту, побуждающему быть человеком*

Решили победить! Пошли в атаку.
Из окопов хлынула тысяча смертей.
Никто не остановился, и тогда враг побежал.
Отступавший последним повернулся к атакующим и выстрелил.
За громом выстрела всегда следует свинец. Гром уходит в небо, а свинец
остается на земле. Или в чьем-нибудь сердце.
Эта пуля ударила в грудь бежавшего первым.
Раненый упал.
Над ним склонился испуганный друг.
– Что с тобой? Вставай!.. Что я скажу твоей матери?!
Умиравший торопился и не дал договорить ему. Прижал руку к останавливающемуся сердцу, потом высоко поднял ее, взгляделся в окровавленную ладонь и прошептал:
– Скажи: умер, наступая...

Дом победителя

Солдат вернулся с войны...
Долго стоял как вкопанный: в утреннем воздухе стыли развалины родной деревни. Черные стены... Черные, немые трубы. Немые и одинокие, как громотоводы. Там, где был его дом, сейчас не было ничего, лишь обугленный тополь с молчаливым укором тянул к небу голые сучья...





– Всё сожгли, – сказал солдат и большим пальцем раздавил слезу.
Солнце ударило в сапоги, взобралось на грудь, тронуло пшеничные кудри.
– Но я победил, – добавил солдат, нагнулся и поднял покрытый гарью кирпич, первый кирпич будущего дома.

Ласточка

Утренний луч скользнул по карнизу дома. Ласточка вылетела из гнезда за завтраком. Писком провожали ее четыре разинутых рта.

Когда заботливая мать вернулась с оранжевой стрекозой в клюве, ни золотого карниза, ни гнезда с коричневыми малютками не было. Была только изуродованная земля да багровое пламя пожара.

Слезой искрились ласточки глаза, острой болью свело натруженные крылья, и ласточка камнем устремилась в огонь.

Падая, подняла к небу полные изумленного отчаяния глаза и увидела в вышине большую железную птицу, но не заметила, что в ней сидит человек... Человек, у которого где-то на этой земле, под этим же солнцем греются, быть может, четверо малышей.

Ставший песней

Есть в горах две скалы, вросшие в землю друг против друга по сторонам узкой дороги.

Они похожи на громадные ворота, и их сначала так и называли – Большие Ворота.

Они и теперь стоят там, как стояли тысячу лет назад. Как и тогда, проползают между ними тяжелые арбы, идут пешеходы, проезжают на лошадях и мулах молодые джигиты и седобородые старики.

Там все по-прежнему: так же глухо шумит река, так же молчаливо стынут суровые горы и так же тихо плывут вверх облака.

Но тем двум скалам имя теперь не Большие Ворота, а Ворота Славы.

Только путники, теперь проходящие или проезжающие меж ними, обрывают свой смех или песню и вспоминают человека, ставшего песней...

В грозный день у этих скал стеной стала горстка смельчаков. Вал за валом бросались на нее и разбивались вражьи силы, как волна разбивается о гранитные берега. Весь день и всю ночь неистовствовал свинец, а утром все было кончено.

Перед воротами лежали враги. Белый снег саваном опускался на них.





Между воротами под тем же снегом лежали защитники своей земли. Но один из них стоял и направлял автомат туда, откуда шли враги...

Бушевала вьюга, зверем ревела в ущелье, заметала снегом все, что было под небом...

Холодный мрак окутывал землю...

А солдат, широко расставив ноги и подперев плечом скалу, держал наготове свой автомат.

Уходя на битву, он поклялся друзьям-товарищам, что будет защищать Мать-Отчизну до самой смерти...

Выл ветер, кружили снежинки, трещали от холода могучие скалы.

Стоял скованный морозом солдат, продолжая беречь свою землю и после смерти...

Проходят под Воротами Славы горцы и, как клятву, тихо произносят громкое имя...

Снова в бой

Это были не призраки, не мертвецы, решившие побродить по лесу.

Шли живые люди, живые, но измученные до смерти.

Спотыкаясь, падая и снова поднимаясь, просачивались они в утреннем сумраке сквозь густой и дремучий лес.

Давно им не доводилось спать – двое суток шел бой. Сегодня на заре вывалились они наконец из окружения и повалились, как мертвые, на траву. Но железный человек, что звался командиром, приказал снова встать в строй...

– Мы вышли из кольца смерти, – сказал он. – Но там остались наши товарищи. Приказывать я не могу. Думайте и решайте сами. На пять минут я становлюсь рядовым...

Это были не призраки, не мертвецы, решившие побродить по земле...

Это, спотыкаясь, падая и снова поднимаясь, спешили на помощь товарищам бойцы.

Памятник

Чудной старик!.. Как ребенок. Хлопает голубыми глазами и без передышки лопочет что-то наивное, несвязное.

Крысы очень любят цыплят – у бабки Феклы утащили весь выводок, сапоги в сарае отсырели – теперь их надо смазать дегтем и повесить сушиться, ну а борщ хлебать всего лучше из того котелка, который подарил человек, служивший на фронте с его сыном...





...А почему вас трое?

Известен ли вам Феофанов?

Это он и есть Феофанов. И сын его тоже Феофанов. Их в деревне знают все. А, так вы из города?

Ну, пешком туда далече, подождите – на машине лучше.

Мы начинали понимать, что голова старика не в порядке. Робко уходили от него. Навсегда запомнились аккуратный зеленый дворик, навалившийся на плетень помешанный старик и его торопливые, догоняющие нас слова:

– А меня жалеть не позволяю вам. Много нынче жалельщиков. У меня сын есть. Там он... Стоит и стоит. Сами увидите...

Старик говорил что-то еще, но мы не слышали, видно было только, как открывается его рот. Так беззвучно открывает рот рыба, выброшенная на песок.

Когда мы выходили из деревни, стало ясно, что последние слова старика были осмыслены. И от этого стало больней. Прямо у дороги стоял памятник воину из этой деревни.

Лепешки

Женщина дала девочке кукурузную лепешку. Себе взяла такую же.

Самую большую протянула больному старику.

В последние дни она пекла ровно по три лепешки: война еще не кончилась, а муки было мало.

– Мама, к чему нашему деду столько хлеба, раз он все равно умирает? – спросила девочка с удивлением.

Женщина вздрогнула.

– Почему он умирает?! Что ты болтаешь!..

– Ты ведь сама говорила... соседкам. Я слышала.

Женщина заплакала.

Старик изможденной рукой погладил девочку по голове. Ночью он умер.

А утром под его подушкой нашли полтора десятка нетронутых кукурузных лепешек.

В юстинице

Давно разбудил меня чей-то неистовый бред, и я все не мог заснуть – ворочался в горячей постели и завидовал всем, кто спит сейчас рядом...

Теперь я догадался, кто бредил. Это был, конечно, тот, кто поднялся с постели, подошел к окну и всхлипнул.





Духота, бессонница, головная боль – все вдруг уменьшилось до ничтожных размеров... Я подошел к человеку и попросил, чтоб он разделил свою беду на двоих.

Все было просто и горько – он не мог спать. Еще в детстве во время войны ему пришлось идти по заминированной улице. Он прошел, но лучше бы взлетел тогда на воздух... Потому что эта улица не кончается. Каждую ночь он идет по ней, напрягшись и звеня, как натянутая струна...

Очень труден каждый шаг: кто-то наступает на ноги, толкает острым локтем в бок... Просыпается он всегда от звука лопнувшей струны. Звук сильный и внезапный, как взрыв.

Врачи бессильны перед этим...

Я сидел в темноте, слышал измученный голос и до нелепости упорно старался представить себе взгляд, лоб, рот – все лицо этого человека.

Утром, когда мы прощались, я нескромно взглянул в его глаза, но не нашел в них ночной боли и догадался: она была, когда нельзя ее видеть... Сейчас она спряталась, чтобы никого не тревожить, и передо мной обыкновенное лицо.

В это утро навстречу мне шагало много людей с такими лицами. В их глазах тоже не было боли...

Но мне казалось, что каждому из них пришлось когда-то пройти по минному полю, и я шел очень осторожно, чтобы не задеть нечаянно кого-нибудь локтем, не наступить в косолапом шаге на чью-нибудь ногу.





Белая сакля

Они шли с Украины. Шли долго. Жаркое лето только разгорелось. Каленый воздух жег и душил, становилось невыносимо жарко, и обоз часто отдыхал.

Жалкие тени повозок и телег прятали людей от зноя. Кто мог – спал, кто не спал, тихо думал – заглядывал в завтра. Женщины твердили детям, что плакать нельзя, сами плакали – знали, что можно. Когда очень трудно, слезы помогают.

Избавившись от хомутов, лошади выщипывали по сторонам дороги чахлую зелень. Их не путали: чтобы убежать, надо бегать, а они этого уже не могли.

Когда спадал зной, обоз трогался опять. Всю ночь и до нового солнца пронзительно скрипели колеса, хрипели лошади, плакали дети.

Так шли они, не могли, но шли. Сегодня их повозки взбивали пыль на Военно-Сухумской дороге, и впереди, по берегам Кубани и Теберды, лежали горные аулы.

* * *

Первым обоз заметил малыш в желтой рубашке.

– Мама! Смотри: лошади и люди.

Мариам вышла из-за плетня. Змеей изогнувшись на повороте дороги, в аул вползала тяжелая вереница повозок. Во всю длину ее пестрели разноцветные квадраты шалей, одеял и прочего тряпья, растянутого над повозками. В их тени, среди запыленного скарба, сидели запыленные люди. По обочинам дороги, понукая измученных лошадей, плелись старики...

– Мама, эти бородачи напилье бузы, – заявил Османчик, – дед Бабо ходит так же, когда напьется бузы.

– Нет, сынок. Не бузы они выпили, они хлебнули горя.

Османчик не знал, что это за питье, и замолчал.

Хвост обоза извивался еще на повороте, когда первые повозки поравнялись с дубом. Здесь головная лошадь остановилась, но все еще продолжала по-





качиваться на широко расставленных ногах. Казалось, упасть ей мешают только оглобли. Грива ее свалялась в войлок, уши обвисли, в фиолетовом зрачке мерцали страдание и покорность. Назойливые мухи и мушки ползали по ее губам, по раздутым ноздрям, забивали глаза. Она не отмахивалась, ей было все равно, она устала.

Выходили из зеленых дворигов аульчане. Толпились у повозок, помогали распрягать лошадей. Больше всего людей собралось у дома Мариам в тени дуба. С первой повозки ссадили на цветастый войлок больную старуху и малышей. К дубу потянулись со всех повозок.

Молча смотрели хозяева на гостей. Видели сморщенное лицо старухи, потрескавшиеся губы детей, угрюмые выцветшие глаза незнакомых стариков и женщин.

«Большой грех совершили эти несчастные, раз небо покарало их так сурово», – думали они и переводили глаза на разбитые ноги лошадей.

Бабо славился двумя редкими в ауле качествами – мог выпить много хмельного и хорошо знал русский язык. Он недолго говорил с пришедшими, и немного времени ушло на то, чтобы удовлетворить тревожное любопытство аульчан. Не к молочным рекам тянулись эти люди, не за счастьем гнались сотни жарких километров – они искали спасения от смерти. Позади гремела война, надвигался немец, а они были евреи. И они шли сюда, в горы Кавказа. Им нельзя было не идти – они хотели жить.

Недоумение стояло в глазах горцев, и Бабо опять спросил за всех:

– Почему ненавидят вас те, кого вы называете немцами, для чего им ваша смерть?

– Мы не немцы – они ненавидят всех, кто не немец, – ответила красивая женщина, гладившая вихры очень похожего на Османчика малыша.

С самого начала войны не готовили хозяйки так вкусно, как в этот вечер. В каждом доме были гости, и в каждом доме свято чтит старую мудрость: хозяева – рабы гостей. Никто не может служить закону предков так, как горец.

В сегодняшнюю ночь почувствовали это и лошади, которые в лучших стойлах сонно жевали свое лошадиное счастье – овес.

Петухи будили долину, надрывались, словно боясь, что без их криков горы замрут навеки. Ранние хозяйки выгоняли навстречу стаду своих коров. Утро пахло молоком и травой.

Сказали, что немцы подошли совсем близко. Аул встал на ноги, засуетился, как муравейник перед дождем. Под дубом опять собрались хозяева и гости. Совещались недолго.

Так долго шедшим за спасением, этим людям приходилось идти еще. Ждать смерть на месте было страшно – когда она догонит в пути, она, может быть, покажется неизбежной и умирать будет гораздо легче.



Евреи разделились на две половины... Самые старые и слабые поехали вверх по реке, к глухим теснинам Тебердинского ущелья. Те же, кто был способен ходить, пешком должны были пройти сегодня несколько километров и скрыться в лесах Каракента, за неприступной грядой Белой скалы. Бабо должен был вести их туда.

Шестеро больных детей оставались в ауле. Оставались маленькие, ничего не знающие. Их матери уходили, чтобы сберечь для них свои жизни.

Женщина, гладившая вчера малыша, похожего на Османчика, прильнула к коленям Мариам и заплакала. В плаче было все: и страдания пройденного и предстоящего пути, и тревога за сына, которого оставляла этой щуплой горянке, и крик об острой несправедливости жизни, отнимающей право дышать.

Язык слез и стонов на всех языках одинаков. Сердцем матери поняла Мариам эту мать.

– Скажи этой женщине, Бабо, – произнесла она звучно и внушительно, – что буду беречь ее сына, как Османчика.

Вычищенной медью высовывался из-под земли край солнца, беспристрастно оглядывающий все, что творится на земле.

Люди двигались на запад, солнце шло вслед за ними, и когда оно скрылось за Каракентом, в аул влетел первый отряд немецких солдат.

* * *

Оттуда, где небо упало на землю, лениво вытекала заря. Пастух выгнал стадо и пил крепкий калмыцкий чай. Каждый раз, поднимая чашку для глотка, он придерживал рукою левый ус, устремлявшийся к чаю. Над этим усом черною ртутью сверкал и бегал большой глаз. Другой ус не мешал: его резко подтягивал вверх шрам, проходивший через всю щеку и кончавшийся там, где должен быть правый глаз.

Половину жизни пастух провел в горах с овцами, которым было все равно, с одним глазом пасет их хозяин или с двумя. Людей он избегал, а при встречах с ними всегда улыбался. Сначала оттого, что если широко улыбнуться, глаза становятся узкими, до того узкими, что почти не видно, сколько у человека глаз, два или один. Потом это вошло в привычку, и его назвали Кюльген, что значит Смеющийся.

К несчастью иногда привыкают. Смеющийся, может быть, и смирился бы с ним, если б не давали о нем знать при каждой возможности... В прошлом году, например, его не взяли на фронт. Это все равно, что взобраться на Эльбрус и прокричать на весь горный край: «Смеющийся не годен для пашки и ружья, Смеющийся беспомощен, как сова. Оставить его с бабами и стариками – пусть пасет овец».

И он пас, он рад был бы не спускаться в аул никогда, чтоб не видеть никого, если б не было там маленькой Мариам и маленького Османчика.



Задумавшийся пастух вздрогнул от человеческих голосов. Полтора десятка незнакомых людей шли к его шалашу. Все одинаково одеты и все с оружием...

Ему что-то говорили, что-то объясняли, он не понимал и улыбался. Наконец один из незнакомцев, видимо, старший, достал бумагу и карандаш...

Смеющийся с удивлением смотрел на нарисованное. В правом углу блокнотного листка белела высокая скала, в левом вышагивал сам Кюльген, со своим кривым усом, в войлочной шляпе; за ним цепочкой растянулось больше десятка человечков с автоматами. Из-под чабура Смеющегося вырывалась тонкая прямая стрела и упиралась в вершину скалы.

Пастух повел отряд к Белой скале – нарисованное ожило.

* * *

Евреев выстроили на узком каменном карнизе. За спиной у них была бездна, впереди – черные кружки автоматных дул.

Гигантскими пушинками садились на Белую скалу облака, проплывали внизу под ногами. Люди стояли против людей. Злые, напряженные – против усталых и равнодушных, замерших у бездны и хотящих сейчас, может быть, только одного, чтобы хлынула скорей из черных кружочков смерть, и все кончилось: и это горячее солнце, и усталость, и эти пушистые облака, и люди с оружием...

Автоматы молчали... Убивающие хотели видеть впереди ненависть: в нее стрелять легче.

Смеющийся начал понимать, что совершил преступление. А когда тот самый человек, который хорошо рисовал, приставил пистолет к уху одной из женщин, ему стало ясно – это начало страшного конца. Он выбросил вперед руки, схватил человека с пистолетом за плечи и гневно сверкнул глазом. Тот, изумленный и взбешенный, выстрелил в лоб пастуха. Пуля содрала кожу. Боли не было, была властно нахлынувшая ярость... Высоко подняв над собой стрелявшего, Смеющийся шагнул к бездне...

В него начали стрелять, когда он с пустыми руками повернулся назад. Он упал, но поднялся, сжался, как кошка, и пошел на автоматы. На голову навалилось что-то тяжелое... Заблеяли овцы, улыбнулась Мариам. Мальчик в желтой рубашке крепко обнял за шею... Стало нечем дышать, и солнце погасло – мрак ослепил карий глаз.

С карниза буйно хлынула на автоматы лавина стариков и женщин, лавина ненависти...

К полудню, отыскав родник, Бабо вернулся туда, где оставил тех, для кого искал воду. Первое, что бросилось в глаза, был Смеющийся. Он лежал и единственным глазом смотрел в небо. Рубашка его была изодрана, бритая голова отливала синью. На груди, в углублении между сосков, жидким шоколадом стыла кровь.





Только так, только кровью можно было смыть пятно на чести... Бедный Кюльген, бедная Мариам, бедный Османчик – солнышко-сирота...

Бабо плакал, не стеснясь: живых вокруг не было – мертвые не слышали.

После Белой скалы лютые стали лютее. Ночью врываются в каждый дом, переворачивали все вверх дном, искали «дер юден киндер». И когда ночь ушла, на берегу реки, дрожа от утреннего холода, жались друг к другу шестеро детей. Человек в белом халате подходил к каждому ребенку, наклонялся, трепал по головке и чем-то зеленым трогал сомкнутые детские рты. Дети не плакали, не кричали – падали на траву и больше не двигались...

Маленький мальчик в желтой рубашке, мальчик, очень похожий на Османчика, несколько раз поднимал глаза к круче, где стояла, онемев от ужаса, толпа аульчан – впереди всех Мариам. Человек в белом халате подошел к нему, к последнему...

И когда малыш упал и замер в траве, наверху раздался крик...

Мариам привели в чувство, терли лоб, грели руки... «О Аллах, зачем ты дал этим людям силу, если знал их нрав?! Не пощадили ни детей, ни матерей...», – женщины плакали.

– Как нашли они дорогу к Белой скале?

– У них была собака, – Мариам твердым взглядом обвела аульчан, – и она была одноглазая. Это был мой муж, мой и ваш позор... Кроме Бабо только он знал эту дорогу. А тот мальчик в желтой рубашке, что умер сейчас последним, был его сын и мой сын. – Люди бросились в дом и вздрогнули: на цветастом войлоке, среди подушек спал другой, очень похожий на Османчика малыш.

– Я не знаю черное имя того, кто выдал убийцам наших гостей... Но пусть пролитая кровь падет на голову предателя. А дни, которые они не дожили, и чаша счастья, которую они не допили, пусть достанутся этому мальчику – в нем наша честь. Выращу его настоящим мужчиной, – она нагнулась и поцеловала потрескавшиеся детские губы...

Малыш проснулся и заплакал.

Широкочечий старик взял его на руки, поднял высоко и сказал:

– Не плачь, сын наш, расти настоящим мужчиной и не забудь Белую скалу.

Вечером в аул вернулся Бабо и рассказал, что Смеющийся погиб как мужчина.





Двое

Курман-байрам в этом году выпал на январь. Зима стояла лютая. Намело снегу, навалило по всему свету белому вдоволь. Снег шел сегодня с утра, шел упорно, густо, словно небо само решило обрушиться на горы.

В верховьях речки Худес, в непролазной гуще елей и сосен затерялся маленький, наспех срубленный домик. Он по самые окна ушел в сугробы. Белые ветви угрюмо нависли над ним, звенел мороз, воздух стыл и тяжелел. Где-то наверху, в ледяных громадах Эльбруса зрел буран.

Аббас сильными пальцами раздвинул шерсть на горле ягненка, налег коленом на дрогнувший бочок и взял в руку нож.

– Бисмилляхи... Аллах ёкбер¹!

Три слова инеем осели на Аббасовы усы. Из ягнячьей шеи брызнули в снег красные маки. Аббас вытер нож и, низко согнувшись, вошел в домик. Не снимая шубы, развалился на лежанке, у печи. В темном углу сидел на корточках человек и пучком соломы усердно чистил грязный казан.

– Мугаталим, – протянул Аббас, – скажи-ка мне, о чем я думаю.

– Не знаю.

– Не зли, догадайся.

– О том, что сегодня Курман-байрам?

– Об этом думают все.

– О том, что холодно?

– Об этом думай ты, я в шубе!

– Может, решил: пора в аул?

– Еще рано – после войны.

– О чем же ты думаешь?

– Да все о тебе. Думаю, какой Мугаталим осел. Понял?

¹ Аллах ёкбер (Аллах акбар) – Аллах велик.





– Гы...

– А почему я так думаю?

– Не знаю. Может, что сделал?..

– Вот именно – не сделал. С утра не можешь вычистить казан; шевелись, и чтоб я не успел моргнуть, пока ты сварешь мясо. Большой ты лодырь, сув-в-волич!

В печи гудели поленья, тянулись к огню прозрачные струйки смолы. На горячей плите шипели выпрыгивающие из котла водяные шарики. Мугаталим свеживал ягненка.

– А что, Аббас, – заговорил он, не переставая орудовать ножом, – пожертвовал бы Ибрагим-файгамбар¹ во имя Аллаха сыном, если б вдруг не упал к нему с неба белый баран?

– А как же, умная голова. Клятва Всевышнему – это не шутка.

– И тогда, следуя файгамбару, каждый мусульманин резал бы в день курмана вместо барана сына?

– Конечно.

– Неправда, твой отец Осман ни за что бы ни зарезал тебя.

– Как? Как ты назвал моего отца, сукин сын?

Аббас приподнялся на локте и сделал круглые глаза. Мугаталим съежился и стал маленьким.

– Скажи-ка, братец, ты кто, а?! О чем ты спрашиваешь?

– Спрашиваю, ты кто? Не слышишь?

– Ты же видишь – кто?

– Я-то вижу, но ты скажи сам. Ну?

– Если хочешь, я осел, или сув-в-волич...

– А если я не хочу?..

– Не знаю.

– Не знаешь? Тогда скажи, кто был твой отец, твой дед и все твои прадеды?

– Как?

– А вот так, открой рот и скажи. Может быть, падишахи, знатные бии или знаменитые богачи?

– Они были бедняки.

– Люби точность – были нищие. А кто был мой дед, мой отец? Забыл? Нет? Как же ты осмелился назвать отца моего просто по имени? Ровня он тебе, го-лоштаннику?

¹ Ибрагим-файгамбар (арабск.) – Ибрагим пророк. Образ заимствован из иудейской религии (пророк Авраам). По преданию, он был бездетен и долго молил небо о сыне, клятвенно обещая пожертвовать во имя Аллаха самым дорогим, что у него есть. Но когда родился долгожданный сын, оказалось, что в жертву нужно принести именно его. Только в последнюю минуту, когда он набравшись мужества приставил нож к горлу сына, Аллах послал ему с неба барана, которого он и зарезал, якобы избавив этим мусульман от ежегодных сыноубийств.





– Вай, Аллах! Прости, Аббас. Осман-хаджи¹, мубарек², слуга божий. Да будет много света в его могиле...

– Вот видишь, скот. Одно невежество оставили тебе в наследство твои отцы. Впрочем, у них ничего кроме этого и не было.

– Оставь, Аббас, не тревожь их дух, они давно там, где воздается право на нерушимый покой.

– Но ты же здесь, ты – жив.

– На меня и грузи свою брань.

– Я так и делаю... Если отец уходит на тот свет в плохой шкуре, нужно драть шкуру с его сына. Следи за собой вдвойне. Ты разделал сейчас ягненка, у меня времени уйдет меньше, чтоб разделаться с тобой.

Мугаталим повернулся к Аббасу спиной и опять стал маленьким.

Аббас лежал и по-прежнему смотрел в потолок. Шевеля только руками, он достал трубку, набил ее самосадам и шумно глотнул воздух. Голубые кольца поплыли под потолочными бревнами.

– Надулся, – буркнул Аббас между затылками, – разве пробьется шутка сквозь твою кожу. – Мугаталим возился с зелеными ягнячьими кишками и молчал. В печи гудели поленья.

– Фу, вонь какая! Во дворе не смог чистить эту пакость.

– Там же холодно.

– Ах, холодно? Где бы ты сейчас был, Мугаталим, если б не я?

– На фронте, наверное.

– Правильно. Ты сейчас боишься выйти во двор, а там бы ты мерз на снегу днем и ночью, ползал бы под пулями, ел бы всякую гадость... А здесь тепло, варится ягненок, и ты в благодарность чистишь эти вонючие кишки под моим носом. Ладно, неженка, я потерплю. Пусть будет мне плохо, лишь бы ты не думал, что я тебе не хочу добра. Спустишься в аул – мать родная тебя не узнает – будешь толст, как откормленный бычок. Оценит ли она мою заботу, поймет ли, что я за человек?

– Она знает, что ты за человек.

– Должна знать. Скоро все увидят, все поймут, кто дальше видел, я или те, что говорили громкие речи и лезли в пекло. Какими они вернуться, если вернуться вообще? Одни без рук, другие без ног, со шрамами, с чахоткой и с прочей дрянью...

– И с наградами...

– О да! С железками на груди.

– И старики будут хлопать их по плечам и называть «молодцами».

– Ну как же, слов будет вдоволь.

¹ Хаджи (арабск.) – почетный титул, заслуживаемый только тем, кто совершил паломничество в Мекку. Титул обязывает относиться к его владельцу с почтением.

² Мубарек (арабск.) – любимец Аллаха.





– И они будут держать головы высоко, не придется им краснеть, опустив глаза в землю, как нам.

– Как нам? Все ясно. Кроме одного. Почему это мы не сможем смотреть старикам прямо в глаза?

– Они будут думать: вот двое джигитов... сберегли свои жизни, а честь оставили в лесу...

– Да, это так. Старики всегда правильно думают. Всегда... Правда?

– Правда.

– Нет, не правда, сув-в-волич, – Аббас бесшумно поднялся и коротко ударил Мугаталима в зубы. Потом лег на место и опять уставился в потолок. Мугаталим вытирал со рта кровь и тупо глядел на нож, который держал в руке.

– Дорогой братец, – медленно говорил Аббас, – я тебе объяснял еще в ауле: мы – мусульмане. А как должен думать мусульманин? Приди во гнев и прими бой, лишь когда посягнут на веру твою... А сейчас гяур режет гяура – мусульманин, возрадуйся и не лезь, ибо враг врагам своих врагов – враг себе. Постарайся осмыслить это – тебе еще пригодятся твои зубы.

Где-то внизу, в долине, завыли волки. Начинало темнеть. Мугаталим кривым сучком ковырялся в печи. Потревоженные поленья искрились и вспыхивали, огненные блики скакали по лицу Мугаталима, выхватывали из сумерек резкие скулы, нос, космы лохматой овечьей шапки, съехавшей на глаза. Оба долго молчали. За окном промчалась поземка, ударил резкий свистящий ветер. Опять завыли волки, но уже где-то рядом, недалеко от домика. Голодная стая тянулась к жилью.

Мясо было готово. Мугаталим снял котел с огня, слил в какую-то посудину бульон и принялся вытаскивать в деревянный сахан¹ горячие куски ягнятины.

– Эх, отойди-ка. Сразу видно – нечасто варилось под твоей крышей мясо...

Откинув в сторону несколько свалявшихся овчинок, Аббас стрел с лежанки охапку сена, взбил ее, скучил на полу, в полосе света от очага, и ловко опрокинул на нее казан. Пар столбом вырвался к потолку, острый травяной аромат смешался с ароматом молодого мяса...

– Вот так, хорошо! – Аббас засучил рукава и, скрестив по-турецки ноги, сел у дымящейся горки мяса.

– Э-э, ты опять надулся, как бурдюк. Тебя учишь, а ты мрачнеешь тучей. Зачем тарелки-марелки, когда есть чистое сено?

– Дохтур Исмаил говорил, что в сене много микробов, они вредят человеку...

– А-а! Я и не знал. Дохтур прав. Ты не ешь. И мясо, и микробы съем я. Давай сюда шайтан-воду.

Мугаталим извлек из-под вороха тряпья раздутую алюминиевую бутылку. Аббас сжал ее обеими руками, воткнул себе в рот узкое горлышко и запрокинул голову.

¹ Сахан – большая, неглубокая тарелка, поднос.





– Уф! Настоящий огонь. Крепче магазинной... Знает свое дело чертова осетинка.

Аббас принял за мясо.

– Бисмилля! Не лишай нас, Аллах, мирских благ и благ того света. Да придем и к следующему курману без горя и забот. Ешь, – сказал он Мугаталиму, – забудь про микробы. Если б каналья Исмаил понимал толк в пище, он был бы вот таким, – Аббас провел по круглому животу. – Ни черта он не смыслит ни в чем. Тоньше жерди, скривился коромыслом, кашляет, как старая овца. Шапкой с ног сбить можно, а еще пошел воевать. Говорят, добровольно. Сув-в-волич.

Мугаталим не слушал его. Обхватив руками колени, он сидел на прежнем месте и глядел на догоравшие поленья.

До боли ясно представился ему сейчас тот день, когда он сам так бездумно, так внезапно перечеркнул свою судьбу. Тогда было лето. Тогда он был таким, как и все. Где-то, говорили, была война. Ушли туда два его брата, ушли друзья. Ушел чахоточный Исмаил. А он ждал, он не торопился. Зачем торопиться, если все равно позовут. Но когда позвали, его в ауле уже не было. Если б можно было вернуть тот вечер...

В тот вечер над аулом висел кизячный дым, из чьего-то дома несло острым запахом бузы. Слышалось блеяние овец, шуршала листьями молодая кукуруза.

Все было знакомым, прежним, обычным, каким было и до этого. Только он был уже другим, не таким, как раньше, и не таким, как все. Навьючив скарбом большого серого осла, уходил он в тот вечер с Аббасом в горы, уходил от войны, от мужского долга, уходил тайком, оглядываясь, как вор. Почему он тогда не сказал Аббасу, что им не по пути?! Почему? Если б можно было поймать брошенный камень...

– Отпусти меня назад, Аббас, – протяжно взмолился Мугаталим. – Отпусти...

– Что? Назад захотел? Пожалуйста, – Аббас лизнул стекавший с пальцев жир. – Кто против? Только скажи, о чем ты думал, когда сюда шел?

– Я думал: телу не больно – и душе хорошо.

– Вай, вай! Слышу умные слова. Где эта штука – душа, в каком месте тебе больно? А? И как лечить ее будешь?

– Хочу покаяться перед аулом и воевать...

– Решил всех обрадовать? Расцелуют тебя в ауле, придут в восторг. «Явился Мугаталимчик». А что скажешь в аулсовете, когда спросят, где была твоя голова до сих пор? А? Без-з-мозглый. Не душа, башка у тебя не в порядке. «Пойду воевать». Пойми, червяк, война – не игра. Немножко свинца – и человека нет. Думаешь, те, что воюют, пошли бы туда, если б вспомнили простой выход, какой нашли мы?

– А дохтур Исмаил? Ты же сам сказал – он пошел добровольно.





– Ему же все равно долго не жить. Умереть на войне почетней, чем от чухотки... И притом, какой он мусульманин? Он почти гяур и помогает гяурам.

– А внуки муллы Биболата? Они же не гяуры?

– Они глупцы. И ты глупец... И я глуп – нянчусь с тобой, стараюсь обмануть, утешить: мусульмане, гяуры, вера, то да се... Скажи, ты хочешь жить? Что молчишь? Хочешь?

– Все хотят.

– Вот и живи. Подлая порода. Отцы твои тоже хотели большего, чем им посылало небо. Дали седло – давай и плетку. И жизнь тебе оставьте, и честь, и совесть... А на что тебе, несчастному, сразу и то, и то, и то?.. За что? Нужно было выбрать, и ты уже выбрал. Телу не больно – про душу забудь. Назад хочешь – иди в аулсовет. Я за тебя помолюсь. А теперь хватит. Скажи еще хоть слово, и оно будет твоим последним.

Аббас потянулся, огромный, как медведь, хрустнул костями и, укрывшись шубой, засопел на лежанке.

Мугаталим долго молчал, а потом, не отводя взгляда от тлеющих головешек, громко спросил:

– Скажи, Аббас, что все-таки скажут, если явиться в аулсовет?

– Повесят, – Аббас заворочался под шубой. – Мугаталим, подай-ка что-нибудь тяжелое: зубы выбью тебе, чтоб молчал, сув-в-волич. Дай мне заснуть.

Слово «повесят» прозвучало жестко, как выстрел, и Мугаталим почувствовал, как оно, войдя в него, осталось там, продолжая греметь и звенеть все сильнее. Повесят... Не простят...

Он снова вспомнил ночь ухода, с навьюченным ослом, с гулким перестуком оробелого сердца, с крадущимися лисьими шагами... Как можно было любить себя так сильно?! Забыть все, кроме своего спасения, кроме себя?!

Повесят... А если простят, пожалеют? Тогда он будет жить еще двадцать или дважды по двадцать лет... Он состарится, отпустит белую бороду и будет жить, требуя уважения к своим сединам, что так святы в любом ауле... Но будут ли его уважать? Если будут, то только из жалости, из великодушия.

Люди в душе простят ему все, но ничего не забудут, – и позор его, сколько бы он ни жил на свете, будет жить с ним, а после его смерти проклятым бременем ляжет на плечи его детей... Мудро сказано древними: позор – длиннее жизни. И Аббас верно сказал: если отец уходит на тот свет в плохой шкуре, могут драть шкуру с его сына.

Мугаталим зябко передернул плечами и мотнул головой. Хорошо, очень хорошо, что у него нет детей – кровь его скверная течет только в нем самом. Какая холодная ночь, огонь полыхает в лицо, а не греет. Мугаталим внезапно оцепенел, озаренный мыслью, что совсем не любит себя и совсем не хочет прощения. Он прислушался к Аббасову храпу, затем встал и залил водой огонь в очаге...





Аббас проснулся от холода. Тряхнул тяжелой головой, открыл глаза и глянул в утреннее окно. По-прежнему бушевал буран, белые ветви стучали в окно, мерцал на хмурых стенах домика серебряный иней. На полу, перед печью, порошился проникший в трубу вместе с ветром снег, а наверху, на толстом поперечном бревне, уставясь выпученным глазом в потолок, висел неподвижный Мугаталим.

Он грозно вытянулся, выпрямил сутулую спину, стал каким-то большим и заслонил перед Аббасом все.

Ударил неистовый порыв ветра, мороз кольнул Аббасову спину – он почувствовал, что не может шевельнуться. Крепкий, сыромятный ремень безжалостно впился в его тело, сковал руки и ноги. Аббас сжался стальной пружиной, остановил дыхание и с нечеловеческой силой рванулся с места...

Протяжно и глухо выли волки. Лес гудел и могучим басом вторил их вою. Аббас вдруг подумал о том, что будет дальше, и беспомощно застонал.

Мугаталим что ни делал, делал навсегда.





Память

Мальчик всматривался в знойную даль. Он был совсем маленьким, а степь велика и пески безграничны.

Там, где сейчас висело солнце, из песков вставал одинокий курган. Из-за кургана стрелой вылетала прямая желтая дорога. Мальчик смотрел туда, где она терялась. Смотрел не так, как смотрят дети, – взрослый, тревожный прищур морщил его лобик. По этой дороге, взбивая сапогами золотую пыль, должен был вернуться с фронта его отец. Так говорила мама, и так возвращались отцы других мальчишек.

И он ждал, а отца все не было.

Под жгучим солнцем горел солончак, горячий ветер играл песком, по степи мячом скакало перекати-поле. Все это было каждый день, и каждый день не было отца.

Вечером небо пылало закатом, приходила душная ночь, и тогда мальчик садился перед матерью.

– А его нет, – говорил он тихо.

– Придет завтра, – тихо отвечала мать.

– Он может прийти и ночью?

– Нет, ночью все должны спать... И ты тоже.

– А рано утром?

– Утром да!

– Тогда разбуди меня утром очень рано. Хорошо?

– Хорошо.

– А если он завтра не придет?

– Тогда – послезавтра?

– Если не придет и послезавтра?

– Тогда подождем еще...

– А если и не тогда?..

– Тогда папа заснул и забыл проснуться.

– Я так и думал... Какой же соня мой папа... А почему, мама, ты плачешь?

Плакать нельзя – ты сама говорила.





Хочалай бла Хур-хур

Сорвиголове Ахмату –
младшему из сыновей моей матери

От автора

В 1939 году в начале осени у бабушки моей была радость: хорошо уродилась кукуруза. С нашего участка сняли большой урожай. А в конце осени родился я – первый из внуков бабушки. Это стало второй ее радостью. В честь счастливого события был объявлен ею праздник. Пригнали с гор бычка, наварили из молодого верна крепкой бузы, собрались уважаемые аульчане...

Самый древний из них, почтенный Мисир, по просьбе бабушки первым сказал тост у моей колыбели. Жизнь Мисира была праведная, борода белая, а слова мудрые – никто в ауле не сомневался, что добрые его пожелания непременно сбудутся.

Мир и покой пожелал Мисир каждому дому и легкой, счастливой судьбы всем новорожденным.

Легкой судьбы ни у меня, ни у моих сверстников не получилось. Не знала бабушка, не знал Мисир, что к тому времени уже родился, окреп и буйствовал в Европе фашизм.

Мы были малы для войны. Воевать ушли наши отцы. Сколько их ушло от нас – не знаю. Знаю: больше двухсот в аул не вернулось. Для моего аула Кумыш это было много. Слишком много.

Мы были малы, но мы выросли. Мы видели безногих и безруких, мы все яснее понимали, что потеря было еще больше, гораздо больше, чем двести жизней. Израненные, изувеченные войной бывшие солдаты встречались нам всюду – во всех аулах, во всех городах. Они жили рядом, не давая нам все эти годы забыть о войне. А когда они умирали, я всегда думал: они умерли раньше срока, потому что их силы отняла война.





Не дают мне забыть о войне и сверстники. Их лица, мне кажется, отмечены особой печатью. У моего поколения не было детства. Война не дала нам как следует вырасти. Мы на целую голову ниже тех, кто родился после Победы. Мы раньше седеем. Беда войны не кончается вместе с войной. Всякая война рано или поздно кончается, но беда ее остается на долгие годы.

Тридцать лет отделяет нас от последней войны. За это время не одно новое поколение выросло. Но о войне мы не забываем. И в наших книгах...

В этих рассказах я хочу поведать о тех, кого так или иначе коснулась война. Многие герои мои очень молоды. Они ничего не успели еще совершить в жизни, но чутки к добру и злу. Встречаясь с трудностями, они начинают серьезно задумываться о жизни. Конечно, есть на свете слабые, никудышные люди... Но я пишу о тех, кто выдерживает испытания своей нелегкой судьбы.

1

У ослика тонкие ноги и грузный живот. Живот снизу белый, бока серые, спина совсем серая. Зовут его Упрямец, хотя, быть может, он самый послушный на свете осел.

Упрямец ничего не видит, потому что родился слепым. Не видит, какая впереди дорога, какое наверху небо. Ноша его нелегка. Восемь хурджунов с недельным запасом хлеба для восьмерых, в двух флягах вода и Хочалай в больших сапогах – все на нем.

– Ле-чух, мой Упрямец, ле-чух! – погоняет его Хочалай, и звонче стучат по каменистой дороге четыре копытца.

– Нельзя обижать осла, – сказал отец, когда купили Упрямца. – Уважай его.

Хочалай уважает. Пусть не осудит его встречный путник, подумав: «Такой большой мальчик, а едет на чужих ногах». Умей Упрямец разговаривать, он бы сказал:

– Эй, путник, не думай о Хочалае плохо. Он только минуту назад взобрался мне на спину. Ног у него в два раза меньше, и усталость пришла к нему раньше. Это во-первых. Во-вторых, дорога наша длинна – будет Хочалаю еще время потрудиться. У Красных утесов я отдохну, а Хочалай прольет семь потов. Пусть бережет силы...

– Спасибо тебе, – треплет серую холку друга Хочалай, – все хорошо понимаешь. Ни у кого во всем Карачае больше нет такого умного осла. Ждут тебя у Красных утесов и трава зеленая, и отдых в тени, а я потружусь...

Дорогу, по которой они едут, называют в ауле Тропой шайтана, потому что она трудная. Вернее, опасная, но путник должен забыть об этом слове. По ней, говорят, может пройти только настоящий мужчина. Или только шайтан, если хорошо подкован и достаточно смел. Для осторожных и робких есть другая





дорога. Она не скачет со скалы на скалу, над нею не висят готовые сорваться на голову камни, и ни справа от неё, ни слева нет бездонной пропасти. И еще она не такая узкая. Две арбы могут ехать по ней совсем рядом и приехать туда же, куда везет хлеб Хочалай, – на Боязир, к косарям. Только приедут не скоро, шесть или семь дней будут толочь грязь той дороги колеса.

Каждую неделю проходили по Тропе шайтана Хочалай и Упрямец, только с ними был тогда отец, а теперь их двое. Им будет трудно, особенно у Красных утесов, где тропу сжали две гранитные глыбы, а третья упала на них сверху. Ни лошадь, ни бык не пролезут в этом месте дороги: лошадь высокая, бык широкий. Осел лучше них. Он такой же сильный, но маленький. Если его развьючить, он влезет в эти чертовы ворота, только шерсть серых боков останется на шершавых боках скалы. Платой за проход называет ту шерсть отец.

Были бы у осла крылья, он бы был лучше самолета, – думает о своем Упрямец Хочалай. Оставались бы тогда целы его бока, и ему, Хочалаю, не пришлось бы стаскивать с него хурджуны и тащить на себе через камни...

Хочалай поудобнее устраивается в седле и чувствует себя совсем хорошо. Ни неприятной качки, ни стука копыт, ни скрежета фляги, ежесекундно бьющейся о каменную стену справа. Все тихо и спокойно. Лишь слабый ветер дует навстречу, ласкает лицо, еле слышно поет в скалах... Но это не ветер, думает Хочалай, и облака расступаются перед ним. Сверкают на солнце и гудят алюминиевые фляги по бокам Упрянца, но это уже не фляги, это серебряные крылья. От удовольствия он поет и просыпается от собственного голоса...

Есть дурная привычка у Упрянца – и шагу не ступит, когда на нем спят.

– Чтоб на тебе мертвецов возили, – ругает его Хочалай. – Грех, по-твоему, человеку глаза сомкнуть? Мог бы в таком случае разбудить меня, а не стоять посреди дороги как пень. Ведь и тебе краснеть придется, если хлеб к утру не привезем. Ах ты... Ну, ладно, давай вперед, не буду спать, буду о чем-нибудь думать.

И Хочалай думает. Сначала о разных вещах на свете, потом о самом интересном – о косарях, которым он везет хлеб и воду.

– Э-эй! Батыры! – рокошет перед каждой зарей самый старый косарь Домалай. – Пора Хур-Хуру за горы, не держите его, пусть уходит. И нам давно время схватить ноги в руки.

Голос Домалай рождается не в груди, как положено, а ниже, в самых глубинах чрева, потому и успевает на длинном пути вверх набрать силу грома.

Но что такое Хур-Хур? Об этом спросил Хочалай еще в первый день сенокоса, и ему, улыбаясь, ответил Хайдар:





– Хур-Хур – это маленький, жилистый, крючковатый мужичок, который вцепится в тебя вечером и не отстанет до утра, что бы ты с ним ни делал.

– Неправда, – возразил Хопай. – Хур-Хур – это грузный дядя, навалится вечером, придавит к постели и держит до утра.

Еще узнал Хочалай, что Хур-Хур вездесущ, не спрячешься от него, найдет хоть под буркой, хоть под шубой. И особенно легко находит лентяя – любит его. А боится Хур-Хур только холодной воды и голоса Домалая: как только услышит Домалая – сразу убегает от человека. Одним словом, оказалось: Хур-Хур – это сон. Пришел он – закрывай глаза, а когда уходит, в постели делать больше нечего, надо вскакивать и одеваться. Прощаться с Хур-Хуром дольше положенного срока – для косаря позор. Дружи, косарь, ночью с Хур-Хуром как хочешь, а на заре гони его в шею, берись за косу, пока не ушла роса в небо.

– На всех брюках две штанины, – поделился в начале лета своими наблюдениями Домалай, – все рубашки с двумя рукавами, и каждому, с позволения Аллаха, можно одеться не позже других.

Домалай – тамада джыйына, он пустое не скажет. И все-таки ведь не могут все одеться разом. В море рыба не одинаковая, а люди тем более.

Проворнее всех Хайдар, он первым срывает с гвоздя последнее, что нужно надеть, – белую, как снег, войлочную шляпу, такую широкополую, что косарь под нею и в самое жаркое солнце по пояс в тени. Второй после Хайдара – такой же худой и ловкий Хамит, а после него по разному порядку идут остальные.

И только его, Хочалай, отец берет за шляпу обычно последним.

Домалай пустое не скажет, он тамада джыйына, но забыл он, видно, что не у всех две руки. У отца одна – правая, и левый рукав мать ему просто не шьет. Отец даже шутит, что рука, оставленная на войне, их дому приносит иной раз больше пользы, чем сохраненная, – экономит материю.

Если считать не совсем быстро и не совсем медленно, можно дойти до десяти, пока отец возьмется за шляпу после всех. Зимой или поздней осенью, когда дел становится меньше, считать до десяти – это, может, не много, а летом, в пору сенокоса, за это время можно, например, десять раз взмахнуть косой. А сто взмахов – это добрая копна. Прибавь к ней девять таких – встанет высокий стог. Поставишь совхозу девять стогов – десятый вези домой, корми, пожалуйста, всю зиму корову, в меру прожорливой до весны вполне хватит.

Однажды Хайдар предложил Хочалаю:

– Выпей гоппан айрану – скажу секрет, как отцу быстрее одеваться.

Хайдар ни на кого из остальных не похож. Хочалай его не любит. Хайдар один замечает, кто за кем успевает одеться, хотя у всех глаза не хуже видят.

Опустошить гоппан – дело возможное, особенно если натошак, но Хайдар улыбается непонятно. И Хочалай на всякий случай молчит.

– Какой ты карачаевец, раз айран не любишь? – будто бы удивляется Хайдар. – Тогда отдай мне сестру.





«Так и побежит она за тебя», – только успевает подумать Хочалай, а Хайдар снова улыбается. Есть у него нехорошая привычка – угадывать несказанные слова.

– Может, она не согласится, – говорит он, – но ты можешь ее выкрасть. Чем плохой зять буду? Только нос немного великоват...

«И кривой», – хочет добавить Хочалай, но молчит. Он решает молчать долго. И Хайдар, поняв это, не выдерживает, сообщает секрет. Приблизив лицо, он шепчет Хочалаю на ухо:

– Если хочешь, чтобы отец одевался быстро, скажи ему, пусть ложится не раздеваясь.

Хочалай знает, отец в молодости ни в чем ни от кого не отставал. А держать косу умел лучше многих. И боролся здорово – его спина ни разу не касалась земли. Десять шагов мог пронести он трехлетнего бычка, взвалив на плечи... Теперь у отца нет руки. Он не косит, а доставляет косарям хлеб, варит им мясо. Он половина здорового косаря, и причитается ему осенью половинная доля, хотя не позволит ему Домалай взять меньше остальных. Осенью на пологом склоне за их шалашом косари сложат все заработанное сено в стога, и стог отца будет такой же высоты, как и другие. Отец станет сердито спорить, а Домалай скажет:

– Не шуми. Получишь вровень со всеми. В доме твоём, слава создателю, от детей тесно, а корова твоя любит сено не хуже наших. Работал ты хорошо, а сын твой Хочалай, прямо скажем, совсем молодец...

Куда отцу деваться, он возьмет. А потом, когда они будут вдвоем, отец, довольный, признается:

– Вырос ты, Хочалай, и рука моя словно выросла. Смотри, сколько сена у нас получилось и какое оно хорошее, со сметаной сам бы ел.

Много приятного слышал о себе Хочалай за лето на Боязире, а похвала отца дороже всего. Особенно приятно слышать, что он вырос и отец теперь не чувствует себя одноруким. Но что говорить или делать, когда тебя хвалят? Молчать и краснеть или сказать, что не ради хороших слов ты стараешься, а просто, как все, утром, вечером, днем и всегда делаешь свое дело. Хочалай может мокнуть под проливным дождем, гореть под жарким солнцем, может не спать две ночи и идти с Упрямцем по Тропе шайтана, но пусть только не говорят ему «молодец», «молодец». Пусть лучше думают все косари, и Хайдар вместе с ними, что он делает не меньше того, что могла бы сделать потерянная рука отца.

Утром косари в шалаше на завтрак времени не теряют. Когда поредет тьма, Домалай их будит, и они уходят, зыбкие и неясные в еще не родившемся свете. Завтрак им везет Хочалай. Сначала он долго ищет ослика, потом собирает в два кожаных мешка чашки, ложки и хлеб, наливает в два бурдюка айран и, ловко приторочив все это к седлу, торопит Упрямца в дорогу. Чашки,





ложки должны быть чистыми до яркого блеска, а хлеб должен быть двух сортов – хлеб магазинный и хлеб карачаевский. Хлеб магазинный любят Хайдар, Азрет, Хопай и Хамит.

Домалай с остальными любят карачаевский, тот, что печется дома. Айран в бурдюках тоже разный. В одном – свежий, умеренно кислый и густой. Называется джуурт, его едят с хлебом. В другом бурдюке – сусаб – очень кислый, сердито шипящий и разбавленный водой айран. Он прекрасно утоляет жажду.

Хочалай не раз слышал: лучше айрана ничего на свете нет. Карачаевец не менее трех раз в день говорит ему душевное спасибо... Хочалай и дома уважал айран, а на Боязире по-настоящему с ним сдружился. Как подоить корову, вскипятить молоко и остудить, сколько положить закваски, чтобы не слишком кислым получился айран, чем его накрыть и укутать, чтобы он не стал терпким от холода или чрезмерного тепла, – этому Хочалай научился тоже на Боязире. И неплохо научился. В айране он теперь толк знает. Лишь однажды, еще вначале, он попал впросак – привез косарям слишком жидкий сусаб. Непонятно было – то ли айран разбавлен водой, то ли воду айраном подбелили. Домалай тогда сжал обеими руками гоппан, долго всматривался в его содержимое, а сокрушенно воскликнул:

– Бедная река Кубань, как рано ты поседела.

Хопай же приблизил лицо к гоппану, всмотрелся пристально и заявил:

– Как чиста эта вода – точно в зеркале себя вижу.

Не промолчал, конечно, и Хайдар. Лишь только гоппан перешел к нему, он сразу спросил:

– Я здесь буду купаться?!

Хайдар в гоппане не выкупался. Хайдар его выпил, обтер усы и сделал вывод:

– Не будем обижаться на Хочалая. Хочалай не виноват. Виноват Хур-Хур.

Не спит теперь Хочалай, как спал тогда, разбавляя айран.

А спать хочется.

Накормив утром косарей, Хочалай возвращается назад в шалаш. Пешком ли он идет, едет ли на Упрямец, за ним по пятам неотступно плетется Хур-Хур. Хорошо было бы: Упрямец не капризничал – семеня бы себе копытцами, а Хочалай вздремнул бы. Не получается так. Стоит ему закрыть глаза, Упрямец тут же останавливается – сразу чувствует: навалился на седока Хур-Хур. Спи семь дней – семь дней он будет стоять.

Не только в дороге пытается Хур-Хур свалить Хочалая, он рад это сделать в любое время. Хочалай собирает кизяк или колет дрова, моет казан или чистит картошку – Хур-Хур неизменно где-то рядом. Особенно близко он любит подкрадываться, когда Хочалай, сев у костра, слушает, как гудит закипающий котел, и думает только об одном: не убежало бы молоко.

Хайдар давно уже не прочь доказать, что Хур-Хур Хочалая любит особенно сильно. Пусть доказывал бы это кто-нибудь другой, а не Хайдар! Лучше





вспомнил бы, как зовут его деда; деда Хайдара зовут Мухамматом, но в ауле еще четыре Мухаммата, не считая двоих, умерших в прошлом году, и, чтобы не путать с ними, его зовут «Мухамматом, который палец в айране заквасил». Дед Хайдара, когда еще не был дедом с седой бородой, а был мальчиком чуть старше или чуть моложе Хочалая, опустил палец в молоко, выясняя, достаточно ли оно остыло для квашения, и, не успев вытащить, так и заснул и спал всю ночь, пока молоко не стало айраном. Теперь дед Хайдара не мальчик – дед с седой бородой, а его и теперь иногда называют Мухамматом, который палец в айране заквасил. А Хайдар забывает, что он внук этого деда, и говорит разные нехорошие слова о других.

В субботу утром Домалай оставил Хайдара в шалаше помогать Хочалаю – надо было зарезать и освежевать двух баранов. Сначала Хайдар работал молча, и неплохо работал, если честно сказать. Но когда уже мясо варилось, и они присели отдохнуть, Хайдар стал называть себя несчастным человеком, потому что Домалай заставил его заниматься немужским делом. И мясо варить, и посуду мыть, и хлеб возить – дело женщин, а настоящий мужчина должен косить.

Много дней терпел Хочалай, но терпение его кончилось, и он сказал Хайдару все, что думал.

Пусть не может носить его отец, пусть не может вдеть на вилы полкопны и метнуть на вершину высокого стога, не может пусть даже шляпу натянуть наравне с другими, но он все-таки мужчина, потому что не заквасил палец в айране, а делать многое может и с одной рукой. Вот пригонят волов – начнут стягивать копны для стогования, и тогда пусть Хайдар попробует силы, соревнуясь с отцом. А он, Хочалай, сейчас оседлает Упрямца и поедет вместо отца в аул за хлебом.

Хайдар не отпускал Хочалая, отобрал седло, запер в сарае, но Хочалай в том же сарае запер самого Хайдара и сказал ему «до свидания». Вот он и везет теперь по Тропе шайтана хлеб, а его отец на горячем склоне Боязира вместе со всеми стягивает копны – по десять штук в одно место, где будет поставлен стог. Упряжка волов отца не знает усталости. Она стремительно взбирается на крутую гору, останавливается, послушная его команде; отец ловко захлестывает копну арканом, подпихивает, и она, то догоняя волов, то отставая, как живая, скачет вниз. И как бы крут ни был спуск, сколько бы камней ни лежало на пути, она не свалится, она будет покорна крепкой руке отца, которая глубоко вонзила в нее вилы и надежно держит.

Не хотел Хайдар отпускать в аул Хочалая, говорил:

– От отца твоего здесь толку не будет, а от тебя там толку не будет. Свалит тебя ночью Хур-Хур с ишака, заснешь где-нибудь в придорожной траве, и сидеть нам без хлеба.

– Не засну, – сказал Хочалай, – увидишь. Отдай седло.





– Может, и не заснешь. Но меня Домалай ругать будет, скажет: зачем парнишку одного отпустил? Зашелестит трава, зашумит листьями дерево в темноте – испугается он, зайкой станет...

– Не испугаюсь. Отдай.

– Может, и не испугаешься и не заснешь. Но как у Красных утесов пройдешь? Застрянет меж ними твой длинноухий, а мы из-под ладоней на дорогу смотреть будем – где же наш Хочалай?

Хочалай не заплакал, как, видно, хотел того Хайдар. Хочалай сказал:

– Хватит нам лежать на боку. Давай сушить мясо.

Мясо двух овец, аккуратно разделанное, висело в сарае. В тени оно быстро портится. Хайдар и Хочалай обсыпали его солью, выносили и вешали на солнце. Отправившись за последним куском, Хочалай вытащил и спрятал в бурьяне седло, а потом снова зашел в сарай и крикнул Хайдару, что не может снять с гвоздя мясо.

– Как будто там висит не худая овечья ляжка, а ляжка тучного быка, – бурчал Хайдар недовольно, входя в сарай.

Не успел он сделать и двух шагов, как Хочалай, захлопнув снаружи дверь, ловко накинул замок и, торжествуя, стал седлать Упрямца.

Удивительно ласковые слова придумывал Хайдар, высунув в оконце сарая нос, – просил выпустить.

– Придут на обед – косарей проси, – отвечал Хочалай. – Честно скажи им, почему ты в сарае. Вернись к сроку, ничего со мной не случится...

Не испугался Хочалай ни травы, ни дерева, с осла не упал, как пророчил Хайдар, и все было бы прекрасно, если бы его не одолевал Хур-Хур. Вчерашнюю ночь Хочалай не поддавался, ни разу глаз не сомкнул, пока не добрался до аула. Утром он выехал обратно. Скоро полдень, и Хур-Хур все сильнее давит его к седлу, а впереди у них еще полдня и целая ночь. До вечера крепиться можно, но после вечера будет ночь, ночью же у Хур-Хура сил прибавляется, кто победит – знает только Аллах.

3

К Красным утесам Хочалай подъезжает, когда ни скалы, ни деревья, даже самые большие, не дают тени. Это время – точная середина дня, солнце светит прямо на макушку, и тень прячется под ногами. Хочалай набирает из фляги полную кружку воды, медленно, глотками выпивает половину, другую половину так же медленно выливает себе на голову и за воротник рубахи. Студеные струйки ползут вниз по всему телу, и Хочалай с радостью чувствует, как от него все дальше уходит Хур-Хур.

– Бисмилля! – произносит громко Хочалай волшебное слово, которым карачаевец начинает всякое маленькое или большое дело, чтобы дело это стало легким и было удачным.





Хочалай стаскивает с Упрямца хурджуны. Они не тяжелые. По два сразу может нести Хочалай, и нужно только четыре раза пройти через Красные утесы, чтобы перетащить их. С флягами дело серьезней. Отец их мог легко тащить на себе, сначала одну, потом другую. Хочалай так не может, поэтому он взял в ауле два бурдюка. Каждую флягу придется делить и тащить по частям. Там, на Боязире, думают, конечно, что явится он без воды, а если с водой, то ее будет мало. Но воды будет ровно столько, сколько может поместиться во фляге, ни каплей меньше. Сначала Хочалай не знал, зачем нужно по такой длинной и трудной дороге везти из аула воду, когда на Боязире под каждым кустиком чистый и прохладный родник. Объяснил отец: Домалай в чужих краях поклялся, что если снова окажется на родине, то никакая сила не унесет его от нее так далеко, чтобы он не мог утолить жажду водой из Кубани. Остальные косари клятвы никакой не давали, а пьют и разбавляют айран тоже только этой водой.

Первый бурдюк легок и приятен, весело булькает и переливается в его трубе вода. «Слишком мало несу, – с досадой думает Хочалай. – В следующий раз придется больше». И в самом деле, второй бурдюк оказывается тяжелее. Он взбух, стал круглым, не лежит спокойно на плечах, норовит съехать вниз. К тому же он успел отсыреть, и Хочалай затылком чувствует уже не легкую прохладу, а липкую и холодную кожу. Такая кожа бывает, наверное, у лягушек, предполагает Хочалай.

Но больше всего заставляет потеть Хочалай фляга. В ней совсем мало воды, но сама фляга тяжелая, невыносимо давит на кости, кости болят, ноет шея, немеют руки. Приходится часто сбрасывать флягу с себя и тащить по камням волоком, то длинными, то короткими рывками. Грохот и скрежет металла эхом скачут в каменном коридоре, семикратно повторяются, растут и, прежде чем куда-то исчезнуть, долго звучат то в правом, то в левом ухе. Все ниже нахлобучивает Хочалай свою войлочную шляпу, но гул в ушах не утихает. Он живет и после того, как Хочалай закончил дело. Упрямец навьючен, пощипывает травку, можно снова в дорогу, но Хочалай не может поднять себя с нагретого солнцем камня.

«Упрямец устал, – думает он, – пусть пощиплет травы, я немного посижу, времени еще много. Только не надо закрывать глаза». Потому что как только Хочалай закрывает глаза, тут же встает перед ним Хур-Хур, опускает на его плечи тяжелые ладони и тихонько клонит к земле.

– Полежи немного, – слышит он вкрадчивый голос Хур-Хура. – Камень под тобою такой теплый и гладкий...

– Не уговаривай, – отказывается Хочалай, – уйди, дай встать, я тороплюсь.

– Прогонишь сейчас – приду ночью, – грозится Хур-Хур. – Не спорь, поспи чуть-чуть, и снова тронешься в путь.





– Хитер ты, – качает головой Хочалай, – говоришь: чуть-чуть, а не постесняешься продержать меня на этом камне весь день. Не верю тебе, с тобой тоже надо быть похитрее.

Хочалай хитрит. Крепко обвязывает он свою левую ногу концом повода Упрянца и вытягивается на камне. Он знает, что будет спать, но не проспит. Как только Упрямец общиплет траву, тут же потянется дальше и разбудит его...

Засыпая, Хочалай видит у своей головы темные влажные губы Упрянца, слышит мерный хруст травы...

Будит его дождь. Тяжелые крупные капли падают на лицо, ползут по щекам, бьются о камень... И светит солнце. Неяркое и теплое, висит оно над извилистым нечетким горизонтом. Дождь ровный, мерно стучат капли, и по земле ползет мягкий шорох... Слепым дождем называют дождь при солнце. Почему слепой этот самый светлый, самый чистый, умывающий лик солнца дождь? Говорят, когда он идет, маралы в лесу рожают детей. Это дождь изобилия, он радуется всех. Хочалаю радостно. Он поднимает лицо, оборачивается, и щеки его начинают дрожать, губы вздрагивают и растягиваются в улыбку. За его плечами стоит радуга так близко, что, кажется, можно попасть камнем, если не бояться разбить ее на кусочки. А под радугой на крутом синеватом склоне, прижавшись друг к другу, стройные и высокие, серебрятся четыре стога, а вокруг них маленькие, как их дети, и круглые, как шапки кумыков, рассыпались копны. Почему они серебряные, удивляется Хочалай. Это все, наверное, дождь. От самого неба до земли протянулись его прямые нити, и на этих серебряных нитях, кажется, висит земля, вся тоже серебряная, с горами и лесом, с высокими стогами, с ним и с Упрямцем.

Радостно Хочалаю, не сходит улыбка с его лица. Сам он отдохнул, плечи его забыли тяжесть непокорных фляг, не болит натёртая старым сапогом нога, позади остаются Красные утесы, и впереди у них ровная, прямая дорога.

4

Над Боязиром догорает заря. Выпрямив в струну натруженный хребет и высоко забрасывая голову, карабкается по давно обкошенному желтому склону навстречу заре Упрямец. На макушке склона он останавливается, ловит раздутыми ноздрями запахи утра, прислушивается к звукам и незрячим взглядом обводит лежащее внизу ущелье, где ждет его ключевая вода и никем не тронутая зеленая-зеленая трава. Упрямец стоит неподвижно, потом вытягивает шею, поднимает к пламенному небу морду, кричит. По ущельям, балкам, по кряжистым хребтам, по всему еще не проснувшемуся Боязиру, забираясь все выше и выше, бежит густой, могучий, раскатистый рев.

О чем кричит Упрямец?





О том, что ждет его внизу еда и питье, что он развьючен и бока его дышат свободно? Или Упрямец хотел бы видеть свою жизнь вечно такою, как сейчас, и в реве его жалоба на бремя тяжелых грузов? Или, может, он просто по-своему, по-ослиному, благодарит судьбу за то, что это бремя не вечно?

Упрямец идет по вершине склона навстречу готовому взойти солнцу, все ускоряет шаг и, наконец, бежит, сначала рысцой, потом галопом, будто стараясь убедить себя в том, что легки и крепки его тонкие ноги...

В шалаше на пахучем сене лежит Хочалай. Раскинулся на спине.

Начинает всходить солнце. Роса поднимается в небо. С туманного холма спускаются, спешат к завтраку косари. Уже слышны их бодрые, громкие голоса. Хочалай хочет их дождаться, увидеть на их лицах одобрение, и он несколько раз поднимает руку, чтобы отодрать друг от друга неудержимо слипающиеся веки. Косари уже близко, они идут к нему, но впереди их и проворнее их неслышными, невидимыми шагами идет к нему Хур-Хур – счастливый богатырский сон.

И Хочалай не слышит и не видит, как Хайдар, присев на корточки, тихо улыбается и тихо шепчет ему на ухо, что Хочалай настоящий мужчина.





Серебряный дед

Мы жили на берегу Кубани, у самой кручи. Неподалеку от нас река раздвигалась. Правая половина текла прямо и быстро, левая сворачивала в сторону и тихо вползала в пасть старенькой мельницы, которая и днем и ночью глотала и не могла проглотить эту бесконечную голубую струю. Мельница была обыкновенной мельницей, какие нередко попадаются на всех горных реках, но мне она казалась таинственной и сказочной.

Сам мельник тоже казался мне волшебником, пришедшим из сказки. Весь убеленный прожитыми годами и густой мельничной пылью, он был точно отлит из серебра. Потому, видно, и звали его Серебряным дедом.

Серебряный дед ходил низко согнувшись, словно вечно искал под ногами потерянную молодость.

– Дедушка, почему ты такой кривой? – спрашивали его мы, дети.

– Это я однажды проглотил коромысло, – отвечал он, и широкая улыбка шевелила его усы и бороду.

Особенно старым и кривым он казался рядом с сыновьями. Было их трое – все взрослые, плечистые, угольноволосые...

Жил Серебряный дед с ними в небольшом домике, притулившемся к солнечной стороне мельницы. Летом домик исчезал в густом винограднике, безудержно наползающем на него с трех сторон, а осенью, когда виноград редел, он опять вырастал из земли и двумя своими окнами всматривался в аул, растянувшийся наверху, по надбережью. Между этими окнами, прямо на лбу домика, желтели, словно облитые золотом, большие оленьи рога. Когда-то один из сыновей Серебряного деда подстрелил в лесах Приэльбрусья старого оленя-самца. Мясо его дед раздал аульчанам, а рогами украсил свой бревенчатый домик, чтобы никогда не покидали его счастье и изобилие... Недаром Серебряный дед прожил столько лет: прибывая ржавым гвоздем рога, он твердо знал, что прибывает к своему жилищу счастье. И в самом деле, не было у него





с тех пор ни одного мрачного дня – все его уважали, достаток в хозяйстве был, сыновья радовали силой и удалью. Одно беспокоило – не было в доме заботливой женской руки с той самой дождливой осени, когда ангел смерти Азраиль забрал с собой его старуху.

– Хорошо бы женить сыновей, – стал поговаривать он. – Вот созреет урожай...

А урожай уже зрел: наливался ячмень, кукуруза выбрасывала розовые султаны, и в золоте тяжелеющих подсолнухов купались шмели. В горах, особенно на солнечных склонах, торопливо набирала соки трава, скоро, скоро должны были осыпаться лепестки ромашек. Каждое лето в эту пору Серебряный дед останавливал мельницу и уходил с сыновьями в горы на сенокос. Он и теперь приготовил четыре косы. Но косить не пришлось...

Грянула вдруг беда, потушила огонь в очаге старого мельника, развеяла радость и счастье по всему берегу, а я, восьмилетний мальчик, считал себя единственным виновником этой беды.

Как только сходил последний снег, и на берегу высыпали подснежники, мы, мальчишки, спустились к Кубани. Запруда у мельницы сдерживала быстроту воды, и мы целыми днями плескались в реке. Каждый полдень, когда ласковое солнце нависало над аулом, Серебряный дед, совершив обеденный намаз, приходил к нам.

Нравилось ему, когда двое из нас в тесном кругу болельщиков устраивали борьбу. Победитель надолго становился его любимцем. В это лето им был я, и старик даже подарил мне свою плетку. Я и сейчас помню зависть мальчишек в тот день и слова Серебряного деда:

– Что?! Завидуете, шайтаны! Клянусь – хорошо делаете. Добрая зависть – это конь, на котором можно далеко уехать.

Я был счастлив тогда, но один из мальчишек, смуглый цыганистый крепыш, отнял у меня мою славу, три раза подряд прижав мои лопатки к горячему песку. Серебряный дед и не посмотрел на меня, а сопернику моему обещал в подарок все, что он ни попросит. Тот был сильно смущен и только после ухода Серебряного деда вдруг заявил, что постарается получить в подарок от мельника оленьи рога. Его слова заставили нас обернуться к мельнице. В багрянце заката отливали золотом старые рога. Все почему-то на миг притихли, и в этой короткой тишине я внезапно поклялся себе, что они счастливицу не достанутся.

Когда наступила ночь и в ауле стало тихо, я осторожно спустился к мельнице. В доме Серебряного деда все спали. Я подкрался и протянул руку к рогам. Они оказались высоко. Разыскав какой-то бочонок и забравшись на него, я взялся за могучие ветви обеими руками и изо всех сил рванул их к себе. Старая кость, высушенная ветрами и солнцем, хрустнула, как стекло, и рога оказались в моих руках.



Только сейчас я задал себе вопрос: что делать дальше? Отнести рога домой? Нельзя. Спрятать где-нибудь? Могут найти. Недолго думая, я заторопился к реке и, размахнувшись, швырнул их в темную воду. Глухой всплеск, похожий на вздох, оттолкнул меня от реки. Я, не оглядываясь, бросился прочь, к аулу. Только на самой круче, у калитки своего дома, я остановился и перевел дух. С того берега выплывала луна, шумела Кубань, аульные собаки облаивали засыпающую долину.

«Зачем я потопил рога счастья?» – мелькнула у меня мысль, но только на мгновение. В то время я не думал о счастье, о нем начинают думать, когда оно покидает человека. Я же, как и все дети, был счастлив. Не знал я в ту ночь, что на следующий день детство мое кончится.

Утром в аул пришла весть – началась война. Никто нам не объяснил, что это такое, но мы, дети, поняли: случилось что-то очень страшное.

Через несколько дней аул провожал своих парней на фронт. На площади перед аулсоветом толпился народ. В середине толпы были будущие бойцы, а в их кругу стоял Серебряный дед.

– Джигиты, – говорил он громко и бодро, – когда приходит враг, мужчина берет оружие и встречает его – так было во все времена. Кто приходит с огнем – тот сам горит. Так было всегда. Побьете врагов и вы, только бейте их крепче и – назад... Сами знаете, скоро косить надо, а без вас какая косьба?! Берегите нашу землю, как честь свою, а честь – как жизнь свою. Пусть никогда не увидит враг хвосты ваших лошадей. Доброго пути вам, и да не возвратит вас Аллах без победы.

Серебряный дед обвел джигитов помолодевшим взглядом. Их было много. Впереди всех стояли три его сына. Многих обнял Серебряный дед, прощаясь, только до сыновей своих не дотронулся. Суров закон предков, но свят – не поддает мужчине на людях давать волю своим чувствам.

Не раз собирался еще народ у аулсовета – уходили на фронт все новые и новые люди. Много их ушло.

По утрам сходились на берегу старики, слушали новости, толковали свои сны. Тянулись один за другим тоскливые осенние дни, и в ауле росла неумная тревога.

Серебряный дед был первым, кого посетила беда. Разбирая письма с фронта, заведующий почтой, вечно хмурый горбун Ибрагим, заметил синенькую бумажку на его имя. Женщины, целыми днями торчавшие на почте, зашущукались, потом полилось тихое всхлипывание.

Горбун заерзал на месте.

– Не плачьте, перестаньте, – повторил он несколько раз и вдруг вскочил.

– Уходите отсюда все, – взвизгнул он фальцетом и заплакал, не стесняясь.

Старуха с широким лицом, в морщинах которого стояли слезинки, то ли себе, то ли горбуну в утешение сказала:



– Да попадет его душа в рай, и да возвратит Аллах старику двух других живыми.

– Вы ничего еще не знаете, – простонал горбун, – смотрите... Это тоже мельнику. Я никому не говорил...

Длинная рука его нырнула за пазуху и вынырнула с двумя похоронками – такими же маленькими бумажками, как и первая.

Гибель сыновей от старика скрывали тщательно, а он каждый день приходил на почту за письмами. Ибрагим старался встречать его спокойно и даже шутил:

– Не пишут тебе, думают, и не надо. раз отец читать не умеет. Придется тебе на старости лет учиться грамоте.

– Зачем это, встретимся – сами все расскажут, – отвечал тихо Серебряный дед и сидел у Ибрагима до самого вечернего намаза.

Последнее время он подолгу не сходил с молитвенного коврика.

Потом Серебряный дед начал получать письма.

К концу осени он заболел и перестал приходиться к Ибрагиму. Когда ему становилось немного лучше, он подходил к окну, чтобы посмотреть на уходящую осень. Виноградник под окном редел и сползал с крыши. Желтые листья его были совсем еще свежи, но сохли и умирали быстро – видно, близки были опустившиеся с гор холода.

По ночам мельницу обдувал порывистый ветер, выл в трубе, крутил золото листьев над рекой. Не приходили уже на хмурый берег мальчишки, и там, у запруды, где они купались все лето, теперь ленивые гуси вылавливали червей.

А я к мельнику спускался каждый день. Встречал он меня обычно лежа. Вынув из-под подушки кипу писем, я спрашивал, какое читать. Любое, отвечал он, и я по слогам читал все письма подряд и всегда радовался и удивлялся тому, что он, такой умный и проницательный, никак не догадается, что эти письма, мусоля огрызок химического карандаша, сочиняет горбатый Ибрагим...

Старику становилось все хуже. Он таял и сох на глазах, и все понимали – недолго протянет мельник.

– Может, лучше сказать ему о сыновьях, – предлагали одни.

– Нет, – говорили другие, – трудно человеку, потерявшему надежду, уходить на тот свет, ведь и на этом свете жилось ему худо...

И вот в одни из дней стал готовиться больной старик к смерти. К мельнице потянулся весь аул.

– Хочу последний намаз совершить под открытым небом, – сказал умирающий, и его вынесли во двор.

Светило солнце, от земли шел пар, а к реке, как овцы на водопой, спустились белые облака...

Вдруг Серебряный дед оборвал молитву, встрепенулся: по скалистой тропинке, смешно разбрасывая ноги, бежал Ибрагим.





Развернув на бегу бумажный треугольник, он сел рядом с мельником:

– Слушай, старый... письмо – скоро приедут.

Голос его задрожал, он закашлялся. Этот несчастный с детства человек хотел осветить последние минуты жизни другого.

– Подожди, не читай, – остановил его Серебряный дед. – Скоро я их встречу сам.

Собрав последние силы, он забросил руки за плечи горбуна и, прильнув к нему всем телом, прерывисто заговорил:

– Душа моя, спасибо. Я все знаю. Ты плакал, я стоял у двери тогда, на почте. Я все знаю, – повторил он еще раз.

До этого я стоял притихший, пораженный приближением человеческой смерти, эти слова больно хлестнули меня.

– Это я, – закричало во мне что-то, – я бросил рога в воду... Из глаз моих лились слезы.

Толпа вздрогнула от моего крика, а Серебряный дед повернул голову в мою сторону и прошептал:

– Прощай, сынок... Ты очень сильный. Ты добежишь скорее всех... Прибеги ко мне, как только война закончится. Крикни у моего камня – кончилась... Обязательно прибеги, чтоб я спал спокойно.

Это были его последние слова. Прошло много лет, как я прибежал к его могильному камню и крикнул, что война кончилась... Ее нет... Спи спокойно, дорогой мой человек, – Серебряный дед.





Алибек – сын Дымаласа

Кто ни глянет на него, сразу думает: вот занятный парнишка, наверное, русских родителей сын. Ошибка выходит. Потому что он чистокровный карачаевец.

Бабушка зовет его то «душа моя», то «свет глаз моих», то «око мое», потому что очень любит. Мать зовет его «кормилец наш», потому что он единственный в семье здоровый мужчина.

А для всех остальных, если не считать старого Абдуллу, он просто Алибек.

Старый Абдулла, дальний родственник их и ближайший сосед, совсем чудное имя придумал ему – Салам Шайтан. Салам Шайтан – значит Соломенный Шайтан. Конечно, каждому интересно знать – почему шайтан? Да еще соломенный?!

– Тебя, мальчик, кто-нибудь видел спокойно сидящим или стоящим на одном месте? – любил повторять Абдулла. – То там ты, то здесь, то опять там. Носишься туда-сюда, а потом сюда-туда. Так кто же ты такой, если не шайтан?! Оллахий, шайтан, сокруши меня Аллах... И не простой такой шайтан, какие они обычно бывают, – рогатенькие, волосатенькие, черненькие-черненькие... Соломенный ты... Посмотри-ка, какая у тебя голова? Не говори умная – не об уме речь. И кто только такой цвет волос придумал? Горят золотым огнем, как свежая солома на солнце... Точно скирда твоя голова, только, понятно, поменьше и покруглее...

Не обижается Алибек.

Если Абдуллу послушать, у него все в селе шайтаны... Внук хромого сторожа Заур окрещен им Шайтан-скелетом. Потому что Заур тощий. Есть у Заура двоюродный брат, полная ему противоположность, – он Шайтан-бочка. Харун, сын кузнеца, за смуглость щек и угольную черноту волос получил имя: Шайтан из трубы. Труба, конечно, имеется в виду дымоходная. Не обижается на Абдуллу Алибек. Привык. Только вот когда Абдулла имя его отца забывает, Алибек сердится. Отца Алибека зовут Умар, всем это прекрасно известно. Значит, хо-





чешь если по-карачаевски сказать, выходит: Алибек Умар улу, а Абдулла ни с того ни с сего придумал Алибеку совсем неподходящее отчество – Дыгалас улу. Кому это понравится?! Слово такое невеселое. Дыга-лас! – обидно звучит. Выговаривать неохота, слушать тоже. Конечно, все знают, что такое «дыгалас». И объяснить это можно просто. Встретит карачаевец карачевца:

- Салам алейкум, алан!
- Алейкум ассалам!
- Как жизнь твоя?
- Не спрашивай – отвечать не хочется. Дыгалас моя жизнь... А твоя, алан?
- Тоже дыгалас!

Все ясно. Обоим туговато приходится. Или нездоровится, или сено кончилось, нечем козу накормить, или мука на исходе... Одним словом, «дыгалас» можно понимать как несладкую жизнь, а тогда, выходит, Дыгалас улу такой смысл имеет – сын Несладкой жизни. Почему он, Алибек, сын Несладкой жизни? Трудно понять Абдуллу. Об этом не раз думал раньше Алибек, думает и сегодня, с той минуты, как они выехали из села...

Выехали они рано. Бабушка еще не приступала к первому, утреннему намазу, который должен совершаться в самом начале рассвета, когда белую нитку от черной отличить никто бы не взялся, а их сани уже были готовы в путь...

Сейчас они едва ли на десятую часть укоротили свою дорогу. Абдулла же успел назвать его и Соломенным Шайтаном, и сыном Дыгаласа... Плотно сомкнул губы Алибек, заметно надул щеки и едет, помалкивает. «Еще раз назовет этим скверным словом, молчать больше не буду», – думает каждый раз Алибек и каждый раз не решается выказать недовольство вслух. Не потому, что смелости не хватает, – потому, что любит Абдуллу, уважает.

Незаметно, потихоньку отодвигается он от Абдуллы, так же незаметно поворачивается к нему спиной и, плотнее запахнув свою шубенку, смотрит, как за ними нескончаемо бегут два четких дружных следа на утреннем мягком снегу...

Сани скользят легко и бесшумно. Старый, жилистый конь, звучно ёкая селезенкой, мчит их бодрой рысью по спящей зимней дороге, по бескрайней спящей степи.

Кругом снег и снег... Сейчас под этим светлеющим небом он не белый. Он желтоватый, как густое молоко, спокойный... Пока не выглянет солнце, на него приятно смотреть, а когда солнце поднимется, снег под его горячим лучом точно загорается: вспыхнут, побегут по снегу миллионы маленьких ослепительных искр, и глазам смотреть больно.

– Спишь? – не оглядываясь, подает голос Абдулла, – или просто от скуки притих?

Не отвечает Алибек. Молчит, смотрит в тихую степь и о чем-то думает. Легко и хорошо так, когда не знаешь сам и не хочешь знать, о чем именно думаешь, а мысль твоя сама по себе летит, перескакивает с одного на другое. Может, она



в это время стремится что-то понять, во что-то проникнуть, что-то постичь, но тебе самому это неизвестно. Может, в эту минуту ей интересно, почему снег такой желтоватый? Или почему он холодный? Или почему так бескрайна, безначальна эта ровная-ровная степь? Где-то есть ей конец, но где? Куда приедешь, если старый Абдулла вот так, без усталости, привычно будет помахивать длинным кнутом, а старый жилистый конь, понукаемый им, тоже без усталости, не сворачивая ни влево, ни вправо с этой прямой, как стрела, дороги, будет мчать их сани все время вперед и вперед? В конце концов, дорога упрется, наверное, в горы, высокие-высокие, крутые-крутые, где ни пройти, ни проехать – только пролететь можно... Почему, интересно, в горах не растет камыш, как говорил Абдулла? У нас растет... Густо растет, все село возит его из Волчьей балки домой, и всем хватает. И печки топят им всю зиму, и крыши домов им покрывают, и заборы из него вокруг домов ставят, и разные циновки из него делают, и на всякую другую нужду рубят, режут, косят, а его от этого не убывает. И как люди в горах живут, если не растет там камыш?.. Чем крыши кроют, чем печи топят? Спросить бы Абдуллу, но Абдулла думает, что он спит, пусть так и думает... Хотя вряд ли его обхитришь, он и затылком видит...

– Ну что, мальчик, притих, холодно тебе? – не оборачиваясь, спрашивает он, словно подтверждая правоту Алибека. – Крепись, Соломенный Шайтан, скоро солнце придет – стужу прогонит... Тепло будет сегодня, смотри, какое пламя зреет там, на краю...

Тонкая золотая линия легла на восходе, четко отметив границы земли и неба, и снега на том краю степи были уже схвачены алым мерцанием... Оттуда навстречу их старому вороному коню медленно выползло молодое, ясное утро.

– Будет снег, – сообщает, глядя на эту золотую полосу, Абдулла, – большой снег! Буран может подняться...

Если Абдулла сказал, значит, будет: рано утром он точно знает, какой придет вечер, а вечером – какое наступит утро, Алибек в этом не сомневался.

– Но ты не бойся, Дыгалас улу, – продолжает Абдулла. – До вечера ничего не случится, а вечером ты уже будешь дома. И я к своим овцам успею. Хорошо говорили старики: «Кто раньше с постели поднимется, у того раньше кобылица ожеребится». Поленились мы с тобой пораньше подняться, пораньше и дело успеем сделать. И нечего нам бояться буранов, когда дело сделано будет, правда ведь?

Правда! Бурана бояться нечего, если он начнется вечером. К полудню они накосят камыша, свяжут снопы, уложат на санях, и Алибек повезет его домой. Абдулла пойдет дальше, на старые фермы, где зимуют колхозные овцы, за которых Абдулла, по собственному признанию, «отвечает своей седой головой и зимой, и летом». К вечеру и Алибек привезет домой камыш, и Абдулла успеет накормить, напоить своих овец. Все это так будет. Но до каких пор Алибек будет не сыном Умара, а сыном Дыгаласа?



Если бы на месте Абдуллы сидел сейчас другой человек и если бы этот человек назвал Алибека сыном Дыгаласа, Алибек сказал бы тому человеку, что он сам такой. Абдулле так не скажешь. Нехорошо получится.

И Алибек молчит. То песню мурлычет Абдулла, то что-то скажет, то спросит что-нибудь, будто про себя...

Давно уже встало солнце, но степь еще не проснулась. Все молчит, все спит. И дорога, и безлистые деревца-одиночки, и редкие низкорослые кустики, и холмики, и еле заметные впадинки – все замерло, все застыло в этом белом холодном царстве. Ни звука, ни движения, только полозья шуршат по снегу, только конь старый посапывает, ёкает нутром, стучит копытами, да старый Абдулла с большими перерывами вдруг начинает еле слышно мурлыкать всегда одну и ту же нескончаемую непонятную песню, из которой Алибек улавливает лишь одно: «Орай-да-рий-да-ра-ра-ра! Эрий-ра-ра-ра-о-рай-да!»

Недружная стая ворон, пронзительно каркая, поднимается и неохотно отлетает всего на несколько шагов от саней, когда они подъезжают к железной дороге. Ленивые мирные птицы, кажется, единственное, что живет и дышит сейчас в степи.

Влево от переезда, в трехстах шагах – пруд. Когда-то был большой, теперь обмелел. По берегам его стоят заснеженные тополя и вербы, и над замерзшей водой белеют рядом три дома. Один, тот, что посредине, – побольше, два по сторонам – поменьше. Это место называют в селе Водоемом. На Водоеме раньше, когда по железной дороге бежали поезда, былолюдно. Потом постепенно люди стали уходить, и остались там только старик – путевой обходчик с дочерью. Алибек знает: старика все зовут Моргунов, и все его в селе дружно боятся... Хотя железная дорога, как говорили, уже не нужна ни людям, ни поездам, Моргунов продолжал за ней следить, стеречь ее. Повесив на плечо ружье, он, как и прежде, ежедневно прошагивает по ней много километров. Все равно дорогу потихоньку, помалу разоряли: то одна шпала вдруг исчезала, то две, но если бы не было Моргунова, от железной дороги давно осталась бы одна только насыпь. Раньше, бывало, Алибек видел на Водоеме то самого Моргунова, то дочь его, то какого-нибудь гостя или путника, завернувшего к старику на отдых. Из-под ворот большого дома с хриплым, неусердным лаем вылезал лохматый бесхвостый пес и на всех лаял однообразно и скучно, словно сам понимал, каким бесполезным, ненужным делом занимается.

Сейчас Водоем тоже весь замер. Ни ветка тополиная не качнется, ни верба сухим стволом не заскрипит...

Лишь через некоторое время, когда они отъезжают от Водоема на порядочное расстояние, мертвый покой Водоема оживляет горластый петух. Огненно-рыжий, будто клоч самого пожара, он взлетал на перекладину ворот и, чему-то радуясь, быстро хлопал крыльями, старательно выводя восторженное: «Ку-ка-ре-ку!!!»





Абдулла даже вздрагивает – так резок этот крик. Оглянувшись назад и не отрывая взгляда от петуха, Абдулла удивляется:

– Посмотри на него. Как запел. Неплохо горло просверлено. Тебе, мальчик, радуется. Рыжий, значит, рыжего увидел!..

Может, и улыбнулся бы сейчас Алибек, может, тоже как-нибудь пошутил, но сдерживается, плотнее сжимает готовые к улыбке губы и надувает щеки. Он не желает больше скрывать, что давно уже недоволен Абдуллой. А тот как ни в чем не бывало отвернулся и снова мурлычет свое: «Орай-да-рий-ра-о-рий-ра...» И так до самой Волчьей балки... Слушает эту песню и конь, которого распрягает Алибек, и солнце, поднявшееся уже высоко, и стальная коса, которую ловко правит Абдулла, и высокий густой камыш, которому суждено испытать сейчас остроту этой косы, и вся Волчья балка, по горло сытая тишиной и покоем уже с самых первых дней прихода зимы.

Весной, летом и осенью Волчья балка – самое веселое, самое шумное место в этой громадной бескрайней степи... Здесь кишмя кишит все живое, начиная от серого хищника – волка и кончая крохотной букашкой, едва различимой в траве. Лягушка и журавль, лисица и змеи, шакал и дикая утка, бобер и комар, кулик и всякая другая болотная дичь – пестрый народ здесь живет, удивительно разный и повадками, и шкурой, и перьями, и чем хочешь. Разные песни, разные голоса, разные праздники в Волчьей балке летом и осенью. Все по-своему ссорятся, по-своему мирятся, по-своему свадьбы устраивают... Да, здесь много звуков, цветов и красок летом и осенью. А зимой, когда все цвета перекрывает один белый цвет, когда внезапно умолкают визг, писк, гам, гвалт, и вместо всех звуков приходит тишина, – Волчья балка самое скучное место. Желтая осока постепенно никнет и засыпает под снегом, вода замерзает, камыш сиротливо стынет во льду, отражаясь в нем, как в зеркале...

Мерзлый стебель камыша становится зимой хрупким, как стекло звенит, падая под ударами косы...

– Такой камыш можно и палкой косить, – шутит Абдулла, все ускоряя взмахи косы... Каждый взмах его – готовый сноп. Алибек еле успевает связывать их заранее свитыми из осоки веревками... Пальцы обеих рук заоченели, холод камыша, кажется, весь перешел в них, зато тело горит. Алибек чувствует, липнет к спине мокрая рубашка. Вспотел Абдулла: из-под самых краев косматой шапки, точно из-под крыши котелка, где варят картофель, легкими клубами выходит пар...

Солнце еще не успело добраться до середины неба, когда, уложив на саях больше ста снопов и увязав их жестким арканом, Абдулла и Алибек садятся обедать.

Обед незатейливый, небогатый, но после хорошей работы кажется необычно вкусным... На белом снегу – белый аккуратный платочек, на платочке две желтые кукурузные лепешки, головка чеснока и соль...





– Бисимилля! – произносит громко Абдулла и отправляет в рот сразу одну треть своей доли.

– Бисимилля, – повторяет вслед Алибек и отправляет в рот тоже немаленький кусок лепешки.

Улыбается Абдулла и, проглотив наконец-то, что так долго жевал, говорит:

– Заметил ли ты, Соломенный Шайтан, что сегодня тебе не до разговоров?

Это первое твое слово за целый день.

– Угу! – продолжает жевать Алибек.

– Что «угу»?

– Заметил.

– Угу! – проглатывает очередной кусок Алибек.

– Что «угу»?

– Таким расту...

Абдулла перестает жевать, смотрит, удивляясь, в глаза Алибеку.

– Что случилось, мальчик? Почему ты такой мрачный, а? Ишак что ли у тебя подох?

– Нцэ! – цокает языком Алибек и отрицательно качает головой.

– Что «нцэ»?

– Не подох...

– Да, что же ты, а? Не желаешь со мной говорить? – говорит Абдулла и кладет назад, на платочек последний кусок своей лепешки. – Что случилось?

– Ничего. Моего отца зовут Умар. Я сын Умара.

– Ну и хорошо. Будь им... В чем же дело?..

– Не нравится мне то слово...

– Какое слово?

– Дыгалас.

– А-а! Э-э! – тянет Абдулла.

Оба жуют молча. Оба молча заканчивают обед, встают и идут к саням... И только когда Алибек взобрался уже на сани и взял в руки вожжи, Абдулла протягивает ему кнут, открывает рот.

– Хорошей тебе дороги, мальчик, – говорит Абдулла. – Езжай спокойно, не очень гони коня. Быстро устанет. Перед мостом дай ему немного отдохнуть, подъем, хотя и маленький, коню нелегко будет – скользко: подковы стерлись, не держат... А на меня не сердись, – добавляет Абдулла, немного помолчав. – Ладно? Хорошее имя у твоего отца, и сам он золотой. И ты, мальчик, знаю, достоин называться его именем. А про то слово мой язык забудет... Это я просто так, потому что несладкая у тебя, в самом деле, жизнь, у друзей твоих тоже... И ты, и Шайтан-бочка, и Шайтан-скелет, и Шайтан из трубы – все вы сыновья несладкой жизни. Что ж поделаешь – время такое, война! Всем вам отец – Дыгалас. Горько это, тяжело, но ничего оскорбительного здесь нет. Если подумать, в этом даже хороший смысл имеется: сыновья Дыгаласа никогда слабенькими,





плохонькими мужчинами не вырастут... Дыгалас их и рано вставать и поздно ложиться научит... Так думаю я, человек с белой, длинной бородой...

Еще что-то хочет сказать Абдулла, но не говорит, поднимает и быстро опускает правую руку, как будто отмахивается от какой-то своей новой мысли... Потом еще раз машет рукой, это уже для Алибека, и, круто повернувшись, уходит...

Смотрит ему в спину Алибек и молчит...

Смотрит, как по скучной степи усталым шагом все дальше и дальше уходит старый человек. Старый, усталый человек, который всем всегда помогает и которому никто не догадается, вот как он, Алибек, сказать спасибо.

Смотрит Алибек, как все дальше и дальше уходит в белую степь человек с белой бородой, и хочется ему громко, очень громко крикнуть вслед: «Абдулла! Я не сержусь на тебя, Абдулла! Слышишь?! Я люблю тебя, Абдулла!...»

Но кричать о том, о чем не смог сказать, еще труднее.

На этом месте можно было бы кончить рассказ о том, как рыжий мальчик Алибек ездил за камышом. Раньше каждый раз все интересное случалось до этого, а дальше бывало просто: он добирался к вечеру домой, сгружая камыш, отводил коня к хозяину и ложился, заработав полное право на сон и покой.

На этот раз ему не повезло.

Ничего, к счастью, страшного не случилось. Просто солнце принялось греть необычно ярко. Снег из-за тепла начал таять. Дорога стала от этого хуже. Появились на ней проталины, которые никак не нравились коню, впряженному в сани...

К концу дня путь должен был стать легче, потому что солнце скрылось. Но мороз пришел слишком крепкий и вместо добра принес зло. Талый снег замерз и покрыл дорогу тонким льдом. Для коня – это другая беда. Железо подков скользит по льду, и конь копытам своим не хозяин, разъезжаются они в разные стороны.

Дорога – хоть плачь.

Вечер застает Алибека не в селе, а в самой середине пути – у моста. Речушка мелкая, вода в ней давно замерзла, но оба берега ее крутые, и проехать можно только через мост. Перед мостом дорога горбится – идет на подъем – и обессилевший конь не может перетащить сани через этот горб. Каждый раз срывается он на последней точке подъезда – не держат его подковы, и он вместе с санями съезжает назад. Конь усердствует, дымится пар на его боках. Он не волынит, он старается, ему самому скорее хочется в село. Алибек видит это, и все же решает, не со зла, а чтобы прибавить духу, подействовать на коня кнутом. Он долго и внушительно крутит кнут над головой, а потом два раза хлещет им по тугому потному крупу. Круп – самое невольное место коня. Алибек это знает. Когда коня хотят обидеть, сделать ему больно, его бьют по хребту, по бокам. Бьют некоторые по голове.



Не понял конь Алибека. Даже очень легкие удары причиняли, наверное, сильную боль, если незаслуженны. Не понял конь – повернул голову назад и смотрит с укором.

«Эх ты!» – как будто говорят влажные глаза его. Эти два произнесенных слова бьют Алибека сильнее кнута. Конь долго не отворачивается, смотрит влажным взглядом до тех пор, пока Алибек не опускает смущенных глаз. И только после этого, собрав все остатки сил, пытается конь еще раз одолеть подъем, и снова не может. Подковы слова предают его.

Алибек понимает: единственный выход теперь – сгрузить камыш и по частям перевезти его за мост.

Если бы с самого начала не поленился Алибек и принялся за дело, сейчас они уже были бы за мостом. Много времени и сил потеряли без пользы. Сознание этого заставляет Алибека торопиться. Он сбрасывает с саней камыш, перевозит за мост, может, всего лишь одну пятую часть, потом сразу гонит коня назад за новыми снопами...

Вечер давно ушел, и над степью уже царит долгая морозная ночь. Алибек это замечает только тогда, когда заканчивает дело. Подъем позади, камыш снова уложен, снова перехвачен крест-накрест жестким арканом, можно бы трогаться в путь: ничто теперь – ни спуск, ни подъем – не помешает... Скорее бы снова в путь, но для этого теперь недостает одного – единственного – коня!..

Последние снопы укладывал Алибек, конь был, стоял позади саней, перебирал губами листья камыша – они тоже утоляют голод, когда ничего другого нет, только надо искать и находить листья посвежее, помоложе, сочнее...

«Где-то около бродит, – успокаивает себя Алибек, – должен вернуться... Не может ведь бросить меня одного здесь, на полпути...»

И ждет. Ждет долго. Потом, решив, что конь, наверное, пошел напиться, Алибек отправляется вниз по течению оледеневшей речушки. В узкой лощине бьет маленький ключ – не замерзает и в самый сильный мороз... Нет и здесь ни коня, ни следов копыт: снег вокруг родника твердый, ровный, нетронутый.

«Обиделся, – решает Алибек, – не смог простить и ушел в село один».

Алибек вздыхает. Эх ты!.. Что же мне теперь делать... Надо догонять тебя, притопашь без меня домой – переполох устроишь... Бабушка, пожалуй, плакать начнет, почудится ей самое разное... «Погубили мальчонку, – начнет всхлипывать она, – погас свет моих глаз. Беда случилась, люди! Конь один домой пришел...» Весь народ среди ночи может поднять бабушка, все село может отправить па его поиски. Мать плакать не будет, мать никогда не плачет, мать кусает нижнюю губу и терпит. Чем сильнее надо плакать, тем сильнее прикусит губу и терпит... Когда отец вернулся с войны, слез и тогда не было у матери – была только кровь на губе. Слезы, говорит она, у нее давно кончились, высохли все. Такая была судьба ей написана. И обе сестренки слез не покажут, сядут рядышком, прижавшись друг к другу, и сухие большие глазенки их, та-



кие же синие, как у него самого, будут с любопытством и ожиданием смотреть то на бабушку, то на мать, то на отца... Бабушка и мать тоже будут с ожиданием смотреть на отца, а отец ничего им не скажет. Утешать не станет. Алибек ясно представил и молча сидящего своего отца. Подбородок его лежит на двух кулаках, лоб озабоченно, тревожно нахмурен, а глаза закрыты. Если у отца тревога, он всегда закрывает глаза и, кажется, тогда все хорошо видит. Сейчас неподвижно сидящий отец сквозь плотно сомкнутые веки видит, наверное, только одно – его, Алибека, дорогу... зимнюю, долгую, нелегкую дорогу, которую не сумел до сих пор, до этого позднего ночного часа, одолеть его единственный сын, единственный в их семье, после него самого, мужчина...

Шаг за шагом, версту за верстой мысленно проходит сейчас эту дорогу отец, идет по узкому санному следу, чтобы увидеть, где этот след оборвался, какая беда приключилась, почему застрял в пути его сын... Хорошо спрятал от женщин свое беспокойство отец, но лицо его такое белое и напряженное, так близко видит его Алибек, что хочется крикнуть, сильно крикнуть, так крикнуть, чтобы слова его сейчас взвились над степью, над снегами и сквозь ночь, сквозь темноту долетели до их низенького домика, до родных людей.

– Я здесь, я цел, никакой беды нет, просто, конь ушел... Стоит он сейчас, наверное, во дворе Мамет-хана и раскаивается, что ушел... Я не буду стыдить его, я сам виноват, я просто выведу его со двора, ничего Мамет-хану не скажу, если не спросит сам, а если спросит, все объясню, и не станет он меня осуждать, не будет думать, что у Умара бестолковый сын...

Перед Алибеком из ночи всплывает доброе лицо Мамет-хана, красиво заросшее белой, как у Абдуллы, бородой...

Давно уже шел большой снег.

– Как я сразу его не заметил, – удивляется Алибек. – Абдулла обещал – он идет. Хорошо еще, что бурана нет...

Не замедляя шага, он вытягивает обе руки ладонями вверх и чувствует, как на них тихо ложатся невидимые в темноте белые пушинки. Темно и тихо. Так тихо, что, кажется, можно услышать падение снега.

Почувствовав тишину, Алибек внезапно останавливается. Неладное что-то творится вокруг. Почему до сих пор нет села? Почему ничего впереди не видно и не слышно? Если бы сейчас блеснул в каком-нибудь далеком окне свет, если бы тявкнула лениво собака... Но ни огня, ни звука. Сколько ни приглядывайся, ни прислушивайся – темень и безмолвие, и черный снег...

Алибек почти бежит, но снова останавливается, совсем сбитый с толку: под ногами вместо привычного хруста глубокого снега резкий скрип гравия... Откуда в ровной-ровной, гладкой-гладкой степи этот скрипящий и уползающий из-под ног гравий?.. Это может быть только насыпь железной дороги. Алибек, не веря себе, наклоняется, роется в рыхлом снегу, руками ощупывая все вокруг. Так и есть – под ногами железная дорога – мелко дробленный камень, крупный





песок, шпалы и рельсы... От железной дороги до дома всего час-полтора хорошей ходьбы. Алибек не понимает, как он мог около двух часов тому назад уйти от неё и снова вернуться к ней.

Может, все это снится, думает он, но снова ощущивает под снегом рельсы и шпалы. Руки окоченели, он их прикладывает ко лбу и стоит, не шелохнувшись, один в бескрайней безначальной степи, на никому уже не нужной, никуда не ведущей железной дороге, под беззвучно летящим снегом...

Он замечает, как в голову против его воли начинают лезть мысли о злых духах, о шайтанах, уводящих путников с дороги, чтобы их погубить...

Вспоминается ему рассказ бабушки. Дед ее вот такой же темной ночью спустился с горного коша домой, заблудился, мороз крепкий был, – стал замерзать, и вдруг, увидев в стороне огонек, повернул коня к нему. В хорошо протопленном просторном доме, невесть откуда взявшемся здесь, в глуши, сидели его близкие друзья, знакомые, люди из его аула. Они сидели полукругом у очага, а над ярким огнем в большом котле, вкусно дымясь, варилось мясо. Дед бабушки был так голоден и так озяб, что ни о чем не задумываясь сердечно приветствовал сидящих и сам, усевшись в их кругу, стал греться и ждать, когда будет готово мясо. Текла мирная дружеская беседа у огня, ни о чем подозрительном, нечистом дед и не помышлял, и лишь когда ему протянули горячую баранью лопатку и дед, макнув добрый вкусный кусок мяса в чесночный соус на айране, поставленный перед ним на серебряном блюде, хотел было отправить его в рот и, как всякий правоверный, приступающий к еде, произнес перед этим одно лишь слово «бисимилля!», как упала повязка с его глаз, и он понял, что его попутала нечистая сила.

Дом, показавшийся ему просторным и жилым, был просто большой каменной пещерой, баранья лопатка в его руках оказалась мерзлым комком ослиного помета, а милые друзья его были просто черти. Черные, волосатые, козлоногие черти. Дед успел заметить – все они глядели на него горящими глазами и противные их желтые зубы были оскалены. Они беззвучно хохотали, радовались, что чуть не одурачили доброго мусульманина, но как только было произнесено святое слово «бисимилля», их рожи помрачнели, глаза потускнели, поднялся вихрь, закружил снег, скалы загрохотали, и черти, скуля, воя и ругаясь нехорошими словами, взвились вместе с вихрем и исчезли в крошечной темноте... Конь деда стоял не под навесом у коновязи, а под открытым беззвездным небом, над бездонной пропастью: сделай шаг – и все пропало, и повод его был привязан не к толстому дубовому колу, а к былинке, качающейся на ветру у самого края пропасти...

Алибек ясно испытывает искушение: произнести сейчас это волшебное слово «бисимилля!» и посмотреть – не исчезнет ли вдруг из-под ног его железная дорога... С трудом удерживает себя Алибек. Он понимает, что просто сбился с пути. Ему казалось, что он идет по прямой дороге, а он просто сошел





с нее, взял чуть влево или вправо и, сделав круг, вернулся назад. Теперь надо отыскать дорогу, она начнется с переезда, и идти все время вперед, не теряя ее, и тогда придешь только домой, и никуда больше...

Сказать легко было. Дорога найдена, Алибек снова шагает по ней, но трудно ее не терять: она вся хорошо покрыта снегом и никак ее не отличить от остальной заснеженной степи. Как ни старался Алибек идти прямо, все равно уходит от нее в сторону. Иногда, кажется, она сама уходит от него в сторону, не сама уходит, а маленькие, невидимые черти увлакивают ее из-под ног. Иногда к Алибеку приходит желание резко оглянуться назад, но стыд перед самим собой удерживает его. Он хорошо понимает, никаких чертей за его спиной нет. Он это хорошо понимает, но желание оглянуться не исчезает. А иногда оно сменяется другим желанием – не оборачиваясь, внезапно лягнуть, как конь, в темноту сзади. Сделай он это, и тогда, кажется, оледеневшая подошва его большого кирзового сапога непременно ударит в лоб и порядком ошеломит одного из чертей, никак не ожидавших такой шутки. Хорошо было бы, ну а если чертей нет?!

Спокойно старается шагать Алибек, как ни в чем не бывало. И даже песенку Абдуллы принимает мурлыкать: «Орай-да-рий-да-ра-рий-ра-ра!»

Пройдя десяток метров, он ощупывает руками дорогу – на ней один слой выпавшего сегодня снега, а если сошел с нее, будет два слоя – сегодняшнего рыхлого и под ним старого, давно выпавшего и заметно твердого. Долго идет Алибек, крепко держит дорогу и все же, сам не зная как, опять ее теряет. Он вновь старается нащупать ее руками, и влево тянется, и вправо, долго идет, но на этот раз, видимо, слишком далеко от нее ушел – не находит. И он замирает на месте...

Валит снег. Темно и тихо. Стоять вот так, одному, посреди безмолвной степи, скверно. Идти, не зная в какую сторону, – тоже скверно: может, дальше уходишь от того места, куда нужно идти?

Алибек стоит долго. Опять ему хочется посмотреть, что творится за спиной. Может, сейчас, встав полукругом, глядят ему в спину горящими глазами и, оскалив рты, беззвучно ржут маленькие и большие черти, те самые черти, которые чуть не накормили когда-то бабушкиного деда ослиным пометом?

Ждет Алибек, не поворачивается. Стоят – пусть стоят, ему от их присутствия не тесно, места в степи разве не хватит?! Ему совсем все равно, стоят ли они или не стоят, интересно одно – скалят ли они сейчас зубы, смеются ли над ним или просто стоят и молчат?! И что они станут делать, если он сейчас повернется к ним лицом?

Надо все же посмотреть, решает Алибек и, сняв почему-то свою косматую шапку, старательно стряхивает с нее снег, комкает ее и, сам не зная почему, перекладывает с правой руки в левую, потом с левой опять в правую и только после этого в мгновение ока поворачивается назад: конечно, их нет, он знал. Сколько ни смотри – их нет. Он даже делает несколько шагов вперед, чтобы





лучше убедиться, что их нет, и в это время далеко от себя в темноте смутно видит какое-то пятно. Это, конечно, не черт, но что это? Пятно движется и растет, идет в его сторону, и Алибек уже явственно слышит даже скрип снега.

Всякий зверь может бродить в степи. И волк, и медведь. Но волки обычно рыщут стаями, не в одиночку. А медведю что сейчас зимой здесь нужно – он зимует, не вылезая из берлоги... «Может, это конь возвращается, – вспыхивает радость в Алибеке, – совесть в нем, может, заговорила...» Нет, к сожалению, это не конь, шаги не те...

Алибек ложится на живот и, припав ухом к мягкому снегу, слушает; сейчас уже можно не сомневаться: идет не конь, похоже, идет человек... Все яснее, все четче вырисовывается человеческая фигура из темноты, и чем она ближе, тем спокойней становится Алибеку. Человек почти рядом. Алибек поднимается навстречу ему, но человек не замечает Алибека и проходит стороной... Проходит совсем близко, в двух-трех шагах, и снова его начинает поглощать темнота, из которой он только что возник...

Человек уходит все дальше, еще минута, и он исчезнет...

– Эй! – резко окликает уходящего Алибек.

Человек останавливается и стоит как вкопанный. Долго стоит, потом идет дальше.

– Эй! – еще раз кричит Алибек.

Человек снова останавливается. Стоит не шелохнувшись. Когда он опять трогается с места, шаги его становятся гораздо длиннее и быстрее. Попросту говоря, человек, кажется, бежит.

Алибек понимает: надо сейчас придумать что-нибудь кроме этого глупого «эй!»

– Эй! – кричит он. – Коня ищу. Не видел?! Коня, говорю...

Человек останавливается и ждет, пока к нему подходит Алибек с вполне подходящим для этого случая обычным у карачаевцев приветствием:

– Да будет тебе удача в твоём пути, алан... «Пребывай в здравье», – должен бы ответить человек, но он молчит, ни звука не издает, кажется, даже не дышит.

– Да сопутствует тебе удача, путник, – после длительного молчания повторяет Алибек и слышит в ответ совсем неожиданное:

– Дай прийти в себя, разбойник. О какой удаче пищишь, чуть душу не вынул... Пусть волк твоим конем утробу себе набьет, никакого коня не видел... Когда ты крикнул, сердце у меня так застучало, что показалось, табун коней скачет... Откуда ты взялся здесь, а? Из земли вылез? С неба вместе с этим снегом свалился?..

Голос у человека сердитый и грозный. Когда человек умолкает, тишина вокруг становится все тише, а потом ее, эту мертвую тишину, изрывает внезапный хохот незнакомца, долгий и звучный, в какую-то секунду идущий на убыль, но тотчас же набирающий ту же силу...





Алибек, сам того не замечая, тоже начинает смеяться, сначала чуть-чуть, затем погромче и, наконец, совсем громко. Стоят два человека – большой и маленький – в полуночной степи и, вторя друг другу, хохочут как сумасшедшие.

– А ну-ка замолчи! – вдруг обрывает смех незнакомец, – Повторяй за мной слово в слово то, что я скажу. Би-ссимилля-рахман-аль-рахим!

– Би-си-милля-рах-ман-аль-ра-хим!!! – тянет четко и отдельно Алибек.

Снова раздается в степи веселый-веселый смех.

– В самом деле, оказывается, ты не дьявол, не джинн, не шайтан – слова Корана в страх и ужас тебя не ввергают, сын человеческий. Надо знакомиться. Ты кто?

– Соломенный Шайтан. Не шучу. Абдулла зовет так, наш сосед. Отец мой Умар, сын Адея. Знаешь, наверное?..

– Как вчера помню, плясал на свадьбе, когда он на твоей матери женился. Недавно, кажется, это было, в ушах еще голос гармоники, игравшей на той свадьбе, не перестал звучать, а ты успел родиться и вырасти. Быстро время летит, мальчик, слишком быстро, до слез быстро. И хорошо пожить ни разу еще не пришлось, а время наше уходит... Но не будем плакаться, мы мужчины. А меня ты не узнаешь? Нечему удивляться – в такую ночь и родителя узнать не просто... Я Махмут Одноглазый, может, слышал, если так не слышал, меня еще кличут иногда Махмут Двупалый, иногда Махмут Рябой. На, жми руку, видишь – трех пальцев нет, теперь лицо трогай, вот здесь когда-то глаз был, а вот этих ямочек когда-то совсем не было – оспа подарила. Хорошо, что темно сейчас, днем увидел бы – вполне за шайтана сойти могу... Соседки мной детей своих пугают... Хотя те, правда, не очень-то пугаются, больше удивляются, когда являюсь перед ними в своем образе... Ну а ты, мальчик, в самом деле меня испугал, откуда все-таки ты здесь?

Нравится Алибеку этот человек, громадный ростом, наверное, сильный, с громовым голосом. И такой веселый, говорливый...

Алибек охотно рассказывает ему, откуда взялся, как заблудился, куда ему надо сейчас идти и зачем...

– До села отсюда далеко, сам не дойдешь, – говорит Махмут. – Я с тобой пошел бы, но утро близко, а утром сделать то, что собираюсь сейчас сделать, никак нельзя... Понимаешь? Не понимаешь... Обижаться хочешь? Не надо. Так и быть, растолкую, только не выдай. Соседка есть, еще старше твоего старого соседа. Замерзает она – дров нет. Надо на железную дорогу сейчас. Сейчас снежок падает, должен пока падать, железная дорога близко – пойдём со мной и вместе назад. Понял? Хитрый старик есть – Моргунов, не поленился из-за одной трухлявой шпалы в селенье притащиться, скандал устроить шумный... По следу может прийти, а если снежок валит, какой след... Согласен со мной? Что будем делать?

– Согласен, – говорит Алибек. – С тобой. Сначала на железную дорогу, потом домой.





– Еще лучше было бы так сделать. Стучишься к Моргунову, ночуешь на Водоеме, а я дело сделаю, потом прямо к Мамет-хану и к утру тут как тут. Явлюсь с конем, и сани твои потянем...

Не соглашается Алибек, надо, говорит, обязательно домой. Но не суждено ему попасть домой в эту ночь. Перед самой железной дорогой, метрах в двадцати до переезда, он по пояс проваливается в воду. В родничок, скрытый тонким льдом, попадает.

Он пытается спорить, но Махмут строг:

– Марш на Водоем. Это приказ офицера. Я старший лейтенант, танкист, а ты пехоты рядовой. Твоя задача – высушиться, особенное внимание портянкам: для пешехода сначала ноги, остальное потом... И выспаться. Конь утром будет...

На Водоеме прежняя глухая тишина, и стук в оконные ставни получается неожиданно громким. В доме вспыхивает свет, и женский голос, без любопытства совсем, а просто для порядка задает вопрос:

– Кто там?

Алибек отвечает, что он Алибек. Голос женщины мягкий, добрый.

– Сейчас, сейчас, – спешит она.

– Кто там? – это уже спрашивает мужской голос. Скрипучий, тяжелый, угрюмый голос. Это Моргунов, догадывается Алибек.

– Не знаю кто, малец какой-то, – отвечает женщина. «Это, наверное, дочь Моргунова, Варя», – думает Алибек.

– Так открой, сами глянем – кто, – велит скрипучим голосом Моргунов, хотя Варя и так уже звенит щеколдой...

Входит в теплую комнату Алибек и молча стоит, щурясь под светом яркой керосиновой лампы.

– Батя, глянь-ко, – всплескивает руками Варя, не отрывая глаз от него. – Батя, глянь-ко...

– Гляжу, – сообщает Моргунов спокойно, но и в его скрипучем голосе чувствуется удивление.

– Малютка! Снежный человек! Дед Морозик! – приговаривает Варя, принимаясь его раздевать. – На шапке снег, на шубе снег, на бровках снег... Боже мой, батя, он мокрый, вода в сапогах, и штаны – хоть выжимай...

Алибек не успевает опомниться, как Варя, ни на секунду не умолкая, снимает и стаскивает с него почти все. И только когда очередь доходит до штанов, Алибек начинает, наконец, сопротивляться...

– Мокрый весь, мокрый же, – убеждает Варя, пытаясь их стянуть. – Выбрал час выкупаться... Убери же руки, дай добро сделать...

Не убирает рук Алибек, крепко сцепились его пальцы на штанах, но Варя не отступает. На помощь Алибеку приходит все время молчавший Моргунов.

– Не смущай парня, – скрипит он. – Туши лампу.





– Кормить его надо. Горе мое! – опять всплескивает руками Варя, – Окоченел человек, губы синие, холодный, голодный. Скорей под одеяло, покормлю в постели... Петушком накормлю, жирным, горячим... Тольконими штаны скорей, дружок... Я отвернусь...

Алибек в теплой постели, перед ним в глубокой миске чудное угощение – жареное мясо.

Рассказывает он Моргунову, что с ним приключилось, где его сани сейчас стоят, где от него конь ушел, как он в степи заблудился, а сам думает: «Давно я такое кушанье не пробовал, само во рту тает. Зарезали все-таки петуха, красивый был какой. Случись здесь быть Абдулле, он бы сказал сейчас: рыжий рыжего ест...»

– А чей же ты такой рыжий? – спрашивает его Моргунов.

– Умара я сын, сына Адея...

– Где же он сейчас, отец твой, сын Адея?

– Дома! Ждет меня сейчас, наверное, не спит...

– Дать бы по шее ему хорошенько, – вдруг сердится Моргунов. – Мальца в степь послал, сам дома ждет...

Алибек перестает жевать.

– Нцэ! – качает он головой, как-то страшно глядя на Моргунова.

– Что «нцэ?» – спрашивает Моргунов.

– Нельзя давать моему отцу по шее... – тихо говорит Алибек. – В степь он не может. Все время дома, как с фронта вернулся. Ног нет у него...

– Как нет?! – изумляется Моргунов.

– Вот так! – вытягивает под одеялом ноги Алибек и проводит по ним рукой чуть выше колен, и вдруг начинает плакать. Он не ревет, как маленький ребенок, не голосит, как старая женщина, он просто плачет – прикусил, как мать, нижнюю губу, и из глаз его капают слезы... Он не хочет слез, но они сами льются, их вытягивает изнутри что-то непонятное, сильное, неподвластное ему. Может быть, это белая холодная громадная степь, которую он не смог победить в эту ночь, может, это обида на коня, предавшего его, может, это страх и тяжесть дороги, спрятавшейся от него под снегами, а может, это угрюмое бледное лицо отца, который сидит сейчас в их низеньком домике, закрыв глаза, плотно сомкнув губы, положив подбородок на руки, сжатые в кулаки...

Варя тушит лампу, целует его в щеки, в глаза, в губы, прижимает крепко к теплу своей груди, гладит белую голову, все говорит: «не надо, милый, не надо плакать», а сама плачет.

Алибек долго слышит скрипучий и с каждой секундой добреющий голос Моргунова, который говорит, что война заставила людей многое потерять – отец его ноги потерял, чей-то отец руки потерял, многие жизнь потеряли, Варя, дочь его, жениха потеряла, но скоро война кончится, нет войны, которая не кончается, победа будет, и люди снова хорошо жить начнут. Спи, говорит





Моргунов, спи, пусть сны хорошие тебе приснятся, пусть и сны твои и явь хорошие будут...

Под этот голос засыпает Алибек, спит крепко и хорошо. Под тот же голос он и просыпается...

– Глянь в окно, малец! – говорит Моргунов. – Пошел санки посмотреть твои, коня твоего там увидел. Привязан был, кто-то привел, должно быть, – следы видел. Впряг коня и привел сюда... Поезжай, счастливо, отцу своему привет передай и передай еще, что я, старый Моргунов, тебя рыжего, очень нахваливал и настоящим мужчиной назвал.

Смотрит Алибек в окно, стоят его сани с камышом, стоит конь, готовый в путь. Из-за самого края степи начинает всходить необычно светлое солнце, и во всей степи, сверкая солнцем, лежат небывалой белизны снега.

Алибек чувствует, как руки и ноги его наливаются силой, в душе поднимается волна благодарности этому утру, а в голосе уверенно бьется мысль, что под этим солнцем на этой земле все должно быть в конце концов хорошо.



Солнце светит всем...





Самое главное

Высоко в горах, в глуби оранжевых скал тихим гнездом лежал наш аул.
Он был отгорожен от мира камнем, и деды наши ломали камень, чтобы открыть этот мир.

Кто родился потом, родился богатым: много в горах дорог – шагай в любую сторону.

Каждый шел той дорогой, которой хотел, но сначала шагал по одной – обязательной, общей для всех.

Начиналась она с порога и неуклонно шла в гору...

Там, где она кончалась, вздымалась к небу тяжелая скала с орлом на вершине.

И там же начинались сотни разных дорог и тропинок, ведущих в неведомое и желанное.

Человек выбирал одну из них.

Делал первый шаг...

И тогда из глубин земли внезапно вылетал дремучий и властный голос его предков:

– Идущий, стой! Видишь орла наверху?

– Да, вижу!

– Посмотри, он вытянул крылья, подался могучей грудью вперед: он жаждет взлететь, жаждет покорить небо.

– Да, жаждет!

– И все-таки он не взлетит. Потому что он каменный. В нем нет самого главного: он – не орел.

Смущенный путник долго молчал, а из земли гремел могучий голос отцов и предков:

– Ты продолжишь свой путь, идущий?





- Да, я пойду!
- Ты хочешь открыть мир, взять его радости?
- Да, я открою и возьму.
- А есть ли в тебе самое главное для этого?
- У меня есть мужество.
- Разве это главное?
- Я силен.
- И это не главное.
- Я умен и красив.
- Не о том речь ведешь. Есть ли в тебе гораздо большее, идущий? Человек ли ты?..

Тетя Поля

Когда-то, очень давно, мы приходили в школу.

– Здравствуйте! – говорили мы тогда.

– Здравствуйте, – улыбалась нам тетя Поля. Она работала уборщицей и каждый день, встречая нас в коридоре, просила вытирать ноги. И каждый день, когда мы уходили, мыла в классах полы. Три класса по сорок квадратных метров и коридор – первая смена, три класса и коридор – вторая смена.

С деревьев облетали листья – приходила осень, наваливал снег – зима, потом, как водится, наступали весна и лето. И каждый день тетя Поля мыла полы...

И опять проходили годы, время текло рекой. Первоклассники становились десятиклассниками... К тете Поле привыкали, как привыкают к школьной парте или доске...

Видеть часто – значит не видеть. Было так.

Сегодня у меня в волосах много седых волос. Я опять прихожу в школу, но уже сам ставлю малышам оценки «хорошо», «плохо».

– Здравсьте! – говорю я басом тете Поле.

– Здравствуйте, – улыбается она.

Тетя Поля по-прежнему моет полы. Три класса и коридор – первая смена, три класса и коридор – вторая смена. Много ли будет квадратных метров, если... взять это столько раз, сколько всходило солнце за всю жизнь тети Поли?! Может быть, это земная часть нашей планеты...

Вымыть земной шар!





Тук-тук...

- Тук-тук-тук!..
- Кто это там?
- Это я – Труд! Открой двери – я поживу с тобой.
- Иди прочь! Тесно у меня.
- Тук-тук-тук!..
- Кого опять нелегкая принесла?
- Это мы – Слава, Почет, Богатство и Счастье! Впусти нас переночевать.
- Как я рад, дорогие мои! Заходите. Живите у меня до гроба – места всем хватит. Нас только двое – я да жена.
- А Труд разве не у тебя живет?!
- Нет, он поселился у соседей. Да постоит, куда же вы?
- Туда, где наш друг.





Эля

(повесть)

В вашем доме поют...

На нашем дворе, на белом снегу – красный крут.

На улицах белые сугробы и невеселый январский ветер.

Солнце низкое скатилось на горы, скоро спрячется...

Я сижу в нашем сарае спиной к дому. Сарай душен, ветер сюда не долетает. Ветер стучит в оконце, бьет хлопьями снега в стекло. Тусклый луч заката светит в лицо – глаза мои сузились, веки дрожат... На стене против меня, на ржавых гвоздях, висят два седла, две пары подпруг, узда с серебряными насечками...

Постепенно уйдет из сарая конский дух, что живет пока еще в седлах, в подпругах, в крепком ремне серебряной узды, думаю я. Уйдет конский дух, выветрятся запахи пота, навоза, и сарай останется бездушен...

На стене против меня в одной связке восемь подков. Подковы новые, сильные, ярко блестят. Выкованы не в нашей кузнице – где-то на заводе. Отец их привез из Ростова, сказал, отличные подковы, военные, таких удастаивались в войну лишь копыта строевых коней...

Самое ненужное, самое лишнее сейчас на свете – эти восемь новых стальных подков, думаю я. И еще думаю об отце, который поет с гостями...

Я любил отца, гордился им и, размышляя о том, каким буду, когда вырасту, хотел видеть себя похожим на него во всем.

Отец был сильный. Отец уважал людей. И в словах, и на деле был мужчиной. Многословием не страдал. Ему всегда удавалось найти правильные и короткие слова, чтобы сказать, что он думает. Одно его неторопливое замечание могло остановить спорящих, удивив простотой и такой ясностью, после которой нарушать тишину казалось уже неудобным.

Отец никогда не суетился. Мелочность считал позором для мужчины. Жизнь понимал. И сам был понятен и открыт.

Отец любил работать. Вечером, завершив день, он спокойно ложился отдыхать, утром спокойно просыпался, готовый к новому дню.





Он твердо стоял на земле.

Я думал, он, как кусок горы – скала крепкая, неизменная, которую ни дождь, ни солнце – ничто не может поколебать, преобразить, сплющить, только разбить ее можно, расколоть, разрушить, если найдется такая большая сила...

Отец не был суров. Мужество в нем уживалось с добротой. На камень и дерево, на птиц, на горы и солнце отец смотрел добрыми глазами. Ко всему был внимателен. Думал, как он прекрасно чувствовал место, право и обязанности человека на земле... Уверенность отца, его спокойствие и могущество были уверенностью, спокойствием, могуществом мудрого, ответственного за все правителя, владыки, повелителя. Когда отец глядел в ночное небо, мне казалось, он заботится и о нем, как о крыше нашего дома, и, перед тем как лечь, передает звездам свою волю: светить завтра тоже... Отец умел, ни над чем не возвышаясь, царить над всем. И я поклонялся отцу...

Сам отец был естественным на земле, как сильное, зеленое дерево, и я, его сын, был естествен, как ветка на том дереве. Мир был прост, я не боялся ветра – шумел под ним, не боялся дождя – мок под ним, а когда выглядывало солнце, сбрасывал с листьев капли воды, грелся...

Я любил отца, мне было хорошо...

Сегодня я сижу в старом сарае, слушаю свист ветра, смотрю на связку отличных новеньких подков и думаю об этом.

Я думаю, где взять отцу теперь силы встретить, прожить и проводить каждый день так, чтобы спалось, как раньше, спокойно, безмятежно...

Я думаю, как может отец царить теперь над миром: над камнем и деревом, над звездным небом, над птицей...

И надо мной тоже...

Не приходилось мне слышать об отце своем худого слова ни разу. Детям об отцах и дедах плохого не говорят. Просто молчат. А если есть за что похвалить, всегда найдут доброе слово. Молчать о хорошем человеке – значит совершать тяжкий грех. Сын растет лучше, если знает, что отец достоин похвалы. Так принято думать, наверное, во всех аулах, не только в нашем.

В каждом ауле есть старики, родившиеся раньше всех и поэтому помнящие все обо всех.

– А чей ты сын, не скажешь ли, сынок? – поинтересуется старик, увидев мальчишку. – Магомеда, говоришь? Какого Магомеда? Бо-бо-бо! Пстой, пстой... И как же я сам не догадался, ты же мельника сын... Молодец ты, прекрасно знаю твоего отца. Хорошо мелет его мельница, лучше всех в долине... хорошо. Ну, иди, иди, пусть долгой будет жизнь твоя.

– Так, значит, Ахмета покойного ты наследник! – вспомнит старик при встрече с другим. – Пусть земля ему пухом будет. Отважный человек был, сильный... Все знают, что он в лесу с медведем встретился без ружья, только нож имел... Одолел!!! Видел я тушу этого зверя, глазам не верилось, и смотреть





было страшно... Не каждому пришлось иметь на своем веку такую громадину... Пусть Аллах твой век длиннее отцовского сделает, а в остальном да повторишь жизнь отца своего...

Если же все-таки не найдут, какое доброе слово сказать об отце, станут вспоминать дедов, прадедов, которые хорошими людьми были:

– Да-а! Знавал я ваших. Известный род у вас, очень известный, да не кончится он во веки веков... Много славных людей твою фамилию носили, джигит... Аллах велит, ты тоже в толпе безвестных не затеряешься...

О моем отце в таких случаях прежде всего говорили одно: великолепный наездник был, душу коня лучше всех понимать умел...

– Отца твоего еще вот таким знавал, – не один раз говорили мне наши старики, показывая ладонью на какой-нибудь метр от земли. – Мальчишкой помню, потом безусым помню. К хребту лошадиному прилипал, точно кожа к костям, – не оторвешь. Все его знали. Сердце пело, когда он свои штучки на коне проделывал: в бешеной скачке то ногами на спину коню встанет и стоит, то под брюхо ему нырнет, опять шайтаном вынырнет и снова на нем...

Такой славе отца могли завидовать, по-моему, даже самые тщеславные, честолюбивые из наших аульчан... Потому что хороший наездник плохим человеком быть не может. Слабым, ничтожным людям власть над конем не дана. У человека к коню особая, древняя любовь. Можно победить льва – воспитать в нем смирение и покорность, можно укротить хищный нрав волка – вырастить его тихим, послушным, приучить к себе, внушить мысль о величии нашем и праве нашего господства над живым и мертвым миром, можно приручить гордую, своевольную птицу – орла... Но только приручив коня, почувствовал, наверное, человек себя крылатым, только оседлав коня, дикого и быстрого, испытал человек торжество, радостный праздник духа своего. Только после этого, может быть, поверил в природное свое всемогущество человек.

Конь – зеркало слабостей и сил человека. Отношение коня – самая верная цена хозяину. Конь никогда не полюбит, не будет верен трусу, завистнику, скупцу...

Отец с детства был неразлучен с конем. Мальчишкой пас табуны, приучал к седлу необъезженных скакунов, до войны много лет обучал призывников джигитовке, а войну провоевал кавалеристом... С удивлением однажды я заметил, что в нашем семейном альбоме нет фотографии отца без коня... То бошой мальчик, то стройный высокий юноша, и мужественный воин в тщательно выглаженной гимнастерке, перехваченной блестящей роскошной портупеей, с шашкой – всюду отец был с конем: или сидел в седле, или стоял рядом, гладил скакуна по шее, по крупу, расчесывая гриву, подковывал, кормил зерном с ладоней... Чем больше я вырос, тем больше уважал отца. Но ни в чем, понял я, он не казался так велик и недосыгаем, как в любви к лошадям. Я думал много лет, что эта любовь его навсегда. Сегодня я сижу в глухом сарае и думаю: отец



предал ее, эту любовь. Изменил тому, что было много лет в нем неизменно. Тому, что должно было остаться неизменным до конца...

Я сижу в сарае, смотрю на закат и вижу отца. Отец стоит, твердо расставив ноги, посреди двора... Вижу окаменевшее лицо его. Вижу в руке его нож... Вижу в ногах его распростертую на соломенной подстилке лошадь.

Красивую молодую лошадь, которой не суждено было состариться, которой суждено было стать последней лошастью отца, его любовью...

Отец назвал ее Элия. Элия по-карачаевски значит «молния», «быстрая», «пронзительная», «неуловимая». Но это не начало истории, которую я взялся рассказать. Я не знаю, где самое главное начало этой истории. Может быть, начало – переселение наше с одного берега реки на другой. Или начало – тот солнечный зимний день, когда появилась на свет Элия? Или приезд к нам Чубура, брата жены моего отца? А может, начало – женитьба отца на женщине, которую я до сих пор звал матерью? Знаю точно, конец истории настал сегодня, а начала не могу уловить. Если рассказывать все по порядку, получится так.

Председатель нашего аульского совета – строгий молодой мужчина Хусей, сын Хасана, – на собрании коммунистов аула поставил вопрос о переселении желающих на левый берег реки, где земля была плодородней, трава сочнее, лес богаче. Во время бомбежки в войну пострадал весь аул, но особенно досталось левой половине. Дома были разрушены; почти все, что уцелело тогда, разрушило время – дожди, снега, ветер. Сейчас там был пустырь; старые, аккуратные когда-то дворики покрылись бурьяном, сады заросли. Богатую землю могла спасти, оживить человеческая рука. Колхоз выделял ссуды на постройку жилищ, обеспечивал техникой – трактором для вспашки земли. Кроме того, в частном хозяйстве разрешалось держать на период строительства тягловый скот: лошадей, мулов, волов. Отец в тот день проголосовал за предложение председателя одним из первых, а через неделю ввел в наш двор купленную где-то в калмыцких степях немолодую, но крупную и красивую, удивительной белой масти кобылу. Он на ней не возил ни кирпич, ни бревна – занимал для этой цели обычно волов или ослов у соседей. Кобыла жила на воле, паслась сама по себе и, к неудовольствию моей мачехи, потихоньку убавляла наши старые запасы золотого кукурузного зерна. Худая и неуклюжая на вид кобыла к осени стала неузнаваемо гладкой и резвой, полностью проявив в осанке и движениях свою породу, о которой любил говорить отец. А осенью отец нанял грузовой автомобиль и повез ее в район, далеко от нас, где находился давно известный всей стране конный завод с прославленными племенными жеребцами.

Сторож конного завода сам, наверное, знал, что достоинства лошадиного потомства, как и всякого другого, зависят не только от матери, но и от отца: самая прекрасная кровь по материнской линии может разбавиться, ослабеть, если жидка отцовская кровь. Но согласился с этим лишь после того, как отец увеличил доход местного винно-водочного ларька на сумму своей месячной



пенсии, по частям оставляя ее там каждый день, чтобы облегчить переговоры со сторожем...

Ни времени, ни пенсии отцу не было, наверное, жаль, потому что в конце концов в одну туманную ночь сторож рискнул нарушить закон: вывел тайком из конюшни нужного жеребца. Все должно было, по предположению отца, получиться великолепно, но через несколько месяцев стало ясно: кобыла не понесла... Отец снова нанял грузовик, снова отдал в ларек свою пенсию, но снова через три месяца опечалился. В первый раз в своей жизни он, может, тогда рассердился на лошадь. «Верблюдица бесплодная!» – бросил он обидные слова прямо в глаза нашей кобыле. Та как будто осознала свою вину. Через несколько месяцев после третьего визита на конный завод она, к великой радости отца, стала заметно полнеть. Окруженная по велению отца вниманием всей нашей семьи, принимая наши заботы как должное, грузнела она с каждым днем все больше, и отец был вполне счастлив. Зима только начиналась, а где-то в середине января, по подсчетам отца, должен был появиться жеребенок – сильный, длинноногий, с прекрасной кровью в жилах. Но к началу января истек срок пользования тягловым скотом. С волами и мулами аульчане простились легко и быстро. С лошадьми расставались нехотя, под давлением председателя. Давала знать о себе древняя привязанность горца к коню. Многие пытались хитрить, увиливать, некоторые открыто отказывались. Тогда председатель специальным решением установил нормы сена для дойного и мясного скота,числящегося в каждом личном хозяйстве по последней переписи, и никто, зная строгость председателя, уже не мог надеяться получить в колхозе лишнюю охапку сена.

К новому году в ауле не осталось ни одного вола или мула, ни одной лошади, кроме нашей жеребой кобылы.

Аульчане стали избавляться и от ослов. На пользование ослами ни в какие времена запрета не было, но они были прожорливы, и на решение их судьбы повлияло прежде всего это. Каждый хозяин спешил найти способ выдворить своего осла: ни продать, ни подарить другу, ни сдать на мясокомбинат возможности не было. Шерсть на них не росла – не сострижешь, мясо несъедобно – в котел не сунешь, а из кожи ничего не выделаешь – не поддается обработке. Способ был один – пристреливать над пропастью. Но жалко, поэтому однажды ночью, собрав всех своих ослов в стадо, погнали тихонько вниз по реке, оставили их на центральной площади соседнего аула. В соседнем ауле тоже не простаки жили. В новогоднюю ночь – видимо, в качестве своеобразного праздничного подарка – стадо возвратилось опять к нам, увеличившись ровно вдвое.

Решили было не оставлять начатого дела, не уступать соседям – отправить стадо обратно и посмотреть, кто раньше устанет. Но председатель – человек серьезный – не одобрил намечаемое состязание в упрямстве.

Он вызвал из района несколько машин, и ослов увезли в город.



Председатель отца уважал. И когда напоминал об истечении дозволенного срока, делал это мягко, стараясь найти убедительные и теплые слова. Чем ближе был январь, тем убедительней были его слова. Отец сначала молчал, потом признался, что надеется получить в районе разрешение содержать на свои средства лошадь, поскольку он ею и раньше как тягловой силой не пользовался и впредь не будет: она, во-первых, грузна брюхом, во-вторых, благородных кровей и может, по его мнению, произвести на свет редкое и ценное потомство. Ну а если разрешения не получит, лошадь свою, уважая закон, из аула уведет, обещал отец.

Старый год прошел, несколько раз отец ездил за разрешением, которого все-таки не сумел получить, и ему пришлось выполнить обещание. В первый день нового года он накрыл бока отяжелевшей лошади мохнатой попоной, напоил теплым мучным отваром, и мы втроем двинули в горы. План отца был прост: перезимовать на дальних фермах, в каждой по неделе, а весной можно отправить нашу кобылу с будущим жеребенком еще дальше от аула, на летние пастбища... Пробыть по неделе на каждой ферме оказалось невозможным, все заведующие фермами в один голос жаловались на нехватку кормов, ни сена, ни силоса не хватало; кроме того, зоотехник наезжал часто, человек он был крутого нрава. Отец понимал положение, больше суток одну ферму не обременял, переходил на другую. И только в Терновой балке отец целую неделю прожил оседло. Заведующий здешней фермой, молчаливый, но приветливый, наш дальний родственник Назир, сын Дебоша, ни на нехватку кормов, ни на строгость зоотехника не пожаловался. Отец вывез сюда из аула запасенный с лета стожок сена и мешок пшеничной муки и, видимо, собирался осесть здесь до конца зимы. Но судьба распорядилась по-своему, неожиданно и жестоко.

В глухой лощине, заросшей кустарником, волк-одиночка выследил нашу кобылу. Ее и волка мы с отцом увидели разом. Между заснеженных терновых кустов, разметав в беге гриву и хвост, как белая метель, плавно неслась она в сторону фермы, а крупный серый зверь короткими упругими прыжками настигал ее...

Мы с отцом бежали почти над ними – по самому краю склона лощины, отвесному, высокому, каменистому. Зверь не обращал ни малейшего внимания на наши устрашающие выкрики и на острые вилы, оказавшиеся у нас в руках по счастливому случаю: мы складывали в стог привезенное вчера сено.

Волк, прекрасно видя высоту кручи, с которой нам не просто быстро спуститься вниз, полностью отдался своему жесткому желанию – настичь и растерзать жертву...

Все свершилось на наших глазах. Поравнявшись с лошадью, волк несколько мгновений бежал с ней рядом, бок о бок, словно ничего недоброго не замышлял, потом резко вдруг подскочил, промелькнул в воздухе и, сжав тело в комок, сведя четыре лапы и пасть в одной точке, впился в лошадиную шею...



Сделав несколько скачков, лошадь рухнула, и на какую-то секунду родилась надежда, что тело хищника, повисшего на ней вверх лапами, неминуемо будет раздавлено сейчас ее грузным телом. Этого не случилось! Зверь, развернувшись в воздухе, ловко опустился на снег вниз брюхом рядом с опрокинутой навзничь лошадей, снова впился в белую шею, на этот раз ближе к горлу. Так и держал он, недвижимый, свою трепещущую жертву, пока не добежали мы.

Молча надвигались мы с отцом на него, выставив вперед наши вилы, а он с ненавистью хрипел и, не сводя с нас глаз, пятился, отступал, при этом готовый к прыжку и любую секунду. В глазах волчьих не было страха – сухие, злобные, незабываемые с того дня глаза... Мы шли с отцом рядом, шли по-прежнему молча, и волк не выдержал... Не спуская с нас пронзительного взгляда, он медленно повернулся и, ударив по снегу сильным хвостом, помчался вверх по лощине...

Когда мы вернулись, снег, орошенный кровью, еще таял, а сама лошадь уже остыла. Зияли на шее две раны, жилы были словно бритвой перерезаны.

– Эх, не успели проститься! – сказал отец, положив ладонь на холодную лошадиную челюсть.

И смерть, и столько крови я видел впервые. Кровь словно выжгла снег – на нем горел алый круг. Мне подумалось, ручьем уйдя в снег, течет кровь, течет невидимая, красная, теплая, течет по лощине вниз...

Страшнее волчьих глаз показались мне глаза неживой лошади: круглые, стеклянные, они не отражали солнца над нами, поэтому пугали... Я с того дня решил: нет на свете ничего мрачнее глаз, которые уже не могут отражать солнце...

Но я перестал думать и о крови, и о смерти, и о глазах, ослепленных смертью, как только перевел взгляд на живот зарезанной лошади... Живот дышал. Часть мертвого тела жила... Ладонь отца на этом шевелящемся животе, наверное, ощущала его тепло. И оттого, что живот дышал, кобыла показалась еще мертвее.

– Жив, он жив, – растерянно повторял отец одни и те же слова, положив на живот, вздрагивающий еще сильнее, и вторую ладонь. – Он жив, это он стучится к нам...

Я понял, отец говорил о жеребенке.

На ферме с трудом представляли себе, что произошло... Я рассказывал возбужденно все с самого начала. Рассказывал о волке, как он смог повалить на снег сильную, крупную лошадь, говорил о дышащем животе и о том, как испорол отец ножом этот живот, как нес на плечах спасенного жеребенка...

Рассказывал я подробно, торопливо, боясь, что не поверят. Но у всех глаза были такие, будто все сами видели чудо, о котором я рассказывал... Все смотрели на черноглазое четвероногое существо, которое стояло пока еще неуверенно, стояло и покачивалось. Темными влажными ноздрями оно ловило воздух и наполняло свои легкие.

Новорожденная была высока, тонка и бела, как погибшая мать.





– Вырастет – еще белее станет! – сообщил долго молчавший отец усталым голосом. – Сильная была ее мать. Была бы пуста брюхом – легко бы ушла от волка... И малышка будет сильной, – с уверенностью знатока добавил отец, подняв глаза на жеребенка. – Настоящий скакун на свет появился. Дай Бог нам всем еще жить – увидим скоро ее крепкой, статной... И молниеносной, как элия. Расти скорей, Элия...

Так в тот солнечный кровавый зимний день появились на свет сама Элия и ее красивое имя.

Февраль выдался необычно суровым. Элия весь месяц жила с нами в доме. Как ни старался отец, она не могла окрепнуть, была малосильна, болезненна.

– Силу дают только материнские соски, соки входят в кровь с родным молоком, – объяснял отец. – Пустить бы сироту на месяц под сочную кобылу...

Кобылы в наших краях найти отец не надеялся. Элия росла на коровьем молоке. Сначала отец ее поил через резиновую соску, потом, к удивлению соседей, приучил к вымени нашей коровы. Не раз смеялись прохожие, видя, как, припав на колени и крутя от удовольствия хвостом, сосал жеребенок корову, а та как ни в чем не бывало терпеливо и смиренно стояла, даже ухом не шевельнет, и жевала свою вечную жвачку...

Удивился, застав такую картину однажды, и председатель, проходивший мимо нашего двора каждый день самое малое два раза – с работы и на работу.

– Чудаки! – сказал он, остановившись и глядя в наш двор поверх низкой каменной ограды. Такое было у него выражение лица, и так он произнес свое слово, что отнести его можно было не только к отцу, кого он, без сомнения имел в виду прежде всего, но ко всем нам во дворе: отцу, мне, жеребенку, корове...

Отец ничего не ответил и пригласил, как принято, председателя в дом.

Председатель как будто не слышал приглашения. Возвышаясь наполовину над каменной оградой, он все стоял и слегка улыбался... Потом опять сказал слово, которое трудно было к чему-нибудь привязать конкретно:

– Непрактично!

Отец, не зная, как ответить, решил что-нибудь все же сказать, считая, видимо, молчание сейчас неудобным.

– Обжора большая, – сказал он, направив взгляд на вертящийся хвост жеребенка.

– Тем более, – сказал председатель, и отец, опять не сумев уловить его мысли, пожаловался почему-то на суровость зимы в этом году.

– Тем более и говорю, – повторил еще раз председатель, после чего не спеша и, судя по смущенному выражению лица, что ему приходится сейчас говорить такое, он как можно более почтительным тоном стал высказывать мысль, которая медленно, но неуклонно прояснялась. До весны далеко, трава не скоро вырастет, говорил председатель, много молока еще потребуется этому жере-





бенку, которого отец нянчит, как своего ребенка, как сына второго; сколько еще хлопот он доставит, пока конем станет, а когда конем станет – тоже, как с ним быть, неизвестно.

Председатель остановился и ждал, что скажет отец. Отец молчал. Тогда председатель, как бы против своей воли, продолжал:

– Козы, овцы – дело простое. Одну-две головы сверх положенной нормы во дворе держать – это понятно почему: лишний кусок мяса, лишний клочок шерсти. Нарушение закона, так сказать, с явной пользой... Конь когда-то, понятно, необходимостью был, крыльями мужчины даже считался, никто раньше не мог сказать: подрежь себе крылья... Изменилось время, в город хочешь срочно добраться – через каждый час автобус, дрова из лесу или сенцо с гор домой подбросить – колхоз машину выделит, скоростной трактор с прицепом. И ни молока мотор не просит, ни сена, ни овса; ни хвост, ни гриву каждый день чесать не надобно, на водопой водить тоже.

Председатель на этот раз остановился с твердым намерением молчать, пока не услышит, что все-таки думает сказать отец. Отец понял это и неторопливо заметил, что мотор тоже ухода требует, а вместо молока жрет бензин.

– Литр самого дорогого бензина стоит ровно в два раза дешевле литра молока. Это, во-первых. Во-вторых, в одном моторе, даже слабом, десятки лошадиных сил, – сказал председатель и, чувствуя, что возражений на этот счет не последует, заключил: – Потому и говорю, непрактично.

Уходя, председатель закончил свои рассуждения вежливо, но твердо: потому что непрактично, потому и не разрешено пользоваться живой лошадиной силой в личном хозяйстве, жеребенок пусть сосет, пусть живет, пока жеребенок; когда же он станет конем – а через сколько времени жеребенок считается конем, отцу самому известно лучше, чем кому бы то ни было, тогда отец найдет вариант, как распорядиться личной собственностью; но распорядиться так, чтобы его, уважаемого человека, старого образцового колхозника, не могли упрекнуть в нарушении порядка из-за какого-то, пусть даже золотого, коня.

Отец знал, что жеребенок в коня превратится не раньше чем через два года, а за два года может измениться многое, за два года можно что-нибудь придумать, так рассуждал, видимо, отец, и волнения особого я на лице его не прочел, когда он слушал председателя. И когда председатель уходил, отец провожал его спокойными, понимающими глазами.

– Исполнительный человек, деловой! – с уважением сказал отец, глядя в широкую, выпрямленную спину удаляющегося председателя. – Всегда справедлив, всегда прав...

Я смотрел, как расчесывает шершавым языком бок жеребенка наша корова. Думал, может, она его принимает за тельца, который на прошлой неделе пал от непонятной болезни. Я смотрел, как насытившийся жеребенок терся мордой о шею своей кормилицы.



Весна пришла внезапно, мягкая, теплая... К концу марта Элия ожила и с каждым днем удивительно резвела... Ночевать она уже оставалась не в доме – чему была особенно рада моя мачеха, которой приходилось следить за чистотой, – а в сарае, с нашей коровой. Крепко привязалась корова к своей питомице. И как привязанная бродила за Элией по всему двору, а когда та выскакивала за ворота и уносилась прочь, корова, зная, что за ней не поспеть, стояла у ворот и, тревожно мыча, ждала ее возвращения.

Когда аульское стадо выгнали на пастбище, пастух у отца потребовал особого магарыча за нашу корову, которая, отбиваясь от стада, норовила утром повернуть назад, вечером неслась в аул, далеко опередив остальных. Несколько раз она влетала в наш двор среди бела дня и принималась облизывать жеребенка, как будто рассталась с ним не утром, а сто дней назад. Пастух всякими способами старался сломить этот ее каприз; по его словам, он, в сущности, пас только нашу корову, а не остальное стадо; в конце концов он заявил отцу, что отказывается от нашей коровы.

Тогда однажды утром отец выгнал в стадо и Элию вместе с коровой. Вечером они вместе вернулись сытые, спокойные. Пастух тоже впервые за много дней вернулся спокойный и сказал, что целый день корова и жеребенок щипали траву рядышком...

Так в стаде провела Элия первое свое лето до самых снегов.

В середине второго лета отец один из дней объявил торжественным днем. В этот день Элие исполнилось ровно полтора года. Отец решил, что настала пора возмужания Элии, пришел час испытания ее силы и быстроты.

В балке, начинающейся на самом краю аула, лежало зеленое узкое поле, зажатое с двух сторон такими же зелеными склонами. Поле было ровное. Памятно оно было всем в ауле как место, где в прежние времена собирался народ в праздники смотреть состязания мужчин в силе и удали, в борьбе, метании камня, где устраивались и лошадиные скачки. Отцу это место было, по-моему, очень дорого, потому-то с ним было крепко связано его детство, юность, вся молодость его. На этом поле он много лет обучал аульных парней лихой джигитовке верхом... Это было поле его молодости, его мужества, поле его исполнившихся надежд и неожиданных разочарований... Сейчас отец, седобородый и седоголовый, через много лет стоял на своем поле, и глаза его были необычно светлы... Рядом с ним, обузданная, встревоженная, грызя неизвестные ей до этого часа удила, стояла, пританцовывая от беспокойства, юная горячая лошадь. Никто в ней не признал бы прошлогоднего неуклюжего, вялого, невпопад тычущегося мордой в коровье вымя жеребенка. Стояла широкогрудая, высокая, тонконогая лошадь. Вся белая, белее своей матери, лишь по хребту были легко рассыпаны серые крапинки и вокруг черных косых глаз, а вокруг губ темной каймой лежали такие же серые линии.



Только снег, только дождь, только легкая пыль садились до сих пор на спину Элии. До сих пор она оставалась дикой, вольной. Самая добрая лошадь остается дикой, если не вскочит на нее человек и не удержится на ней до тех пор, пока она сама, добровольно, не признает в человеке сильного и властного своего хозяина.

Расселись в ряд на зеленом склоне старики, пришедшие вспомнить забытые картины укрощения коня, пониже стариков сидели мы, дети аула, самые маленькие и уже не маленькие, мои друзья, мои сверстники. И когда отец, как бы случайно, украдкой несколько раз скользнул оценивающим взглядом по нашим рядам, я решил, что он видит в нас давно ушедшее детство и думает, конечно, обо мне тоже, о своем сыне, который сейчас первым по праву вскочит, как он сам когда-то, на крутой, неоседланный, чуткий к малейшему прикосновению и готовый к бунту хребет коня.

И, стоя возле Элии на плоском камне, с которого можно было легко вспрыгнуть на нее, я подумал, что и отцу моему в мальчишестве не раз послужил этот камень, и от этой мысли почему-то я впервые особенно остро почувствовал свое родство с отцом, как никогда остро почувствовал желание быть похожим на него во всем, а сейчас это значило – надо победить, обязательно победить, как побеждал отец... И когда я не сумел победить, когда я полетел вниз, ни боли, ни стыда я не ощутил, я только тогда подумал: побеждать – это нелегко, быть похожим на отца непросто...

Элия сбросила меня... В первую секунду, когда она встала на дыбы, тело мое сползло на самый ее круп; когда же она, сделав несколько бешеных скачков вперед, вдруг резко остановилась, я скользнул вдоль хребта к гриве и, задевая животом кончики острых ушей лошади, полетел на землю. Уже на земле услышал я пугливый всхрап над собой и дружный, безобидный смех на зеленом склоне.

Один за другим после меня взбирались на плоский камень мои друзья и вскакивали на Элию, а она сбрасывала с себя их, только что смеявшихся надо мной, – одних чуть позже, других чуть раньше, многих еще раньше, чем меня...

Каждый раз находила она какой-нибудь новый способ избавиться от них. На полном скаку могла вздыбиться, потом сразу же встать на передние ноги и высоко забросить зад, она могла стремительно мчаться по прямой и неожиданно прыгнуть влево или вправо, она могла, не останавливая бега, резко развернуться и побежать в обратную сторону.

Вскоре не осталось среди мальчишек ни одного, кто не слетел бы на землю. Желания снова испытать силы ни в ком не появлялось. Но отец держал разгоряченную Элию и смотрел в нашу сторону. Смотрел, молча требовал мужества. Мне казалось, я не смогу потом смотреть отцу в глаза, если не сумею побороть сейчас страх. Я видел пристыженных этим взглядом своих друзей. В них сейчас, конечно, жил такой же страх. Жил во всех, кто отделился пустяками при





падении и кто получил ушибы. Я знаю, многие скрывали сейчас свои ушибы и боль, как я скрывал боль в правом плече. Больше всех не повезло двоим: у одного был разбит и окровавлен нос, у другого рассечен лоб.

Взгляд отца переходил с одного лица на другое, и когда остановился на мне, я снова почувствовал: если сейчас отведу глаза, никогда потом не смогу смотреть на него прямо, открыто, честно, как до сих пор... Я не спеша встал, подошел к Элие, взобрался на камень и через мгновение опять ощутил под собой бунтующую спину коня.

Я слышал, как бьет в уши встречный ветер, как шумно, прерывисто дышит Элия; я сжимал коленями ее упругие бока; я как можно короче натягивал повод, отчего лошади приходилось откидывать голову назад и скакать, ничего не видя под ногами; я, не выпуская повод, ухитрялся держаться за жесткую гриву, я старался прилипнуть к этой непокорной, вспотевшей спине и каждую секунду ждал, что она меня вот-вот сбросит. Так и случилось... На этот раз я не выпустил повод, на этот раз я удержался на спине дольше, на этот раз я не услышал смеха на зеленом склоне. На зеленом склоне и старики, и отец, и мальчишки знали и видели, какое это трудное дело – удержаться на коне, и они молчали, и в этом молчании могло быть уважение.

Я снова подвел Элию к камню... Отец хотел, чтобы вместо меня сейчас испытал силы уже кто-нибудь другой, но один из стариков крикнул:

– Не насытится спина падающего, пока не перестанет падать! Пусть еще попробует. Третий раз – верный раз. Удачи тебе, сын отца!

Я знал: не удержать мне слез обиды, если сейчас меня, побежденного, лишат права еще побороться. Отец тоже словно знал это, он отошел в сторону, вернув мне повод.

Перед тем как снова вскочить на Элию, я с радостью почувствовал: я уже не боюсь, я удержусь теперь непременно. Может быть, от этой уверенности прибавилось у меня сил, может, усталость отняла силы лошади – ей не удалось сбросить меня. Она стремительно и долго неслась вниз по балке, до самого аула, словно хотела избавиться от меня, сначала утомив этой бешеной скачкой. Чем сильнее я натягивал повод, тем сильнее запрокидывала она голову и все быстрее мчалась вперед. Она ничего впереди не видела, и там, где кончалось ровное поле, скачка стала опасной: Элия могла и споткнуться о камни, и удариться грудью о кирпичные заборы вокруг первых домов аула. Я перестал натягивать повод, совсем отпустив левый его конец, изо всей силы потянул к себе правый. Элия упрямо неслась к аулу, хотя шея ее резко свернулась набок, но постепенно пришлось изменить направление, и она уже мчалась на подъем к правому склону балки. Чем ближе оказывался склон, тем больше замедляла она свой бег. Уже на склоне мне удалось направить ее вверх по балке, она скакала все медленнее, и, когда я осадил ее перед людьми, ждавшими нас, поднялась





высоко на дыбы, закружилась на месте и внезапно заржала... Заржала обиженно, отчаянно, будто жаловалась небу на меня, на отца, на всех нас, людей.

Отец смахнул ребром ладони белую пену с ее боков, на другой ладони протянул такой же белый кусок сахара и ласково сказал:

– Не плачь, глупая. Зла тебе не хотим...

Утром следующего дня отец перековал Элию, вытащил из старого сундука в сарае новенькую сбрую, всю в серебре.

И я с полудня до вечера ездил на впервые оседланной Элие с одного края аула в другой – созывал гостей на свадьбу: женился наш родственник... Я останавливал лошадь у ворот, стучал в калитку роскошной ручкой своей плетки, а если ни ворот, ни калитки не было, просто кричал:

– Эй-эй! Кто тут дома?! Женится брат заведующего фермой Назира, сына Дебоша. Меня послали пригласить вас.

Все обращали внимание на то, что я верхом. Говорили: давно уже не приезжали приглашать на свадьбу верхом, да еще на белом коне. Хорошая это примета, должно быть, счастливой окажется сноха старого Дебоша. Пусть счастлива будет и в дом жениха счастье принесет.

За мной, куда бы я ни поворачивал, длинным хвостом тянулась гурьба аульных малышей. Покатать их на седле я обещал, но не сейчас, пока еще лошадь не вполне покорна, и единственное, что мог для них сделать, ехал шагом или медленной рысью, чтобы они успевали за мной...

На стук в ворота дома старого Хасана, отца председателя, вышел сам председатель, выслушал слова приглашения, изучая при этом любопытным взглядом и лошадь, и серебристую сбрую на ней, даже плетку в моих руках, и сказал слово, которое я уже и раньше от него однажды слышал:

– Чудаки!

...Элия привыкла к седлу. Она спокойно возила на себе всех в ауле: и малышей, давно мечтавших проехаться верхом, и старика, что собрался в гости к родственникам, далеко от нашего аула, а поехать автобусом не мог – организм не выдерживал, тошнило от запаха бензина... Особенно необходима и незаменима была Элия, когда у кого-нибудь не возвращался вечером домой с пастбища скот и нужно было отправиться на поиски в горы как можно скорее, чтобы овца или бычок не стали добычей волков.

По разным причинам нуждались в лошади аульчане, отец никому не отказывал, потому что никто ни разу не огорчил его плохим отношением к Элие – зря не гоняли, не морили голодом, давали воду, уважали.

Председатель как будто перестал обращать на нее внимание, хотя в тот вечер, когда сидел за свадебным столом среди гостей, он свой тост, как я узнал позже, поднял за образцовый порядок в ауле и за осуждение всех нарушителей этого порядка, будь он мужчина, будь женщина, будь двуногий, одноногий или четвероногий... Всем было ясно, кто такой одноногий нарушитель –





Харун, сторож совхозных складов, вернувшийся с войны на левой ноге. Он продал этой весной кому-то полтора центнера совхозной семенной картошки. И четвероногим нарушителем была, конечно, Элия.

Спокойно прошло все лето. Осенью в один из вечеров председатель пришел к нам, посидел молча, молча выпил чаю и, уходя, сказал, что из-за одной лишь Элии наш аул не вышел на первое место в районе. А возможность была, все шло к этому, по всем показателям были впереди, только аул Сары-Тюз имел такие же показатели, но все равно Сары-Тюз медленно сползал на второе место. И сполз бы непременно, если бы председатель Сары-Тюзовского аулсовета не догадался заметить, что в нашем ауле нарушаются постановления районного совета, например, держат лошадей, хотя сказано ясно: запрещается. Что можно было возразить? Спор был решен. Первое место – Сары-Тюз, нам – второе, и то с трудом.

Председатель сказал, что Элия должна исчезнуть из аула в самый короткий срок. Он обещал это в районе.

Отец сказал, что это, конечно, шутка. А если нет, то плохо, потому что он возлагает большие надежды на Элию, она еще прославит наш аул, наш район, нашу область, может, даже нашу страну, и если председатель настоящий руководитель, в чем, конечно, отец не сомневается, то председатель найдет способ защитить Элию, сохранить ее для этой будущей славы.

Такой способ есть, сказал председатель. Как отцу должно быть хорошо известно, о славе быстрых копыт в нашей стране заботятся специальные люди – в специальных хозяйствах выращивают настоящих скакунов.

Существует такое хозяйство и в Карачаево-Черкесии, совсем недалеко, в соседнем Прикубанском районе. Пусть Элия растет там. Лошадь с удовольствием возьмут, если обнаружат в ней толк. Председатель сам поможет, чтобы специалисты оценили ее достойно, – отец в убытке не будет.

Предложение председателя поселить Элию на Прикубанском конезаводе отец пропустил мимо ушей, словно вовсе не слышал. Тогда председатель добавил, что ему не хотелось так с отцом разговаривать, пусть простит, хотя, впрочем, конечно, с другим человеком он мог бы поговорить построже и в другом месте, так как нарушение налицо.

Немного помолчав, отец спросил: что председатель называет другим местом?

Председатель попросил отца не сердиться, ведь он пришел с таким разговором к нему домой, а не на собрании выступил, при всех.

При всех такие вещи говорить, видимо, неудобно, предположил отец, по-прежнему обиженный, – серьезный человек из-за одной лошадиной головы отобрать заслуженное первое место у всего аула не мог. Либо это шутка, либо тот, кто решил так вопрос, несерьезный человек.

Председатель еще раз попросил отца не сердиться и перед тем как уйти,





вежливо простясь, еще раз сказал, что лошадь из аула должна исчезнуть, работы много, столько говорить о ясном деле неразумно...

Я и сейчас не знаю, всерьез ли говорилось о решении в районе отнять у нас первое место из-за Элии или было это нехитрой выдумкой председателя, но на судьбу Элии этот вечер, конечно, повлиял.

Сначала отец нашел было выход из положения. Он попросил пастуха взять его в напарники, в таком случае у отца появлялось право владения лошастью. Пастух обрадовался неожиданному предложению и сделал отцу встречное предложение: он отказывался от стада до самого конца сезона, чтобы лечь на операцию.

Мачеха моя сразу же стала отговаривать отца от такой затеи. Она не говорила, что пасти коров – дело недостойное для отца, она говорила, что это просто трудное дело, особенно в его возрасте и при его слабом здоровье. И хотя отец прислушивался к ее словам с должным вниманием, все же согласился заменить пастуха и, конечно, заменил бы, если бы тут не приехал наш зять, муж самой старшей моей сестры. Позже я узнал, что вызвала его по телефону моя мачеха. Зять был еще вежливее, чем председатель. Первое, что бросалось в глаза, – его вежливость и особая аккуратность и в одежде, и в речах. Такая вежливость и аккуратность, по-моему, немного раздражали отца, хотя виду он не подавал. Зять работал сначала директором восьмилетней школы, потом его перевели в соседний с нами район директором швейной фабрики...

Зять сразу начал с того, что отец должен беречь себя, он об этом очень просит сам, от своего имени, в первый раз просит. Об этом также просит и жена его, дочь отца, и дети его, внуки отца, которые уже, кстати, подросли и которым, конечно, небезразлично, чем занят их дедушка, отдыхает ли, бережет ли силы или с утра до вечера, не слезая с седла, следит за непослушным стадом. В самом конце очень осторожно зять отцу посоветовал и лошадь свою продать: к чему на старости лет лишние заботы о ней, а если отцу для чего-нибудь вдруг понадобится транспорт, пусть позвонит на фабрику – в его распоряжение в любое время будет направлен новенький «ГАЗ-51».

Совет продать лошадь отец легко пропустил мимо ушей, но пасти коров перестал. Может, и зятя не хотел обидеть полным невниманием к его просьбе, а может, почувствовал, что в самом деле нет у него теперь сил держаться с утра до вечера в седле. И снова сам пастух стал выгонять стадо, решив как-нибудь потерпеть с грыжей до зимы.

После этого мачеха стала утешать отца, подумав, что он сдался, смирился с мыслью расстаться с Элией. Об этом, наверное, подумал и председатель, он больше о лошади не заговаривал, а, проходя мимо дома, только вежливо и как-то сочувственно произносил слова обычных приветствий.

Так кончилась осень.

Так пришла зима.



Но отец, оказалось, вовсе не думал расставаться с Элией. Председатель особенно хорошо это понял, когда увидел, с чем возвратился однажды отец из Ростова, куда возил продавать излишки нашего картофеля. Председатель шел с работы, и так случилось, именно в этот час слез у нашего дома с попутной машины отец. В правой руке держал перевязанные бечевкой пустые мешки из-под картофеля, а в левой, как связку баранок, слегка раскачивая, тоже на бечевке, нес восемь новеньких стальных подков.

Не помню, сколько дней прошло после этой встречи, может, неделя, полторы, – отец получил приглашение на общее колхозное собрание. Я не знаю, о чем там говорилось, но видел: отец и пошел на это собрание и пришел с него расстроенный. Девушке, принесшей приглашение, отец удивленно говорил, что и без приглашения явился бы, он знал, когда начало собрания, он сорок лет являлся на собрания без приглашения, являлся и после того, как вышел на пенсию, хотя с него, быть может, как с пенсионера, никто не стал бы строго взыскивать за неявку...

Отец вернулся с собрания поздно, оно затянулось, видно; но о чем бы там ни говорилось – самолюбие отца кто-то задел. О чем бы ни говорилось – была речь и об Элие. Я перестал в этом сомневаться, когда на следующий день отец взял с собой теплой одежды, много хлеба, сушеной баранины и стал седлать Элию, сказав, что едет надолго в Терновую балку...

Отец сначала, должно быть, составил такой план: купить где-нибудь сена, завести его на ферму того же Назира, сына Дебоша, и зимовать там. План этот не удался. Отец поднялся выше по балке, далеко от фермы, построил себе шалаш, выбрав место в терновых зарослях погуще, соорудил навес для Элии, окружив его неприступным для волков колючим забором из терна, доставил на это место вдобавок к купленному сену несколько мешков комбикорма и стал здесь ждать весну. Позже я слышал, почему отец не остался на ферме. Назир, сын Дебоша, откровенно признался, что не хотел бы иметь в этом году неприятностей. Когда же отец заметил, что неприятности у него могли быть и в ту зиму, когда он приютил на ферме нашу кобылу, заведующий сказал, что он отца уважает и теперь не меньше, чем уважал той зимой, но тогда на собрании о лошадях ничего не говорилось...

В аул отец ни разу не спустился. Как-то поднялись к нему мы – я и мачеха.

Я сидел под навесом, Элия лежала рядом, а мачеха с отцом разговаривали в шалаше.

Разговор был долгий. Слов я не разбирал, только одно я понимал: мачеха просила отца вернуться в аул. Отец отказывался. К вечеру мы с мачехой ушли. Отец, заросший густой щетиной, осунувшийся, остался в балке. Он сильно кашлял.

Глаза мачехи были заплаканы. Шла усталая, опиралась на мое плечо, и в голосе ее были беспокойство, обида, тревога. Она говорила, что отец заболел,



он уже болен, он и умереть может, а домой вернуться его никто не уговорит, только Чубур может его спасти, и мне придется завтра же поехать за Чубуром...

Мать свою я не помню. Она умерла от родов. В первый раз мне пришла мысль, что я невольный виновник смерти ее, когда отец в день появления на свет Элии случайно обронил слова о том, что не будь Элии, мать ее сумела бы уйти от волка... А о том, с какой добротой заменила мне мачеха умершую мать, я вспомнил, глядя, как наша корова, подставив Элии полное свое вымя, лизала языком ее бока... Мне не приходилось никогда думать, любит ли меня мачеха, поэтому думаю, она меня любила. Сколько бы я ни копался в памяти, не вспомню ни одного ее холодного взгляда, ни одного обидного слова. Я не думал о справедливости ее требований ко мне, я их принимал так же просто, как ее внимание ко мне и заботу. Я привык к ее ровному голосу, спокойствию в делах и словах, привык к ее внимательному и серьезному взгляду, привык ко всему в ней, как и другие, наверное, привыкают к своим матерям.

С отцом у нее никаких разногласий я тоже не замечал.

Но, наверное, они появились с той поры, когда отец впервые купил лошадь. Открыто недовольство не выражалось, хотя отец, видимо, мог заметить его, и когда кормил бесполезную в хозяйстве прожорливую кобылу, и когда тратил свои пенсионные рубли на племенного жеребца для кобылы, и когда жеребенок всю зиму жил с нами под одной крышей. Тогда отец хорошо чувствовал, наверное, как неприятна была мачехе возня с жеребенком. Но она, конечно, не могла строго осуждать непонятную для нее привязанность отца к жеребенку, как и вообще его страсть к лошадям. Других слабостей, на ее взгляд, у отца не было, – и самым крупным их разговором – и, очевидно, самым неприятным – был разговор в шалаше. Может быть, в душе мачехи до того дня жила уверенность, что она сумеет всегда, когда появится необходимость, найти с отцом общий язык, легко убедить его в разумности того, что самой ей кажется разумным. Тем более что она пользовалась в ауле славой умной женщины. «Аллах дал ей мудрость языка», – говорили в ауле и нередко даже просили ее помощи в сватовстве, особенно если успех в нем по каким-нибудь причинам был сомнителен. Мачеха скромно отмахивалась, когда говорили о ее красноречии, но, видимо, всякую похвалу насчет этого своего дара втайне принимала как вполне заслуженную. В первый раз, может быть, ей в тот день в разговоре с отцом пришлось ощутить свою беспомощность – не из-за слабости своего влияния, а из-за силы отца. Эта твердость отца и заставила мачеху вспомнить о Чубуре – единственном, с чьим мнением не мог не считаться отец в каком бы то ни было вопросе. Отцу полагалось уважать Чубура, потому что Чубур был родным братом его жены. Вообще всех родственников жены, даже самых дальних, должен, как я уже знал, почитать всякий человек, если он считает себя настоящим человеком. Так говорил обычай, так велось исстари. Совсем не важно, хороши родственники или нехороши, их дала судьба, почтение к ним должно быть



особое. Тем более если родственник – родной брат или родная сестра жены. Не раз я слышал, как говорили в ауле, что человек, у которого есть зять, не пропадет: зять – надежда, зять – опора, поддержка, на него всегда можно положиться, можно взвалить на плечи ему любой груз, он будет безропотно нести его. «Счастливым человеком, хоть осла не имеешь, но зять у тебя есть» – такую шуточную поговорку о зяте мог слышать в нашем ауле каждый.

Поэтому мачеха и рассчитывала на Чубура, решив отправить меня за ним как можно скорее. Чубура отец ценил не только как брата жены, а вообще как умного, толкового человека. Работал Чубур в областном центре, в Черкесске, заведовал заготовительной конторой. Очень подвижный, веселый человек, он говорил о самых серьезных вещах шуточно. В ауле его знали, считали серьезным, внимательным, достойным уважения. Приезд Чубура к нам становился событием. Отец резал овцу, к нам приходили гости, на почетном месте, рядом с тамадой, как правило, сидел Чубур.

Меня Чубур называл «голым ежиком», ничего не объяснял, и я ничего не понимал, потом решил – Чубур считает меня слишком тихим. «А ты ни разу никого не колотил, а?» – весело допытывался у меня Чубур. «Нет», – говорил я, на что Чубур заявлял: «Зря жизнь проводишь. Значит, тебя колотить будут». Этого тоже я не понимал, а Чубур смеялся и ничего больше не объяснял.

Чубура дома не оказалось. Я передал просьбу мачехи сыну Чубура. Сын тоже был подвижен, остроглаз и насмешлив, как отец. Родился он лишь на два года раньше меня, но казался гораздо взрослее. Застал я его в то время, когда он переписывал в толстую тетрадь стихи из какого-то журнала. Моему приезду обрадовался, дал прочесть только что переписанные строчки и спросил, как я понял их смысл. Стихи были о горилле. Горилла, я знал, это крупная обезьяна.

Горилла играла в горелки,
Горилла лакала горилку.
И ела она с тарелки,
И нож признавала, и вилку,
И даже порой говорила,
Поскольку была говорливой,
Но в эти минуты горилла
Была еще больше гориллой.

Я понял открытый смысл строк о горилле. Но я чувствовал: есть между ними затаенный, скрытый от меня смысл. И когда сын Чубура увидел в этой горилле «темного человека», который думает, что перестал быть темным, научившись принимать пищу с тарелки, стихи мне сразу понравились. Потом я, к своему удивлению, обнаружил, что запомнил их наизусть...

Чубур приехал на той же неделе, вечером. Мачеха известила об этом отца



наутро, через колхозного объездчика, собравшегося в Терновую балку по своим делам. На другой вечер отец спустился домой.

Чубур не вскочил навстречу отцу, как бывало, не стал шутить, тормозить его и задавать всякие вопросы. Он молчал. Лицо его, бывшее минуту назад обычным, оживленным Чубуровым лицом, при появлении отца неузнаваемо изменилось, приняло страдальческий вид. Встал он медленно, кряхтя, постанывая, словно сильную боль превозмогал крепкий, всегда бодрый Чубур.

Такая внезапная перемена в Чубуре была мне непонятна. Встревоженному отцу он сказал, что его уже давно мучит поясница, в ней поселился, он сказал, то ли ревматизм, то ли радикулит, эта адская болезнь ни есть, ни пить, ни спать, ни работать ему не дает, он испробовал все возможные средства, ничего не помогает.

Не понимал я, как может жаловаться Чубур. Не понимал я, почему мачеха просила скрыть от отца мою поездку в город за Чубуром. Не понимал я, почему она рассказывала Чубуру об отце вполголоса и умолкала при моем появлении, не скрывая того, что ее слова не для моих ушей. Много не понимал я до сегодняшнего дня.

Много понял сегодня в полдень, когда вернулся из школы...

Когда я вернулся из школы, во дворе на белом снегу лежала Элия, а над нею стояли отец и несколько мужчин – наших соседей. Элия была связана. У одного из соседей, густобородого, но молодого еще, плечистого тракториста Сюлемена сверкал в руках нож. Длинное сильное лезвие было, видно, отточено только что – на снегу чернел точильный брусок.

Я не верил, что Элию будут сейчас резать, хотя соседи наши дружно повалили ее на снег, связали ноги и наточили нож. Но к моему лицу сразу прилила кровь, оно жарко запылало, и я почувствовал, как где-то внутри, медленно заполняя всего меня, рождается страх. Страх окреп, когда я услышал, как в глубине двора, за навесом, отчаянно заревела наша старая корова.

– С утра вот так. Ревет бедняга, – удивился Сюлемен и роговой ручкой ножа почесал в затылке. – Ведь мать она вроде бы Элие, свое молоко давала. Предчувствует.

Все было готово, ждали, пока вынесут какую-нибудь посуду под кровь.

– Сейчас! Сейчас! – кричала из кухни мачеха, гремящая нашим старым медным тазом, видимо, она решила его ополоснуть.

Я не просил ничего объяснить, я смотрел только на лицо отца, бледное, неподвижное лицо, а отец не хотел смотреть на меня.

Я понял со слов наших соседей, что Чубур просил по случаю его приезда прирезать не овцу, как обычно, а лошадь, потому что Чубур приехал больной и болезнь из него может выгнать только молодая конина – врачи посоветовали, да и прадедами нашими это средство давно испытано. Так что, если Аллах не против будет, оно подействует отлично.





Я все равно не верил, что Элию могут зарезать и съесть. Я не верил, что отец это допустит, хотя об этом просил и сам Чубур, единственный брат его жены, и просил, наверное, в присутствии гостей, так, чтобы отказать было совсем невозможно.

И когда отец подошел молча к Сюлемену и взял у него нож, я подумал: он сейчас перережет аркан, связавший Элию, и она, вскочив, весело помчится вверх или вниз по заснеженным улицам аула, как мчалась когда-то жеребенком; и еще я подумал: если кто-нибудь сейчас помешает ему сделать это, если кто-нибудь недобрый в самом деле решит перерезать горло Элии, которую мы спасли от волка, которую вырастили, покорили, приручили, которую по-настоящему любили, то мы с отцом станем рядом и будем молча наступать на этого человека, как когда-то в Терновой балке на серого лютого волка.

Не верилось мне в такой конец Элии еще и потому, что Элия сама была совершенно спокойной. Ноги ее стянул туго сплетенный, жесткий аркан, отец над ней встал с ножом, а она лежала совершенно спокойно. Если она умела думать, она сейчас думала вполне по-человечески: «Я ничего дурного не сделала. Я быстро бегаю, хозяин все время хорошо ко мне относился. И сейчас ничего плохого мне не сделают». Если она умела думать, она не могла думать об отце, обо мне, всех людях плохо.

И о смерти она не могла думать, потому что была совсем еще молодая. Она не думала о смерти, наверное, и в ту минуту, когда отец, став одним коленом на снег, другим придавил ей слегка шею и крепче сжал в руке нож...

В ту минуту на какое-то мгновение в круглом зрачке ее, повернутом к отцу, показалось мне, блеснула ненависть – последнее оружие связанных, но тут же погасла, и в нем, снова мирном и светлом, как тихое озерцо, опять сияла любовь – обезоруживающая любовь к небу, к отцу с ножом, к белому холодному снегу.

Я не видел глаз отца – мохнатые, низко опущенные брови прикрыли их, я видел только руку отца и по ее неуловимому движению понял: он нож у Сюлемена взял для того, чтобы самому оборвать жизнь Элии. Эта рука, рука отцовская, показалась мне чужой, и когда я схватился за нее и стал кричать что-то, мне самому непонятное, она оттолкнула меня.

– Уходи! – как чужой, приказал мне отец, едва я поднялся на ноги, упав от его неожиданного толчка.

Отец, отец! Ты только сегодня, только на один день стал чужой мне или всегда был чужим?! Только сегодня надел на дорогое мне лицо маску или все время был в маске и снял ее только сегодня?!

Мачеха, вынесшая таз, утирала с моего лица снег и слезы, прижимала меня к груди, говорила:

– Уйдем, уйдем отсюда, не надо смотреть, что делается сейчас во дворе... – Увлекаемый ею под навес, я слышал скрипучий, старческий голос, обращенный к отцу:





– Мусульманин, не спеши. Смотри, где юг. Поверни ей голову правее...

Дом наш стоит окнами на юг.

Когда моя бабушка молилась, она поворачивала свое лицо к югу.

Когда человек умирает, его кладут в землю, повернув лицом к югу.

Когда добрые мусульмане режут съедобных животных, их головы поворачивают к югу.

Юг там, где горы.

За горами, говорят, еще горы. А за ними море водное и море песчаное, а потом начнется зеленый оазис, где стоит белый город. Это город Мекка. В Мекке мечеть – убежище от бед и греха, земных пороков, зла и страданий. И благо милосердия тут же познаешь...

Соседи на нашем дворе, отец и ты, старик, не забывший о юге, вошли вы мыслью хоть однажды в ту мечеть?

Не вошли!

Мне казалось, вошла мачеха. Она меня утешала, слова ее были просты и добры, она говорила:

– Нельзя любить ни коня, ни птицу, не любя человека. Отцу тоже больно, как и тебе сейчас, но рукой его движет любовь к человеку, у которого тоже боль...

Я не спрашивал мачеху, какой смысл унимать боль одного, причиняя боль другому, не спрашивал, для чего изгонять эту боль из поясицы Чубура, если она поселится в груди моего отца и в моей груди. Я просто молчал. И был благодарен мачехе за то, что она в эти минуты со мной. Я тогда еще не знал, что со мной в эти минуты была не она, а ее ложь.

Я долго сидел под навесом и молчал, мачеха давно ушла. Стал дуть ветер, я перешел в сарай, где жила Элия. Здесь было тепло, и отсюда хорошо смотрелся двор. Все было кончено. На белом снегу, на месте, где лежала Элия, был выжжен ее кровью алый круг. На кухне в медном котле доваривалось ее мясо.

Вошел отец. Снял мою шапку. Положил ладонь на мою голову и помолчал. Он сказал: когда я вырасту, пойму все и не буду судить его строго за этот день. Он сказал еще, чтобы я вошел в дом, вел себя как мужчина среди наших гостей...

Чубур и председатель сидели рядом по правую сторону от тамады, а дальше по кругу расположилось по старшинству больше десятка наших аульчан. Я не помню, о чем говорили, какие произносились тосты, чем закусывали гости, пока варилось мясо, и чем угощал меня Чубур, заставив сесть между собой и председателем. Ничего не слыша, ничего не замечая, не запоминая, я сидел между ними, стараясь их обоих не касаться, не беспокоить. Что произошло дальше, после того, как подали мясо, запомнил все до мелочей, надолго.

У Чубура боли в поясице не было.

Проглотив первый кусок, он стал хвалить мясо, его волшебное целительное свойство, подействовавшее на него немедленно, и это удивительное действие





мяса, сказал Чубур, он может сию минуту всем продемонстрировать. Пусть только хлопают посильнее в ладоши, пусть хлопают, не жалея рук. Сидевший до сих пор недвижно Чубур выскочил из-за стола, лихо вскрикнул и, сам себе подпевая, стал бурно отплясывать лезгинку. Все хлопали в ладоши, молчали, смотрели на отца. Я тоже смотрел на отца. Отец был спокоен, дождался, пока Чубур отпляшет, и потом объявил, что он Чубура знает давно, знает, как пять своих пальцев и сразу понял уловку Чубура, только слепой не мог видеть, что он здоров.

Но Чубур был его дорогой гость, и все собравшиеся – его дорогие гости, и пусть сегодняшняя еда пойдет им всем на здоровье.

Потом Чубур сел, смахнул со лба пот, опрокинул стопку, разрезал на маленькие части то, что было в его тарелке, насадил большой кусок на вилку и протянул мне.

Это было дымящееся мясо Элии.

– Ешь, – сказал Чубур, – будешь крепким! – А потом он пристальней взглянул на меня и вдруг заявил: – Могу спорить, парень, у тебя по поведению никогда не было ниже пятерки. С плюсом!

– Почему? – спросил я.

– Потому что гладкий, – объяснил Чубур. – Смирно сидеть умеешь. Никого локтем не заденешь... – Чубур положил в рот кусок, пожевал, проглотил. – А сегодня ты из школы прибыл, могу спорить, на пароконке, – так назвал Чубур, видимо, двойку, – иначе почему ты туманный такой целый день? Математику я, помню, плохо тянул... По поведению пять – дело несложное. А математика труд, конечно, любит. Трудись. Труд из лентяя математика делает. А из обезьяны, говорят, он человека даже сделал.

– Нет! – сказал я.

– Не слышал разве? Это мы не проходили, это нам не задавали...

– Слышал, – сказал я. – Только не согласен, что труд из обезьяны человека сделал. Гориллу он сделал!

– А как получился человек? – спросил Чубур.

– А человек еще не получился, – сказал я, – горилла получилась.

– Неважно о себе думаешь, – сказал Чубур. – А ты не слышал, что люди – боги? Если человека не называть человеком, другое имя ему – Бог. Ты, маленькая мартышка, – тоже Бог.

– Нет. Я – горилла. Маленькая горилла.

– А мы, значит, большие гориллы?

– Да.

– Я тоже?

– Да!

– А отец твой и эти люди?..

Я знал, что лицо мое сейчас красное. Чубуру, видимо, становилось не-





приятно смотреть на меня. Я вскочил, как он сам недавно вскакивал, отбежал в дальний угол комнаты, чтобы хорошо видеть сидящих, чтобы и они хорошо меня видели.

– Да! – сказал я. – Все гориллы! – И, не отрывая взгляда от Чубура и в то же время видя всех остальных, я прокричал стихи о горилле, стихи, которые полностью, оказывается, заучились и сами собой вспомнились, когда я увидел серебряную вилку в руках Чубура, которую он протягивал мне.

Я знал, вид у меня был глупый. Но выбежал во двор я не поэтому: я не мог больше оставаться в доме.

– Ого! – качал головой мне вслед Чубур. – У ежика колючки вырастают. Ежик колоться может...

Я сижу в сарае.

Смотрю на подковы и ненужную теперь сбрую. Мне плохо.

Пришла в сарай мачеха, хочет знать, почему мне плохо. Я не могу говорить – не поймет. Она предала отца. Пусть добра ему хотела, все равно предала. Отец поверил, а я понял, я понял, что все выдуманно не одним Чубуром, а вдвоем с мачехой или одной мачехой. Впервые я подумал, что меня поняла бы родная мать, если бы жива была. И бабушка поняла бы. Я им сказал бы: мне плохо, потому что я боюсь. Может, мы боги, самый ничтожный на нас бог на земле. Мы можем сварить или изжарить все, что живет на суше и в море. У нас власть надо всем. И эта власть мне страшна. Мне хочется, нужно для моего спокойствия, для необходимого мне мужества, бесстрашия перед жизнью, чтобы было в мире что-то такое, к чему человек боялся бы прикоснуться, грубо толкнуть локтем, наступить пятой, унижить, чтобы самому возвыситься еще больше.

Я им сказал бы: боюсь я ветра. Боюсь, что однажды, в зимний день, закатный час, под свист такого невеселого ветра могут исчезнуть вдруг с лица земли, как конский дух из этого сарая, все милые нам краски и запахи, и мир для меня, для всех нас останется бесцветен, бездушен и пуст.

Многое я им сказал бы еще, и они бы поняли. Больше никто не поймет, как мне плохо и почему плохо. И отец не поймет. Он тоже предал. Предал Элию. И я, его сын, боюсь тоже кого-нибудь когда-нибудь предать, хотя сейчас не чувствую себя родной ему веткой. И отца не чувствую ни зеленым сильным деревом, ни куском могучей горы. Он был как скала, но он раскололся, разбился на куски. Я кажусь себе одним из этих кусков. И боюсь, что меня когда-нибудь разобьют на еще более мелкие куски, будут разбивать потом все мельче, пока не стану пылью, песком.

Отец сказал: когда вырасту, все пойму, все прощу.

Думаю: нужно ли понимать все, если потом прощаешь все?

Сейчас я не пойму, почему не мог остаться снег на нашем дворе белым? И мне плохо, мне кажется – и за этим алым кругом течет, уйдя под снег, кровь





Элии. Течет, дымясь, горячая красная кровь по всему двору, по всем улицам, под всеми белыми сугробами, которые без устали намечает январский ветер. Непонятно только, почему не растает подогретый снизу холодный снег?..

Снова вошел отец. Постоял надо мною. Потом сел рядом. И сидел долго. Глаз не поднимал, боялся, наверное, увидеть висящие перед ним на бечевке восемь новых стальных подков.

Отец, я знаю, хотел сейчас что-нибудь от меня услышать. Но я молчал. Тогда он встал и снова пошел в дом.

Шел медленно. Он и сейчас, уходя к поющим людям, хотел что-нибудь от меня услышать.

Но я ничего не мог сказать.

Из нашей кунацкой неслась дружная песня.

«Когда вырастешь – все поймешь». Я запомнил твои слова, отец. Сейчас я взрослый. Тебя уже нет. Но я говорю тебе: «Ты, как всегда, был прав».

Я вырос и теперь никого не могу винить за тот невеселый день. Теперь я говорю: «Ни передо мной, ни друг перед другом вы все не виноваты. Вы жили не в моем, а в своем взрослом мире. И, хорошо друг друга понимая, помогали друг другу блюсти законы не моего, а своего мира. Не виновата была мачеха, потому что любила тебя. Не виноваты были ни Чубур, ни председатель, ни тракторист Сюлемен, ни ты. Оттого, наверное, вы и пели так дружно, Чубур, любя, обманул тебя, но пел. Ты, обманутый, тоже пел, потому что его обман спас тебя от вины перед Элией.

И если бы мне тогда было не двенадцать лет, может быть, и я пел бы с вами.

Да, отец, ты оказался прав. Я вырос. Все понял. Все простил.

Но только почему и теперь, через столько лет, не может оставаться для меня светлым и тихим тот мой час, тот мой миг, когда оживает вдруг память и я вижу, как, не чуя под собой земли, мчится по заснеженным улицам тонконогая белая лошадь?!

И почему она направляет свой стремительный бег не ко мне, а уносится прочь от меня, все дальше и дальше, пока не исчезнет, и я ей могу сказать только «прощай», как говорят детству или первой любви?!





Когда тает снег

– Слушай, Адемей, побойся греха – пожалей свои длинные ноги, присядь хоть разок в жизни. Кто знает, может быть, под твоим задом земля превратится в золото. Салам алейкум!

– Алейкум салам, Хаджах. Заходи. Почему и не присесть, если ты этого хочешь.

– Не просто хочу, а жажду видеть тебя сидящим, – продолжая в таком же духе, Адемей и Хаджах опускаются на толстенное бревно около порога.

Как бы рано ни проходили вы по главной улице нашего аула, во дворе большого каменного дома с плетеной изгородью вы заметите высокого поджарого мужчину. Он обязательно будет занят каким-нибудь делом. Это Адемей.

В нашем ауле, как товары в магазине, каждый имеет верно установленную цену. Адемей считается крепким хозяином, мужиком с головой.

Хаджах – его сосед. Как известно, каждый аул славится своим острословом, человеком, имеющим при себе дар от Бога – мешок, полный шуток. Таким у нас является Хаджах. Многие опасаются бойкого его языка – кому не страшно быть осмеянным? Достается иногда от соседа и Адемею. Например, в прошлое воскресенье среди множества народу Хаджах как ни в чем не бывало обратился к нему с коварным вопросом:

– Скажи, соседушка, знаешь ли ты, о чем я прошу Всевышнего в каждой своей вечерней молитве?

И когда Адемей ответил, что не знает, тот сказал:

– А вот о чем. О, мой Аллах, посмотри: чушка парикмахера Феда такая толстая, такая жирная, а мой сосед Адемей такой тощий. Неужели ты Адемея любишь меньше, чем чушку? Прибавь ему немного мяса к костям, вгони, пожалуйста, его в тело, если в гроб не можешь.

Конечно, все смеялись, а Хаджаху словно и дела не было до того, что дома Адемея и его стоят совсем рядышком. Адемей действительно очень тощий, но





таким его сделал сам Аллах, и не переделает же теперь он его, сколько бы ни просил об этом болтливый Хаджах.

Вообще же, что смешного или плохого, если человек худой? А коли признаться, в этом есть даже своя польза – Адемею верят, когда он говорит, что болен желудком, и освобождают от работы в колхозе. Не подумайте, что Адемей любит безделье. Работы у него по горло. Не назвать же человека бездельником, если под навесом у него стоят две ненасытные буренки, причем обе с телками, если в хлеве блеют не меньше десятка овец и если во дворе его полным-полно всякой птицы. Надо же кормить всю эту животину... А сколько других забот? Дрова, вода, огород, базар, магазин и так далее. И все это на плечи одного. А Адемей в хозяйстве один-одинешенек. Хозяйка его – Хорасан – любит хворать, последнее время совсем не встает с постели...

А сын... Он для Адемея мертв, Адемей зачеркнул его в душе уже около двух лет. Он (его зовут Айгуф) окончил курсы трактористов и уехал с товарищами строить какой-то сахарный завод. Перед отъездом, когда сын объявил о своем решении ехать, Адемей выразил свое несогласие:

– Что смотреть на дружков своих – пусть едут. Ты должен остаться. Для дома так пользы будет больше.

– Разве только о пользе дома надо думать? Меня ведь учили... Надо работать с пользой для всех.

– Чепуху городишь... Думай о доме. Никто в суд не подаст, если не поедешь. Каждый живет так, как хочет...

– Я и хочу ехать, мать тоже согласна...

– А разве мать и ты не того же должны хотеть, чего я хочу? Сказано ясно – не поедешь... А поедешь – умирай там, этот дом забудь.

Айгуф с места работы часто посылал и письма, и деньги, но Адемей все отправлял обратно. Когда же приехал сам Айгуф, Адемей, верный своему слову, погнал его со двора, не пустив близко к порогу. В тот день был сильный дождь. Хорасан, узнав о том, что приезжал сын, долго бежала к шоссе. Сына она не догнала, только промокла насквозь, простыла и слегла совсем. Здоровье ее с того дня все хуже и хуже. Раньше она просила мужа простить Айгуфа, говоря, что он ее сын тоже, что она хочет видеть его, что она прощала Адемею много обид и несправедливостей, но если умрет в разлуке с сыном, она этого не простит, она умрет, не дав прощения. Тогда Адемей бушевал, доказывал, спорил, упрекал. Теперь он ей ничего не говорит. Хорасан тоже теперь ни о чем его не просит. Целыми днями лежит она и ни слова не скажет, смотрит тускло в одну точку и тает на глазах.

Старики между собой осуждают Адемея, но в глаза ему слово сказать робуют. Только Хаджах пытается порой наставлять его на ум-разум. Вот и сегодня, наверное, он пришел с этим. Начав издали, он поворачивает разговор на болезную тему. Адемей сразу вспыхивает.





- Не тревожь меня, Хаджах! Оставь, если не хочешь вражды. Ты думаешь, что сына моего знаешь больше, чем я. Ты ошибаешься.
- Иногда и сам Аллах ошибается. Не дал бы тебе сына, было б как хорошо, некого было бы гнать со двора. Ведь он часть твоя, как можно отказаться от него, словно ногу свою оторвать?..
- А я и ногу оторву от себя, если она шагнет самовольно...
- Больно будет...
- Стерплю. Слава Аллаху, я – мужчина.
- Но есть еще Хорасан... Мучил ты ее вдоволь здоровую, побереги хоть больную.
- Да что ты репейником пристаешь? Не быть в этом доме Айгуфу! И ты не приходи, если не можешь о нем молчать.
- Я могу не приходиться, только Айгуф приедет все равно, от твоего имени ему написано...
- Что?!
- Дочь моя написала, чтоб приехал. Я ей велел...
- Род бессовестных... Суете ложку не в свою кашу. Иди отсюда подобру-поздорову. Совет понадобится – позову, а до того забудь сюда ход.

* * *

Немного спустя после этого разговора приехал Айгуф. Адемей, как обычно, возился во дворе.

- Бог в помощь, отец!
- Адемей встал, широко расставив ноги.
- Приехал?
- Да!
- Теперь той же дорогой уезжай.

Отец посмотрел сыну прямо в лицо. Робкий пушок над губами, широкие смелые брови, а под ними два голубых Адемеевых глаза. Когда Айгуф вошел, они искрились, теперь в них лед.

- Письмо я получил...
- Не я писал.
- Кто?
- Сука Хаджахова.
- Как мать?
- Не все ли тебе равно?
- Пойду, взгляну...
- Хотел бы видеть – был бы с ней.
- Ну прости же, отец!
- Не называй меня так.





Адемей багровел и окидывал взглядом колья изгороди. Айгуф ушел.

В тот же вечер Адемей, закончив дела, вошел в дом и остолбенел. Хорасан скончалась. Перед смертью она как-то перебралась в постель сына и там отдала Богу душу.

После похорон Адемей и Хаджах шли рядом.

– Возьми себя в руки, – говорил Хаджах. – Ты же мужчина. С неизбежным надо мириться.

Теперь соседи часто проводят время друг возле друга. Они стараются не говорить о прошлом, только Хаджах однажды не удержался.

– Скажи, Адемей, жил бы ты по-другому, если б родился снова?

– Я вроде правильно жил, Хаджах? Только счастье не встретилось мне...

– Нет, не так! Вот что я вспомнил сейчас из детства. Однажды у наших ворот остановился нищий. Он был счастлив, когда мы вынесли ему большую лепешку, но бедняга пронес ее мимо сумки и пошел, оставив ее на земле, – он был слеп.

Ты тоже был немного слеп. Построил крепкий дом, загородился, отвел все-му свое место, а главного не заметил. Что, по-твоему, сделал нищий слепец, когда понял, что лепешки в сумке нет?

– Вернулся за ней?

– Верни свое счастье, Адемей.

* * *

Когда начинает таять снег, в наш аул приходит весна. Одинаково цветут, покрываются зеленью молодое, только посаженное деревцо и крепкое старое дерево. Вот так и сердце. Оно не говорит себе:

– Я старое, я много испытало, я остановлюсь...

Оно жаждет обновления, радуется весне, тянется к теплу и счастью.

Адемей зимой немного приболел, но сейчас встал на ноги. Целые дни проводит он по-прежнему во дворе.

Только теперь он не занят вечными своими делами. Постепенно он избавился от кур, и коров, и всяких забот. Теперь он просто бродит по опустевшему двору и ждет вечера. А вечером, когда на краю земли светится тихий закат и алым цветом пламенеют облака, он садится на бревно у своего порога и сидит. Глаза его щурятся под красными лучами, веки вздрагивают, и на ресницах появляется слеза.

Плакать никому не хочется, но когда сердце требует слез, их не может удержать даже такой твердый человек, как старый Адемей.

Кто остановит ручьи с гор, если начинает таять весенний снег?!





Когда осуждают предки

Бабушке моей завидовали когда-то только потому, что та родила восьмерых детей, и ни один из них не умер от голода. Иногда бабушка рассказывает о прежнем житье-бытье, не кряхтит, не плачет, но не скрывает: мудрость змеи и выносливость лошади нужны были ей, чтобы как-то окрылить-оперить свой немалый выводок. В морях северного полушария, слышал я, водится диковинная рыба, которая мечет икру, а сама умирает, чтобы кормить собой своих мальков. Об этом чуде вспоминаю я, глядя порой на бабушку.

Некогда очень дородная, она теперь похожа на копченое ребро. Платье, в котором ввели ее в дом моего деда и которое до сих пор хранится в сундуке, было, говорят, для нее тогда тесноватым, а сейчас его можно надеть на трех таких бабушек сразу.

Воспитала детей бабушка, по словам многих, на славу. Дочь-красавица и семеро здоровых и сильных сыновей – как в сказке.

Окажись у бабушки сыновей поменьше, дочерей побольше, ее, конечно, не назвали бы самой счастливой матерью в ауле. «Да будет у врага моего дюжина дочерей», – просили раньше горцы в молитвах, и это было самое страшное пожелание человеку, сделавшему тебе зло. Ведь женщина не станет за сохой, не вскочит, когда нужно, на лихого коня, не выглянет за дверь на ночной стук, не сверкнет клинком над головой насильника, посягнувшего на ее честь. Только тесто может она месить.

Другое дело – мужчина. Пусть навалится любая беда, он подопрет плечом и удержит готовый упасть под ее тяжестью потолок.

Главной опорой в доме у бабушки был мой дед, он и рухнул первым. Далеко от дома простился он с жизнью, умер в седле, с бандитской пулей в боку. А после, на радость недругам нашей семьи, ушли за ним сыновья бабушки. Могилы их безвестны и далеки от нас – ни один не лежит в Черном ущелье, на нашем аульском кладбище. Старший навсегда остался в снежных заносах Клухорского перевала, сорвавшись со скалы во время охоты. Остальные встретили





смерть в Отечественную войну. Теперь, когда мы собираемся на семейные советы, бабушка особенно остро ощущает пустоту в доме.

Всех сыновей она женила, но только две невестки успели подарить ей внуков. Одна из них – моя мать, другая – мать моего двоюродного брата Мазана.

Вся любовь, все тепло, что не успела отдать бабушка детям, достались Мазану и мне. Но и то, что должны были совершить ее сыновья для прославления нашего рода, бабушка ждет теперь от нас, своих внуков. Ни днем, ни ночью, ни разу не сделали мы без ее ведома ни одного шага. И ни один шаг наш не остался без ее осуждения или одобрения. Со всеми прямая и строгая, бабушка с нами добра, но также строга. Средних оценок у нее нет... «Это очень хорошо» или «это очень плохо» скажет она о любом незначительном поступке, и эти слова звучат как приговор высшего суда. Только в особых случаях для вынесения этого приговора бабушка собирает семейные советы. На них, правда, никто не советуется, но так их принято называть. Бабушка чинно занимает место у тёра (тёр – почетное место в доме, дальний от двери угол), перед ней, между двумя невестками, садится увядшая в девушках ее красавица-дочь, которая так и не дождалась светлого года для свадьбы в сплошной очереди траурных лет, плечи которой не обнажались под черными шальями для единственной белой. По обе стороны от бабушки застываем мы с Мазаном, и она в мертвой тишине коротко высказывается по тому случаю, из-за которого собрала нас...

Самым впечатляющим был последний наш совет в прошлое воскресенье. Бабушка, как обычно расположившаяся у тёра, долго и торжественно молчала. О чем она заговорит через секунду, никто из нас не знал, но что бы она ни сказала, это должно было стать для нас непреложным законом, истиной, святым повелением, потому что она у тёра и говорит от имени всех мужчин нашего рода, которые сидели до нее на этом освященном веками месте. Мы глядели в бабушкино лицо, пытались что-то прочесть в нем, но оно было бесстрастно, как вековая скала. Так бывало до тех пор, пока бабушка не выльет все, что у нее на душе, будь то похвала кому-нибудь или строгое внушение. Ни мы с Мазаном, ни наши матери, ни наша рано состарившаяся тетя – никто не был уверен в том, что не о нем пойдет сейчас речь.

Я облегченно расслабился, когда бабушка повернулась к Мазану.

– Сын моего сына! – сказала она протяжно. – Слышала я, точно так, как ты слышишь сейчас своими ушами, что шайтан обратил твой взгляд и душу на русскую девушку. Глазами можно на всех смотреть, но сердцем смотреть на женщину мужчине нельзя, если он не собирается ввести ее в дом. А если ты собираешься сделать ее нашей снохой, то подумай, смогу ли я качать на коленях твоего сына, рожденного женщиной другой веры?!

Маком вспыхнул Мазан, но промолчал. Бабушка же, не торопясь, расстегнула все крючки на платье от подбородка к поясу, обнажила давно иссох-





шую грудь, затем, также не торопясь, застегнула, сняла с белой, как снег, головы шаль:

– Молоком из этой груди, вошедшей в тебя с кровью моего сына, прошу: не позорь вот эти седины... Аллах да вразумит заблудших... Пойми меня хорошо.

«Что же здесь понимать, – подумал я с горечью, – сказала, будто гвоздь забила. А ведь другие семьи в ауле не так, как мы живут, иначе рассуждают...»

Полюбить большую жизнь, не выезжая из маленького аула, иной раз кажется невозможным. Слишком уж тихо здесь и однообразно. Аул наш лежит в ясной, как ладошка, долине, где все давным-давно изведано. Вокруг аула лес и горы, горы и лес. Я удивляюсь, когда нашими краями восторгаются приезжие туристы или больные, что добирались сюда за тридевять земель, чтобы подышать чудесным, как они утверждают, воздухом. На мой взгляд, вокруг нас ничего интересного нет.

Может, надо очутиться где-нибудь далеко-далеко, чтобы понять и оценить красоту своей земли?

Директор нашей вечерней школы, бывалый партизан, рассказывал, как плакал молодой туркмен в лесах Белоруссии: негде, мол, по-человечески отдохнуть, полежать – нет песка. Может, этот туркмен так дорого ценил прелесть своих песков потому, что долго носила его судьба по чужбине? Что касается меня, то я бы не прочь оказаться вдруг в Белоруссии или, скажем, в Туркмении.

После восьмилетки я намерился было поступить в техникум в каком-нибудь городе... Школьный сторож Мунир, лучший друг покойного отца, второй после бабушки человек, искренне желавший увидеть меня счастливым, одобрил мое решение.

– Оллахий¹, езжай... Окунись в большой мир, – сказал он. – Мясо, что сварилось в маленьком котле, может оказаться сырым. Слава Создателю, ты мужчина, а у мужчин дорог много... Не подобает ему, как старой женщине, засиживаться у очага. На нас не смотри: теперь в нашей жизни вечер, а вечером в дорогу не выйдешь. С утра надо – езжай, не оглядывайся...

Но бабушка не согласилась на мой отъезд, заявив, что, мол, и в маленьком ауле можно стать большим человеком: ведь и в капле дождя, и в бездонном море небо отражается одинаково. «Что аул, что город – все равно, лишь бы человеком стать», – сказала бабушка, хотя ни разу в жизни не видела города. Да и кроме того, по мнению бабушки, люди должны умирать там, где родились, а так как смерть может явиться в любой час, то лучше всего быть дома. Если и есть необходимость удалиться от него, то лишь настолько, чтоб хоть дым из трубы был виден. Уж ей-то, бабушке, жизнь надавала достаточно горьких уроков, чтоб убедиться в этом крепко-накрепко.

¹ Оллахий – восклицание.





– Люди в городах живут бегом, – вспомнила при этом чьи-то слова бабушка.

У нас в ауле жизнь ползет, точно арба в ленивой коровьей упряжке... Летом – жаркое солнце, зимой – бураны и метели. То пыль на дороге, то слякоть, но дорога эта неизменно скучна, и воды неизменны в своем мерном, ленивом шаге. И под гору идет арба, и в гору, петляет на крутых и некрутых поворотах, но ни разу не ускорит хода, не нарушит заведенного ритма, не выбьется с наезженной веками колеи. И чем дальше едешь, тем назойливей ощущение, что колеса вертятся, вертятся, а арба стоит на месте.

В последний год из моих восемнадцати я вдруг почувствовал себя человеком, любящим жизнь. Весь этот год в ауле жила непохожая на других девушка – Ирма...

Увидел я ее утром, когда она шла за водой. Тропа, по которой можно спуститься к реке, бежит мимо нашего дома, и поэтому в любую минуту между восходом и заходом солнца из наших окон можно увидеть женщин с ведрами.

Непонятно, как не иссякла еще Кубань, – тащат из нее и тащат они воду сплошной вереницей. Я уже знаю всех женщин в ауле.

Потому, наверное, когда она, выпрямив под дугой коромысла плечи, прошла впервые мимо моих окон, я, глядя ей в спину, сразу отметил, что она наша – приезжая. Но, что всего интересней, не видя ее лица, решил, что она непременно красива и глаза у нее синие.

В лучшей своей рубашке ждал я ее, когда она с полными ведрами поднималась от реки...

Я ей сказал «доброе утро» и, сам себе удивляясь, спросил, не видела ли она на берегу ослика с белым пятном на лбу? В ответ можно было только улыбнуться, и она улыбнулась и, не меняя шага, прошла мимо меня, покорная тяжелому ритму покачивающихся на плече ведер.

Зная, что не на что злиться, и все-таки почему-то злясь, я снова смотрел ей в спину, пока она, так и не оглянувшись, не скрылась за глыбами скал наверху.

– Внимание – последние известия, – говорил вечером Мазан, – у нас новая медсестра. Зовут Ирмой. Волосы золотые, глаза синие. Живет с братом или дядей у старой Фатимы. Брат – урод. Огромные очки, огромная голова с огромной копной волос. А сестра – изюм.

С тетрадью трубочкой в руке шла она в первый день занятий в вечерней школе по коридору, шла, обходя встречных, вглядываясь в номера классов, и наконец, жмуря под светом синие глаза, остановилась в двух шагах от меня, перед дверью десятого «Б».

«С нами будет учиться!» – подумал я, радуясь.

– Какая девочка! – говорил Мазан, подмигивая мне. – Великолепная девочка, оллахий!





Может быть, потому, что говорил он об очевидном для каждого, может быть, потому, что она ответила ему хорошей улыбкой, я выразил довольно громко, с видом знатока, другое мнение – мол, девочка такая же, как и все.

Вряд ли понравятся ей мои слова, вряд ли будет теперь она улыбаться, решил я с необъяснимым злорадством.

Но она посмотрела на меня и улыбнулась, точь-в-точь как в первую встречу, когда я спросил про нашего ослика.

В классе она села рядом со мной, за последней партой, хотя впереди были еще свободные. Мазан, сидя за соседней с толстым Норием, в нашу сторону смотрел очень часто, и я хорошо знал, кого из нас двоих хотят обворозить эти жгучие взгляды. Вечером, после занятий, мой брат удивил меня окончательно: не подозревая о том, что я его слушаю, он густым басом декламировал стихи неизвестного мне поэта, которым, впрочем, мог оказаться и сам:

Хорошо расскажет дуб измятый,
Как в ночи ударила гроза...
Я люблю, но губы мои сжаты
О любви кричат мои глаза.

А на следующий день Мазан оттащил меня в угол школьного коридора.

– Ты мне брат?! – спросил он.

– Брат!

– Можешь пойти на жертву?!

– Конечно. Хочешь сесть за мою парту?

– Как догадался? Волшебник, что ли?

– О любви кричат твои глаза! – продекламировал я и, зайдя в класс, занял место рядом с толстым Норием, а Мазан сел к ней.

Встретил я ее летом... Лето ушло, ушла и осень. Вслед им отметелила седая зима, отзвенели морозы. В аул уже хлынула ранняя весна, а я все чего-то жду, все чего-то хочу... А ничего не меняется, ничего не случается. Мазан ее лучший друг, ее рыцарь, а я только брат Мазана.

Долгими, похожими друг на друга своей скукой вечерами я думаю что-то сделать, что-то ей сказать, что-то ему объяснить, чтобы изменить такое положение. Но наступает утро, и я почему-то стесняюсь этих своих мыслей.

Убеждение смутное, но заставляет замыкаться в своей оболочке, играть роль равнодушного... Эта роль тем хороша, что ее никто, кроме меня, не играет... У всех наших ребят «о любви кричат глаза».

А Мазан провожает ее даже в те вечера, когда она могла бы добраться домой со своим большеголовым дядей, два раза в неделю дающим у нас географию. Мазан в эти дни, словно ослик, тащит и ее книги, и его книги, и свои...





Раньше он делился со мной мельчайшими подробностями своих походов... Теперь помалкивает. Или из-за большой любви к ней, или из-за жалости ко мне...

Однажды приходит к бабушке мать Нория, ее сверстница, совершенно круглая, подвижная старушонка.

– Мир, сестра, дому твоему.

– И входящему мир. Садись здесь, душа моя.

Разговор идет о здоровье, о семенах, о бренности жизни земной, о близости к небу – королевству истинной жизни. Бабушка настроена благодушно.

– А с невестушкой поздравляю! – внезапно меняет тему разговора родительница Нория и ласково продолжает, – отличная невестка. Под стать солнышку Мазану. И не болела голова, а пошла к ней, полечи, говорю, а сама рассматриваю ее. Хороша, Аллах свидетель. В доме у тебя свой дохтур будет...

Натуральным ядом не причинить бабушке столько боли, сколько причиняют эти масляные слова. Захлебываясь в шепоте, она осыпает гостью вопросами: правда ли это? Давно ли? Знают ли в ауле? Просто так это или что-нибудь серьезное?

– Не знаю, не знаю, – сокрушенно вздыхает гостя. – Все в воле Аллаха. Вижу, ранила я тебя, прости... Конечно, золотая она, быть может, с пяток до макушки, да кровь в ней не наша. Тебе, любимице Аллаха, истинной мусульманке, – она не сноха. Не поверила бы, что умница Мазан может так тебя обидеть, да слышала сама своими ушами...

Старушка рассказала, как ее «непутевый» Норий случайно записал на магнитофон («хитрую говорящую коробку») разговор Мазана с «фельдшерницей» на вечере в школе... Она не все поняла, но перевел Норий...

Позже эту запись прослушал и сторож Мунир. «А ты, Норий, оказывается, подлец», – изумился старик и закатил ему памятную оплеуху.

Гостя ушла, видимо довольная тем, что смогла уязвить слишком гордую бабушку. А бабушка – образец вежливости, была так ошеломлена, что забыла выйти проводить приятельницу до калитки. Внук запел не дедовские песни... И за что ей такое наказание! всю жизнь исправно служит она Аллаху, а он все шлет и шлет новые беды... Ни разу нога ее не ступила в дом, где в углу под свадебной шалью стояла невестка чужой веры, а теперь и к ней в дом направилась чума... Да, неправильную песню запел сын ее сына. Но хорошо, что вовремя узнала. И на том спасибо Всевышнему. Она вытравит из сердца своего внука то, что насадил туда злой дух. Она скажет Мазану, крепко скажет, ветер не унесет ее слов мимо уха его. Да, не унесет!

Бабушка действительно сказала. После нашего семейного совета Мазан больше не провожал Ирму... Как долго он мучился бы, неизвестно, в конце апреля ему вручили повестку из военкомата.





* * *

Полдня я бродил по грязным улицам райцентра, оставив их в парке. Завтра Мазан уезжает, они прощаются здесь, в ауле нельзя... Но уже поздно. Мы все должны успеть на последний автобус.

Я тихо бреду вдоль деревьев к ним... Они стоят у большого дуба и о чем-то говорят и смотрят друг на друга... Я уже совсем близко, но они не видят меня. Вдруг Ирмины руки, как крылья, взлетают вверх и смыкаются на его шее...

Довольно рано узнаем все мы, что у нас есть сердце, но чувствуем его каждый в свое время, только тогда, когда оно вот так непривычно забьется в груди.

По пустынным, затопленным недавним дождем улицам я ухожу от них один и никак не могу заглушить в себе острую обиду. Я лезу в лужи, ноги давно мокрые, холод ползет по всему телу – немного остываю. Чего я налился злобой, как бурдюк шипучим вином?! Не обещали же мне они не целоваться. И ведь не для того целуются, чтобы причинить мне зло... В конце концов, они даже не заметили меня, чтобы постесняться меня или пожалеть...

Эти доводы разумные, их много, и все они на одной чаше весов, но все-таки перетягивает другая, на которой одно-единственное – моя боль.

Может быть, поэтому я не восстаю, не пытаюсь защитить и, кажется, даже рад, когда, вернувшись в аул, вижу возле амбулатории разъяренного мужчину, который кроет новую медсестру и всех ее предков по той причине, что медсестра куда-то делась, без нее «скорую помощь» из района вызвать нельзя, а его жена собралась вот-вот рожать...

Я смотрю, как маленькая круглая женщина бережно несет на руках свой большой живот, как ее укладывают на неуклюжую бричку, застланную сеном...

«Скверно, очень скверно, – думаю я, – человек страдает, а она целуется...»

Вечером Мазан возвращается, я прошу его в последний раз побоксировать со мной... Дома у нас две пары перчаток – занимаемся боксом давно. Прошу так настойчиво, что он соглашается, и я бью его. Раньше бил только в дальнем бою, теперь бью и в ближнем, вся моя злость сейчас в перчатках.

Мазан молча защищается, губа его в крови. Он устает, поднимает руки, но я не останавливаюсь и нокаутирую его.

Милый, единственный брат, жизни не жалко для тебя, все могу простить тебе, но не парк, но не дуб, но не Ирму...

Утром он уезжает. Вырываясь из объятий целой дюжины старух, он стискивает, прижимает меня к себе.

– Зря вчера колотил, – слышу я, – она любит не меня. Любит другого, и его колотить вряд ли тебе захочется...

Он взбирается в кузов гудящего «газика» и сверху трогает мое плечо и улыбается рассеченной губой, а за улыбкой грусть.





Больше месяца он надоедал в военкомате, сам просился на службу, и вот едет, даже не окончив школы, – таков Мазан. Мягкий, покладистый, получивший нокауты от тех, кого любил, – от бабушки, от Ирмы и от меня...

Комитет комсомола собирается у нас, как многие считают, в самых особых случаях. Через неделю после отъезда Мазана он тоже собрался по особому случаю.

– Будем обсуждать поведение комсомолки, ученицы десятого класса – Ирмы Винницкой... – сказал секретарь Умаров. – В пятницу прошлой недели ее не оказалось на рабочем месте, в результате чего чуть не произошла трагедия. По ее вине рождение нового гражданина нашей страны случилось не на удобной койке районной больницы, как это у нас положено, а в дороге к той больнице, на несчастной бричке. Заметьте – на бричке, когда ракеты бороздят космос, а на земле тесно от автомашин. Где же, спросим себя, была в это время комсомолка Винницкая, которой, как медицинскому работнику, доверено самое дорогое – жизнь и здоровье наших тружеников? Она весь день этот провела с бывшим учеником нашей школы – Мазаном Османовым. Уже этот факт, сам по себе, безотносительно к долгу, к работе, заслуживает нашего строгого осуждения: с таких вот длительных прогулок по паркам и садам и начинается моральная неустойчивость человека...

Предложили выступить десятикласснице Кате, девушке с пронзительным взглядом, которая сначала сдержанно, потом все резче и, наконец, совсем резко высказала мысль, что разбираемое дело – некрасивое, а наши дела и мы сами должны быть красивыми, а для этого недостаточно одних только хороших волос, синих глаз – нужна и внутренняя красота, то есть все в нас должно быть прекрасным, как требовал того классик Антон Павлович Чехов.

После нее все долго молчали. Пришлось встать Умарову:

– Что за равнодушие? Что за молчание? Вот тебе, например, нечего сказать об этом чрезвычайном происшествии?

Густой бас из угла мрачно заявил, что Аллах вместе с языком дал право молчать, и он – обладатель баса, – с позволения сидящих, воспользуется этим правом.

Сосед баса, щуплый паренек, недавно введенный в состав комитета, приподнялся, когда на нем остановился требовательный взгляд секретаря, и так, в неудобной позе – ни сидя и ни стоя, – он грубо отрезал:

– И чрезвычайные происшествия, и не чрезвычайные скоро забываются, если их оставить в покое. Зачем делать из мухи слона?

Потом встал Норий и начал с того, что зычно спросил, может ли уважать себя девушка, не только днем, но и вечером гуляющая с молодым человеком? Причем с таким шустрым донжуаном, как Мазан Османов? Если подумать хо-





рошенько, не мещанка ли она? Да, мещанка, если подумать. Прав секретарь – отсюда все и начинается, и Катя права – очень много надо, чтобы быть человеку красивым. Короче, любая девушка-комсомолка должна быть безупречно чистой, если подумать. А еще короче, Винницкая в данное время – пятно на нашей организации. И оправдывать ее сейчас – преступление, если подумать...

Внезапно открылась дверь, и на пороге возник взволнованный сторож Мунир. И в ту же минуту Ирма устремилась к двери.

Не выдержала? Конечно. Должен же быть предел. А сначала сидела с независимым видом: говорите, мол, о моем внутреннем убожестве, а я все-таки красивая, кричите, что я мещанка, а я все-таки красивая, хоть тресните, а я все равно красивая – и чиста и безупречна.

Секретарь растерялся.

– Баград Османов, – попросил он почему-то меня, – верни, пожалуйста, Винницкую.

– Сечь вас надо, судей шайтановых, – услышал я, уходя, голос Мунира, – за дверью стоял, все понял... Она лучше вас всех, разразись гнев Аллаха! Чистое местечко на рябом лице всегда пятном кажется. Бессовестные вы и безжалостные! Глупцы, если подумать...

Последние слова Мунир выкрикивает, наверное, повернувшись к Норию.

Ирма идет рядом и спокойно, будто только что не плакала, говорит, мол, не сердитесь – они правы, работа есть работа.

Обходя лужи, льнем к забору, наши локти касаются.

– Зачем же ездила?

– Он так просил... Я бы потом очень жалела...

«Целовались тоже из жалости?» – хотелось мне спросить, но шагаю молча.

Она словно слышит это.

– Брат твой такой славный... Только в тот день раз я его поцеловала.

– Потому что пожалела! – уже вслух говорю я, почти кричу.

Она вздрагивает и останавливается.

– Потому что на тебя похож, – отвечает она, тоже почти кричит. И уходит от меня. Почти убегает.

Подступают экзамены. Ирма хочет получить медаль и как-нибудь вытянуть меня хоть на «тройки».

Третий день грызем алгебру... Готовимся вместе.

В сакле старой Фатимы три комнаты – три разных мира. Дядя Ирмы живет в древнем мире: стол, стулья, подоконники загромождены черепками, статуэтками, осколками каких-то кубков, глиняных сосудов и всем, что еще можно найти, если вечно рыться в земле. Он пишет что-то по археологии. Даже на чай не выходит из своей комнаты.





Целый месяц возится он на нашем аульском кладбище. Ночами, чтобы не разгневать стариков. Ходили слухи, что ищет золото, но нашел он только плоский могильный камень с причудливыми узорами-письменами. «Мы родились, чтоб умереть», – написано на нем какими-то древними кочевыми племенами. Так, со слов дяди, уверяет Ирма.

У самой Фатимы, хозяйки, – эпоха средневековья. Ветхий Коран, миска, из которой ели ее прапрадеды, бронзовый кумган, чуть не пять столетий булькающий водой перед каждым намазом, большой, на две стены, ковер.

У Ирмы – цивилизация: радио, шприцы, грампластинки...

Занимаемся здесь. Когда дождь или холод...

В хорошие дни спускаемся к реке.

Я лежу на спине, слушаю Ирму, но уже не понимаю, что толкует она о квадратных уравнениях. Солнце висит над мельницей... Единственное облачко на небе тихо подползает к нему... На берегу гуси щиплют траву.

Солнце уже над нами, голова гудит от уравнений, глазам больно от света...

Я беру у Ирмы алгебру, забрасываю далеко в бурьян, и мы обедаем. Бутерброды тают на солнце и текут...

– Не хочу! Увидят – снова комитет, – отшучивается Ирма, когда предлагаю выкупаться. Но на берегу ни души, и мы идем к воде. Ирма впереди. Плечи ее белые, шея и ноги белые, и вся она – как белая диковинная птица.

Я иду, наступая на ее маленькие следы, и за нами на песке остается один большой след.

Песок жгуч.

На одном боку долго лежать невозможно, мы ворочаемся, как шашлыки на жаровне. В двух бутылках из-под выпитого нами лимонада тащу воду. Льем на руки, обтираемся прохладными ладонями...

У мельницы слышатся голоса: на зеленом лугу чему-то смеются спустившиеся полоскать белье женщины. Вокруг них, разгоняя разомлевших от тепла гусей, бегают дети.

Крутолобый малыш останавливается перед нами и таращит глаза... Одна из женщин идет к нему. Увидев нас, так же, как сын, таращит глаза: люди без привычной одежды на полдневном берегу в ауле – редкость, как солнечное затмение или комета.

– Совсем бы еще разделись, ребенка даже не стесняются, – доходит до нас обиженное шипение.

Солнце слабеет, идет вниз, мы лежим, и в бурьяне лежит алгебра. Женщины уходят, за ними уходит и солнце.

Становится прохладно, хотя песок еще горяч. В вечернем воздухе гудят комары.

Ирма зябко ежится и смотрит на поздний закат.

Я смотрю на нее.





– Скоро двадцатое, – протяжно льется ни с того ни с сего Ирмин голос.

– Что?

– Твой день рождения. Что тебе подарить? Придумай! «Она вся сгорела, – думаю я, – слишком много солнца сразу».

Теперь она не белая птица – розовая. А прожилки на шее еще ярче, еще голубее; как глаза, как вода у того берега.

Река мелодично плещет, фиолетово пламенеет закат... Дальние синие горы, красная мельничная крыша, греющий нас песок, то коричневый, то желтый, – все цвета мира сейчас вдруг растворяются в голубом и розовом. И эти две радужные струи, тихо звеня, сливаются где-то вдали друг с другом, постепенно теряют границы, только начало их здесь, где мы лежим...

Сколько серых недель, сколько дней без цвета и звука в жизни каждого?

Столько, наверное, сколько не было рядом с ним такой бело-розовой птицы... Странно, я мог ее встретить раньше, мог встретить позже и вообще мог не встретить. От кого, от чего это зависит? Кого благодарить за то, что она рядом? И кого винить, если она улетит?

Что мне подарить? Чего могу еще желать?

Счастья – и все! Разве мало?

Я стискиваю ее. И не могу, и не хочу остановить себя.

Вся она – шея, грудь, плечи – в золотом песке, как форель в чешуе, и, целуя ее, слышу хруст песка в зубах...

Ирма цепенеет от неожиданности, потом из дальнего далека говорит. Говорит очень тихо:

– Одумайся, этого ждут годами... а ты... Возьми себя в руки, – добавляет она вдруг громче и становится сразу упругой, жесткой...

Если бы она волновалась, если бы испугалась, если бы выплакала, что ли, от обиды, я не ушел бы.

Слишком сильная женщина – это так же плохо, как слишком слабый мужчина.

– Молодой человек должен быть всегда гладко выбрит и слегка пьян, – говорит Мунир и таранит своим стаканом мой. – Ну а нам, старикам, можно и небритыми пить, – уверяет он перед следующим стаканом.

Закусываем сыром, тонкими прозрачными ломтиками. У Мунира это выходит красиво. Пьет он как попало, а ест – будто священнодействует. Такое почтение в его взгляде к хлебу и сыру, так бережно подносит он ко рту самую маленькую крошку!

Быть гладко выбритым я не могу: борода у меня еще не растет. А быть пьяным, тем более, если у меня день рождения, – пожалуйста... И не слегка, а основательно. Для этого я и пришел в келью Мунира. Он стар, у него почтенная





седина, мне и на бутылку смотреть при нем не положено, не то чтобы напиваться, я прихожу к нему как к равному, и пью – сам заставил. Сегодня родился я – единственный сын его единственного друга.

Пируем не торопясь, деловито, – оба окошка в будке Мунира плотно занавешены.

– Так ты не ответил, почему я много пью, – в упор напоминает Мунир.

– Чтоб промокнуть... Сам говорил: мокрым грешникам в аду легче.

– Не шути, – грозит он шершавым пальцем. – Когда пью, я думаю только о том, какие задачи стоят перед людьми, чтобы они стали людьми...

«Если так, ты всегда думаешь только об этом» хочу я пошутить, но молчу.

Мунир действительно закладывает часто и крепко. Конченным человеком зовут его в ауле и, увидев трезвым, удивляются, наверно, больше, нежели когда он пьян.

А бабушка моя зовет его грешником – хуже этого слова на свете она ничего не знает... Но любит Мунира, как сына, и это для него большая честь: на любовь скупее бабушки, пожалуй, редко кого найдешь. Непонятно, чем Мунир подкупает ее – дружит с зельем, в мечеть не ходит, не соблюдает, как требуется от всякого правоверного, ни уразы¹, ни курмана².

И все-таки в бабушкином сердце для Мунира есть особый уголок. Из-за этого я Мунира люблю, кажется, еще больше.

И еще одно вызывает мое к нему уважение: он много читает, чего сам я не могу, как ни заставляю себя. Если книга толстая и плохая, Мунир отрывает каждый прочитанный лист, чтобы, как сам объясняет, потом не искать, откуда продолжать дальше. Но если книга хорошая, он читает ее с благоговением, будто Коран. Надо отдать должное – Мунир отлично знает все книги школьной программы.

Обо всех героях и событиях Мунир судит очень своеобразно.

– Онегин – мужчина что ли? Нет. А почему? Потому что тряпка. Она любит – он не любит, она становится чужой женой – любит... «Хочу обнять у вас колени» – и хоп коленями на пол. А где сила? Где гордость? Нету. Раб... Она хорошо ругает, мол, «как с вашим сердцем и умом быть рабом?» «мелкого чувства», – говорит. Нет, не мужчина, так и пиши в своем сочинении. Спорить начнет Биболат – пришли ко мне.

Биболат улу – наш директор, Унух Биболатович, – ведет литературу.

Сурово судит Мунир не только о книжных героях. Никого не щадит. А тех, кто мил ему, и вовсе... Где-то между третьим и четвертым тостом он и меня называл тряпкой.

– Любишь, говоришь, ее? А бабушку обидеть боишься? Нория боишься, что скажет всем? Хорошо яблочко за забором, да можно штаны порвать? Нет,

¹ Ураза – пост мусульман.

² Курман – праздник жертвоприношения.





трус никого не любит... Себя только любит, свой покой, свой сладкий сон... Как этот хлеб, нужна, говоришь? Желудок любишь, а не хлеб, потому и кушаешь. Не смотри на яблоки, иди, ломай забор, потом починишь. Ее любишь – плюй на всех, потом вытрешь...

То, что Мунир скажет, и в пьяную голову напролом лезет. Голова болит... Зачем плевать? Зачем ломать какой-то забор? Зачем я ему все рассказал?..

В тот вечер я ушел со льдом в сердце, а Ирма осталась на берегу. Она спокойно отряхивала песок, и на бедре ее таяли следы моих пальцев.

Да, я ушел... А ночью опять светило солнце, опять со звоном лились друг в друга голубое и розовое, и Ирма манила в объятия и говорила, что ждала годами... А из синего воздуха рождалось белое облако, спешило к нам и, обернувшись бабушкой, грустно обнажало иссохшую грудь и серебряную голову. Я убежал, Ирма оставалась на песке, и с нею оставалась алгебра...

Даже сон я рассказал ему... Зачем? Волшебник что ли Мунир, чем поможет? Он сам моей бабушки боится.

– Один человек тосковал по женщине, – слышится мне издали голос Мунира. – А она болела туберкулезом. Не наша была, приехала в горы лечиться. «Не подходи ко мне, – говорила она тому человеку. – Не люби меня: болезнь и на тебя перейдет». А тот долго искал людей с такой болезнью и ел с ними из одной миски, чтобы тоже заболеть. Чтобы разломать забор между собой и ею. Но она скоро умерла, а он так и не заболел. Он остался... И на войне меня не убили, – внезапно кричит Мунир. – Отца твоего убили, всех друзей моих убили. Уголь в печке сгорел, шлак остался... Выжил, чтоб когда-то умереть скверной смертью – от язвы желудка, от старости, от ожирения сердца... Но мы накажем себя. Мы будем пить. Что не смогли сделать ни туберкулез, ни шайтан-пуля, сделает шайтан-вода...

– Желаю счастья! – сказала сегодня Ирма, поздравляя с днем рождения. Удивилась, наверное, когда я отвернулся? Конечно, но что бы я ей сказал?

«Не сердись, это не вершина любви», – читаю на всю страницу в своей тетради.

Это она сегодня же, на консультации, красным карандашом...

Может быть, не вершина, может быть, и не основа, не потому ли я сержусь? И на нее ли сержусь? После облачного сна лед из сердца ушел. Но теперь в нем пустота.

Желать счастья легко – дать трудно. И взять трудно. Как спала бы она после того дня, если б я не сдержал себя? Легко бы ей было? А мне самому?

Как просто все у Мунира: человек человека навсегда осчастливить не сможет, что-то мешает, а сделать несчастливым на всю жизнь легко, ничто не мешает.

Скоро экзамены – и аттестат зрелости... А экзамены на хорошего человека, хорошего и для него, Мунира, и для бабушки, и для Ирмы, и вообще для всех?





Неужели без провала не обойтись, если ежедневно, ежечасно держать себя в предельном напряжении? Тяжело быть человеком!

«Ты не сердись, – пишу тоже красным карандашом в ее тетради, – это было только головокружение...»

Лучше сразу, резко, чтобы потом было легко, чтоб забор был еще крепче, если сломать его нет сил. И смотреть на нее не надо, и любить не надо, если нельзя любить без оглядки, если эта любовь иглой колет чье-то близкое тебе сердце.

И день рождения лучше отмечать с мудрым и старым другом, в его тесной будке, с плотно занавешенными окошками.

Довольна ли ты мной, моя бабушка?

Месяц назад окончили школу. Ирму видел два раза – два раза обменялись холодными кивками. На маленьком заводике за аулом в горячих печах жгу кирпич. Начинаю утром, домой – под вечер. Знойные летние дни после печей кажутся прохладным раем...

Когда учились с Мазаном, работали в смену, теперь работаю в две, без выходных. Это, понимаю, самоистязание, но свободное время для меня сейчас зло. Оно для меня саморазрушение, вредное копанье в душе, сумятица. Работа же для меня сейчас – это спасительница, это кнут, который не позволяет волам выбить арбу из колеи. Вместе с тем работа – это ответ на вопрос: как мне жить? Ведь часто у нас судят так: в Черное ущелье путник всегда идет по колее предков. Все сотрется в памяти аульчан, все исчезнет рано или поздно, как исчезают следы колес на дороге, но зигзаг в сторону от древней тропы не забудется и не простится. Судей ничто не смягчит – ни то, что эта тропа, может быть, для кого-то узка, что на ней уже до крови стер кто-то ногу, и ни то, что по ее сторонам, может быть, слишком много теперь колючек, впивающихся в одежду и тело.

Весь этот месяц мне кажется: я-то крепко-накрепко подчинил себя железному режиму, сам дирижирую своей душой. Она молчит сейчас, но если запоет, то будет петь сильным, стройным голосом, и только те песни, которые любит бабушка.

Мазан прислал мне письмо: хочет знать, когда свадьба и за кого выходит Ирма; Норий, видите ли, пишет ему намеками, ничего не понять...

Мне тоже ничего не понять: у самого Мазана тоже намеки и к тому же еще тон мудреца – хорошая девушка, мол, это счастье, за счастье надо бороться даже с теми, кто нам близок, кто желает нам счастья, но как-то ухитряется помешать ему.

В письме, как Мазан объясняет, «для бодрости духа», стихи, вырезанные из какого-то журнала:

Горец, кинжал не носил я бесценный,
Сабли старинной не брал я в бои,
Но не судите меня за это,
Предки мои,





Предки мои!
Я не пою, я пишу на бумаге,
Мерю пальто городского сукна,
Но...

Стихотворение большое и звучное – хороший, видимо, поэт сочинил. Но что сочинил Норий?

Бедный толстяк, он – как ящик для мусора в школьном коридоре – собирает всякие сплетни, а потом разбрасывает по всей улице. Говорили, он заносит в записные книжки все свои маленькие и большие обиды, чтоб не забыть. Уже много таких книжек, целый десяток, можно подумать: жизнь его – одна сплошная обида... А самому хочется всех обижать. Что ему сделала Ирма? И зачем выдумал не что-нибудь другое, а свадьбу?

Впервые меня пронзает мысль – а может, это правда?! Ирма может кого-то полюбить, должна когда-то за кого-то выйти замуж, давно уже невеста.

На том же месте, где в первый раз, встречаю ее, опять в своей лучшей рубашке... Неужели и у меня сейчас такой же чужой, чуть-чуть настороженный взгляд? Она стоит с полными ведрами и спокойно отгадывает, что можно услышать от меня, так долго молчавшего и переходившего на другую сторону улицы при встрече с ней.

Говорю, что Мазану написали какую-то чепуху, а он поверил и даже хочет знать – на ком остановила она свой выбор...

Сузившимся взглядом смотрит она на меня, потом смотрит прямо, на миг кажется – смотрит, как раньше, и говорит, что девушка не выбирает. Девушке делают предложение. И называет директора нашей школы...

Сто картин вспыхивают в мозгу...

...Возвращаемся с экскурсии, хлещет косой дождь, «газик» наш ползет по грязи, будто плывет. Неожиданно останавливается. Выйдя из кабины, Унух Биболатович сажает на свое место Ирму. С нами много девушек, дождь мочит и их, но у Ирмы короткий, как он замечает, плащ...

...Выпускной вечер... Еще не старый, еще крепкий, до блеска элегантный, он поздравляет Ирму с золотой медалью, за столом садится рядом, бокал его звенит мелодичней, когда встречается с Ирминым...

Разве не смешно – я только сейчас догадался об этом? Да нет же! Нет. Тогда я знал, только интуитивно, и ревность у меня была, только интуитивная...

Он восторженно говорит о подвиге, но я заявляю, что все это спорно. Четыре моряка не подвиг совершили, а долг выполнили, долг мужества, любви к жизни, а подвиг – это не то: подвиг – когда мужество с риском, с жертвой.

Понимаю теперь, спорил я не с учителем, спорил с тем, в ком чувствовал интуитивно будущего своего соперника.

Но не все ли равно, что было раньше! Сейчас Ирма сама сказала самое значительное, самое важное. Почему отвела глаза? Жалеет – не хочет видеть, ка-





ким стало лицо? А какое у меня действительно лицо? Чувствую только: губы мелко вздрагивают, их что-то тянет вкривь.

– Унух Биболатович – человек заслуженный! – неожиданно говорю я. И без паузы, на том же выдохе, тем же тоном спрашиваю, не видела ли она у мельницы нашего ослика. Целый час ищу...

И жду в ответ что-нибудь хлесткое, злое. Но она молчит и проходит мимо, покорная, как и в первый раз, ритму ведер на плече.

Я смотрю ей вслед, хочу догнать, остановить, озарить ее чем-то ясным, неожиданным. Но сверху за водой спускается моя тетья... Поравнявшись с Ирмой, пристально на нее смотрит и переводит взгляд на меня.

Сижу на горячем камне. На нем неудобно, но отсюда хорошо видна зеленая сакля Фатимы, и здесь можно сидеть незамеченным хоть до скончания века...

Сегодня суббота, последний день перед свадьбой. Последний раз мне надо прийти к ней, стать близко и смотреть ей в лицо минуту или две и ждать, как ждал год, не случится ли, не изменится ли что-нибудь?

Но как постучаться в этот зеленый аккуратный домик, о чем говорить, о чем молчать, переступив его порог?

Пусть даже в молоке он выкупается, пусть через голову три раза перевернется, но любить так, как я, не сможет; ни разу так, как я, не обнимет. Это сказать? Но она знает, что не это вершина любви. Спросить ее, выпытать – чем он дорог, чем близок ей, ближе меня? Что она сможет ответить? Может быть, как Дездемона, она его «за муки полюбила»?

Унух Биболатович действительно заслуженный человек. Он много сделал, значит, и много выстрадал, многого лишил себя, не раз, говорят, был венчан пулей... О нем пишут газеты, с почтением говорят в ауле, руку жмут двумя руками. Три часа рассказывал однажды в переполненном клубе о его мужестве воевавший с ним партизан, ныне внешкорр, выступающий в трех областных газетах неизменно с одной темой: боевое прошлое однополчан. И не только в газетах...

Солнце такое высокое, так много света, так ослепительно сверкает крышами лежащий внизу аул, что страшно быть несправедливым. Сейчас под этим палящим солнцем жажда правды – как жажда воды! И никогда эту жажду, кажется, не утолить, если не сейчас. Надо сейчас, не вставая с этого горячего камня, дожидаться рождения истины! Я сейчас ее должен найти. И если истина эта меня даже укусит, не злиться, не бить ее по зубам, а положить на рану ладонь и уйти дорогой прощения и примиренности.

...Унух Биболатович остался жив, ведь не всех же хороших на войне убивали, сколько б ни было отлито пуль.

Но сегодня ведь он такой, как и все, – просто директор... Мы очень обязаны его поколению, но и мы сможем, наверное, хорошо сражаться, и выжить, и умереть, если понадобится.





Так ну и что же? И вас будут любить. Только другие. А я люблю его, а я ему стану женой. Разве его нельзя любить? Может ли Ирма спросить меня так?

Но зачем тогда я так долго думал о тебе? И ты зачем думала, Ирма? Я знаю: думала... Почему не дано было нам посмотреть друг другу в зрачки в самом начале и увидеть свадьбу, увидеть завтрашний конец? И разве наши симпатии и антипатии рождаются просто так, стихийно, случайно, без корней, без гарантии на существование в будущем?

А может быть, то, что привиделось мне когда-то в ее глазах, все-таки правда, и завтра – с ним свадьба без любви, а мне любовь без свадьбы? Безобидный дележ?

Так не бывает?

Я, во всяком случае, так не хочу, знаю точно.

«Онегин – тряпка: нет силы, нет гордости». Мудро, пьяный Мунир! Когда ты говорил неправду?

Нет, если надеяться, то только на неделимое счастье. Если говорить с ней, то только сегодня. А завтра и после – поздно.

День, такой долгий день вопросов без ответов, теперь гаснет, тень моя становится длинной, пересекает все ущелье... Зеленый домик тремя боками приветствует сумрак, белеет только сторона, повернутая к исчезнувшему солнцу... Загораются окна, над крышей взвизывает струя дыма. Кажется, что сакля Фатимы висит на этой темно-синей веревке, зацепившейся одним концом за звездное небо, другим – за трубу.

На руке моей – полоска ожога раскаленным кирпичом.

– Хорошо? – спрашивает она.

«Да, пластырь помогает, – хочется ответить и положить руку в бинтах на грудь – здесь больно, здесь рана, какой сюда пластырь?..»

Эти слова, нелепые и пошлые, она приняла бы за желание тронуть, разжалобить, я их себе не простил бы, сколько б ни жил.

Но каким жестом, не уязвляя своего самолюбия, не уязвляя ее и никого другого, просто по-человечески, спокойно и умно, передать ей все, что сейчас в душе?

Мне вдруг становится жалко человека вообще, потом становится жалко себя.

Она подходит близко, хочет, наверное, посмотреть, не плачу ли? Сначала вижу лицо, потом только глаза.

Странно – смотреть сразу в оба невозможно.

Смотрю в один...

В нем – ответ на мучившие меня вопросы. В нем – однажды молча сказанная и неизменная с тех пор правда.

Да, пусть нетвердо, пусть без четкой уверенности, но я всегда знал: в жизни





обязательно должно быть что-то, что без слов, без клятв, молча и властно поворачивает друг к другу и сближает людей.

В соседней комнате сонно кашляла старая Фатима; в другой среди статуэток и разбитых кубков давно смотрел свои ученые сны большеголовый ученый; спали уже, наверное, под тихими крышами и Мунир, и Унух Биболатович, и секретарь Умаров, и все остальные. И никого не было.

Не было и бабушки. Мы были одни.

Под косым лунным лучом лебедем белело свадебное платье. Лебедь взметнул крылья, но не взлетел; моя рубашка, брошенная Ирмой, упала на него...

Мы ни слова друг другу не сказали. Ночью все живет молча.

И часы под подушкой стучат молча.

И опять в мире ничего нет. Есть мы, две половины мира, притянутые каким-то большим добрым законом...

Но из-за гор уже вползает утро, грозит светом, как карой за преступление. Нет вины, нет ошибки, но страшно, и почему-то надо бояться...

Заря на горизонте показывает кончик пламенного языка.

...В саду, в старой кадке светилась вода. Над нами наливающимися соком яблоки. Срываем одно за другим. Сок кислый, приятный, пронзает, как хмель.

Проснувшийся ветер сбрасывает росу с деревьев.

Ирма дрожит от прикосновения холодных капель.

Я поднимаю ее на руки. Невесомая теплая птица... Весь год заполняла меня то горем, то радостью, но не позволяла быть сердцу пустым.

Пусть дни впереди будут тусклыми, пусть будет тоска, но и тоска по ней станет радостью.

* * *

Солнце горит, как и вчера.

Иду по саду, откуда ушел утром, прячусь в тени деревьев.

Что скажет она сейчас, утром сказавшая «нет»? Что изменилось за эти часы, почему попросила снова зайти?

Под ветхим навесом старая Фатима колет дрова. Топор тяжел, слушается плохо, не сразу бьет куда нужно.

– Да будет день щедрым, дело удачным! – говорю я ей и беру у нее топор. С каждым взмахом Фатима успевает отпустить мне какое-нибудь доброе пожелание.

– Будь здоров и счастлив, – говорит она при последнем взмахе и суетливо ныряет рукой за пазуху. – Бумагу оставила тебе синеглазая...

Человек в очках сидит в древнем мире и пишет что-то. Услышав вопрос, поднимает большую голову и тупо глядит вперед.

– Ключом явился Розеттский камень, бывший одновременно и билингвой, и бискриптой, – мыслит он вслух по инерции.





– Куда она уехала? – кричу я.

– Далеко, на север, – отвечает наконец ошеломленный ученый и длинной рукой показывает, где север.

– Будь счастлив, сынок! – еще раз благодарит вдогонку Фатима во дворе.

– Постараюсь, – обещаю, не оглядываясь.

У калитки носом к носу сталкиваюсь с идущим навстречу Биболатовичем... Адская жара, а он в галстучке, аккуратный. И немного волнуется.

Боком его обходя, сообщаю, тоже глухо:

– Розеттский камень был билингвой, и еще – бискриптой.

Пусть думает, что спятил, я и сам так подумал.

Сижу на горячем камне...

В ущелье над спящей водой неслышно стонет камыш... За рекой неподвижно томится пестрое стадо. Коровы лежат и спят, не закрыв грустных глаз, – сейчас полуденная жвачка. Внизу по желтой дороге тащится в аул арба. Ни пыли за ней, ни скрипа колес, и ни песни погонщика, будто в фильме без звука. И река тоже плещет беззвучно, и шелест камыша беззвучен, и все беззвучно, будто не живет...

И занозой мучает мысль: надо что-то немедленно понять, что-то открыть, к чему-то прийти, чтобы мир не остался вечно далеким, как сейчас, знойным и мертвым.

В третий раз читаю письмо, но ясно одно и то же: улетела белая птица, вспугнули ее, сказали, что не буду я счастлив ни с кем, если будут несчастны мои близкие...

«Пусть лучше две змеи обовьют мою шею, чем его твои руки», – так сказала ей моя тетя... Но она благодарна тете, которая страстным гневом объяснила самое трудное: почему я боялся любить. После визита тети она поняла все, и теперь она уезжает, ни о чем не жалея... Очень недолго, всего одну лунную ночь была она счастлива. Ночь была короткой, самой короткой в году, но обижаться на то, что нет постоянного, бесконечного счастья, несправедливо... Важно только одно – оно пришло, оно жило в тебе, а потом ушло, как уходит солнце.

Домой прихожу вечером.

Бабушка на крыльце готовится к молитве.

– Где был так долго? – спрашивает она.

Куры одна за другой взлетают на плетень и слепо смотрят перед сном на закат. Серый ослик за плетнем блаженно жует траву.

– Колол Фатиме дрова.

– Это очень хорошо, сын мой. Людей нужно любить, – говорит бабушка и начинает молитву.

Да, милая бабушка, мы должны любить. Мы родились не умирать, а любить. А когда умрем, мы станем землей, мы станем травой, взойдем в хлебе,





вольемся в реки, взбудоражим плоть и кровь живущих. И вместе с нами, вечно умирая и рождаясь, как птица феникс, будет жить любовь.

Она будет такой, какой живет теперь во мне.

Может быть, разной, особой любовью, но я буду любить и тебя, моя бабушка, и Мунира, и толстяка Нория, и всех, и всё.

Буду любить и это небо, и эти вечные горы, и этого белолобого ослика.

Я буду любить и ту, кого люблю.

И я найду ее.

Я буду с ней...

И не осудят меня предки мои и потомки мои.





По закону жизни

Хмурое будет лето – с большими дождями и маленьким солнцем. Не хочет ветер признать весны, совсем по-осеннему разговаривает. Дует без устали, не иссыкает, будто река течет. Только на миг присядет за Синим хребтом, послушает небо и снова свистит и скачет шайтаном...

Озябшая орешина стучится в окно, вздрагивает, машет ветками, как птица летящая.

Кто-то говорил: старость приходит, когда начинаешь забывать лицо первой женщины. Неправильно говорил: раньше приходит... Хорошо еще помнит Хут женщину, что была его первой и последней, часто слышит по ночам её голос, видит улыбку. А старость уже давно порог перешагнула. Это она заставляет злиться сейчас на ветер, ковыряясь ржавым гвоздем в пояснице, она убила правую половину Хута. Мать вспоминала: родился он в зиму, когда Кабардай, их единственная кобылица, принесла сразу двух жеребят. Сколько раз одевались горы в белое после той зимы? Много, никто не считал. Дерево за окном меньше зим видело, чем он, но тоже состарилось, обрюзгло, огрубело, корой, морщинами покрылось. Хут был уже джигитом, умеющим надевать штаны, когда отец принес два крупных ореха – одним угостил его, другой глубоко в землю сунул.

– Зачем? – пожалел мальчик.

– Орех умрет – дерево родится, – утешил отец. И был прав: так следовало по закону жизни. По этому же закону сам отец ушел в другой мир. Только слишком рано. Зеленый побег выглянул на свет, когда отец был уже в земле. Да останется просторной и светлой могила его вечно...

Не унимается ветер, о старости поет... Течет по ущелью холодный, как осенью, течет – не кончается, будто река. Хмурое придет лето, с тощим негреющим солнцем.

Орешина скрипит, как живая, как кость больной поясницы. Верхний сук ее, протянутый к Синему хребту, в прошлом году не цвел, не зацветет, видно, и теперь. Он, наверно, и жалуется небу.



Шесть лун сменилось, как Хут не двигает правой рукой. А недавно умерла нога. С виду она как и левая, но души в ней нет, точно мертвый сук на орешине. В сырые кожи кутался Хут, по уши в козий помет зарывался, еще в соленой воде долго сидел – не отпустила болезнь. Солман-эфенди, да умножится мудрость его, большой дуа-талисман выписал, сам на шею ему повесил, до этого два раза святуу книгу читал – не помогло.

Но Хут не хочет гневить Аллаха – не жалуется... Живет, как прежде: уразу держит, курман празднует, чистые одежды носит, и каждый волос в бороде его свое место знает. Не во все дни, как положено, но хоть по пятницам, в дни джумы¹ он и в мечети бывает. Мечеть рядом. Могучий Ойс, молчаливый и верный слуга, покорно относит его на руках туда и обратно. Хут, несчастный, не может в поклонах Всевышнему касаться лбом молитвенного ковра. Торжественный и выпрямленный, будто на стержень посаженный, замирает он под голубым куполом и до конца намаза с хорошо спрятанной завистью глядит на молящихся.

Тяжела жизнь без намаза – совсем не отдыхает сердце. Когда человек не в силах поделиться с Аллахом, то и маленькое горе большим кажется. Но не жалуется Хут. Судьба каждого на лбу написана, время страдать и время радоваться еще в день рождения каждому назначено. Хут терпит. Чуток он к недугам своим телесным, мучают они, но еще больше мучает тревога душевная. Как и этот ветер, не унимается она, грызет изнутри, все острее становится. И началась она внезапно...

В прошлом году, когда с гор текли снега и овцам удавалось уже набить молодой травой полживота, лесник Хомай привез галопом неожиданную весть: русские войной прогнали падишаха Миколая и на стул его золотой посадили сразу много человек – Временное правительство. А на седьмую луну после этого или восьмую, когда пришла осень, и овец нужно было гнать к зимним пастбищам, тот же Хомай рассказал о новой жестокой борьбе русских, поломавших всю старую жизнь.

На большой муравейник перед дождем стал похож в те дни Карачай. Как грибы после дождя, стали появляться в аулах люди с непонятным именем – большевики, которые открыто звали к борьбе за новые, неслыханные до этого порядки.

Игла зависти и алчности начала колоть тогда зады многих, не давая сидеть на положенном месте. Лесник Хомай, да придется ему косить сено тупой косой, первый заварил кашу...

– Аллах добр, и горы Карачая высоки, – говорил однажды, собрав большой джамагат² могущественный бий Бекмурза, – достаточно высоки, чтобы не бояться наводнения революции. Но нельзя держать руки в карманах, шашки надо точить и ружья чистить. Большой газават близится с гяурами-большеви-

¹ Джума – пятничная совместная служба в мечети.

² Джамагат – народ (карач). В этом случае – совет.



ками, которые на царя своего и Бога плюнули, а теперь и у нас хотят поставить все ногами к небу: на добро наше жадными глазами смотрят, на свободу и веру нашу посягают. Острей шашки точить надо...

Шайтаном вскочил в тот день на святое крыльцо мечети Хомай.

– Эй, джамагат, – стал кричать хитрый лесник, – Бекмурза правду сказал. Высоки горы Карачая. Очень высоки – все наше добро рекой вниз струилось, к Николай-обжоре уходило. Одних только овец пятьдесят тысяч с гор утекало за год... А что в горах оставалось, нам, пастухам, не доставалось. Бекмурзе, Хуту доставалось. Русский пастух тоже мяса не видел, пахарь хлеба не ел. Одним словом, мир до сих пор ногами к небу стоял – большевики правильно теперь поставили...

Революция – не вода, революция – огонь, который до наших гор добирается, и жарко становится только тем, у кого жиру много...

«Громко говорит, но пусть – от разговоров об огне пожара не бывает», – думал тогда Хут. А пожар пришел. Покоя нет, горит теперь все. Выстрелы по ночам детей будят. Совсем расклеился Карачай, нет любви – клея жизни, все врагами друг другу стали, на два цвета поделились... Двенадцать лун горы обильно кровью орошаются, а урожай правды еще не взошел. Когда взойдет? Чьи молитвы дойдут до неба? И как быть Всевышнему, если вор выводя коня просит: «о Аллах, помоги», а хозяин ищет коня с такой же просьбой?

Красный флаг повесили над домом, в котором жил недавно пристав. Хомай уполномоченным стал, новая власть его ртом начала говорить: отнять у хозяев земли, отнять скот. Нет теперь хозяев, все братья, все равны.

Забыл Хомай: в отаре есть вожак – баран, в волчьей стае есть вожак – зверь. Так следует по закону жизни. А народ об этом забыл. В Теберде имущество Бекмурзы поделили, гол теперь Бекмурза.

Даже Додур, уже полвека бывший погонщиком мулов Хута, и тот осмелился перешагнуть этот закон. Бойко предстал он светлым днем перед Хутом и потребовал овцу для забоя к курману: ведь говорят, все общим стало. Кто скажет – нет?

– Я и веревочку принес, – деловито добавил Додур.

Хут так поразился наглости бессловесного раньше холопа, что не отказал. Не отказал бы в ту минуту ни в чем – проси тот хоть быка.

– Ты хороший человек, Хут, очень хороший. Кто скажет – нет? – приговаривал тогда Додур, увозя домой тучного барашка.

А Хомай не один пришел, с большевиками пришел считать овец Хута. Бумагу большую писали, в большую руку совали, будто есть на свете бумага, стоящая восемь тысяч овец. И будто эти тысячи Хут у Хома и большевиков угнал или по велению белого джинна заполнили они его стойбища.

Беззаботным, как новорожденный, жил отец Хома, ловко танцевать умел, хорошие песни придумывал. Таким он и умер, пусть дорога его и на том свете веселой будет...



А он, Хут, ни на одной свадьбе в молодости не поплясал, ни одной песни не спел. Орешина, что стонет сейчас под ветром, ростом меньше Хута была, когда его мать за отцом ушла, оставив ему убогий домишко и худой сарай, под которым ржали от голода два тощих конька и их старая родительница Кабардай. Теперь его дом большой и высокий, есть еще один большой дом для слуг, есть овчарни, конюшни, есть пастбища. Но не джинн подарил ему все это...

Много обид видел, много ранящих слов слышал Хут-сирота, по чужим стойбищам пася чужие табуны и стада... На крепкий замок запер он в груди свою гордость, забыл, что человеком родился: поясница, которая сейчас болит, мягкой стала от поклонов, пока не собрал он первых два десятка собственных овец и не довел их до нескольких сотен. Своим хлебом кормил Хут больную овцу, единственной шубой ягнят грел... Все видели это. Богатый человек не побрезговал им, оценил его трудолюбие, с большой отарой овец дочь свою ему в жены отдал... Правда, ушла она из этого мира: пусть ангелы хорошо ей служат.

Так взялись тысячи – добрый джинн тут ни при чем...

Отец Хомаю тоже помог. Но шел дорогой гордости. Хорошая это дорога, удобная, но конец ее – пустое стойбище.

И Хомай этой дорогой всю жизнь ходил. В город далекий Баку уезжал, да таким же голым вернулся, только разговаривать много научился и людей будоражить, травить друг на друга. Недаром старый Дильда-бай сватов Хомаю в свое время палкой прогнал, дочь свою Зубайду его, Хута, сыну Салат-Герию отдал, потому что Салат-Герий в поту жил и тогда, и сейчас в поту живет... С женой своей в год раз спит, в горах с овцами пропадает, почесать затылок времени не находит. Да, трудно тысячи достаются.

А Хомай-большевик хочет бумажку написать – и давай отары делить будем.

Шукур Аллаху, десять раз шукур – не оставил без защиты. Наехали из Кабарды джигиты, из соседних станиц лихие казаки нахлынули, все на свое место поставили...

Хомай тогда как подожженный бегал, звал власть свою защищать. Но все против пошли. Удалец Апсалат, первый друг Хомаю, сам связал его и хотел горло перерезать: крепко власть новая его обидела. Беден он был, всего полсотни овец, но из-за них несчастье нашел...

...Вернулся однажды Апсалат в кош из аула, пьяный немного – на чьей-то свадьбе был, зашел перед сном в овчарню.

– Здравствуйте, овцы мои!

Посмотрел хорошо – овец нет. Два хромых барана в углу лежат.

– Где остальные? – спросил их Апсалат, трезвея, бросился в шалаш. Старый отец его мертвый лежит, белая борода – красная от крови. Рядом бумага. Прочли ее в ауле, в ней говорится: овцы Апсалата на нужды власти новой понадобились, что подтверждается подписью начальника отряда большевиков



Петра сына Федора... Прощения за смерть старика еще просила бумага – мол, случайно вышло, в перестрелке.

Раненым медведем взревел Апсалат, усы свои сбрить поклялся, если не отомстит... Собрал десяток друзей, отважных джигитов, и ушел в горы за большевиками охотиться...

Кричал Хомай, что бумага врет, большевики так не делают, но Апсалат не поверил, и другие не верили. Когда мечеть горела, Хомай и тогда кричал, что это белые бандиты подожгли... А старики ведь сами видели, как на заре ворвались в аул всадники с красными звездами на шапках, как обложили мечеть сеном и кресалом огонь высекли, как, гремя выстрелами, скакали они вокруг огня, под минаретом, и на весь аул кричали, что Аллаха нет...

Все поэтому отвернулись от Хомаю, когда Апсалат занес свой кинжал, только Хут, на беду себе, защитил несчастного. Не убили Хомаю, в зиндан только посадили связанным, но и оттуда его Хут вытащил... Позвал в тот же день на праздник семейный, когда внука его, новорожденного сына Салат-Герия, в первый раз в бешик¹ клали. Большой это праздник, много уважаемых людей пригласил Хут, но ближе всех к тѐру посадил Хомаю, рядом с собой посадил – понять хотел этого человека, весь вечер с ним говорил.

– Равенство только на кладбище бывает. Но ты считай себя равным со всеми, кто здесь сидит. Пей, родившийся от сестры моей, – так ласково обращался Хут к гостю из зиндана.

– И на кладбище равенства не бывает, – строго бурчал Солман-эфенди, – в головах камни разные: большие, маленькие...

– Какую власть звать – Хуту лучше знать. Дорогу выбирает мул с большей поклажей, – сердито и коротко резал брат покойной матери Салат-Герия, приехавший из Теберды.

– Солнце светит всем равно, дождь мочит всех одинаково. Зачем на несправедливость жаловаться? – басом тянул, почти пел, азанчы² Сеит, крутя усы...

Все что-нибудь говорили. Даже Додур, доставлявший к столу вино и бузу, успевал делать свое дело и после каждой речи вставлять:

– Правда. Истинная правда, кто скажет – нет?

Один Хомай молчал, не ел, не пил. Когда злиться начали на него гости, он наконец открыл рот и сказал, что если это доставит удовольствие сидящим, он будет пить и разговоры вести, только один из присутствующих должен перед этим покинуть свое место.

Все молча уставились на него.

Хомай ткнул пальцем на портрет царя Николая, висевший прямо против него.

¹ Бешик – люлька.

² Азанчы – человек с зычным голосом, который следил за временем и призывал на намаз.





– Рано приказал ты, Хут, украсить им свою стенку. Только Аллаху известно, какая чаша весов вниз потянет.

– Всех гостей ты моложе, родившийся от сестры моей. Разрешаю тебе – иди, снимай...

Хут видел, как все замерли, держась за бороды, чтоб голова не качалась: ждали – что будет? А что было, увидели, когда все кончилось... Хомай-лесник Хомаем-молнией стал, выхватил из-за пояса соседа маузер и, почти не целясь, выстрелил. На двух колышках висел падишах. Теперь, скривившись, на одном висеть остался.

Перепугал всех Хомай, шайтан черный. Солман-эфенди, как конь дикий, голову вскидывая, икать начал. В соседней комнате женщины взвизгнули... Зубайда, жена Салат-Герия, вбежала бледная, на Хомаю уставилась, забыв, что среди мужчин стоит...

– Я тебе помогу, рожденный сестрой моей, – сказал Хут тогда и тоже выхватил свой маузер... С правой он лучше стрелял когда-то, но и левой попал... Второй колышек отскочил от стены, и падишах упал...

Хуту все равно, кем свои стены украшать, но за овец своих готов кровь пролить, потому что тот, у кого их мало, всегда с пустым желудком спать ложился. Сидящие на золотом стуле сменялись и сменяются, но одно остается вечным, как горы, как звезды и солнце: есть под небом нищий, есть богатый; есть слуга и есть хозяин... Так следует по закону жизни.

Не давал Хомай себя переспорить, всем старикам и ему, Хуту, рот затыкал – говорил: есть, конечно, голодные в сытые, есть убогие, есть имущие... Сегодня он, Хут, десяток овец для гостей забил, а Додур, к примеру, всю жизнь с семьей своей молотый ячмень с водой хлебает; земли его, Хута, за год не объедешь, а другим всего два аршина достается – и то после смерти... Если солнце и дождь – для всех, то земля с травой своей и пашнями тоже для всех... Дорогу выбирает мул с большей поклажей, народ возьмет на плечи поклажу и у него, Хута, и у других возьмет... И дорогу выберет... Конечно, есть под небом всемогущие и слабые, есть слуги и хозяева, но долго так не будет – так следует по главному закону жизни...

Никогда Хут не любил кричать – Хомай кричать заставил:

– Твоя власть всех равными сделать уже хотела. Но пусть сделает равными мне, а не Додуру и ему подобным... На колени тогда перед ней стану, золотая ты – скажу... Не сможет этого твоя власть, никогда не сможет!.. Слышал сказку? Пришел эмеген¹ в лес, смотрит: что это – одни деревья большие, другие – маленькие? Давай всех одинаковыми сделаю – красивый станет лес... Начал тянуть вверх маленькие, тянул, тянул – не вытянул... Тогда головы высоким деревьям рубить стал да топор свой нечаянно сломал...

¹ Эмеген – сказочный великан, чудище.





С самого начала неучтивость Хомаю видна была – вместо того чтобы пожелать старикам счастья и покоя, молодым долгих лет жизни, а дому, в котором пьет, – избытка, он за первым тостом сказал:

– Пусть Домалай новорожденный мало овец иметь будет и много любви к людям... И пусть он на отца своего похож будет...

К концу вечера неучтивость эта в злобу переходить стала...

– Под корень надо большое дерево рубить, если сотням меньших свет оно закрывает, если соки земные у них отбирает...

Не один из сидящих рукоять кинжала сжимал, пистолет за поясом щупал – Хомай перешагивал все границы, вызов вкладывал в речь свою...

Мягко обошелся с ним Хут, не позволил и пальцем тронуть... И горько теперь жалеет. В аул на прошлой неделе опять новая власть нагрянула.

Белый флаг с дома пристава сорвали, отряды белых в Змеином урочище наголову разбили...

Тесть Салат-Герия Дильда-бай, да будет бритой его борода, добровольно имущество свое народу раздал. С ума, наверное, сошел или крепко струсил... Теперь его волами его же землю мужики распахивают, урожай себе возьмут осенью.

Хомай и от Хута этого стал требовать, но Хут – не Дильда-бай, шукур Аллаху, он выход нашел. Идут сейчас его отары к Клухорскому перевалу... Через день-два лед у выхода из урочища растает, и путь свободен будет. Перевал большевиками охраняется, но у Салат-Герия достаточно людей – все до зубов вооружены. Уцелевшие казаки атамана Тараса, Игнатова сына, и убежавший в горы Апсалат со своими джигитами – надежная защита. До самого перевала сопровождать будут, понадобится – и дальше, до самого моря, где ждут купцы и турецкие пароходы.

Пусть тысяча на магарычи уйдет, пусть еще одна в дороге падет, пусть остальные уплывут, но Хут не поступит так, как Дильда-бай... Землю не унести за перевал, землю отберут, но ни одна овца Хута новой власти не достанется... Не отвернись, Создатель, в эти дни от слуг своих, помоги Салат-Герию... Хомай с большевиками, как голодный волк, по следу в горах рыщет... Сделай так, чтобы с пути он сбился, чтобы конь его над пропастью оступился, чтобы молния весенняя его ударила...

Много Хут думал о каждом шаге, о каждом слове Хомаю – но одного сердцем не мог принять. Долго заглядывал в душу его, пытаюсь понять: верит он сам своей власти или нет. Не понял...

Только однажды ночью, после тоя в честь внука, показалось Хуту, что в словах Хомаю правда живет... Но вспомнил мертвого отца Апсалата и ограбленного князя Бекмурзу, вспомнил взгляд Додура, требующего овцу, мечеть пылающую вспомнил и горячо молиться начал, прося кары на головы безумцев, помутивших чистую реку жизни...





Хотел бы Хут схватить ружье и на коня вскочить, но только молить может о смерти врага. Только лежать он может, наполовину мертвый, слушая свист ветра и жалобы стонущей орешины...

Дошли до неба молитвы Хута.

На шпиле мечети с месяцем и шестиконечной звездой уже сверкало утреннее солнце, когда Хомай привезли в седле.

Со слезой на усе пришел к Хуту Апсалат и поведал о том, что случилось, – так хотел перед смертью Хомай.

В конце Змеинового урочища догнали большевики отряд Салат-Герия. Перестрелка шла до вечера, победа к большевикам повернулась. Казаки не выдержали, отползать стали, решив скрыться. Апсалат, видя это, приказал оставить большевиков и взять на мушку предателей... Тогда один из них сказал, что отца Апсалата не большевики убили, зачем заставляет против них драться?

– Кто убил? – закричал Апсалат.

– Спроси его, – показали казаки на Салат-Герия, который уже выстрелил в одного из них и снова ружье заряжал.

– Он скажет. И мечеть вашу кто сжег, тоже скажет.

Салат-Герий, бледный и дрожащий, начал прощения у Апсалата просить, говоря, что был с казаками, которые в большевиков перерядились, но в смерти отца Апсалата не виноват, он даже на защиту старика встал, но чуть сам под пулю атамана Тараса не попал.

Апсалат не стал убивать Салат-Герия, плюнул ему в глаза и крикнул, что сдается.

Большевики отняли у них оружие, связали, но Хомай, узнав в чем дело, обнял Апсалата и всех развязал, кроме Салат-Герия.

– Хочешь – и тебя развяжем, – сказал он немного погодя.

– Одного хочу, – ответил Салат-Герий, – убить тебя, от пса родившийся. Отец твой охотник был, часто заячьим мясом тебя кормил. Если сердце твое не пропитано с детства трусостью, возьми сам ружье и мне дай.

Потемнел Хомай, никого слушать не стал...

Бросили жребий, первым Салат-Герий стрелял – промахнулся. Хомай долго целился, но швырнул ружье и пошел прочь, к коню своему. В спину ему выстрелил тогда Салат-Герий и в сердце попал...

– Две просьбы было у Хомай. Одна – к тебе, Хут, – заканчивал Апсалат глухо, – он прощения твоего себе и Зубайде просил и чтобы ты, Хут, ее к отцу, Дильде-баю, отпустил. Любил он ее, и она его любила. Домалай не от Салат-Герия родился... Дильда-бай знает об этом... Другая просьба ко мне была. Хотел, чтобы я красный флаг над аулом повесил – сам не успел, красной материи не нашел...





Ни одного слова не вымолвил Хут, только кивнул молчаливому Ойсу. Когда его подняли, припал грудью к окну и, будто сейчас только родившийся, жадно посмотрел вперед. Да, дошли до неба молитвы Хута, и Хут проклял свой язык.

На шпиле мечети, рядом с тонким месяцем и звездой, алела окровавленная рубашка Хомаю.

Он лежал на ковре, пестреющем среди травы. А рядом с ним стоял связанный Салат-Герий, его, Хута, сын.

Женщины оплакивали по очереди и, окончив, каждая плевала в лицо Салат-Герия. Салат-Герий, злой, смотрел и видел сразу всех, заполнивших двор мечети. И всех взглядом убить хотел. Еще мальчиком, услышав какую-то сказку, связал он раненую волчицу и тайком от всех высосал ее молоко. Но сильным не стал, только злым стал.

Победил его Хомай, сильнее был.

«Пусть сын на отца своего станет похожим», – вспомнил вдруг Хут.

Все продуманное, но непонятное вспомнил Хут и все понял, как этот умный тост.

Женщины по очереди оплакивали смерть.

Как птица летящая, махала ветками старая орешина. На Синем хребте чернела полоска вспаханной земли. Человек шел по борозде и сыпал по сторонам зерно. Сильными взмахами, щедро, не жалея, знал: будет жить семя в урожае.

Как живет в орешине орех, посаженный отцом Хута, так будет жить Хомай в новой жизни...





Волки (повесть)

I

На верхушке мечети и на высокой крыше княжеского дома играет багряным цветом солнце. Но вот оно погасло, начало смеркаться. Лишь бледное сияние снега освещает сакли. Вскоре выплыла луна, и аул засиял в сказочно-волшебном свете. Где-то лают собаки, мычат коровы. Почти над каждой саклей вьется темный дымок, поднимаясь к звездам.

С башни мечети донесся голос муллы, призывающий к вечерней молитве. Раскатистое эхо повторило его призывы. И все затихло.

В полночь к княжескому дому подъехали двое верховых. Не слезая с коней, постучали в обитые железом ворота. В ответ ни звука. Постучали сильнее – металлический гул повис над аулом, залаяли собаки. Сонный недовольный голос спросил:

– Кого шайтан носит в такую пору?

– Открывай, это я, – тишину разорвал повелительный голос.

Мгновенно прогремел засов, ворота с тяжелым скрипом отворились. Коротко приветствовав отворившего ворота старика, путники проехали во двор. Сбоку появился какой-то юнец и принял лошадей. Приезжие поспешили в дом, отгоняя плетками яростно лаявших собак.

– Кто это приехал? – спросил юнец подошедшего старика, расседывая лошадей у конюшни.

– Алий, сын Биболата, – отвечал старик, помогая ему.

– А второй кто?

– Какой-то русский, наверное, друг его, – бросил старик и зашагал в маленькую избушку.

– Какие они сердитые, – подумал про себя юнец и, закрыв конюшню, последовал за ним.

– А как ты возмужал, как ты вырос, – говорил старый грузноватый князь





Биболат, обнимая Алия. Затем он повернулся к молодому русскому и вопросительно взглянул на сына.

– Это граф Соловьев, мой первый друг, так сказать, товарищ дня и ночи. Лихой парень. Еле уговорил его приехать со мной, – скороговоркой объяснил Алий. Старый князь радушно заулыбался и долго тряс обеими руками руку гостя, выговаривая чисто по-русски:

– Здравствуй, здравствуй? Очень приятный молодой человек. Один Аллах видит, как я рад тебе. Чувствуй себя в этом доме хозяином, как Алий!

В это время отворилась боковая, застекленная сверху дверь и в комнату вошла, вернее вкатилась, толстая, совершенно круглая старуха – княгиня. Не изменяя правилам гостеприимства, она поспешно пожала руку Соловьева и потом лишь бросилась в объятия сына. Русский с легкой усмешкой поглядывал на нежности своего друга и его матери, в то же время рассматривая комнату, ярко освещенную двумя лампами. На одной стене красовался портрет русского царя, справа от него висели огромная тигровая шкура и дорогие часы. Другая стена была обита бархатом и почти вся завешана оружием. В строгой симметрии висели здесь ружья с длинными стволами, кривые шашки с позолоченными рукоятками в ножнах, тускло поблескивающие пистолеты и кинжалы разной величины. Кроме того, висели здесь огромный охотничий рог в серебряной оправе, и две изящные плетки. Пол здесь был устлан кошками с затейливыми узорами. Стоял круглый стол, несколько стульев и шкаф. Все это было, очевидно, не здешней работы.

Княгиня любезно усадила Соловьева и сына за стол, сама тоже села, все любясь сыном. Радости не было конца.

Биболат тремя выстрелами поднял на ноги весь аул.

Сбежавшимся людям он торжественно сообщил о приезде своего сына, направо и налево стал раздавать приказы. Все засуетились. Открылись старые погреба с драгоценным вином, несколько мужиков полезли в сарай с фонарями, выбирая ягнят для убоа, на дворе, прямо на снегу, запылали костры, а над ними казаны со свежим мясом.

В доме, несмотря на поздний час, собралась толпа людей. Вскоре послышались песни, веселье закипело. Перед входом в дом, в холодных сенях, поставили бочонок с бузой. Биболат пожертвовал его в честь приезда сына – каждый заходивший, даже мальчишки, черпали бузу объемистым деревянным ковшом, тут же висевшим, и пили.

В полупустой комнате толпилась уже молодежь. Под звуки буйной гармошки начались танцы. Девушки сучились в одном углу, парни стали в другом, громко хлопая в ладоши, в такт быстрой музыке. В другой комнате Биболат, Алий с другом и несколько горцев-стариков, богатых и весьма влиятельных в ауле, пили вино, жадно закусывая ягнятиной. Биболат тянул из огромного, блестящего рога, потом из него заставил выпить сына с русским и, наконец,





рог пошел по рукам стариков. Каждый пил сколько хотел, и каждый льстил хозяину. Один очень удачно хвалил его коней, другой – его пастбища, третий его дом, в общем, хвалили все, что касалось хозяина, и снова пили.

– Пойдем, посмотрим наш «балет», – с усмешкой обратился Алий через некоторое время к другу, и они, пошатываясь от вина, пробрались в соседнюю комнату, где шли танцы. При их входе несколько сидящих парней встали и пропустили их на почетные места. Алий и Соловьев сели и с усмешкой уставились на танцующих.

– Не очень-то хорош ваш «балет», – сказал, намеренно зевая, Соловьев другу. Но вот заиграли лезгинку. Один из юношей, в тонко перетянутой черкеске, с коротким кинжалом у пояса, закружился вихрем по комнате, то почти припадая к земле, то резко взвиваясь вверх, рискуя удариться головой в потолок. Друзья были поражены его искусством, но сидели гордо и молчаливо, ничем не выражая своего удивления. Молодые девушки украдкой поглядывали на них, но, встретившись с их надменными взглядами, отворачивались, стыдливо закрываясь платками. Веселье шло допоздна, наконец гости изъявили желание поспать. Биболат, узнав об этом, резко остановил веселье.

– Хватит, хватит, – сказал он неласково, – уже скоро и солнышко взойдет, займитесь каждый своим делом.

И все разошлись, в доме опять наступила тишина, только лаяли пробудившиеся собаки и пели петухи. Вскоре в мечети донеслись призывы муллы к утренней молитве. Алий и русский отправились спать. В комнате остались лишь князь и княгиня.

– Как изменился наш сын, – промолвила старушка и, вытащив из угла посеребрянный кумган и пестрый коврик, отправилась молиться.

II

Княгиня была права: Алий действительно изменился. Два года назад его, буйного юношу, отвез Биболат в Петербург и оставил там, устроив в Н-...ский кавалерийский полк. С тех пор он там и служил. Ему везло, везло благодаря струившимся с Кавказских хребтов деньгам. Много было у Биболата богатств, ничего он не жалел для единственного сына. Часто исчезали его стада и табуны, превращаясь в деньги и отправляясь к Алию. Но Биболат был изворотлив. То силой, то хитростью, то даже коварством и жестокостью, а иногда и преступлениями увеличивал он свой скот. Как бы то ни было, Алий был богаче многих своих товарищей. Первым другом его стал молодой граф Соловьев. Высокий, изящный, довольно неглупый, отличавшийся от всех какой-то бесшабашной удалью, он был терпим в любом обществе и был обожаем женщинами. Этим и понравился Соловьев Алию, да не только Алию он нравился – для многих был он идеалом, но для большинства он был враг. Много было у Соло-





вьева побежденных соперников по женской части, которые смотрели на него зло, враждебно. Несколько раз он дрался на дуэли, но оставался невредим, так как отлично стрелял и вообще был счастливым. Жизнь вел он роскошную и беззаботную. Каждый вечер за его счет устраивались дружеские попойки, струилось вино, резались в карты. Таким разгульем он вскоре окончательно разорил отца, старого графа, отчаянно любившего его. Но несмотря на свою любовь к сыну, граф не мог уже отпустить ему ни копейки. Это огорчило Соловьева сильно, но он не сдавался и как-то доставал деньги. Заметив, что Алий живет на широкую ногу, он быстро с ним сблизился и расположил его к себе.

«Сам Бог послал мне этого богача-простака», – думал иногда Соловьев, поглядывая на Алию. Но он ошибался, Алий был далеко не простак. Он все понимал, разбирался во всем очень хорошо и был хитер, хитрее даже отца своего Биболата. Алий незаметно учился у Соловьева всему, стараясь не отставать от него ни в чем: ни в пьянке, ни в обходительности, ни в оболыщении женщин. Он уже прекрасно говорил по-русски, танцевал, острил не хуже Соловьева, принаравливался к любой компании. С Соловьевым он стал проникать в слои светского общества, во все знаменитые уголки Петербурга. Везде был он желанным. Богатый, красивый остряк-горец. Кудри его, мягкий черный пушок над тонкими губами и горящие смолистые глаза сводили с ума петербургских красавиц. Алий делал успехи, которым уже завидовал сам Соловьев. Однажды Алий встретил на балу знаменитую графиню Нелли, известную петербургскую красавицу, царицу балов и вечеров. Почти весь вечер он танцевал с нею и уехал с бала очень довольный.

После этого вечера Алий стал частым гостем в графском доме. Вскоре это вызвало страшные сплетни, которые дошли до молодого графа, мужа Нелли, и встревожили его, хотя он не подал вида и ничему решил не верить, пока не выведет всех на чистую воду.

Однажды он объявил жене, что идет к отцу в имение и в карете, запряженной четверкой, выехал со двора. Но не поехал он в имение. Отправив карету куда-то, он тайно вернулся в дом и заперся в своем кабинете. Поздно ночью служанка графини, щедро подкупленная им, постучала к нему и шепнула: «Он здесь!» Граф ворвался в спальню жены и осветил ее. Алий не успел спрятаться. Полуодетый, бледный и злой, подскочив к графу, он зашипел ему в лицо:

– Это подло! Врываться так внезапно в спальню женщины... Вы дворянин... Вы... Вы... – но граф не слушал его. С бледным и неподвижным, как мрамор, лицом он смотрел на жену. Внутри у него все горело, сердце бешено колотилось, словно стараясь пробить грудную клетку.

– Она любит меня, и для вас она потеряна, граф. Не правда ли, Нелли? – продолжал Алий, поворачиваясь к графине. Та нерешительно кивнула головой, волнуя пышный золотистый локон. Граф вздрогнул, задрожал, но стараясь быть спокойным, выговорил:





– Завтра один из нас будет мертв – два богатыря в одном поле не живут, хотя я ни вас, ни себя не считаю богатырем. А пока... прошу вас оставить этот дом, в который так безжалостно вторглись вы. Да, прошу оставить, пока я не кликнул людей... – Алий вышел, тонко улыбнувшись и бросив:

– Всегда к вашим услугам.

Граф прошел в свой кабинет, не взглянув на растерянно стоявшую посреди комнаты жену.

Дуэль состоялась рано утром. Когда Алий пришел в назначенное место, граф со своим секундантом ждали их. Секундантом Алия был Соловьев. Граф был хмур и бледен, но при появлении врага заставил себя улыбнуться – улыбка получилась жалкая, неестественная. Решили начать. Секунданты отмерили шаги, противники двинулись. Граф шел, тщательно прицеливаясь в лоб победителя-соперника, небрежно шагавшего ему навстречу, словно по Невскому проспекту. Алий не смотрел на противника, но вот он выпрямился, в глазах его что-то блеснуло, он быстро поднял руку и, почти не целясь, выстрелил. Пистолет выпал из руки графа, немного постояв, схватившись за грудь, он упал навзничь. Когда к нему подбежали, он был мертв.

Весть о дуэли и об участии в ней опозоренного графа быстро распространилась. Везде говорили об этом, преувеличивали, жестоко осуждали Алия и графиню. Поднимался шум. Графиня попросила Алия увезти ее куда-нибудь, тот отказался, и графиня, закатив ему на прощание пощечину, уехала в Париж.

Положение Алия становилось серьезным. Многие были возмущены и требовали наказания. Алий решил уехать на Кавказ и пробыть там, пока не стихнет буря, вызванная дуэлью. Начальство уважало его и было полностью на его стороне – ему было разрешено ехать. Алий предложил Соловьеву прокатиться с ним на Кавказ. Он стал его уговаривать, употребляя слова «кавказский воздух», «охота в горах», и, наконец «прелестные девушки с черными, томительно жгучими глазами». Соловьев не устоял перед таким соблазном, согласился, и друзья в тот же день выехали.

III

Кавказ на друзей произвел впечатление огромной безлюдной снежной пустыни, где одни лишь камни и мрачные скалы. Особенно Алию Кавказ, в хребтах которого прошла большая часть его жизни, показался невыносимо серым и скучным после шумного Петербурга. Даже огромный отцовский дом, красотой и роскошью которого гордился с детства, показался ему пустым и мрачным. Высокий, тускло-белый, он возвышался над скромными саклями, приютившимися вокруг него. Одна лишь мечеть с острым шипом, на котором красовался молодой полумесяц и в его выгибе шестиконечная звезда, учтиво смотрела с высоты на княжеский дом.





Соловьев жалел, что уехал из Петербурга, и ходил хмурый, надутый.

– Зря мы уехали, не правда ли? – говорил Алий, угадывая мысли друга.

– Сам же тянул сюда, – сердито обрывал тот, – «кавказский воздух», «девушки со жгучими глазами», где же они, твои девушки «со жгучими глазами»? Вот уже неделю живу я в твоём знаменитом Кавказе, но ни одной порядочной женской физиономии не вижу?

Алий виновато соглашался с ним во всем, ему было досадно, что он так расхваливал другу Кавказ.

Одно только утешение было у друзей – они целыми днями могли пить, курить и бесконечно говорить о Петербурге, уединившись в какой-нибудь комнате. Иногда к их компании присоединялся и Биболат. Он видел скуку друзей и старался чем-нибудь ее развеять, рассказывая им что-нибудь смешное или необыкновенное и даже боролся с ними. Крепкий широкоплечий старик одолевал их обоих и смеялся.

– Молокососы вы еще, – сказал он однажды, по очереди уложив их на лопатки и смеясь.

– Не молокососы, а винососы, так вернее, – ответил Соловьев с грустной улыбкой указывая на опустошенные ими бутылки.

– Да вы и вино сосать не умеете, – опять усмехнулся Биболат, теребя пушистый ус.

Это задело друзей, они начали спорить, утверждая, что перепьют любого, старик же говорил, что он перепьет их обоих.

– Зачем спорить? Давайте посмотрим на деле! – остановил спор Биболат. – Слава Аллаху, в погребке еще много вина.

Он несколько раз хлопнул в ладоши и вошедшей служанке приказал принести вина и закуски. Начали пить. Биболат бесстрастно стал опустошать рог за рогом. Молодые люди не отставали от него, но видя, что им не устоять против старика, начали, перемигиваясь друг с другом, хитрить – то не допивали, то выплескивали вино с таким искусством, известным им еще с Петербурга, что пьянеющий старик ничего не замечал, а пил и пил. Он уже качался на стуле, поскрипывающем под его грузным телом, но приказал принести вина и мяса. Но не надо было уже этого, не допив еще эти бутылки, он растянулся на кошке. Когда служанка вошла с вином, Биболат уже громко храпел. Она поставила бутылки на стол, усмехнулась, взглянув незаметно на старика, и вышла за мясом.

– А девчонка-то ничего, – мигнул Алий Соловьеву, провожая взглядом стройный стан девушки.

– Да, фигуристая, – ответил тот, ухмыляясь, и они начали о чем-то шептаться. Скоро вошла служанка с мясом на серебряном подносе и, не глядя на молодых людей, поставила его перед ними. Вдруг ее руку схватила чья-то рука, она подняла голову – на нее решительно смотрели пьяные голубые глаза русского. Она задрожала и потянула руку, но тот сжимал ее все крепче и тянул к себе. Девушка что-то





отчаянно заговорила, из ее речи Соловьев понял только «гяур». Алий улыбался. Соловьев резко рванул и посадил служанку на колени. Та вывернулась, опрокинула его на спину и бросилась к двери. Но Алий, казавшийся совсем пьяным, мгновенно отрезвел, вскочил и крепко обхватил талию девушки одной рукой. Другой прикрыв ей рот, он потащил извивающуюся девушку в угол. Соловьев встал и задул лампу. Биболат громко храпел, заглушая шум возни в углу...

Утром в полутемной спальне старушки-княгини, уткнув лицо в подушку, горько рыдала служанка, плечи ее подергивались от плача. Старая княгиня гладила ее по голове и трескучим вкрадчивым голосом утешала. Князь Биболат сердился.

– Ну что ты разревелась? – говорил он. – Сама виновата. Что возьмешь с пьяных мужчин? Надо девушке быть осторожной. Уже поздно, ничего не поделаешь, зря плачешь. Да и что ты потеряла, чтоб так плакать? Это слез не стоит, я постараюсь, чтоб никто не узнал о твоём позоре!

При этих словах девушку словно подбросило пружиной. Она мгновенно выпрямилась, слезы высохли, и прелестные черные глаза сделались сухими. Безмерный, отчаянный гнев светился в них

– Говоришь, это для девушки слез не стоит?! – безумно кричала она. – Говоришь никто не узнает о моем позоре?! Нет! Всем расскажу я об этом, пусть все знают, какие подлости творятся и творились в этом доме, пусть узнают, какой у них бий, какой у него сын! Все расскажу. Сколько ты измучил людей, сколько служанок ты при мне...

Она не договорила. Зверским ударом своего кулака князь свалил ее на пол. Княгиня бросилась удерживать мужа, который в порыве ярости уже вытаскивал кинжал.

– У, подлая, – рычал он, кидаясь на служанку, – забыла из какой собачьей ты породы, из какой фамилии? Забыла, что я для тебя, нищенки, и брата твоего Элдара сделал? Подобрал, как шакалят, кормил, одевал, а теперь зубы показываешь? Опозорить на весь аул хочешь? Да я из тебя душу подлую одним ударом выбью...

Бедная девушка дрожала как лист и была мертвенно бледна. Лицо ее застыло в каменном молчании. Княгиня что-то шепнула на ухо мужу. Тот стал постепенно утихать, как море после шторма, и, наконец, он стал даже ласковым.

– Ну, ну хватит, не плачь, – говорил он. – Я тебя в беде не оставлю. Ведь ты и Элдар как дети родные стали, с тех пор как нет ваших родителей. И поругать, и ударить могу. Вот вырастил тебя, из Элдара человека сделал, слава Аллаху! И теперь стараюсь, чтоб вы были не хуже других, хочу, чтоб у каждого из вас была своя семья, свой дом. Вот скоро женю Элдара и тебе хорошего мужа подыщу, не будь только дурой.

Долго ещё князь и княгиня уговаривали ее, успокаивали, обещая свою любовь и помощь. Солнце уже ласково освещало аул, когда, горько наплакавшись,





служанка вышла из дому. В одном платье, не чувствуя холода морозного утра, бродила она по двору, натываясь на что попало. Она сама не заметила, как забрела в огромную конюшню; неприятный конский запах ударил ей в лицо. Она остановилась. Взгляд ее упал вдруг на стену, где в строгом порядке висели седла, сбруи, уздечки. Она решительно подошла к ним; выбрала узду покрепче и отправилась в темный угол... Когда юнец, принявший ночью у Алия и Соловьева лошадей, зачем-то зашел в конюшню, из угла до его слуха дошел какой-то глухой шум. Казалось, кто-то захлебывался и храпел. Мальчик бросился туда и похолодел от ужаса – в петле извивалась девушка. Он мгновенно вытащил маленький нож, вскочил на ясли и перерезал узду. Потом, вытащив спасенную на свет, начал тереть снегом. Несчастная скоро пришла в себя и открыла глаза – перед ней стоял перепуганный юнец.

– Что ты, Гочар, здесь делаешь, и где это я? – удивилась она, но вдруг, все вспомнив, горько безутешно заплакала.

– Что с тобою, Алакёз, что случилось? – спрашивал юнец, готовый вот-вот сам заплакать. Девушка, захлебываясь от слез, объяснила ему. У того на глазах показались чистые, юные слезы.

– Если б я тебе мог чем-нибудь помочь, – сказал он горько.

– Мне уже никто не поможет, Гочар, я все равно покончу с собой. Но раз ты спас меня, окажи теперь услугу. Найди в горах Элдара, он на первом кошу Биболата, найди его и расскажи ему все. Может, он чем-нибудь поможет мне.

Мальчик ответил, что или умрет, или сделает это, и, пошатываясь, вышел. Но не удалось мальчику выполнить своего обещания, помешала этому странная случайность. Как только он вышел из конюшни, его окликнул князь и приказал выносить из комнаты вещи. Нужно было побелить комнату. Юнец живо взялся за дело, вынес из комнаты кошмы, ковры, постель; вместе со старухой-служанкой вынес он огромное зеркало, купленное в Турции и, поставив его возле крыльца, опять зашел в комнату.

В это время по двору бродил старый козел-великан, любимец Биболата. У князя была страсть: часто любил он пускать козлов друг на друга и наблюдать за их боем. Козел этот был самым удалым драчуном, и Биболат в нем души не чаял. Козел как будто знал это и позволял себе многие выходки. Он был горд, важен, как и его хозяин, даже борода его напоминала бороду князя. Вот и сейчас козел бредет по двору важной поступью, думая, как бы развлечься.

Вдруг он удивленно встал перед зеркалом. Оттуда на него смотрела важная козлиная морда. Он стал перебирать в памяти всех знакомых козлов, но этого, так нахально смотревшего на него, ни разу не видел и решил драться с чужаком. Привстав на дыбы, он слегка ударил рогами по зеркалу. Оно переломилось пополам, и наш козел, к своему удивлению, вместо одного противника увидел двух, совершенно одинаковых, но не убежал, а, закрыв глаза, стал наносить по разлетевшемуся зеркалу удар за ударом. Вдруг он почувствовал сильный удар





в бок и открыл глаза. Перед ним стоял Гочар с увесистым поленом; этот противник был страшнее десятка козлов, и козлу пришлось удалиться. Гочар стоял бледный и, оцепенев, смотрел на разбитое зеркало. Вдруг вышел князь, увидел радужные осколки.

– Ах ты, сукин сын, что ты наделал, – вскричал он и ринулся на мальчика. Тот не успел ничего объяснить, как взбешенный князь вырвал у него из рук полено и замахнулся, мальчик отскочил и пустился бежать, но не сделал он и пяти шагов, как князь яростно запустил в него поленом. Удар пришелся по голове. Сверкающие искры посыпались из глаз мальчика, земля закружилась под ним, и он, издав беспомощный крик, шлепнулся на снег. К нему подбежали несколько старух и мужиков и подняли на руки. Алакёз вышла из конюшни на шум, увидела залитого кровью Гочара и опять бурно заплакала. Биболат с досадой дернул её за плечо.

– Перестань реветь, дура, иди лучше приготовься к свадьбе. Сегодня ты выходишь замуж, я уже только что говорил с женихом, – сказал он и быстро скрылся в доме. Мальчика понесли в избушку, стоявшую рядом с конюшней. С головы его на снег падали красные капли. Стараясь не наступать на эту кровавую дорожку, шла за ним и плакала Алакёз. На следующий день ее одели в новое платье, подарок княгини, и выдали замуж за старика-конюха, у которого недавно умерла жена, оставив ему трех детей, один меньше другого. Вечером мулла благословил «молодоженов», пожелал им жить в любви и согласии, посоветовал молодой быть верной и покорной мужу и отправился к Биболату. Свадьба шла. Пили бузу, взвизгивала гармошка, хлопали в ладоши. На печи сидели трое детей. Большими, черными, как сливы, глазами, они смотрели на будущую мать, стоявшую в углу, в небольшой толпе девушек, покрытую белым платком и почему-то украдкой плакавшую. В полночь свадебная церемония кончилась, все разошлись, оставив в маленькой сакле плачущую Алакёз, конюха и трех малышей, задремавших, положив головки друг на друга.

IV

Прошло несколько дней. Друзья по-прежнему скучали.

– Пропасть можно в этом диком краю от скуки. Все грубо, сурово, ничто не взволнует души, – говорил поэтично Соловьев. – И люди здесь – не люди, грубые, без чувств, без желаний, какие-то тупые, безропотные. Как ты, друг мой, жил здесь раньше?

– Ты прав. Слава Богу, скоро уедем и нескоро ступит моя нога сюда. Только вот мои старикашки... Мне как-то смешно и больно, что они¹...

¹ Часть повести пропала при пожаре жилого дома в ауле, где была библиотека автора.





* * *

И завтрашняя возможность поехать в горах тоже обрадовала его.

«К тому же, – думал он, – может быть, удастся встретить Элдара и все рассказать ему. Как бы была рада Алакёз».

Поздно вечером, закончив приготовления к охоте, Гочар зашел в маленькую саклю конюха. Его не было дома. Постаревшая за последние дни Алакёз сидела на кошке и что-то задумчиво шила, рядом с нею сидели трое детей. Между ними были деревянные чашки с похлебкой и кукурузные лепешки. Большими, тоже деревянными, ложками дети усердно опустошали ее содержимое. Долго сидел Гочар, молча наблюдая за малышами, и думал о судьбе Алакёз. Наконец, обрадовав ее, что встретится с Эльдаром, он вышел.

«Такая красивая и такая несчастная, приходится жить с человеком, годящимся ей в отцы, да который еще и бьет ее за то, что вошла в его дом с позором. Она же не виновата, что они, подлецы, испортили ей жизнь», – думал он об Алакёз, ступая по мерзлому снегу.

Еще на небе горели звезды, когда охотники выехали. Алий и Соловьев были на белых крупных лошадях. Биболат при свете наступающего утра любовался сыном, как-то особо грациозно сидевшим на коне.

– Мне что-то нездоровится, не то и я бы поехал с вами, – говорил он, засовывая в кожаную сумку, пристегнутую к седлу Алия, несколько бутылок вина. – У меня рука еще крепкая.

Он остался и смотрел вслед им, пока дрожащее сияние не рассеяло фигуры всадников. Позади Алия и русского на приземистой лошади ехал Гочар, закутавшись до самых глаз старой шубой, единственной вещью, которая осталась после смерти отца. Он то и дело покрикивал на гончих собак, то отстающих, то уходящих далеко вперед. Ехали быстро. Поднявшееся солнце застало всадников далеко в горах. Аул исчез где-то внизу. Дул ветерок, жгущий щеки и добирающийся до костей. Но вот солнце поднялось выше, стало приятно теплеть.

– Хороший денек будет, черт возьми, – проговорил Соловьев, щурясь от белизны заискрившегося снега.

Но плохой он был пророк. Не прошло и часа, как небо затянули тучи, нависли совсем близко над головой. Повалил внезапно густой снег, и ударил ветер. Он свистел, подхватывая хлопья снега, кружил и бил им в лицо путников. Собаки жались друг к другу и жалобно скулили. Путники остановились, не в силах двигаться дальше, и встревожились.

– Неласково что-то встречают меня горы, – сказал Алий, слезая с лошади и подходя к Соловьеву. Гочар тоже слез с лошади и подошел к ним.

– Э-э-э-й, что будем делать? Нельзя на месте стоять – замерзнем, – сказал он громко. Ветер обрывал его слова и уносил куда-то далеко, мешая со снегом. Но Алий, кажется, понял его.





– Давай поворачивай назад, домой, – ответил он, садясь на коня. Но конь спотыкался и чуть не падал, казалось, ветер подхватит его, как снежинку, закружит и сбросит в ущелье.

– Назад нельзя, – кричал Гочар, – мы далеко от аула, все тропы занесло, можно свалиться в пропасть где-нибудь. Давайте лучше вверх, пока нас снегом не занесло, тут недалеко первый кош Биболата. Поедем скорее туда, если хотите?

– Да веди, шайтан, куда хочешь, лишь бы поскорей спрятаться от этого проклятого бурана, – сердито ответил Алий.

Путники двинулись вверх. Лошади шатались и каждый шаг делали с трудом. Пришлось слезть и тянуть их за поводья. За три шага ничего не было видно. Гочар шел, по памяти отыскивая дорогу и дергая повод упиравшегося коня. За ним еле попевали Алий и Соловьев. Собаки где-то позади визжали и бороздили грудью снег. В одном месте путники прошли с большим трудом. По левую сторону их зияла пропасть, а справа – отвесные скалы, в щелях которых зловеще гудел ветер. К счастью путников, он дул слева, прижимая их к каменной стене, стоило ему изменить направление – и те мгновенно посыпались бы в бездну. Каждый неточный шаг стоил жизни. Гочар шел, вернее, полз, барахтаясь в море снега, ощупывая онемевшими руками опасную тропу. Наконец она была пройдена, путники вышли на простор. Но здесь буран свирепствовал еще хлеще, и они двигались так же медленно. Алий то и дело останавливал Гочара и спрашивал, скоро ли кош.

– Скоро, – отвечал тот, и они опять двигались, раскидывая снег. Охотники не знали, сколько времени прошло, пока они не стали спускаться с хребта, у подножия которого, по словам Гочара, был кош. Внизу было немного тише, чем наверху, и идти было легче. Слова Гочара оправдались: снизу до слуха охотников сквозь шум бурана дошел лай собак и засмутились какие-то постройки. Это и был первый кош, один из многих кошей Биболата, рассыпанных по хребтам. Он был большой. Под снегом чернели длинные сараи и навесы, умелыми руками сплетенные из лоз. Сбоку от них стояла маленькая избушка, в которой жила семья пастуха. Из трубы ее валил густой дым, мгновенно терявшийся в снежном вихре. Во дворе валялись кучи дров, поломанные колеса, засыпанные снегом. Путники ускорили шаги. Собаки, почуяв жильё, тоже оживились и затрусили в кош. Но навстречу им из одного сарая громким лаем выскочили несколько собак. Обе стаи начали яростно грызться. Подоспевшие путники и человек в огромной шубе, вышедший из избушки, разогнали собак. Алий и Соловьев, отряхивая снег с башлыков, поспешили в избу, оставив лошадей Гочару и человеку в шубе. Те затянули лошадей в сарай и привязали к кольям.

– Здравствуй, Гочар, – проговорил человек, откидывая воротник шубы, – добро пожаловать. Как вы сюда попали и кто эти двое? – Голос был женский. Гочар узнал молодую дочь пастуха.





– А, Шерифат, здравствуй! Ну, как тут у вас? Почему выходишь встречать гостей ты, а не кто-нибудь из мужчин, Элдар или отец твой? Наверное, их нет дома? А я так хотел встретить Элдара и рассказать ему о несчастье его сестры. Ведь вот эти двое опозорили ее, а на следующий день Биболат выдал ее за старого конюха, который еще и бьет ее. Бедная, она чуть не покончила с собой, еле живую я вынул ее из петли. Надо все рассказать Элдару. Но, кажется, его нет здесь?

– Он в домике, с отцом моим, – отвечала девушка, побледнев то ли от холода, то ли от рассказа Гочара. – Но ты поезжай туда, они недалеко отсюда, идем, пока согреешься немного, утихнет буран и поедешь, дорогу я тебе расскажу.

Положив перед лошадьми несколько охапок душистого сена, они вошли в избу. В первой маленькой комнате было пусто и холодно. Во второй возле печи, на деревянной кровати, застланной кошмами, лежала больная старуха, мать Шерифат. Около нее стояли два мальчугана в порванных рубашонках. Первому из них было лет двенадцать, второму не больше десяти. Их любопытные живые глаза внимательно смотрели из-под лохматых шапок на Алию и русского, сидевших посреди комнаты на кошке, по-турецки скрестив ноги. В этой комнате было темновато, но зато тепло и уютно. За маленьким окошком свирепствовал буран. Стены избышки состояли из параллельных плетней, пустота между которыми была плотно набита сеном и стружками.

– Мир этому дому, – сказал Гочар, переступая порог.

– Мир и тебе, Гочар, – ответила старуха, приподымаясь на локтях, и слабо протянула руку.

За Гочаром вошла Шерифат, опустив голову, прошла к печи и стала подкладывать дрова в потухающий огонь. Она была в длинном черном платье и шерстяном самотканом полуверхе. Из-под платка выбивались черные волосы, две толстые косы вились по спине. Когда она нагибалась, закладывая в печь дрова, косы буйно сбегали со спины и почти касались земли. Но она мгновенно откидывала их назад.

– Ого, какая у тебя дочь растет, красавица, – заметил Алий лежавшей старухе, – как ее еще не украли. Любой князь был бы не прочь стать твоим зятем.

– Да ну, что ты! Какому князю нужна девушка бедная, низкой крови? Кто станет воровать ее? Да разве и сможет украсть у такого орла, как Элдар? Никакому князю ее он не уступит, пока живой. Лучшего зятя, чем Элдар, откровенно скажу, я бы не желала. Он честен и благороден, хоть в нем не княжеская кровь.

– Э-э, старуха, ты что забываешься? Холоп всегда холоп, никакого в нем мужества и благородства быть не может, – зло оборвал старуху Алий.

– Ты прав, князь, но Элдар лучше многих. Хоть он и холоп, но настоящий джигит! С любым делом справится. Да ты сам должен знать, ведь вы росли почти вместе, и знаешь, что Элдар – один из первых джигитов аула, – продолжала





тихо старуха. Шерифат стояла, низко опустив голову. Соловьев, не отрываясь смотрел на нее, малыши по-прежнему стоя осматривали гостей. Алий был сердит, слова старухи задели его за живое. Элдара он помнил еще с детства. Не было тогда у Алия соперников ни в скачке, ни в борьбе – над всеми он брал верх, только Элдар одолевал его во всем. Старуха, видно, намекала на это, и потому ее слова задели княжеское самолюбие Алия.

– Ну, хватит болтать, старуха. Лучше б приказала дочери дать нам что-нибудь поесть. Ведь голодных гостей болтовней не накормишь! – рявкнул он, отворачиваясь от нее.

Старуха спохватилась:

– Ох, простите, я совсем забыла. Шерифат, накорми гостей, чем можешь. Правда, для таких гостей нужно что-нибудь лучшее, чем наше обычное кушанье. Аллах видит, что нет сейчас ни мяса, ни муки пшеничной, – говорила она извиняющимся тоном, пока Шерифат ставила перед гостями айран в объемистой деревянной чашке и несколько круглых кукурузных лепешек.

– Ай да гостеприимные твои холопы, не зря ты мне расхваливал их. Какими изумительными кушаньями угощают они своего князя, – ехидно заметил Соловьев Алию.

Алий, и без того едва сдерживающийся, дал волю своему гневу.

– Ах вот чем вы нас кормите! Я-то ехал и расписывал русскому ваше гостеприимство. Гочар, выбрось эту дрянь собакам нашим и принеси вина, там у меня на седле, – начал змеиным шепотом, превращающимся в рычание, Алий. – Вы же немедленно достаньте мне мяса. Тут несколько сот овец моего отца, а я не могу покушать мяса. У, подлые, стыдились бы, опозорили меня перед русским.

– Аллах видит, Алий, нет у нас ни куска мяса, овцы же в долине еще с утра. Был бы дома он (старуха не называла имя мужа. Вообще, у карачаевцев супруги не называют имена друг друга), достал бы мяса, а что я сделаю? Чего нет, того нет. Плохо когда мужчины нет дома.

– У, старая карга! А эти – не мужчины? – зарычал Алий, тыкая в мальчуганов плеткой. – А ну, подойдите поближе, дармоеды. Ближе, ближе. Знаете, где наши овцы? Знаете, да? – Мальчики смущенно стояли перед сердитым князем и молчали, но при повторении вопроса они утвердительно кивнули головками, сказав, что не раз бывали с отцом в долине.

– Вот и хорошо, настоящими джигитами будете. Бегите к отцу и скажите, что сын Биболата приехал к нему в гости. Но только быстрее! – заторопил мальчиков Алий.

– Ой, куда ты их посылаешь, бий, побойся Аллаха. Ведь буран-то какой на дворе! – заволновалась старуха-мать.

– Бий, разреши пойти мне, я быстрее, – сказал вошедший с вином Гочар.

– А дорогу знаешь? – повернулся к нему Алий.





– Не знаю, но...

– Ну, если не знаешь, не суйся, щенок, – оборвал его Алий. – А ты тоже молчи, старуха. С сыновьями твоими ничего не будет. Пусть они лучше потопрапливаются, не то вы все отведаете у меня вот этой плетки!

Алий был неумолим, мальчикам пришлось быстро одеться и выйти навстречу бурану. Старушка заплакала. Гочар и Шерифат стояли возле нее, мрачно поглядывая на Алию и Соловьева, принявшихся за вино, закусывая его табачным дымом. Как ненавистны были им эти двое, самодовольно тянущие вино и болтающие о чем-то на непонятном русском языке. Шерифат замечала на себе их наглые оценивающие взгляды и вздрагивала, догадываясь, что гости говорят о ней. Она обернулась и принялась утешать плакавшую мать, но чувствуя за спиной пронзительные взгляды, она накинула шубу и вышла. Долго она бродила по двору, буран жестко хлестал ей лицо, но она не чувствовала его, а лишь думала о братишках, представляя себе, как они, утопая в снегу, пробиваются к отцу, и ей хотелось плакать. Она не знала, сколько времени пробыла во дворе, как неожиданно ветер донес до ее слуха протяжный вой волков.

– А что, если с мальчиками что-нибудь случится, – подумала она и поспешила в кош. Навстречу ей в дверях показался Алий с пьяной улыбкой на лице.

– А я думал, украли тебя. Где же ты была? Там без тебя скучно! – говорил он, дыша табаком и вином в лицо девушке. Шерифат, опустив голову, стояла перед князем и молчала, как камень.

– Почему ты невесела? Улыбнись мне хоть раз, с гостем надо быть приветливой. Ну что же ты не улыбаешься? Я хочу видеть твои зубы, такие же белые и красивые, как ты сама, – продолжал Алий, вплотную продвигаясь к ней и поднимая лицо ее кверху. – Я хочу, чтоб ты мне приказывала, да, да! Приказывала. Ты должна приказывать! Хочу, чтоб ты была веселой. Скажи, что для этого сделать? За улыбку такой девушки я на все готов! – не отставал Алий.

– Бий хочет, чтоб я улыбалась, когда плачет моя мать, а братья-малыши, может, где-нибудь замерзают по его воле в этот проклятый буран? Не будь жестоким, бий, пошли Гочара вслед за мальчиками, с ними может что-нибудь случиться, буран ведь все крепче, – взмолилась Шерифат, в первый раз взглянув в глаза Алию.

– Что ты просишь меня? Ты можешь мне приказать, как своему холопу, красавице все можно. Сам Аллах завидует, наверное, твоим черным глазам да не может спуститься на землю? А щечки, с чем их сравнить? Дай коснуться их губами, и я готов умереть! – говорил Алий, делая восторженное лицо и стараясь обнять девушку. Наконец это ему удалось, проворно прогнувшись, он крепко сжал Шерифат, просунув под ее шубу свои цепкие руки. Та дико сверкнула глазами и стала вырываться, в первую секунду онемев от гнева.

– Прочь руки, бий! Не трогай меня! Гочар, эй, Гочар! – вскрикнула наконец она. Двери мгновенно отворились от сильного удара, и показался Гочар,





за ним, как тень, стояла больная, дрожащая старуха. Алий отпустил Шерифат, плюнул с досады и, отодвинув старуху, вошел в комнату.

– Ну что? Как идут дела, Дон-Жуан? Что это наша красавица раскричалась? С ней каши не сварить, не правда ли? Дикая, да? – встречал Алия Соловьев, уставившись на него синими глазами.

– Еще бы, это не наши красавицы петербургские. Но я все равно добьюсь своего или умру здесь, – отвечал тот, выглядывая во двор через маленькое оконце. Гочар садился на коня, а обе женщины что-то говорили ему, указывая руками в горы, очевидно, учили, как попасть к Азрету. Алий отвернулся от окна. Молча вошли старуха с дочерью и, не глядя на гостей, прошли к кровати. Алий еще раз взглянул в окошко – в буране исчезла фигура мчащегося Гочара.

– Ну, одним глазом меньше стало? Одна старуха нам помешать не может! – сказал он. – Дай только дожждаться ночи!

– Да, этой ночью Бог должен воздать нам за все мучения скуки на Кавказе – у нашей красавицы действительно жгучие глаза, только немножко печальные, – ответил Соловьев, и оба взглянули на Шерифат, которая съежилась то ли от холода, то ли от взгляда полупьяных людей.

V

Старый Азрет и Элдар сидели в шалаше, вокруг скучились овцы, спрятав головы от бурана друг другу в бока. Собаки перед шалашом зорко вглядывались в снежную муть.

Пятьдесят с лишним лет был Азрет пастухом. С утра и до вечера каждый день с самого детства бродил он за чужими, но любимыми овцами. Немного изменений было в его жизни – женитьба и потеря родителей, потом опять овцы. Так и прошла его однообразная жизнь. Сед, стар, болят кости. В кошу больная жена, юная дочь и неокрепшие мальчуганы. Что будет им за жизнь после его смерти? Только вот на Элдара вся надежда, он не оставит их в беде. Азрет всем сердцем надеялся на этого джигита-орла, сына своего друга, оставившего после смерти двух детей – Элдара и Алакёз.

Азрет с женой взяли себе малышей и очень полюбили – ни в чем не нуждались дети. Когда девочка подросла, Биболат взял ее в свой дом, обещая вырастить «без бед и лишений», а Элдар остался в семье пастуха. Он был немного старше дочери Азрета Шерифат. Дети привязались друг к другу, как брат и сестра, ели из одной чашки, спали под одной крышей, но через несколько лет начали сторониться друг друга, чувствуя что-то незнакомое, которое все более и более стесняло их отношения, придавая им какую-то неловкость. С каждой весной все чаще они испытывали какое-то неясное волнующее беспокойство в сердцах и бросали друг на друга взгляды, полные любви и нежности. Наконец им стало ясно, что их любовь – не любовь сестры и брата. Это поняли и стари-





ки, обрадовались, еще больше полюбили Элдара и следующей весной решили сыграть свадьбу. Узнав об этом, Элдар и Шерифат смутились, но каждый из них тайно в душе стал ждать первых весенних дней.

Вот и сейчас, скромно усевшись возле будущего тестя, Элдар подсчитывал с большим усердием, сколько осталось дней до таяния снегов. Оставалось мало, и ему в лютый буран в холодном шалаше было тепло, как весной.

Под вечер буран внезапно затих, так же, как и начался – изменчивая природа брала свое. Уже сгущались сумерки, как вдруг залаяли собаки и бросились вперед – Азрет и Элдар, схватив ружья, выбежали из шалаша, думая, что на стадо напали волки. Но волков не было – отбиваясь от собак, к шалашу спешил всадник. Это был Гочар.

– Дети здесь?! – было первым его вопросом. Не дождавшись ответа от недоуменно молчавших пастухов, Гочар торопливо рассказал им все, добавив, что гости пьяны и Шерифат без ума от страха. Те стали бледнее снега.

– Скорее в кош. Элдар, седлай лошадей. Может, мальчики вернулись назад. О, Аллах, пронеси беду над моей головой, как пронесил всегда, – дрожащим голосом воскликнул старик.

Лошади оседланы были в миг, и все трое галопом рванули с места, позабыв обо всем на свете, оставив овец на произвол судьбы. Впереди скакал Элдар, хотя по правилам горцев он должен был следовать за Азретом, как за старшим, но сейчас не думал об этом, одной Шерифат были поглощены его мысли. Как сумасшедший подхлестывал он коня, который и без этого летел, не разбирая ни каменных глыб, ни сугробов. Было уже темно, постепенно выплывшая луна ярко осветила горы. Кони, мчащиеся все время галопом, не останавливались ни на спусках, ни на подъемах, совершенно выбились из сил и, казалось, вот-вот упадут, когда внизу темными пятнами выделился кош. Отчаянные седоки еще раз взмахнули плетками, и измученные кони внесли их прямо во двор. Вихрем, спрыгнув на землю, Элдар рванул дверь. Первым, на кого он наткнулся, была старуха.

– Скорей туда, – безумно вымолвила она, указывая костлявой рукой на дверь соседней комнаты. Элдар ринулся туда, но стоявший за старухой мужчина загородил дорогу. Это был Соловьев. Он только что вытолкал старуху, оставив в комнате Алия и захлебывающуюся от плача Шерифат, и теперь не намерен был туда впускать кого бы то ни было. Но взбешенный Элдар ударом в шею сбил его с ног и ворвался в комнату. В углу из объятий пьяного мужчины вырывалась плачущая и уже обессиленная Шерифат. Кровь хлынула в голову Элдара, крепкими руками оторвал он Алия от любимой и отбросил его далеко в сторону. Тот распластался на полу, но, вскочив с быстротой кошки и выхватив кинжал, бросился на дерзкого пастуха. Не ожидавший такой быстроты от противника, Элдар еле избежал смертельного удара и тоже, выхватив кинжал, повернулся к Алию. Схватка была отчаянной, но быстрой, с поднятыми клин-



ками обнялись двое рослых мужчин, словно братья после долгих лет разлуки. Эддар оказался ловчее, бешенство придавало ему силы, отразив быстрый удар Алия, он вонзил в его бок кинжал и опустил ослабевшее тело на кошму, белые узоры которой вмиг обагрились кровью.

Вдруг Шерифат сильно вскрикнула – взгляд ее, полный ужаса, был устремлен на дверь, Эддар тоже взглянул туда – в комнату входил озверелый Соловьев, в руке его при слабом свете лампадки поблескивал направленный на него пистолет. Выстрелить Соловьев не успел – только что вытащенный из бока Алия и метко брошенный кинжал выбил из рук пистолет и бесшумно упал на кошму. Соловьев и не успел понять, в чем дело, как Эддар стремительным прыжком опрокинул его на спину, схватив тут же упавший кинжал, занес его над русским. Не билось бы больше сердце несчастного, если б только вбежавший Азрет не остановил руку Элдара и не оторвал его от русского.

– Что ты наделал, сын мой?! Пропали мы, – с ужасом сказал старик, увидевший корчившегося на полу. Соловьев, только что опомнившийся, наклонился над другом. Раненый узнал его и простонал:

– Кажется, конец! Не ждал от руки холопа! Вези меня скорей домой.

– Но я не знаю этих проклятых дорог, к тому же сейчас ночь, – возразил тот недоуменно.

– Лошади умней тебя, найдут дорогу! Ты только посади меня в седло, – прохрипел тот опять.

Соловьев, заметив вдруг Гочара, принялся ему объяснять, что нужно везти раненого в аул. Тот отказался, показав знаками, что останется с этими людьми навсегда, и выдержал свирепый взгляд русского. Пришлось Соловьеву одному везти Алия. Положив его поперек седла, он исчез в темноте, еще раз взглянув на мрачный кош.

Только после отъезда незваных гостей все вдруг вспомнили о мальчиках. Было ясно, что с ними что-то случилось, иначе они либо пришли бы в долину к отцу еще до темноты, либо возвратились бы в кош. Старуха, измученная болезнью и ужасами этого дня, узнав, что дети не в долине, как она предполагала до этого, вдруг зашаталась, чуть не падая. Эддар подхватил и уложил ее в постель. Потом все трое, не теряя не минуты, отправились на поиски. Пришлось идти пешком – лошади были бессильны от усталости. Аукая и тревожно вглядываясь во все неровности земли, трое двинулись в ночь. Далеко за кошом их догнала еще одна фигура. Это была Шерифат. Она прерывающимся голосом объявила, что не может сидеть в кошу, когда малыши неизвестно где, и попросила отца не отсылать ее назад. Хмуρο кивнув головой, в знак согласия и буркнув: «Плохо, что старуху одну оставили», – старик опять зашагал в темноту. За ним в мучительной тревоге, аукая, следовали трое.

Старуха тоже не осталась в кошу. Очнувшись от полузабытья и не заметив вокруг себя никого, она догадалась, что все отправились на поиски. Достав ме-



шочек с круглыми камешками, старуха принялась лихорадочно гадать – и ахнула. Камешки предвещали беду. Почти раздетая, опираясь о стену, она вышла во двор; было светло и холодно.

«Почему луна никогда не греет – детям было бы тепло» бессвязно подумала она и тихо пошла вперед, по следу, протоптанному четверыми. Она совсем сторбилась и пошатывалась, но все шла и смотрела вперед. Несколько раз она падала, зарываясь в снег, но какая-то сила помогала ее иссохшему обессиленному телу вновь приподниматься и идти. Наконец она упала и осталась уже лежать. Только судорожно оторвала голову от снега, взглянула кругом и, прошептав: «Где же вы, дети?» – вновь опустила ее. Больше она не двигалась.

VI

Чем дальше мальчики отходили от коша, тем страшнее и труднее было идти. Ветер чуть не сбивал их с ног, ударяя то сзади, то сбоку. Снег забивал глаза. Младший хныкал и несколько раз предлагал вернуться назад, но старший вспоминал злобное лицо гостя и все тянул его вперед, ободряя, как мог. Он все время озирался кругом, вспоминая по скалам тропу, но ничего не видел, а все-таки шел и тянул братишку за собой. Долго они шли, как вдруг неожиданно натолкнулись на кучу деревьев и кустарников. Это было начало леса. Тут только мальчики поняли, что они заблудились, и чуть не плача повернули назад, чтобы отыскать тропу. Шли они, прижавшись друг к другу, долго, но кругом были незнакомые места. Вдруг они отчетливо слышали волчий вой совсем близко от себя, но не смогли разобрать, с какой он слышится стороны. Мальчики ускорили шаги, испуганно озираясь кругом. Вой не умолкал и был все отчетливей, все страшнее.

Уже можно было ясно разобрать, что он доносится сзади. Они догадались, что их преследует волчья стая. Старший с ужасом представил себе нюхающего ветер вожака, оскаленные морды хищников и, не чувствуя, откуда взялась сила, увлекая за собой меньшего, бросился вперед. Они спотыкались, падали и бежали, пока опять не прибежали на то самое место, от которого повернули назад. Ужас был на их лицах, а вой раздавался совсем рядом. Вдруг старший вспомнил рассказ отца, как один путник в такой же буран спасся от хищников, взобравшись на дерево, и потянул брата к большому старому дубу. Попробовали взобраться, но мешала одежда. Они сбросили тулупчики; старший посадил брата и сам взобрался на первый сук. В этот момент к дубу, щелкая зубами, приблизились волки и усталились на мальчиков. Те, дрожа от страха, взобрались выше и уселись на развилке ствола. Хищники, сверкая глазами, подпрыгивали, тянулись вверх, опираясь о ствол. Бока их были стянуты от голода, и шерсть на них стояла дыбом. Внезапно утих буран, но жестокий мороз все же студил кровь мальчиков. Уже начало смеркаться, а волки и не думали уходить;





со свирепым рычанием они отбрасывали снег и мерзлую землю от дуба, будто стараясь подрывать его корни. Младший заревел от страха, старший стал его утешать, но скоро и сам заплакал. Слезы хрусталиками замерзали на их щеках. Вдруг меньший закачался; руки, остервенело обхватившие сук, разжались, все завертелось перед ним и с коротким воплем – «мама!» – он полетел вниз... Старший нагнулся, чтобы поддержать его, соскользнул с мерзлого дерева и полетел за братом. Последнее, что он заметил, были страшные волчьи клыки.

VII

Только к утру Соловьев с раненым доехал в аул.

– Как?! – ревел Биболат, – холопы посмели поднять руку на моего сына!.. У-у!

В ту же минуту, сорвав со стены пистолеты, с несколькими мужчинами поскакал он в горы, в кош и вскоре был там, взмылив несчастных лошадей.

Навстречу им с лаем бросились собаки, но Биболат пристрелил одну из них, остальные с визгом разбежались. Двери коша были открыты настежь, Биболат ворвался туда, готовый застрелить первого попавшегося, но никого не встретил, все было пусто.

«Где же вы, мои голубчики? Если б мог вас прижать к груди, чтобы хрустнули ваши кости», – скрежеща зубами, подумал он и, не зная, куда направить свой гневный взор, схватил лампадку, облил комнату маслом и дрожащими от злости пальцами стал выбивать огонь из кресала. Приехавшие с ним стояли молча и не пытались ему помешать. Пламя охватило кошму, постели и поползло во все стороны. Биболат, одобрительно крикнув, вышел, сел на коня и пустил его вскачь по направлению к долине, думая застать там дерзких холопов. За ним еле поспевали мужики, оглядываясь на пламя, пробирающееся уже к длинным сараям и навесам.

Четверо всю ночь метались в поисках мальчиков, но, уже потеряв всякую надежду, хотели вернуться, как вдруг натолкнулись на волчьи следы, тянущиеся со стороны леса к мрачным скалам. Дрогнуло сердце старого Азрета, понял он, что эта волчья тропа тянется с места ужасной развязки и верными шагами поспешил туда, откуда шла тропа. За ним, предчувствуя беду, шагали трое.

Лучше б не шел старик и не видел страшной картины. На снегу смешанном с кровью, валялись обглоданные детские кости, клочья одежды и два маленьких заплатаанных тулупчика. Подкосились у старика ноги – с беспомощным стоном повалился он на снег. Жуткий вопль вырвался из груди Шерифат, припав к забрызганному кровью стволу дуба, она безумно зарыдала. Гочар закрыл глаза и отвернулся, и на мужественном лице Элдара, впервые, может быть, за многие годы, показались слезы.

Долго не мог старик, понесший безвозмездную утрату, прийти в себя, с большим трудом удалось оторвать его от земли и убедить, что надо идти. Со-





брав кости и клочья одежды в узел, четверо поплелись от рокового места в сторону коша.

Бедняги, знали бы они, какое новое несчастье ожидает их на пути! Перевалив хребет, на месте коша они еще издали увидели дым и черные кучи пепла, траурным покрывалом, лежавшие на снегу. Самое страшное: не дойдя до сторевшего коша, натолкнулись они на засыпанное снегом тело женщины. Посиневшей рукой она прижимала к груди деревянный игрушечный кинжал младшего сына. Шерифат лишилась чувств, старик, как сраженный пулей, присел на снег. Элдар до хруста сжал челюсти, Гочар стоял и бессмысленно смотрел на труп. Все случившееся казалось ему злым сном. Уже садилось солнце, когда четверо, бережно подняв замерзшее тело, подошли к уничтоженному пожаром кошу.

От бревен сараев шел еще дымок, двор был заполнен конскими и человеческими следами. Гочар недалеко от себя заметил оброненное кем-то кресало и, подняв его, узнал в нем кресало ненавистного своего хозяина.

– О, Аллах? На что ты смотришь, где ты? – простонал Азрет, поднимая кулаки к небу. Все четверо, оцепенев, смотрели то на кости малышей, то на труп женщины, то на черный пепел.

– Скорей куда-нибудь от адского места! – опять глухо простонал старик, поднимая с земли узел костей. Элдар взял на руки тело умершей и все двинулись в сторону аула.

В маленькой лоштинке, за бывшем кошем у родника, они заметили трех коней, которых, отправляясь на поиски, оставили в сарае. Уздечки на них были оборваны, видимо, во время пожара, с перепугу они ускакали.

– Каракуш, Каракуш! – зычно крикнул Элдар. Черный крупный конь радостно заржал, забил копытом и поспешил к хозяину. За ним последовали и другие. Элдар бережно посадил старика на коня, подал ему на руки ослабевшую от физических и душевных страданий Шерифат и положил перед собой бездыханное тело, оставив Гочару узелок с костями. После этого они тихо тронули коней, поддерживая свои печальные ноши.

VIII

На краю аула, под мрачной скалой, стоит одинокая сакля. Много лет живет в ней такой же одинокий седой старец Абдул. Нет у него ни близкого, ни родного, но весь аул уважает старика. Ни в чем не нуждается он – не забывают его приветливые горцы. И дров нарубят, и мясо принесут, и муки достанут. Любой мальчик-подросток рад принести ему воды из горной реки. Старик тоже не остается в долгу перед добрыми людьми – предскажет им погоду, даст мудрый совет по хозяйству, укажет, когда убирать урожай, когда выйти на сенокос. Детям же он делает игрушки и рассказывает свои бесконечные сказки





про биев, про бедняков и многое другое. Так и живет старый Абдул в своем уединенном жилище.

К нему-то подъехали убитые горем путники. Ярко светила луна. Старик сразу же вышел на оклик и потемнел, увидев страшные ноши приезжих. Привязав лошадей к плетню, все вошли в сакли.

– Беги, скажи сестре, что мы здесь! Пусть она сейчас же покинет проклятый дом, дом убийцы и зверя, – прерывисто, опуская труп на постель, сказал Элдар Гочару. Тот быстро исчез за дверью.

Старый Азрет опустился на грубую скамью, сторбился, превращаясь в комок горя, и спрятал лицо в шершавые ладони. Шерифат наклонилась над матерью и с беззвучным плачем прижалась к ее холодному лицу. Абдул дрожащими руками набил табаком трубку, закурил и устался на Элдара в ожидании рассказа о страшных событиях. Тот, опустив мрачное лицо, дрожащим голосом все ему рассказал.

– Волки ненасытные... Разбили семью? Но час расплаты придет... – начал глухо старик, дослушав рассказ до конца.

– Час расплаты пришел, старик! – воскликнул Элдар, поднимая голову и лихорадочно сверкая глазами. Я отплачу за кровь беззащитных детей и за их беды, и за их мать. Я превращу его проклятое гнездо в пепел. Не увидим больше этого утра или я, или Биболат с сыном!

– Не горячись, – резко оборвал его старик. – Ну, убил, ну, поджег, убежал в горы, в Кабарду или еще куда-нибудь. А дальше что? Ты подумал об этом? Рассказать тебе, что будет? Завтра же придут пристав или старшина со своей свитой и начнут мучить, выжимать кровь из неповинных ни в чем бедняков. Или тебе это нипочем? Я был о тебе лучшего мнения, думал, что ты один из лучших джигитов и думаешь не только о себе.

– Но что же делать? Сердце кровью обливается, старик. Что же делать? Ты должен знать. Скажи же мне. Ну?

– Знаешь, джигит... Придет время, когда и бедняки будут пить воду из золотого ковша, но нельзя ждать этого времени сложив руки. Его можно приблизить, показывая и детям, и старикам истинное лицо не только Биболата, но и всех богачей-мучителей. Чтоб в сердце каждого горца закипела такая же ненависть, как кипит у тебя... – говорил старик, разрезая трубкой воздух. Глаза его, глаза седого старца, блестели, как у юноши, долго еще говорил возбужденный старик. Много понял Элдар из его слов, уже кричали петухи, а он все слушал и слушал Абдула.

Вдруг тихо скрипнула дверь – в комнату, как призрак, вошла Алакез. На руках у нее, обвив ее шею, лежал двухлетний малыш, а на полу, держась за подол ее платья, стояли еще два малыша. За ними с перекошенным лицом вошел Гочар.





Солнце светит всем...

(повесть)

Когда лишились хлеба мы и песен,
Когда мы скалы на плечах несли,
Нас тяжесть горя придавила б, если
Нам солнце не мерещилось вдали.

Мы все, кто грешен был или безгрешен,
Перед бедой не распростерлись ниц,
И справедливость, как листья орешин,
В мечтах и снах касалась наших лиц.

Кайсын Кулиев

* * *

В первый раз, может быть, за все мои семь лет меня разбудили так рано. Было еще темно, но пока не рассвело – над горами алела узкая полоса, что была, наверное, точной серединой утра и ночи.

За воротами возле большого грузовика стояли трое незнакомцев в зеленых гимнастерках, с винтовками... На грузовике, доверху набитом всякими узлами и чемоданами, сидели люди. Их было много. Но над самой Кубанью рядом с нашим домом стояли еще шесть домов. На грузовике теснились все их обитатели.

Нас с сестрой мать устроила на чьем-то сундуке в углу и сама встала рядом. Последней садилась бабушка.

Она приволокла и подала матери медный таз, в котором пять раз на день перед каждым намазом мыла свои ноги. Один из троих с винтовками, только что взобравшихся на машину, что-то сердито кричал бабушке, но та не понимала. Ей уже помогли подняться наверх, когда кричавший на нее вырвал из рук матери и вышвырнул из машины таз.





Мать собралась слезать, но сердитый человек её не пустил. Она ничего ему не сказала, выпрямилась, гневная и красивая, и стала смотреть на него, пока он не отвернулся. Молодой и голубоглазый его товарищ что-то резко сказал ему и, спрыгнув с машины, поднял и подал таз оробевшей бабушке.

Грузовик загудел и медленно тронулся. Во дворе метался на цепи и рычал наш старый пес Добар.

Когда мы выехали на большую дорогу, впереди и позади нас я увидел непрерывную цепь таких же, как наш, грузовиков. Они тоже были набиты людьми и скарбом, и их было очень много, потому что сколько я не смотрел, не смог увидеть ни конца, ни начала этой цепи.

* * *

Мужчин в машине, кроме солдат, было трое: кузнец Ахья, наш Дада – брат отца и старый Харун, которого звали еще Черепухой, потому что у него была грыжа и он всегда ходил очень медленно.

Кузнец и Харун сердито успокаивали женщин, но женщины плакали усердно, будто занимались очень важным и полезным делом. Иногда в свой плач они вставляли такие вопросы и восклицания, которыми, кажется, старались вызвать побольше слез.

– Что будет? Что нас ждет? – повизгивала тощая Зинхар. – Мы и постель не успели взять...

– У нас ничего нет из одежды, – всхлипывала ее золовка Куна, окруженная детьми, как квочка цыплятами. – Слышали, что нас везут в края вечной зимы.

– Не к снегам везут, а к морю, – причитала, поправляя ее, жена Уммалата. – Говорят, топить будут, всех разом спихнут в воду...

Кто-то возражал:

– А почему не в Кубани топить? Хотя Кубань всех же не поместит...

– Закройте, наконец, рты, – вдруг во весь голос прогремел рассерженный кузнец и повернулся к нашему дяде. – Чего молчишь, будто язык съел? Что было на собрании? Куда едем?

Дада действительно молчал всю дорогу и только курил свою трубку... Вчера, как я понял, приезжие люди всю ночь проводили собрание с теми, кого в ауле называли коммунистами, и все им рассказали. Дада тоже был коммунистом.

– Одно могу сообщить, – не сразу пробурчал он, – ничего с нами страшного не будет. Нас просто перевезут в другую землю, и мы там будем жить, как и здесь... Так что хватит шуметь, нечего выть на все урочище.

– А почему здесь нам не жить? Тесно стало?! Или опять сюда немцы прут?

Дада не ответил и снова задымил трубкой, ничуть не успокоив женщин, снова начавших причитать. Особенно сильно плакала старая Фатима, наша соседка. Сын ее с каким-то делом уехал в Большой Карачай. Как он теперь найдет ее? Вернется домой, а дом будет пуст. Как он узнает, где искать свою мать?





Она немного утихла лишь тогда, когда Дада сказал, что выселяют и Большой Карачай, что ни один из наших не останется в горах.

– Сделай так, о Аллах! – взмолилась Фатима, воздев руки к небу.

Проезжая мост через Кубань, мы увидели справа на крутом берегу множество людей. Это были осетины.

– Смотрите, они плачут, – сказал кто-то.

– Что же чудного? Большое несчастье и камень растопит, а они люди, – ответил Харун-Черепеха и, стащив с головы войлочную шляпу, долго махал ею осетинам.

Впереди всех на круге я видел маленькую красивую девочку в красивом белом платье. Сколько ей лет? – думал я. – Может быть, пять, а может быть, и шесть...

Мы были уже далеко от аула, когда из-за гор навстречу нам взошло солнце, круглое и красивое, как бабушкин медный таз.

* * *

Мать написала на фронт три письма – моему отцу и двум его братьям.

– Прочти, – попросила бабушка, – может, что добавим...

– «К нам пришла беда, – читала мать после приветствия и вопросов о здоровье. – На рассвете третьего ноября, кое-как погрузившись на машины, мы выехали из аула... Солдаты нас так торопили, что мы забыли отвязать от цепи Добара. В Батал-Пашинске нас пересадили в поезда и везут по направлению к восходу солнца. В нашем вагоне темно и душно. И не просто воздуха не хватает – по всему вагону бродят дурные запахи, потому что все естественные нужды приходится справлять тут же. Только на коротких стоянках, когда с грохотом расплазуются в обе стороны наши двери, врывается к нам свежий воздух и становится почти светло. В эти минуты у выхода гурьбятся люди – смотрят на незнакомые места, радуются небу. Но двери открываются не часто, а закрываются слишком быстро. И тогда только по двум узеньким окошкам, у одного из которых я и пишу это письмо, можно было догадаться: день на земле или ночь. Сегодня на заре проехали большую реку Волгу, приближаемся к городу по названию Саратов. В пути, говорят, будем полмесяца, но никто не скажет, куда нас везут и зачем. Некоторые предполагают, что нас спасают от надвигающегося фронта, но разве больше охраняемы Аллахом черкесы, осетины, ногайцы, которых оставили в своих домах? Кое-кто сначала думал, что выселяют семьи дезертиров и предателей. Разве может быть столько подлецов? Вы же, во всяком случае, коммунисты, а мы – ваши... Короче говоря, я вижу глазами и чувствую сердцем: на нас навалилось большое несчастье. Оно, наверное, согнет нас и придавит под собой...»

В этом месте мать осеклась – резкий голос остановил ее. С верхней нары почти злобно смотрел на нее Харун-Черепеха.





– Что же это ты сочинила, безумная?! – стал кричать он на нее. – Ты забыла, кому пишешь? Бойцам пишешь! Молодая, здоровая, сильная – о каком несчастье скулишь? Хочешь муку и горе поселить в их сердце, чтобы ослабили их руки и перестали держать оружие? Среди соседей, родственников, близких – какой беды боишься?! И почему за себя боишься, о себе думаешь? Куда б ни везли нас, что б с нами не делали, мы будем среди людей. А там бьются с врагом, бьются со зверем... Там нужен сильный дух и крепкое тело... Дай же им мощь, а не слабость, дай мужество, а не страх. А если ты этого не можешь, какая ты женщина...

Я впервые услышал, что Харун может выкрикивать такие громкие и быстрые слова. До этого он говорил всегда так же тихо и медленно, как и передвигал при ходьбе свои ноги.

И впервые я видел, чтобы мать плакала... Плакала долго, а потом написала три новых письма.

* * *

В последний раз наш поезд остановился у синего озера с высокими тополями по берегам.

Растянувшись вдоль железнодорожного полотна, нас ждали огромные арбы, запряженные волами и лошадьми, очень худыми и неуклюжими...

Кругом была выгоревшая на солнце ровная степь – ни гор, ни леса, ни одного хотя бы холмика или впадинки. Вдали в дымчатом воздухе темнела узкая полоса какого-то селения.

– Долго будем в пути? – спросил рыжебородого арбовщика кузнец Ахья, когда мы уже ехали по пыльной дороге.

Тот показал кнутом вперед:

– Вон пока куда доберемся.

– А что это?

– Это село, большое село Чалдовар.

– Земля-то здесь чья?

– Наша, конечно, – сказал арбовщик, – а теперь и ваша. Киргизией зовемся – Киргизстан. А вы откуда?

Кузнец повернул голову назад и махнул рукой в ту сторону, откуда прикатил наш поезд.

– Имя-то как земле вашей? Родина старая как называлась?

Харун-Черепаша посмотрел на арбовщика:

– Родины старой или новой не бывает, дорогой человек, – сказал он. – Родина одна и всегда прекрасна.

* * *

Зима в этом году наступила осенью. Мы с бабушкой шли в школу по первому снегу. Бабушка торопилась, тащила меня, но с полдороги запыха-





лась и поплелась так медленно, что когда мы пришли в школу, все уже сидели за партами.

Выслушав у порога последние бабушкины наставления, смешанные с просьбами к Аллаху в благоволении ко мне, я открыл дверь и растерялся... Весь класс хохотал. Взглянув во множество веселых глаз, я понял – сидящих рассмешил мой вид. Косматая отцовская шапка, слишком просторная шуба, сшитая из остатков дедова тулупа, и взбухшие, набитые сеном чабуры на моих ногах с поднятыми, как у коньков, носами, – все это было для них необычно и, как видно, смешно. К тому же в класс я вошел вспотевший от долгой ходьбы и, наверное, очень красный.

Горбатенькая учительница помогла мне раздеться и усадила рядом с рыжим, точно подсолнух, мальчиком, хохотавшим больше всех...

После уроков я оделся и вышел из класса позже всех, чтобы не видели меня еще раз в этом моем наряде. Но за воротами меня ждала гурьба мальчишек. Впереди всех был рыжий сосед по парте. Он остановил меня и, пританцовывая на одной ноге, пропел песенку, не все слова которой мне были знакомы, но смысл которой я понял:

Карачай-марачай купил поросенка,
Всю дорогу целовал – думал, что девчонка...

Раздался дружный смех, а рыжий начал все снова. Тогда я обхватил его обеими руками выше пояса, подставил ножку и опрокинул на спину. Сидя на нем верхом, я бил его в лицо, тянул за уши, рвал волосы. Вокруг бегали мальчишки, но мне не мешали, некоторые даже подбадривали.

Не знаю, сколько бы это продолжалось, если бы не толстая женщина, с криком выбежавшая из соседнего дома.

Она подняла меня, потом свалила и, схватившись за воротник, начала тыкать лицом в снег, то повизгивая, то шипя:

– Ну-ка, получи-ка, попробуй-ка... Хорошо издеваться, разбойник?! Вкусно, бандит маленький?!

Домой я пришел с разбитым носом и сказал, что упал по дороге.

* * *

Во внутренней комнате маленькой избы жили хозяева – русские, в передней – мы. Бабушка и мать называли их хорошими, добрыми, но недолюбливали за то, что они держали во дворе свинью...

Когда кто-нибудь из них пользовался нашей посудой, бабушка отказывалась брать ее назад, или, взяв, выбрасывала из дому. Однажды наша хозяйка – худощавая ласковая тетя – погладила мои вихры. Бабушка тотчас же согрела воду и тщательно выкупала меня...





После этого хозяева то ли в угоду нам, то ли для какого-то своего праздника прирезали свою свинью.

Их рослый, плечистый сын Слава таскал к себе в комнату красные куски мяса... И, заходя и выходя, он открывал нашу общую дверь ногою, совсем не дотрагиваясь до нее руками.

* * *

В осенний полдень перед комендатурой вытянулась длинная очередь. В последние два дня каждого месяца с утра и до вечера здесь бывало шумно и людно. Со всего села собирались сюда все переселенцы старше шестнадцати лет, чтобы зарегистрироваться и оставить в толстом журнале коменданта свою подпись.

Бабушка расписываться не умела, поэтому брала меня с собой, и я каждый раз, сопя носом и волнуясь, выводил ее имя там, куда тыкал желтый комендантский ноготь.

Делал я это всегда с удовольствием, но сегодня было холодно и пасмурно, и я жалел, что нельзя сейчас сидеть в темной уютной комнате, дома. Следя за тем, как медленно передвигались мы вперед, я невесело слушал шутки тетюшки Куны в адрес Харуна-Черепахи, только что пристроившегося в конце очереди.

– Пришел, сосед? – спрашивала она сначала совсем невинно.

– Благодарение Аллаху, как видишь, пришел, – отвечал тот.

– Долгонько? Я уже часа два здесь, а двинулись сюда, кажется, разом... Не заворачивал ли ты к старой узбечке на чай?

– Разом-то разом, но куда мне тягаться с такой кобылой? На тебе, с позволения Аллаха, можно скачки устраивать, бесстыжая. Дай языку своему полежать во рту спокойно.

– Что ж сердиться, старый. Стоим ведь зря, когда болтаешь – время не замечаешь. Не сердись, дорогой человек... Стань-ка лучше поближе к дверям... Эй, народ, пропустим его без очереди, чтоб он засветло домой мог добраться?..

– Домой мне спешить незачем, – сказал Харун-Черепаха – пропустите лучше вот того, кому час дорог..

С подкатившей к нам брички соскочили несколько женщин, среди которых была моя мать. Это приехало лучшее звено из 14 звеньев в колхозе. Им руководила моя мать, и от нее я слышал, что ее женщины решили выполнять каждую месячную норму сдачи свеклы государству ровно за неделю.

Знали об этом все, кто здесь собрался, или не знали, но все расступились и дали пройти вперед матери и приехавшим с нею женщинам.

* * *

Бабушка каждое воскресенье продавала что-нибудь из одежды и копила деньги.

На них мы купили однажды барана и в тот же день зарезали для садаки. Разделив все мясо ровно на тридцать кусков, бабушка долго молилась, прося





Аллаха вернуть трех ее сыновей живыми и невредимыми, послать на головы их врагов столько несчастий, сколько волос росло на шкуре зарезанного барана, послать столько же ангелов хранителей в помощь слабым и беззащитным, голодным и холодным по всей земле.

Много, может быть, просила бабушка, но садака стоила тоже много, недешево, нелегко достался нам этот белый баран.

Одну часть его из тридцати мы оставили себе на ужин, остальные разнесли по самым бедным домам в селе.

* * *

Старой Фатиме я принес мясо.

Жила она в заброшенной землянке, хозяйева которой – киргизы, мать и трое детей, – перед самым нашим приездом все вымерли от тифа. Я знал, что сюда Фатима являлась только ночевать... Обычно целыми днями она ходила по домам и всегда затевала со всеми один и тот же разговор – о сыне, с которым разлучило ее переселение.

Бывала она и у нас. Бабушка кормила ее, терпеливо выслушивала и старалась утешить.

– Стара становлюсь, плохо слышу, плохо вижу, уже, может быть, разрешение есть, а я и не знаю, – жаловалась ей Фатима. Она недавно узнала, что сын ее в день выселения попал в другой эшелон и находится сейчас в Южно-Казахстанской области. Она теперь ждала, когда комендант разрешит ей выехать туда, или сыну позволят приехать к ней.

– Все мы стареем, – отвечала бабушка, – тянет уже к себе земля сырая.

– Тебе что, хоть сейчас умри, – ныла гостья, – есть у тебя кому глаза закрыть, мне вот надо бояться меча Азраиля, пока не увижу единственное дитя.

То было неделю назад. Теперь старуха лежала на козких шкурах в тесном кругу соседей, многие среди которых были мне знакомы – кузнец Ахья, Харун-Черепаша, жена Уммалата, рябая казашка, приносившая нам когда-то вязанку хвороста, и другие.

Фатима, всегда тощая, костлявая, сейчас странно пополнела – руки взбухли, как пышки, щеки надулись, подбородок отвис...

Я очень удивился, когда услышал, что она потолстела от голода.

– Вот, сварите, бабушка прислала, – сказал я, протягивая мясо.

– Поздно, мальчик. Видишь же – она мертва, – ответил Ахья, закрывая большими пальцами глаза Фатимы.

* * *

Отца соседа Саши звали странным именем Ванваныч. Потом я догадался, что это было укороченное Иван Иванович.





До войны Ванваныч, говорили, был парикмахером. Теперь он, конечно, тоже был парикмахером, но брить было некого. Бабушке и матери, да и мне тоже, Ванваныч не нравился. Часто, приходя домой поздно ночью, он обязательно будил нас или сильно хлопнув дверью, или специально свалив с полки с посудой что-нибудь звенящее.

Не любила его и семья. Он ссорился с женой и детьми, пугал их, грозился перестрелять, часто бил...

Однажды в полночь Слава и обе его сестры выбежали к нам, плача и зовя на помощь...

В углу, освещенном керосиновой лампой, стояла заплаканная их мать, а Ванваныч, покачиваясь перед ней и что-то выкрикивая, направлял в ее грудь двуствольное ружье.

Бабушка вырвала у него двустволку и, выбросив в открытое окно, вцепилась в волосы Ванваныча.

– Ума нет, совесть нет, – вопила бабушка, – ты не мужчина, не есть человек. Водка пьешь, война не ходишь. Враг боишься – жена стреляешь. Какой собака!

Отец Саши растерялся с самого начала, но потом оторвал от чуба бабушку и, вытолкнув ее из комнаты, осыпал хриплой бранью:

– Вон отсюда, ведьма ошалелая! Жена – моя, дом – мой. Не сын я тебе, чтобы орать на меня, бандитка старая!

– Ты сам ведьма, ты сам бандит! – выкрикнула бабушка за хлопнувшими перед носом дверями. – Мои сыны – солдат!

* * *

Меня разбудил голос матери:

– Что они делают?! Что делают?! – чуть не плакала она, стоя рядом с бабушкой и всматриваясь в окно.

За нашим домом, за оврагами начиналась колхозная пашня... На ней сейчас в это раннее утро копошились несколько человек. Склонившись над черными бороздами, они старательно выкапывали посаженные только вчера семена картофеля.

А из-за камышовых зарослей скакал к ним с яростным криком бригадир Дадаш, что недавно вернулся с фронта без ноги, вместо которой болталась сейчас справа выкрашенная деревяшка.

Когда я добежал до пашни, бригадира уже ссадили с коня и обступили плотным ошалелым кольцом.

– Чего матом кроешь?! – вопили женщины. – Что гонишь нас?!

– Сколько можно терпеть? Сил уже нет!

– Что нам с нового урожая, коли не дождемся? Мрем ведь, как мухи...

– Ну и мрите, сволочи! – зверел Дадаш. – Нет сил? А каково на фронте с пустым желудком?! Не знаете? Я знаю. Мрите, сволочи, но картошку не трожьте! –





Все это он говорил сразу по-русски, по-киргизски и по-казахски.

Потом вдруг резко повернулся на деревянной ноге к Куне с золовкой и стал кричать по-нашему:

– Что лица прячете, потерявшие совесть? Пусть они здесь, а вы почему здесь? Мало позора на долю Карачая? Хватит старых пятен на нашей чести! Хватит!

– Мы тоже хотим жить. Как жить не кушая? – прорвалась в плаче Куна и, сев на корточки, принялась остервенело запихивать картофелины в развороченную борозду.

Дородная старуха-казашка, придерживая одной рукой наполненный картофелем подол, другой тыкала Дадаша в грудь:

– Уходи отсюда! Дочь больна – давно не кушала... Уходи, собака...

Дадаш рванул ее подол, и когда та нагнулась, чтобы снова собрать рассыпанную картошку, он силой хлестнул по ее спине плетью.

Женщины взвыли в один голос и теснее обступили его... Юркий безусый парень, видимо, сын старухи, поднял с земли нож, которым, наверное, вскапывал недавно борозды, и сжал свое тело, готовясь к прыжку.

Дадаш вцепился пальцами в ворот гимнастерки и, разорвав ее до пояса, ступил вперед...

– Бей сюда, молодой барс? – задохнулся он в шепоте. – Вонзите все по ножу. Не смогли немцы прикончить – кончайте вы! Что же стоите?! Бейте прямо сюда!

Он изо всех сил выпячивал грудь, а на ней рубцом глянцеваля выжженная когда-то или вырезанная багровая звезда.

* * *

Клуб был полон – шло общее колхозное собрание. За столом, обтянутым красным сукном, сидели несколько человек, среди которых двое мне были знакомы.

Одного из них, того, кто был в очках, назвали перед тем, как он собрался выступить, секретарем райкома Чистяковым.

Чистяков отчетливо и громко говорил в основном о том, что идет война, что исход ее зависит не только от того, как дерутся наши бойцы, но и от того, как мы здесь трудимся, как поддерживаем бьющихся отцов, братьев, сыновей...

Перечисляя успехи, достигнутые колхозом, он называл много цифр в тоннах, гектарах, центнерах и вдруг стал хвалить звено моей матери, показавшей пример, как работать.

– Мы и раньше слышали, что горцы – народ трудолюбивый, – сказал он, – теперь и сами убедились в этом. Мы с большим удовольствием отмечаем, как много они делают для нашей победы наравне с киргизами, русскими, казахами и другими народами нашей страны...





– Чистяков – человек настоящий, не побоялся нас похвалить, – говорил Дада кузнецу Ахье после собрания. Было бы таких побольше...

– А ты не заметил, что за два года ни разу никого из наших не назвал он товарищем?

– Нет. Не заметил, – сердито отвечал Дада.

* * *

В это лето было так жарко, что колодец на нашем дворе весь иссяк. За водой приходилось идти в конец переулка, где жил рыжий Сема, прозванный нами в школе Подсолнухом.

С ним мы крепко сдружились, позабыв о тогдашней потасовке. Он давно простил мне мои тумачи, я ему – его песенку. Время после школы часто мы проводили вместе, то у них, то у нас.

Мать Семы, Клара Петровна, была ко мне почти приветлива, но я ее не любил, помня, как свирепо тыкала она меня в снег, когда я подрался с Семой.

Дом их был лучшим в нашем переулке – с множеством окон, с садом, а самое главное – с глубоким чистым колодцем.

– Мама? – крикнул в окно стоявший в саду Сема, когда мы с матерью пришли однажды за водой.

– Что за замок на колодце?! Открой, не видишь – пришли...

Колодец почему-то был закрыт. Плотные дверцы захлопнули его, а на дверцах висел замок. Сема стоял перед нами, краснея и теряясь...

– Пусть уходят, – донесся из дома голос Клары Петровны. – Бабка их каждый день за тифозными ухаживает. Нам сейчас не хватало только заразиться...

Наша бабушка действительно каждый день навевывала больную тифом Зинхар и двух ее дочерей, у которых не было в селе ни близких, ни родственников. Мы ушли, оставив Сему, готового от неловкости заплакать...

Вечером Клара Петровна сама принесла нам два полных ведра воды и плача рассказывала, что Сема в первый раз сегодня накричал на нее и куда-то ушел из дому.

Конюхом Дада просто считался – коней в колхозе, можно сказать, не было. Вечером на очень просторном скотном дворе появлялись обычно шесть тощих волов и четыре тощих клячи. Все они казались одеревеневшими, неживыми. Целыми днями возили на них солому и удобрения, возили свеклу и навоз, их запрягали в брички, сани, их заставляли тянуть плуг и бороны... Особенно доставалось лошадям... Глядя на них, можно было думать, что подломятся однажды все их четыре ноги разом, и они рухнут на землю. Но ноги продолжали их держать и они изо дня в день волокли и везли свое бремя... Иногда после школы я помогал дяде закладывать в ясли корм, чистить под сараем, гнать скот на водопой. В последние дни я особенно старался ему угодить. Я давно





решил спросить его о многом для меня непонятном и хотел, чтобы он поговорил со мной хоть раз как с взрослым...

В теплый воскресный вечер, улегшись рядом с ним на соломе, я внезапно осыпал его вопросами: почему нас называют бандитами, почему комендант запрягает ступить за пределы нашего села, отчего нам трудно – нечем питаться, нечем топить печь, негде жить?

То ли изменившийся мой голос взволновал дядю, то ли сами вопросы, но он потеплел и смягчился. Он не стал глядеть на меня, как раньше, уголками неподвижных глаз, а посмотрел пристально, словно видел впервые, он не запылил под усы свою трубку, чтобы удобнее было молчать, а заговорил. Заговорил, как мне и хотелось, по-серьезному...

В тот вечер Дада меня убедил, что люди, называющие меня и бабушку бандитами, просто ошибаются. Они не могут сейчас отличить нас от тех, кто, сбившись в горах в шайку, уничтожал красных солдат, охотился за коммунистами, издевался над законом и властью... Не могут отличить потому, что им сейчас не до этого, им очень трудно. Сейчас идет большая война – на земле большая беда, и, конечно, не стоит тратить силы на маленькую войну с ошибающимися, не стоит кричать о своей маленькой беде...

Все мы, правые и неправые, обиженные и не обиженные, должны молчать и тянуть свою ляжку, как эти бедные лошади, которых мы и бьем, и гоняем, и осыпая бранью, и плохо кормим, но которые, несмотря на это, делают вчетвером работу и тех сорока товарищей, что подарены колхозом фронту.

Человек никогда не должен быть животным, но выносить и терпеть, как животное, он иногда должен уметь...

– Терпи же, маленькое четвероногое, – сказал мне Дада в заключение. – Терпи и знай: придет время и все опять назовется своим именем.

* * *

В один из весенних дней на незнакомом мне белом коне скакал незнакомый мальчишка и звенящим голосом бросал на всю улицу звонкие слова:

– Кончилась война! Война кончилась!

– Да, кончилась! – говорил с кузова обтянутой красным кумачом автомашины секретарь Чистяков на площади перед клубом. – Мы победили, каждый из вас победил, вот ты спас мир, вот ты держал землю на плечах все эти годы.

Он броско указывал обеими руками то на одного, то на другого в толпе.

– Да, товарищи! Ни киты, ни слоны и не черепахи держат землю. Только на нашем человеке держится и только им движется земля наша... Это мы доказывали и раньше, доказываем и теперь...

Ночью мне снилось, как голубой огромный шар покачивался на спине слона, слон стоял на китах, киты – на черепахе. И всех их, вонзив кривые ноги в облака, держал на себе сгорбленный Харун-Черепаха.





* * *

Кузнец Ахья был под арестом уже несколько дней. Узнав недавно о том, что скончался тесть, живший после переселения в соседнем селе на территории Казахстана, он без разрешения собрался на похороны. Между селами путь был невелик – в полкилометра, но в лощине, по которой шла граница двух республик, стоял сторожевой пост.

Здесь и задержали Ахью в тот день и с того же дня сидел он в комендантской одиночке...

По просьбе бабушки я принес ему однажды тугой узелок с сыром и лепешками...

Кузнец молча ел, а я удивленно разглядывал окно над его головой. Сто раз, может быть, проходил я под этим окном, но только сейчас видел, какая на нем решетка... Прутья на этой решетке не скрещивались и не тянулись параллельно друг к другу. Они, как лучи, разлетались из одной точки по всему окну, и я постепенно догадывался – это было стальным изображением солнца.

Для полного сходства, наверное, лучи-прутья были окрашены в алый цвет.

Кощунствовал ли тот маляр или это было его неуклюжей добротой к тем, кто оказывался за этой решеткой?

* * *

Первым с войны возвратился отец, потом и оба его брата.

– Услышал Аллах мои молитвы, – сказала бабушка, когда пришел последний ее сын, и в первый раз я увидел, как она плакала: все вернулись!

– Что же плачешь? Не в каждом доме такая радость, – говорили ей.

– Какая это радость? Все седые, как луны, – горевала бабушка. – Все блее меня. Глупая я: молилась Аллаху, чтобы уберег их от пули, а уберечь от старости не догадалась попросить. Не было из уст моих такой молитвы – может и она дошла бы до Него, Щедрого и Всемогущего.

– Святой ты человек, сестра, – завистливо тянула старая Зинхар, – любит Аллах тебе подобных. Внял он голосу таких, как ты, отвратил половину нашей беды. Не льется кровь уже, не слышны выстрелы. Молись теперь, чтоб мы могли умереть там, где родились.

* * *

– Сижу в тени сарая, подшиваю свои чабуры, – возбужденно рассказывал Харун-Черепеха, – и вижу: ползет вот по такому столбу змея. Не поверил бы никому, но как не верить глазам, ползет прямо вверх, подлая, и не скользко ей даже, будто по земле ползет... Добралась уже до середины столба, а на конце его, под самым сараем, – гнездо, и в гнезде том – птенцы. Две ласточки, мать, наверное, их и отец, мечутся над змеей, бьют крыльями воздух, кричат изо всех





малых птичьих сил... Что же, думаю, будет дальше? А было вот что, если хотите знать. Одна из ласточек улетела и сразу же вернулась с зеленым кузнечиком в клюве. Змея уже потянулась к гнезду, но оттуда вынырнул тот самый кузнечик и клюнул ее между глаз. Змея тотчас оторвалась от столба и замертво свалилась на землю. Ну, кто еще скажет, что мир устроен несправедливо? Есть только люди несправедливые, но и они живут, чтобы когда-то стать обязательно добрыми и справедливыми. Будешь ты еще спорить с этим? – повернулся Харун к Ахье. – Кто же царь на земле?

– Пусть справедливость царь на земле. Но этот царь сейчас убит! – ответил Ахья. – Одного только он не допустил – не обтянули нас еще колючей проволокой...

– Врешь! – тихо оборвал его Харун-Черепеха. – Он жив. Он только ранен, но убить его нельзя.

* * *

Шел урок истории ...

– Долго боролись знаменитый Геракл и гигант Антей, – рассказывала Мария Ивановна, шагая по классу взад и вперед. Спина ее вздымалась в большом горбе, но лицо ее было очень красивым, и рассказывала она красиво. – Антей много раз ослабевал, – продолжала она, – но когда ему становилось совсем тяжело, он вдруг касался коленом земли, и мать земля вливала в него новые силы, и он опять становился могучим, непобедимым... Сын Зевса понял это... А когда понял, оторвал Антея от земли, поднял высоко над головой и стал душить в железном объятии...

После звонка я вышел за Марией Ивановной и, догнав ее в конце коридора, внезапно выпалил, что понял ее сегодняшний урок.

– Надеюсь, остальные тоже, – удивилась она.

– Я лучше понял, – сказал я, удивив ее еще больше.

* * *

– Сознайтесь, чья эта пакость? – тихо, но грозно предложила Мария Ивановна в третий раз.

Класс по-прежнему был нем.

Щеки мои пылали, голову покалывало иголочками. Я знал, что лицо мое сейчас красное и растерянное, а лица остальных – нормальные, спокойные, как обычно, и поэтому никак не мог понять, почему Мария Ивановна так долго ищет виновного...

Пакостью был клочок бумаги с переложенным мной на стихи пошлым анекдотом о попе и попадье. С самого начала урока хихикали и шушукались ребята, передавая его из рук в руки. А теперь гневная Мария Ивановна комкала его в кулаке и ждала.





– Ничего не будет с автором, если он сам признается? – невинно осведомился Сема-Подсолнух, наступив ногой на мою ногу.

– Что-то уж будет. Прощения не обещаю, – отсекла Мария Ивановна.

«Ну и пусть что-то будет» отчаянно подумал я и встал из-за парты.

– Мнение мое о тебе было лучше, – холодно говорила Мария Ивановна в учительской. – Зачем ты лжешь? Ведь двух слов по-русски связать не можешь... А тут все ладно, хотя и скверно... Да, да! Вижу: почерк твой, но сочинял это русский, а ты переписал...

Я молча вытащил из-за пазухи и положил на стол перед Марией Ивановной толстую тетрадь, от корки до корки исписанную своими стихами.

Одно из них Мария Ивановна прочла два раза.

– Вот как? – удивилась она. – Я и не подозревала... Не обижайся, что назвала лжецом... Но зачем тебе те грязные строчки, если можешь писать такие?! За попа на завтрашней линейке – выговор, а за эти – молодец! Теперь давай мириться, и если согласен, подари мне вот это стихотворение... Только, кажется, оно не закончено.

Я вырвал листок, с этим действительно незаконченным стихотворением и, краснея от неловкости, благодарно протянул ей, пообещав когда-нибудь его закончить.

Последнюю строку в нем, замаранную поправками, разобрать было трудно, но первые, записанные четко и аккуратно, читались легко:

Счастья нет под инозвездным небом,
Горек хлеб с немилых нам полей,
Ни цветов не надо и ни хлеба
Мне без гор, без Родины моей.
Не могу чужим огнем я греться,
Не цветут в чужих краях поля,
Здесь постиг я и умом, и сердцем,
Что такое отчая земля.
Стал мне здесь понятней украинец,
Что в огне, в аду боев берег,
Завернув в давно не новый ситец,
Украины маленький комок.
Догадался – отчего, как сонный,
Закачался, рухнул и ослаб,
Свой песок целуя раскаленный,
В край отцов вернувшийся араб.

– Я первая прочла твои стихи – сказала Мария Ивановна, – выходит, и первым критиком буду я. – Они мне нравятся, написаны от души. Но не кажутся они тебе мрачноватыми? Если в душе горе, не надо копаться в душе. По-моему,





урок об Антее ты все-таки понял не так... Та земля, что зовется в этих стихах Родиной – только начало твоей Родины... Не сужай свой мир, не обкрадывай себя... Я родилась под Москвой, но цветы и хлеб дороги мне и здесь...

– Но если вы решите снова оказаться под Москвой, комендант вас задерживать не будет... Для нас же очерчена граница... Быть не мрачным трудно... Кузнец Ахья говорит: умереть с петлей на шее, зная, что ее заслужил, гораздо легче, чем быть со связанными ногами незаслуженно, по чьей-то вине, по чьей-то ошибке...

– Он не прав, – сказала Мария Ивановна тихо. – Терпеть горе или беду по чьей-то ошибке все-таки легче, потому что знаешь – все ошибки, маленькие или большие, всегда исправляются.

* * *

Никогда не думал, что в хатенке Харуна-Черепахи может поместиться столько людей.

– Зачем тащились в такую слякоть, – говорил больной старик собравшимся. – Жил – всех беспокоил и умираю – всех мучаю.

– В эти годы умирать грех! – ободряли его. – К тому же, как умрешь, не ходив еще по родной земле, не выпив воды из Кубани?!

– Нет! – отвечал больной – Ловит уже ухо мое свист Азраиловых крыльев. Не ходить мне ни по этой, ни по родной земле. Отползала свое старая черепаха.

Вечером к старику пришел бледнолицый сын Уммалата и, подняв над собой принесенный кусок фанеры, сдернул с него закрывавшую одну его сторону шаль.

– Вай, Аллах! Смотрите – Эльбрус! – закричали сидящие.

Во всю высоту большого фанерного листа взметнулась снеговая гора с раздвоенной вершиной...

Серое небо навалилось на нее, окружило тучами...

Далеко внизу, у ее подножия выступил из дымного воздуха угрюмый аул. Он был очень смутный и далекий, но я узнал его, узнал в нем наш домик с неотвязанным псом на цепи.

– Вот и увидел я перед смертью Эльбрус, – сказал Харун-Черепаха. – Но почему он темный? Где солнце? Нарисуй солнце, сынок!

– Солнце зашло, – буркнул сын Уммалата.

– Солнце взойдет! – сказал Харун-Черепаха. Это были его последние слова. На другой день в степи среди солончаков взбух новый песчаный холмик.

* * *

В последний раз перед моим отъездом пришли мы с Семой к озеру, у которого много лет назад остановился прикативший нас сюда поезд.





Журавли возвращались назад... С клекотом и свистом вырвались они из облаков и сели в болотных зарослях за синей водой.

– Помнишь, – сказал Сема, – мы были здесь и в день их отлета. Вон там, в камышах, умирал тогда раненый журавль.

Я помнил! Именно об этом думал и я, глядя, как о чем-то хлопоча, курлыкали на другом берегу неуклюжие длинноногие птицы. Подстреленный недобрым охотником, на том же самом берегу прошлой осенью бился в камышах их товарищ. Судорожно вытягивал он красивую шею вслед исчезающей в небе стае, махал крыльями, как ветряная мельница, но не мог оторваться от земли. Косяк таял в небе, а он все смотрел ему вслед, смотрел с печалью, как человек, как Харун-Черепеха перед смертью.

Помнят ли еще о неулетевшей птице радующиеся весне журавли? Может быть, да. Человек помнит. Забыть ему не дано. Ни обретений, ни утрат, ни радостей, ни печалей. Хорошо ли это? Наверное, да. Потому, что о прошедших печалях он будет вспоминать с радостью, как и о прошедших радостях вспоминает с печалью...

Прощайте, весенние длинношеие журавли!

Прощай и ты, не поднявшийся к небу журавль!

Прощайте все, чьи крылья сломаны, кто не может завтра лететь с нами.

Да будет щедрым солнце к земле, в которой вы останетесь лежать.

* * *

Огромная цепь автомашин вытянулась на дороге вдоль Кубани. Наш грузовик переехал через реку и обогнул уже поворот к аулу... Слева, на высокой круче, помахивая нам шапками, выстроились осетины. Впереди всех в белом платье стояла красивая тоненькая девушка.

«Сколько ей лет? – думал я. – Может быть, шестнадцать, а может, семнадцать...»

Через минуту из-за ее плеча вынырнули первые трубы, первые крыши нашего аула.

«Привет тебе, Сема, с Кавказа, – писал я. – Мы уже приехали. Строим новые дома. Совсем тепло, уже неделя, как падем и засеваем истосковавшуюся по семенам землю. Короче – все в порядке...»

В следующем письме вышлю фотоснимки наших гор, нашего Эльбруса. Потом ты приедешь в гости и сам на них помотришь. Вышлю и Марие Ивановне... Кстати, передай, пожалуйста, ей с приветом эти строки, которые я когда-то ей обещал:

Я в горах!

Поют немые скалы!

Бури-ветры горе замели...





*На отчизне мне дороже стала
Вся одна шестая часть земли.
Счастья нет под инозвездным небом,
Нет тепла среди чужих полей...
Без цветов готов я жить, без хлеба,
Если жить на Родине своей...*

Скажи ей, что верно – есть Родина маленькая и Родина большая, которую можно разглядеть, только пройдя путь, на котором будут не одни цветы и радуга, а и невзгоды, и лишения. Этот путь пройден. Светит над моей большой Родиной большое солнце. Светит всем ровно.

Цвети под этим солнцем, мой дорогой Подсолнух, сто и больше лет.

*Твой друг Мусса Батчаев,
которому ты можешь написать по адресу:
Карачаево-Черкесская автономная область,
Карачаевский район, аул Кумыш».*





Сколько ног у козла?

По горной дороге ехал согнутый годами старик. От весны и тепла он слегка подремывал, маятником покачиваясь в седле. Там, где дорога сужалась густым терновником, конь его внезапно остановился. Старик открыл глаза – прямо перед носом лошади, подперев себя палкой, стоял коренастый юнец. Позади него, белым горошком рассыпавшись вдоль дороги, паслись овцы, а рядом с ним, обрывая листики молодого шиповника, желтел большой кривоногий козел. Юноша стоял неподвижно, широкая улыбка раздвигала его губы. В белой рубашке, под белой пастушьей шляпой он был похож на крупный придорожный гриб. Когда старик открыл глаза, пастух проглотил улыбку и, превращаясь в само почтение, сказал нараспев:

– Салам алейкум, старый человек! Да благословен твой путь, заходи в убогий кош мой, будь гостем.

– Алейкум салам, сын мой! Да умножатся стада твои, в кош твой завернул бы, да тороплюсь: путь мой длинен, а день короток.

– Ничего, старый! Успеешь! Отведай ягнятины...

– Спасибо, сын мой, спасибо! В следующий раз погощу обязательно, если будет Аллаху угодно! Бывай здоров!

–И в следующий раз погостишь, и сейчас заходи. Дай отдохнуть своим старым костям, да и конь твой изнурен дорогой дальней.

– Эко чудо! Малый старого увещевает. Ведь в гости ходить принято у нас непросясь, и упрашивать не позволено. Отодвинься-ка лучше от носа моей лошади, потруди себя, – добродушно закончил старик, трогая коня.

– Подожди, Аллаха ради, – начал опять юноша не шевелясь, – не осуди меня, дурака, но у меня к тебе еще одна просьба.

– Да не осудит тебя Аллах, душа моя! Проси, пожалуйста, чего хочешь.

– Я хочу с тобой бороться!

Старик удивленно взметнул густые брови, словно спугнул со лба воробьев.





– Я дал себе клятву, – продолжал чудак, – не пропускать по этой дороге путника, не положив его на обе лопатки, и, солнце тому свидетель, этой клятвы я еще ни разу не нарушил за три года.

– Ох-хо-хо! Ай-да джигит, вижу я: удалец ты настоящий. Но твоя клятва не должна касаться меня: ты молод, как заря, я же стар и убог, как гнилой пень.

– Да ну! Так ли уж ты убог, старый?! Ты, небось, не прочь бы жениться сейчас?! А?! – блеснул пастух лукавыми глазами, прислонившись к седлу.

Старику, видимо, задира начинал надоедать, и он неторопливо забурчал:

– Женат, дорогой мой, я уже давно, и сын моего самого младшего сына уже старше, заметно умней и намного почтительней тебя, а если хочешь знать, сколько всего у меня сыновей, посчитай ноги вот у этого козла и прибавь к этому еще столько.

Старик плеткой указал на рыжего козла. Пастух на секунду растерялся. «Сколько же ног у козла?» как бы про себя протянул он и вдруг сильно дернул верхового за полу бешмета.

– У козла-то, старый, одна нога. Это совсем немного, так что... слезай. – Поздно заметил старик, что дерзкий пастух расслабил подпруги его лошади, вместе с седлом медленно сполз он на придорожную траву. Козел испуганно шархнул в сторону и, будто смутившись своей робости, затряс бородой. Против ожидания напроказившего пастуха, старик остался совершенно спокоен.

Он заново оседлал свою лошадь, не торопясь, поправил съехавшую на глаза шапку и лишь затем повернулся к озорнику.

– Соврал ты мне, сынок! У козла все-таки не одна нога, а гораздо больше. Давай-ка посчитаем.

С этими словами он крепко схватил парня за ремень и прижал к себе. Тот напряжился, стараясь отодвинуться, но не успел. Как подбитый перепел, шлепнулся он на траву, и только чабуры его, густо смазанные овечьим жиром, сверкнули на солнце.

– Это будет один, душа моя! У козла пока одна нога! – ухмыльнулся старик и поставил пастуха на ноги, но в тот же миг опять бросил на землю.

– А это будет два! У козла две ноги, свет глаз моих!

Юный неудачник ошалело бросился на победителя, но опять оказался на спине.

– У козла уже три ноги, душа моя!

Хилый старик на глазах обернулся медведем.

– Четыре ноги, пять ног, а теперь – шесть ног, – продолжал считать он, трамбуя землю спиной несчастного.

«Этот хрыч может печенки отбить», – подумал вспотевший пастух, уже не сопротивляясь и стараясь только мягче падать. В седьмой раз распластал старик его на земле и поднял с грозным вопросом:





– А теперь сколько стало у козла ног?! А?

– Семь ног... Семь, – поспешил с ответом пастух, глотая воздух, как утопающий.

– Врешь, собачий сын! Не семь ног, а восемь, – старик еще раз подмял под себя «собачьего сына».

– А теперь сколько?

– Восемь!

– А может быть, девять? Подумай-ка!

– Нет восемь... Ровно восемь, – вскричал тот, откуда-то найдя силы, чтобы отскочить в сторону.

– А говорил, «одна». Разница большая, постарайся не путать. Бывай здоров! – Старик легко вскочил на коня и уже на ходу добавил голосом, каким утешают плачущих детей, – приеду в аул, расскажу, что встретил в горах джигита, в стаде у которого был восьминогий козел. До свидания, свет глаз моих.

Измятый пастух успел заметить, как по бороде старика потекла широкая и усталая улыбка. Рыжий козел стеклянными глазами смотрел то на своего хозяина, то на удаляющегося всадника. Козел, кажется, вовсе и не подозревал о том, что эти двое, так долго считавшие его кривые ноги, все-таки ошиблись: один сказал – восемь, другой – одна, в то время как их у него было ровно четыре.

А впрочем, может, и подозревал: козел-то старый, а старики хитры, знают многое, их трудно сразу понять – их надо просто уважать. Так принято у нас на Кавказе!





Аул Кумыш

1. Приглашение к книге

Жил горец. Ни щедрости, ни теплоты душевной к людям в сердце своем не держал. Но при этом, рассказывали, бедняга очень боялся прослыть скупцом и бирюком. Из тех он был, кто хотел, чтобы и волки были сытыми, и овцы целыми.

Раз пригласил этот горец под сень своей кровли случайного проезжего. Особенно не настаивал, так – ради приличия пригласил. Но проезжего не пришлось долго упрашивать. Он запросто въехал во двор, спешился и спросил, куда привязать коня.

– Привяжи, дорогой гость, своего коня за мой длинный язык, – ответил горец, не скрывая досады. – Нет, чтобы ему спокойно лежать во рту и не шевелиться.

Поверьте, не из нашего аула тот горец. Кумыш гостей любит.

– Салам алейкум, дорогой путник! Заходи к нам! – говорим мы тебе от души, читатель.

– Алейкум ассалам! – должен ты ответить, как и подобает путнику.

Да, мы называем тебя, читатель, путником, так как твердо убеждены, что каждый, открыв книгу, открывает ту самую дверь, которая начинает всякое путешествие. И не спорь с нами, пожалуйста, читатель. На этот раз правда, вне всякого сомнения, на нашей стороне. Суди сам. Ведь, отправляясь куда-нибудь, прежде всего тебе приходится открыть дверь. И, только закрыв ее, ты покидаешь свой дом. Так и с книгой. Можешь ли ты узнать, о чем она, не раскрывая обложки?

Представь себе зиму. Звенит мороз, в горах буран, нос на улицу показать страшно. Ты, благоразумный, укрывшись новой шубой, недавно сшитой рука-





ми твоей заботливой жены, покоишься в тепле своего очага и слушаешь сердитые песни ветра, приняв излюбленное большинством смертных горизонтальное положение тела...

Или представь знойный летний день. Сорок градусов жары, жжет солнце. А ты на цветастом пушистом войлоке, дорогом тебе как память о любимой бабушке, мир праху ее, возлежишь в тени дерева в своем саду...

И в том и в другом случае ты, лежащий неподвижно, если читаешь книгу, находишься в дороге. Ибо всякая книга – это мир со своими городами, селами, улицами. И каждую страницу, которую переворачивает твой указательный палец, можно сравнить с входом в какой-нибудь дворец, поражающий роскошью и красотой, или в обычную горскую саклю, радующую глаз простотой и скромностью. Почему? Да потому, что в настоящей книге на каждой странице – новые мысли. И, читая такую книгу, ты видишь людей, слышишь их речь, знаешь, о чем они думают. А если всего этого нет – закрой книгу, возьми другую. Книга без мыслей – пустой орех. Кому этакий нужен? И наоборот, хорошая книга – твой проводник по жизни, твой друг, надежный, верный, такой, который не подведет на перекрестках жизненных троп, когда надо решать, куда идти дальше.

Да удержимся мы от споров с тобой, путник, если ты скажешь, что у тебя и до этой книжки было немало чудеснейших путешествий в прекрасные города и земли.

Были. Не спорим.

Но приходилось ли тебе когда-нибудь бывать в обычном карачаевском ауле, известном, прямо скажем, лишь тем, что он никому не известен? Почему? Да потому, что такой аул прячется в горах, в укромном месте, в стороне от людных широких дорог. И ты будешь прав, если скажешь, что он, по всей вероятности, совершенно непричастен к существованию на земле всех семи больших и семидесяти меньших чудес. Ты прав – к этому он непричастен.

Итак, будь у нас гостем, путник!

Пусть отдохнут твои ноги. А если ты верхом, пусть отдохнут ноги твоего коня.

Скажи громко у нашего порога:

– Мир вам!

А мы еще громче ответим:

– И входящему мир!

И да сбудутся наши пожелания друг другу.

Нет, не из нашего аула тот самый горец, который показал своему гостю язык и тем самым посадил себя в лужу позора. Мы быстро найдем, к чему привязать твоего доброго скакуна, и язык наш будет готов рассказать тебе все, что мы знаем. И уши наши будут свободны. Мы умеем слушать гостя. Входи! Садись. Сиди у нас хоть целый день. Живи у нас, если можешь, хоть месяц. Мы посадим тебя на почетное место у тѐра. Хоть год сиди, если тебе у нас понра-





вится. Сиди хоть до того самого дня, когда тебе нужно будет поехать в район, чтобы оформить документы па пенсию по старости. Мы не возражаем. Только радость ты увидишь в любую минуту на наших улицах. Мы всегда так думаем: «Уважение к гостю да будет единственной нашей заботой!»

Может, когда-нибудь слышал ты притчу о нашем карачаевском гостеприимстве? Всюду ее рассказывают. Не слышал? Тогда знай.

Пришли однажды к карачаевскому пастуху два серых волка и попросили овцу.

– Простите, ребята, не могу, – сказал им пастух. – Овцы не жалко, да вот стадо не мое. Чужое стадо пасу.

– Аллах простит, – сказали серые. – Чужое добро свято. Но мы голодны. Траву щипать не умеем. Будь хорошим человеком, сходи в аул и передай нашу просьбу хозяину. А стадо мы пока постережем. Клянемся, не тронем.

– Чем клянетесь?

– Честью клянемся! Пусть мы ее потеряем, если нарушим слово!

– Без чести тоже живут на свете, – усомнился пастух.

– Пусть будем всю жизнь несчастны, если обидим хоть одного ягненка!

– И несчастных сколько угодно на свете...

– Тогда пусть ляжет на нас тот страшный позор, какой ложится на тех, кто гостю не рад!

После таких слов пастух спокойно доверил стадо волкам и пошел в аул. Каждый из нас поверил бы этой клятве – так у нас принято.

Будь нашим гостем! Мы поровну поделим с тобой улыбки и веселье. Правда, спицы в колесе ступают поочередно. Так и печаль сменяет радость, а потом вновь приходят светлые дни. Но мы с тобой, дорогой путник, желаем делить – Аллах свидетель! – только радость. Однако если ты станешь возражать и сочтешь нас похожими на тех плохих друзей, которые, словно тень, заходят в дом только в светлые дни, что ж тогда делать? Тогда часть наших печалей и нашего горя мы возложим и на твои плечи. Только пусть после этого горькие борозды не слишком долго будут оставаться на твоём теле...

Жизнь есть жизнь. И с этим ничего поделать нельзя. Ведь каждый счастливцев, у которого по воле создателя оказалась на плечах мудрая голова, должен согласиться, что не стоит, ухватившись за бороду, попусту терять время, размышляя, отчего на земле день, а отчего ночь. Зачем ломать голову, если давно известно, что, когда мир обращает свой лик к солнцу, ему в затылок смотрят луна и звезды?

Не подобает мудрецу и дымить трубкой, пытаясь вникнуть в тайну рождения и смерти человеческой, ибо, сколько бы он ни дымил, ничего не изменится – родившийся все равно когда-нибудь умрет, а умерший никогда вновь не родится.

Не позволим же горю – словно червю – слишком долго подтачивать древо наших сил. Приняв день за день, а ночь за ночь, степенно, бодро, без робости





и сумятицы душевной, признаем земную вечную истину – истину не только восходов, но и заходов. И не станем жалеть слез, когда торжествует смерть, и будем торжествовать, услышав плач новорожденного.

Вообще, тому, кто твердо стоит на земле, тому, кто хорошо знает, что огонь горячий, а вода мокрая, жить проще и веселей. Ему ведь отлично известно, что умирать чаще, чем рождаться, люди не могут. Ну, а рождения, как известно, обеспечиваются свадьбами, которым нет конца. А свадьбы – дело перспективное, поскольку единожды рожденный нередко женится дважды, а если повезет – то и того чаще...

К чему все это мы говорим? К тому, что люди в нашем ауле простые, искренние, добросердечные. Встретят тебя, как подобает. И будешь ты, путник, восседать на почетном месте за нашим праздничным столом, будешь восседать рядом с тамадой, увидишь и как пляшут наши джигиты, и сколько крепкой бузы перетекает из одних сосудов в другие...

Однако сколько воды утекло в Кубани с тех пор, как мы, словоохотливые, держим тебя своими пустыми разговорами у порога дома!

– Входи, дорогой гость! Давай сядем каждый на свое место, спокойно поговорим, познакомимся ближе друг с другом. А тем временем будут жариться наши хычины. Итак, друг, давай начнем с самого начала, с нашего аула Кумыш...

2. Аул Кумыш

В том, что аул Кумыш оказался именно там, где он есть, а не в каком-нибудь другом месте, повинен козел старого Мырзы. Что касается самого Мырзы, то он был убежден, что место для аула подыскал не козел, а Аллах.

Много лет назад, когда в Большом Карачае стали рождаться колхозы, старый Мырза, прихватив имущество, покинул родной аул Карт-Джурт: идея коллективизации его нисколько не воодушевляла. Мырзе ничего не оставалось, как поискать такое место, где еще не было колхозов.

Все долгое лето он кочевал из долины в долину. В Карачае много красивых долин. Старик никак не мог решить, какая из них лучше. Устал Мырза, изнемог и однажды вечером твердо поклялся осесть там, где утром найдет свое стадо. Решил и поклялся – дом его встанет в том месте, где утром будет щипать траву вожак – большой рыжий козел.

Ночью Мырза не спал. Он долго жаловался Аллаху, подробно рассказывая Ему обо всех тяготах жизни без пристанища, слезно просил направить его овец не в дикие заросли колючего кустарника, не на пустырь, заваленный камнями. И Аллах, как потом утверждал Мырза, услышал молитву.

К восходу солнца старик отыскал по следам свое стадо. Овцы паслись вокруг вполне приличного на вид холма, укутанного синим туманом.





– Слава тебе, Создатель! – трижды повторил Мырза и после этого внимательно осмотрелся.

Аллах оказался добр. Призывно зеленели покатые склоны, неподалеку шумела река, земля была мягкой, камней было мало.

Рассекая стадо, Мырза подошел к рыжему круторогому козлу, обнял его за шею и долго шептал ему на ухо слова благодарности за то, что привел овец на это прекрасное место. В награду козел получил полведра золотистого ячменя. И Мырза положил первый камень своего будущего дома на то место, где стояла правая нога вожака.

А осенью по другую сторону Синего холма поднял свой дом давний приятель Кара-Мырза. Вслед за ним из Карт-Джурта, из Джазлыка, из Дуута, из Теберды, из многих далеких аулов пришли к Синему холму семьи. Люди, поселившиеся вокруг холма, единодушно знали, что козел оказался более мудрым: превосходное место, которое он отыскал, вполне годилось не только для нового аула, но и для нового колхоза, возник аул Кумыш. Так возник кумышанский колхоз. Так появились кумышанцы.

Среди жителей аула – выходцы из Большого и Малого Карачая. Кто знает аул Кумыш, тот знает всех карачаевцев. Так, по крайней мере, единодушно считают сами кумышанцы.

Но вот по поводу названия аула подобного единодушия нет. Одни говорят, что слово «кумыш» – это чуть изменившее свое звучанье слово «кюмюш» – серебро. Другие утверждают, что слово «кумыш» это не одно, а целых два слова: «кум» – песок, «иш» – работа. А вместе – песчаная работа. Говорят, два англичанина, Бог знает когда, поблизости, на берегу реки мыли песок, искали золото. Серебро или золото, так или иначе, но название аула связано с драгоценными металлами. Это очень устраивает кумышанцев: рассказывая о своем ауле, они имеют возможность всякий раз подчеркнуть его незаурядность.

Аул Кумыш действительно нельзя поставить в один ряд с другими населенными пунктами Карачая, хотя бы потому, что эта географическая точка обладает немалыми существенными преимуществами перед всеми остальными.

Ну, например, в ауле Кумыш никогда не бывает града. В соседних аулах он бьет оконные стекла, крыши дырявит, а у кумышанцев хоть бы бусина с неба упала!

А если здесь дождь идет, так не какая-нибудь унылая водяная крупа, которая медленно сыплется сверху, а темпераментный лихой ливень. Со склонов в такой день несутся бурные потоки, смывая в Кубань с огородов и картофель, и кукурузу, и вообще все, что может расти. Тогда на улицах столько грязи, что не пройти и шайтану. Человек – не шайтан. Человек, конечно, пройдет. Но только в крайнем случае. И, конечно, если продавщица магазина Зухра по знакомству снабдила его резиновыми сапогами...



Только одна улица в Кумыше заасфальтирована. Ее жители в первую очередь получают и жесть кровельную, и шифер, и штaketник, и все прочее. Но остальные кумышанцы на них не в обиде. Все понимают: по главной улице в основном следуют туристы. Со всех концов страны, даже из других стран они едут отдыхать в Теберду, в Домбай, в Архыз. Пусть любят главную улицу аула Кумыш, пусть видят, какая хорошая жесть на крышах, какой крепкий асфальт на дороге, какие ровные красивые заборы бегут за окнами автобусов. Кумышанцы довольны. Они-то давно знают, что нет на свете лучше аула. Пусть знают об этом и туристы, в том числе и иностранные.

В Кумыше, правда, маловато садов, зато его картофель славится на весь Карачай. Да что Карачай! Даже на ростовском базаре можно найти кумышанскую картошку. А уж какую только картошку не везут в этот прожорливый Ростов – из Воронежа, из Чувашии, из Тулы, из Курска! Да истинные знатоки, роясь в мешках, ищут именно карачаевскую, кумышанскую...

Много достоинств у аула Кумыш. Но главное, конечно, жители. Правда, сами о себе они более скромного мнения.

Если, скажем, у фельдшера Ачея спросить о Дауте, то он так скажет:

– Наш Даут признает лишь одно лекарство: к двум наперсткам кипяченой воды добавить стакан вина...

В свою очередь, Даут обещает Ачею:

– Когда в могилу ляжешь, на камне такие слова напишу: «Здесь лежит тот, благодаря которому вокруг лежат многие».

Даут дружит с Хаджи-Даутом, а Хаджи-Даут с Даутом. Большие они друзья, об этом весь аул знает. Но тот же Хаджи-Даут никогда не упустит случая, чтобы не рассказать, почему у его приятеля правое ухо распорото.

– Родился Даут, мой лучший друг, как и все люди, с двумя нормальными ушами. Когда в первый раз женился, тоже уши хорошие были. Но одной жены ему показалось мало. В молодости Даут большим гулякой был, совсем дома не сидел. Нет дров, нет зерна, сена нет. А он наряжался, как жених, и по аулам разъезжал – искал, где свадьба, где поплясать, где повеселиться можно. Раз исчез на целую неделю – в Хурзуке на свадьбу попал. Увидел там одну красавицу, влюбился в нее. А я приехал в Хурзук как раз в тот день, когда он сватался. Эта красавица Хорасан была единственной дочерью в богатом доме, бедняку она не досталась бы. Увидел меня Даут, подмигнул и спросил: «А как там мои стада и табуны?» И это говорил тот самый Даут, во дворе которого ни одна хромя овца не ночевала, только ветер гулял. Пожалел я его тогда и ответил: «Не беспокойся, дорогой друг. И твои табуны, и твои стада, и твои отары – все они мирно в горах пасутся. Дома остались лишь старая кляча да тощая телка. Они что-то грустные. Видно, соскучились по тебе...» Я только намекнул, что мать и жена ждут, не дождутся Даута, а он и слушать не хотел. В общем, помог я, глупец, Дауту. Напустил он туману в глаза братьев Хорасан. Решили они, что он богатый человек,



выдали за него сестру. И в тот же день привез Даут в свой пустой дом вторую жену. А первая, не тратя времени на разговоры, разорвала ему ногтями ухо...

В свою очередь Даут с большим удовольствием рассказывает встречному и поперечному, отчего это его лучший друг Хаджи-Даут хром на одну ногу.

– В молодости мой почтенный друг, – сообщает Даут, – был почти так же глуп, как и сейчас. Однажды решил он отправиться в Мекку. Очень уж ему хотелось вернуться в Кумыш уважаемым хаджи с роскошным белым тюрбаном на голове. И меня уговорил с ним паломничать. Добрались мы до Турции. Есть нечего, идти дальше не можем. У турок так просто не набьешь свой живот. Надо было добывать себе пропитание. Свернули мы в первое попавшееся селение. Идем, смотрим, что плохо лежит. Видим, маленький приземистый домик, на столбе во дворе висит вяленое мясо. Мы глядим на мясо, а со двора на нас глядит черная громадная овчарка. Я, как увидел собаку, сказал: «Пошли отсюда. Такой зверь вмиг проглотит, не подавится». А Хаджи-Даут в молодости был почти так же упрям, как и сейчас. Ответил мне: «Я так есть хочу, что сам эту дворняжку могу проглотить. Останется хозяин и без мяса, и без собаки». И полез. Руки к мясу протянул, овчарке это, конечно, не понравилось. Как она бросится на Хаджи-Даута! И мой друг, словно кошка, вскарабкался на крышу. Овчарка внизу бежит, а он по крыше. Смотрит, куда бы прыгнуть. Тут дверь домика открылась, и вышел турок-хозяин. Роста огромного, а в руке кинжал. Взял он лестницу, приставил к домику, кинжал – в зубы и полез наверх. А Хаджи-Даут мечется по крыше, не знает, куда деваться. Вдруг видит: седло ишачье на крыше валяется. Хватает он седло, целится в турка, бросает. Не обрадовался бы турок, если эта штука ему в голову угодила. Но Аллах в ту минуту моего друга меньше любил. Когда Хаджи-Даут седло швырнул, один из ремней захлестнулся за его шею, и мой уважаемый друг полетел через турка на землю, упал и ударился коленом о единственный камень, который был на дворе! Следы от побоев и от собачьих зубов со временем исчезли, а вот нога на всю жизнь осталась кривой...

– Говорун несчастный! – так обычно называет Даута вдова Шамда.

Язык у нее – что острый кинжал. И в Кумыше мало смельчаков, которые решились бы ей перечесть. Но Даут смолчать не может. Завидев Шамду, он каждый раз громко вопрошает:

– Если в озере Хурла поселится крокодил, как его оттуда изгнать?

И еще громче сам себе отвечает:

– Если в озере поселится крокодил, надо бросить к нему нашу Шамду. Вполне возможно, что крокодилу удастся убежать...

А Шамда непременно в таких случаях говорит Дауту:

– Если вместо тебя на свет появился бы не ты, а какой-нибудь плоский камень, его хотя бы можно было в забор положить. Все польза была бы. А от тебя, несчастный, какой толк?





Хаджи-Даут в присутствии Шамды обычно молчит, и – странное дело – Шамда тоже избегает говорить о Хаджи-Дауте.

Зато Хаджи-Даут, встретив школьного преподавателя физкультуры товарища Текеева, обязательно отпустит какое-нибудь замечание. В последний раз он так сказал товарищу Текееву:

– Одна половина волос на моей голове поседела потому, что я много думал обо всем на свете. А другая половина поседела только потому, что я никак не могу понять, какой дурак разрешил тебе учить детей такой важной науке, как физкультура?

В ауле Кумыш тысячи жителей. Летом почти все уходят на колхозный сенокос. Мужчины, даже самые старые, даже наш древний Айдамбул, косят. Женщины, дети убирают сено, помогают косарям. После сенокоса приходит пора уборки картофеля, кукурузы.

Зимой кумышанцы работают на фермах, готовятся к весеннему севу. Весной снова выходят на колхозные поля, растят кукурузу, растят картофель и просят у неба хорошей погоды. И, конечно, круглый год ухаживают за скотом.

С прошлого года в ауле идут разговоры, что за мостом будет строиться крупнейшая в стране ГЭС. Старики-кумышанцы волнуются, хватит ли в ауле рабочих рук для такой большой стройки. Молодые кумышанцы озабочены тем, достаточно ли места в ауле, чтобы принять всех гостей, которые отовсюду приедут помогать строить.

Кроме этих причин, у Даута, у Хаджи-Даута, у Шамды, у товарища Текеева, у других кумышанцев есть немало других поводов для волнений и переживаний. Жизнь в Кумыше – как быстрая речка. Жизнь – как всюду, где есть синее небо и солнце...

3. Агаз и Хохалай

Среди кумышанцев нет такого, кто бы не знал Агаз и Хохалай.

Давно живет на свете Агаз. Чем больше старится человек, тем ниже, кажется, становится ростом. Все в нем идет на убыль. Все становится меньше. Только не меняются руки. Сморщилась, высохла Агаз, а руки остались прежними – большими, натруженными, готовыми к любой работе.

Встретишь Агаз, хочется силой распрямить ее согбенную фигурку, хочется ладонями разгладить глубокие морщинки на ее лице. Много бед она испытала, много видела горя. Из большой семьи Агаз никто в живых не остался. Рядом один лишь внук Хохалай – сын старшего сына.

Живут Агаз с Хохалаем в маленьком домике, окруженном древним плетнем. С одной стороны к домику пристроен низенький хлев, с другой – высокий курятник. В хлеве вот уже много лет обитают три тощие козы. В курятнике пусто. Зимой его, правда, заселяют бойкие вороны, ждут в нем весны. А ког-





да особенно холодно, в курятник забредает беспризорный щенок. Хоть он и невелик ростом и неширок костью, все же считает, что вместе с воронами в курятнике ему места мало.

Утром выходит Агаз во двор, видит коченеющих на снегу ворон и тут же спешит к курятнику.

– Где твоя совесть, негодник! Совсем, что ли, сердца нет у тебя? – отчитывает Агаз свернувшегося калачиком щенка. – Смотри, как замерзли несчастные птицы! Что они у тебя отнимут, если переночуют рядом в тепле? И как к тебе сон приходит, когда ты тут как князь развалился, а они всю длинную ночь на морозе тряслись?

Услышав голос Агаз, щенок догадывается, что пришло утро. Он открывает глаза, неторопливо, с достоинством, будто слова старушки к нему не имеют никакого отношения, выбирается из курятника, невозмутимо и молча оглядывает нахохлившихся от обиды ворон, смотрит на старую хозяйку и только тут, будто смутившись, опускает взгляд – признается: «Твоя правда, бабушка. Кажется, этой ночью я поступил не лучшим образом».

Маленький хитрец не уходит. Он смиренно, не шевелясь, ждет, лишь хвостом дружелюбно крутит. Щенок знает, что будет дальше. Высказав свое самое строгое осуждение, добрая Агаз вернется в дом и вскоре вынесет осознавшему свою вину проказнику что-нибудь вкусное на завтрак...

Не любит Агаз, как нередко это делают старые люди, вспоминать, что в былые годы, в молодости они сворачивали горы. Гор Агаз никогда не трогала. Но всю жизнь для ее рук находилось дело. И нынче Агаз своим трудом кормит себя и внука. Она вяжет носки, пуховые платки.

Шамда, большой специалист по торговым делам, после каждой поездки на базар говорит:

– Твои вещи, мама, прямо с рук хватают. Но зачем ты вяжешь для продажи из таких хороших ниток, что и для себя?

Агаз в таких случаях не отвечает. Как объяснить Шамде, что и чужие люди, покупая на базаре платок, тоже хотят, чтобы он был легок, как пушинка?.. Начнешь ей объяснять, а у Шамды один ответ: «Непрактичная ты, мама».

Младший сын Агаз, дядя Хохалая, был женат на Шамде. Много лет назад это было – муж Шамды, оставив ее и дочь Зубайду, ушел на фронт и не вернулся. Второй раз вышла Шамда замуж, родила вторую дочь Баблину, овдовела снова, но любит Агаз по-прежнему – как невестка – и называет ее по-прежнему «мамой». Не многих любит Шамда, а если кого-нибудь любит, можно не сомневаться – очень хороший это человек.

Давно живет на свете Агаз. Чем больше человек живет, чем больше он знает, тем больше забывает. Забывает, что узнал и что видел. Но ничего не забыла, все помнит Агаз. Бережно хранит в памяти не только свое прошлое, но и прошлое всех аульчан, прошлое всего своего маленького народа. По пальцам может



перечесать все светлые и все мрачные дни, что выпали на долю Карачая. О чем угодно спроси, обо всем Агаз сумеет рассказать. О том, откуда пришел к берегам Кубани родоначальник карачаевцев Карча, о первом переселении горцев в Стамбул, о том, как наиб Шамиля собирал в горах Карачая войско, о том, как пришла в аул советская власть, как возникали колхозы. О чем угодно спроси, на все есть ответ у старой Агаз.

Иногда кумышанцам кажется, что бабушка Агаз помнит не только прошлое, но и знает будущее.

Года два назад в Карачае стояло необычайно знойное лето. На склонах выгорела трава, на корню сох урожай, мельчали реки. Чего только не делали находчивые кумышанцы, чтобы дождь хоть раз с неба выпал! И осла Айдамбула, искупав в реке, заставляли глядеть в зеркало. И под хвост ему усердно плевали, и в левое ухо. Хоть бы капля с неба упала!

Тогда кумышанцы вспомнили совсем старый способ. Нужно было где-нибудь добыть правый женский сафьяновый чуйяк и бросить его в реку в самом глубоком месте. Чуйяков в ауле хватало, но для задуманного дела подходил лишь чуйяк молодой женщины, которой довелось родить незаконно. Двое проворных парней со смехом отправились выполнять наказ стариков – на молочной ферме работала дояркой дочь Расула, красавица Патия. Парни незаметно выкрали ее правый чуйяк. Поскольку Патия родила без мужа не одного, а даже двух детей, старики полагали, что дождь выпадет непременно.

Однако дождя не было. И тогда Агаз сказала кумышанцам:

– Люди добрые, все грехи может простить Аллах, но вражды к ближнему не прощает. В нашем ауле есть недовольные друг другом. Есть такие, кто поссорился, кто завистничает. Пусть выбросят камень из-за пазухи. Пусть живут в мире. Не давайте над собой смеяться шайтану. Тогда и трава будет зеленеть, и деревья цвести, и урожай наливаться...

Агаз была права. На каждой улице нашлись сердитые друг на друга. Хотели они этого или не хотели, пришлось помириться. За два дня помирили всех. Собрались аульчане в центре аула на Синем холме, где обычно решаются важнейшие общественные дела, отметили маленьким торжеством свое примирение.

– Хорошо нам Агаз подсказала! – заявил Даут, в который раз поднимая наполненный рог. – Даже если Аллах и не пошлет нам дождя, доброе дело мы совершили. Пусть в Кумыше никогда не будет ссор! Я лично больше никогда не собираюсь ссориться со своим другом Хаджи-Даутом, хотя он на удивленье несносный человек...

Даут, правда, своего слова не сдержал и уже к вечеру из-за какого-то пустяка повздорил со своим соседом. Но Аллах оказался более последовательным. Не успели кумышанцы разойтись с Синего холма, как, к негодованию непримиримого борца с суевериями школьного физрука товарища Текеева, пошел сильный дождь.



С тех пор многие считают бабушку Агаз доброй вещуньей. И кто бы ее ни повстречал, ей желают:

– Пусть еще долгой будет твоя тропа на земле, Агаз!

Агаз с удовольствием слушает такие пожелания. Ей пока и в самом деле никак не с руки умирать: Хохалаю еще год в школе учиться. И когда еще он прочно на ноги станет – один Аллах знает. А Агаз мечтает дожить до этого дня...

Хохалай перешел в десятый класс, а его сверстники давно уже кто в институте, кто в техникуме, кто в колхозе трудится. Не лень помешала Хохалаю, болезнь помешала. Иногда вдруг заколет в сердце, и приходится неделями оставаться в постели. Фельдшер Ачей долго уверял, что болезнь не страшная. Давал Хохалаю всякие лекарства. Но сердце у парнишки продолжало болеть. И однажды Ачей вызвал врача из города. Бабушка Агаз в тот день долго плакала – если в Кумыш едет городской «дохтур», дело, значит, плохо.

Но симпатичная пожилая женщина, приехавшая из города, уходя, сказала:

– Зря плачешь, бабушка. С такой болезнью сто лет жить можно. Однако мальчик должен беречь себя. Нельзя, например, много бегать. Нельзя перегружать себя тяжелой работой. Нельзя волноваться. Нельзя простужаться...

С тех пор Агаз, как может, бережет Хохалаю. Не разрешает коз накормить. Все делает сама. А с чем не справляется – помогают соседи.

Хохалай сердится, спорит, но Агаз непреклонна.

– Дитя мое, – говорит она, – сиди спокойно или лежи, и себя погубишь, и меня несчастной сделаешь.

Хохалай знает, если упорствовать, бабушка Агаз начнет плакать. А что может быть хуже, если плачет самый добрый в ауле человек? И внук уступает.

Хохалай тонок и высок. И волосы его, и брови, и даже ресницы совсем белые. Таким родился. В ауле его обычно зовут Белоголовым...

Старые кумышанцы выделяют Хохалаю среди других парней. Они уверены, что Белоголовому служат белые джинны. Эти тайные помощники есть у каждого особенного человека. Молва о джиннах родилась не только потому, что Хохалай белый как лунь. Кумышанцев поразило, что юноша сумел изучить арабское письмо и может теперь читать Коран не хуже самого эфенди Ожая.

Старая одноглазая Гоштай часто говорит о Хохалае:

– Верьте мне, люди. Не простой это человек. Необыкновенная его ждет судьба – Аллах свидетель! Знаю, есть у него эти самые слуги. Есть.

Никто из женщин не продолжает разговор – о джиннах вслух не принято говорить, иначе можно нанести вред их хозяину. Да разве Шамду кто удержит!

– И-и-й! Гоштай! – говорит она. – Откуда ты знаешь, что у него есть эти самые слуги? Мы, двуглазые, ничего такого не замечаем, а как же ты их сумела разглядеть одним своим глазом?

– Такое, уважаемая Шамда, человек видит не глазами, а сердцем, – робко возражает Гоштай и смолкает. Она не хуже других знает, что такое связываться с Шамдой.



Сам Хохалай, услышав о своих тайных слугах, улыбается и молчит. Существования белых джиннов он не обнаружил, но, сказать по правде, не отказался бы от таких всемогущих и преданных слуг.

«Прежде всего я приказал бы им, – думает Хохалай, – чтобы бабушка никогда не болела. Гоштай прозрела бы на второй глаз, Хаджи-Даут перестал бы хромать, а Даут бросил бы так пить. А Шамда никогда бы не затевала ссоры. Из больницы выписались бы все больные, исцелившись от всех своих недугов. И еще – чтобы нашли лекарство для моего собственного сердца...»

Но белые джинны никак себя не проявляли, и Хохалай много думает о своем будущем. Старая Агаз часто говорит, что после школы он должен подыскать себе спокойное легкое дело: с больным сердцем шутить нельзя. Хохалай и не собирался шутить. Он всерьез перебрал множество профессий, и каждый раз возвращался к одной и той же мысли – как стать писателем?

Конечно, своими раздумьями он ни с кем не делился, но в свою комнату поставил маленький, на трех ногах столик, потом соорудил полку и заставил ее книгами карачаевских писателей. Перечитав все эти книги, сравнивал одну с другой, но так и не понял, у кого из писателей лучше слог, кому стоит подражать, у кого надо учиться. Думал, думал и решил – учиться нужно у всех, а подражать никому не нужно.

Как-то Хохалай спросил у Зубайды – учительницы литературы и русского языка, какую книгу в карачаевской литературе следует считать самой интересной, самой умной, самой лучшей. Зубайда сказала, что ответы на такой вопрос будут разными. Кого ни спроси – каждый ответит по-своему. Книга, которая нравится одному человеку, другому может показаться совсем неинтересной.

– Значит, такой книги, которая понравилась бы всем сразу, нет?

– Нет! – уверенно заявила Зубайда. – Такую книгу написать нельзя.

Хохалай не стал говорить, что не согласен с учительницей. Если нет такой книги у карачаевцев, рано или поздно кто-нибудь из писателей ее напишет, решил он.

Такая книга поможет людям жить лучше и красивей. Прочитав эту книгу, слабые станут сильнее. Слишком твердые люди – твердые и холодные как камень – станут теплей и мягче. Слишком мягкие, рыхлые станут тверже. А люди надменные, заносчивые станут проще и человечней.

Не имеет значения, какой будет эта книга – большой или маленькой, толстой или тонкой. Хохалай не представляет, о чем будет говориться в этой книге. Главное – чтобы она обладала чудесной силой изменять людей, делать их лучше.

Хохалай подозревал, что написать такую книгу – совсем не легкий труд. Не для больного сердца. Сколько знать нужно, сколько видеть, сколько работать! Сколько слов перебрать, чтобы выбрать из них одно – единственное, самое точное, самое верное. Со спокойным сердцем такую книгу нельзя написать. Но ради такой книги можно отдать и сердце...



Мечтает Хохалай о будущем, мечтает о волшебной книге. На полке у него появилась толстая, сшитая суровыми нитками тетрадь в синем клеенчатом переплете. И часто тихим вечером Хохалай достает эту тетрадь, раскрывает ее, заносит перо над листом бумаги...

Не в этой ли синей тетради возникнут строчки самой лучшей книги карачаевского народа? Этого Хохалай еще и сам не знает. Но мечтать должен каждый...

4. Даут и Хаджи-Даут

В двух шагах от домика бабушки Агаз по обеим сторонам Синего холма стоят еще два дома – оба крыты красной жезью, оба обнесены каменными заборами. Дома прячутся в глубине дворов за грушевыми деревьями. Смотри, пока глаза не заболят, не увидишь между домами никакой разницы.

В прошлом году от ветра ли, от снега ли, от дождя ли покосилась высокая труба одного из домов. А через малое время – заметили кумышанцы – начала крениться и труба второго дома. Эти дома-близнецы – самые первые дома в Кумыше. Но вот хозяева их отличаются друг от друга, как утро от вечера. Один такой длинный и тощий, что кажется, его можно вместо моста через Кубань перекинуть. Другой, если даже на цыпочки встанет, до пупа первого не дотянется. Зато ремнем его штанов можно обмотать раз пять длинного.

Того, что тощ, как копченое ребро, зовут Даутом, сыном Мырзы. Имя второго, толстого, – в два раза длинней, Хаджи-Даут, сын Кара-Мырзы. Своего соседа Даута он так и называет – «половинка моего имени».

Даут, как и в молодости, любит погулять, побывать в гостях, посидеть на чьей-нибудь свадьбе. Хаджи-Даут, напротив, известный всему аулу домосед. Даут говорит, что его приятель не любит в гости ходить, так как не знает, пройдет через чужую дверь или застрянет в ней. В отместку Хаджи-Даут уверяет, что пусть в чужом доме даже дверь заперта, но если в нем к празднику готовятся, Даут через окно пролезет. А если и окна закрыты, то он и в трубу просунется.

Приятели всю жизнь рядом живут, всегда пополам кусок хлеба делят, но спорят и ссорятся не переставая. Говорят, дух противоречия вселился в них в тот день, когда еще мальчишками они впервые поднялись в горы, в кош пасти скот. Заспорили, кому готовить обед. Спорили долго. Наконец бросили жребий. Выпал жребий на Хаджи-Даута. Стал он печь лепешки.

– Как ты думаешь, – спросил вскоре Хаджи-Даут друга, – готовы лепешки?

– Что ты! – запротестовал Даут. – Им еще долго надо быть на огне.

И лепешки оставались в печи, пока не сгорели. На другой день засучил рукава Даут.

– Наверное, рано еще вытаскивать лепешки? – решил он узнать мнение Хаджи-Даута.



– Какое там рано! Вытаскивай скорее!

На этот раз они жевали сырые лепешки.

С того дня так и пошло – один скажет, другой возразит. Но и жить друг без друга не могут. Бывает, сильно поссорятся, долгое время друг от друга отворачиваются. Но каждый тайком ищет пути к примирению, хотя на людях, услышав имя соседа, плюет против ветра...

Но есть слово, достаточно произнести которое, чтобы старики сразу забыли о своих обидах. Слово это – Мустафа. Так звали их друга.

Старые аульчане знают, что искалеченное ухо Даута не имеет никакого отношения к его женитьбе на Хорасан, как и хромая нога Хаджи-Даута к походу в Турцию. Все трое – Даут, Хаджи-Даут и Мустафа – были на фронте. Одна пуля попала в Даута, другая – в Хаджи-Даута, а третья укоротила жизнь Мустафы, – так и не зажила рана, с которой он вернулся.

Мустафа был сыном старой Агаз, отцом белоголового Хохалая. И старики, проводившие Мустафу в последний путь, считают теперь Хохалая своим сыном. Какой бы сильной ни была их ссора, услышав разговор о Мустафе, они начинают вспоминать, как дружно жили-были втроем. Их глаза увлажняются, и, не сговариваясь, они затягивают песню-плач в память лучшего друга, который слишком рано их оставил и лежит теперь в земле...

Даут – живет припеваючи. Ему – хорошо, у него в доме золотая хозяйка Хорасан. Даут может выпить и потом беззаботно лежать, глядя в потолок. Хаджи-Даут же на все один. Ему лежать некогда. Давно умерла его жена, да будет земля ей пухом. Сын Мурат, учитель, весь день в своей школе, для дома совсем времени не находит. Вот и приходится Хаджи-Дауту крутиться с утра до вечера.

Десять лет назад, когда друг остался один, Даут в первый раз предложил:

– Давай хорошо глянем по сторонам; дому твоему хозяйка нужна. Мурату – мать, тебе – жена...

Рассердился тогда Хаджи-Даут, счел слова приятеля совсем неприличными: ноги первой жены в могиле еще и остыть не успели, а ему предлагают привести в дом другую женщину!

Года через три Даут во второй раз посоветовал другу присмотреться к кумышанским вдовам. Но и на этот раз Хаджи-Даут отказался, хотя и не так горячо.

В третий раз Даут заговорил о женитьбе Хаджи-Даута в прошлом году. Тогда Хаджи-Даут не сказал ни «да» ни «нет». Похоже, он был непротив, если бы Даут стал настаивать. Но Даут настаивать не стал.

Чем дольше Хаджи-Даут думал, тем больше понимал, что его друг, когда советовал жениться, был трижды прав. Дом его пуст, нет в доме женской руки. Мурат, балбес образованный, уперся, как ишак перед гололедом, не желает жениться, хочет ехать в Москву продолжать учебу. Думал-думал Хаджи-Даут, но не знал, как поступить. Самому начинать разговор с Даутом на эту тему было неловко. А друг, как на грех, молчал.



В последнее время Хаджи-Даут, правда, частенько пытался направить разговор в нужную сторону, но Даут, болтливый Даут, говорит о чем угодно, только о кумышанских вдовах молчит упрямо, словно рот свой кукурузным толочком набил.

Долго ждал Хаджи-Даут. Наконец решился. Набрался храбрости, надумал – сегодня, ни днем позже, пойти к другу, попросить помочь. Больше просить некого.

Рано поднялся Хаджи-Даут. Солнце еще не всходило. «Нельзя еще идти к Дауту, – сообразил старик. – Засмеет. Скажет, разве горит у тебя там? Пожар, что ли? Чуть свет приковылял...»

Возится Хаджи-Даут во дворе. Провожает минуты, часы.

Выправил скособочившийся забор, уложил свалившиеся камни. Осмотрелся, что еще бы сделать. Но делать вроде бы нечего – все на своем месте. Чисто прибрано во дворе.

Подумав, Хаджи-Даут идет в хлев к пестрому круторогому быку. Не первый год откармливает его сын Кара-Мырзы. С каждым днем тяжелеет Пестрый, набирает жира. К коровам Хаджи-Даут его давно не пускает, чтобы силу и вес не терял. И пастись не пускает, дома на привязи кормит.

– Пестрый, Пестрый, – бормочет старик, поглаживая жесткую бычью шерсть. – Пусть сколько угодно именитых гостей соберется в наш дом в день свадьбы, не стыдно будет твоему хозяину. Никто не скажет, что у него бедный стол, если ты будешь на этом столе. Все довольны, все сыты будут. Не в каждом доме едали такого мяса...

Честно говоря, Хаджи-Даут готовил Пестрого к свадьбе Мурата. Но если сын настоит на своем и на два года укатит в Москву, не выдержит бык, лопнет от жира. Это показалось Хаджи-Дауту еще одним весьма важным обстоятельством в пользу собственной женитьбы.

– Не сердись, Пестрый, – говорит старик, ласково почесывая быка, – не сердись. Сам я решил жениться. Если благословит Аллах и если Даут поможет, соберутся у нас шумные гости, будут пить и плясать, будут желать нашему дому счастья. Ничего мы для них не пожалеем, все на стол выложим. И войдет в дом хорошая женщина. Самая лучшая в Кумыше. Давно на нее смотрю. А кто она, как ее зовут – ни тебе, и даже Дауту не догадаться...

– Эй, Хаджи-Даут, где прячешься? – вдруг с улицы раздался голос Даута. – Спишь, новость не знаешь!

– Не сплю я, – отозвался Хаджи-Даут, выходя из сарая. – У меня тоже новость есть. Поговорить с тобой надо, Даут.

– Каждый день говорим. Твоя новость подождет, – возразил приятель, выходящая над забором. – Идем скорей к Агаз, Хохалай с курорта этого приехал!..



5. Снова дома (из Синей тетради Хохалая)

Быстро катит по асфальту новенький чистенький «Запорожец». Его хозяин – румянощекий добродушный горец, получивший эту машину за свой знатный труд, уверенно держится за баранку. Я сижу и удивляюсь, как этакий верзила умещается в тесной железной коробочке?

Июнь. Трава долин и склонов зелена-зелена. На горах клочья утреннего тумана, поэтому горы кажутся синими. Уже виден родной аул. Узкий, длинный, прежний, он вытянулся между линией гор и дорогой. Белые дома поднимаются к подножьям, а кое-где взобрались даже на склоны.

«Милый человек, лихоусый повелитель руля! – мысленно я обращаюсь к водителю. – Добрый молчаливый владелец четырех прекрасных колес! Ты привез меня в мой аул, к моим землякам. В первый раз я расстался с ним на много дней и теперь снова возвращаюсь. За горами у теплого моря я целый месяц лечил свое сердце. Мурат Хаджи-Даутович, мой учитель географии, достал путевку. Я не знаю, здорово ли теперь мое сердце, будет ли оно еще когда-нибудь болеть, но сейчас оно хорошо бьется. И я думаю, нигде оно не будет биться лучше, чем здесь, среди этих гор, у этой реки, в этом ауле, в маленьком белом домике, где ждет меня, где днем и ночью молится за меня самый близкий, самый дорогой человек – бабушка Агаз.

Друг, хозяин этого великолепного мотора! Ты ведь не знаком с бабушкой Агаз. Останови стремительный бег своей машины, войди со мной в мой дом, отдохни под моим кровом, посмотри, какая у меня бабушка. Посмотри, как она будет счастлива, когда я обниму ее и, наклонившись, прижмусь щекой к ее щеке. И по морщинкам бабушки будут непременно катиться слезы...

Торопишься? Понимаю, дома тебя ждут дорогие тебе люди. Верю тебе. Что ж делать? Прощаюсь с тобой, желаю тебе счастливо доехать. Я уже знаю – тебе не доставляет радости разговор на дороге с автоинспектором. Пусть на твоём пути домой не встретится ни одного автоинспектора, хотя это тоже весьма достойные люди! И знай, мой лихоусый новый друг, этот дом отныне будет и твоим домом. Не проезжай мимо, когда у тебя будет свободное время!..»

Через час-другой в нашем доме собрались самые уважаемые аульчане. Будто не я, Хохалай, приехал. Будто в аул вернулся после долголетней разлуки старый, известный всем человек. Айдамбул к нам пришел, и Даут, и Хаджи-Даут, и Шамда, и Гоштай, и многие другие кумышанцы. Я понимаю, это не мне оказана честь, это земляки выражают свое почтение доброй бабушке Агаз, всему нашему роду. Но все равно хорошо! И все говорят со мной, как со взрослым, знающим человеком. Много вопросов мне задают земляки. А я сам хочу узнать все аульские новости – шутка ли, целый длинный месяц не был дома! Но я не в лесу глухом рос – обычаи знаю. Зря волнуется бабушка, никогда ее не подведу...



Ачея, нашего фельдшера, интересовали успехи курортной медицины в области излечения сердечно-сосудистых заболеваний.

– Врачи в этой области, – говорю я, – добились прекрасных результатов. Прямо чудеса совершают с человеческим сердцем. Туда приезжают совсем больные люди, первые дни в палате пластом лежат, а к концу лечения бегают, прыгают, в море купаются и по ночам даже в окна лазают, когда поздно в санаторий возвращаются...

– И это с больным-то сердцем? – ужасается бабуша Агаз.

– После одиннадцати вечера двери на замок закрываются – с любым сердцем полезешь.

– Ясное дело, там больное сердце не помеха, – вдруг вмешивается Даут. – Там врачи настоящие. Такие врачи от головной боли слабительного порошка не дадут.

Вижу, наш Ачей начинает хмуриться, и спешу исправить положение:

– Думаю, дело в том, что там условия городские. Все лекарства там есть, аппараты, лечебные ванны. Медицинские журналы регулярно приходят. Если бы такие условия были в нашем ауле, и на курорт ездить не надо. Врачи везде одинаковые. Везде людям помогают.

Ачей, гляжу, улыбается и маленьким кулачком в такт моим словам по колену постукивает. Доволен.

– А насчет желудочных таблеток, – заканчиваю я, – так мне там тоже давали, когда живот болел.

Тут бабушка Агаз снова пугается.

– Болел живот? А как кормили-то там? Чем кормили?

– Хорошо кормили, вкусно. На завтрак, на обед, на ужин подавали то говядину, то птицу, то баранину, то рыбу. А свинины, Аллах свидетель, и духу не было.

Бабушка успокаивается. Зато Шамда рот раскрывает. Ее интересует самая подробная торговая информация – что в магазинах купить можно.

– Все можно купить, – объясняю. – И нейлоновые рубашки, и плащи болонья, и даже японские зонтики. Очередей никаких нет.

Долго Шамде рассказываю. Никто не перебивает, все внимательно слушают.

– А на толкучке был? – продолжает допрашивать Шамда.

– На толкучку я не ходил. Зачем туда ходить, когда и так известно – там все достать можно, чего пожелаешь. Только в разобранном виде.

Шамда таких шуток не понимает.

– Зачем мне экскаватор, да еще разобранный? – говорит она. – Я тебя просила две застёжки «молнии» подлинней привезти.

– Привез, – говорю. – Только не две, а три.

Шамда удовлетворена полностью. Наступает очередь Гоштай. Она где-то слышала, что на курортах люди совсем раздетые ходят. И мужчины, и женщины





ны, и старики, и дети. Шутка это была? А если не шутка, почему они прилично не одеваются, если в магазинах всякой одежды полным-полно?

– Жарко на курорте, – отвечаю Гоштай. – С утра до вечера солнце. Вот люди и раздеваются, подставляют себя солнечным лучам. На весь долгий год – от лета до лета – солнышка набираются.

– Совсем голые? – любопытствует Гоштай.

– Не совсем голые, а частями. Штанов, рубашек, платьев нет. Вместо них тряпочки всякие. Где побольше, где поменьше. Чем ярче, тем лучше.

– Так стыдно же! – возмущается Гоштай, и бабушка Агаз согласно кивает.

– Не стыдно. Ничего такого ни у кого не видно. Все прилично. Люди там привыкли. Особенно на пляжах, на берегу моря.

– У моря – это понятно, – соглашается Гоштай. – Особенно если мужчины и женщины отдельно лежат, друг друга не видят. Как в банях, например.

– Вместе лежат. Вперемежку, как попало. Вместе в море купаются, но все равно не стыдно. Просто у курортной одежды такие фасоны – чем меньше ткани, тем лучше. Но все вполне пристойно.

Вижу, не понимает Гоштай, поджимает губы, смотрит на Даута, будто примеривается, как это его можно пристойно раздеть. Даут замечает и говорит:

– А что, Гоштай? Хохалай прав – если там такая жара, что на солнце можно яичницу жарить, так лучше штаны снять. Без них легче.

– Позови, когда снимать будешь, – просит Хаджи-Даут. – Давно к нам в клуб цирк не приезжал...

Чувствую, наш степенный разговор приобретает совсем несолидный характер. Смотрю на Айдамбула. Самый седобородый из всех кумышанских стариков все понимает. Начал Айдамбул говорить, и все смолкли. А мои уши, кажется, сами по себе оттопырились, чтобы не пропустить ни единого слова. Гляжу не в глаза Айдамбула, а в его бороду – так, наверное, правильнее всего выразить высшую степень внимания и почтения.

Айдамбул, отметив остроту моего взгляда на жизнь и не выразив по этому поводу ни одобрения, ни осуждения, заявляет, что белоголовый внук его покойного друга и сын тоже покойного Мустафы – мир праху их! – подробно рассказал о городе, о море, о красоте той земли, где прожил немало дней, но ничего еще не сказал о жителях. Вот о них и желал бы услышать он, Айдамбул.

Я, по правде говоря, растерялся, не знал, что именно интересует Айдамбула. Тогда старик короткими точными вопросами мне помог – на каком языке, мол, говорят эти люди, какому Богу молятся, есть ли там мусульмане, есть ли что-нибудь общее у тех людей с нами, горцами, в обычаях, в одежде, в чертах лица?

Я отвечаю легко, не задумываясь, но понимаю: Айдамбул куда-то клонит, вопросы задает неспроста.





– А чем же все-таки заняты руки, ноги, головы этих людей? – продолжает допрашивать Айдамбул. – Чем живы они? Чем кормятся? Где хлеб их насущный?

Рассказываю о занятиях городских жителей, о морском порте, о рыболовстве, об окружающих город виноградниках, об аппаратах для продажи газированной воды...

– Да-а! – снова говорит Айдамбул. – Хорошо они там живут. Чудесный город, мальчик! Оллахий, чудесный. Хоть хвали его, хоть не хвали – все равно чудесный. А раз он все равно чудесный, то не хвали его, мальчик. Слушаю я, слушаю и думаю – нет, не затянуть меня в этот чудесный город жить. Даже быками не затянуть. Потому, что я здесь, в горах родился. Я в этом чудесном городе несчастным стану последним человеком стану. Легкая жизнь в этом городе. Даже на улицах железные бочки сами прохожим стаканы протягивают. От такой легкой жизни обленюсь я, ожирею, до земли живот вырастет. Пусть на деревьях там много плодов висит, рука за ними к ветке от лени не протянется. Пусть цветет этот город у моря. Пусть счастливо живут рожденные в нем люди, они счастливы будут только там. А я буду счастлив только здесь, в горах, в своем ауле. И дерево, и человек хорошо живут только на той почве, где выросли. На родной почве. Понятно я говорю, мальчик?

6. Вечер

Весь день Хохалай раздумывал над словами Айдамбула. Старый, мудрый, древний Айдамбул, качавший на коленях и самого Хохалая, и отца его, задал трудную загадку. Почему этот обычно неразговорчивый старец нынче сказал столько слов? От какой болезни лечил он Хохалая? Чем заразился у моря белоголовый внук Агаз?

Может быть, самому седобородому показалось, что веселый приморский курортный город своим праздным блеском ослепил Хохалая? Может быть, ему – неутомимому труженику – представилось, что внук доброй Агаз позавидовал этой легкой жизни, ленивым пляжам, богатым магазинам, бесчисленным закусочным, из которых с утра до вечера так и тянет вкусным запахом шашлыка? Может быть, в простоте душевной, желая поразить земляков, Хохалай так украсил городскую жизнь, что Айдамбул заподозрил «измену»?

Если так – мудрый Айдамбул ошибся. Хохалай больше всего на свете любит родной аул, бабушку Агаз, его – Айдамбула, всех своих земляков.

До вечера не пустел двор старой Агаз. Уходили одни аульчани. На смену им приходили другие.

– Пусть Аллах сохранит в этом доме счастье! – желали старики. – По счастливому поводу посетили мы твой дом, Агаз. Пусть и дальше мы будем при-





ходить, чтобы поздравить тебя с радостью. Да настанет день, когда мы придем поздравить тебя с женитьбой белоголового внука, с рождением первого правнука, и второго, и третьего, и седьмого, и девятого...

Хохалай слушал и улыбался. Он еще никогда не думал, сколько у них с Баблиной будет детей. Но девять – это, пожалуй, многовато.

Бабушка Агаз для всех находила добрые слова. Не забывала она и пригласить вечером к себе на курманлык – отведать кусочек барана, принесенного в жертву счастливому дню.

– Может, в этом кусочке счастье припрятано, – улыбалась Агаз гостям, – да прибавится оно к вашему счастью, дорогие соседи...

К вечеру пришли Мурат и Азрет – сыновья Хаджи-Даута. Им Агаз поручила зарезать, освежевать барана и повесить котел над костром, уже пылавшим во дворе. Парни быстро и ловко справились с делом, уселись у костра и стали расспрашивать Хохалая о поездке к морю.

– А ну-ка, сними рубашку! – скомандовал Мурат. – Сильно загорел? А как мускулы? Занимался зарядкой?

Азрет заинтересовался другим.

– А как там насчет народонаселения? – спросил он Хохалая. – Много ли хорошеньких девушек?

Мурат недовольно нахмурился. И Азрет посоветовал ему заткнуть уши.

– Учитель твой заткнул уши, – улыбаясь, сообщил он Хохалаю. А мог бы и не затыкать. Ты уже без пяти минут жених. Может быть, даже раньше Мурата женишься.

Подложив в костер хворост, Азрет продолжал:

– Вот скажи, сколько там, по-твоему, приходится молодых курортниц на одну мужскую душу?

– Я не подсчитывал, – признался Хохалай.

– Эх, что же ты наделал! – рассмеялся Азрет. И даже Мурат начал улыбаться. – Как же я теперь поеду на курорт? Если бы я твердо знал, что на одного такого видного мужчину, как я, приходится по крайней мере три молоденьких курортницы, то следующим летом...

– Хватит с тебя одной Зубайды! – сказал Мурат. – Вот она идет.

– Где? – вскочил Азрет, и из костра посыпались искры. Хохалай и его учитель расхохотались. Зубайды еще не было, но первые гости уже действительно появились. Они рассаживались за длинным столом на дубовых скамейках. Когда все собрались, Азрет и Мурат подали на стол угощение. Айдамбул произнес первый тост, и начался добрый курманлык в честь возвращения Хохалая в аул...

Рано разошлись гости на этот раз: летняя ночь коротка, день летний долог. Надо было всем хорошо выспаться, утром ждала работа.





Хохалай за день устал, но сон не шел. Внук Агаз спрашивал сам себя, о чем думает, и понимал: думает снова о ней, о Баблине. Весь день вспоминал. Вспоминал там, на море.

Все пришли на курманлык. Она не пришла – не могла прийти. Шамда пришла, Зубайда пришла – двоюродная сестра Хохалая. А Баблине не положено, хоть она и родная сестра Зубайды. Хохалаю же она никто, потому что Баблина – дочь Шамды от второго мужа. Хохалай знает, что Баблине очень хотелось прийти. Но нельзя, не позволяли приличия. В глазах кумышанцев кто она Хохалаю? Только одноклассница, больше пока никто.

Но сами Хохалай и Баблина хорошо знали, кто они друг другу. Когда девушка училась в седьмом классе, внук Агаз был в девятом. Она перешла в восьмой, он задержался еще на год в девятом. Она окончила восьмой, он перешел в десятый. Снова болел, снова остался. Она догнала, перешла в десятый. Теперь им предстоит учиться вместе еще год. Одноклассницы Баблины твердо уверены, что Хохалай нарочно в каждом классе по два года сидел, чтобы дать ей догнать себя.

Еще в восьмом классе Хохалай красными чернилами, чтобы было похоже на кровь, написал стихи. До сих пор он помнит эти строчки:

Если есть ангел, что тихо ласкает
Светлым крылом вышину,
То он похож, это точно я знаю,
Лишь на тебя на одну...

Стихи свои Хохалай упаковал в красивый конверт, конверт вложил в книгу, книгу обвязал розовой лентой и подарил Баблине в день Восьмого марта.

До этого Баблина и не предполагала, что обладает сходством с ангелом. Ей казалось, что ангел скорее всего должен походить, например, на киноактера Вячеслава Тихонова, но только с крыльями на спине. Однако Хохалай считался в школе начитанным и умным мальчиком, и если он так написал, значит, и в самом деле существовало какое-то сходство между ангелом и ею, семиклассницей Баблиной... Стихи Хохалая девушка никому не показала, но вся школа и без этого узнала, что белоголовый внук Агаз влюбился; на его лице при виде Баблины достаточно отчетливо проявлялись все чувства, а лицо, как известно, в конверт не спрячешь.

Через год, когда Хохалай как-то зашел к Баблине в класс, кто-то из шутников написал на доске: «Хохалай плюс Баблина равняется любовь». Хохалай хорошо помнит, как растерялся и покраснел тогда. Помнит он и как спокойно встала Баблина, подошла к доске, взяла мел и ниже – тоже очень крупно – дописала: «Совершенно верно!», а потом повернулась к ребятам, постояла молча и пошла к своей парте. И все тоже молчали. А тут вошел Мурат Хаджи-Дауто-





вич, был урок географии, посмотрел на доску, сам взял мел и приписал еще три слова: «Пусть будет вечной!» И начал урок...

Лежит Хохалай, ждет, но сон не идет. Лежит Хохалай, ждет, а утро уже совсем близко. Хохалай знает, что дождется, пока солнце поднимется достаточно высоко, чтобы не было слишком рано. Тогда он пойдет вверх по улице. Не доходя до Синего холма, свернет направо. Пройдет переулок, в конце которого будет стоять высокий кирпичный дом. Он откроет калитку, не торопясь пересечет двор, войдет в дом и спокойно скажет:

– Доброе утро, Шамда!

– Здравствуй, гость ранний, – улыбнется хозяйка. – Зубайда, посмотри, кто к нам пришел!

Из комнаты выглянет Зубайда, тоже улыбнется Хохалаю.

– Здравствуй, Хохалай. Ты, конечно, пришел узнать, как я живу?

Шамда и Зубайда станут смеяться, Хохалай будет молчать. И тут выйдет Баблина. И будут они говорить так, будто расстались только вчера. Но Шамда и ее старшая дочь не могут долго сидеть без дела, и скоро Хохалай с Баблиной останутся одни. И за эти несколько минут они успеют обо всем друг друга спросить, обо всем узнать. Множество вопросов задаст Баблина и обязательно спросит: «А какое оно, море? Большое? Синее?»

И Хохалай скажет так: «Да, море большое, синее, прекрасное. Оно ни на что не похоже. Оно волшебное. Светлое на его берегу становится светлее, чистое – чище, яркое – ярче. Тому, кто во что-нибудь верит, на его берегу верится еще сильнее. То, что было дорого, на его берегу становится еще дороже. У моря я думал о самом дорогом, о самом светлом, о самом чистом. Думал утром, когда над горами вставало солнце и зажигало воду золотым светом. Думал по вечерам, когда уставшее солнце тонуло в море и красный, не греющий луч его бежал по волнам, пытаясь дотянуться до берега. А когда я засыпал, я видел один и тот же сон: из ночного моря на тихий, освещенный лунный берег выходила прекрасная девушка с длинными, распущенными по плечам волосами, с лучистыми глазами. Девушка медленно приближалась, и вслед за ней двигалась длинная тень. Это была ты, моя Баблина...»

Так Хохалай хотел сказать, но знал, что так красиво завтра не скажет, не сумеет, не найдет слов. Просто будет молчать и смотреть Баблине в глаза. Она все поймет и без слов. Она должна понять...

7. Утро

Хаджи-Даут тоже едва дождался, пока встало солнце. Он был сердит сам на себя: как говорится, дал слово – держи. С Даутом надо было поговорить еще вчера. Хохалай вернулся с курорта – это еще не причина, чтобы откладывать важный разговор.





«Если Даут возьмется, любое дело выгорит, – уговаривал себя Хаджи-Даут, собираясь к приятелю. – Самому бы мне стоило с ней поговорить, и дело с концом. Но не могу себя заставить. Знаю, что не трусливая у нас порода, а решиться не могу. Если козел норовистый – надо его рогов бояться, сзади подходить надо. Если жеребец необъезженный – копыта страшны, спереди подойдешь. А к этой женщине с какой стороны подойти?»

Хаджи-Даут долго обдумывал, как начнет разговор. Его языкастый друг наверняка поймет с полуслова и примется насмеяться:

– Ну что, дорогой сосед, надоело самому тесто месить? Говорил тебе, сколько раз говорил! Где твой ум был? Моим всю жизнь живешь. Прав был черкес, когда так сказал: «Карачаевец любое дело два раза решает. Пусть его второе решение моим первым будет, а первое пусть ему самому останется». Поздно, поздно, приятель, собрался ты поумнеть...

При этом Даут будет противно и обидно улыбаться.

Хаджи-Даут огорченно вздохнул.

«Такой серьезный разговор, – решил он, – нельзя начинать без пристрелки. Сначала надо пристреляться, а тогда и в цель попадешь».

Старик подошел к зеркалу, слегка поклонился ему и произнес:

– Салам алейкум, дорогой друг. Как твое самочувствие? Покойным ли был твой сон?

Из зеркала на Хаджи-Даута смотрел серьезный и даже чуть опечаленный Хаджи-Даут. Проситель закрыл глаза и представил, как навстречу ему поднимется и протянет руку Даут.

– Алейкум ассалам, мой дорогой толстый друг! – скажет он. – Сон мой был покойным и приятным. Надеюсь, и твой был таким же. Присаживайся и расскажи, какое дело привело тебя ко мне.

– Дело небольшое, простое дело, – ответит Хаджи-Даут и усядется.

Хаджи-Даут замолчал, напряженно думая, куда следует дальше направить разговор. Из стекла смотрел на него растерянный, с наморщенным лбом Хаджи-Даут. Старику не понравилось такое выражение собственной физиономии, и он с досадой отвернулся от зеркала.

– Что же ты замолчал, сын Кара-Мырзы? – послышался ему насмешливый голос соседа. – Видно, дело у тебя не столь простое, как ты сказал. Не сиди так плотно сомкнув уста, будто боишься, и в рот влетит муха. Редкая муха рискнет влететь в твой: рот с новыми стальными зубами. Таким замечательным вставным зубам шашлык нипочем, а уж о мухе и говорить нечего...

– Не балагурь, Даут! – строго оборвет Хаджи-Даут. – Можешь ты хоть раз не зубоскалить? Я пришел говорить о своей жизни.

– Так говори! Не молчи! – тут, наконец, Даут станет деловым и серьезным.

– Слово мое короткое. Как мы с Муратом живем? Плохо живем. И горячего супа не похлебаешь при такой жизни, и на чистой постели не поспишь. Женская рука нужна в доме.





– Верно, говоришь, – согласился Даут. – Давно пора женить твоего Мурата. И моего Азрета давно пора. Давно уже у них кость окрепла. Умная мысль посетила твою голову, приятель. Говори, к какой девушке тянется сердцем Мурат. Сегодня же пойду сватать. Будь даже ханская дочка, за такого орла бегом побежит...

– Нет, Даут, не понял ты меня. Мурат мой о женитьбе и слышать не хочет. В Москву хочет ехать, учиться хочет. Позаботься лучше обо мне – вот о чем я тебя прошу!

Тут Хаджи-Даут тяжело вздохнул – как ни крути, а это самая важная часть разговора.

– А-а! – непременно начнет снова улыбаться Даут. – Что ж, и тебе подумать не грех. У тебя тоже давно уже кость окрепла...

И тут Хаджи-Даут должен суметь сказать только одно слово. Но сказать его так, чтобы длинноязыкий сосед его сразу понял всю серьезность беседы, чтобы враз у него пропало желание шутить и ухмыляться. Так сказать, будто бичом хлестнуть!

– Даут!!!

И не такой уж Даут тупоголовый, чтоб не понять, что в их возрасте при подобном разговоре шутки могут ранить глубже кинжала.

– Ты прав, приятель, – скажет Даут. – Дело и в самом деле нешуточное. Не будь я сыном Мырзы, если на этой неделе не сбудется твое законное желание. Готовь магарыч и выкладывай, за кого зацепился твой глаз. Может, Мариам она?

– Нет не Мариам.

– Зухра? Апалистан?

– Нет, Даут. Нет.

– Тогда дочь покойного Анзора?

– Не догадываешься, Даут.

– Постой, кажется, узнал! – заспешил сосед. – Значит, это дочь Астакку! Оллахий, приятель! Воду носом не пьешь! Недурен твой вкус! Ох, как недурен! Хорошо замахиваешься. Хоть и старовата дочь Астакку, но она все же девушка. Правильно замахиваешься, приятель. Спесивый Астакку, конечно, станет нос воротить, но пусть не думает, что его род с неба упал, а твой из-под земли выполз. Сумеет все как есть ему объяснить. Возьмем его в оборот!

– Не бери его в оборот, Даут, – остановит Хаджи-Даут. – Пусть Астакку достанется другой зять. Пусть достанется такой, какого пожелает. Не его дочь мне нужна. О другой думаю.

– Да кто ж она такая? – начнет сердиться Даут. – Ведь не косоротая же Зулихат? Хотя, правду сказать, вы подходящей парой будете. Она косоротая, ты кривоног... Не Зулихат? Тогда, приятель, лишь одноглазая Гоштай остается. Вот не думал, что решишь престарелую дочь эфенди Ожая в свои подруги выбрать!





– И косоротая Зулихат, и одноглазая Гоштай пусть твоими будут, брат, – скажет Хаджи-Даут.

– Клянусь бородой и усами своими, всех старых дев и вдов кумышанских перебрал! Никого не забыл! Может, ты надумал у кого-нибудь законную жену отбить, старый разбойник? Так в таком деле я тебе не помощник!..

– Не беспокойся, сын Мырзы. Я не хочу чужой жены.

– Замучил ты меня, Кара-Мырзы потомок. Десять лет ты без жены прожил! Поднатужься, доживешь как-нибудь остальные! Да много ли тебе вообще осталось?

– Попробуй сам прожить без жены хоть десять дней! Отправь-ка свою Хорасан в Хурзук! Пусть хоть две недели от тебя отдохнет! Отведай-ка холостяцкой жизни!

– Не шуми, друг мой Хаджи-Даут, – скажет тут Даут. – Кажется, знаю я, к кому мне в дом сватом идти. Но если я верно догадываюсь, растолкуй мне, какая змея тебя укусила? Какую неприятность ты причинил Аллаху? Какой враг тебя проклял? Ведь эту женщину зовут...

Тут Хаджи-Даут заметил, что солнце уже высоко поднялось над горами. Прихватив свою палку, он вышел из дома.

Синий холм высок. Густая трава вся в росе. Под лучами утреннего солнца макушка холма сверкает, будто усыпанная алмазами. От калитки Хаджи-Даута к калитке Даута протоптана узкая желтая тропинка. Петляя, она ведет Хаджи-Даутанавершину Синегохолма. Три разных следа остаются за стариком – маленький кружочек от березовой палки, продолговатый, напоминающий дыню след от калоши, надетой на ноговицу, в которую обута здоровая нога, и непрерывная глубокая борозда от больной, волочащейся ноги. Хаджи-Даут не торопится. Если бы и хотел быстрее шагать, не смог бы хромой жених прибавить шагу. Но если бы и смог, то не стал бы идти быстрее: больше всего Хаджи-Даута беспокоила мысль о том, как бы легкоязыкий приятель не вздумал сделать его посмешищем аула. От Даута всего можно ждать – любое серьезное дело может превратиться в пустую забаву...

Идет Хаджи-Даут, опустив отяжелевшую от дум голову, взбирается по желтой тропинке все выше и выше. Только на самом верху он отрывает взгляд от земли и вдруг видит в двух шагах от себя соседа, идущего навстречу.

После обычных приветствий старики сообщили, что шли друг к другу по делу.

– Ну, пойдём ко мне, – пригласил Даут.

– Лучше ко мне пойдём, – предложил Хаджи-Даут.

– Ко мне ближе.

– Как бы не так! Ближе ко мне.

– Слушай, Хаджи-Даут, не станем же мы сейчас измерять эту кривую тропу. Пойдем без споров ко мне, поговорить надо.





– И мне надо поговорить, – ответил старый жених. – Не будем спорить, Даут. Хоть раз согласишься со мной, тем более у меня в духовке стоит половина жареного гуся, твоя доля. А ты ведь любишь гусятину больше баранины, больше говядины и больше жизни.

– Не преувеличивай, Хаджи-Даут, – задумывается Даут и внезапно соглашается. – Ну, ладно, пойдем к тебе. Только не из-за гуся иду, а из сочувствия к твоей больной ноге.

– Если так – пойдем к тебе...

Долго спорили старики, вздымали руки, призывая в компаньоны Аллаха, трясли бородами, и в конце концов Даут нашел приемлемое решение.

– Сядем здесь, раз ты такой упрямый, – предложил он.

– Сядем. Осла Айдамбула легче переспорить, чем тебя.

Оба друга, подобрал полы бешметов, уселись.

– Теперь я готов услышать, зачем ты шел ко мне, – заявил Даут.

– Моя речь длинна. Лучше я послушаю, что за причина тебя привела ко мне.

– Говори ты, если речь длинна.

– После тебя я скажу.

– Что скажешь?

– Простое дело. Скажу – услышишь.

– По глазам вижу, не простое дело скажешь.

– Мои глаза изменились?

– Нехорошо блестят твои глаза.

– Пусть блестят. Может, и важное дело скажу. Но поговори сначала ты. Будь человеком, хоть раз уступи!

Помолчав, Даут кивнул головой в знак согласия.

– Уступлю, так и быть. Послушай, если очень хочется. Навостри уши: начну я с песни. Каждый день – утром, в полдень и к вечеру – слышу я эту песню. У меня от нее давно уже уши опухли. И сейчас, перед тем как с тобой встретиться, снова слышал. Спросишь, кто поет, скажу – пластинка поет. Спросишь, кто крутит пластинку? Кто будет крутить! Не я, не старуха моя крутит! Азрет мой крутит! Дылда мой крутит! Заводит он эту пластинку и сидит, на нас смотрит: «Слышите, мол, дорогие родители?»

– Какая еще пластинка? – заинтересовался Хаджи-Даут.

– Надо было к нам идти, как я говорил! Я бы тебе прокрутил эту пластинку. Раз заупрямился, не пошел – сиди теперь здесь, слушай, как я петь буду. Если голос мой тебе не понравится, не ропщи – прими его как наказание за свое упрямство.

И, прокашлявшись, выпрямив сутулую спину, Даут повернулся лицом к восходу и начал петь:

Танцуя на чужих свадьбах,
Ноги свои я измучил.





Почему мама себе сноху не ищет?
Разве время мое не пришло?

Хоть и крупный старик Даут, голос у него тонкий, отчаянно острый. Как ножом рассекая воздух, голос его летел с верхушки холма далеко-далеко. На улице, что идет у подножья Синего холма, прохожие, забыв, куда торопились, застыли как вкопанные и, заслоняясь от солнца, удивленно воззрились на вершину.

Двадцать пять лет мне исполнилось,
Кость моя окрепла, мама.
Сколько лет я тебя уже слушаюсь,
Сколько лет без жены я живу?

Бродившие по холму коза и двое козлят, бросив щипать траву, подошли ближе и застыли, как неживые, – даже глазами не моргали. Стояли не шелохнувшись, пока Даут не оборвал песню. А когда он смолк, коза и козлята испуганно шарахнулись в сторону.

– Как тебе понравилась эта песня? – спросил Даут друга.

– Очень понравилась. Ушам до сих пор больно. До сих пор в них что-то свистит. Теперь, когда вздумаешь петь, прежде смажь свою глотку солидолом или дегтем.

– Обойдусь без твоих советов, – рассердился Даут. – Ты лучше скажи, как тебе сама песня? Слова ее?

– А что слова? Правильные слова. Подходящие для твоего Азрета слова. Ваша порода вся такая – сызмальства песни всякие и веселье любит. Сам вспомни, сколько тебе лет было, когда аульчан хычынами кормил на своей свадьбе?

– Да я разве спорю? Азрет давно созрел, давно костью окреп. Я и сам ему не раз намекал – жениться пора. Он молчал, а вот последние две недели нас этой песней извел. А вчера я узнал, какая беда мне с неба на голову упала!

– Какая еще беда? – насторожился Хаджи-Даут.

– Так он, знаешь, на ком жениться надумал? Он жене Унуха сказал, та моей жене сказала, а жена мне.

– Дочь Ахьи выбрал?

– Если бы так – какая беда! Ахья понимает человеческий язык.

– Борлаковых дочь?

– Была бы она – чего страшного! Борлаковы – люди хорошие. Но горе мне! Мой непутевый влюбился в дочь плохой матери! Эта женщина сватам и рта не даст раскрыть. Единственный человек, которого она может послушать до конца, это ты, мой друг Хаджи-Даут. Вот почему так рано шел к тебе. Если Аллах захочет и если ты будешь сватом, не устоит эта злая и сварливая женщина...

– В ауле немало злых и сварливых женщин, – перебил Хаджи-Даут. – К которой из них ты хочешь меня послать?

– Недоброе предчувствие коснулось старого жениха.





– Злых и сварливых много, правда твоя. Но чтобы дочь была ангелом, а родившая ее – шайтаном в юбке, такая одна! Я говорю, мой друг, о Шамде.

Тут спокойно сидевший Хаджи-Даут вдруг уронил свой посох и затряс бородой.

– О, Аллах! – воскликнул он растерянно. – Шел я за шерстью, а вернулся подстриженным!

– За какой ты шел ко мне шерстью? – не понял Даут.

Но друг его сокрушенно молчал. Не мог же он признаться, что хотел просить приятеля идти сватом к женщине, которую сам себе выбрал в жены, к Шамде?

А в доме Даута внизу снова запела пластинка...

8. В Ростове

(из Синей тетради Хохалая)

О чем неделю назад говорили Даут с Хаджи-Даутом на Синем холме, никто, понятно, не слышал. Но мы с бабушкой Агаз легко обо всем догадались, когда Даут пришел к нам с такой просьбой:

– Понимаешь, дорогая Агаз, твой Белоголовый лучше всех в ауле считает. А я в Ростов еду. Мне в Ростове без кассира никак нельзя. Через месяц-другой важное дело будет, осенью это дело будет. Деньги нужны...

Какие важные дела бывают в ауле осенью, мы с бабушкой Агаз хорошо знаем: решил, видно, Даут женить своего Азрета.

– Так и поезжай в Ростов осенью, – посоветовала бабушка Дауту.

Но наш сосед стоял на своем – верные люди сказали, что на ростовском базаре сейчас самая подходящая обстановка: на севере молодая картошка еще не поспела, а тот, кто вез ее с юга, давно уже продал. К тому же у меня сейчас каникулы, а осенью снова начнутся занятия, осенью я не смогу поехать с ним в Ростов...

Всю дорогу до Ростова – шестьсот километров – Даут летел на крыльях надежды. Он поминутно просил водителя прибавить ходу. Водитель добросовестно жал на педаль, старый грузовик озабоченно кряхтел, скрипел, но телеграфные столбы по-прежнему упрямо и медленно ползли мимо. По расчетам Даута выходило, что как только мы въедем на рынок, сразу выстроится очередь, не дадут и мешки с машины сгрузить, и торговля пойдет прямо с борта. Жаркая будет торговля. Даут будет отвешивать, а я буду получать деньги.

В Ростов мы приехали рано утром, главный рынок как раз открывался. Въехали мы, и у Даута сразу отвисли усы: с первого взгляда он понял, что на этот раз моя завидная способность быстро справляться с цифрами не приго-





дится. Под длинными навесами, вдоль прилавков, прямо на земле, в ларьках, всюду – картошка. В мешках, в корзинах, врассыпную. Всех сортов, всех видов – белая, розовая, бурая, крупная, мелкая, круглая, продолговатая, с глазками, без глазков – какая угодно! Холмы, горы картофеля! Тьма покупателей, но продавцов, пожалуй, еще больше.

Никто, конечно, к нашему грузовику не сбежался. Сгрузили мы мешки прямо на землю, потеснив двух картофелевладельцев. Возможно, это были очень жизнерадостные и общительные люди, но наше появление произвело на них не самое лучшее впечатление. Бодрым жизнелюбивым голоском попытался Даут заговорить с ними, желая установить прекрасные добрососедские отношения. Но куда ему против всемогущего Закона конкуренции! От соседей так и веяло тихим негодованием – только, мол, нас здесь и ждали!

Посыпал мелкий дождик. Мокли мешки, мокли мы. Я заметил, что у ростовских покупателей особенный нор – если к одному хозяину подходили двое, третий тоже к нему тащился. А если собрались трое, еще быстрее находился четвертый покупатель. Так к одному продавцу встраивалась очередь, а другой стоял, ждал, мокнул. Ему оставалось лишь выждать свое неудовлетворение по поводу вкусов ростовчан и вообще по поводу жизни.

К нам подходили покупатели-одиночки. Это, наверное, были самые отважные. Они не боялись проблемы самостоятельного выбора.

Обычно первый вопрос был таким:

– Откуда картошка, хозяин?

Затем удивительно однообразное продолжение разговора:

– Разваристая?

– Вкусная?

– Не гнилая?

– Не пахнет?

Щупали. Трогали. Сдирали кожуру. Нюхали.

Наши ответы тоже не отличались большой оригинальностью. Обычно мы говорили, что картошка у нас прекрасная. Сообщали, где она росла, где набиралась соков.

– Разваристая, – убеждал Даут покупателей, – Песочный сорт называется... Сама рассыпается. Пальцы оближешь! Это же лорх. Лорх красный! Не картошка – яблоко! Крахмалу в ней знаешь сколько?

К середине дня дела у соседа слева стали налаживаться. У прилавка собралась небольшая очередь. Правда, поначалу она была довольно жидкой, но постепенно плотнела, крепла, росла. Хозяин – голубоглазый, расторопный, охотно рассказывал биографию своей картошки. Биография эта, по его словам, была исключительной.

– Картошка курская, крахмальная, знатная! Картошка знаменитая! – быстро приговаривал мужичок. – Курскую здесь знают. И жарится хорошо, и ва-





рится хорошо. Для борща лучше нет курской. Пюре? Почему же? Пюре из нее тоже хорошая получается! Вкусная пюре!

Совсем ладно пошли дела у курского соседа. И шли так до тех пор, пока не наступил черед маленькой сухонькой старушки в железных очках.

– А она не черная? – старушка подозрительно глядела на продавца сквозь свои очки.

– Почему же черная, мамаша? – удивился мужичок.

– В прошлую пятницу я брала – вся черная оказалась. Тоже из Курска, – недоверчиво разглядывая картофелины, осторожничала старушка.

– Она сверху черная, потому как из земли. Одежка ее черная, – терпеливо уговаривал хозяин. – А в середке она как сахар. Давай, какую хошь. Смотри, гражданочка милая!

Положив картофелину на прилавок, он лихо рассек ее длинным старым ножом. Картофелина развалилась, и – надо же! – в серединке она была черна как сажа! Чуть не плача, одну за другой хватал он картофелины и рассекал их пополам – круги были белые, сочные! Но очередь уже негодовала и таяла. Собиралась она медленно, а рассыпалась вмиг.

– И откуда она взялась, треклятая! – бормотал голубоглазый, разглядывая обе половинки черной предательницы.

Зато теперь повезло соседу справа. С самого утра он честно называл родину своего товара, говорил, что его картошка из Чувашии. Теперь он начал называть ее курской, хотя чувашская, наверное, вовсе не хуже курской. Но пусть будет курской, если ростовчанам так нравится.

Удача от него отвернулась так же неожиданно, как и от курянина. Сам сплеховал. Так хорошо покупали, а он все нахваливал и нахваливал свою картошку. И вдруг сказал, что удобряет землю самыми лучшими удобрениями. И сразу кто-то из очереди спросил:

– А они не пахнут, эти прекрасные удобрения?

Покупатели как по команде принялись нюхать картошку, и одна из женщин решила, что да, в самом деле картошка пахнет. Чуваш очень разумно убеждал, что картошка может пахнуть только землей, это естественный запах, всякая картошка пахнет. Но очередь, по-видимому, уговорить невозможно.

– Ваша картошка тоже пахнет? – повернулась к нам одна из покупательниц. – Вы тоже удобряете?

Даут решил не упускать случай. Он сказал, что его картошка растет без удобрений.

– А как же она вырастает такой крупной?

– Моя в горах растет. В горах нельзя удобрять.

– Почему? – заинтересовалась очередь.

– Потому что не поливается, – туманно объяснил Даут. – У нас под дождем растет. Мы поливать не можем. Как в гору заставишь воду пойти?



Очередь согласилась – нельзя заставить воду в гору идти. Дауту поверили, начали покупать.

С логикой у Даута не все было в ладах – поливать, допустим, нельзя, но почему нельзя удобрять? Но очередь не стала вдаваться в подробности. Мы быстро продали три мешка. Даут развязал четвертый. Картошка в нем была совсем мелкой. Всего лишь в четырех мешках из тридцати семи была такая картошка. И подвернулся именно этот мешок! Очередь разочарованно взволновалась. Даут закричал, что сейчас же выставит прежнюю картошку. Но и в следующем мешке оказалась такая же мелочь. Покупатели быстро разошлись.

Чуваш, курянин и Даут быстро, понимающе, не без сочувствия друг к другу, переглянулись: вот, мол, как нам не везет. И вдруг разом заулыбались. Их лица, до этого сосредоточенные, озабоченные, с этой минуты просветлели. Теперь – все трое уже добрые соседи.

– Шабаш! – сказал курянин. – Сегодня делов больше не будет. Расходится базар.

– Завтра день будет, завтра видно будет, – отозвался Даут.

Голубоглазый выбрал из порожних мешков самый чистый, расстелил его на прилавке будто скатерть и достал черную взбухшую сумку. Он выложил на мешковину хлеб, соленые огурцы, лук, четыре больших помидора, а затем бережно извлек из сумки литровую бутылку с неуклюжей бумажной затычкой.

– Прошу дорогих соседей, – пригласил курянин. – Как говорится, чем богаты, тем и рады...

Пригласил он всех нас душевно. Чуваш и мы с Даутом подошли со своими сумками. Даут вытянул кусок вяленой баранины, чуваш достал домашнюю колбасу, пирожки. Мы уселись и принялись пировать.

Изредка подходили покупатели.

– Почем картошка?

– Не торгуем.

Покупатели молча уходили. Но один – в зеленом плаще с капюшоном – оказался на удивление настойчивым. Если отдадим дешевле – много обещал взять, тонны две, – для столовой. Давал по двадцать копеек за килограмм. Соседи наши меньше чем за двадцать пять отдать не соглашались. Их картофель лучше, крупнее, чем у Даута. Дауту стоило подумать над предложением капюшона. Даут подумал и тоже не согласился.

– Оптом возьму, – продолжал соблазнять покупатель.

– Как возьмешь?

Я объяснил старику – товарищ возьмет всю сразу. По килограммам продавать – отходов чуть ли не половина. И гнилая попадет, и резаная. И возни сколько – неделю на рынке будем стоять. Больше проедем. К тому же за все платить надо: за весы, за гостиницу...



Но разве упрямого Даута убедишь? Не согласен, и все. Капюшон, конечно, ушел. Тогда я напомнил Дауту о четырех мешках мелкой картошки. Вскочил Даут, закричал покупателю:

– Бери за двадцать две! Доволен будешь!

Вернулся человек.

– Для столовой беру, – сказал, – для рабочих. Могу купить только за двадцать. Что ж ты, старик, из-за двух копеек упрямишься? Рабочие для тебя тоже стараются.

– Ладно, бери. Бери, если для рабочих. Только всю бери.

– А сколько тут?

– Тонны три.

– Можно, если не больше.

Наконец, они ударили по рукам. Подъехал грузовик, погрузили мы наши мешки и уехали. В столовой дело быстро пошло. Мешки взвешивали и ссыпали в подвал. Три, пять, шесть мешков...

Вдруг Даут взволновался.

– Четыре мешка! – зашептал мне на ухо. – Сейчас увидят мелкую картошку, дело лопнет, а позору сколько!

Но в подвале было темно. Не увидели. Капюшон подсчитал, отдал деньги Дауту, тот их мне передал. Я проверил – все правильно. Опять они пожали друг другу руки. Оба были довольны.

– С меня магарыч! – объявил покупатель, снял свой плащ и повел нас в столовую.

– С меня тоже! – не желая оставаться в долгу, по дороге сообщил и Даут.

Сели мы за столик, стали отмечать куплю-продажу, и вдруг вижу я – дело двинулось к катастрофе. Человек, купивший нашу картошку, предложил знакомиться. Его Андреем Андреевичем звали. Даут тоже назвал себя. Андрей Андреевич спросил, какой мы национальности.

– Карачаевцы мы, – объяснил Даут.

– Карачаевцы? А откуда это?

– Из Карачая.

– А где это?

– Карачаево-Черкесия.

– А где Карачаево-Черкесия? – допрашивал наш новый знакомый.

– В горах.

– Не слышал, – признался Андрей Андреевич.

Даут не ответил, насупил брови. Дауту очень не понравилось, что этот человек не знал ни карачаевцев, ни Карачаево-Черкесии, но Андрей Андреевич так добродушно, так хорошо улыбался, что мой земляк сдержал себя и продолжал жевать свой гуляш. И все могло бы обойтись, если бы этот Андрей Андреевич не спросил старика:





– А как по-русски тебя зовут?

– Даут. По-русски тоже Даут. По-всякому тоже Даут. А мой отец Кара-Мырза, – сдержанно сообщил Даут.

– Даут? – вслух размышлял Андрей Андреевич. – Пожалуй, тебя можно называть Дмитрием.

И тут он поднял рюмку.

– За твое здоровье, Дмитрий Константинович. Хороший ты старик. Будь здоров.

Но Даут обиженно поставил стакан на стол, отодвинул его от себя, достал из-за пазухи деньги и подвинул их покупателю:

– Вот твои деньги! Берем картошку!

Встал Даут, собрал в охапку пустые мешки и пошел в подвал. Мы за ним. Андрей Андреевич ничего понять не может, бежит следом, за локоть моего земляка хватает, вперед забегает.

– Ты же продал, старик! Что же ты, а?

– Плохому человеку не продаем! Ничего не продаем! Земля обидится, карачаевская земля.

Представил я, как придется снова грузить картошку, стоять на рынке, звать покупателей, говорить, что это песочный сорт, рассыпается, разваривается, разваливается...

Потянул я Андрея Андреевича за локоть и на ходу ему прошептал:

– Карачаевцы... живем под Эльбрусом... Ставропольский край. Автономная область. Нас сто двадцать тысяч...

Андрей Андреевич оказался человеком смысленным. У самого входа в подвал догнал он Даута.

– Вспомнил, вспомнил, Даут! Знаю вас! Под Эльбрусом живете! Самая высокая гора на Кавказе! Автономная область! Вас больше ста тысяч!

Даут остановился. Посмотрел на Андрея Андреевича так, будто судьбу его решал – казнить или миловать. Решил – миловать.

– Нас сто двадцать тысяч, – уточнил Даут. – В Карачаево-Черкесии живем. Аул Кумыш.

– Ставропольский край, – спешно добавил Андрей Андреевич.

– Верно, – подобрел Даут.

Вернулись мы снова в столовую. Снова наполнили стаканы, Андрей Андреевич снова заулыбался. Вижу, мой земляк тоже повеселел.

– А тебя по-нашему, по-карачаевски, тоже по-другому надо звать, – сказал Даут.

– Как?

– Ахмат Ахматычем. За твое здоровье, Ахмат Ахматыч! Слава Аллаху, не такой плохой ты человек, каким сначала показался.

– Спасибо, Дмитрий Константинович!





– Пожалуйста, Ахмат Ахматыч! А картошку я все-таки не тебе продал. Рабочим продал. Пусть едят на здоровье. Земля обижаться не будет...

Можно было ехать домой, но Даут надумал купить мне костюм.

– Идем в магазин, мерить будем, – тянул он меня в универмаг. – Ты еще школьник. Тебе еще год учиться надо. Вырастешь, работать будешь, мне тоже костюм купишь.

– Не обижай, Даут, – говорил я. – Я поехал с тобой в Ростов не за костюмом. Помочь тебе хотел.

– Нет у тебя ума, Белоголовый! – рассердился старик. – Я твоему отцу кто был? Первый друг был. Кто ты теперь мне? Ты младший сын теперь. Слушай, только тебе скажу, – никто не знает. Осенью женить буду старшего, Азрета женить буду. А ты, младший, на его свадьбе в новом костюме будешь сидеть. Понял?

– А Азрет будет в старом?

– На этого дылду не угодишь. Сам себе купит.

Даут очень упрям. Не меньше, чем его закадычный друг Хаджи-Даут. В универмаг я с ним не пошел. Тогда он пошел один. Вышел минут через двадцать со свертком.

– Не хотел готовый костюм надеть – не надо. Материю я купил. Лавсан называется. Шамда шить будет. Модно сошьет. По картинке...

9. Унух

В Кумыш Даут с Хохалаем вернулись поздно вечером. Но в доме Хаджи-Даута еще светились окна, и картофельный коммерсант, не показавшись даже своей Хорасан, пошел к приятелю. Дверь ему открыл удивленный Мурат.

– Даут? – удивился он. – А отец говорил, что ты, уважаемый сосед, в Ростове.

– Правильно твой отец говорил, – объяснил Даут. – Утром я был в Ростове, днем в автобусе трясся, а теперь перед тобой стою. Жду, когда пригласишь зайти.

– Извини, сосед! Заходи, дорогой сосед. Садись, отдохни с дороги.

Даут прошел в дом, попросил воды.

– До сих пор от автобуса в голове шумит, будто ведро браги выпил, – пожаловался он.

– Ты хотел сказать – два ведра? – улыбнулся Мурат.

– Почему два?

– У тебя, дорогой Даут, голова крепкая. Весь аул знает. После одного ведра вряд ли она будет болеть.

– Не дерзи, Мурат! – вспылив, повысил голос старик. – Хотя ты и образованный человек, других в школе учишь, но за такие слова я вполне могу тебя стукнуть по шее! Так стукнуть, что в нашей школе одним плохим учителем





станет меньше! И вообще, я не с тобой говорить пришел, а с отцом твоим. И пусть Аллах даст побольше ума его сыну! Может, тогда он сообразит, как надо почитать старших.

– Сосед, я вовсе не хотел тебя обижать. Ты прав, очень глупо я пошутил. А отца дома нет. Он к Шамде ушел.

– К Шамде? – Даут сразу позабыл о своем гневе. – Ты правду говоришь, к Шамде? Ты меня не обманываешь?

– Да что с тобой сегодня, почтенный Даут? Зачем я буду тебя обманывать? Отец вот-вот вернется.

Будто в ответ на слова Мурата, во дворе послышалось негромкое постукивание палки. Хаджи-Даут, показалось, не удивился столь позднему гостю. Он принялся расспрашивать друга о Ростове, о ценах на картошку, попытался обсудить и последние мировые новости, но Даут решительно его прервал.

– Слушай, Хаджи-Даут, ты лучше скажи, ходил к Шамде?

– Ходил.

– Ну и что? Отказала дочь шайтана?

– Почему это она – дочь шайтана? – недовольно заметил Хаджи-Даут. – Почему отказала? Дала соль и сказала, чтобы заходил, если что надо...

– Какую соль она дала? – опешил гость. – Что ты мне голову морочишь?

– Обыкновенную. Белую, Хаджи-Даут упорно смотрел в угол. – У нас соль кончилась. Вот я и ходил.

– Да что ты мне про соль толкуешь! Я тебя про дело спрашиваю! Забыл, что ли, просьбу мою?

– Не забыл, – отвел глаза Хаджи-Даут. – Только скажи, почему ты выбрал сватом именно меня? Есть же в ауле люди и языком острее, и умом хитрее, и духом решительней? Почему, например, Айдамбула к Шамде не послать? Умеет старик такие разговоры вести, к тому же Шамда в родстве состоит с Айдамбулом...

– А что ей родство! Забыл, как недавно она Унуха честила? При всем народе честила! При начальстве! А ведь Унух – родной брат Айдамбула. Всю жизнь человек при скоте, старается, покоя не знает. А она его, бессовестная, сразу срамить! – Тут Даут принялся передразнивать Шамду: – «Скажи-ка мне, дорогой братец, что у тебя в прошлый год с бычками случилось? Угонял весной стадо на пастбище – бычки двухлетками были. Пригнал осенью – все бычки подросли, трехлетками тучными стали. А два бычка так отощали, что их и за однолеток принять можно было. Или они у тебя там обратно росли, ростом меньше становились? Или их волки серые подменили?..»

– Шамда верно сказала, – буркнул Хаджи-Даут. – Смудрил Унух, поменял бычков.

– А вот ты, Хаджи-Даут, хоть все стадо продай – Шамда глаза закроет и рот завяжет! В ауле она всех, кроме тебя, перекусала. Скажи, за что это она тебя так





уважает? А если я не прав, объясни, почему это серебряную цепочку для часов, которая осталась от прежнего мужа, она тебе отдала, а не кому другому?

Хаджи-Даут невольно вытащил свои старинные карманные часы и посмотрел так, будто впервые увидел их.

– Шамда мне подарила эту штуку за то, что я помогал, когда ей дом строили, – совсем неубедительно проговорил он. – Не понимаю, почему мы завели разговор о такой безделушке? Не стоит, Оллахий, о таких пустяках говорить серьезным людям.

– Не стоит, – согласился Даут. – Но только многие помогали Шамде строить дом, а цепочку тебе одному отдала. Других только словами благодарила. Что ты на это скажешь?

– Что скажу? – совсем смутился Хаджи-Даут, запихивая в карман злополучную цепочку. – Я ей полы стелил, я ей крышу крыл. И чего ты ко мне пристал с этой железкой?

– Я не пристал, я объясняю, почему тебя сватом выбрал! Я думал, пока в Ростов едешь, ты уж тут все дело провернул. А ты все из головы выкинул. Тоже – другом зовешься!

– Не шуми, Даут. Ничего я из головы не выкинул. Наоборот, только об этом и думал. Дело сложное. Спешить нельзя. С разумом взяться надо. Завтра пойдем с тобой к Унуху, там с Айдамбулом поговорим.

– Зачем я пойду к Унуху? При чем тут Айдамбул? Что ты все крутишь, сын Кара-Мырзы?

Рассерженный Даут встал, едва не касаясь макушкой потолка.

– Опять шумишь! Не дослушал, а грозишь голосом! Сядь, а то лампу сшибешь. Сядь и выслушай.

Даут снова уселся.

– Завтра Унух в гости ждет. Завтра в его доме праздник – первый раз сына в люльку кладет.

– Ну? – изумился Даут. – Унух уже сына в бешик кладет? Вот время бежит! Кажется, только вчера Унух пьяными слезами плакал: «Жена опять дочь родила».

– Да, время бежит быстрее джигита. Завтра посидим у него, потолкуем. Айдамбул человек умный, его совет послушать надо. Потерпи, приятель, до завтра...

Но, уходя, Даут не удержался и сказал:

– А насчет серебряной цепочки – ты подумай. Я давно вижу, она тебе дороже часов. К Шамде тебе идти, никому другому. А жена Унуха – молодец, на этот раз не допустила брака, постаралась...

Даут знал, что говорил. Дело в том, что жене Унуха нравилось рожать дочерей. Каждый раз, провожая супругу в родильный дом, Унух честно и строго предупреждал:





– Имей в виду, если родишь дочь – сразу развод!

Первые три раза жена Унуха боялась угрозы, но, несмотря на это, настойчиво производила на свет девочек. Затем жена Унуха привыкла к заявлениям мужа и продолжала рожать дочерей со спокойной душой. В итоге Унуху оставалось лишь жаловаться Аллаху и общественности. Аллаху Унух обычно говорил так:

– За что ты предначертал мне такую ужасную судьбу? Чем я тебя прогневил? Полдюжины невест – всю жизнь не разогнуться, всю жизнь в тяжком труде, и все равно не собрать приданого для такой оравы! Хоть иди по миру с сумой!..

С сумой, правда, Унух по миру не ходил, но все в ауле знали о нелегком семейном положении бригадира и искренне сочувствовали ему – человек он был тихий и работающий.

И когда председатель колхоза пришел к Унуху выяснять, что случилось с двумя двухгодовалыми бычками на горном пастбище, отчего это они так и не превратились в трехлеток, хозяин дома молча подошел к огромному сундуку, открыл его, долго что-то искал в нем и, наконец, достал семейную фотографию. На этой карточке Унух и его жена сидели на стульях, взяв себе на колени по дочери. А вокруг них тесно сбились еще четыре девочки, одна другой меньше. Причем даже беглого взгляда на фото было достаточно, чтобы выявить несложную закономерность – самая старшая девочка была красивой, вторая – почти красивой, третья – приятной, четвертую нельзя было назвать ни красивой, ни приятной. Короче, чем позже рождалась девочка, тем меньше в ней было привлекательности. И такая последовательность наводила на мысль, что чем дальше, тем явно небрежней, по всей вероятности, относились жена и муж к одной из своих важнейших супружеских обязанностей. На фотографии Унух с женой так печально склонили головы, так унылы были их позы, что, казалось, под таким снимком можно было подписать: «Все беды от Аллаха. А что мы, слабые люди, можем сделать?»

Председатель колхоза долго и грустно смотрел на фотографию, потом поднял глаза на бригадира и, стараясь быть строгим, сказал:

– Смотри у меня! Второй раз такое с бычками случится – в другом месте говорить будем!

Председатель ушел, с досады хлопнув дверью и не приняв никаких иных мер. И общественность аула его за это не осудила – все знали, что и без проруратуры забот у Унуха хватало...

В каждом ауле есть шутники. В Кумыше тоже есть. Они и сочинили песенку о бедном Унухе, которую иногда распевают по вечерам у клуба. Начинается эта песенка так:

Жизнь сурова, жизнь сурова.

Меньше, чем коза, дает





Молока моя корова,
А жена мне народила
Роту дочек чернобровых...

Унух и пить начал под влиянием семейных неурядиц. Роста он небольшого. Жена смотрит на него свысока, да еще покрикивает. А кругом дочери мелькают, и всем всегда что-то от отца нужно. От такой жизни нет никогда покоя. Единственная радость – уйти со скотом на горное пастбище. Там, кроме волков да ревизоров, никаких неприятностей быть не может.

До рождения первой дочери Унух и знать не знал, что такое водка. Пожалуй, в том, что он начал выпивать, отчасти виноват болтливый Даут. Когда жена Унуха ждала первого ребенка, сам глава семьи высоко в горах на Бийчесьне пас коров. По каким-то делам в то время туда забрел и Даут. И шепнул, видно, шайтан Унуху на ухо – спроси, мол, не знает ли старик кумышанских новостей, не слышал ли, кто у него, у Унуха, родился? Но ведь Даут не из тех, кто может признаться, что чего-то не знает.

– Богатырь у тебя родился, – присочинил Даут, желая обрадовать пастуха. – Такой хороший мальчишка – весь аул ходил смотреть! Только я не успел своими глазами глянуть, но ушами слышал. Ставь суйюмчю-магарыч за такую весть!

Даут соврет – дорого не возьмет. Но на этот раз его горная прогулка влетела Унуху в копеечку. На радостях пастух и овцу забил, и месячную зарплату на угощение истратил: всех встречных пировать в свой кош зазывал. Целую неделю веселился Даут. Унух прислуживал ему, как хану, за то, что такую счастливую новость принес ему в горы. Когда же спустился Унух в аул и узнал правду, он в первый раз загрустил по-настоящему. Водка, горькая, как слезы шайтана, в тот день показалась ему сладкой, как мед. С тех пор и пошло. Чем больше прибавлялось в семье дочерей, тем горше пил отец. И кумышанские знатоки теперь даже точно не могут сказать, кто добился наивысших показателей в этом деле – Даут или Унух.

– Оба они черные пережитки! – заявил физкультурник товарищ Текеев на собрании. – Обоих надо оставить в прошлом вместе с эфенди Ожаем!

Но председатель колхоза не согласился оставлять Унуха в прошлом: квалифицированных кадров ему не хватало в настоящем, тем более что Унух прекрасно относился к скоту и скот ему отвечал взаимностью.

– Немногого мы достигнем, если так станем разбрасываться кадрами! – сказал в своей речи председатель. – Мы должны сообща вытащить из болота Унуха! И чтобы его вытащить, я даже готов назначить его заведующим молочно-товарной фермой!

Собрание охнуло, а Шамда с места крикнула, что бригадир в неделю пропьет всю ферму вместе с бидонами.





– Мы ему поможем! – пообещал оратор с трибуны.

– Пропить? – снова крикнула неугомонная Шамда. И собрание долго смеялось.

Но председатель человек твердый. Он любое собрание может переспорить.

– Мы поможем ему в работе! Поможем ему изменить его непривлекательный моральный облик! – закончил глава колхоза свое слово. – Но Унух должен дать слово мужчины – не пить! Пусть выйдет и скажет!

Унух, стесняясь, краснея, вышел и встал перед кумышанцами. С одной стороны дружки ему кричали, чтоб не валял дурака, не давал никаких таких обещаний. С другой стороны на него смотрели председатель колхоза, товарищ Текеев, Айдамбул ждал, общественность ждала. Молчал Унух, не знал, что говорить. Но тут встала его жена и сказала:

– Я, женщина, даю вам, люди, честное мужское слово! Не будет он больше пить!

И Унух повторил:

– Не буду! Она, женщина, верно говорит.

И в самом деле бросил пить. Никто не мог его заставить коснуться рюмки. Бывшие собутыльники начали поговаривать, что новый заведующий фермой бросил пить от скупости. Тогда Унух стал ежедневно ходить на мост через Кубань и в присутствии многочисленных свидетелей швырял в воду четыре с полтиной – те самые, которые раньше ежедневно тратил на водку.

Жена узнала, принялась возмущаться – вот, мол, дурак, бросал хотя бы без сдачи! Зачем лишние деньги бросать! Унух, рассказывали, заткнул ей рот справедливым замечанием:

– Зря сердисься, женщина. Я отдаю реке ровно столько, сколько раньше отдавал в магазин. Разве продавщица Зухра когда-нибудь давала мне сдачу?

Узнал седобородый Айдамбул об этой истории, серьезно говорил с младшим братом, стыдил его долго. Кончил Унух ходить на мост, и дружки отвязались.

Раз как-то приехал из района начальник, спросил между прочим:

– А как Унух? Изменился, когда стал заведующим фермой?

– Совсем изменился, – сообщил словоохотливый Даут. – Раньше при встрече всех спрашивал: «Как жизнь?» Теперь, кого ни встретит, интересуется: «Как молоко?» Все для него теперь дояры или доярки.

– А пить бросил?

– Совсем бросил. Испортился мужчина. Лошадь его сильно переживает. Каждый раз по давней привычке останавливается у магазина. Думает, хозяин пойдет за поллитрой. А он, знай, понукает. Не жалеет совершенно животное.

– Молодец Унух! Оллахий, молодец! Держит мужское слово, – похвалил начальник и уехал обратно в район.

Вечером Даут встретил заведующего фермой, рассказал ему:





– Приезжал из района большой человек. Узнал, что ты бросил пить, – очень хвалил. И в награду за это тебе бутылку оставил. Не нашел тебя, мне отдал. Пойдем ко мне, отметим событие.

Не соблазнился Унух, не пошел.

– Железный человек! – искренне удивился Даут. – Раз даже даровую водку не пьет – горы свернуть может.

Но вот в седьмой раз жена сообщила Унуху, что у них будет ребенок. И в его сердце змеей снова заползла тревоги – неужели опять получится дочка? А человека с тревогой в сердце всегда тянет в сторону магазина. Взволновалась общественность. Председатель колхоза по три раза на дню на ферму заворачивал. Сам товарищ Текеев строго-настрого с продавцами говорил, объяснял – не планом единым жив человек. Пусть людьми будут, пусть отговаривают, если Унух за водкой придет.

И снова дело не обошлось без Даута. Как вечер, так приходит к нему одна и та же забота: где бы найти подходящую компанию? Пришел он раз к Унуху и предложил:

– Хочешь, схожу к старой Агаз? Пусть погадает, кого жена тебе даст – мальчика или девочку? Мне Агаз не откажет, обязательно погадает.

Легковерен был Унух, обрадовался.

– Только прежде беги в магазин, – потребовал Даут.

И хозяину дома снова пришлось вспомнить вкус водки. На следующий день Даут, как и следовало ожидать, забыл о своем обещании. Но Унух не забыл, пришел, помнил.

– Ходил? – спросил он.

– Ходил, – соврал Даут. – Агаз свое дело знает, долго гадала. Она всегда правду знает. Сказала, будет у тебя или сын, или снова дочь.

– Я и сам знаю, что будет или сын, или дочь! – обиделся Унух.

– Сомнение должно быть у каждого, кроме Аллаха! – заявил Даут. – Ты, например, сызмальства все у скота крутишься. Вдруг однажды мычать начнешь и траву станешь кушать? Так что кто от тебя родится – знать трудно. Может, теленок будет? Сам посуди – лучше уж дочь, чем теленок. Агаз точно сказала – теленка не будет. Так что радуйся. А я, не будь я сыном Мырзы, попрошу Аллаха: «О Аллах всемогущий! Пожалей ты этого бедного человека, сделай так, чтобы сын у него родился прекрасный! Пусть хоть однажды в его дом радость придет, пусть он большой той устроит, пусть гостей пригласит и меня не забудет!...»

10. Хаджи-Даут сердится

Говорят, если лавина готова обрушиться, то и нога маленькой птички может стать причиной беды.



С раннего утра начал возиться во дворе Хаджи-Даут. О чем бы он ни старался думать, мысли его упрямо возвращались к просьбе соседа. Вот ведь – решил женить своего Азрета как раз тогда, когда и ему, Хаджи-Дауту, надо своим делом заняться! Как подступить к Шамде с двумя такими просьбами сразу? Легко ли женщине свою жизнь так круто повернуть? Тяжко вздыхает Хаджи-Даут. В его душе шевелится недовольство к соседу: не может подождать старый, не может сообразить никак, кому проще жениться – молодому, пышущему силой и здоровьем Азрету или ему, Хаджи-Дауту, человеку степенному, человеку в том возрасте, когда уже не забираешься вверх по склону, а идешь вниз, все ближе к Черному ущелью, где расположено аульное кладбище. При воспоминании о кладбище Хаджи-Дауту стало совсем грустно. Он вошел в дом и, решив, что пришла пора намаза, пора разговора с Аллахом, полез в карман за часами – с Аллахом следует говорить всегда точно в срок. Но часов в кармане не оказалось. Ни часов, ни цепочки! Хаджи-Даут вывернул карман, но все равно – старых золотых часов, доставшихся ему от отца, и серебряной цепочки, подаренной Шамдой, не было! Забыв о намазе, старик начал поиски. Он перевернул весь дом, но найти так и не смог. И тут Аллах, по-видимому, обидевшись на то, что время намаза пропущено, подбросил Хаджи-Дауту коварное предположение: последним, с кем виделся он, Хаджи-Даут, был его длиннорукий приятель! Старик хорошо помнил его вчерашние намеки насчет цепочки Шамды.

«Старый жулик! – вдруг с негодованием подумал Хаджи-Даут о своем соседе. – И близко, кажется, ко мне не сидел, а сумел вытащить! Хорошо, если признается, скажет, что пошутил, и вернет. А если скажет, что не видел их и одним глазом? Что тогда с него взять?»

Он взбирался на Синий холм с необычной для него прытью – даже жарко стало.

«Если Даут дома – хорошо, – соображал он. – Значит, часы еще целы. Не мог же он вчера после моего ухода кому-нибудь сбыть часы с цепочкой...»

В даутовском дворе Азрет весело колот дрова. В открытом окне на подоконнике стояла и пела радиола.

– Дома отец? – спросил Хаджи-Даут, рывком открыв калитку.

– Дома.

Азрет удивленно проводил взглядом обычно спокойного соседа.

Даут лежал на диване в прохладной и светлой комнате и читал газету. Увидев стремительно вошедшего, вспотевшего друга, хозяин дома встревожено приподнял голову.

– Что это с тобой? Пожар, что ли?

Хаджи-Даут, молча, стоял, широко расставив ноги, пыхтел и тер платком лоб. «Вот притворщик! – думал он. – Артист паршивый! Делает вид, будто ничего не понимает».

Даут спустил с дивана ноги.

– В самом деле, Хаджи-Даут, на тебе совсем лица нет. Говори, что случилось?

Хаджи-Даут продолжал молчать. Но глаза его негодующе сверлили лицо приятеля.

– Если ты собираешься стоять и молчать, словно толчком рот набил, стой, пожалуйста. Я продолжу чтение этой газеты.

Даут сделал вид, что собирается снова улечься на диван.

– Читай, Даут! Читай, душа моя! – неожиданно ласково произнес Хаджи-Даут. – О чем сегодня в газете пишут?

– О многом. Наш физкультурник товарищ Текеев, пример, пишет о вреде, который наносят народному хозяйству некоторые старые обычаи. Пишет про курман – жертвоприношение по каждому случаю. Считает, сколько напрасно губится. Ребенок родился – овцу или быка на угощение. Ходить научился, снова овцу забивают. Первый раз сено идет в горы косить – третью овцу погубят. Женится человек – десяток или, на худой конец, полдесятка овец зарежут. Выходит, пока один человек на ноги станет, целое овечье стадо изведут. Если гость наедет, в честь его овцу под нож, хотя и без того в доме мяса вдоволь. И в праздник Курмана – опять каждая семья с овцы-быка шкуру сдирает... Очень интересно пишет товарищ Текеев, старательно подсчитывает. Хочешь, прочитаю, как пишет?

– Ну что там еще? Неужели ничего более интересного нет. О ворах, например, там ничего не пишут?

– О каких ворах? – Даут даже рот открыл от удивленья.

– Об обычных, – спокойно проговорил Хаджи-Даут. – О таких, которые часы с цепочкой воруют?

– Какие часы?

– Круглые, золотые, а цепочка мелкой работы, серебряная.

– Что это у тебя так глаза блестят, приятель? Здоров ли ты?

– Давай сюда, вытаскивай! – закричал Хаджи-Даут. – Где они у тебя, старый мошенник?

– Да что ты ко мне пристал с часами! – начал сердиться Даут. – О чем ты бредишь?

– О часах! О своих часах! Не дурачься, Даут! Вспомни о своих годах. Я знаю, ты ловкач. У пузатой коровы можешь незаметно теленка из брюха украсть, не то что часы у меня из кармана вытащить. Но всякой шутке есть конец. Отдавай часы, выпьем по этому случаю, потолкуем о статье товарища Текеева...

– Да ты что ко мне с часами прицепился! Говорю тебе, не видел я твоих часов! Вот заладил – часы, часы. Я со вчерашнего вечера, как из Ростова приехал, у тебя не был!

– Вот вчера ты их и стянул! После тебя ко мне он не приходил!

– Иди к Ачею, сосед! Пусть он тебе уши прочистит. Я тебе громко говорю – не брал твоих часов! Не видел!

Хаджи-Даут побледнел от гнева.



– Пределов своим шуткам совсем не знаешь, Даут, сын Мырзы! Чересчур много на себя берешь. Живот от натуги лопнет.

– Свой держи, чтоб не лопнул! – окончательно обозлился Даут.

– Жил я, когда у меня часов не было, и теперь проживу! Пусть у тебя часы мои будут! Пусть, если они тебе совесть заменят! А мы с тобой еще встретимся, посмотрю, как мне в глаза глядеть будешь!

Гневом пылало лицо Хаджи-Даута. Пальцы его, сильно сжав костяную ручку посоха, побелели. Не оглядываясь, он пошел к выходу и, хлопнув дверью, выскочил из дома.

– Лечиться надо! – выключив радиолу, в открытое окно завопил хозяин.

– Чем ты его обидел, отец? – спросил Азрет со двора. – Он, как от чумы, побежал от нашего дома.

– Оллахий, зря он с ума сходит! Говорит, часы его взял! А я их со вчерашнего дня и в глаза не видел! Авось до вечера отойдет, а там посидим у Унуха, выпьем, помиримся...

11. Политическая ошибка *(из Синей тетради Хохалая)*

Сегодня у сельсовета окликает меня Хаджи-Даут. Весь взъерошенный, сердитый. Протягивает мне ключи и показывает – этим, мол, большим, дом откроешь. Который поменьше, этим сундук отомкнешь. А в сундуке надо взять военную сумку и быстрее снова сюда, к председателю Толпа улу.

«Военной сумкой» Хаджи-Даут называет старый, выдавший виды офицерский планшет. Привез его с фронта. Нашел я планшет, принес. Захожу к председателю, отдаю соседу. Хаджи-Даут раскрывает планшет и вываливает на стол целый ворох бумаг – документы, фотографии, старые облигации. Долго роется в бумагах и наконец находит то, что искал. Эта пачка квитанций. Взял Хаджи-Даут аккуратно сколотые листки и отдал председателю.

– Что это? – удивляется наш председатель Толпа улу.

– Это квитанции городского мастера, который часы мои чинил!

– Зачем ты их собирал, зачем хранил? – недоумевает Толпа улу, перебирая квитанции. Их много, не один десяток.

– Всякий документ хранить надо.

Слушаю я их разговор и ничего не могу понять. Наконец начинаю понимать – Хаджи-Даут обвиняет своего друга Даута в воровстве! Все в Кумыше бывало, но такого еще не было! Я своим ушам не верю! Чтобы Даут мог украсть часы у Хаджи-Даута?

– Не такой человек Даут, – заявляет председатель. – Спроси кого хочешь – все скажут. Никто не поверит, что Даут на такое способен. Спроси Хохалая.





Мал, да разумен. Поверишь ты, Хохалай, что Даут, сын Мырзы, друг Хаджи-Даута, уважаемый нами человек, мог стать вором?

Оба они на меня смотрят.

– А что, собственно, случилось? – спрашиваю.

Председатель сельсовета и Хаджи-Даут, перебывая друг друга, рассказали мне, что час назад наш сосед пришел к Толпа улу, попросил всех выйти, так как собирался сообщить важную тайну. Все: то есть секретарь, смуглолицая Халимат, бухгалтер Ханат и заведующая библиотекой, оказавшиеся в ту минуту, – встали и вышли. И тогда Хаджи-Даут официально заявил председателю Кумышанского сельсовета, представителю власти, что его сосед, гражданин Даут, сын Мырзы, является вором: вчера вечером, зайдя к нему в дом, он похитил часы, оставшиеся Хаджи-Дауту в память об отце Кара-Мырзе, которому эти часы достались от его отца Соджуха, являвшегося также и дедом потерпевшего, да будет им обоим земля пухом. После этого Толпа улу также официально предложил Хаджи-Дауту, прежде чем делать подобные заявления, хорошенько поискать часы дома. Например, под столом или под кроватью.

На это Хаджи-Даут заявил, что все уже обыскал и, кроме того, он не такой дурак, чтобы часы держать под кроватью. Он всегда их держит в кармане. И на этот раз он тщательно проверил свой карман, прежде чем идти в такое важное учреждение, как сельский совет. Тут меня осеняет:

– Уважаемый Хаджи-Даут! – предлагаю я. – А может быть, стоит посмотреть, нет ли в твоём кармане дыры?

Хаджи-Даут выворачивает свой карман, расправляет его, и мы с председателем убеждаемся, что карман цел.

– Да, – задумчиво произносит Толпа улу, – дела... Ну что же, Хаджи-Даут, раз твое заявление официальное, придется мне также официально звонить в милицию. Пусть едут и проводят следствие.

Он берется за телефонную трубку, но Хаджи-Даут вырывает у него телефон и сердито заявляет, что на старости лет еще не сошел с ума, чтобы своего земляка и бывшего друга, человека, хотя и скверного, сдавать в милицию. Он Хаджи-Даут, пришел к председателю, как к хозяину аула, как к уважаемому лицу, которое лично, один на один, должно поговорить с хитрым Даутом, устыдить его. Даут, разумеется, вернет тогда часы. Хотя, если разбираться с умом, дело не в самих часах. Не часы свои законные требует назад он, Хаджи-Даут, а уважения к себе требует со стороны Даута. Хотя и часов ему тоже жаль. Им цены нет, этим часам. А еще более жалко цепочку...

Тогда Толпа улу осторожно напоминает, что вообще-то часы совсем старые, со времен царя Николая, наверное, эти часы. И, если честно сказать, в теперешнее время они и пяти рублей, наверное, не стоят.

Хаджи-Даут с ним соглашается – пять рублей не деньги, он за ремонт часов раз в десять больше заплатил. Если председатель не верит, пусть документы





посмотрит, пусть подсчитает квитанции. Председатель говорит, что верит. Но в его глазах Хаджи-Даут, по-видимому, замечает сомнение. Старик снова начинает горячиться, заявляет, что терпеть не может, когда ему не верят, и требует, чтобы председатель считал.

Председатель считать не хочет. Он согласен – много денег ушло на ремонт этих часов. Но Хаджи-Даут подает ему бухгалтерские счета и все-таки заставляет считать. Получается очень много, и Толпа улу вслух удивляется:

– Оллахий! За эти деньги ты, наверное, трое новых часов купить мог!

– Я повторяю, что не в деньгах дело! – терпеливо разъясняет Хаджи-Даут. – Моим старым часам цены вообще нет. Как много они стоят, никто сказать не может.

– Но почему же? – не согласился Толпа улу. – Почему нет им цены? Что в них такого особенного? И не золотые они были, а позолоченные. А циферблат пожелтел от старости, как осенний лист кукурузы. И стрелки, помню, были гнутые...

– Все равно. И циферблат желтый. И стрелки кривые. И идут неточно, и тяжелые слишком, а все равно им цены нет! Я уже в который раз говорю, что это память об отце и об отце отца!

– Я это слышал, уважаемый Хаджи-Даут. Но не лучше ли тебе купить новенькие часы, которые будут точно показывать время? Они и в память о твоём отце будут, и время станут точно показывать. Не лучше ли новые купить, раз уж эти пропали? – уговаривает председатель Хаджт-Даута и на меня поглядывает, словно просит поддержать его.

Смотрю я на Хаджи-Даута и по его лицу понимаю, что эти слова ему совсем не нравятся, терпенье его вот-вот кончится и сдерживает он себя лишь из уважения к представителю власти.

– Выйди-ка, Хохалай! – вдруг приказывает Хаджи-Даут. – Иди домой. Ты больше не нужен.

Я ухожу, но дверь остается открытой, а старик говорит так громко, что даже на улице слышно.

– До этого дня, – кричит Хаджи-Даут председателю, – не замечал в твоей работе никакой политической ошибки! Хорошо следил, но не замечал! А сегодня вижу – крупную ошибку ты допустил. Совсем нехорошую ошибку.

– Какую ошибку я допустил! – повышает голос и Толпа улу. – В чем ошибка? Ты думай, когда говоришь, уважаемый Хаджи-Даут!

– Я думаю! Твоя ошибка в том, что не придаешь большого значения задаче воспитания подрастающего поколения! – торжественно и медленно, будто читая газету, заявляет Хаджи-Даут. – А это важная задача.

Некоторое время из комнаты ничего не доносится. Наверное, председатель сельсовета огорошено рассматривает старика.

– Придаю, – наконец слышу я голос Толпа улу. – Почему не придаю значения этой задаче?





– А если придаешь, то почему при Хохалае, одном из представителей молодого поколения, ты, представитель Советской власти, без должного уважения говоришь о памяти предков? Дело не в том, что это мои предки. Я имею в виду всех предков. Как Хохалай вырастет хорошим советским человеком, если не будет уважать предков? Если не будет думать, что они хорошие люди были?

– А что я такого сказал?

– А то, что при Хохалае ты заявил, что если часы точно время не показывают, то значит, грош им цена! Если так, давай весной распашем кладбище, где лежат наши предки, и на их могилах будем картошку сажать! Картошка выгодней, чем Память предков!

– Не морочь мне голову, Хаджи-Даут! – снова возвышает голос председатель сельсовета. – Не говорил я ни о какой картошке! Хочешь, чтобы я усевестил Даута, – пожалуйста. Хоть сейчас вызову!

– Не надо сейчас!

– А когда же надо?

– Никогда пока не надо! Может, у самого Даута совесть проснется, и он сам принесет мне часы!

– Так что же ты тут столько сидишь, от дел отрываешь! То говори с Даутом, то не говори! У меня отчет в район горит! Можешь ты это понять?!

– Могу, если тебе сейчас некогда, давай вечером говорить будем. Приходи к Унуху, там и говорить будем.

– Ладно, ладно, уважаемый. За столом у Унуха говорить будем! – Толпа улу обрадовано провожает старика на крыльцо. – Иди, дорогой, занимайся своим делом. А к вечеру и часы свои найдешь.

– Молод ты еще, – недовольно заключает Хаджи-Даут. – Ничего не понял, а еще председатель! Да по моим часам пусть шайтан время сверяет, они всегда вперед бегут. Не в часах дело, в совести!..

12. Как серый осел начал разрушать крепость дружбы

В день, когда жена снова отправилась в родильный дом, Унух вспомнил народный обычай. В своем дворе он установил три высоких столба, макушки их скрепил вместе, а от самого верха до земли спустил пропитанный жиром крепкий ремень. Если сын родится, по этому ремню полезут вверх самые ловкие джигиты аула, попробуют достать подарки, что будут висеть на спицах большого деревянного колеса, укрепленного на верхушке столбов. А если дочь родится, на этом ремне повесится сам Унух. Так он решил, когда столбы устанавливал.

Но не стали эти столбы виселицей. Не болтается на ремне Унух. Он сидит в доме и ждет гостей. Сидит Унух и ласково смотрит на туго спеленатый теплый





комочек. В руках Унуха долгожданный сын, наследник, мужчина. Сидит счастливый отец в самой светлой комнате своего дома, а в других комнатах суетятся веселые женщины. Снуют дочери Унуха, помогают как могут – сегодня все до одной пригодились. Во всем доме пекут, варят, жарят – шикарным и богатым должен быть стол. Сколько лет ждал Унух этого праздника!

А по крутым дорогам Карачая несутся во все аулы гонцы. Несутся с радостной вестью – сын у Унуха родился, вечером ждет гостей, вечером той большой будет. И спешат в Кумыш на веселье все дальние и все близкие родственники Унуха.

Спешите, гости! Смотрите, как спокойно лежит и ровно дышит этот маленький богатырь, красавец, умница, настоящий мужчина, будущий герой, лежит он на пышных подушках под дорогим шелковым одеялом. Сам с вершок, в груди его бьется сильное, молодое, горячее сердце, стучит в дверь прекрасной будущей жизни. Пусть будет она светлой, пусть ждет тебя замечательная дорога, уважаемый, молодой человек, первый сын заведующего молочной фермой Унуха...

Широк двор Унуха. Толпится народ во дворе. Над кострами – котлы. В котлах варится мясо. Несколько мальчишек на длинных шампурах жарят шашлык.

Просторен под своей железной крышей дом Унуха. Кунацкая набита гостями. На приставленных друг к другу длинных столах и питья, и еды вдоволь, все здесь есть. Наверное, если как следует поискать среди всех этих бесчисленных блюд, тарелок, мисок, можно даже найти посудину с птичьим молоком. Множество молодых и старых гостей сидят за столами. Тамада – всеми уважаемый Айдамбул, виночерпий – шапа – сам Унух. Он бдительно следит, чтобы у всех были полны бокалы и рюмки.

Пуста лишь рюмка, стоящая перед хозяином дома. В самом начале, как только все сели за стол, Унух встал и попросил у тамады Айдамбула, у его помощников Даута и Хаджи-Даута, сидящих по левую и по правую руки тамады, у всей компании разрешения не пить. Такая просьба за карачаевским торжественным столом – событие исключительное, небывалое! И после слов Унуха гости сначала негодующе смолкли, а потом подняли такой крик, что Айдамбулу пришлось довольно долго стучать по столу, устанавливая порядок.

– Если не пригубишь, обижусь! – категорически заявил Хаджи-Даут.

– Не могу! – завертел головой Унух. – Я тяжело болен.

– И когда ты таким стал? – удивился Даут. – Оллахий, никому не поверил бы, если услышал, что на своем собственном празднике Унух рюмку в сторону отодвинул! Не верю ушам своим, не верю глазам! Тебе же не идти сегодня на ферму. Сегодня можно. Возьми-ка в руки свой бокал, уважаемый Унух. Аллах свидетель – от такого не умирают. Если бы от такого умирали, я бы давно уже в Черном ущелье был!

– Не могу, – стоял на своем Унух. – Не будьте жестоки. Говорю – болен я.

– Смотрю я сейчас на тебя, – вдруг сказал долго молчавший Айдамбул, – и думаю: по твоим словам, на тебе места нет, которое не болело бы, кроме твоих





румяных щек. Выпей-ка и умри, если от этой капли тебе суждено умереть. Умрешь – похороним. Раньше я, твой старший брат, никак не мог уговорить тебя бросить пить, а теперь не могу заставить тебя уважать гостей. Упрямый ты что-то стал. Прояви сознательность – не заставляй всех нас ждать.

– Люди, так что же это такое! – закричал тут Унух. – Почему не верите! Почему родной брат брату не верит, если не покажу бумажку с круглой печатью.

Унух запустил руку в глубокий карман своих праздничных галифе, достал сначала пестрый большой носовой платок, за ним кожаный желтый пухлый кошель, а потом красный с синим по бокам узором кисет. Неторопливо отправив обратно в карман и кошель, и платок, Унух развязал кисет и вытащил из него вчетверо сложенный листок бумаги, развернул его, разгладил ладонью и протянул старшему брату.

– Читай, если не веришь!

– Когда это я был таким грамотным? Что это? Кто написал?

– Ачей написал.

– Что Ачей написал, только Ачей и может прочесть, – решил Айдамбул. – Ачей, твои каракули никто разобрать не может. Читай сам.

– Дай Дауту, – сказал Ачей. – Я очки дома оставил.

Даут взял листок, долго вертел его, стараясь разобрать строчки.

– Не обижайся, уважаемый Ачей. Благодаря Аллаху, знаю я и латинские, и арабские, и русские буквы. Но буквы, что ты нарисовал, понять не могу. Если среди нас есть тот, кто может усмотреть в этой бумажке смысл, так это, наверное, товарищ Текеев. У него в школе много озорников, он всякие буквы привык видеть.

Переходя из рук в руки, бумажка наконец попала к Текееву. Тот тщательно вытер масло с рыжих усов, мелко прокашлялся, прочищая глотку, и начал читать, спотыкаясь чуть ли не на каждой букве:

– *«Справка. Выдана жителю аула Кумыш сыну Кокая Бытдаеву, заведующему второй фермой. Бытдаев Унух, сызмальства работая то телятником, то крупным скотником, истошил себя тяжким трудом и немного сдвинул с места свое здоровье. Немного побаливает его желудок, и печень не совсем в порядке. Почка правая, как показало медицинское зеркало, которое зовут рентген, заметно потемнела, что, по правде говоря, еще не так страшно. Если даже вырезать эту почку и выбросить, Унух может и без нее быть живым довольно продолжительное время. Кроме перечисленных, есть еще кое-какие нарушения в организме заведующего фермой. Например, в пояснице его поселилась колющая болезнь по названию ре-ди-куль-ит, ноги его захвачены ревматизмом, а в мочевом пузыре обнаружены камни. Не очень еще большие, но достаточно тяжелые. Но все эти неприятные вещи – пустяк по сравнению с главной болезнью этого человека. Заставляет тревожиться, прямо сказать, вызывает опасения его сердце. Налицо первая стадия тяжелого по-*



рока этого органа. Где бы ни находился Унух, с кем бы ни сидел за столом, он должен себя щадить и остерегаться прежде всего водки! Если Унух ее не оставит, сердце его может остановиться. Таким образом, на свадьбах, на торжествах, на праздниках, во всех местах, где много едят и пьют, ни у кого нет права заставлять Унуха пить, если он сам того не пожелает. Эта справка дана для предъявления за столом тамаде и его помощникам. Дал ее дохтур аула Кумыш, фельдшер Ачей, сын Идриса».

– А печать есть? – спросил Даут, когда Текеев закончил чтение документа.

– Есть печать. Есть подпись.

– Раз печать есть – бумаге нельзя не верить, – решил тамада.

– Правильно, – поддержал его Даут. – Хорошую справку дал наш Ачей. Случайно, наверное, дал. Случайно обо мне додумал...

– А ты при чем здесь? – не выдержал Хаджи-Даут.

– А при том, что теперь мне придется всегда выручать Унуха, – не глядя в его сторону, ответил Даут и подвинул к себе стакан хозяина дома. – Правильно, Унух. В рот теперь не бери ее, проклятую. При всех обещаю, слово даю – отныне всегда твою долю буду пить я. Хоть и трудно, но буду тебя выручать.

Гости облегченно зашумели – выход нашелся. Той должен теперь идти своим порядком. Айдамбул поднял бокал, собираясь произнести пышный и длинный, как и полагается по такому важному случаю, тост. Но вдруг восстал Хаджи-Даут. В жизни он никогда не настаивал, чтобы кто-нибудь пил против своего желания. А тут, ко всеобщему удивлению, начал требовать от Унуха, чтобы тот не отдавал Дауту свой стакан.

– Тебе человек или бумажка дороже? – вопрошал он громко Унуха.

– Человек, – признался заведующий фермой.

– Тогда пей! Обиду моей душе нанесешь, если отдашь рюмку свою Дауту!

Недоумевали кумышанцы: спокойный человек, отзывчивый. В горе, в несчастье всегда готов помочь другому. Всегда считает своим долгом больного проведать, выразить соболезнование семье умершего, даже в долг охотно дает, даже на торжества редко ходит, да и сам пьет очень мало! А тут вцепился в Унуха – хоть силком отрывай!

Не ведали кумышанцы, что сейчас происходило в душе Хаджи-Даута. А в душе его бушевала буря. И на это торжество он, может быть, не пришел бы. Но были две важные причины. Первая – это то, что Унух и Айдамбул – единственные в ауле родственники Шамды. Как их не уважить? К тому же Хаджи-Даут рассчитывал найти удобный случай, чтобы поговорить с Айдамбулом насчет сватовства к Шамде.

Вторая причина – часы с цепочкой! Надо было выяснить до конца отношения с Даутом – либо взять у него часы и помириться, либо если так не получится, то по-настоящему поссориться и заставить Даута горько пожалеть о своем бесчестном поступке.



О первом деле Хаджи-Дауту удалось поговорить еще до того, как все уселись за стол. Отозвав Айдамбула, старый жених ясно намекнул ему на существо дела:

– Аллах видит, Айдамбул, есть такое дело, которое без тебя не может решиться. Не осуждай меня, но я хочу прямо тебя просить поговорить с одной женщиной...

– С Шамдой, что ли? – ошеломил Хаджи-Даута Айдамбул.

– С ней. Но как ты догадался?

– Со мной только что говорил Даут. Все знаю. Обещал ему, поговорю с Шамдой. Лучший зять, чем Азрет Даутов, пусть и не снится ей. Будь спокоен. Если Аллах скажет: «Я за!», дело твоего друга будет улажено...

Расстроился Хаджи-Даут, прикусил губу, промолчал. Разве скажешь Айдамбулу, что хотел просить его совсем о другом? Расстроился Хаджи-Даут – видно, Аллах так надумал: если и суждено осуществиться его мечте о Шамде, так только после того, как решится судьба ее дочери. Если так, скорей бы Зубайда вышла замуж. Айдамбул прав: Азрет, хоть и никудышного отца имеет, хорошим зятем будет. «О, Аллах! – горячо воззвал жених. – Помоги же Азрету стать зятем Шамды, а его теще стать мачехой моему Мурату!»

Переговорив с Аллахом, Хаджи-Даут вошел в дом, за столом сел рядом с Айдамбулом. Краем уха слушал, краем глаза поглядывал на своего бывшего друга Даута. Все ждал, что обратится к нему Даут, серьезно попросит прощения, вернет часы с цепочкой. Но Даут без умолку говорил со всеми и обо всем, только с Хаджи-Даутом не говорил, только о часах с цепочкой не говорил – будто и часов его никогда не видел и пальцем их даже не трогал. И начал в Хаджи-Дауте просыпаться дух борьбы. Шайтан, видно, сел за стол рядом с ним, начал подталкивать под руку. Все уже оставили Унуха в покое, а Хаджи-Даут никак не мог успокоиться.

– Пей, хозяин! – требовал он. – Не обижай меня в своем доме!

– Уважаемый Хаджи-Даут, – хныкал Унух, – от всех я спасся. Как от тебя спастись?

– Не спасешься, Оллахий!

Кругом все кричали, просили Хаджи-Даута, чтобы отстал от Унуха. Но не слушал старик никого, не желал уgomониться. И сдался в конце концов Унух, отобрал у Даута свой стакан, поднес его ко рту с таким видом, будто яд в нем смертельный, закрыл глаза, широко открыл рот, и за столом все смолкли...

И тут вдруг во дворе, под окнами раздался могучий ослиный рев. Зазвенели оконные стекла, вздрогнули гости. Так мог кричать Азанчы – осел Айдамбула. И кричал в этот раз не на Синем холме, не перед намазом! Кричал под навесом Унуха, кричал в неурочное время, нарушая раз навсегда установленный в Кумыше порядок!

– Что это такое? – встревожено поднялся Айдамбул...





13. Айдамбул

Давно это было. Ехал горец домой с коша и жену в седле вез. Торопил коня горец: жена рожать собралась, скорее надо было в аул добраться. Торопил коня горец, но в аул не успел: в пути жена родила. «В седле сын родился», – говорил горец потом. Этим горцем был отец Айдамбула.

А сам Айдамбул утверждал, что с того самого дня он не слезал с коня. В молодости Айдамбул не пас лошадей, не пахал землю, не растил урожай. Но зато был великим мастером темной ночью угнать чужой скот. Во всем Карачае, рассказывают, не было второго такого лихого конокрада, каким был Айдамбул. Никто лучше его не знал горных дорог и перевалов. И стада, которые перегонял Айдамбул, навсегда исчезали, будто поднимались на крыльях в небо.

Встреч с Айдамбулом старательно искали владельцы скота из Кабарды, из Грузии, из соседних русских станиц. Все они были хорошо вооружены. Айдамбул это знал и предпочитал выбирать другие дороги. Поэтому и сохранил голову на плечах, а пули, ждавшие его, оставались в стволах.

Когда пришла Советская власть, оказалось, что у нее есть серьезные претензии не только к конокрадам, но и к тем, кто скупал краденый скот. Айдамбул быстро сообразил, что его профессия в новых условиях не сулит ярких перспектив. Из конокрада ему пришлось переквалифицироваться в конюхи. До глубокой старости пас он колхозных коней.

Очень стар сейчас Айдамбул. Никто в ауле не может сказать, что помнит, когда он родился. Да и сам Айдамбул позабыл.

– Всех своих сверстников я давно проводил в Черное ущелье, – говорил старик. – Одного болезнь, другого война унесла. Один я остался. Так долго живу, даже перед Аллахом неловко. Будто взрослый среди детей играюсь. Агаз босая еще бегала, когда я уже знатным конокрадом был...

Не может время победить Айдамбула. Он всегда подвижен и бодр. Зубы целы. Глаза неплохо видят. Да и руки крепки. Косить – равных ему не много в ауле сыщется. Каждый год старшинствует над звеном косарей. И следить за собой не ленится – одежда чистая, борода и усы расчесаны, на улицу выходит – опрятный, подтянутый, начищенный. Молодым есть чему поучиться у Айдамбула.

После смерти своей старухи живет он с Унухом. Айдамбул и Унух родные братья, хотя совсем друг на друга и не похожи ни внешностью, ни характером. В их семье было когда-то десять детей. Осталось двое: самый старший – Айдамбул и самый младший – Унух. Все остальные – в Черном ущелье. В молодости Айдамбул считал, что мертвые ничего не требуют от живых. Им все равно, им ничего не нужно. Но теперь никто чаще Айдамбула не приходит на кладбище. Он всегда провожает усопших в последний путь и даже Коран читать научился, чтобы знать все мусульманские адаты о покойниках, чтобы



свято их чтить. И, пожалуй, он сумел бы даже заменить эфенди, если бы потребовалось, на похоронах.

Впрочем, в Кумыше до сих пор рассказывают, что в молодости Айдамбул тоже умел выдавать себя за эфенди. И у него неплохо получалось. Как-то вместе с другом своим Адурхаем гнал он голов двадцать скота, и на мосту в станице Преградненской их повстречали казаки.

– Тебя, может, и не узнают, но если меня увидят, сразу поймут, что стадо ворованное, – сказал Айдамбул товарищу и ловко приклеил себе фальшивую бороду и усы, а голову украсил белым тюрбаном, который на всякий случай всегда возил в своем хурджуне.

Пересчитали казаки скот, взяли положенную за прогон стада пошлину и открыли дорогу. Двинулись дальше друзья, порядочно отъехали от опасного места. Айдамбул уже собрался было сорвать свою бороду, как вдруг увидел, что за ним скачет один из казаков.

Догнал их конник, спросил Адурхая, хорошим ли эфенди считается его приятель. Разумеется, Адурхай не пожалел слов, рассказывая о достоинствах своего друга.

– Раз твой друг такой знаменитый эфенди, пусть поможет моему брату, – попросил казак. – По пьяному делу младшего брата в бок пырнули ножом. И наши русские попы пробовали лечить, и знахари всякие травы прикладывали, и старухи болезнь заговаривали. Ничего не выходит. Не выздоравливает младший. Осталось одно: деда нашего когда-то от смерти спас ваш, карачаевский эфенди. Пусть твой друг поедет, посмотрит. Вдруг толк с того будет? А мы и деньги вернем, что за проезд взяли, и еще добавим.

Может быть, Айдамбул и отказал бы, да тут подъехали остальные казаки.

– Сам видишь, нельзя сказать «нет», – шепнул Айдамбул приятелю. – Ты, Адурхай, гони всю скот, а я поеду с ними. Может, отделаюсь от них как-нибудь, тогда догоню...

Ехал Айдамбул с казаками, а сам смотрел, запоминал – и как улицы расположены, и высоки ли плетни. Подъехали наконец к дому. Айдамбул позволил ссадить себя с коня и вошел в дом с почетом, под руки его поддерживали два услужливых казака. А после хорошего угощения взялся «лечить» больного: старательно прогоняя злого духа болезней, закатывал глаза, что-то горячо шептал, дул в лицо больному и время от времени вскрикивал всякую бессмыслицу, вроде «Уф-чудо-чохий, уф-чу-чахий! Двух мышей впрягли в ярмо, таская ситом воду. Далеко ли ты, Адурхай? Уф-чүф-тохий, поросенку во дворе тьфу!»

Наконец Айдамбул кончил врачевать, сказал, что через две недели больной поправится и что его, эфенди, казаки, если будет нужно, найдут в ауле Джазлык. И он будет всегда рад так помогать страждущим...

К великому удивлению самого Айдамбула, больной через две недели встал на ноги, и преградненские казаки в награду за то, что эфенди вернул жизнь



почти уже мертвому казаку Федосею, перестали брать пошлину с карачаевских пастухов. А через некоторое время Айдамбул сам рискнул заехать в Преградненскую станицу, назвался сыном того эфенди, что выручил Федосея, подружился с ним и потом частенько наезжал к нему в дом, где всегда его ждал радушный прием.

В прошлом году Айдамбул снова решил побывать в Преградненской. Захотелось ему еще раз посмотреть на станицу, повидать знакомых станичников. Вернулся старик недовольным.

– Никого не нашел знакомых, – сообщил он кумышанцам. – Все давно почили, один я остался. И вообще вся жизнь там стала такой же легкой, как и у нас. Не жизнь стала, а будто той бесконечный. Раньше на хорошем коне надо было целых два дня скакать от Карачая до станицы Преградненской. А теперь сел на автобус, сказал автобус «би-би», привез на место и снова сказал «би-би» – приехали, мол, вылезайте. Раньше на коне едешь и по сторонам зорко смотришь – не сидит ли кто за кустом с ружьем, направленным на тебя. А теперь, если и на коне едешь, всю дорогу дремать можно. Легкая стала дорога. Все легким стало. Даже хлеб легко достается. Ни крови, ни пота за хлеб не проливаешь. Легкая стала жизнь. Весь труд машины на себя взяли. А если и при этой жизни устанешь и упасть хочешь, все равно со стороны помощь придет, все равно рядом опора найдется. Живу я среди вас, будто живу рядом с детьми. Они куда-то спешат, торопятся, один я замешкался, топчусь на месте...

Стар Айдамбул, многое видел, многое знает, многое умеет. Несколько лет назад, когда сельсовет в Кумыше постановил отменить право на частное владение лошадьми, Айдамбул продал своего буланого коня, последнего своего коня в жизни, и обзавелся осленком. «Осел – тоже животное, – рассуждал Айдамбул. – Осел, когда вырастет, конечно, конем не станет. Но у него тоже четыре ноги, четыре копыта, и его можно водить на водопой, чесать за ухом, класть ему в ясли сено. И даже навоз его пахнет точно так же, как конский».

Хороших кровей был у Айдамбула осленок. Мать его, известная своим кротким нравом и чистым звучным голосом, принадлежала эфенди Ожаю. И Айдамбул дал ему за осленка четыре пуда непросеянного ячменя.

Одно время в Кумыше вообще было много ослов. Особого внимания на них не обращали, пока их не развелось столько, что начали страдать сады и огороды. Тогда сообразительные кумышанцы нашли простой выход – в безлунную ночь огромное стадо кумышанских ослов перекочевало через мост над бурной Кубанью в соседний аул Сары-Тюз. Однако сарытюзцы считали себя не менее сообразительными, и стадо кумышанских ослов, увеличившись ровно вдвое, вернулось следующей ночью в родной аул.

Никто не знает, до каких пор скитались бы длинноухие из аула в аул, если бы об их нелегкой судьбе не узнали заготовители из ближайшей станицы Крас-



ногорской. Приехали они, погрузили на машины многострадальцев и куда-то увезли. Спасибо им, сердечным заготовителям! Если бы не они, бедные отверженные каждую ночь курсировали бы из Кумыша в Сары-Тюз и обратно, сотрясая шаткий мост над рекой.

Ныне в Кумыше ослов осталось совсем мало, и жители аула их теперь чтят и любят как редких представителей исчезающего племени. Особенно любим осел Айдамбула. От всех ослов на свете он отличается не только своим мелодичным ревом, но и чрезвычайно редким даром: он кричит не где попало и не столько раз, сколько ему взбредет в голову. Нет, он кричит, только взобравшись на самое высокое место в ауле, на Синий холм, и кричит ровно пять раз в день – точно перед намазом. Раньше в Кумыше, как и в других аулах, тоже был азанчы – человек с зычным голосом, который строго следил за временем и, когда было нужно, поднимался на минарет и оттуда призывал правоверных приступить к свершению намаза. Когда старые кумышанцы убедились, что осел Айдамбула не хуже азанчы умеет следить за временем, а к тому же кричит намного громче, да еще и не пьет, как люди практичные, они отказались от услуг азанчы. А осла так и прозвали – Азанчы. И теперь, хоть режь его, хоть ломай хребет ему, осел рта не раскрывает, пока не наступает час молитвы.

Одни полагают, что этим ценным даром Азанчы обладает потому, что родился во дворе эфенди Ожая, имевшего, надо думать, более близкие отношения с Аллахом, чем остальные кумышанцы. Другие считают, что к редкому дарованию осла Аллах не имеет никакого отношения. Все дело не в Аллахе, а в Айдамбуле. Так думают сторонники другой версии: просто-напросто осел перенял все привычки хозяина, который за всю свою долгую жизнь не пропустил ни одного намаза. Шамда, например, убеждена, что если бы Азанчы принадлежал не Айдамбулу, а Дауту, то он был бы заурядным алкоголиком, и не более того. А что касается неуклонного стремления Азанчы взобраться на Синий холм, перед тем как начать орать, так долго ли Айдамбулу научить своего осла такому? Тому самому Айдамбулу, который в молодости заставлял плясать скакунов под звуки своей берестяной дудки?..

Так вот, в тот самый момент, когда гости замолчали, Азанчы – этот самый дисциплинированный из всех кумышанских, а может быть, даже из всех карачевских ослов – вдруг закричал! И закричал не на Синем холме, а во дворе, под навесом!

– Что же это такое? – встревожено оглядел всех Айдамбул.

– Оллахий, как нехорошо кричит! – поддержал его Даут. – К добру ли это?

– Очень хорошо кричит, – тут же возразил ему Хаджи-Даут. – Что плохого в его крике? Только голос, кажется, немного хриплый. Наверное, у него грипп. Надо медицинские меры принять, а то можем лишиться такого замечательного осла. Слушай, Ачей, нельзя ли прописать Азанчы какие-нибудь лекарства или укол какой?



– Что ты такое говоришь, сын Кара-Мырзы! – сразу возмутился Даут. – Хочешь, чтобы к бедному ослу смерть пришла от руки Ачея? Кто знает, сколько еще проживет Азанчы? А если руки Ачея его коснутся, ясное дело – в тот же день Кумыш без такого знатного осла останется...

– Что ты, Даут, имеешь против рук Ачея? – немедленно запротестовал Хаджи-Даут. – Если я заболею, пусть меня только Ачей лечит!

– Осел, наверное, по-другому думает! Ему жизнь дороже, чем тебе!

– А ты иди и спроси, о чем он думает! – язвительно предложил Худжи-Даут. – Ты, видно, всех понимаешь. Кстати, заодно и узнай, почему это он сегодня кричит нево время.

– Не вовремя? – взвился Даут. – Да потому, что у него в голове, должно быть, часы испортились! Не то что ослу, а нам, людям, без часов очень плохо! Некоторые без часов, как без рук! А еще вернее – некоторые из-за часов совсем теряют голову! Так без головы и ходят!..

Как только Даут помянул часы, краска гнева залила его бывшего друга. У Хаджи-Даута к переносице хмуро стянулись густые брови. Злые слова заплясали на кончике языка, но они не успели сорваться. Со двора снова донесся могучий жизнерадостный рев Азанчы.

– Видишь, осел со мной согласен! – победно провозгласил Даут. – Без часов совсем худо! Выше стаканы, друзья! Выпьем за то, чтобы глаза моего друга Хаджи-Даута смотрели лучше, зорче! За то, чтобы они, наконец, увидели часы, которые он потерял. За то, чтобы не пришлось ему завтра, как и сегодня, ползать по полу под кроватью и искать свои часы! Пусть найдет свои часы сегодня и перестанет лягать всех подряд, как это иногда делает его лучший друг Азанчы!..

Все улыбались. Все знали, что язык у Даута длинный – без воды намочит, без ветра высушит. Зачем обижаться на такой язык?

Но Хаджи-Даут поднялся, выпрямился во весь свой небольшой рост и, не скрывая гнева, сказал:

– Своему языку ты всегда позволял слишком много, сын Мырзы Акбашев Даут! Но сегодня за этим праздничным столом ты перешел все пределы! И в самом деле, пусть Азанчы мне будет лучше другом, чем ты! Начиная с сегодняшнего дня рядом с тобой не сяду!

И Хаджи-Даут быстро вышел из-за стола. Никто даже не успел его удержать...

Эх ты, серый осел Айдамбула! Зачем кричал ты сегодня в неположенный час! Не кричал бы ты, серый, не начала бы, наверное, рушиться крепость дружбы, возведенная за много лет двумя старыми кумышанцами, двумя старыми друзьями!





14. Как серый осел разрушил замок любви

Просторный двор Унуха не видел до этого такого шумного тоя, таких веселых плясок. Парни и девушки не жалели в танце ног. Не жалели рук и зрители, хлопая в такт музыке. И уж, конечно, не жалела гармоники гармонистка. Двор Унуха был полон светлых мелодий.

Мурат Хаджи-Даутович никому не давал скучать. Тех, кто хлопал в ладоши, заставлял хлопать сильнее. Подгонял танцующих, командовал хором. И парни дружно затягивали:

Саз мой так долго звенит.
Если песней тебя не сманю,
Что станешь делать, если
Завоюю тебя кинжалом?..

Еще дружнее подхватывали девушки. И высоко – до небес – летел их ответ:

Что будет, что будет, если
Кинжал обагрится кровью?
Что будешь, что будешь ты делать,
Если я вдруг превращусь в стройное деревцо?..

Гремел хор парней:

Пусть ты в деревцо превратишься
И в землю глубоко вращешь.
Но ведь я могу тебя срубить,
В острый топор превратившись.

И снова отвечали девушки:

В острый топор превратившись,
Начнешь ты меня рубить.
Но что будешь, что будешь ты делать,
Если в небо взлечу я голубкой?..

Парни обещали стать ястребами, тогда девушки сообщали, что могут рассыпаться в густой траве мелким зерном. Ну что ж, решали парни – разве трудно им превратиться в квочек и отыскать в траве все сладкие зерна? Длинная и звучная песня в конце концов убеждала слушателей, что сопротивление девушек бесполезно, они должны покориться – ведь всем известно, что мужская любовь все равно одолеет...

Красиво танцует Азрет, сын Даута. Широко распахнут ворот его рубахи, высоко закатаны рукава, а на его сапогах, начищенных до зеркального блеска, так и скачут, так и сверкают быстрыми молниями огоньки. И сам Азрет с воз-





бужденным лицом, с густой шапкой кудрявых волос, весь светлый, счастливый, будто озарен яркой вспышкой... Правда, Азрет ростом не вышел – полный, невысокий, никак не скажешь, что он сын долговязого Даута, но танцует он так лихо, что и малый рост незаметен...

Азрет и Мурат в один год родились, дружили с самого детства, все у них общее было, и никто никогда не видел, чтобы они по примеру своих отцов ссорились или спорили друг с другом. В Кумыше Мурата зовут Муратом, а вот Азрета по имени называют редко. Чаще кличут так – Чугунок. Что бы ни говорил Азрет, обязательно добавляет: «Пусть хоть чугунок треснет». И кумышанцы долго голову не ломали, чтобы придумать для него прозвище. Так и стал Азрет Чугунком...

– Ура, Чугунок! Чугунок, шевели ногами! – наперебой кричат со всех сторон.

Азрет старается – вертится как юла, как мяч подпрыгивает, как пружина сжимается. А перед ним лебедем плывет тоненькая девушка. Это Зубайда, дочь Шамды. Вот она раскрывает руки, словно для объятий, и Азрет вихрем несется к ней. Но вот она резко подергивает плечом, прибавляет шаг, уходя по кругу от парня, и танцор в смятении, в отчаянии, отвергнутый, носится вокруг любимой, ищет и не находит взаимности...

Красива Зубайда, бровью поведет, как крылом взмахнет, длинная коса змей по спине вьется, лицо белое, с нежным румянцем. Хорошая пара – Азрет и Зубайда. И как только вошли они в круг, лукаво запела гармоника, выводя мелодию хорошо известной в Карачае песни «Смотрите, танцуют влюбленные!».

А когда притомились танцоры, собрался народ у столбов, что вкопал Унух в глубине двора. Первый из парней, который сумеет добраться до укрепленного высоко вверху колеса, может выбрать какой угодно подарок. И, кроме того, ему по праву будет принадлежать широкая войлочная, набитая конфетами шляпа, что висит в центре колеса. Угостить конфетами девушек из этой шапки – об этом мечтает каждый из парней. А по краям колеса, на концах спиц висят шали, платки, косынки, шарфы, ожерелья, серьги, звонкие монисто, ждут подарки, чтобы ловкие парни вручили их своим возлюбленным. Любой аул в Карачае будет знаменит, если в нем найдется столько сильных парней, сколько развешано на колесе подарков. Пока такого не случилось ни в одном ауле. Но сорвать с колеса как можно больше – в этом вся хитрость. Иначе – позор Кумышу.

Целую неделю широкий кожаный ремень лежал в густом бычьем жиру, и как бы ни были руки крепки, парням не удастся подняться дальше середины. Под дружный хохот зрителей один за другим, как мешки, они сползают к земле. На какие только уловки не пускаются парни – мажут ладони глиной, карманы набивают песком, чтобы там, наверху, протереть им руки, перекидывают ремень через скрещенные ноги, давая отдых рукам, – ничего не





помогает. Высоки столбы, скользок ремень. Нужно быть стальным, цепким, острым крючком, чтобы удержаться на таком ремне.

Азрет не желает знать, что такое усталость, неудача, поражение. Два раза пытал он счастье, и оба раза не дотянулся до колеса на какой-нибудь локоть! А устал, как пахарь в знойный день, – пот заливает лоб, белоснежная рубашка вся пропиталась жиром.

– Может, хватит мучиться? – кричит ему одна из девушек. – Посмотри, на кого стал похож.

– Если даже лестницу подставить, такому толстяку, как Азрет, на эту высоту не взобраться! – смеется другая.

Много шуток, иногда довольно обидных, достается на долю неудачников. Одни из них не выдерживают, спешат отойти, скрыться из виду. Другие отшучиваются. И часто отшучиваются более успешно, чем взбирались по ремню. А Азрет и не уходил, и не шутил. Широко расставив ноги, набычившись, он исподлобья, упрямо смотрел на ремень, как на серьезного опасного противника, которого во что бы то ни стало надо было одолеть.

В третий раз подошел Азрет к ремню. Полез, пополз медленной гусеницей вверх. И снова начались кругом те же шутки.

– Затяни пояс, а то штаны соскочат!

– Плюй на ладони скорее!

Достается и Зубайде.

– И-эй-эй! Зубайда, подними голову, подуй снизу, – не без ехидцы советует одна из подруг. – Может, легче будет бедняге подняться...

Не поднимает головы дочь Шамды. Краснеет, молчит, смотрит в землю. Видит, как в пыль сверху, со лба Азрета, забравшегося уже довольно далеко, падают горячие капли. Знает Зубайда, ради кого потеет, ради кого старается Чугунок. Знают все парни и девушки. Нет для Зубайды более желанного парня, чем Азрет, и нет для Азрета девушки лучше, чем Зубайда.

Но у Шамды другое мнение. Терпеть она не может ни Даута, ни весь его род. И в первый же день, когда ей стало известно, что глаз Даутова сына зацепился за ее дочь, она Зубайде заявила:

– Смотри! Даже если он весь от уха до пяток из червонного золота, то и тогда чтобы я тебя рядом с ним не видела! Не обнадеживай его, охлади. А то, если я его охлаждаю, так он совсем холодным станет! Придется в Черное Ущелье тащить Чугунка!..

Но сказать легче, чем сделать. Как охладит Зубайда Азрета, если в ее сердце – одно только пламя и ни кусочка льда? «Чем его охлаждать, лучше тебя попытаться согреть, мама», – думает Зубайда, но вслух не решается возражать, хотя тот день, когда не видит Азрета, считает напрасно прожитым днем.

Каждое утро, отправляясь в школу, молодая учительница проходит по узкой тропинке мимо аульного сада. Там где тропинка, встретившись с ас-





фальтом у вишневых деревьев, кончается, она видит Азрета. Идя на работу, парень совершает порядочный крюк, сворачивая в сторону вишен и, издали незаметно подглядывая на дом Шамды, то ускоряет, то замедляет шаг, стараясь поспеть к вишням как раз в ту минуту, когда возле них окажется Зубайда. Задача сложная, но Азрет ее хорошо освоил, и каждое утро, встретившись, они произносят две фразы:

– Доброе утро, Зубайда!

– Доброе утро, Азрет!

И больше ничего не говорят друг другу, если не считать разговора глазами.

На людной улице, в магазине, даже на торжествах они будто не замечают друг друга. Всюду, всегда рядом с ними зоркий глаз Шамды...

Просторен двор Унуха, много в нем гостей. И все теперь одобрительно шумят, подбадривая Азрета. А тот уже дотянулся до колеса, ухватился рукой за него, повис, а другой рукой сорвал шляпу с конфетами и высыпал их на визжавших от восторга девчат.

– Чугунок мо-ло-дец! Чугунок мо-ло-дец! – гремит во дворе дружный хор.

Опустошив шляпу, Азрет натянул ее на голову и, отцепив от колеса самую красивую шаль, усталый и счастливый спустился на землю.

Пламенно горит шаль, на алом шелке пылают пышные красно-желтые цветы. Осторожно держа эту шаль на вытянутых руках – словно хрустальную вазу, которую так легко разбить, Азрет долго стоит, а потом, решившись, неожиданно подходит к Зубайде, накидывает шаль ей на плечи, молча, отходит в сторону.

Алеет шаль на плечах счастливой Зубайды. Алеет, как эта шаль, сама Зубайда. Не без зависти смотрят на нее многие девушки. А одна пара глаз смотрит гневно, не смотрит – дырявит взглядом. Это глаза Шамды. Едва подняв голову, Зубайда сразу видит эти два родных гневных глаза, видит, как мать, отделившись от толпы женщин, быстро направляется к ней. Вид у Шамды такой, что тресни сейчас земля, Зубайда с радостью кинулась бы в трещину. Но земля не разверзлась. Негде спрятаться Зубайде. А зрители смолкли: характер у Шамды не сахар, это все в Кумыше знают.

И тут в тишине вдруг что-то шумно и горестно вздыхает: ну и жаль, мол, девушку! Ни за что пропадает! Смотрит Зубайда, что это еще за жалельщик нашелся? Смотрит и видит – незаметно для всех приплелся к столбам Азанчы, встал рядом, вздыхает. Наверное, соскучился по хозяину.

И вдруг Зубайда, кинув взгляд на приближающуюся мать, на молчащего Азрета, срывает с себя шаль и ловко набрасывает ее на шею осла!

Гневные глаза Шамды сразу теплеют. Она останавливается. Смеются парни, смеются девушки, улыбаются старики.

Не смеется Зубайда.





Не смеется Азрет. Он стоит, широко расставив ноги, смотрит колючим взглядом на Зубайду, без слов понятно – спрашивает: «Зачем ты это сделала?»

Стоит рядом и Азанчы, тянет свою серую шею к Зубайде, словно благодарит за щедрый подарок.

И тут Мурат поспешил на помощь другу. Он громко затянул старинную песню о красавице Актамак:

Поведу я тебя под венец.
Вместо повода – белая шаль.
Актамак, дорогая моя,
Ничего для тебя мне не жаль.

Думал Мурат – подхватят парни, дружно зазвучит хор во дворе, забудут люди о поступке Зубайды. Но напрасно он вспомнил именно эту песню. Как только пропел Мурат про шаль, снова раздался хохот. Очень уж был смешон Азанчы в своем алом наряде. И кто-то из парней, перебивая Мурата, начал другую песню:

О лунолика! Белый платок
Так красив на твоих плечах,
Твоя белая пышная грудь
Часто снится мне по ночам...

Если смешно, кумышанцев не надо просить смеяться. Они охотно делают это и без всякой просьбы. И снова во Дворе Унуха обрывается песня: нельзя же петь и смеяться сразу! Даже старый Айдамбул сдержанно улыбается.

Не смеется Зубайда.

Не смеется Азрет. Громко, упрямо он начинает петь:

Ой-ра, лани пасутся в горах,
Лишь потом идут к роднику.
Сразу сватать тебя не стану,
Не держи на меня обиду,
Но не вижу в тебе почему-то
Тех достоинств, что видел раньше...

Теперь уже не смеется никто. Ни Зубайда. Ни Мурат.

Ни Азрет. Только серый осел скалит свои желтые-желтые зубы.

Но что осел понимает в любви? Зря он приплелся сюда, не вовремя приплелся. Приплелся и разрушил замок любви, который с такой робкой надеждой воздвигали двое влюбленных.

Впрочем, в жизни нередко так и бывает: одному ослу ничего не стоит мигом развалить то, что воздвигалось огромным трудом.



15. Сенокос

(из Синей тетради Хохалая)

Летом в Кумыше едва ли не самое важное дело – сенокос. Косят высоко в горах, косят поблизости от аула. В нашей бригаде такой порядок. Первым идет тамада Айдамбул. На втором месте либо Даут, либо Хаджи-Даут. Их спор второе место никто в Кумыше решить не может. Никто не помнит, кто из них раньше родился. Правда, сам Айдамбул точно помнит, что Даут родился в тот год, когда на скот напал мор. Так же хорошо он помнит, что Хаджи-Даут появился на свет летом, в год засухи. Но вот какой год был раньше – это Айдамбул забыл. А поэтому решил: по четным числам на втором месте будет косить Даут, по нечетным числам – его приятель. Четвертым с косой идет Унух. Пятое, шестое и седьмое места занимают по старшинству сыновья Ачея.

В нашей бригаде есть еще один спорный вопрос – кому заниматься стряпней? Младшему сыну Ачея или мне? Когда я был в санатории у моря, самый младший из сыновей Ачея таскал воду, варил суп, мыл посуду. Но стоило мне появиться, он взялся за косу, а я остался у очага: Айдамбул боялся за мое больное сердце. Даже со здоровым сердцем не каждый может косить, а уж что обо мне говорить? Я надеялся, что Айдамбул в конце концов позовет меня. Но прошел день, другой, третий. Старик молчал.

На четвертый день я потихоньку выбрал глухую лошину неподалеку от коша и каждую свободную минуту стал бегать туда с косой. Я косил и утром, и в полдень, когда солнце становилось таким ярким, что косари ложились в тени на часок, и ночью, если светила луна. Айдамбул был прав – сердце мое бурно протестовало. Махну косой раз десять, и становилось так трудно дышать, что я садился, отдыхал. Но постепенно я отдыхал все реже и реже. К концу недели без передышки косил уже больше часа, и сердце уже не колотилось, как раньше, беспорядочно и гулко, а билось ровно, хотя и несколько учащенно. Тогда я откладывал косу, брал вилы, принимался складывать сено в копну. Четыре копны я сложил за неделю. Я тщательно считал, сколько за это время накосила бригада, сколько приходилось на одного косца. Выходило – почти в два раза больше, но ведь никто из них не возился с обедом... Вчера косари заметили копны в моей ложине.

– Какой-то шабашник объявился! – негодовал вечером Айдамбул. – Лошину выкосил! Никто не видел этого жулика?

Пришлось признаться, что это моя работа. Айдамбул ничего не сказал, не похвалил, не поругал. Только взгляд его стал на минуту теплее. А утром он оставил сына Ачея готовить обед, а мне велел идти со всеми.

– Будете махать косой поочередно, – сказал он. – День ты, а день он.

В первый день я больше всего боялся, что не выдержу, свалюсь. Часто казалось, еще взмахну косой, и все – конец, упаду. Но не упал и вечером вернулся вместе со всеми усталый, но счастливый.



Ночь тихая. Над шалашом горят звезды. Лежим, не спим еще. И вдруг Айдамбул ни с того ни с сего спрашивает, какие три профессии самые древние, самые почетные на свете? И сам себе отвечает:

– Было у одного старика три сына. Когда они выросли, то пришли к отцу и задали тот же самый вопрос, что я сейчас вам задал. «Много на свете дел, – ответил им отец. – Надо что-нибудь знать обо всем и все знать о чем-нибудь одном. Выбирайте себе дело сами, каждый по своему вкусу». «Я хочу стать пахарем, – сказал старший сын. – Хочу растить хлеб на земле». «Я буду воином, – сказал средний. – Я хочу защищать землю нашу от врагов». «А я попробую стать поэтом, – сказал младший. – Пусть мои песни радуют братьев, пусть они помогают им пахать и воевать».

«Все эти три дела почетны и нужны, – ответил им отец. – Но вам мой совет. Ты, будущий пахарь, должен три года быть воином. Земля, которую ты защитишь в битвах, станет тебе гораздо дороже. Ты, будущий воин, должен три года пахать и засеять землю, чтобы хорошо узнать, что ты защищаешь от врагов. А ты, младший сын мой, если решил стать поэтом, всю жизнь должен быть и пахарем, и воином. Только тогда твои песни будут близки и понятны братьям твоим...»

Ни слова больше не прибавил Айдамбул. И каждый из нас мог думать что угодно о том, почему Айдамбул рассказал притчу. Я лежал, смотрел в ночное небо и думал. Если он рассказал для меня, значит, знает о моей мечте стать писателем. А если знает, верит ли он, что я могу им стать? Если не верит, то спасибо хотя бы за то, что разрешил косить. Значит, поверил, что могу стать настоящим косарем. Сам я это понял только после сегодняшнего дня! Я лежал, руки, ноги, поясница ныли от усталости. Но сердце мое билось спокойно, ровно.

А утром я спустился в аул – должен был приехать дядя. Он любил меня и заботился, как о родном сыне. Приезжал он к нам довольно часто, помогал, как мог. Жил он в Карачаевске, в тихом, чистом, живописном городке, в двенадцати километрах от Кумыша.

На этот раз дядя приехал по очень важному делу – он предложил нам с бабушкой переехать в город: возникла возможность вступить в кооператив и получить квартиру. В Кумыше скоро начнется строительство крупной ГЭС, и наш домик и еще одиннадцать соседних домов снесут. На их месте проруют канал, и воды реки Зеленчук сольются с Кубанью.

Многие наши соседи уже покинули дома, получили за них от государства деньги и теперь живут – кто в другом ауле, кто в городе, а кто и в самом Кумыше новый дом строит. За наш скромный домик государство тоже заплатило, но очень щедро – так нам кажется с бабушкой. Этих денег вполне достаточно, чтобы купить кооперативную квартиру...

Уже много лет дядя говорит со мной, как с взрослым. Ни разу, даже когда я был совсем маленьким, он не говорил мне нежных слов, не нянчился со мной. Но это не мешало мне ощущать его любовь ко мне.





Дядя и теперь говорил со мной серьезно и просто. Он был доволен, что я побывал на море, что теперь работаю вместе со всеми. Он сказал, что я возмужал за это лето, и спросил, что я думаю по поводу переезда.

– А что сказала бабушка Агаз? – спросил я.

– Агаз сказала, что ее внук уже мужчина, а все большие дела в доме испокон века решает мужчина.

– Да, решать ты будешь, – подтвердила мне бабушка. – Сколько ни осталось жить, этот остаток проведу там, где ты будешь. Говори, Хохалай, где жить станешь, гдепустишь корни, где будешь стариться. Решишь уезжать из аула, поеду вместе с тобой.

– Только думай скорее, – добавил дядя. – Учти, в городе можно поступить в педагогический институт. Учитель – профессия благородная. И если станешь педагогом, у тебя будет что сказать детям. Ты жил в ауле среди интересных людей и благодаря им жизнь уже знаешь...

А я не мог дать дяде точный отчет – до института еще целый школьный год. И расставаться с аулом, где родился, где прожил, где множество друзей, где все знакомо и привычно, нелегко. Корни, глубоко ли, не глубоко, уже пущены, и обрывать их трудно. Все равно, что пересаживать взрослое деревцо из родной почвы в другую.

Но в этом дядя со мной не согласился. Почва, собственно, та же. Приживутся корни, деревцо устоит. Ведь город не за горами, рядом: в аул потянет – полчаса езды на автобусе.

Наверное, дядя был прав. Он лучше меня видел будущее. Еще два-три месяца, и все равно придется переселяться. Стройка ждать не будет. Надо принимать решение. Но почему-то я не мог сразу сказать ни «да», ни «нет».

– Ну ладно, – согласился дядя, – не буду тебя торопить. Пусть твое решение созревает постепенно, как яблоко. Тогда оно будет верным.

Я проводил его, глядел ему вслед и думал: если бы у меня были племянники, я для них хотел бы быть таким же дядей, как мой...

16. Шамда

Даут как-то рассказывал на Синем холме такую историю. Поссорились однажды два горца и стали искать встречи подальше от аула, чтобы люди не видели, как они схватятся, чтобы не начали разнимать. И встретились, наконец. Хотели друг к другу броситься, но их разделяла река.

– Если бы вода в Кубани не была бы так высока, добрался бы до тебя! Добрался, и тогда ты никогда больше не встал бы на ноги! – кричал один.

– Если бы река не была такой широкой, я перебрался бы на другой берег, и ты запел бы по-другому! – отвечал ему второй.



Тяжелые, как булыжники, слова летели с одного берега на другой. Но особенно вреда они не причиняли, и тогда противники стали бросаться настоящими камнями. Долго швырялись, но и это не успокоило их сердца. Обессилев, враги свалились на траву и с ненавистью уставились друг на друга. Но лежать без дела они не умели, и один предложил:

– Давай проклинать друг друга. И да достигнут цели мои проклятья, если ты виновен передо мной, а если я виновен перед тобой – пусть сбудутся твои слова!

– Согласен! – сказал, второй горец, – начинай!

– Пусть руки твои отсохнут, пусть из трубы твоего дома дым никогда не идет, пусть овцы твои в горах ждут, пусть на огороде твоём вместо картошки камни растут!..

До вечера проклинал горец врага – могучий у него был язык. Но и он в конце концов устал.

– Я длинных проклятий не знаю, – сообщил второй горец, когда наступил его черед. – Пожелание мое короткое. Пусть сделает тебя Аллах хотя бы на месяц мужем Шамды из аула Кумыш! Скажи «аминь», если не боишься!

– Чтоб язык твой отсох! – крикнул первый, но сказать «аминь» побоялся.

Даут, конечно, несколько преувеличивал. Но в одном он был безусловно прав – в последнее время никто из кумышанцев вслух не высказывал желания жениться на Шамде. Нрав у нее был весьма воинственный, хотя в свое время отец Шамды Алий считался в ауле Джазлык, где они жили, самым тихим и робким мужчиной. Кумышанцы до сих пор, если говорят о терпеливом и смирном человеке, прибавляют – «точно Алий».

Не было у Алия сыновей – мужчин, помощников, защитников-воинов, кормильцев-пахарей. Зато семь дочерей было. Шамдой звали младшую. В детстве младшая дочь Алия мечтала превратиться в мальчика, очень она жалела своего тихого, согнутого нуждой отца. От кого-то услышав, что перепрыгнув радугу, девочка может стать мальчиком, однажды утром Шамда проснувшись с криком: «Отец я перепрыгнула радугу! Я стала мужчиной!»

Наверное, этот сон, как говорится, был в руку. Став старше, Шамда и в самом деле научилась всякой мужской работе. Не хуже мужчины умела и сено косить, и скот пасти, и колоть дрова. Да и с годами сумела сохранить хватку, мужество. Не всякий мужчина мог бы за год поставить себе такой дом, какой соорудила Шамда, – высокий кирпичный, под красной железной крышей. Айдамбул, когда хочет похвалить Шамду, говорит: «Твоему платку могут позавидовать многие папахи...»

Да и коммерческими способностями Аллах Шамду не обделил. Вместо одного огорода, как у всех, она всегда ухитряется засеять картофелем два. Вместо положенного числа овец у нее всегда паслось голов на десять больше. Да и рынок она ездила гораздо чаще, чем другие кумышанки.



Раз даже Шамду на общем собрании пытались к порядку призвать. Из района начальник один приехал, большой разговор был, но Шамда всех переговорила. Хотели с ней беседу провести, но беседу провела она – так уж получилось.

Ачею, фельдшеру, после его нравоучительного выступления сказала:

– Воспитатель! Тебе только говорить всякие умные вещи! Ты сказал: труд – почетное место. Кто спорит? Почетное, Аллах свидетель. А как ты сам трудишься? У кого царапина – тому зеленку дашь, а у кого чирей – тому черную мазь, а что ты еще как врач умеешь делать? И вообще, где ты больше проводишь рабочего времени – в амбулатории или у пивного ларька? А может быть, в будке сторожа, где хорошо завешены окна, где никто не видит, как сладко дрыхнешь целыми днями?

– Останови свою мельницу! Замолчи, не позорь наш род! – попытался вступить за друга Ачея Унух.

Но и Унуху она нашла, что сказать.

– Ты не язык мой останавливай, – заявила ему Шамда. – Ты руку свою остави, когда в безлунные ночи она по привычке к колхозному скоту тянется!

Досталось и физкультурнику товарищу Текееву, который выступил на этом собрании с длинной речью:

– Ты здесь целый час кудахтал, как курица, которая снесла золотое яйцо! «Законы», «общественный долг», «сознательность» – так говорил, будто никто, кроме тебя, об этом не знает! Будто ты один в Кумыше понимаешь, что такое общественный долг! Лучше скажи, почему до сих пор школьный двор стоит без ограды? Каждую весну дети деревья сажают, а к осени школьный двор как пустыня! Кто виноват? Ты скажешь – поросята парикмахера Феди зелень во дворе губят. А я скажу – не вали на поросят! Они не стоят, как ты, вытянув шею и устремив глаза вдаль – откуда, мол, к нам коммунизм придет? Они двор топчут, потому что ограды нет... Вот собрал бы ребят и забор бы поставил!..

Отвела душу на собрании Шамда. Начальник из района ей несколько раз намекал, что иногда лучше помолчать, чем много говорить. Ведь язык дан человеку один, а уха два. Значит, и надо чаще ушами пользоваться. Но Шамда на намеки никакого внимания не обращала. Тогда начальник прямо сказал, что она отняла у собрания слишком много времени и, наверное, устала сильно – пусть отдохнет, если хочет.

– Я не устала, – сообщила Шамда. – Не затыкай старухе рот. Если не выворюсь, пухнуть начну, толстеть буду!

– Судя по твоей фигуре, ты еще никогда слов в себе не задерживала, – поделился своими соображениями начальник. – Я бы сказал, что ты даже слишком стройная.

– И ты можешь стать стройным, – ответила Шамда. – Поменьше кушай, побольше говори. А когда Азрет, сын Даута, и наш зоотехник въезжает в твой двор, приторочив к седлу жирную тушку барашка, гони его прочь. От мяса





фигура портится. Особенно – от чужого мяса! Если и дальше будешь подарки принимать, твой живот так отвиснет, что свои колени только в зеркале сможешь увидеть!..

Остер язык у Шамды. Даже миролюбивая Агаз, бывало, ее одергивала. Шамда и не оправдывалась. Она говорила, что свои недостатки сама знает. Но другой ей быть нельзя – она женщина, а женщину часто обижают. Мягкой и тихой может быть та женщина, которая мужскую опеку и защиту имеет. В детстве женщину отец оберегает, в молодости – муж, в старости – сын.

– А меня некому защитить, – говорила Шамда. – Отца давно в живых нет, муж с войны не вернулся, а сына я родить не сумела. Мой язык – моя защита. Терпеливую овцу все готовы три раза стричь. Нельзя мне без яда...

– Нельзя! – в этом всегда с ней соглашается Даут. – Без крови наша Шамда жить еще могла бы, но без яда нет...

И охотно всем рассказывает, что, когда во время покоса на пастбищах Бийчесына Шамду ужалила змея, Шамда три дня болела, но все-таки выздоровела, а вот змея, ужалив, сразу околела...

Когда Шамда родилась, Алий в первый же день понес дочь на мельницу. Он верил, что если новорожденного занести на мельницу головой вперед – он вырастет человеком умным, острым на язык, а если ногами вперед – новорожденный станет в будущем ловким и крепким. Старый Алий очень хотел, чтобы его младшая дочь не была бы такой тихоней, каким он был сам. Но еще он хотел, чтобы и не подкачало ее здоровье. И, выйдя с мельницы, Алий во второй раз направился к дверям, но по рассеянности, как утверждал Даут, внес Шамду и на этот раз не ногами вперед, а опять головой.

– Вот поэтому и вырос язык у Шамды в два раза длинней и острее, чем положено нормальному человеку, – уверял Даут. – Из-за длинного языка стала короче жизнь мужей. Нас с Хаджи-Даутом военкомат на войну позвал, и ее первый муж – сын Агаз, брат отца Хохалая, – пошел добровольно. Наверное, хотел отдохнуть от сварливой жены. Пошел и не вернулся. А второй ее муж, Чома, сын Зулкуфа, был в Киргизии и погиб там от укуса скорпиона. Вот чего не могу понять, как это мужчина, сумевший столько лет прожить с ядовитой Шамдой, не сумел вынести какое-то насекомое!..

Шамда платила Дауту той же монетой – не говорила о нем ни одного доброго слова. А в день, когда узнала, что глаза Азрета Даутова зацепились за ее Зубайду, она особенно горячо обратилась к Аллаху.

– Создатель наш! Всевышний! – молилась Шамда. – Все мы слуги твои, нет для тебя ни пасынков, ни сынков. Так почему всему нашему роду суждено терпеть обиды от рода Даута? Его отец моего отца безвинно погубил, сам он, сколько может, мне жизнь портит, а теперь еще настал черед моей дочери! Куда же ты смотришь, Аллах справедливый? Отврати сына Даутова от дома моего! Не дай потускнеть моему солнцу, которое благодаря тебе до сих пор хорошо





грело крышу моего дома! Посуди сам, Всевышний, как может кровная вражда наша дружбой обернуться!..

Но, по-видимому, у Аллаха были собственные соображения на этот счет. Азрет продолжал влюблено заглядываться на Зубайду. Шамда продолжала призывать Аллаха в защитники, а Аллах продолжал оставаться безучастным к делам молодых кумышанцев...

Кое-какие основания у Шамды для неприязни к Дауту имелись. Правда, за полвека Кубань унесла в море немало воды, но память у невестки Агаз была крепкая.

С детства Алий жил в нужде, рано осиротел, рано стал в семье за старшего. А судьба все давила и давила, будто испытывала, насколько хватит сил у этого парня. Его приятелю Мырзе, отцу Даута, жилось иначе. В детстве они дружили, но, когда подросли, дороги их разошлись: Мырза был сыном довольно богатого человека, а Алию приходилось батрачить. И жизнь постоянно сбивала Алию с ног, не давала приподнять головы. Да и как мог Алий крепко стать на ноги, если у него не было своей земли?

Только к сорока пяти годам он наконец обзавелся землей.

Это было вскоре после революции.

Землю Алию неожиданно продал Мырза. И даже денег не взял. Сказал – пусть отдаст, когда будут. И еще попросил:

– Все нынче смешалась, Алий. В России чудо свершилось: кто сверху был, вниз попал, кто нижним был, тот наверх вылез. На кого укажут пальцем, что он батрачить заставлял, кровь пил людскую, тот пропал. Никто не разбирается. Много у меня недругов, Алий. Не поймешь, кто что про меня сказать может. Я тебя, Алий, прошу: не ленись на слова, если обо мне спрашивать будут. Скажи, что мы с тобой друзьями были, что один кусок хлеба делили. Тебе сказать так – ничего не стоит. А для меня это важно. И еще, Алий, стар я стал, отяжелел, один сын у меня. Теперь уже не справляемся, не можем, как надо, ухаживать за скотом. Страдает скот, тощает. Решил я выделить из своего стада сорок голов и еще овец выделить – пусть твоей долей будут. Бери, пользуйся. От всей души тебе дарю, Аллах свидетель. А если скажешь, что пастбища твоего маловато, – пусть с этого дня урочище Бурула-сырты твоим будет. Если спросят – говори спокойно: «Мое пастбище». А мы с тобой, Алий, свои люди с детства, придет время – сочтемся, не придет такое время – и так проживу...

Мырза обнимал Алию как брата, говорил много ласковых слов, а напоследок предложил породниться:

– Отдавай свою дочь Шамду за моего Даута. Хорошим мужем будет Даут. В голове у него, правда, еще ветер гуляет, но скоро костью окрепнет парень, настоящим помощником будет...

Обещал Алий подумать, но когда ушел Мырза, сказал жене:

– Если спрашивать тебя будут, говори о Мырзе так, как он просил. Нас





от этого не убудет. Грешно не уважать такого щедрого человека. А насчет породниться – это дело. Пусть Шамда сама выбирает в мужья того, кто по душе...

А через некоторое время вызвали Алию в город. Расспрашивали его двое. Один русский, горбоносый, черный, на карачаевца похожий, вопросы задавал, а другой – карачаевец, рыжий, голубоглазый, похожий на русского, эти вопросы переводил.

– Биджиев Алий, сын Сапара? – спросил русский.

– Да.

– Есть сведения, что ты чужим трудом пользовался? Кто на тебя батрачил?

– Оллахий, никто! – удивился Алий.

– Есть у тебя земля, пашни, пастбища?

– Немного есть земли сенокосной.

– Где? Как называется место?

– Красная должна называется.

– А урочище Бурула-сырты кому принадлежит?

– Мне, – ответил Алий. Он решил: зачем же отказываться, если Мырза подарил?

– Так. Значит, твое урочище. По данным комиссии, у тебя сорок семь голов крупного рогатого скота. Правильно?

– Нет, не правильно.

– Ты хочешь сказать, что комиссия плохо считала?

– Хорошо считала. Только два бычка и корова – Батырбековых. Вместе па-сутся со стадом.

– А еще сорок с лишним голов? О них ты забыл?

Алий хотел сказать, что он не забыл о щедрости Мырзы. Но снова решил промолчать: зачем напрасно говорить – ведь не откажется же Мырза от своих слов?

– Так. Значит, и сорок четыре головы в твоём стаде. А овцы? Тягловый скот – лошади, мулы?

– Тоже есть, – признал Алий. – Овцы есть, немного. Один жеребенок есть, не конь еще...

– Значит, не пользовался чужим трудом?

– Своим трудом жил.

– Да сколько же рук у тебя! – возмутился рыжий. – Столько скота на пастбище! Кто же за ним присматривает, кто кормит и поит?

– Сын Батырбека и племянник Батырбека помогают.

– А почему эти двое на твоём коше? – повысил голос карачаевец. – Что они, твои родственники?

– Нет, не родственники. Но они уважают меня и мой род. Поэтому они мне и помогают.

– Все ясно, – сказали ему...





Шесть лет Алий был в далеких от Карачая краях. За это время он успел хорошо понять, почему это сосед был таким щедрым.

Правда, и Мырзе, сколько он ни хитрил, пришлось расстаться с Карачаем. Но ему повезло больше – он вернулся в аул через три года.

– Не плачьте, – отводя глаза, говорил Мырза дочерям Алия. – Скоро ваш отец вернется. Справедливый он человек, тихий. Вины на нем нет никакой. А невинного – хоть в воду бросай, с двумя рыбами в руках наверх выплывет...

Вернулся Алий без рыб, но с тощим фанерным чемоданчиком, худой, грязный, больной. Кашлял он, не переставая.

Незадолго до возвращения Алия Мырза ушел из аула Карт-Джурт. Поговаривали, что он не только колхоза боялся, но и нехорошего огня, который неугасимо горел в глазах подрастающих дочерей Алия. Особенно сильным этот огонь был в глазах Шамды. Огонь этих черных глаз, чувствовал Мырза, в любую ночь мог перекинуться на его старый сухой деревянный дом, мог сжечь и его самого, и семью...

Давно уже покинули этот мир и Алий, и Мырза. А обида все не уходит из сердца Шамды. Крепко засела. Наверное, на всю жизнь.

– Не по злomu умыслу он меня страдать заставил, – говорил о Мырзе перед смертью Алий. – Не гибели моей искал, а своего спасения. Умирая, я прощаю его. И вы, дочки, оставаясь жить, его простите. Я сам виноват – молчал, когда спрашивали. Правду говорить надо было, развязать язык надо было...

Старается Шамда простить, понимает – травой давно поросло прошлое, а глянет иной раз на Даута – и вдруг видит в нем самом Мырзу-погубителя.

17. Рассказ о том, как Даут взял быка за рога

Не раз приходилось Хаджи-Дауту раскаиваться из-за скверной привычки сначала сказать слово, а потом уже задуматься – умное ли это было слово. Припомнив, что случилось накануне за столом у Унуха, старик пришел в отвратительное настроение. Неясное предчувствие своей неправоты одолевало Хаджи-Даута. И вскоре оно оправдалось.

«Видно, Аллах назначил днем моего стыда тот день, когда я, словно рыболовный крючок, прицепился к Дауту, – огорченно размышлял Хаджи-Даут. – Жуликом его называл, вором его называл. А за бедным Даутом даже тоненькой, как волосинка, вины не было».

Когда к нему утром заглянул Хохалай, он сразу понял, что произошла какая-то неприятность.

– Что с тобой, уважаемый сосед? Какая беда приключилась? – обеспокоенно поинтересовался Хохалай. – Не могу ли чем-нибудь помочь?





– Оллахий, немалая беда приключилась, мальчик! Хочется мне сейчас свой стыд под землю спрятать. И что я только Дауту не наговорил из-за этих проклятых часов!

– А что ты ему наговорил?

– Не спрашивай, мальчик! Вид у Даута теперь такой, будто его искусала бешеная собака! – тут Хаджи-Даут постучал себе в грудь, чтобы у Хохалая не оставалось никаких сомнений, кого он имел в виду, говоря о собаке. – Он, несчастный, пытался оправдаться, но я ему и слова не дал сказать. А сегодня полез я за бритвой и нашел часы. Лежат себе на полке, поблескивают. Чтоб им остаться без хозяина, окаянным! Если бы ты сейчас не зашел, Хохалай, я бы их бросил на пол и припечатал каблуком! А теперь смотри, любуйся на мою глупость...

– Ну, стоит ли так огорчаться, сосед? Пойдешь, поговоришь, и все забудется.

– Да разве можно такое забыть? Давай, мальчик, вместе помозгуем, как мне теперь смыть свой грех перед Даутом?

– Простой водой, мне кажется, такой грех не смыть, – улыбнулся Хохалай. – Нужна особая вода и доброе угощение.

– Оллахий, мал, а голову имеешь! Сразу видно, не зря вас в школе учат! – обрадовался хозяин. – Вот что, Хохалай, будь другом, слетай в магазин, а я быстренько гуся ощипаю. Твоя правда, мальчик, в таком деле без красного червонца не обойтись. На обратном пути зайди, пожалуйста, к Дауту и проси его пожаловать. Сильно проси, если упрямиться будет.

Но это утро готовило Хаджи-Дауту еще одно испытание. Не успел Хохалай скрыться из виду, как пришел Унух. Он рассказал такую новость, что старик даже забыл и о своих часах, и о своей вине перед Даутом.

Накануне, улучив минутку, Хаджи-Даут поговорил и с Унухом. Хорошо поговорил, рассказал о своей трудной жизни, о вечных заботах и невзгодах и, набравшись храбрости, попросил его быть сватом к Шамде, обещая за это свою вечную благодарность, уважение и признание. Унух все понял и обещал сделать, как надо.

«Спасибо Аллаху, – решил Хаджи-Даут. – И Унух согласился, и Айдамбул при случае поможет. Вдвоем они в конце концов уломают Шамду. Не камень же она, а женщина».

Не ведал Хаджи-Даут, что Унух все понял, только не понял, чью дыру на чьем бешмете латать было нужно!

Когда вечером после праздника пришло время проводить Шамду, Унух пошел было за ней, но Айдамбул его остановил.

– Не ходи, – сказал он. – Я сам ее домой отведу.

– Отдохни, брат, – возразил Унух. – Я сам ее провожу

– Да я не стал бы тебя спрашивать, хочешь ты провожать или нет! Приказал бы тебе идти с ней, и дело с концом! Сиди. Мне надо поговорить с Шамдой.





– И мне надо! – заупрямился Унух.

– Кто из нас старший? – начал сердиться Айдамбул.

– Ты. А о чем ты хочешь потолковать с Шамдой?

– Сватать буду. Дауту я обещал.

– Я тоже обещал, но не Дауту, а Хаджи-Дауту.

– Оба они одно и то же задумали. Оба хотят, чтобы Зубайда стала женой Азрета. Хватит, если я один поговорю с Шамдой.

– Ты что-то путаешь, брат Айдамбул, – усомнился Унух. – Не знаю, что говорил тебе Даут, о чем он тебя просил. А мое дело ясное. Зубайду ждут у Хаджи-Даута: тяжело в этом доме без женской руки. Давно хочет Хаджи-Даут такую сноху...

– Я лучше знаю, кому нужна сноха! – повысил голос Айдамбул. – Ни Хаджи-Даут, ни его сын и не помышляют ввести в дом Зубайду! И что это пришло в твою глупую голову?

– Голова моя не настолько дурная, чтобы не понять просьбу такого хорошего человека, как Хаджи-Даут! Это ему сноха нужна, а не Дауту!

Так, препираясь, вместе они и пошли провожать Шамду. Айдамбул очень хвалил Чугунка.

– Чугунок – такой человек! Из хвоста летящего орла перо вырвать может! Дикого, как шайтан, жеребца одной рукой подкует! А слово скажет – до самых важных районных ушей дойдет! Весь колхозный скот в руках держит! Чугунок самый образованный зоотехник во всем Карачае!

А по другую сторону Шамды шел Унух и старательно марал Чугунка сажей.

– Только кур может напоить, да и то в дождливый день! Потому что лужи есть! – уверял Унух. – На животноводов кричит! На всех остальных свысока смотрит! Ничего толком не умеет сделать! И даже не признает опыт такого знающего заведующего фермой, как я!..

Зато, превознося Мурата, сына Хаджи-Даута, Унух, по его словам, соло-вьем разливался. Самые теплые выражения нашел и когда заговорил о самом Хаджи-Дауте.

...В этом месте рассказа Хаджи-Даут забыл о гусе, который уже стоял на плите в жаровне.

– Шамда что-нибудь сказала, когда ты обо мне говорил? – спросил старик гостя.

– Да что может сказать Шамда! Она нас с Айдамбулом ругала, а пуще всего на Даута и на его сына набрасывалась. Такие бранные слова находила, что до сих пор у меня в ушах звенят. Но я ей много говорить не давал, – прихвостнул Унух. – Айдамбулу тоже не давал. Я сам, не останавливаясь, говорил все, что нужно было говорить. И если бы меня Айдамбул не остановил, я продолжал бы до тех пор, пока Шамда не сдалась...





– И откуда у бедного Айдамбула сила взялась тебя остановить? – вздохнул недовольный Хаджи-Даут, повернувшись к плите. Он уже понял, что его план снова рухнул. Добряк Унух все перепутал. Ругал Азрета, хвалил Мурата, а о нем самом никто и слова не сказал.

– Оллахий, это ему нелегко удалось! Сначала Айдамбул мне грозил: «Перестань, мол, пока не поздно! Перестань!» А когда я не перестал, он вспомнил поговорку: «Когда у маляра красок много, он и бороду отца по глупости выкрасит». Вспомнили, что он мой старший брат, и я его должен слушаться. Но я и тогда не перестал! И Айдамбул незаметно вытащил руку из кармана, да как стукнет меня кулаком в лоб!

– Ай! Ударил? – заинтересовался Хаджи-Даут. – А ты?

– А что я? Ушел я, а в глазах круги красные, как полтинники. Вот сейчас зажмурюсь, и опять круги мелькают.

– Правильно он сделал! – внезапно заявил Хаджи-Даут. – На его месте я бы тебе еще не так дал!

– Вот и делай людям добро! – опешил Унух. – Ты это вместо благодарности говоришь, сын Кара-Мырзы?

– За что же мне тебя благодарить? Разве я просил Зубайду сватать за сына?

– А разве за себя просил, старый пень?

– За Чугунка просил! – ошарашил его Хаджи-Даут. – И вообще, Унух, что было, то было. Сейчас сюда должен прийти Даут. Давай я тебя провожу по нижней дороге. Учти, у Даута кулаки побольше Айдамбуловых. Узнает он, как вчера ты чернил его сына, покажет глазам твоим не только полтинники. Рубли целые покажет. Да и мне спасибо не скажет. Решит, что хотел вперед его забежать, кусок выхватить, на суженой его сына своего сына женить...

– Шайтан вас разберет! – ругался Унух. – Ты просил поговорить с Шамдой, я и поговорил. Больше никогда не проси, рта не раскрою! Говорите сами, если вы с Даутом такие умные!

– Эх, Унух, заварил ты кашу! Сказал я тебе, чтобы брал быка за рога, а ты пошел и за ухо ухватился! – сердился Хаджи-Даут, провожая Унуха по дороге, которая вела вниз, в аул.

А в это время по тропинке, пересекавшей Синий холм, к дому спустились Даут с Хохалаем.

– Эй, приятель! Дым из трубы идет сильно! Смотри, чтобы гусь не сгорел! – еще издали кричал веселый Даут. – Выходи, хочу посмотреть, как ты будешь краснеть от стыда! Пусть Хохалай свидетелем будет.

Не найдя хозяина в доме, Даут направился к хлеву.

– Что ты там от нас прячешься, кривоногий? Обидел невинного человека, а теперь хоронишься по углам! – распахнул дверь сарая, но Хаджи-Даута там не было.

– Куда ж он девался? – начал было удивляться Даут.





Но удивиться как следует он не успел: из глубины сарая на него медленно двинулся Пестрый – громадный тучный бык Хаджи-Даута. Сопя и отдуваясь, бык без особого интереса оглядел пятывшегося Даута, но вдруг в его глазах, зажглась злобная искра. Пестрый угрожающе склонил к земле голову, нацелился рогами на отступающего старика и издал короткий боевой рев.

– О Создатель! – завопил Даут. – Открыв дверь хлева, я открыл дверь своей смерти! И за что эта скотина так ненавидит мои шаровары?

Даже в самый жаркий день Даут не расставался со своими красными кожаными шароварами – в его ногах давно уже поселился ревматизм. И старик был твердо убежден, что лучшего средства, чем кожаные штаны, против этой болезни нет. Бык, по-видимому, был убежден в другом – в том, что Даут наряжается именно так, чтобы лишь дразнить его, Пестрого. Поэтому, завидев Даута в ярких штанах, бык начинал рваться с привязи, как цепной пес. И каждый раз, когда происходило подобное, Хаджи-Дауту приходилось проявлять немалые дипломатические способности, чтобы приласкать и успокоить Пестрого, не умаляя при этом достоинства Даута, и чтобы вежливо, уважительно спроводить подальше приятеля, не раздражая при этом быка.

Но теперь Хаджи-Даута поблизости не было. И Даут продолжал пятиться, пытаясь сообразить, что следует предпринять дальше.

– Пестрый, Пестрый, Пестрый! – на всякий случай при этом бормотал Даут. – Ты бык умный, ты бык толковый...

Но бык на такую нехитрую лесть не поддавался. Согнув хвост в колечко, он еще ниже склонил рога и мелкой трусцой направился к старику. Размышлять дальше Дауту было некогда. И он тоже неторопливо побежал по двору. Так, гуськом, друг за дружкой они и совершили первый круг. Бык перешел на умеренный галоп. Даут тоже. Хохалай, быстро сообразив, что у Пестрого больше шансов выиграть подобный забег, с криком бросился со двора.

– Хаджи-Даут! На помощь! – вопил Хохалай.

Услышав имя хозяина, Пестрый, видимо, решил до его появления покончить с владельцем нахальных красных штанов. Он рванулся вперед, поддел широким лбом мелькавшее перед ним красное пятно, и облака в небе заметались перед Даутом.

– Оллахий, что будет! – заверещал Даут, живо представляя, как через миг он снова возвратится к земле и бык удовлетворенно посадит его на рога.

Но Аллах поспел вовремя – бык не рассчитал, проскочил вперед на полметра, и старик шлепнулся ему на загривок. Кровопролития не произошло. Верхом на расвирепевшем быке Даут сделал еще один круг по двору. Пестрый мчался вихрем, пытался, словно жеребец, встать на дыбы, скакал шайтаном, но Даут мертвой хваткой держал его рога. «Отпущу, конец мне придет! – справедливо думал Даут. – Этот скот быстро отвезет меня прямиком в Черное ущелье...»





Поняв, что с длинноногим Даутом ему не удастся справиться на малом пятачке двора, окруженного забором, бык двинулся к воротам на улицу. «О, Аллах, пока этот зверь меня таскал по двору, я еще мог терпеть, – испугался Даут. – Но если он меня вынесет на улицу, опозорит на весь аул! До самой моей смерти кумышанцы смеяться будут!»

Около ворот бык пронесся под огромным грушевым деревом. Старик отпустил рога, выбросив руки вверх, ухватился за толстый сук да так и остался на нем висеть. Бык остановился так резко, что из-под его копыт взлетела земля. Пестрый повернулся всем телом, намереваясь растоптать ненавистные красные шаровары, но позади на траве их не было. Бык удивленно повел башкой, будто размышляя: «Все, что падает, – падает вниз. Так куда же девался этот паршивый старик?» И вдруг прямо перед носом он разглядел длинные болтавшиеся ноги в красных штанах. Обиженно взревев, Пестрый ринулся на них. Даут, висевший как мешок с солью, резко подтянулся, и громадная туша промчалась под ним. Но Пестрый был упрям. Развернувшись, он снова устремился к цели. И снова Даут лихо подтянул свои длинные красные ноги. Со стороны поглядеть – старик, словно молодой гимнаст, пробовал свои силы на турнике-ветке. Вверх – вниз, вверх – вниз.

Но бык атаковал все чаще, все меньше сил оставалось у Даута.

– Держись, – издали кричал спешивший Хаджи-Даут.

Да разве мог он бежать со своей хромой ногой!

– Слезай с дерева! Уже созрел! – восторженно хохотала проходившая мимо Шамда.

«Вот несчастье! – подумал бедный Даут, из последних сил вскидывая ноги. – Принес ее шайтан! Показаться Шамде в таком виде – все равно что по телевизору показаться. Теперь весь аул узнает».

И тут Пестрый, удачно скакнув, подцепил рогом красные шаровары и помчался дальше, увлекая за собой длинное Даутово тело. Словно необыкновенный маятник, Даут, не отпуская сук, вернулся в вертикальное положение. А штаны остались на бычьих рогах. Шамда, изнемогая от смеха, опустилась на траву. Пестрый топтал и порол ногами свой красный трофей, а запыхавшийся Хаджи-Даут вязал его прочной веревкой.

Водворив быка в сарай, Хаджи-Даут торжественно поклялся:

– За то, что ты, Пестрый, чуть не лишил жизни моего лучшего друга, осуждаю тебя на вечную привязь! Из этого хлева ты теперь выйдешь только тушей вкусного мяса! Больше ты никогда не увидишь свежей травы, не увидишь луга, не увидишь коровы! Клянусь, мое сердце будет твердым, как камень!

Даут наконец отпустил сук и повалился на землю. Хохалай помог ему подняться и увел в дом. И тут вдруг Хаджи-Даут решил. Он повернулся к Шамде, все еще стоящей за воротами, и сказал, глядя в землю:





– Не смейся, дорогая Шамда. Не рассказывай никому. Я тебя прошу. Я знаю, у тебя доброе сердце. Аллах не допустил большого несчастья – по моему двору только что бегала рогатая смерть.

И чудо! Шамда перестала улыбаться!

Ободрившийся Хаджи-Даут продолжил:

– Дорогая Шамда, зайди в мой пустой дом хоть на минуту! У меня сегодня радость. Раздели ее с нами.

– Какая же у тебя радость, дорогой Хаджи-Даут?

– Во-первых, Даут остался живой. А во-вторых, у меня нашлись часы с твоей цепочкой...

– С какой цепочкой? – спросила Шамда.

– С той, которую ты мне подарила. Я два дня искал, Даута насмерть обидел – думал, он взял. А сегодня утром нашел!

– Часов жалко было?

– Пусть шайтан себе возьмет часы! – выпалил Хаджи-Даут. – Из-за твоей цепочки, как ребенку, плакать хотелось!

Хохалай, все еще стоявший на крыльце дома, чуть было не свалился: на его глазах свершилось такое, чему никто никогда в Кумыше не поверил бы, даже если бы увидел собственными глазами! Тетушка Шамда, как девушка, залилась румянцем!

– Добрый ты человек, сосед, – негромко ответила она Хаджи-Дауту. – Но зайти к тебе не могу. У твоего приятеля язык длинней, чем у женщины. Наговорит про нас с тобой такого – потом на улицу не покажешься.

– Уверяю тебя, Шамда! Он слова не вымолвит! Я ему сейчас свои новые дигинальные штаны дам, и он будет молчать, как рыба!

– Не дигиналь, а диагональ. Но все равно не пойду. Не уговаривай. В другой раз как-нибудь зайду. Не последний день видимся.

18. Рассказ о том, как Даут нашел камень

Даут был недоволен. Хаджи-Даут все откладывал и откладывал обещанный разговор с Шамдой. Чем больше настаивал Даут, тем сильнее колебался Хаджи-Даут. В последний раз он прямо сказал, что если, мол, Шамда отказала Айдамбулу, то соваться ему, Хаджи-Дауту, вообще, по всей вероятности, не стоит. Крутил что-то старый приятель. Не умолкая, крутилась и пластинка, которая так нравилась Азрету...

Даут решил действовать сам. Но как?

Ему припомнилась одна притча о козле и волке. Увидев однажды волка, козел взобрался на высокую скалу и сказал: «Салам алейкум, волк! Не стучи



напрасно клыками, не боюсь я тебя. И не вращай так страшно глазами, гляди, чтобы из них не посыпались искры, а то хвост подпалишь. Взберись-ка сюда, на скалу, дай попробовать, крепок ли твой лоб». «Эй, козел, – остановил его волк. – Если я бы мог к тебе взобраться, ничего, кроме рогов, от тебя не осталось бы. Это не ты со мной так смело говоришь, это высокая скала говорит...»

Даут решил, что надо найти такую скалу, с которой было бы безопасно говорить с Шамдой. Чтобы перевернуть землю, как-то объяснял ему физрук школы товарищ Текеев, нужен рычаг. Чтобы поговорить с Шамдой, нужно сначала заставить ее замолчать...

К заходу солнца, поднявшись вверх по Черному ущелью, Даут засел в засаду. Обычно по вечерам женщины, возвращаясь с работ, ходили по Кумышанскому ущелью. Но разве Шамда когда-нибудь с кем-нибудь соглашалась? Крутая каменистая дорога, проходящая мимо кладбища, казалась ей короче. По этой дороге Шамда и должна была идти домой.

Сидел Даут, ждал, искал слова для важного разговора. План был простым – сначала попробует убедить по-хорошему, а если не получится, скажет так, что эта вздорная женщина до самой смерти не забудет! Ну, хорошо бы отказала, как все нормальные люди отказывают: «Не нравится, мол, мне просящий дочь мою». Но разве Шамда может отказать по-человечески? Вместо этого поносит и Даута, и сына его, и весь род его до седьмого колена! Хорошо еще, что Айдамбулу, самому уважаемому человеку в ауле, бороду не выдрала, когда он хвалил Азрета...

Не так уж страстно желал Даут заполучить дочь Шамды себе в снохи. Но что делать, если Аллах обратил взгляд и душу его единственного сына на Зубайду? У молодых свои законы, им нет дела до каких-то историй прошлого. И эту независимость, пожалуй, даже надо приветствовать. Уважать надо. Даут, разумеется, приветствовал и уважал, а вот Шамда упиралась, как ослица перед бродом. И Азрет упирался, как осел: другой на его месте на Зубайду и не посмотрел бы больше, все в Кумыше знали, как она Айдамбулова осла в его шаль нарядила. А этот простил, смолчал. Тряпка, а не джигит. Одно слово – Чугун.

«Эй, Шамда, не тархтела бы ты, как сенокосилка, давно бы мы договорились, не дергали друг другу бы нервы, – раздумывал Даут. – Ачей верно говорит: неприятности укорачивают жизнь гораздо быстрее, чем водка. Поэтому лучше пить и веселиться, чем быть трезвенником и копать в собственных неудачах. И если бы Шамда была человеком, то мы бы с ней поговорили как люди и повеселились на свадьбе, и не пришлось бы сидеть и прятаться за кустом, как мальчишке...»

Даут не зря сидел за кустом. Его оперативный план точен. Он опирался на старый обычай, а его Шамда не посмеет нарушить. Покойный муж Агаз Хамзат, свекор Шамды, не успел при жизни «раскрыть снохе рот» – не успел ей разрешить разговаривать в присутствии старших родственников. Каждая пожилая женщина в Кумыше помнит, как в старину, войдя в дом мужа, она терпеливо



ждала, пока свекор не решал, что пора ей сделать подарок, пора «раскрыть снохе рот». Теперешняя молодежь не знает обычаев – и парни, и девушки трещат, как сороки, ничуть не стесняясь присутствия старших. А Шамда – старой закалки. И раз Хамзат умер, не успев одарить Шамду, она, хоть режь ее на куски, теперь рта не раскроет, проходя мимо кладбища, где покоится ее свекор. Тропинка, проложенная вдоль кладбищенской ограды, довольно длинна. Шамда будет долго идти, плотно сомкнув губы. И Даут, приступив к сватовству в начале тропы, сумеет выговориться. Сегодня строптивой Шамде не удастся заткнуть ему рот.

Но в этот день Шамда была не одна. Тропинка узка. Положив две длинные тямки на плечи, по ней след в след медленно, устало шли Шамда и Гоштай. Шамда, как положено, молчала. Гоштай, напротив, не закрывала рта. Когда до женщин оставалось шагов пять, Даут шумно выбрался из-за куста.

– Да будет добрым ваш путь, сестры мои! – сказал он самым обычным тоном, будто сидеть за кустом было для него обыкновенным делом.

– Спасибо, Даут, – испуганно ответила Гоштай. – Что это ты делаешь, брат, в таком невеселом месте?

– Я тут, сестры, овец своих искал, – неудачно соврал старик.

Тут и Шамда, не раскрывая рта, ему кивнула.

– С каких это пор твои овцы пасутся в Черном ущелье? – спросила ее подруга.

– С тех самых, с каких мне надо было! Не осуди меня Гоштай, я твоей спутнице два-три слова сказать должен! Прошу тебя – ускорь шаг, а потом мы догоним...

– Говори, говори, Даут. Да пусть тебя ни в чем не осудит Аллах, – быстро согласилась понятливая кумышанка и ушла вперед.

Шамда поспешила за ней, а за Шамдой, высоко поднимая длинные ноги, заторопился Даут.

– Соседка, вот ты думаешь, прицепился я, как репейник к твоему подолу. Потерпи, выслушай до конца, – начал Даут. – Дело серьезное, скрывать не буду. Хоть и говорят, что из кривой трубы дым тоже может прямым столбом выходить, нам с тобой ни дым, ни туман не нужны. Нам правда нужна. Я знаю, ты меня не любишь. Я тоже в тебя не влюблен. Но что значим мы? Самое главное – дети наши. Ведь для них живем. Если любят они друг друга, почему мы с тобой должны их счастьем мешать? Если будем с тобой упрямыться, можем два сердца молодых разбить. Прими, Шамда, сына моего в свою душу. Полюби его. Да и я чем плох? До каких пор вражду ко мне в сердце будешь держать? Какой вред от меня ты видела? Если когда и сказал о тебе глупые слова, так мало ли чего не бывает? Живя на свете, мы можем многое сказать и многое услышать. Так это язык говорит, а уши слушают. А сердце, может быть, и ни причем. Пусть наши сердца отныне друг к другу чистыми будут. Говорят, кто камень бросать умеет, тот в свою голову не попадет. Ну, а если кто не умеет? Если зло какое против





тебя держу, пусть оно на мою голову и сядет! Да и не говорила ты мне никогда, в чем я перед тобой виноват. И сын мой перед тобой ничем не провинился. Знаю, на отца моего покойного обиду таишь. Но, если по совести говорить, я-то чем перед тобой провинился? Я-то чем виноват?

Лучше бы Даут про своего отца не поминал. Шамда ускорила шаг. «Да, ничего страшного он не совершал, – мысленно отвечала она Дауту. – Пусть ты не виноват, только твой отец моего отца погубил! Когда богачи в почете были, твой отец моего в бедняках держал. А когда бедняки в почете жить стали, он его богачом сделал и в Сибирь отправил».

Даут тоже пошел быстрее, заговорил торопливей.

– Хорошенько подумай, – просил он. – Сказав «нет», не руби топором. Вспомни о дочери. Славная девушка Зубайда. Пусть она счастлива будет. Хотя тебя я не очень люблю, дочь твою полюбил крепко. И у худой кобылицы знатный жеребенок может родиться...

Лучше бы и о кобылице Даут промолчал, лучше бы про себя подумал. Шамда оглянулась и, покрутив пальцем около виска, ясно дала Дауту понять, что она думает по поводу его слов.

– Эх, Шамда! Зарой в землю свой несносный характер! Подумай, разве сын мой Азрет – плохой джигит? Разве плохим зятем будет? Неужели другого жениха для своей Зубайды станешь искать? Смотри, Шамда, не будь как тот осел, который все стоял и не мог выбрать, которая из двух охапок сена больше, а в конце концов от голода окошел...

И про осла не стоило говорить Дауту. Шамда все ускоряла шаг, и старик чувствовал, как в нем против воли росло желание сказать что-нибудь такое колкое, чтобы эта несносная Шамда подпрыгнула как коза, которую хорошенько вытянули хлыстом.

– Имей в виду, – пригрозил Даут, – и без твоего согласия свадьба может состояться! Если девушка сама согласна, на веревке ее не удержишь! Как стрелнет твоя Зубайда со двора, так и чихнуть не успеешь!

Будто сани, летевшие с горы, наткнулись на скалу – так резко остановилась Шамда. Она повернулась к Дауту и в упор на него посмотрела. Даут тоже замер и глаз не отвел. Дуэль взглядами кончилась тем, что Шамда медленно подняла руку, остановила ее где-то на уровне Даутова носа и плавно сложила пальцы в красноречивый кукиш.

Подержав эту общепонятную фигуру перед глазами старика довольно долго, Шамда повернулась и почти бежала, словно опасаясь, что слова Даута, которые теперь непременно скажет, догонят ее и вонзятся спину.

– Если рысь твоя такова, – закричал Даут, – каков, твой галоп? Если оседлать тебя и взять хорошую плетку, на больших скачках можно первый приз ваять! Где в наших краях найти такую кобылу, которая могла бы с тобой состязаться!..





Шамда еще прибавила скорости, нагнала Гоштай, остановила ее и, схватив за плечи подругу, что-то зашептала.

– Что она тебе поет, Гоштай? – спросил Даут, приблизившись.

– Странные вещи она говорит, – растерянно сообщил Гоштай. – Даже неудобно тебе передавать. Ты уж прости меня, бедную. Она говорит: «Не так уж быстра кобыла, как этому старому ослу кажется». И еще говорит: «Если он хоть один шаг за мной сделает, если хоть слово скажет, этой тяпкой я ему башку раскрою».

– Если она так на свою тяпку надеется, так что бежит от меня, будто ей сзади перцем посыпали?

О перце Даут совсем уже напрасно сказал! Шамда, побежавшая было вниз, вдруг развернулась и помчалась обратно. Лицо ее побелело, ноздри раздулись. Как славный воин Азрет-Алий в давние времена, сверкая разящим мечом, скакал сражаться за веру, так и мать Зубайды неслась на Даута, победно вращая над головой свою длинную тяпку.

И Даут не выдержал. Едва глянув в глаза Шамды, он узнал в них то же самое пламя, что недавно горело в глазах Пестрого. Повернувшись спиной к Шамде, он бросился, вверх по тропинке. «О, Всевышний, кажется, я пересолил! – на бегу думал старик. – Хотел осел рога заиметь, да без уха остался. О Аллах, дай крепость моим ногам! О Аллах, не дай погибнуть от тяпки этой сумасшедшей».

Не лишил Аллах Даута крепости в ногах. Как быстрый олень, как олимпийский спринтер, сделал старик приличный рывок и, убедившись, что расстояние между ним и Шамдой заметно увеличилось, остановился перевести дух.

Не лишил Аллах Даута быстроты в ногах, но удачливости лишил. Старик уже считал, что в безопасности, как вдруг почувствовал, что полой бешмета зацепился за плетеную изгородь. Рванулся Даут вперед, как напуганный конь, но изгородь была крепка, да и бешмет был крепок – капкан не отпустил. «И к чему это вокруг кладбища изгородь ставят? – подумал Даут. – Зачем изгородь? Не будь ее, что бы изменилось? Мертвые отсюда не убегут, живые сюда не торопятся».

А Шамда все приближалась. И чем ближе она была, тем больше сил прибавлялось у Даута. Он бросал свое длинное тело вперед, но карачаевская плетеная изгородь никогда раньше срока не валится, так же как и не рвется добротное домашнее сукно. И вдруг высохший крепкий сук, за который зацепился Даут, не выдержав могучего рывка, сломался. Раздалось громкое «чарк!», и старик, получив свободу и не сумев ею распорядиться по своему усмотрению, свалился с тропки в обрыв. Обрыв был неглубокий, с пологими склонами, поросшими бурьяном, и большой беды в том, что Даут свалился в него, не было. Не было бы, если бы на дне оврага не лежал единственный на сто метров вокруг камень. Именно его и нашел Даут, чтобы удариться о него ребром.





Не почувствовав сразу боли, Даут поднял кулак и погрозил ликовавшей на краю обрыва Шамде. Но боль не заставила себя ждать. Стеная и охая, старик долго лежал в овраге. Пока Гоштай рассказала о несчастье Хохалаю, пока Хохалай передал Айдамбулу, Айдамбул – Унуху, Унух – товарищу Текееву, на небо вышли звезды. Уже в темноте спасательная экспедиция вытащила пострадавшего на тропу и, усадив его на Азанчы, повезла в Кумыш.

Сильно болело ребро, Даут постанывал и на каждой колдобине поминал шайтана. Спасатели шли рядом и утешали старика. А физрук нашей школы товарищ Текеев, воспользовавшись случаем, как всегда, свел разговор к своей излюбленной теме.

– Во всем виноват адат! – говорил он, шагая в ногу с ослом. – Кто придумал это молчание сдох? Хоть пой, хоть кричи, мертвые не услышат. И если бы не адат, твое ребро Даут, было бы цело. Не терся бы ты, Даут, возле кладбища, не испытывал бы терпение Шамды и тогда не узнал бы, насколько глубок этот овраг..

– Ай, чтоб ты скорее в Черное ущелье попал! – морщась от боли, шептал сквозь стиснутые зубы Даут..

19. Последний день сенокоса (из Синей тетради Хохалая)

За лето наша бригада поставила восемьдесят стогов. Высоких, остроконечных, гладких. Но вот сколько выходило тонн, сколько заработала бригада – этого узнать, пока не приедет зоотехник, не замерит, не подсчитает.

Наши соседи-косари из Сары-Тюза тоже завершили работу. Они лежали в шалаше, пели хором песню и тоже ждали своего зоотехника. Они очень хотели бы знать, сколько тонн на брата у нас накошено. Не раз, как бы между прочим, спрашивали. Но мы помалкивали, хотя самим-то было очень интересно выведать, какие успехи у соседей, отстали они от нас или, наоборот, обогнали?

После полудня на белом коне прискакал Азрет, веселый, довольный.

– Будет сено овечкам! – еще издали нам закричал.

Второе место после Зубайды, мне кажется, в сердце Азрета занимают овцы. Он день-деньской возится с ними. И гордость его – небольшое стадо карачаевских овец. Весь Кумыш знает, сколько сил положил Азрет, сколько съел шашлыков со всякими видными людьми, пока не добился разрешения разводить в нашем совхозе эту овцу. Нигде больше эта порода не разводится. Почти совсем вымерла карачаевская овца. Конечно, на первый взгляд ей не сравниться с овцой-кроссберд – у той и мяса, и шерсти много. А карачаевская? Овца мелкая, весит мало, шерсти почти нет, да и та темная, грубая. На такой овце план по мясу и шерсти не выполнишь. Но зато мясо нашей карачаевской овцы настолько вкусно, что, было время, его вывозили за границу. Даже в Париже знают эту





овечку. Говорят, во французской столице был знаменитый ресторан. И славу он нажил благодаря карачаевской овце, на которой держалась его кухня.

Наши овцы славятся и тем, что очень быстро нагуливают жир и весь жир откладывают в курдюке. Курдюки эти громадны и необычайно вкусны. Бывает, курдюк весит больше самой овцы. И поэтому издавна придумали у нас в горах маленькую тележку – пасется овца, а за ней курдюк на тележке катится. Карачаевские овцы неприхотливы, корму им много не нужно, они хорошо приспособлены к каменистым горным пастбищам.

Шесть лет бился Азрет за карачаевскую овцу, ездил в район, в область, в край, доказывал, спорил, убеждал и, в конце концов, добился своего – разрешили разводить опытное стадо. «Эти овечки своим мясом себя спасли, – говорил наш зоотехник. – Пока их мало, и дохода мало. Но со временем, я уверен, доход от них будет огромным, пойдет эта овца по всей области». Азрет в этом уверен. Главная черта его характера, по-моему, уверенность...

Азрет лихо спрыгнул с коня, поздоровался с каждым из нас за руку.

– Спасибо, труженики! – весело сказал он. – Есть что овечкам и коровкам зимой пожевать. На глаз немало у вас сенца, но рулетка точнее скажет...

К ужину Азрет закончил работу – триста сорок тонн намерила его рулетка. Мы все удивились – до чего точно определил Айдамбул на глаз, он сказал, что у нас около трехсот пятидесяти тонн. Но еще больше мы удивились, когда узнали, что соседи тоже накопили ровно триста сорок тонн, ни больше, ни меньше. Такого совпадения даже наш древний Айдамбул не помнил.

Ну, а потом мы веселились. Пригласили на нашу карачаевскую овцу соседей. Потом начали петь – кто кого перепоеет, мы соседей или они нас. Потом начали рассказывать смешные истории – кто расскажет самую смешную. Потом начали бороться – кто кого переборет. С нашей стороны боролись два сына Ачея. Один из них победил, а другого положили на лопатки. Так ни наше звено, ни сарытюзцы и не взяли верх.

И все-таки наше звено напоследок, когда соседи уже уходили, завоевало очко. Завоевал Даут. Гости уже далеко ушли, уже почти взобрались на вершину холма, еще минута, и они бы скрылись за гребнем. И тут вдруг Даут, приложив ладони ко рту, зычно позвал одного из сарытюзцев, Абдул-Керима. Абдул-Керим, низенький толстячок, одних примерно лет с Даутом, услышав свое имя, замер на склоне. А когда Даут призывно помахал ему рукой, выкрикивая какие-то неясные, запутанные слова, он приблизился на несколько шагов и, приставив ладони к ушам, попытался разобрать, что это ему кричат. Даут снова начал выкрикивать совершенно бессмысленные возгласы. Абдул-Керим снова сделал десяток шагов и снова постарался расслышать. Никто из нас не мог понять коварный замысел Даута, а в том, что такой замысел существовал, сомнений не было – не стал бы Даут так старательно коверкать слова и заманивать Абдул-Керима все ниже по склону. Все мы уже забыли, как несколько





лет назад Абдул-Керим вот таким же манером подозвал Хаджи-Даута, и когда, прихрамывая, Хаджи-Даут вскарабкался на крутой склон, Абдул-Керим невинно спросил:

– Уважаемый Хаджи-Даут, у нас ишак пропал. Ты не видел его?

Конечно, в тот раз все долго смеялись. Но, видно, Абдул-Керим забыл о том случае. Иначе, разумеется, не спустился бы вниз со склона. Но он подошел довольно близко, наставил свои уши, словно локаторы, и тогда Даут ясно четко и очень громко, так, чтобы слышали сарытюзцы, прокричал:

– Абдул-Керим! Хаджи-Даут из аула Кумыш велел тебе сказать, что здесь, на нашей стороне, вашего ишака не видел!

Пока одураченный Абдул-Керим, пыхтя, взбирался на холм, с обеих сторон оврага неся веселый хохот.

Я глядел на них и хохотал громче всех – лица моих земляков пылали настоящим, искренним весельем. Это были лица счастливых людей! Такими они оставалась и через час, и через два, всю дорогу, пока на пароконных бричках мы спускались в аул.

Я глядел на земляков и думал, что мое лицо, наверное, было таким же. И долго будет оставаться таким. После стольких трудных и счастливых дней сенокоса я спускался в аул, спускался сильным, бодрым, здоровым.

Наступил вечер. Темнело над головой небо. И сердце мое билось ровно и радостно...

Когда я вернулся домой, бабушка Агаз рассказала новость. Накануне заходил председатель Толпа улу. Сказал, что не отпустит нас в город, ни меня, ни бабушку. Сказал, что Кумыш на весь Карачай опозорится, если мать четверых героев-солдат покинет аул. Сказал, что нам помогут построить новый дом. И место для дома найдется – у Синего холма. И земля под огород найдется. В любом городе, в любом ауле найдется земля для матери фронтовиков. Это сказал Толпа улу. Сыновья Агаз защищали и защитили всю нашу землю. И разве могут земляки забыть об этом?

И завтра, когда снова приедет из города мой дядя и спросит, решил ли я перебраться в город, в кооперативную квартиру, я скажу, что решил навсегда остаться здесь, в Кумыше. И завтра же отнесу в сельсовет заявление. Я попрошу выделить у Синего холма участок для строительства дома. Я знаю – мне поможет весь аул. И придет день, когда Баблина войдет в этот дом, разведет своими руками огонь в очаге. И в нем, в этом новом доме, начнется новая жизнь. И никогда не кончится. Двор наш никогда не зарастет травой. Двор наш всегда будет чист и опрятен. На дворе этом будут поставлены крепкие дубовые скамьи. На этих скамьях в час моих радостей и в час моих бед будут сидеть мои земляки. И я буду приходить к ним. И я буду делить их радости и горести. Буду слышать их смех и смеяться сам. Буду видеть их слезы и буду печалиться сам. Мне с ними жить, с ними трудиться. Я – кумышанец, как все...





20. Товарищ Текеев

Характер у нашего школьного учителя товарища Текеева непримиримый, бойцовский. Он яростно бросается на любое проявление пережитков. Бросается очертя голову. Он похож на того петуха, который всегда кричал раньше, чем наступал рассвет. А когда его упрекали в этом и просили: «Дай рассвету наступить, не кричи до этого, пожалуйста!» – он отвечал: «Глупые люди! Как же наступит рассвет, если я кричать перестану?»

О Текееве в Кумыше говорят, что еще при собственном рождении он одолел один из пережитков прошлого – при появлении на свет он очутился не в руках старорежимной повивальной бабки, его приняла первая в ауле акушерка.

Фамилия и имя у Текеева «козлиные». По-карачаевски Текеев – значит Козлов, а имя Эркеч – тоже козел, только выхолощенный. Такие козлы обычно бывают жожаками стада. Хаджи-Даут, который недолюбливает Текеева, иной раз называет его Рогатым. Но кумышанцы, как правило, называют Эркеча Аслановича по фамилии, так и говоря: «физкультурник товарищ Текеев». Длинно, зато правильно.

Голова у Текеева уже начала белеть, а там, где еще не побелела, была рыжей. Немало прожил Текеев, но осанка его пряма, как у молодого. Хоть и нелегко труд учителя, а особенно учителя физкультуры, со своими делами Эркеч Асланович справлялся легко. Если бы он занимался только этими делами, пожалуй, на его голове не было бы еще ни одного белого волоса. От районной газеты он поседел. Много писал, часто печатался, и, случалось, даже в областной газете. Он обратил свое перо против пережитков прошлого. Он пристально всматривался в жизнь и, если замечал что-нибудь гнилое в сознании или в быту своих земляков, немедленно начинал искоренять недостатки.

Особенное внимание уделял товарищ Текеев старикам. Среди стариков еще немало приверженцев старых обычаев и законов – адатов. И молиться они не переставали, и в мечеть ходили, и калым получали, выдавая дочерей замуж, и курманлык справляли, когда выпадало какое-нибудь торжество, – короче говоря, старые кумышанцы доставляли непримиримому Текееву немало огорчений. Больше всего ему досаждали Айдамбул и Хаджи-Даут. Если большинство стариков обычно не спорили с Текеевым, слушали, молча, и в худшем случае лишь отмахивались от него, то Айдамбул, а вслед за ним обычно покладистый и миролюбивый Хаджи-Даут, как могли, высмеивали настойчивого физрука школы.

Одно время много споров шло, на каком языке там учиться лучше: на русском или карачаевском? Товарищ Текеев сразу высказался за русский. «В Ростов на рынок поехал, – говорил он, подступая к Дауту, – тебе какой язык нужен?.. А если еще куда дальше поехать захотел?»



Хаджи-Даут, хотя его Мурат давно уже закончил школу, и старик мог бы не вмешиваться в нынешние школьные дела, пришел на помощь соседу.

– Как может ребенок, не зная родного языка, хорошо понять русский? На каком языке ему тогда объяснять, как надо говорить и писать по-русски? – спросил он Текеева. – Вот твоя жена – русская, выучила же наш язык лучше своего рогатого мужа!

– Я попрошу без дурацких намеков! – вскипел обиженный физкультурник.

– А я и не намекаю! Я прямо говорю! – ответил Хаджи-Даут. – Все знают, что Текеев по-русски значит Козлов. Хоть по-русски, хоть по-карачаевски, а у козла все равно рога будут... А я говорю, что уважаемая жена Текеева, хоть и русская по рождению, а все наши обычаи знает, свято их соблюдает и на свадьбах, и на похоронах. Скажи, Текеев, это она что, по глупости делает? А шурин твой Андрей? Да умрет он позже Текеева! Хороший он человек, Андрей, хоть и не мусульманин. С нами вместе по нашим законам и на пирах сидит, и умершего на кладбище провожает...

– Остановись, уважаемый Хаджи-Даут! – попросил тогда оказавшийся тут же председатель сельсовета Толпа улу. – Дай и мне слово сказать. То, что у всех людей когда-нибудь один язык будет, – это хорошо. Кто скажет «нет»? Все народы на одном языке говорить будут, все понимать друг друга будут. И, конечно, к тому месту, где такое слияние произойдет, народы придут, не позабыв свой язык, свои обычаи, свои наряды. Они не придут туда голыми. Они не придут туда немymi. И мы, как и все другие народы, придем к тому месту со своим языком, со своими песнями, со своими нарядами. Покажем друг другу свое добро и выберем самое лучшее, самое прекрасное. Растущее дерево, чтобы оно росло быстрее, нельзя каждый день вверх дергать. Можно и корни оборвать...

– Вот-вот! – вскричал Хаджи-Даут. – Правильно говорит наш председатель! Только не все говорит! Я все скажу! Можно оборвать у дерева корни, а можно и грыжу нажать, если сильно поднатужиться! Не рви корни, Рогатый! Лучше с грыжей ходи! И умирай по-своему. И хоронить себя завещай, как хочешь. И закажи, на каком языке тебя оплакивать...

Текеев тут опять не выдержал:

– Пусть меня не оплакивают, когда умру! Чем хотите клянусь, после смерти больше всего буду доволен, если над моей могилой споют хорошую песню...

– Споем, споем, ты только умри! – пообещал Хаджи-Даут. – И уже сегодня закажи Андрею, чтобы сделал тебе гроб деревянный – похороним тебя в деревянном гробу. Первым из правоверных будешь, который в деревянный ящик ляжет!

– А что! Отличная идея! – Текеев совсем на Хаджи-Даута и не обиделся. – Лично я на деревянный гроб вполне согласен! Почему это ты, Хаджи-Даут, думаешь, что лучше мусульман никто о покойнике не заботится? А я тебе скажу, что и среди наших похоронных обычаев есть совсем неважные...



– Без этих обычаев похороним! Не бойся умереть только!

Наверное, эта перепалка продолжалась бы бесконечно, не вмешайся тут Даут.

– Люди, а что тут спорить? Пусть каждый перед смертью говорит, как его хоронить надо. Кто пожелает – в саване, а кто – в гробу. По мне – гроб даже надежней! Что тут спорить? Будем хоронить по индивидуальным заказам. А теперь, наверное, всем домой пора...

– Боишься, что магазин закроют? – повернулся к нему Хаджи-Даут. – Спешу, спеши, жаждущий! Верблюда, ищущего в пустыне воды, без греха можно назвать твоим братом. Ты иди, а я лично отсюда не уйду, пока не втолкую этому пустоголовому, что к чему!

Пришлось тут вмешаться самому старейшему, Айдамбулу.

– Довольно! – строго сказал он. – Оба вы, и товарищ Текеев, и Хаджи-Даут, границ не знаете. Оба, послушать вас, о народе печетесь. Как говорится, и тот, кто чужих быков угонял, просил: «Помоги мне, Аллах», и тот, кто своих быков искал, с такой же просьбой к Аллаху обращался. Спасибо вам обоим. Но будет лучше, если такое дело не только вашими двумя головами решаться будет.

Эркеч Асланович, даже если он в это время бичевал пережитки, умолкал, когда начинал говорить Айдамбул. Побаивался он старейшего. Потому что старейший даже такого языкатого и острого умом, как Мурат, сын Хаджи-Даута, мог в лужу посадить. Совсем недавно был такой случай.

Это случилось примерно за неделю до дня Курмана – праздника, когда в полдень на кладбище приходят старики и старухи, приносят с собой сладости, молятся, поют зикиры – священные песни... Нельзя сказать, что в Кумыше школьники – первоклассники и второклассники испытывали горячий интерес к святой вере, но конфеты, печенье, фрукты, подарки, которые в этот день им охотно раздавали верующие, волновали их, без сомнения, гораздо больше, чем уроки. И, несмотря на грозные речи непримиримого борца с суевериями товарища Текеева, младшие классы в день Курмана наполовину пустели.

Педагогический совет, который собрался по случаю религиозного праздника, понятно, своим решением молитву на кладбище отменить не мог. Эркеч Асланович худел и нервничал: он понимал, что ни дежурство учителей, ни беседы со стариками, ни даже милиционер в Черном ущелье не помогут – человечеству пока неизвестны эффективные меры на тот случай, если школяры хотят удрать из класса...

И тогда Мурат Хаджи-Даутович предложил провести эксперимент.

Вечером, накануне праздника Курмана, школьники старших классов давали в клубе спектакль. Младших ребят в этот вечер тоже пускали в клуб, но с одним условием: привести с собой бабушку или дедушку. Никогда еще в кумышанском клубе не собиралось сразу столько стариков. Даже Айдамбул пришел и уселся среди других седобородых в первом почетном ряду.



Перед спектаклем на сцену вышел принарядившийся Мурат Хаджи-Даутович.

– Завтра, в субботу, о мусульмане, день Курмана! – громко объявил он залу.

– Верно! – отозвался Айдамбул. – Помним. Живи долго, сын Хаджи-Даута!

– Суббота – это выходной день. И когда вы будете праздновать Курман, работа страдать не будет. Желаю счастливо провести этот день!

– Спасибо! Будь здоров! Живи долго! – закричали в зале.

– Но в школе это рабочий день! – продолжал Мурат Хаджи-Даутович. – От имени всех учителей прошу: пусть ваши внуки, дети, правнуки придут в школу. Пусть каждый человек будет там, где ему положено. Место детей в учебные дни – в школе!

Зал молчал. Текеев, сидевший в первом ряду, огорченно вздохнул – этих стариков не так-то просто было уговорить. Но Мурат на сцене и не думал сдаваться. Он еще ближе подошел к рампе.

– У меня завтра, уважаемые старики, пять уроков географии в пяти классах. В каждом классе тридцать учеников, а то и больше. Даже если не явится завтра пятьдесят ребят, значит, у этих пятидесяти будет пробел в знаниях. Пятьдесят учеников так и не будут знать, что земля круглая. Хорошо вам, пожившим на свете. Вы знаете, что земля круглая, а каково детишкам, у которых еще все впереди! Пропустят один завтрашний день в школе и всю жизнь не будут знать, что земля круглая! Разве можно это допустить? Конечно, возможно, и из вас кто-нибудь в свое время урок в школе пропустил и до сих пор не знает, что земля совсем как арбуз, а думает, что она как сквородка?

– А я вот хоть и слышал, что земля – арбуз, – сказал сидевший в первом ряду Айдамбул, но все-таки не верю. Чем вот ты, сын Даута, докажешь, что круглая она?

Мурату, видимо, того только и нужно было.

– А вот и докажу. Только на спор!

– На какой спор? – насторожился Айдамбул. А другим это понравилось.

– Спор – это хорошо! – воскликнул Хаджи-Даут. И друг его, Даут, тоже обрадовался:

– Пусть спорящие сразу по два «хохалая» выставят. Нет, наш спор будет серьезным, – не дал сбить себя на шуточный тон Мурат.

– Условие такое: если докажу, что земля круглая, завтра ни один ученик на кладбище не появится! Запретим ребятам общим решением! И завтра, и в другие годы – в день Курмана ребят на кладбище больше не будет! И пусть ответственными за это станут и школа, и все вы во главе с Айдамбулом.

– Ну и хитрый сын у Хаджи-Даута! – улыбнулся Айдамбул. – А если не докажешь?

– А если не докажу – завтра вся школа организовано, колонной, которой будет командовать Эркеч Асланович, придет на кладбище!



- Текеев не придет! Умрет скорее! – закричал Хаджи-Даут.
- Если умрет – принесем его на кладбище сами! – закричал Даут.
- На спор согласны? – перекричал всех Мурат.
- Согласны!

– Не согласен! – выкрикнул Эркеч Асланович. – Я не желаю отправляться в Черное ущелье ни живым, ни мертвым!

Но его голос потонул в шуме зала. Мурат протянул левую руку – из-за кулис ему сразу подали глобус. Как фокусник, он протянул правую руку – ему подали фонарик. Свет в зале погас. Зажегся фонарик, и учитель направил луч на глобус.

– Смотрите! Земля круглая, как этот шар. Над землей солнце, в полдень солнце прямо над головой. Согласны?

– Согласны!

– Значит, если у нас полдень, то на другой стороне земли, при условии, что она круглая, будет ночь. Видите, мой фонарик освещает лишь эту сторону глобуса. А другая в темноте. Здесь вот – темнота, ночь...

– Сами видим, ночь! – соглашались в зале.

– Смотрите дальше. Вот здесь наш аул Кумыш, – Мурат ткнул в бок глобуса чуть выше границы света и тени. – И если у нас вечер, как сейчас, то на Камчатке, на Дальнем Востоке уже утро. Скоро там наступит рассвет. Мы еще спать не ложились, а у них уже солнце всходит. А если бы земля была плоской, то у всех был бы либо день, либо ночь.

– А как мы узнаем, что у них там сейчас уже солнце? – кричали старики из зала.

– Очень просто! Надо позвонить по телефону и спросить, вошло ли у них солнце. Они скажут: «Да, вошло».

– А кому звонить?

– Знакомым!

В зале снова поднялся шум – кумышанцы, не обнаружив знакомых на Камчатке, вспоминали родственников и друзей в других далеких местах. Вспомнили Али-Хасана, брата Зулима-акки, который жил во Фрунзе.

– Вполне подходит! – объявил учитель. – У нас только девять часов, а во Фрунзе уже за полночь. Заведующий почтой Ахья здесь сидит. Пусть старики идут с ним на почту и звонят Али-Хасану. Пусть Айдамбул идет, пусть Ожай идет, пусть Ханах идет. Пусть откроют почту, закажут срочный разговор и спросят: который там час?

Игра всем понравилась, и хотя серьезный заведующий почтой Ахья упирался, не хотел идти, тем более что его внучка участвовала в спектакле, но Ахью чуть не силой выпихнули на улицу. Через полчаса он и ушедшие с ним старики возвратились. Айдамбул поднялся на сцену. Он сказал:





– Позвонили мы Али-Хасану, спросили, спит ли он. Нет, не сплю, сказал. Вы, сказал, разбудили. Из Кумыша звоним, сказали мы. Что там случилось, взволновался Али-Хасан. Он думал, что-нибудь с его братом случилось. Мы ему сказали, что жив его брат, ничего с ним не случилось. Трубку Зулиму-акке дали. Зулим-акка взял трубку и тоже спросил Али-Хасана, спит ли он. Тут Али-Хасан рассердился: «Да что вы пристали! Спишь! Спишь! Как я могу спать, если с вами разговариваю?» Тогда Зулим-акка спросил, давно ли он лег. «В десять часов лег!» – ответил Али-Хасан. Зулим-акка попросил его говорить честно, сказал, что у нас важное дело. Тут снова Али-Хасан беспокоиться стал. Что, спрашивает, у нас в Кумыше случилось. «Ничего не случилось, – ответил Зулим-акка. – Мы еще не спим. У нас девять часов, коров недавно подоили». Спросили мы, сколько времени сейчас в городе Фрунзе. Оказалось – первый час ночи! «А у нас только девять!» – сказал Зулим-акка. «Ну и что?» – спросил Али-Хасан. Тут Зулим-акка рассердился: «Как это что! Значит, земля все-таки круглая!» Али-Хасан ответил, что знал, что земля круглая, и спросил, зачем его разбудили. Мы сказали, что время еще ничего не доказывает. Время перепутать можно. Курицы вон тоже рано спать ложатся. Может быть, так и во Фрунзе спать раньше легли и будильники переставили? Спросили мы: «А солнца давно у вас нет? Что у вас теперь на небе, солнце или луна?» Али-Хасан совсем на нас рассердился. Слышно было, как босыми пятками о пол топал. Кричал: «Вы там, в Кумыше, с ума, что ли, все походили? У нас тут ни солнца, ни луны! Второй день дождище идет! Когда день, когда ночь, не разберешь!»

Ну, весь зал Айдамбулу в ладони захлопал! Посадил старый молодого, быстрого умом учителя... Однако ребяташки на завтра в школе на уроках сидели. И продолжали у Мурата выпытывать: как же все-таки доказать, что земля круглая, если в ауле, например, нет телефона?

21. Совет на Синем холме

У Хаджи-Даута были все основания, чтобы печалиться. По почте пришла из Москвы бумага: Мурата приглашала приехать какая-то Аспирантура. Кто такая Аспирантура, старик точно не знал, но полагал, что в столице она занимает видное положение. Приглашение было напечатано на красивой бумаге с замысловатой фиолетовой печатью. А главное, эта самая Аспирантура обещала Мурату общежитие. Старик слышал, что в Москве домов много, но с жильем все равно туговато. И если эта Аспирантура давала Мурату общежитие, значит, она располагала сильными связями, сильными друзьями. Хаджи-Даут понимал, что если в Москве, где людей живет, говорят, больше, чем во всем Карачае, не могут найти никого, кто бы заменил его сына, то дело серьезное. Мурату придется ехать. А следовательно, он, Хаджи-Даут, через неделю-другую останется в доме совсем один...





Настроение у старика было скверным, все валилось из рук. В такие дни он обычно шел к своему старому другу. Но теперь идти со своими горестями к Дауту, который вот уже неделю лежал и охал, вспоминая встречу с Шамдой в Черном ущелье, было неловко – у Даута хватало собственных неприятностей.

Хаджи-Даут вышел из дома, бесцельно походил по двору, с надеждой взглянул на макушку Синего холма – а вдруг да случится невероятное, и на вершине, как это уже бывало тысячи раз, покажется знакомая нескладная фигура Даута. «О Аллах, сегодня ты и в самом деле услышал меня!» – не без испуга подумал старик, когда наверху внезапно появилась Даутова папаха, седобородая его голова, узкие плечи, а затем старая бекеша и, наконец, длинные ноги в новых красных штанах.

– Хаджи-Даут! Ты живой? – позвал сверху приятель. Хаджи-Даут не шел, почти бежал, – так обрадовался.

– Как твое ребро, друг? – на ходу кричал он. – Я вижу, Оллахий, ребро твое здорово!

– Ребро здорово, душа болит, – хмуро сообщил Даут. – Давай сядем, поговорим. Не знаю, что делать.

– И я не знаю, – Хаджи-Даут сел и похлопал рукой по траве. – Садись рядом, у меня тоже душа болит. Один я остался. Мурат в Москву едет. Нельзя мне одному.

– Нельзя, – согласился Даут. – Тяжело тебе. Но мне еще тяжелее. Мое горе больше. Твой Мурат уедет. Потом вернется. Гулять будем. А мой Азрет такое надумал – сказать страшно.

– Что еще приключилось?

– Говорит – уедет из Кумыша совсем, если на Зубайде не женится. Не может, говорит, больше страдать.

Старики помолчали.

– Что значит «уедет»? – неуверенно сказал Хаджи-Даут. – Сын должен отца слушать. Вытяни его плеткой, чтоб дурь из головы вышла.

– Много твой Мурат тебя слушает?

– Да, время... Совсем молодежь от рук отбилась...

В Кумыше шла обычная жизнь. На дороге у подножья холма кричали и бегали мальчишки. У дверей магазина продавщица Зухра ругалась с водителем автофургона! Шамда и Гоштай шли к автобусной остановке – видно, решили съездить в город. И никто в ауле не знал, не догадывался, что назревали большие события.

Начало этим событиям положил Даут. Вернее – его яркая неожиданная идея. Оглянувшись, хотя на Синем холме никого, кроме них двоих, не было, понизив голос, Даут сказал:

– Нет больше выхода! Красть Зубайду нужно!

Хаджи-Даут крепче ухватился за свой посох.





– Не дури, Даут! Украдешь Зубайду, Шамда такой шум поднимет – в рай-
коме услышат. Забыл, что ли, твой Азрет – член партии! Думаешь, райком об-
радуется, если он кражей себе жену добудет?

Даут огорченно сопел.

– Если тебе помогать стану, – продолжил Хаджи-Даут, вертя свою палку, –
Шамда меня проклянет. А я, старый дурак, все надеюсь, что она выйдет за меня
замуж. Каково мне одному будет, когда Мурат уедет?

– Да... Если Шамда кричит – далеко слышно, не вдумываясь в слова прия-
теля, размышлял Даут. И вдруг его озарило. Даже морщины на миг будто
разгладились. Он восторженно уставился на друга. – Слушай, ты что сейчас
такое сказал?

– Что я сказал? Мурат вот уедет...

– Да нет! Ты что про Шамду говорил?

– Про Шамду? Жениться я хотел на ней! Вот что! – выпалил Хаджи-Даут.

– Женим! – заорал приятель. – Слово даю – женим! Все, придумал! Не Зу-
байду красть надо! Шамду украдем!

– Ты что, Даут? Спятил?

– Да я серьезно говорю, вдовец старый! Шамду надо украсть! Увезем к тебе –
куда она денется! И ты ей как законный муж скажешь: «Не валяй дурака, ста-
рая кляча! Пусть Зубайда выходит за Азрета! Не позволю рушить счастье мо-
лодых!» Да разве она посмеет послушаться мужа!

– Не посмеет, – робко отозвался Хаджи-Даут.

– И райком доволен будет! – горячо продолжал развивать свои планы
Даут, энергично помогая собственным мыслям руками. – Райком радоваться
будет – мой сын Азрет женится по любви! Разве плохо, если коммунист женит-
ся по любви?

– Хорошо, если по любви. А если Шамда опять не согласится?

– Да как она не согласится! Да по какому праву! Все на нее навалимся – ты
как муж, Айдамбул как родственник, я как свекор! В конце концов, Советскую
власть позовем!

– Да, против Советской власти Шамда не устоит, – снова ошеломленно сог-
ласился Хаджи-Даут. – А все равно на такое дело идти страшно. Никогда в жиз-
ни не воровал жен...

– Но хоть раз надо попробовать! – убеждал друг. – Умрешь, а так и не уз-
наешь, что такое украсть жену!

Даут нарисовал перед приятелем такую яркую картину, что тому показа-
лось, будто весь Синий холм засверкал, умывшись росой. Хаджи-Даут вдруг с
удовольствием представил, как Шамда суетится у печи в его доме, как во двор
к ним приходит поболтать Гоштай и другие ее подружки...

– Единственное осложнение – как ее украсть, крокодила? – задумался Даут.





– Эй! – недовольно сморщился Хаджи-Даут. – Не смей так обзывать мою новую жену! Как огрею палкой по твоей лысой башке, тогда узнаешь крокодила!

– Оллахий, да потерпи, пока Шамда твоей женой станет! Ишь какой нервный! Слова сказать нельзя! Лучше думай, как ее красть будем. Она же так вопить будет, что из города милиция приедет. Тут сильно думать надо. Давай позовем на совет Айдамбула. Унуха надо позвать. Без них ничего не сделаем. В одиночку ничего не сделаем. Как это Текеев говорит? Коллективом братья надо, коллективом красть ее надо...

Даут мыслил верно. Это в старые времена лихой джигит мог в одиночку, без особых хлопот украсть невесту. Шла, например, девушка к реке. На плечах коромысло, мирно покачивались ведра, шла девушка, пела и не знала, что за ней пристально следила пара хищных глаз. Черным ястребом налетал на девушку незнакомый всадник в бурке, бросал поперек седла и мчал в горы, в лес, в глушь, и через несколько дней она уже была в чужом доме, в углу, под белой шалью. Из этого мужниного дома пути обратно не было – разве только в воду, в омут.

Ныне обряд умыкания невесты значительно усложнился. Умыкать можно только с согласия невесты. Нарушить это непрременное условие – не миновать встречи с прокурором. Прокурор, как известно, вообще не одобряет кражи, а уж кражу невест – особенно. Но что поделаешь, если он и она влюблены, а ее отец, братья и слышать не хотят о таком женихе? Нарушить волю близких невеста не смеет – проклянут навеки, и тогда в родительский дом дорога ей до самой смерти заказана. Ни родителей, ни братьев, ни сестер она никогда не увидит, разве только тайком, где-нибудь из-за угла...

Поэтому теперь невест умыкают иначе. Жених собирает надежных друзей, у одного из них обязательно должна быть автомашина «Волга»: у такой машины удобные широкие двери. И в назначенный час девушка отправляется, например, в магазин за покупками. Ее догоняет автомобиль. Останавливается. Из него выскакивают мужчины – среди них, разумеется, и любимый. Хватают невесту, втискивают ее на заднее сиденье «Волги», и водитель газует, что есть мочи. Тут у невесты главная задача – как можно громче кричать. Так кричать, чтобы все слышали, чтобы потом передали родителям, как она, бедняжка, убивалась, звала на помощь! Разумеется, «Волга» долго кружит по соседним аулам, чтобы погоня не сразу напала на след. На след родня невесты, конечно, все равно нападет. Отец и братья ломают калитку дома, где прячутся молодые, во двор врывается вся родня невесты, человек двадцать, а то и тридцать. Они готовы весь дом разнести в щепки. «Выходи! – кричат братья невесты. – Если ты наша сестра, выходи из дома! Мы покажем обидчикам, как красть девушку, словно она овца...» – «С удовольствием вышла бы, но поздно! – говорит невеста, пряча лицо под шалью. – Без вас и дня жить не хочу. Воля родителей, ваша воля для меня священны. Но такова судьба, вид-





но. Я уже в этом доме. Поздно. Вчера надо было меня спасти, чтобы не ночевала я здесь! А теперь поздно!»

После этой торжественной части братья уходят, не проклинают невесту. Не виновата она, не ее воля была. А потом примираются и родители...

Бывает, что невест умыкают без согласия родителей. Обычай строг – пока старшая сестра замуж не вышла, младшая о замужестве и думать не смеет. Ну, а как быть, если старшей сестре не повезло – что ни делай, не сватают ее? Младшей тоже век в девках сидеть?

В таких случаях невест умыкают еще более организованно – родители помогают.

Но с Шамдой был случай особый, Айдамбул, когда узнал, какая идея осенила Даута, сказал:

– Оллахий, в первый раз слышу, чтобы такую старую рухлядь, как наша Шамда, крали! Да если Хаджи-Даут ее пальцем поманит, она сама прибежит!

– Прибежала бы, если бы в ней шайтан не сидел, – заметил Даут. – Ей бежать хочется, а шайтан в ухо шепчет: «Иди, Шамда, в другую сторону!» Вот она всю жизнь поперек и идет.

– Насчет шайтана это точно, – согласился Айдамбул. Он долго думал.

– А что, Оллахий, в этом плохого? – наконец решил он. – Обычай не может счастьем мешать. Если не переломить эту старую дуру – Зубайда и Азрет станут несчастны, Азрет уедет, Зубайда будет ждать – за другого замуж не пойдет, а из-за нее и Баблина будет в девках сидеть, и в конце будет разбито Хохалаево сердце. Да и Хаджи-Даут один будет в своем доме болтаться. А страшнее одиночества болезни нет. Вот так, одной женщине ничего не стоит наворотить гору глупостей выше самого Эльбруса...

– Вредитель она, а не женщина! – быстро вставил Даут.

– Языком молоть – дело не делать! – недовольно буркнул Хаджи-Даут. – Тебе лишь бы женщину обозвать дурным словом.

– Будем красть! – приговорил Шамду самый седобородый кумышанец. – Во всем Карачае начнут говорить: «В Кумыше, мол, девушек больше нет, старух принялись умыкать». Опозорим аул, но все равно красть будем. Ради счастья людского красть будем. Но красть будем по строгому плану...

22. Без туги дождя не бывает

Мирно и размеренно шла жизнь в Кумыше. И только очень внимательный наблюдатель мог заметить, что близ Синего холма происходили едва уловимые перемены. Таких наблюдателей, кроме остроглазой Шамды, в ауле не оказалось.

Прежде всего Шамда заметила, что Хаджи-Даут, несмотря на близившийся отъезд Мурата, неожиданно повеселел. И вдруг заново побелел дом, а остатка-





ми краски вымазал колья забора у калитки и у ворот, отчего вход приобрел вид необычный, даже праздничный.

Затем Шамда заметила, что старик зачастил в магазин и о чем-то подолгу шептался с Зухрой, но, поскольку у Шамды с продавщицей дипломатические отношения были издавна прерваны, узнать подробности не удалось.

Совсем невероятным показался Шамде и тот факт, что Даут теперь ходил совершенно трезвым, а увидев ее, еще издали вежливо кланялся, хотя Шамда каждый раз демонстративно отворачивалась.

И совсем огорчило и озадачило Шамду хорошее настроение Зубайды. Ее старшая дочь вдруг ни с того ни с сего начала петь, по три раза на дню перебиравала свои наряды. Шамда с пристрастием допросила Баблину, но та ничего толкового сказать не могла. Все это было совершенно необъяснимо...

После длительных совещаний с Гоштай Шамда пришла к выводу, что дело плохо. Не мешкая, она пошла в сельсовет.

– Скажи, уважаемый, должна Советская власть защищать одинокую женщину? – спросила она председателя Толпа улу.

– Должна, – уверенно ответил председатель. – Но если ты имеешь в виду себя, то позволь напомнить, дорогая тетушка Шамда, в нашем ауле нет человека, который рискнул бы тебя обидеть.

– Есть один такой человек! Это Даут! Он на все готов!

– Шамда, будь справедлива! – чуть повысил голос председатель. – Даут до сих пор ходит и держится за ребро! Не он тебя, а ты его в овраг столкнула!

– Он сам свалился!

– Может, и сам. Но от тебя бежал!

– Он мою дочь собирается украсть! – выпалила Шамда. – Я сердцем чувствую, украдет он Зубайду. Она песни поет!

– Что? – опешил Толпа улу. Он даже привстал из-за стола. – При чем тут песни?

– А при том! Раз поет, значит, успокоилась. Значит, уверилась, что к тебе придет с этим проклятым Чугунком регистрироваться!

– Если Азрет и Зубайда добровольно решат вступить в брак – охотно их запишу. Закон на их стороне.

– А кто на моей стороне будет? – тут Шамда так стукнула кулаком по столу, что чернильница подпрыгнула. – Есть разве такой закон, чтобы невесту красть?

– Нет такого закона.

– А раз нет – пусть Советская власть меня защищает. Скажи Дауту, что засудишь его, если он посмеет!

– А какие у тебя, Шамда, основания подозревать? Говори факты? Аргументы где?

– Сердце у меня!





– Сердце не факт! Его к делу не подошьешь!

– А почему Хаджи-Даут, лучший Даутов друг, в магазин бегает? Я знаю – он Дауту помогает свадьбу готовить! У Даута бок болит, вот Хаджи-Даут его и выручает!

– Это тоже не факт! Это твои подозрения!

– Так Айдамбул вчера со мной говорил – это опять не факт? Он говорил, что нельзя одной против всех остальных людей идти. У людей, мол, сила, а у одного – только писк!

– Справедливо говорил Айдамбул. Но при чем тут твоя Зубайда?

– А при том, что весь Кумыш говорит, что Зубайда и Азрет – хорошая пара, одна я против...

– Вот и прислушайся! – Толпа улу встал, оперся руками о стол и внушительно произнес: – Прошу тебя, не губи мое дорогое время. У меня дел хватает. Когда украдут твою Зубайду, тогда приходи. А до пожара в колокол не бей. Ни одного факта привести не можешь, а панику поднимаешь! Так целый день попусту говорить будем.

Взгляд председателя сельсовета выражал такую решимость, что Шамда встала и сказала, будто выплюнула:

– Бюрократ паршивый! И на тебя управу найду!..

С этими словами она и вышла, а Толпа улу устало опустил на стул, достал платок и, чертыхаясь, долго тер взмокший лоб...

На следующий день пришел черед товарища Текеева. Он был очень взволнован, население Кумыша наконец достойно оценило его неустанные усилия в борьбе с пережитками! Население, точнее – Шамда, сидело на стуле посреди физкультурного зала, а сам Текеев расхаживал по залу и, когда в дверь время от времени просовывалась ушастая голова, возмущенно взмахивал руками. Голова исчезала, чтобы через минуту-другую снова заглянуть в кабинет.

– Не волнуйся, уважаемая сестра! – вдохновенно говорил Эркеч Асланович. – Ты верно сделала, что пришла именно ко мне. Умыкание невест – позорный обычай! Он унижает, оскорбляет и попирает! Это чистое самоуправство! И в нашем родном Кумыше мы не потерпим, чтобы умыкали человека с высшим педагогическим образованием! Мы не потерпим, чтобы твою и нашу Зубайду насильно ввели в чужой дом! Я подниму этот вопрос на такую высоту, что...

На какую высоту собирался поднять товарищ Текеев, осталось неизвестно, так как в дверь снова вдвинулась мальчишеская голова, и Эркеч Асланович не выдержал:

– Ну что, наконец, случилось?

– Эркеч Асланович, дежурных вызывали?

– Дежурных? Так что же ты сразу не сказал?

– Мы говорили, а вы не слушали.





– Надо было громче говорить! Заходите, ребята!

В кабинет втиснулось несколько мальчишек.

– Дети! – с пафосом обратился к ним преподаватель физкультуры. – Взгляните в окно, за ним наш мирный спокойный Кумыш! Идут люди, ничего не знают, ничего не подозревают. Бредет вон Азанчы...

– Это не Азанчы, – уточнил один мальчик. – Это осел дяди Хасана. Они с Азанчы лицом схожи.

– Не лицом, а мордой! У осла лица нет, у него только морда! Не перебивай!

– Да что вы об ослах заладили! – возмутилась Шамда. – Тут, может, уже преступление совершается! А вы об ослах!

– Не спеши, уважаемая Шамда! – запротестовал Текеев. – Я лучше знаю, с чего начинать! Дети, нашей учительнице, нашей Зубайде грозит опасность! В нашем тихом ауле ее могут украсть и похитить!

Мальчишки удивленно переглянулись.

– Да, дети, не удивляйтесь. В особых случаях учительниц тоже крадут. Как вы думаете, когда могут похитить учительницу?

– Перед контрольным диктантом! – быстро догадался самый маленький ученик.

– Зря я, старая дура, пришла за помощью к твоим малолетним! – огорченно сказала Шамда и встала. – На одного Аллаха надежда!

– Наберись терпения, дорогая Шамда! Помни – Аллах далеко, а Текеев близко! Но не беспокойся. Слово Текеева – железное слово! Все будет в полном порядке!

– Где они, твои порядки? – Шамда все-таки ушла, в сердцах хлопнув дверью.

Но товарищ Текеев не бросал слов на ветер. Не только Шамда, все кумышанцы скоро заметили, что Зубайду, где бы она ни появлялась, упрямо провожала толпа мальчишек. Куда бы ни шла молодая учительница – в школу, из школы, к подругам, в клуб, – за ней, не прячась, следовал шумная стайка мальчишек. Пять-семь провожатых подозрительно оглядывали проезжавшие машины, готовые в любую секунду броситься на помощь. Зубайда сердилась, запрещала, даже всплакнула, но мальчишки были непреклонны – это ответственное поручение физрука превратилось для них в необычную и очень интересную игру.

И даже Азрет-Чугунок, которого все юные кумышанцы уважали за силу и ловкость, ничего не смог сделать. Он даже не сумел толком поговорить с шустрым конвоем своей возлюбленной – мальчишки рассыпались, как воробьи, и вмиг собрались тесной стайкой, как только Азрет, безнадежно махнув рукой, уходил восвояси...



23. Когда Кумыш был темен

Никаких происшествий в Кумыше не наблюдалось. Очевидно, потому, что как-то вечером Текеев публично у клуба поклялся, что тот, кто решится опозорить лучшего члена школьного коллектива, лучшую учительницу, сначала перешагнет через его, Текеева, труп. После этого заявления кумышанцы с интересом ожидали последующих событий, но желающих шагнуть через мертвого Текеева не находилось, и даже Шамда несколько успокоилась. Больше того, она начала – правда, нехотя – отвечать на вежливые приветствия Даута, неизменно улыбавшегося при встречах.

– Что ты все зубы скалишь, Даут? – спросила однажды Шамда. – Чему радуешься?

– За тебя радуюсь, дорогая соседка, – засмеялся старик. – За твое счастливое будущее...

Шамда вновь помрачнела. Очень ей не понравились туманные Дауты слова.

Узнав об этой встрече, Айдамбул пришел к Хаджи-Дауту и еще с порога, не входя в дом, сказал:

– У твоего друга язык длинней, чем у Шамды! Бери моего Азанчы, езжай в Сары-Тюз, собирай родичей. Будем ждать дальше – провалим всю операцию. Даут всем разболтает.

– Завтра? – задыхнувшись, спросил Хаджи-Даут.

– Сегодня!

Вечером приговор был приведен в исполнение. Когда стемнело, к Шамде пришла жена Унуха.

– Шамда, меня Айдамбул прислал, – сказала она. – Велел тебе прийти. Сказал, гости будут. Разговор важный будет.

– Какой еще разговор?

– Не знаю. А люди и в самом деле уже съезжаются. Из Сары-Тюза шестеро прискакало. Говорят, еще едут. Это все родственники Хаджи-Даута.

– Хаджи-Даута? – удивилась Шамда. – А он тут причем?

– Ничего не знаю, говорить не буду. Приходи, раз Айдамбул зовет.

– Нужны мне эти разговоры! – ответила Шамда. Сразу, разумеется, она не могла согласиться. – Ну, ладно, приду скоро. Переоденусь, тогда приду. И передай – не говорить попусту приду, а тебе помогать. Если собирается больше двух мужчин – на них еды не наготовишься.

– Спасибо, родная. От помощи не откажусь. Стол хороший накрыть надо...

Через полчаса Шамда отправилась в гости. К тому времени над Кумышом уже светила луна. Кое-где на столбах, помогая луне, качались фонари. У дома Хаджи-Даута фонарь не горел, но Шамда уверенно шла по знакомой тропинке. Когда она поравнялась с калиткой, из темноты двора вдруг вышли незнакомые мужчины, заслонили дорогу.



– Ты Шамда? – спросил один из них.

– Ну и что? – не робея, ответила женщина.

– Говори, когда спрашивают! – прикрикнул мужчина.

– А ты на свою жену кричи! На меня кричать нечего! Ишь, нашелся один такой! Да если хочешь знать, таким как ты, цена за один пучок рупь двадцать в базарный день!

– Она! – уверенно произнес другой мужчина. – Говорят, другой такой язы-кастой в Кумыше нет.

И тут незнакомцы вдруг подхватили Шамду, накинули на нее не то платок, не то мешок и быстро, сноровисто потащили к дому Хаджи-Даута. Она и закричать не успела, как дверь распахнулась, и ее внесли в комнату.

– Осторожно, осторожно! – услышала Шамда растерянный голос Хаджи-Даута.

– Да что это тебе – пианино? – отозвался один из бандитов. – Нашел ред-кость! Куда ее прикажешь?

Шамду поставили в угол.

Дверь резко захлопнулась, звякнул засов.

– Спокойной ночи, молодые! – захохотали мужчины, и все стихло.

Только тогда Шамда пришла в себя. Освободившись от покрывала, она оправила платье, уселась на кровати и сурово взглянула на жавшегося к двери испуганного Хаджи-Даута.

– Что это значит, сосед? Ты с ума сошел?

– Нет, Шамда, я в своем уме. Я просто тебя умыкнул. В жены взял. По-старинному, по обычаю...

На накрытом столе городская серебряная головка шампанского настолько нелепо выглядела среди тарелок с кумышанскими яствами, с которыми гораз-до лучше гармонируют более скромные напитки, что Шамда сразу поверила, что Хаджи-Даут не шутит.

– Ты что, старый дурак, решил опозорить нас двоих? Сейчас же открой дверь, и я уйду незаметно! Какой срам в нашем возрасте! Кто в ауле узнает – проходу не дадут. Ты соображаешь, что скажет Айдамбул? Ты понимаешь, как все смеяться будут? Мне же не двадцать лет! В жены он взял! Открывай сейчас же дверь!

– Покорись, дорогая Шамда, – тихо попросил Хаджи-Даут. – Дверь мы от-крыть не можем, она снаружи заперта. В окно тоже не вылезешь, кольями под-перты. Смирись. Я один остался – Мурат в Москву едет. И ты одна...

– Почему это я одна?

– Зубайда все равно замуж выйдет. А там, глядишь, Хохалай уведет Баблину. Недолго уже осталось ждать. Что делать станешь? Жизнь идет. Молодые свои гнезда вьют. А я хорошим мужем буду, старательным. В обиду никому не дам.

– Не дашь! Уже дал. Почему не по-хорошему? Почему меня не спросил?

– Да как тебя спросить? Я боялся...





– А кто тебе сказал, что Зубайда замуж выходит?

– Я тебе говорю. Завтра мы с тобой ей разрешим. Они с Азретом пойдут в совет, запишутся. И мы с тобой запишемся.

Шамда, так и продолжая сидеть на кровати, задумалась.

– А если я против?

– Теперь я твой муж, женщина! – строго сказал Хаджи-Даут. – И ты должна меня слушать!

– Да какая я тебе жена, старый! Что ты плетешь! Утром тихо уйду, никто и знать не будет.

– Утром нас весь аул придет поздравлять. Айдамбул, Унух, Даут позаботятся.

– Они все знают?

– А как без друзей? Завтра две свадьбы справлять будем. Уже все давно готово. Полмагазина купил. Все родственники и мои, и твои съедутся. Сегодня всех уже известили.

– Пропавшая, несчастная!

Шамда, сварливая, языкая, бойкая, напористая Шамда, с которой не решались связываться не то что кумышанцы, но даже начальники районного масштаба, вдруг тихо, просто, по-бабьи заплакала. А Хаджи-Даут подошел, опустился рядом на кровать, положил руку на плечо своей жены, притянул ее к себе. Так они долго сидели, и Шамда всхлипывала все реже и реже, все тише и тише.

– Твоя взяла, старый дурак, – вдруг объявила она. – Будет по-твоему. Пусть Зубайда замуж идет. Где у тебя веник? Мусор вы с Муратом развели тут, как в хлеву...

Семейная жизнь Хаджи-Даута началась.

24. Из Синей тетради Хохалая

Падает тихо первый снег. Кружит, ложится на горы и долины, на крыши наших домов, на тропинку, на нас. Мы с Баблиной стоим на Синем холме. Стоим впервые наедине, стоим впервые совсем близко друг к другу, стоим в темноте, которую едва пробивает неяркий свет из окон домов, собравшихся вокруг холма. Руки Баблины в моих руках, молчим, потому что уже все сказано. Мы долго говорили, и на нашем Синем холме не прозвучало ни одного неправдивого, неискренного слова.

Я сказал Баблине, что бабушка Агаз стара, что здоровье ее день ото дня слабеет. И мечтает она об одном – о том, чтобы увидеть меня счастливым. Иначе ей трудно будет умирать. А счастливым я могу быть только с Баблиной.

Конечно, с какой стороны ни подойди – жених я незавидный. Ничем не блестящий жених, и сам слишком молод, и домик наш скоро снесут, а другого пока





еще нет, самое главное – один я, нет у меня родни, никого, кроме бабушки Агаз и дяди. А Баблина ответила, что самое главное – это любовь. А она есть. Остальное не беда. Я молод, но повзрослею, даже если бы этого не хотел. Нет дома, будет, аул весь поможет. Так заведено в Кумыше. Нет родственников – найдутся. Объявятся, когда мы поженимся, Шамда мне станет тещей. Шамда сама вышла замуж, значит, теперь у меня будет и тесть – старый, добрый друг нашего отца Хаджи-Даут. А если он мне тесть, то его сын Мурат теперь мне приходится шурином. Моя двоюродная сестра Зубайда тоже вышла замуж. Выходит, Азрет, мать Хорасан, его отец Даут – тоже стали моими родственниками...

А когда Баблина родит детей, когда они вырастут, сыновья мои женятся, дочери мои выйдут замуж – и родня моя будет расти. Будут мои близкие влюбляться, будут свадьбы, будут рождаться дети, и все мы, кумышанцы, переплетемся друг с другом, как зеленые ветви одного дерева, корни которого так крепки и сильны, что никакая беда, никакой ураган никогда не вырвет это дерево из земли, не повалит его на землю...

Падает первый снег. Летит, покрывает землю. Вся земля к утру станет белой. Холм, на котором мы стоим, высок. Когда я обнимаю Баблину, мне кажется, что холм становится еще выше. Он растет, он поднимает нас к небу, к высокому темному небу, с которого летит этот белый чистый снег. И с высоты я гляжу вниз и вижу, как прекрасна наша земля, эта круглая, полуприкрытая облаками наша планета. И все люди на ней мне дороги, потому что все они – жители земли. И дорога мне вся земля...

Я гляжу с высоты и думаю, что этот прекрасный зеленый шар, не будь на нем моего аула и моих аульчан, был бы просто похож на холодный каменный мячик, летящий в холодном пространстве неведомо куда, неведомо зачем.

Но есть на земле мой аул, мой Кумыш, есть мои кумышанцы. Я думаю сейчас: земля вечна и вечны люди на ней – мои земляки.

25. Слово прощанья

Давно известно: если хозяин плох, гостю неловко. А если гость оплошал, неловко хозяину. Поэтому, взяв в руки чашу прощанья, подумай хорошенько, гость наш. Подумай о том, что скажешь нам на прощанье.

Говори, гость наш! Опустив глаза долу, сомкнув уста свои и наострив уши свои, мы готовы услышать любое слово твое.

Но помни и слова древних: «Плохой гость обычно хозяевам льстит». Поэтому если ты отыщешь самые красивые слова и станешь, не жалея меда, наши недостатки к достоинствам причислять, то мы окажемся в неудобном положении перед тобой.

Но также и знай, что слова напрасной хулы ранят сердце больше ножа. Если, нахмутив брови, станешь говорить, что хлеб наш невкусен был, постель





наша жестка была, дом наш неуютен был, на улицах наших грязь, а сами мы неприветливы, хитры, зловредны, клянемся – ты нас сильно обидишь.

Мы для тебя ничего не жалели. Что было, то и положили в котел. Но за это не ждем от тебя благодарности. Таков закон гостеприимства.

Говори правду, наш гость! Говори прямо, что понравилось тебе у нас и что не понравилось. Говори нам! Оллахий, нехорошо будет, если нам ты не скажешь правды, промолчишь, отведешь глаза, а потом за нашей спиной ославишь, станешь ругать, или в газету напишешь, или по радио ни весь мир объявишь. Какая в том польза для тебя и для нас?

Никакой!

Но знай также, если даже решишь просто так, без всякой пользы дурное о нас сказать – говори. Мы простим, мы смолчим – ты гость. И для нас это главное.

А может быть, мы зря опасаемся? Может быть, ты и не собираешься говорить о наших недостатках? Может быть, ты их не заметил?

Так или иначе – говори все, что думаешь. Мы слушаем тебя, ждем.

И, столько молчав, ты произносишь «спасибо»? Желаете нам счастья, изобилия, здоровья? Говоришь – до новой счастливой встречи?

Спасибо, гость, за эти слова! Пусть счастливой будет твоя дорога. Пусть тебе на пользу пойдет все, что выпил у нас, что съел. Не осуждай, если наши блюда и напитки были не очень изысканны. Под простым небом живем, и блюда наши простые, и люди мы простые.

Не осуждай нас также, если рассказы наши были скучны. Мы искренне хотели тебе поведать о нашем ауле. Не осуждай нас, если заметишь в наших рассказах малый смысл или вообще не обнаружишь никакого смысла. Значит, мы просто не умеем рассказывать.

А если скажешь, что в карачаевском языке много прекрасных слов, и спросишь, как так случилось, что в этих рассказах вместо таких слов появились совсем другие слова – кривые, худосочные, слепые, хромые слова, – тогда мы ответим тебе, как ответила та кошка... Когда хромоногую кошку спросили, почему она не ловит мышей, то она ответила: «Не потому не ловлю, что боюсь, что мышей станет меньше, а потому не ловлю, что ловить не могу».

Мы тоже не утверждаем, что карачаевский язык исыяк. Нет, просто мы, по видимому, не сумели воспользоваться его богатством...

Что-то ты на двери поглядываешь, гость наш? Понимаем: пора.

Пусть ровной будет твоя дорога!

Пусть тебе предстоит свершить еще немало добрых дел!

И пусть удача ждет тебя на каждом шагу!

До скорой новой встречи. Надумаешь снова заглянуть в Кумыш – будем рады. Встретим, как доброго старого друга. Наш дом – твой дом, дорогой гость.

И пусть наша новая встреча с тобой будет не за горами!



Драматургия





Батырджаш и храбрый козел

Одноактная пьеса-сказка

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА:

1. Батырджаш
2. Кюндюзбий – Князь дня
3. Кечебий – Князь ночи
4. Храбрый козел

Картина первая

КЮНДЮЗБИЙ И КЕЧЕБИЙ

Батырджаш – маленький горец-крепыш – сидит на скале над аулом и плачет. Долго ли занимался бы он этим недостойным мужчины делом, – неизвестно, но выскочил из-за камня белобородый старичок...

Кюндюзбий: Эх ты, плакса, плакса, чего кур сметишь? Не стыдно ли тебе реветь, словно дитяти малому?

Батырджаш: Стыдно, разумеется, но несчастье всех заставит слезы лить.

Кюндюзбий: Знаю, о каком несчастье говоришь.

Батырджаш: Живой души в ауле не осталось. Ни людей, ни животных нет – один я остался на свете. Ты – первый, кого я встретил из людей. Прости, добрый старец, но кто ты? И откуда?

Кюндюзбий: С Эльбруса, та из вершин его, что повыше, – это мой замок. А кто я, ты, наверное, слышал, я – Кюндюзбий, тот, кто днем царствует над миром.





Батырджаш: А-ха! Так это ты Кюндюзбий?! Значит, ты есть. Значит, не сказки рассказывал о тебе мой дед! Вскоды зеленеют, травы вырастают, скот тучнеет благодаря тебе, так говорил мой дед. С неба тучи ты разгоняешь, с лица земли беду и горе уничтожаешь, ты добрый, ты щедрый, ты золотой, так говорил про тебя мне мой дед. Он не говорил мне, что ты коварный, что ты жестокий, что ты злой...

(Вырвав нож из ножен, подсакивает Батырджаш к старику и приставляет острый кончик лезвия к его горлу.)

Куда делись стада овец, покрывающие собой наши горные склоны? Куда делись табуны лошадей? Куда ты дел отца и мать, мою сестру, моих близких, всех моих земляков? Где народ мой? На небе, на земле, в лесу упрятал, под водой скрыл? Скажи немедленно, иначе прощайся с жизнью. Считаю до трех, раз... два... т-р-р...

Кюндюзбий: Эй-эй, осторожней, душенька мой! Не то горло невинному перережешь. Народ твой под землей томится, скудным хлебом кормится. Но я не виноват. Я к тебе как друг, как советчик, как помощник явился.

Батырджаш: Не заговаривай зубы мне! Если ты царь, ты и виноват. Не будь на то воля царя, ни слеза, ни кровь с его подданных не капнет, ни волосок с головы не упадет, ни одна несправедливость на земле не совершится.

Кюндюзбий: Днем я царствую, не ночью, а несправедливость страшная совершена ночью. Князь ночи виноват, он ночью царствует...

Батырджаш: И днем, и ночью один царь правит. Двух царей не бывает, нет. Так что признавайся во всем, если жить хочешь.

Кюндюзбий: Клянусь, не виноват я.

Батырджаш: Не клянись.

Кюндюзбий: Прежде чем отнять жизнь мою, ответь мне на один вопрос. Ты все лето бегал по лесам и горам, искал встречи с людьми, не встретил никого, пока я сам к тебе не явился. Так?

Батырджаш: Ну и что же?

Кюндюзбий: А то, что я не виноват. Не веришь моей клятве?

Батырджаш: Нет, не верю, чем ты можешь подтвердить свою клятву?

Кюндюзбий: Посмотри-ка вверх, если не веришь, видишь по небу лисица летит?

(С удивлением поднимает взгляд к небу Батырджаш: как это может лисица летать? В это мгновение Кюндюзбий отводит от себя приставленный нож и дует на него снизу так сильно, что нож, вырвавшись из рук Батырджаша, улетает в небо, как будто резина какая-то потянула его вверх за рукоять. Немало времени проходит, пока он, снова опустившись, не вонзается в землю между Батырджашем и Кюндюзбием.)





Кюндюзбий: Согласись, джигит, велика сила правого. Я прав, и сам видел ты, какова сила одного моего дуновения. Это дуновение – правда! Невинного и нож стальной не должен резать. Попробуй сам еще раз, ударь меня своим ножом, если недостаточно убедился. Бей им сюда – не сразит он меня.

Батырджаш: Нож и правых, и неправых сразит, если достаточно острый...

Кюндюзбий: Ну, тогда смотри сам.

(Схватив нож, Кюндюзбий бьет им в живот. Но странное дело – нож отскакивает от его тела, словно оно скрыто невидимым железным щитом.)

Батырджаш: Прошу меня простить, дорогой Кюндюзбий! Кажется, я погорячился. В самом деле, правда на твоей стороне. Прости меня.

Кюндюзбий: Ничего, ничего. Молодости свойственна горячность. Оставим это. Поговорим о деле. В темноте и тесноте, не зная путей к свободе и отвыкнув от солнечного света, живет в мрачном подземелье твой народ. Оставаться им в неволе или нет, зависит только от тебя. Я сюда явился узнать, готов ли ты проявить мужество, стать настоящим мужчиной во имя избавления людей? Или не готов?

Батырджаш: Даже смерть я готов принять во имя этого.

Кюндюзбий: Умереть – этого мало. Чтобы стать мужчиной, нужно гораздо больше. Знаешь ли ты, что такое мужественный мужчина?

Батырджаш: Об этом пел песню дед мой. Помню ее всю:

Если любишь ты других,
Если зависти не знаешь,
Если корысти не знаешь,
Если голод ты выносишь,
Если холод ты выносишь,
Если мало можешь спать, –
Ты мужчина настоящий!
И в огне ты не сгораешь,
И во льду не замерзаешь,
И сирот оберегаешь,
И отчизну защищаешь,
И овец приумножаешь,
Значит, ты и есть мужчина!

Кюндюзбий: Ай да молодец! Судя по всему, тебе давно ясно, что не всякий носящий папаху может называться мужчиной! Верю, что твои слова не будут расходиться с делами.

Батырджаш: Готов-то я на любое дело. Только не знаю, что сделать, чтобы избавить своих пленных земляков от несчастья.





Кюндюзбий: Я пришел тебе сказать, что ты должен делать. Три полных месяца ты должен ухаживать за тощим, комолым козлом. Кормить, поить его, чтобы он сил набрался, окреп, пасти его и чутко стеречь. Так стеречь, чтобы и волосок с его шкуры не упал.

Батырджаш: Отец и мать мои в подземной темнице томятся, и в это время я буду пасти комолого козла?! Укажи лучше мне дорогу к той тюрьме, чтобы я мог ее разрушить или сжечь дотла.

Кюндюзбий: Не разрушить ее тебе, не сжечь. Тюрьма эта каменная, расположена она в железной крепости, а крепость находится под могучей горой, а гору ту стережет такой страж, к которому человек подступиться не сможет.

Батырджаш: Что же это за страж? Скажи, и я готов с ним сразиться. Посмотрим, кто из нас мужчина.

Кюндюзбий: Докажи это любовью к животному, которое поручается с сегодняшнего дня тебе. Сегодня ночью будь на опушке леса за аулом. Козел сам тебя найдет. Сумеешь за ним ухаживать как настоящий горец – он за три месяца окрепнет, наберется сил, и, самое главное, вырастут на его голове два могучих рога. Вот тогда и может помочь козел тебе в твоей беде.

Батырджаш: Хотя и нет у меня на лбу могучих рогов, я готов биться с кем угодно, только скажи все-таки, с кем?

Кюндюзбий: Всему свой черед. Через три месяца узнаешь, с кем ... Еще раз повторяю: умеи беречь и холить козла, пусть и волоска его никто не тронет.

Батырджаш: Буду беречь как зеницу ока. Клянусь!

Кюндюзбий: Верю твоей клятве, сдержишь ее. Последнее, что хочу сказать: запомни одну песенку. Кто знает, любая беда может приключиться, тогда спой её, она подбодрит и тебя самого, и козла.

Песенка про козла

Бап-бап-бап-ба-хан,
Где ты бродишь, Кабланхан?
По долинам, по горам.
Бродит храбрый мой козел,
Любит просо мой козел,
Кучерявый мой козел.
Грызет кору мой козел,
Ведро бузы пьет козел,
Кечебиа бьет козел,
Всех победит мой козел,
Всех храбрее мой козел,
Всех сильнее мой козел,
Кучерявый мой козел!





Теперь прощай. Встретимся ровно через три месяца. Помни об одном всю жизнь: велика сила правды, правду и нож стальной не режет. Счастливо тебе оставаться, храбрый Батырджаш!

Батырджаш: Счастливого пути тебе, добрый Кюндюзбий!

Оба расходятся. Первый в сторону Эльбруса, второй, напевая услышанную песенку и приплясывая, в сторону леса.

Картина вторая

КЮНДЮЗБИЙ И КЕЧЕБИЙ

Плывет среди звезд рогатый месяц. Плывет спокойно, ровно, но, услышав грозную мелодию, внезапно зазвучавшую, месяц вздрагивает, кружится на месте и наконец, словно испуганный дикий олень, стремительно мчится по ночному небу.

Из темного леса выходит странный чернобородый старичок и на ровной полянке начинает плясать, как шайтан, мурлыча какую-то бессмысленную песенку, выхватывая иногда из-за пазухи кинжал, вертя им над головой и снова пряча за пазуху.

Заметив, что месяц убегает в горы, он прерывает пляску и сердито говорит, обращаясь к нему:

Кечебий: Эй, полоумный, куда скачешь сломя голову? Замри на месте. Ночь должна продлиться. Есть у меня одно темное дельце, до рассвета я должен это дельце сделать, иначе мне каюк. Так что стой на месте, не шевелись...

(Месяц послушно замирает на месте, а старичок, напевая песенку, снова продолжает свою нелепую пляску.)

Бессмысленная песенка

Уф-чуф-тхий,
Тохий-мохий,
Чуф-муф чохий,
Апхий чохий,
Яр-мо возь-ми,
Двух крыс запряги,
Си-том, си-том
Во-ду тас-кай,



Купу купуа,
Антус на хан-тус,
Мозед, мо-зел,
Тоц-щай ко-зел,
Ча-ран ма-рав.
Победит ба-ран,
Чоз-л-моз-лу.
Смерть, смерть коз-лу,
Трам-трум-трым-таш,
Заснет, заснет
Хур-хур Батырджаш!

(Остановив пляску, старичок обращается к зрителям.)

Не понравилась вам моя песенка? А хороша ведь! Чем чаще я ее пою, тем сильнее становится мой железнолобый, стальнорогий, алмазнокопытный золотой баран...

Но прежде позвольте мне вам представиться, не узнали вы меня? Я сосед Кюндюзбия. Говорят, что я очень похож на него, кстати. Точно такой же, словно близнец, только я немножко почерней. И борода моя, как вы видите, и мысли мои, и сердце мое черные, потому что я – князь ночи – Кечебий. Днем мой сосед сильнее меня, к сожалению, но зато ночью я ему и пикнуть не даю. Меньшая вершина Эльбруса – это мой замок. Почему мой замок меньше замка Кюндюзбия?! Терзает, гложет меня черная зависть к соседу. Ох, как мучительно сознавать хоть маленькое преимущество своего соседа. Но ничего... Скоро я устраню это его преимущество. Скоро его замок станет ниже моего – мой баран снесет железным лбом, стальными рогами его макушку, пусть баран только еще сил себе прибавит. Хотя он сейчас очень сильный. Один лишь комольый козел мог бы с ним состязаться в силе и ловкости, тем более, что Батырджаш его откормил за эти три месяца, у козла сегодня и рога выросли, но сил достаточных он не набрал, как ни стерег его Батырджаш, я все же сорвал два козлиных волоска – первый раз со спины, второй раз с бороды – и убавились поэтому силы его вдвое, сорву третий раз с хвоста – и совсем конец будет бедному козлу. И барана он моего тогда не сразит, и крепость мою не повалит рогами. Скорей бы они сюда пришли, Батырджаш третий месяц не спит, измучен, сегодня не выдержит, сомкнет тяжелые веки, тогда я и подберусь к козлу. Пусть только ночь не кончается. Эй, полоумная башка, опять норовишь за горы скавиться?! ЗаMRI, ни с места, тебе говорю:

Уф-чуф, буф-туф,
Та-ран, ма-ран,
Живи ба-ран,
Бас- бец, бас-бец,



Коз-лу ко-нец!
Трум-траш трум-траш,
Хур-хур Батырджаш.

(Гремит вдруг гром, слышен свист крыльев и ветра, с неба ли, из-под земли ли, но перед пляшущим Кечебием внезапно появляется Кюндюзбий.)

Кечебий: Откуда ты взялся? Как ты смел нарушить границы моего времени? Ночь еще не кончилась, солнце еще не взошло, сгинь с глаз моих!

Кюндюзбий: *(к зрителям):* Простите меня, товарищи. Месяц уже должен был уступить свое место солнцу, ночь – дню. Поэтому я и явился сюда, ведь я обещал Батырджашу встречу через три месяца, срок этот истекает сегодня...

Кечебий: Еще много воды утечет, пока день наступит. До рассвета еще далеко. За это время многое может случиться и с козлом, и с пастухом.

Кюндюзбий: *(к зрителям):* Поспорили мы с этим типом *(указывает на Кечебия)* три месяца назад. «Не выдержит испытания маленький Батырджаш, – сказал он, – не сумеет ухаживать за козлом как положено, не хватит у него ни сил, ни мужества.» Я сказал наоборот. Сумеет он и честь свою мужскую уберечь, и козла уберечь от всех невзгод. Я оказался прав.

Кечебий: Если ты прав, мой баран потерпит поражение, моя крепость будет разрушена, моя власть творить ночью на земле пакости будет уничтожена, а Батырджаш даст волю моим узникам. Но ты не прав, не бывать этому никогда. Не выдержал испытания Батырджаш.

Кюндюзбий: Выдержал!

Кечебий: А два волоска, которые я сорвал? Не доглядел он, получается.

Кюндюзбий: Хитростью своей и коварством ты воспользовался. Зажег оба раза в небе молнии, ослепил его на мгновение и сорвал...

Кечебий: А сегодня с хвоста сорву. Не вздумай помешать мне. Сам знаешь: ночью один мой мизинчик тебя одолеет. Даже волосок с моей бороды сильнее тебя. Привяжу им тебя вот к тому дереву, и шевельнуться не сможешь...

Кюндюзбий: Знаю, ты и на это способен. Но солнце-то все равно взойдет когда-нибудь. Взойдет – и порвется твой волос, развяжутся руки и ноги мои, и я тебя отлуплю, отделаю, как Шахарбий своего ишака отделал однажды, особенно если Батырджаша тронешь.

Кечебий: Ответь, пожалуйста, на один мой вопрос, что ты так безумно влюблен в этого человечка?

Кюндюзбий: А ты почему его ненавидишь?

Кечебий: Потому, что ты его уж сильно любишь!

Кюндюзбий: Я люблю его как представителя рода человеческого.





Кечебий: А я ненавижу тоже именно за это: он – человек!

Кюндюзбий: О солнце мое! Что за болезнь у моего соседа – людей не может выносить! Рад помучить их! Поиздеваться! Помыкать ими всячески! Сгоняет население целых городов и сел в чрево горы и заставляет копать от зари до зари руду, добывать золото и серебро. И кормить этими презренными металлами, набивать брюхо своему барану, чтобы тот жиром заплыл.

Кечебий: Разве не правильно я с ними поступаю? Разве люди не достойны такого с ними обращения? Я ли их загоняю в мрак и мглу подземную? Страстью одержимы они, страстью к наживе, к накопительству – эта страсть и загоняет их в мой темный замок. Выпускаю я на волю своего золотого барана в лунную ночь, и он, сияющий как солнце, приводит ко мне назад жителей сел и городов, соблазненных блеском его золотого курдюка. И я заточаю их, беру в плен, пусть днем и ночью копают богатства гор, если так безумно гнались по пятам золотого животного. Ты прав в одном: презираю, ненавижу, не выношу людей, за что же их и любить-то можно – за красоту, за бескорыстие, за доброту, за светлость души и ума, за другие достоинства, которых нет у них и в помине?

Кюндюзбий: Нет потому, что не видишь. Не туда смотришь, сова ночная!

Кечебий: А ты, крот слепой, что хорошего в них увидеть мог? Сколько раз мы об этом разговоры затевали. Только и знаешь, что твердишь: прекрасен человек, могуч человек, красив человек!

Кюндюзбий: А ты, как испорченная пластинка, знаешь одну строчку одной песни. Лжив человек, жаден человек, хил человек, слаб и ничтожен человек. В чем ничтожество его? Разве не доказал за три месяца силу, выносливость и мужество человека тебе даже маленький мальчик?

Кечебий: Так это ты ему помогал все время. А не то он давно сел бы в калошу, в лужу позора сел бы!

Кюндюзбий: В чем же помощь моя ему, к примеру?

Кечебий: Стал, к примеру, он с голоду подыхать, ты деревья на его пути вырастил и на них плоды сочные развесил!

Кюндюзбий: Но ведь ты до этого, кроме всех прочих грызунов, расплодил целое королевство быстроногих мышей, продырявили они мешок и муку последнюю его растащили, как ты того и хотел. Потому и развел я на земле и плоды, и ягоды, и арбузы, и дыни. А мышей укрощать поручил я кошкам, которых я прислал, чтобы они были в союзе с человеком против его врагов.

Кечебий: Батырджаш уважения был бы достоин, по-моему, в том случае, если бы сам со своими трудностями справился, без чьей-либо помощи.

Кюндюзбий: А разве мало он сделал сам достойного признания и уважения?! На пути его ты колючки вырастил, а он научился шить обувь для босых





ног своих. Преградил ему путь реками – плавать научился. Населил ты озера и моря крокодилами – он лодку придумал и поплыл. Превратил ты землю в знойную пустыню без капли воды – он догадался колодцы вырыть. Оковал морозами, оледенил ты землю – он огонь научился добывать и согрелся у костра. Заполнил ты землю змеями и другими гадами ядовитыми – он научился находить нужные травы и исцеляться от ран. Честь и хвала силе и разуму человека! Могуч и прекрасен человек. Он рожден для счастья, как птица для полета!

Кечебий: Какие же счастливицы они, если они мои подневольные рабы, мои пленники?

Кюндюзбий: Они будут свободны. Потому что человек без свободы жить долго не согласится, разрушат они твою крепость тьмы и выйдут навстречу светлому солнцу.

Кечебий: Кишка у них тонка, все они трусы.

Кюндюзбий: Среди людей всегда есть герои. Есть известный тебе Батырджаш, он и есть один из героев! Потому ты и хочешь его погибели, кинжал даже спрятал за пазухой.

Кечебий: И погублю. И его, и козла. Даже если мир перевернется. Ничто не остановит меня. Месяц над нами свидетель, погублю.

Кюндюзбий: Безвинного и нож не возьмет. Нету его вины ни перед кем!

Кечебий: Возьмет. Если жизнь он сегодня не потеряет, так, по крайней мере, свободу. Будет подобно кроту, как и сородичи его, рыться всю жизнь в земле.

Кюндюзбий: Клянусь ярким солнцем, которое скоро взойдет над землей, что ты глубоко заблуждаешься. Человек, увидевший однажды солнечный луч, никогда не смирится с властью тьмы. Он найдет способ сокрушить стены ненавистной своей тюрьмы и стать свободным и счастливым.

Кечебий: Не торжествуй! Откуда у тебя такая уверенность, что люди непременно будут счастливы, если даже станут свободными, выйдя на свет?

Кюндюзбий: Свободные всегда счастливы!

Кечебий: Нет, не всегда! Чем ты поможешь, если сделаю их несчастными, поразив их болезнями и недугами?

Кюндюзбий: Научу беречь и восстанавливать потерянное здоровье.

Кечебий: А если, допустим, лишу их пищи, пустив на их овечьи отары, на весь их домашний скот полчища волков?

Кюндюзбий: Подскажу им капканы изобрести, охотников пошлю в леса, дав им в руки ружья.

Кечебий: А если заставлю их стрелять из этих ружей не в волков, а друг в друга, чтобы часто вспыхивали жестокие войны?





Кюндюзбий: Научу их тут же понимать цену дружбы и мира.

Кечебий: А если передам им свою хитрость и коварство?

Кюндюзбий: Вооружу честностью и преданностью по отношению друг к другу.

Кечебий: Дам им ненависть!

Кюндюзбий: Дам любовь!

Кечебий: Какой ты изобретательный! Но все равно иссякнешь! Вот, например, что придумаешь, если некоторым дам языки подлиннее и мастерство чернить ближних сплетнями и клеветой? Чего ж замолчал, отвечай!

Кюндюзбий: Придумаю и на это что-нибудь со временем! Найду средство и против этого!

Кечебий: «Придумаю». «Найду». А не устанешь? Надоело мне с тобой спорить. И зачем тебя мать родила на свет? Лучше бы камень родила, и то польза была бы, хоть в стену забора он лег бы!

Кюндюзбий: Если бы камнем я родился, то не в стену забора лег бы, а под ноги тебе, чтобы ты споткнулся. Или лучше на голову тебе упал, чтобы вышибить из твоей башки все твои дурные мысли.

Кечебий: Мастер ты на язык, однако, сгинь-ка отсюда подальше. Душу вон из тебя вынул бы я давно, только солнце тогда не будет всходить и мир покроется горами льда.

Кюндюзбий: Я тебя тоже давно в порошок стер бы, только тогда не будет ночи с ее прохладой, и солнце сожжет всю землю, в пепел обратит. Твое счастье, что ты необходим на свете так же, как и я. Но кто кому должен покоряться, кто из нас должен одолевать каждый раз в ежедневной борьбе, решится сегодня. Это зависит от Батырджаша, если он уронит честь настоящего человека, считай, что ты был прав, тогда люди не стоят любви и уважения. Пусть будет так. Вот, кажется, они идут, слышны чьи-то шаги.

Кечебий: Это они, это они!

Уф-чуф, то-хий,
Мо-хий, мо-хий,
Ма-ран, таран,
Крепись, баран!
Ма-зед, ча-зел,
Кых-кыхх, козел!

(Кюндюзбию) Ты исчезни отсюда. И жди смирно. Хотя постой. Я сам сделаю тебя абсолютно смирным.

(Вырвав из бороды волосок, он привязывает к дереву Кюндюзбия.)





Картина третья

БАТЫРДЖАШ И КЕЧЕБИЙ

Батырджаш: Что-то долго не приходит рассвет. Как страдает сейчас моя мать. Наверное, она поседела. Три месяца кончились. Должен теперь Кюндюзбий сказать, где эта проклятая тюрьма и как мне туда добраться! Слово свое я сдержал – козел мой поправился, окреп, рога на нем выросли!

(С этими словами он садится, Кечебий в это время, подкравшись на цыпочках, бьет его кинжалом между лопаток. Но кинжал отскакивает, как от камня, не причинив ему ни вреда, ни маленькой даже боли. Только спину почесал парень, будто блоха его укусила. Кечебий поражен. Он в растерянности размышляет сам про себя.)

Кечебий: Вот чудеса. В самом деле, невинного нож не берет. Но что ж делать? Придется пустить в ход хитрость. Притворюсь братом Кюндюзбия, которого он сейчас ждет, усыплю так его бдительность и самого усыплю *(подходит спереди)*. Добрый день, Батырджаш! Догадываешься, кто я? Не вставай, пожалуйста, знаю, как ты устал. Я – брат известного тебе Кюндюзбия.

Батырджаш: Похож! Только немного смуглее его.

Кечебий: У одной матери часто дети разные. Одни смуглее, другие блее. Но дело не в цвете кожи. Дело в характере, в свойствах души, не правда ли? Душа человека должна быть чиста и добра безмерно, если он настоящий человек! Мне, например, ночью совсем не спится, если за день не успеваю сделать какое-нибудь доброе дело. Ты, я вижу, молодой человек, очень добр, но почему не выспался ночью? Поспи хоть часок, пока совсем не рассвело. Сон для здоровья молодого организма – вещь нужная! Каждый человек должен беречь свое здоровье – оно достояние общественное...

Батырджаш: Все верно сказано, добрый старик, спать мне очень хочется, но есть вещи дороже и сна, и здоровья.

Кечебий: Что же, например?

Батырджаш: Сейчас, например, это козел. Я обещал беречь его как зеницу ока, а данное обещание надо сдерживать, даже если потеряешь и жизнь, и здоровье.

Кечебий: Так кто же тронет твоего козла-то, милый мой?

Батырджаш: Кто-то каждую ночь ходит за нами по пятам и сразу протягивает руку к козлу, как только я закрою глаза! Два раза, стоило мне во время вспышек молнии прикрыть глаза, чтобы не ослепнуть, – и козел оба раза занемог. А в третий раз, стоило мне притвориться спящим, как чья-то рука выныр-





нула из темноты и дотронулась бы до козла, если бы я не успел дать кулаком по лбу незнакомца. До сих пор болит рука – очень твердый был чей-то лоб.

(Батырджаш трет ушибленную руку свою, а в это время Кечебий почему-то трет свой лоб.)

Кечебий: Да-а! Интересно, кто же это мог быть? Однако, как смог ты без сна вытерпеть столько ночей? Другой на твоём месте сто раз заснул бы! Мужчина, молодец, герой! Слава и честь тебе, выносливый и мужественный джигит! Но теперь все позади. Вздремни немного, ты заслужил! За козлом твоим я присмотрю. Ветерку подуть на него, пылинке сесть на него не позволю, пока ты спишь. Спи, богатырь маленький, спи, герой!

Батырджаш: Неплохо бы поспать, в самом деле, но обещание дал Кюндюзбию.

Кечебий: Вот глупый! Не доверяешь разве мне? Я же брат Кюндюзбия, я освобождаю тебя от этого обещания. Он же и послал меня навстречу тебе, чтобы я дал тебе хоть немного передохнуть.

Батырджаш: А сам он где?

Кечебий: Поспи, он будет сейчас. Расстроит его очень твой утомленный, измученный вид, он же, бедняга, такой сердобольный. Пожалей хоть его, если себя не жалко.

Батырджаш: Ну, в таком случае придется, пожалуй, вздремнуть! Но сплю я очень крепко, разбуди меня толчком покрепче, когда он придет. Я сплю!

Кечебий: Спи, спи-и-и, раз-бу-жу-у-у-у...

(Стоило захрапеть Батырджашу, как Кечебий, подманивая ласковым «тю-тю-тю», двинулся к козлу. Но как только он приблизился и протянул руку к козлиному хвосту, тут же почувствовал внезапный и крепкий пинок по тому месту, на которое садятся. Оказывается, Батырджаш только притворился спящим. Когда же Кечебий повернулся, чтобы выяснить, кто автор пинка, по тому же месту его сильный удар произвели два крепких рога. Никто не сомневается, конечно, что рога эти были именно козлиные.)

Батырджаш: А-ха! Ясно теперь, кто за нами волочится по ночам, как репейник на собачьем хвосте. Чего ты от нас хочешь? Признавайся, пока живой *(выхватывает нож)*.

Кечебий: Ай, джигит, ты с ума что ли сошел? Съем я что ли твоего козла в сыром виде? Хотелось просто погладить его. С детских лет безумно люблю животных.

Батырджаш: Почему же все время крался за нами тайком, словно джин черный?



Кечебий: Да не крался я! В первый раз вижу вас обоих сегодня!

Батырджаш: А как твой лоб познакомился с моим кулаком, если не крался? Какую ты тогда шишку получил – и сейчас еще не сошла! Не брат ты Кюндюзбия, говори, что тебе нужно?

Кечебий: Что ж, придется признаваться! Немного мне нужно – волосок один единственный с козлиного хвоста. Неудобно было просто как-то попросить, вот я и ходил за вами.

Батырджаш: В первый раз вижу человека, который из-за козлиного волоска шишку себе готов нажить на лбу.

Кечебий: Что ж делать, если он мне смертельно нужен. Для лечебных целей. Сынок мой болен. Умереть может, если вернусь без волоска с козлиного хвоста. Знаешь, как его мать убивается, все плачет, все плачет. Как представлю умирающего сына, сам тоже плачу, просто не могу сдержать слез, сами текут (*плачет, качая головой, словно раненый медведь*). Ой, сынок мой единственный, ой, сынок. Как нам на свете жить, если тебя не спасем?

Батырджаш: Не плачь, пожалуйста, не плачь. Вся борода мокрая. Дай-ка вытру ее. Что из-за волоска плакать, убиваться? Получай, пожалуйста (*направляется к козлу за волоском, но останавливается*). Однако я поторопился, козел-то, к сожалению, не мой, он просто поручен мне, я обещал, что и волоска с него не упадет.

Кечебий: Но откуда знать Кюндюзбию о такой потере? Глаз-то у него только два, а волос тьма-тьмущая, не сосчитает, не узнает. Чего же бояться Кюндюзбия!

Батырджаш: Не его боюсь, а своей совести! Нельзя, если обещание дал!

Кечебий: Сам дал обещание – сам и взять можешь назад, если надо для спасения больного.

Батырджаш: Больному готов чем угодно помочь, все для него сделаю, но слову не изменю. Одно у мужчины слово. Подождем, скоро сам Кюндюзбий появится, он обещал.

Кечебий: Что же мне делать? Ждать некогда, сынок умирает. О-о, несчастный я, о-о, несчастный. Опять борода стала мокрая, вытри еще раз пожалуйста. (*Батырджаш вытирает, в это время Кечебий неожиданно связывает ему руки выхваченным из бороды волосом, а еще одним привязывает, его к дереву.*) Попался, стервец маленький, ты сейчас узнаешь, кто я!

Батырджаш: Уже узнал тебя, черная душа! Гадкий князек ночи!

Кечебий: Да, именно он – князь ночи я! А ты – дурачок, как глупо попался мне в руки! Добра хотел сделать – бороду мне вытереть! Не надо никому добра делать, глупый пастушок, никогда!



Батырджаш: Надо делать добро, только не такому негодяю, как ты!

Кечебий: Будешь добро делать – слабым будешь! Вот я никогда ни одного доброго дела не сделал, и поэтому сильный.

Батырджаш: Ты не сильный, а коварный, хитрый.

Кечебий: Сила и коварство с хитростью – разве не одно и то же?

Батырджаш: Совсем разные вещи!

Кечебий: А как же я загнал весь твой народ в тюрьму и держу там в покорности и страхе? Волоска тебе было жалко, я и пустил в ход свою хитрость, теперь всю шкуру с козла спущу, а ты пленником моим умрешь. Два волоска раньше я сорвал, вот они у меня в кармашке. Разорву первый – козел тут же на колени встанет, второй разорву – он и вовсе свалится.

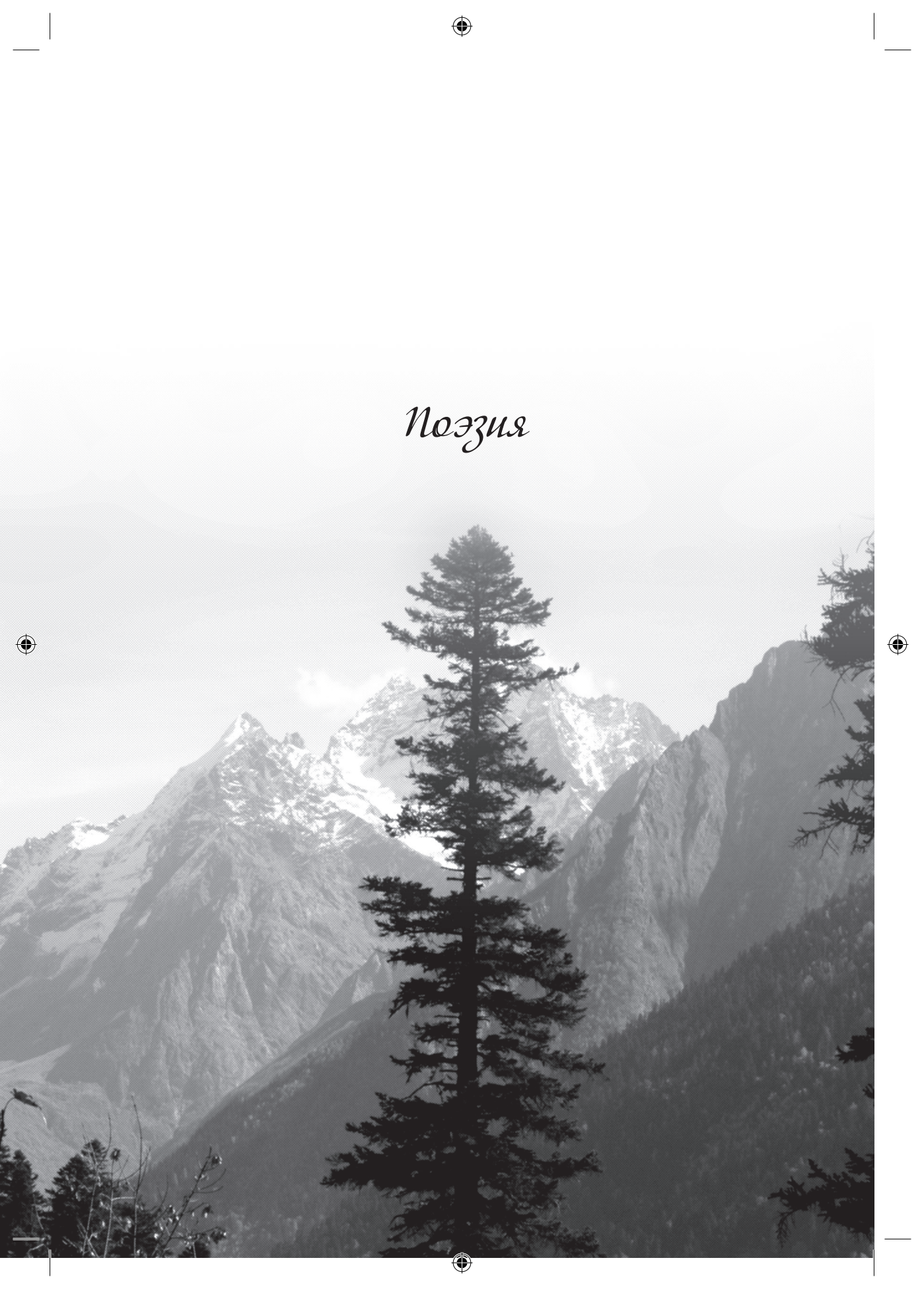
(Приводит свою угрозу в исполнение: начавший убежать козел валится набок, Кечебий идет к нему, приплясывая и размахивая кинжалом. В это время Батырджаш начинает песенку, которой научил его Кюндюзбий, услышав ее и моментально взбодрившись, козел вскакивает на ноги и сваливает Кечебия ударом своих рогов. Еле-еле удаётся ему встать и, дав деру, скрыться в лесу. Сразу же с неба уходит месяц и появляется светлое солнце. Выходит из лесу, потирая затекишие кисти, Кюндюзбий и обнимает Батырджаша.)

Кюндюзбий: Спасибо тебе, маленький, но великий человек. Ты оказался настоящим мужчиной. Нельзя было лучше присмотреть за козлом, как ты это сделал! Теперь он тебя отблагодарит щедро. Посмотри, какие крепкие рога у него выросли! Он победит стража крепости, несомненно, и народ твой будет навеки свободным. Кечебий потерпел поражение, нет у него теперь власти над человеком! Мы свяжем ему руки и посадим на его трон, чтобы он выводил ночью на небо звезды и месяц. А крепость его мы разрушим! Вперед, за мной!

(Все трое устремляются вверх, в сторону Эльбруса.)



Поэзия





«Без путника дороги не бывает
Когда, дорогу проложив, уйдем, –
По ней потомство смело зашагает –
И годы, и века... когда уйдем...»
Так думая, отцы наши ровняли
Дороги, по которым мы идем...

* * *

Если гармонь не бодрит кровь,
Разве она гармонь?
Если звезда не светит,
Разве она звезда?
Если дорога в путь не манит,
Зачем она проложена?
Если не дает огонь тепло,
Для чего разложен костер?
Если человек, как звезда, не светит,
Если человек, как костер, не горит,
Если, как гармонь, не дарит радость,
Если, как упорный путник,
не одолеет ни одной дороги,
То человек ли он?



Молодость бабушки

Морщины бабушки разглаживая,
Побелевшие косы расчесывая,
В потускневшие глаза заглядывая,
Дочь сестры моей,
Девчонка малая,
С удивленьем спрашивала:
– Амма!¹ Что же молодость твоя,
Куда задевалась?
Куда ушла?
Зачем ушла?
А как ушла?
Ускакала на лошадке?
Иль по морю уплыла?
Или птицей улетела?
Сколько ты бы ни жила,
Не с тобой зачем она?
Стали глазки тусклыми,
Стали глазки грустными
(Пожалела старую,
Видно, кукла малая).

Отвечала бабушка:
– Умница глазастая!

Молодость – такое дело:
Глаза – зоркие!
Слова – светлые!
Косы – черные!
Брови – черные!
Зубы – ровные,
Снежно-белые!
Руки скорые –
На дела добрые!
Ничего на всей земле
Нет молодости ценней!

Если, доченька моя,
С земли совсем уходя,

¹ Амма – бабушка.

Я ее с собой возьму,
Быть большому мне стыду!..

Не сбежала, дочка,
Ни в степь, ни в горы
Молодость моя.
Сама по кусочку
Другим на здоровье
Всю я раздала.
Разделила поровну:
Часть отдала дочкам,
Сыновьям – другую.
Часть отдала, дочка,
Дедушке – большую.

А тебе, душа моя,
От богатства я
Вот эти глазки круглые,
Вот эти бровки – дуги,
Вот эти щечки смуглые отдала...

Мой отец

Строим дорогу,
 в горячем пылу
Гулом и грохотом
 мир оглашаем.
Я и отец –
 мы ломаем скалу.
Несокрушимое сокрушаем.
Ахнув,
 железо звенит о гранит.
Стонет гранит,
 и трещит, и гремит.
Снова отец
 поднимает свой молот.
С маху – по камню,
 и камень расколот,
И по округе
 разносится гром.
Не устает
 мой родитель, похоже:
Твердые мускулы
 вздулись бугром.
Ходят, живые,
 под смуглою кожей,
Ну а когда остановится он
И, прислонившись к горе,
 отдыхает,
Кажется:
 весел, разгорячен,
Гору он крепкой спиной
 подпирает.
И на руках
 застывают бугры,
Как повторение этой горы.

Язык один

Помню, давно
 после трудного дня
Так мой отец
 наставлял меня:
«Сколько чего у тебя,
 поглядим! –
Первый урок
 был начат. –
Уха – два,
 а язык – один.
Глаза – два,
 а язык – один,
Знаешь, что это
Значит?
Значит, словами, малыш,
 не сори.
Прежде –
 глаза и уши.
Раз сказал,
 а два посмотри,
А еще больше –
 слушай.
Язык один:
 не два и не три –
Честно всегда говори,
Так говори,
 чтоб светлее стало.
И – говори мало!..»

* * *

Если земля – арба,
что катится
В чересполосице света и тьмы,
То какого,
чтобы не каяться,
Арбакеша выберем мы?
Кто железо – тот слишком тверд,
Не мешало б ему смягчиться.
А кто воск – слишком мягок тот,
Мало ль что в дороге случится?
Ни железо, ни воск не возьмем,
Но и воск, и железо утешим:
Будьте мягкими по-людски,
Будьте твердыми по-людски,
Человека возьмем арбакешем!

Не жалею

И ты, и я ведь зрячие... И все же
Пути избрали разные с тобой,
Тебе долины в зелени дороже,
А мне шагать скалистою тропюю.
Твой дом в затишьи и куда теплее,
А мой – открыт ветрам на склоне мерзлом,
Но я живу и вовсе не жалею:
От моего намного ближе к звездам!

Счастье

Чем больше думаешь,
Тем непонятней жизнь:
Вечно бродим, охотясь за счастьем.
С четырех сторон горы,
Над головой облака,
А впереди будущий день
С золотыми надеждами.
Знаем: есть счастье, но почему
Старимся, его ожидая?
Счастья много, но почему
Оно так дорого?!
Почему на тот свет уходим,
Не дождавшись его прихода?!
Все родившиеся искали
Ответы на эти вопросы,
Те, кому предстоит родиться,
Тоже будут искать.

Сказка ли, древняя песня ли,
Сон ли – не помню,
Еще в детстве мне
Счастье таким показалось:
Еще дальше, чем далеко,
Там, где солнце восходит,
Неизменная во все времена,
Доступная только могучим орлам,
Есть одна гора,
Высокие звезды нанизывающая
На пику белой вершины.
Со всех сторон окружив
Себя ледниками крутыми,
Та гора прячет счастье,
Дав ему образ оленя...

Взбирается в гору охотник,
Чтобы поймать оленя.
Решимость в крови, в теле – мощь,
Вступая в схватку со смертью
Перед каждой пропастью на пути,
Идет все выше и выше охотник.
Взберется он на вершину
И заарканит оленя
Или устанет и сдастся –
Это решаем не мы.
Детский ли сон это, сказка ли?
Кто его помнит?
Путь к счастью мне и сегодня
Кажется только таким.
Каждому в мире есть счастье,
Каждому – по оленю.
Только олени не бродят
В тесных и темных ущельях,
Придавленных туманами.

Все же...

Бредя в ущелии дорогой горной,
На склонах гор увидеть вы могли
Тропинки, разминувшиеся с торной,
Что змейками к вершинам пролегли.
Они и скользки, и кремнисты, все же
Их проложивший будет век высок:
Он кручи выбрал, не желая множить
Число глотавших пыль больших дорог...



* * *

Кайсыну Кулиеву

В смертный час мой,
когда б он меня не настиг,
Две сумы
я хотел бы с собой унести.
Все, что злого
у вашей судьбы на уме,
Все страданья
унес бы я в первой суме.
И поклажу, что кляча
везет чуть дыша,
И соринку,
попавшую в глаз малыша,
Яд ползучего гада
я взял бы в суму,
И холеру вдобавок,
а с ней – и чуму!
И была бы вторая сума тяжела:
В ней была бы измена,
врагов похвала,
и злоречье, и сплетни –
их медленный яд
Смертоносней змеиного яда
стократ!
В день рождения,
если б он сызнова был,
Я бы в мир
две сумы принести не забыл.
И в одной я принес бы
влюбленным – любовь,
И зеленые травы
для горных лугов,
И героям награду,
и стойким – хвалу,
Кто работал на славу –
тем чарку к столу.
Незнакомому путнику,
если он бос,





В этой первой суме
башмаки бы принес.
Кому холодно – зной,
кому хочется – тень,
И подпорку плетню,
если старый плетень.
А бесстыдному – совесть,
а бессовестным – стыд.
Если только сума
эту уйму вместит.
Во второй –
поважней, побогаче суме –
Мир принес бы я.
Мир этой милой земле.

* * *

Словно слезы, чисты
Капельки дождя,
Окна мои чистят,
По стеклу скользя.

Капелькою грустной
Стать бы мне одной
И смывать без устали
Грязь с земли родной.





* * *

Кто золото не найдет,
серебром отделает кинжал,
Кто коня не найдет,
пешком пойдет,
Кто не может шагать,
тот как-нибудь проползет,
Кто счастье не найдет,
что будет делать?!

* * *

Ни искорки давно в твоих очах.
Что ни скажу – тебе как острый нож.
Зачем ты хочешь погасить очаг
В том доме, где и ты сама живешь?

* * *

Когда мы умираем,
Для наших близких день хмур,
Для матери нашей он – день мук.
День, когда мы родились,
Для наших близких был светел,
Для матери нашей был днем мук.





* * *

Время грузом своим
давит деда моего к земле,
Но дед не сидит у печи,
смирившись со старостью, –
По лужайке у нашего дома
подолгу он бродит,
На лужайке, согнувшись дугой,
свою молодость ищет.

* * *

Пастух овцу потерял –
Нет ему шашлыка.
Ружье охотник потерял –
Нет ему добычи.
Певец песню потерял –
Нет ему славы...
Родину потеряли мы –
Нет нам жизни.

Жалобы эмигрантов

Как в ленивой упряжке арба,
Не спеша за горой исчезает,
Так на этой земле день за днем
Наши дни исчезают.

Наши радости скрылись от нас,
Как скроется эта арба за горами.
И, как след колеса на унылой дороге,
Горе наше останется с нами.





* * *

Не видели мы
Поваленное тяжелым ветром
Крепкое дерево,
Не видели мы
Превращение в пепел под палящим солнцем
Вырванных из земли корней,
Не видели мы
Смерть оторванных от веток
Зеленых листьев,
Которые знойный песок хоронил под собой,
Не видели мы...
Все это нам приснилось
На чужой – на бесплодной земле,
В снах без Родины.

* * *

Тот, кто зрения лишился,
Может слушать пенье птиц,
Потерявший слух
Увидит
В небе всполохи зарниц.
Потерявший ноги
Может
Дорогих друзей обнять;
Потерявший руки
Может
Танец огненный сплясать.
Кто лишился счастья в жизни,
Тот в родную землю лег,
А кто родины лишился,
Даже этого не смог.



* * *

То ль давно, то ль давным-давно,
То ли раньше – не все ли равно?
Кто-то был на воду в обиде:
Ни в каком совершенно виде
Воду он терпеть не мог!
Этот кто-то в кратчайший срок
Вырыл яму от нас до странных
Стран, где люди ходят в тюрбанах.
В яму он заключил всю воду.
И сказал ей: «Забудь свободу!»
И гранитом со всех сторон
Окружил эту яму он.
Только море – не тут-то было –
Не смирилось и не забыло.
Море борется!
И, гнева праведного полна,
Налетает, не зная страха,
На гранитные стены с размаха
Разбивается. Но за ней –
Снова волны, еще сильнее!
Как терпеть такое веками?
И сдает, и сдается камень...
Море, море! Кто борется – прав.
Мне по нраву твой гордый нрав.
И проклятье мое – на том,
Кто смириться решит с ярмом.
А тому, кто привык к оковам,
Что, мол, в них, говорит, такого,
Можно жить и так, по уму...
Сто проклятий моих тому!

* * *

Высоко на придорожной круче,
Что молчанье гордое хранит,
Гибкий куст смородины пробился
Сквозь холодный вековой гранит.

Тишина здесь,
Лишь гуляка ветер
Набредет порой на тот утес,
Устлая сумрачные камни
Ягодами спелыми вразброс.
Но к вершине путь далек и труден
Мимо камнепадов и стремнин.
Почему-то вкуса этих ягод
Не изведал путник не один.
Но зачем же рваться через камни,
Так упорно солнца свет любя,
Коль живешь, плодонося впустую,
И цветешь для самого себя?



Об астрономии...

Может, кому и не верится,
Но земля, как видно, круглая,
И все-таки она вертится...
Правда, лучше б она была
Неподвижной, плоской вполне,
В облаках – словно блин в сметане,
И на чьей-то крепкой спине
Обретались Земля, земляне,
Солнце бегало бы взад-вперед,
Расторопное, как прислуга:
Сколько выгод и сколько льгот
Принесла бы нам форма круга!
Все незыблемо. Не спеши,
Не отстанешь! И, сладко грезя,
Отдыхай, зевай от души
И под солнцем послушным грейся!
Но ведь кружится, надо признать,
И нельзя нам на месте стоять,
Нужно время свое догонять.
Нужно вечно куда-то мчаться,
Чтоб на месте своем оставаться!



* * *

Зима идет,
зима идет,
Подходит к городу.
Чего боюсь,
чего таюсь –
так это холода!

Когда в горах
Туман и страх
Проникнут в кости,
Ночной порой
К тебе домой
Приду не в гости...

Но если вновь
Остудишь кровь
Холодным взглядом,
Но если вновь
Без добрых слов
Застынешь рядом, –

Тогда тоской,
Больной тоской
Наполнюсь злою,
В глухих горах,
В чумных снегах
Я льдом покроюсь!..

* * *

Я устал, я озяб,
Я в тумане блуждал.
Возвращаясь к тебе,
Я прощения ждал.
Если любишь – забудь,
Без упрека взгляни.
Я себя наказал –
Ты меня не казни.
Закопай и забудь
Ты желание мстить,
А найди в себе силу
Забывать и простить.
Если сердце ослепло –
Глаза не спасут.
Если сердце ослепло,
Ноги в пропасть несут.
Самый ловкий оступится,
Если сердцем незряч...
Ты пойми, ты обиду
Поглубже запрячь!
Ну а если понять
Ты не сможешь меня –
Не прощай, не жалея,
По вине и вина.
Только слово скажи,
И я силы найду,
В ту же стынь и туман,
В тот же холод уйду.
Я приму свою участь
Без упрека и зла –
Только б дальше, не мучась,
Ты на свете жила.



Белое – черное...

Этой весной.
Рано пришедшею,
все посветлело
все побелело –
С белого Севера
в край мой приехала
белая женщина.
Белые ветры
с белых вершин
с яблонь срывают
самые белые –
их лепестки, –
кажется, стая
белых снежинок
землю покрыла.

Здравствуй, женщина,
мне дорогая!
Белые ветви
все к тебе тянутся,
белые ветви
радостно хлопают:
рад тебе, женщина,
белый мой сад.

Этого светлого
счастья не стою я,
видно, поэтому
кем-то придумано
все, что есть черное...
Этой зимою,
рано пришедшею,
черные ветры
черных вершин
черные листья
срывают с ветвей...



Голые руки,
черные руки
сад простирает
вслед тебе, женщина,
рано ушедшая.

В черных одеждах
молча стою.
Падает снег,
молча стою я,
молча смотрю я,
как на свидание
с черной землей,
снег небывалой
спешит белизны.

* * *

Дождь пошел,
Долину
Выстлали туманы,
Наползали тучи
Наземь с высоты.
Взор твой синеокий
Погрустнел неожиданно,
Песню почему-то
Не допела ты.
Что же ты взгрустнула,
Будто ждешь чего-то?
Ты к ночам бессонным
Сердце не готовь.
Пусть не спят ночами
Те, кто ждут прихода
Феи,
Что зовется
Первая любовь.
К нам она явилась
Гостьей долгожданной –
Пусть проснется песня
На твоих устах!
Видишь, из долины
Прочь ползут туманы;
Слышишь, дождь по крыше
Танцевать устал.



Посвящение

Фатиме Урусбиевой

Повелело запеть тебе время,
И над нами твой голос поплыл –
Растревожено хмурое племя
Дивным пеньем и шелестом крыл.

Не поймут твою песнь. Не позволят
Свить тебе здесь гнезда своего.
Здесь никто о пощаде не молит,
Здесь никто не щадит никого.

Не летается нам. Не поется.
Нелюдимое племя молчит.
И стрела Предрассудка несется,
Чтобы звонкое сердце пронзить.

Не смущай красотой оперенья
Наш суровый, наш пасмурный край.
Улетай на крыле Всепрощенья,
От глухих и немых улетай.

Если боль нестерпимую станет,
Зря на камни слезу не роняй.
К льдам лети, если зноем опалят,
Если льдом окуют – в знойный край.

Улетай и в другом, светлом крае
Бескорыстье и Разум прославь.
Оставляя бескрылую стаю,
Мне перо золотое оставь!

Напишу я нехитрую повесть
О твоей и о нашей судьбе...
Повелели мне сердце и совесть
Посвятить эту повесть тебе.

январь, 1982 г.





Вальс для нас

Нет вокруг ни души,
Звезды в небе блестят,
Рядом с нами в тиши
Сосны смиренные спят,
И в беззвучном дыханье весны
Снятся елям зеленые сны.

Месяц тонкий встает,
Ночь в горах настаёт,
Где-то вспыхнул огонь,
Где-то птица поёт.
Песня птичьья понятна без слов,
Все ей внимлет – она про любовь!

От любви, говорят,
Никому не уйти.
Звезды к звездам летят,
Птица к птице летит.
Сколько лет по дорогам земли,
Чтобы встретить друг друга, мы шли!

Когда от нас в страну твою за горы
Ряд журавлей потянется, курлыча,
Лик светлый подними, их провожая,
И по нему их тени пронесутся!

Когда весна придет, теплом одарит,
Лик светлый обрати к родному краю, –
Земли своей почувствуешь дыханье,
И длинные ресницы тронет ветер!

Золотые огни
Светят нам с высоты.
Мы теперь не одни,
Вместе мы – я и ты!
Пойте, птицы, всю ночь напролет,
Нет, никто от любви не уйдет!





* * *

Не позабудь оставленного края,
Мне пережить разлуку будет трудно,
К тебе являться стану днем и ночью
Я с журавлями, с ветром, с облаками.

Когда вдруг облаков пушистых стая
Прольется над землею теплым ливнем,
Постой немного под дождем, – и капли
И губ твоих, и глаз твоих коснутся!

Не позабудь оставленного края,
Нам пережить разлуку будет трудно.
К нам в сны и явь ты будешь возвращаться
И с облаком, и с птицами, и с ветром.



Любе

сыгравшей Фенису по-карачаевски

Лежит в земле Лопе де Вега –
Средневековых лет кумир,
Приходят в мир его Фенисы
И очаровывают мир.

Юлят, хитрят, изобретают,
Горят на алтаре любви...
Одна из них вот вновь ожила
И забрела в края мои!

Безбрежна власть, какой владеешь,
В шелках явившаяся ты!
Родное мне глухое племя
Дыханье слышит Красоты!

А я, внезапно оглушенный,
Смотрю, весь мир теперь любя,
Как белый веер оживает
В руке прекрасной у тебя!

Мусса. 1979 г.

Остров Мени...

Остров Корусти,
Остров Насилия,
Остров Лживых и злых,
и сквернейший из всех островов –
Остров в спину удар наносящих.

Ставший мне лютым врагом,
Какого он острова житель?
Какому он молится богу?
Дик,
белозуб
и когтист,
в какую вползает пещеру
он после заклания жертвы,
Руку и нож вытирая
Мхом и зеленой травой?

Не взбурлила река,
Не разверзся болотистый берег,
И, свершив омовение
Этой нечистой,
Лениво текущей водой,
Спокойно уходит убийца.
Мир не вздрогнул.
Не вскрикнула птица ночная,
Молчит равнодушно камыш.
Плесневевает все так же болото.
Все осталось таким,
Только мама твоя
поседела,
все осталось таким,
только старый отец
стал старее.
Только капелька канула в море.
Все осталось таким.
Ширь необъятных пустынь
Только на песчинку одну лишь убавилась.



Все осталось таким,
Только я стал совсем другим.
Рейд мой кончился,
вышел из тихой я гавани,
без тебя
твоим курсом
поплыл.
На бортах моих грозные пушки –
Теперь боевой я корабль.
Ни тинной воды,
ни омута,
ни рифов
я не боюсь.
Как перед боем снимают
Рубашку, надетую к празднику,
Так паруса свои белые
С мачты высокой я снял и
вывесил черный парус.
Зреет под ним моя ненависть,
Метче под ним мои пушки,
ветром раздут он – плыву я,
к Острову Жени плыву я,
Женя, с тобою плыву.

Пусть тяжелею в пути я,
Пусть обороты все меньше,
Пусть во мне свет угасает,
пусть обрастаю ракушками,
Но не пойду я на дно.
Ты сейчас в том краю,
где не слышат.
Ты сейчас в том краю,
где не дышат.
Но я буду с тобой дальше плыть,
Буду я плыть и расстреливать
Все Острова Негодяев,
И разделю с тобой поровну все
попадания в цель.





На восточные мотивы

Твой сад прекрасен так, но увядает сад,
Хоть не вдохнул я запах роз, цветущих в нем,
Источник твой и чист, и свеж, но иссякает,
Хоть жажды не унял его прохладой я...
И стынет юности твоей медовый зной,
И все без пламени чадит светильник мой.
Зачем ключи от всех своих богатств
Ты спрятала так крепко от меня?!
Не будь скупой! Поверь словам Корана:
Лишь то ты сохранишь, что будешь отдавать.

Монолог обезьяны

В тебе застынет кровь
твоих отцов и дедов.
Стать сильным, как они,
тебе не суждено.
Но жизнь ее страстей
И счастье не изведав,
Ты будешь, как больной,
Смотреть через окно.
И кожа сморщится,
И мысли охладят.
И скука вьется в плоть,
Желания губя,
И в черепе твоём мозги
Окостенеют,
И ужас из зеркал посмотрит
На тебя...





* * *

Я все победил – только
Время меня победило.

* * *

Хотел я заплакать –
Сойти на землю
Соленым дождем.
Ядовитая жидкость –
Слезы, которые я копил, –
Отравила бы весь мир.

* * *

Сердце, ты
Меня стуком
Будишь по ночам,
я просыпаюсь от сна...
Но однажды ты само
заснешь,
и я не смогу
разбудить тебя...

* * *

О, как хотел бы
Я поранить ногу,
Споткнувшись
О камень родной.

* * *

Враги отца друзьями
нам не станут,
друзья отца не станут
нам врагами.





* * *

Радуга моя растворилась в воздухе,
Дорога заросла травой.

* * *

Мне сдается порою, что прежде
Все мы были гораздо добрей.
На сочувствие в твердой надежде
Шли в беде люди к людям скорей.
В судьбе всякого было немало
И невзгод, и лишений, и бед,
Но и тем, кого жизнь обласкала
Возноситься не стоило б, нет!
Человек, что великий, что малый, –
В цепной власти пространства и лет.
В час конца он, притихший, усталый,
Перед совестью...

* * *

Не стучись ко мне
В ночь бессонную,
Не буди любовь
Схороненную...
Я в земле лежу,
Я затих совсем.
Мысли ясные мглой окутались,
Нити жизни всей перепутались,
И не знаю я,
Кто играет мной,
Кто мне верный друг,
Кто мне враг лихой...





* * *

Отец еще не возвратился
с фронта...
Я тосковал, наверно,
по отцу...
Мать как-то, пожалев меня,
ребенка,
Вздыхнув, сказала,
глядя по лицу:
«Так только капли схожи две,
сынок,
Как все в тебе отца
напоминает!»
Отец вернулся...
И ушел в свой срок...
А мать меня,
как прежде, утешает...

* * *

Море Черное скучает...
Я по берегу хожу,
Твое имя на песчаной глади
Камешком пишу.

А одна волна шальная
Надпись слизывает зло,
Белой пеной накрывая
Имя, милая, твое.

Как ей знать, волне игривой,
Что из сердца моего
Имя женщины любимой
Смыть и морю не дано.



* * *

До свиданья, Море!
Еду я домой.
Был отраден взору
Берег голубой.
До свиданья, Море!
Как столетний дед,
На твои просторы
Я примерил Свет.
И стою здесь молча,
Волны не бегут,
Белой пены клочья
К берегу несут.
До свиданья, Море!
Возвращаясь к себе,
Расскажу я много
Людам о тебе.
Кто, не зная меры,
Смотрит свысока,
Пусть к себе примерит
Твои берега!
Кто величьем бредит,
Слушая себя,
Пусть к тебе приедет,
Как приехал я!



Журавли

Уже суровы стали дни,
И наледь на озимых.
Туманы осени легли
На горные извивы.

Листва осыпалась давно,
Туманы гуще, ниже.
Дыханье сырости свело,
И холод щеки лижет.

А над краями облаков,
Желтея, словно листья,
Клин журавлиный косяком
Весь к югу устремился.

Там, за стеною гор, тепло,
Все время только лето.
Всегда и сытно, и светло,
Хлеба колышет ветром.

Я полетел бы, журавли,
За вами вслед в тот край,
Когда бы не было земли
Счастливой – Карачай!





Если бы знала...

Ветры холодны,
Дети голодны,
И над аулом солнце светит
Так неярко...
Ну, кто ответит мне, старушке, –
Кто поджиг фитиль у пушки?
Кто забряцал мечом войны?

Если б сказали,
Если бы знала,
Ни одного бы сына даже не рожала.
Лежат они в земле далекой,
Век доживаю одиноко.

Кто убил моего сына?
Кто убил моего мужа?
Она не знает,
Не понимает,
Как начались и как утихли
В мире битвы...

Кто-то сегодня побеждает,
Кто-то убивает...
Чья сторона не побеждала б,
В кого бы пуля не попала,
Всегда страдает горько мать.





* * *

Вор живет, чтоб быть пойманным,
Кривда – чтоб быть исправленной.
Зло – чтоб быть наказанным.
Добро – чтоб быть посеянным.
Болезнь – чтоб быть излеченной.
Змея – чтоб быть раздавленной.
Вино – чтоб быть выпитым.
Женщина – чтоб быть обнятой.

* * *

Бродит пастух и денно, и ночью,
В долине пустынной, безмолвной.
Кличет ягненка, и эхо ему отвечает
Жалобным бляньем
матери-овцы белолобой.
Белый ягненок
исчез – растворился
в пасти голодного волка.

Волк убежал,
растворился – исчез
в сером осеннем тумане,
Серый туман
растворился – исчез
в сумрачном свете вечернем.
Сумрачный вечер
исчез – растворился
в холоде, в темени ночи,
Темная ночь
растворилась – исчезла
в ясном сиянии утра...

Все улетит – убежит – уплывет –
Растворится – исчезнет навечно,
Как растворилась – исчезла – ушла
От меня моя юность когда-то.





* * *

И понял я: иного не дано,
Все от рождения определено.

Трава чуть в рост – ее ошпилют козы,
В капкане волк забьется в свой черед.
И яблоко задолго до мороза
На стол к нам непременно попадет.

Как на земле не властвует мгновенье,
Но в мире есть всему предназначенье.

Погибнет ложь, вступая с правдой в ссору,
Посев добра взойдет и на жнивье.
Как не ловчит, а пойманным быть вору,
И все равно раздавленной змее.

Вот дерево, его в горах нет краше,
Быть может, завтра превратиться в чашу.

Отец по кругу чашу ту предложит,
И пусть айран не убывает в ней.
Эй, девочка, а ты и впрямь пригожа,
Чтоб стать снохою матери моей.

На терренкуре

Я в чудодейственную силу
Давно поверил древних гор.
Вдруг сердце птицею забилось,
Как поднялись в сосновый бор...

Кровь остудивши лимонадом,
по терренкуру вверх идем...
И вот теперь стоим мы рядом
На «Красном Солнышке» вдвоем.





* * *

Мать, шей рубашку белую,
Бурку белую,
Шапку белую...
Белый башлык...
Отец, из этого жеребенка белого
Вырасти скакуна.
Я в белом наряде
На белом скакуне
Скачу пировать с друзьями.
Мать, шей рубашку красную,
Бурку красную,
Красный башлык...
Отец, из этого красного жеребенка
Вырасти скорее скакуна.
В красных нарядах,
На красном скакуне,
Вместе с друзьями
Скачу воевать с врагами.
Мать, как можно медленнее
Сшей черную рубашку,
Черный башлык,
Черную бурку, не торопясь.
Отец, этот черный жеребенок пусть
В скакуна превращается
Как можно медленнее...
Как можно медленнее
Старейте, мои друзья,
Как можно медленнее умирайте.
Не хочу на черном скакуне
В черных нарядах
По черной дороге
На похороны скакать.



Веление века

Поэма

1. Горе

Мелькают дни, идут года, ползут века.
Послушна нескончаемому зову,
Кубань, неудержимая река,
И день, и ночь несёт себя к Азову.
...Старуха на прибрежном валуне,
Согбенные подрагивают плечи.
Весь мир навек виновен перед ней.
Ему пред нею оправдаться нечем.
Она приходит часто к валуну,
И здесь ей волны навевают грезы,
Но могут ли речную глубину
Согреть ее совсем простые слезы?!
Она глядит на пену быстрых волн
И ничего не видит и не слышит.
И бесконечным горем ее полн
Вечерний воздух, что покоем дышит.
Вот эти же валы давным-давно
Вот так же спешно вдаль себя катили.
Они ж бесстрастно (волнам все равно)
Когда-то ее сына поглотили.
А ведь он вырос при родной реке,
И несравненный был всегда пловец.
Но нам не знать, что ждет нас вдалеке,
Кому какая жизнь, какой конец.
С тех пор уже промчалось много лет,
Однако не стареет ее горе.
Кубань, за что ты погасила свет
В ее невинном материнском взоре?!



Река безмолвна. Мне ответа нет.
Все так же волны плещут виновато.
Кровавым ей мерещится их цвет.
Как горе на обличья богато!

2. Кубань

Отец построил дом наш у реки,
Едва ль не над самой скалистой кручей.
Всем взрослым впечатленьям вопреки
Считаю это время самым лучшим
В судьбе моей.
Из окон в доме том
Кубань я видел и зимой, и летом.
Я в шум ее по-детски был влюблен,
Мне радостно,
Как вспомнится об этом.
Чуть выше по течению от нас
Река делилась на две равных части,
И между рукавами в некий час
Намыло остров нам, пловцам, на счастье.
На этом островке в конце зимы
Подснежники пытались в мир пробиться.
И ликовали озорные мы,
Когда на островок садились птицы,
Летевшие на север и на юг.
Наш остров был им точкой передышки.
Река была наш самый добрый друг,
Тетрадki забывались с ней и книжки.
С утра до звезд на нашем берегу
Мы проводили в играх и забавах
Свой нежный возраст. Жили на бегу,
Шумели, как июльский ветер в травах.
Жила в тревоге вечной моя мать.
Река в нее лишь ужасы вселяла.
Боялась за меня, чего скрывать,
И к Богу за меня не раз взывала.
Родной долине – взрослый мой поклон!
Поклон родной реке!
Вы в моем сердце,



И видите, как давний детский сон,
В который трудно мне теперь взглядеться.
Еще тогда я волны приручил.
Они меня несли, роптать не смея.
Я ничего, Кубань, не позабыл,
А впредь забыть и вовсе не успею.
И от того прошу я для себя
Лишь об одном: в мой час успокоенья
Будь доброю ко мне, моя судьба,
Дай слышать шум реки моей теченья.
Тот вечный шум напел давным-давно
Мне много светлых песен колыбельных.
Пусть я в годах, однако все равно
Они нужны мне в далях запредельных.

3. Зима

Вся наша жизнь течет, как та Кубань,
Тела и души пробуя на крепость,
Однако же от жизни не отстань,
Хоть даже если в ней видна нелепость.
...В тот год зима неожиданно к нам пришла,
Прокралась к нам тропами воровскими.
Весь мир окрестный снегом замела,
Пренебрегла заботами людскими.
Из дальних далей прилетел мороз,
И толстым льдом Кубань моя покрылась.
Я это все не принимал всерьез –
Я сам хотел того. Зима мне снилась.
...Укутан в шубу, я спешу к реке,
В снегу пушистом путь свой пролагаю.
Я тороплюсь легко и налегке,
И лишь одно уже я твердо знаю,
Что нравилась зима мне до сих пор,
Но пусть она в свое приходит время,
Дабы ее губительный разор
На божий мир не вешал свое бремя.
И стало грустно видеть мне все то,
Что было не готово к встрече с нею:
Берез и лип зеленые пальто,



Промерзлые, под снегом зеленеют.
Их обреченность – мне как острый нож.
Трясу деревья, бью стволы ногами.
Снег сыплется с ветвей, но только все ж
Деревьям до весны жить под снегами.
...Мы часто забываем о себе,
Тверды, как камень, боль свою скрывая.
Но в чьей-то незадавшейся судьбе
Неистовы, чем можно помогая.

4. Журавли

Нынче у нас приключилось такое,
Что нас надолго лишило покоя.
Помню тот день, что шокировал нас,
Будто все это случилось сейчас.
Осенью, только прохладой дохнуло
С северных вод, как над нашим аулом
Прочь от родной, но предзимней земли
К теплому югу летят журавли.
Зим журавли до сих пор не знавали,
Крепкие крылья всегда их спасали.
Но не укроет их южная сень:
Здесь они встретили черный свой день.
Зима их настигла в полете высоком,
Сковала им крылья морозом жестоким.
Снежинками птицы к земле полетели.
Меж тем на земле разыгрались метели.
И падали птицы, тела свои рая,
На кручу скалистую, льдины Кубани,
Крича, отовсюду на берег спускались
И на островке нашем в стайки сбивались.
Пернатые гости, держитесь, мужайтесь,
Зиме преждевременной не поддавайтесь!
Надежду в усталых сердцах сохраните,
Весной улетите, куда захотите.
Мы, люди, привычны к любому труду.
Мы вырастить можем пшеницу на льду.
Возвышены души, подобно горам,
Мы, гордые гости, сочувствуем вам.



5. Танец

Ударило жаркое солнце,
И лед на реке затрещал.
По острову радость несется:
Тепло, ледоход, снеготал!
И будто бы где-то в природе
Зурна заиграла вдали.
То песни поют, хороводя,
Согревшиеся журавли.
Вот в круг они встали широкий,
Вот замерли, молча стоят.
А вот и «танцор» одинокий
Заводит свой танец-парад.
...И вот журавлиные пляски в разгаре,
По кругу несутся за парюю пара.
Кто в вальсе своем журавлином кружится,
Кто бьется в присядке, кто прыгнуть стремится,
Кто, словно невеста, плывет будто пава,
Кто, словно жених, пляшет бодро и браво.
И хлопанье крыльев – как рукоплесканья.
Я слышал в тех плясках сердец клокотанье.
Забыв о вчерашних жестоких страданьях,
Сегодня поют эти божьи создания!
...Правила жизни для всех одинаковы,
Часто ее проявления знаковы:
Радости радуют, горе – кручинит.
Явятся беды, и радость исчезнет,
Беды промчатся – и радость воскреснет.
Только порой мы о том забываем,
Горе от радости не отличаем,
После в невзгодах весь мир обвиняем.
Явится радость – понять не умеем
То, что крадется беда вслед за нею,
Эта ж открыто вовек не шагает,
Пулею в сердце порой прилетает.



6. Пуля

Вновь журавли собираются в путь,
В далекий путь, опасный и тревожный.
Я б дни, что с ними был, хотел вернуть,
Но понимал, что это невозможно.
...Они плясали нам в последний раз
Перед своим отлетом в неизвестность.
Невольню слезы шли и шли из глаз.
Не верилось в разлуки неизбежность.
В тот день мы собрались на берегу
И принесли им, что могли, в дорогу.
И взрослые почти что на бегу
Глядели в небо хмурое с тревогой.
Один из нас принес с собой ружье.
Прицелился и выстрелил внезапно.
Гром распугал на ветках воронье
И отдавался эхом многократно.
Журавль так и не дотанцевал...
И лужицею красной лёд заляпан.
Вот он рванулся, вроде бы как встал,
Но вновь упал, не выдержали лапы.
Стремящаяся к небу голова...
Слабеет птица от пустых усилий,
Крылами билась в лед она сперва,
Потом махала, в небо взмыть бессильна.
Взлетела ее стая в небеса
И улетела прочь, поближе к югу.
И всей земли тоска в их голосах
Надолго взбудоражила округу.
А раненая птица вверх рвалась.
Рвалась из сил последних, как и прежде,
Высматривала, кто бы ее спас.
Но вот уже не стало и надежды.
К чему борьба, когда надежды нет?
Журавль с кромки льда сорвался в воду.
Голодная река, как людоед,
Накинулась на жертву свою с ходу.
Но и теперь, несомая волной,
Тянулась птица к людям, к солнцу в небе.
И крик ее протяжный и большой



Мне часто вспоминался, где б я ни был.
Бессильные помочь хоть чем-нибудь,
Мы все на берегу оцепенели.
Развязки черной ждали мы.
Но тут случилось, от чего и онемели.
Мы даже не заметили, как вдруг,
Пока мы не могли пошевелиться,
Ровесник наш, односельчанин, друг,
Метнулся в воду и поплыл за птицей.
С тех пор его не видели сельчане.
Желать такое можно лишь врагу.
И мать его могильным изваяньем
Сидит на каменистом берегу.

7. Мать

Да, сын ее прекрасный был пловец.
Влюблен был в наши реки, небо, сушу.
Во всем любил он жизнь, и, наконец,
любил Кубань и ей же отдал душу.
Теперь она сидит одна, как тень
Того, чему найти название трудно.
Той женщине не скажешь «добрый день»,
Ей все равно: и день, и ночь, и утро.
Присаживаюсь молча рядом с ней.
Душой от ее взгляда холодею
Чем дольше она смотрит, тем сильнее
Глаза мои предательски влажнеют.
«Не плачь, сынок, не плачь,
Ведь ты мужчина.
Да будет жизнь твоя красивой и счастливой!
Пусть будет долгой, доживи за сына
Те годы, что прожить он не успел.
Пусть счастье, не испытанное им,
Тебе, как его другу, остается.
Вы были неразлучные друзья,
И разлучила только его смерть.
Смерть – норма.
Только мне не примириться
С тем, как несправедливо он погиб!



Нет утешенья, ибо не в грозу,
Не от ножа врага, не на войне,
А в тихий день, совсем за просто так
Неповторимой жизни он лишился.
Похожи были друг на друга вы.
И да не будут смерти ваши схожи!
Пусть только дети злейшего врага
Покинут белый свет тропой такую!»
И в предвечерней ласковой тиши,
Когда лежит покой на всем вокруг,
Я, вслушиваясь в стон ее души,
Мечтаю стать таким же, как мой друг.

8. Бывший друг

Жизнь, как Кубань, по-прежнему все мчится
Без устали и отдыха вперед.
Перелистнута детская страница,
Вот-вот, глядишь, и старости черед.
Ах, время, время! Не успел моргнуть,
Как выросла любимая сестренка.
Уже сваты к нам проложили путь.
Нашествие сватов! Зачем нам столько?
Один жених настойчив больше всех.
Друг детства. Только мне не по нутру,
Коль будет ожидать его успех,
Коль он придется к нашему двору.
Пусть он простит мои слова о нем.
Правдивы в них все буквы до одной.
Будь у меня хоть сто сестер, и то
Любой не дал бы стать его женой.
Едва его завидев, представляю
Одну и ту же страшную картину:
Птиц-горемык заснеженную стаю
И крик под небесами журавлиный.
Я вижу, как журавль бьет крылом
Зеркальный лед.
Крича, взлететь не может,
Не знает, недогадливый, о том,
Что журавлиный век уже им прожит.





Я вижу вновь ружье перед глазами,
Заряженное черною рукой,
Как он ружьем кичится перед нами,
И этот его выстрел роковой.
Ну, вот и все.
Пусть он между делами
Подводит свой безрадостный итог,
А мне вовеки не дружить домами
С любим, кто ограничен и жесток.

9. Веление века

Когда ваше сердце ожесточено,
То родственно злему железу оно.
И если крамолу встречаем,
Железной пятой подавляем.
И век наш холодный,
Железный, гранитный
Для нашей же пользы
Давно говорит нам:
«Зачем вам железными быть?
Чтоб в пепел весь мир превратить?»
Нас век призывает людьми оставаться,
Отбросив оружие, за руки взяться,
Стволы оружейные с этой поры
Пустить на свирели для всей детворы.
Пусть эти стволы никогда не стреляют,
И пусть из свирелей цветы вылетают.
Пусть в небе родимого края
Веселые песни летят!
Тогда журавли, пролетая,
Наш остров опять навестят.





Легенды



Горы и нарты

Мало мир изменился за весь свой длинный, дремучий век. Но все же он не таков, каким был в раннем детстве. К сомнениям склонные да повернут глаза в сторону той земли, имя которой Кавказ...

Всякому видно: могучие горы растут теперь в этой земле, а когда-то их совсем не было, и ровная степь пролежала во все стороны. Такие же, как горы, могучие исполины – нарты – жили в той степи, а теперь их нет...

Всему имеется в жизни важная причина – любви, смерти, рождению и ненависти, уходу и приходу; ничто с земли не исчезает без крепкой связи с тем, что появится вслед.

Да наполнит ясность склонных к сомнениям, когда они узнают о том, что было раньше и что стало теперь на Кавказе...

Беспредельная мощь в теле и великая кротость в душе заключены были у первых жителей этой земли – нартов-богатырей. Когда над ними угасало солнце, их день спокойно умирал, чтобы завтра снова родиться, и к ним приходила ночь со своей темнотой, сердца их оставались светлыми и чистыми, потому что в них никогда не засыпала доброта.

Вслед за летом и к ним приходили дожди осени и морозы зимы, но тепло их дружбы никогда не остывало. Их небеса тоже иногда закрывались тучами и хмурились от непогоды, но только смех и песни веселья всегда были слышны в их краю.

Длилось бы вечно золотое время нартов, если бы хищный Эблиз – творение ада, пристанище пороков и зла, – страшась их мощи и величия, не направил однажды острие своего коварства на то, чем они были сильны...

Взял он печень бешеного кабана, мозг костей старого козла, желчь хищного волка, смешал их со змеиным ядом и этим снадобьем отравил пищу нартов, собравшихся на пиршество.

С того вечера стали свивать себе гнезда в золотых сердцах великанов и злоба змеи, и ревность козла, и бешенство кабана, и жадность волка.





Седоголовый красавец, вождь нартов, первым вкусил дьявольского снадобья и воспылал страстью к юной Машуке, нежно любившей своего жениха, которым был единственный сын вождя.

Отправил старик молодого нарта в степь на охоту, чтобы он не мешал сделать Машуку своей женой...

Оттолкнула юная красавица вождя и, убегая от него, потеряла кольцо, надетое на ее палец возлюбленным в знак верности.

Забросил старик далеко от себя кольцо и стал превращаться в сосуд ревнивой ненависти к сыну-сопернику.

Увидел кольцо сын в степи и на крыльях тревоги прилетел домой...

Ужасен был бой. Немало нартов обнажили свои мечи за победу сына, но не меньше осталось верных вождю.

В первых рядах бились отец с сыном, многоопытный и сильный с молодым и неутомимым. Сбил старый вождь с головы сына железный шлем, оглушил его и пятью страшными ударами меча, отнял когда-то подаренную им жизнь.

Но и сам не уберегся, единственный удар сына рассек глубоко его седую голову, и он, пошатываясь, пошел умирать.

Не могла перенести гибель жениха прекрасная Машука, как камень, катящийся с горы, помчалась она к растерзанному телу молодого богатыря и ударом его кинжала остановила боль своего любящего сердца.

А битва не унималась, бешено боролись друг с другом исполины-нарты, тряслась, качалась земля, бездонные пропасти разверзались под их ударами.

Но не может быть на земле битв, которые не кончаются. Когда утром встало солнце, оно увидело поле боя, сплошь покрытое погубившими друг друга гигантами. Живых не было. Лишь два верных пса скулили у ног своего хозяина – вождя нартов, скулили до тех пор, пока печаль не закрыла их глаза.

Кровь, которая могла пролиться, пролилась, сердца, которые могли остановиться, остановились, и все умерло.

Так исчезли с лица Кавказа нарты, и так появились горы – вечный памятник богатырям.

Кольцом-горой стало укатившееся в степь золотое кольцо Машуки.

Горой Железной чернеет шлем, сбитый с головы ее жениха.

Сам жених, изрубленный суровым отцом на пять частей, превратился в лиловую пятиглавую гору, так и названную людьми – Беш-Тау.

Каждую весну покрывается зеленью и грустно цветет застывшая неподалеку от любимого Машука. В боку ее зияет Провалом кинжальная рана, а рядом еще до недавнего времени сверкал на солнце острой вершиной скрытый теперь людьми окаменевший Кинжал.

Очень много нартов было, очень много стало гор...





И самая могучая из них та, которая уходит седой раздвоенной головой в туманы... Главный нарт назван Минги-Тау, что значит Главная гора. И еще зовут его Эльбрусом. У ног его лежат два верных пса – Большой и Малый Бурмабуты.

Суров Минги-Тау. Не тает на нем снег и в жаркое лето. А зимой его дыхание сердитыми буранами и сквозящими вьюгами носится по горам и долинам, леденит все живое, что встречается на пути.

Но теплеет постепенно грудь старика. Смотрит он со своей высоты на сына, на Машуку, на всех своих поверженных нартов, и слезы раскаяния рождаются в его глубинах. Но холодны эти слезы, не смогут они воскресить окаменевших нартов.

Это сделают когда-нибудь горячие слезы Машуки, бьющие из земли волшебными источниками, исцеляющими все раны и болезни...

Крепнут, наливаются мощью и когда-нибудь станут великанами, как нарты, люди, которые поставили свои белые города у этих источников, полных тепла и любви Машуки.





Зулихат

Никто из смертных не будет спорить, если ему скажут, что Домбай – прекрасный край. Кто там был, тот остался навсегда очарованным, а кто не был, но слышал рассказы других, тот тоже влюблен в этот край.

На Домбайскую поляну, плотно окруженную вечными горами, брошен с неба ковер, расцвеченный всеми красками земли. Словно стараясь образовать для буйной пляски круг пошире, отступают к краям поляны стройные деревья в бурках из зеленой хвои. Наступая друг другу на ноги и весело теснясь, они взобрались в горы и любят лежачим внизу ковром.

На вершинах гор, там, где не успели занять места деревья, лежит царство белых снегов и ледяных изумрудов. Все сверкает в этом зеленом царстве, когда над Домбаем повисает солнце, все сверкает и тогда, когда солнца нет.

Ослепленный светом, напоенный душистым воздухом, удивленный доселе невиданным, ходит человек, впервые попавший в этот край.

Но чтобы по-настоящему удивиться, он идет в сторону ледника Алибек.

Когда тропа уходит все дальше назад, а гордый Алибек начинает медленно вставать во всем великолепии, когда повеют морозом его голубые льды, пораженный путник вдруг вскинет голову вверх и больше ее не опускает...

Чуть не вровень со слюдяной главой Алибека молча тянется к небу светлая гряда гор. Они зеленеют травой и белеют снегами, а на самой вершине, растянувшись вдоль хребта, повернув юное лицо к небу, с высоко поднятой грудью и низко упавшими тяжелыми волосами лежит прекрасная девушка...

Рядом, застывший в могучем порыве, в белоснежной пастушьей шляпе, на коне, окутанном легким туманом, стремится к ней всадник-богатырь.

Звали ее Зулихат. Рождена она была в трудолюбивом и сильном племени аланов, предков славного Карчи и десяти его друзей...

Не было обделено счастьем горное племя, много тепла им дарило солнце. Рожь и ячмень, которые они сеяли в горных долинах, быстро наливались золотым соком... Тучные стада круторогих туров бродили по зеленым склонам их гор...





Вдоволь любили друг друга и мирно трудились горцы в тихой Домбайской долине, защищенной от врагов и непогоды высокими башнями гор.

Но отвернулось почему-то однажды от них счастье. В неприступной стене гор, окружающей их там, где сверкал ледник Алибек, был проход, по которому стали врываться в долину и жестоко ее опустошать колючие снежные ветры.

Стал гибнуть каждую осень урожай, поредели стада туров, срывавшихся под ударами ветров в пропасти; не пройдя до конца дорогу жизни, начинали уходить из нее люди, у которых стало мало пищи и много болезней...

Молода была и очень красива Зулихат. Когда она выходила из дому, солнце, заглядевшись на нее, опускалось за горы, говорят, намного позже, чем обычно.

У женщин гордости прибавлялось, у мужчин силы становилось больше, когда смотрели они на нее.

Старый отец ее был сед и мудр, но не мудростью своей был горд, а дочерью.

И вдруг с ветрами к Зулихат пришла печаль, перестала она смеяться, и отец стал называть себя самым несчастным среди всех живущих.

– Откуда горе твоё, Зулихат? – спрашивали ее подружки. – Некрасивые печалются – красоты жаждут, дряхлые тоскуют – молодости жаждут, разоренные буранами о кровле и тепле слезы льют... А ты? Ты, Зулихат, юна и прекрасна, ты – как полная луна среди нас, звезд... Не сумеет войти беда в крепкий дом твоего отца. И рожь его растет в низине, ее злой ветер не погубит...

Ничего не отвечала Зулихат и все большей печалью наполнялась. Видела оставшихся без крыши и зябла в уютном доме, видела голодных и оставляла себя без куска хлеба.

В одну из осенних ночей, когда ветер с гор стал свирепствовать с особой силой, губя в долине все живое и неживое, Зулихат неслышно обняла спящего отца, мысленно простилась с подружками, со своим возлюбленным, боровшимся сейчас где-то в горах с ветрами, спасая от них туров, которых пас, простилась с каждым домом родной земли и пошла к леднику Алибек...

– О добрые духи, помогите мне, – попросила она громко на его вершине и легла вдоль хребта, на пути страшных ветров, так долго терзавших долину...

Вскочил на неоседланного коня, увидевши все во сне, богатырь-пастух и орлом полетел к любимой. У подножья горы он понял, что Зулихат уже не жива, и горе сломало его крылья, остановилось его сердце и сердце его скакуна...

Проснулись солнечным утром удивленные тишиной люди, взглянули в сторону ледника Алибек, и гордые слезы брызнули из их глаз...

Из этих слез и возникла река Теберда. Три года текла она по долине, соленая и горячая. Потом река остыла, а любовь в сердцах людей к Зулихат живет и поныне.

На снежном хребте, повернув светлый лик к солнцу, с гордо поднятой грудью и низко упавшими волосами лежит прекрасная девушкака...

С тех пор называют это место горой Зулихат.





Аймуш

Много прекрасных озер в Карачае. Хурла-кёл – самое прекрасное. Большое оно и очень синее. Стройные сосны растут на зеленых берегах и удивленно глядят в его чистое зеркало. Спит озеро в тихие дни, не плещутся в нем рыбы, не слышно кваканья лягушек. А по вечерам, когда с горных склонов спускается ветер, частая рябь идет по нему, высокие звезды качаются на прозрачных его волнах и густой камыш, задумчиво вздрагивая, нашептывает воде древние предания мудрых нартов...

Молод был пастух Аймуш и красив... На берегу прекрасного Хурлы-озера выбрал он место для своего стойбища. Огромное было стойбище, и овец в нем было полным-полно. Отроги гор покрывали они собой, когда выходили на пастбище.

Да, много овец было в отарах, которые пас Аймуш. У доброго пастуха овцы всегда плодятся быстро и живут долго, и волки их не осмелятся тронуть, и свирепый буран не застигнет врасплох...

Другого такого доброго человека, как Аймуш, ни в близких, ни в дальних землях никто не сыскал бы. Самые сочные склоны находил он для своих овец, самой свежей водой поил их. На груди своей грел озябших ягнят, башлыком своим и буркой укрывал их от дождей. Ни разу не поторопил он сердитым криком отставшую овцу, ни разу не поднял палки.

В знойные полдни сгонял Аймуш своих овец к прохладному берегу Хурлы и, усевшись в тени под березой, начинал играть на свирели чудесные песни... И тогда из спокойного озера выходил могучий золоторогий белый баран и щедро обхаживал овец Аймуша.

Единственный раз отлучился Аймуш от отары, когда ему пришло время жениться. Явился в стойбище с долины его младший брат Магул и вместе с приветом передал волю стариков – сыграть этой весной свадьбу.

Поручил Аймуш Магулу овец и спустился домой, обещал вернуться сразу же после свадьбы.





Но прошла уже свадьба, прошли дни и недели, а Аймуш все не возвращался: рядом с красивой молодой женой, отдавшись праздности и лени, забыл он о своих овцах.

Однажды он все-таки вернулся, но вернулся не таким, каким уходил. Без любви в сердце и тепла в груди пришел к отаре Аймуш. Не стал он гладить ягнят, как прежде, не хотел ласкать томившихся по нему овец.

И свирель его заиграла не звонко, не ласково. А однажды во время полдневного отдыха злой окрик вырвался из его груди, когда одна из овец немного отошла от стада. Услышал этот сердитый голос золоторогий баран, только что вышедший из Хурлы, чтобы дать овцам силу плодородия, услышал и бросился назад к озеру. Белой цепью потянулись за ним все овцы, и одна за другой скрылись под синей водой Хурлы.

Долго играл на берегу Аймуш свои самые нежные песни в надежде вернуть отару. Долго сверкали на его ресницах хрупкие слезы... Но овцы не вернулись к нему, и только вода в озере забурлила, как в котле, и покрылась белой пеной.

Грустным стало лицо Аймуша, и борозда печали пролегла на гладком его челе.

Зашел он в кош, накиннул бурку, взял башлык, заткнул за пояс серебряный кинжал, повесил на плечо свое длинноствольное ружье, еще посуду для пищи с собой захватил и пошел к озеру.

Крепко обнял Аймуш младшего брата, попросил передать друзьям привет и шагнул в воду.

Долго плакал Магул... Пришли люди из долины и тоже плакали. Удалые пловцы ныряли в Хурла-кёл, но Аймуш не вернулся назад. Говорят, и до сих пор ходит он под водой, пасет свою любимую отару.

Пастухи, коротающие ночи у костров на берегу Хурлы, не раз слышали, как приглушенно, будто из-под воды, лают собаки, блеют овцы и звенят колокольцами ягнята, звучат нежные напевы свирели.

А во время осенней линьки на лазурной глади озера появляются белые хлопья. Это линяет неостриженная отара Аймуша...

Спит в тихие дни Хурла-кёл. А по вечерам, когда со склонов спускаются ветры, частая рябь идет по нему, и густой камыш склоняется над водой, нашептывая ей мудрые и поучительные предания древних нартов...





Горький родник

Много интересных историй знают старики из аула Али-Бердуко, что лежит в долине Инжич, называющейся иначе Малый Зеленчук. Но особенно часто рассказывают они о горе вблизи аула, упоминая при этом о пещере с тремя камнями, похожими на окаменевших людей, и о прохладном источнике под горой, который назван Горьким родником.

Гора эта была бы обыкновенной горой, но на вершине ее зияет широкая дыра, в которую и зимой, и летом вползают густые туманы, влетают сорвавшиеся с неба звезды, льют дожди, и падают снега и все никак не могут ее заполнить.

Стоит много лет эта гора, слушает рассказы о себе и все шире открывает зев, словно хочет заговорить с небом и позвать его в свидетели того, о чем рассказывают седоголовые мудрецы из аула Али-Бердуко.

Странные были когда-то в этих краях времена. Все рождались от своих матерей одинаково – все без рубашек и с горьким плачем. Но потом глаза одних высохали и плечи покрывались дорогими одеждами, а другие плакали всю жизнь и умирали такими же нагими, какими родились.

Странные были времена – те, кто имел табуны и земли, старели в набегах на чужие земли и табуны, то же самое заставляя делать и тех, кто ничего не имел.

Безлунные ночи по их вине наполнялись тогда только одними звуками – звуками коротких схваток, белые камни на горных тропах становились белыми только после обильных дождей, смывающих с них красный цвет – цвет крови...

Коши двух братьев из знатного рода Жираштиевых стояли рядом у большого, тогда еще безымянного родника, и много людей держали братья на кошах, чтобы никто не смог отбить у них резвый табун лошадей или стадо быков.

Но еще больше людей привел глухой осенней ночью на коши братьев князь из соседнего племени. Хорошо вооруженные, прикрытые темнотой, имея под собой сильных коней, они стали истреблять людей Жираштиевых.





Одному только пастуху удалось вырваться из жестоких рук и бежать, но не хотели ночные гости его упустить – знали: будет погоня, если пастух сумеет добраться в аул.

Метко отстреливался бежавший, но пуль у него было меньше, чем преследователей. Когда уже нечем стало стрелять, он начал отбиваться камнями и звать на помощь.

Услышали пастуха в ауле. Но враги все-таки настигли его у входа в темную пещеру...

Забежал в нее пастух и стал проклинать грабителей:

– Остановитесь, жестокие! Я устал убивать, защищаясь, я не хочу лишать жизни даже несущих мне смерть. Но и не хочу умирать! Пусть окаменеют нечеловечьи сердца убийц, если есть на свете правда!

Не успел пастух закрыть рта, как трое его врагов, забежавших в пещеру, превратились в холодные камни, чтобы и сейчас стоять там, напоминая людям о том, что было когда-то.

Поднялась тревога в ауле. От погони ушли на резвых конях лишь те, кто не знал горечи расплаты ни за какие грехи. За их разбой заплатили жизнью горемыки, не успевшие уйти со скотом далеко.

Двое из них были взяты в плен и связаны. А как поступить с ними, люди решили спросить у княгини – матери братьев Жираштиевых, погибших в ту ночь в перестрелке.

– Кара должна быть беспощадной, – сказала княгиня, – тот, кто лишил меня света очей моих, пусть уйдет на тот свет по самой страшной дороге. Привяжите их к арбе и скатите вниз с высокой горы, чтобы тела их, истерзанные скалами, истлели на камнях под палящим солнцем.

– Убейте нас как мужчин, – попросили на вершине горы осужденные. – Может быть, мы заслужили смерть, но чем заслужили мы позор – не быть похороненными?

– На их языках правда, – решили люди.

Но в это время верный холоп княгини, которого звали Тыжико и который не очень заботился о чести своего имени, подкрался к брочке с пленными и скатил ее вниз, сказав, что эти двое – не какие-нибудь князья, чтобы говорить об их достоинстве.

Громом раскатились по долине проклятья двух гибнущих связанных людей. И тут рассекла потемневшее небо молния, содрогнулась земля и со страшным треском провалилась под ногами Тыжико.

Люди на горе, став кругом, долго глядели в зияющую пустоту перед собой, но ничего не увидели. Исчез Тыжико, а потом постепенно исчез с лица земли и весь его род.

Правду говорят в ауле Али-Бердуко и в других аулах, что не место на земле плохим людям.





И еще говорят, пришла однажды старая княгиня Жираштиева к студеному роднику, где некогда стояли коши ее сыновей. Умылась она, попила холодной воды и со слезами воскликнула:

– Родник! Ты чист, как небо, ты, как мед, сладок для жаждущего, но для нас ты стал горше яда, стал родником несчастья.

С тех пор родник, совсем не повинный в неразумно пролившейся тогда крови и не ведавший, сколько горьких слез было пролито вокруг этого прохладного и чистого теперь источника под горой близ аула Жако, и сейчас зовут Горьким родником – Псынэдыч.





Бийнегер

Настоящий удалец был Бийнегер. Гезоха сын...

Верный глаз был у него, отважное сердце и быстрые ноги – все, что нужно хорошему охотнику.

Никогда он не возвращался в аул без богатой добычи.

Плохо родился хлеб в те времена, и только охотой были живы люди.

Чаще всего пели тогда одну песню – песню, обращенную ко всемогущему Апсаты – духу гор.

«...Богачи забили на зиму своих жирных бычков. А наше мясо – в горах, бродит меж крутых скал. Нелегко нам его доставать.

На плече охотника тяжелое ружье, словно ярмо; за пазухой – черствая лепешка, а в реке – холодная, как лед, вода... Очень тяжело охотнику...

Будь же милостив, Апсаты! Много у тебя толстошеих и круторогих по лесам и ущельям.

Что нам получить не суждено – упрячь от нас подальше, а что наше – отдай, не мучая нас...

Дай продырявить свинцом жирный бок горного козла. Выведи большого тура на нашу тропу. Сделай так, чтобы труд наших ног не остался напрасным.

И пусть взойдет веселое солнце и прояснится день, когда мы станем преследовать дичь...»

И старые, и молодые – все мужчины пели эту песню на утренней заре, перед охотой.

Но чаще всех пел ее Бийнегер.

И длинной была бы жизненная тропа Гезохова сына, если бы не избаловала его постоянная удача. Стал он стрелять чаще, чем нужно было...

Собрались древние старцы аула и самый древний из них заговорил от имени всех:

– Мы любим тебя, сын Гезоха, и в своих молитвах просим, чтобы судьба никогда не поворачивалась к тебе спиной... Ты силен и ловок, сын Гезоха, ни





разу после твоего выстрела не успела твоя жертва сделать больше четырех шагов. Глаза наши от старости стали тусклыми, но в них загорается свет, когда смотрим на тебя, ты наша юность, сын Гезоха, и мы в своих молитвах просим еще, чтобы к силе твоей прибавился разум. Горы наши богаты, но горы пустеют, потому что ноги твои не устают бегать по ним, руки твои не устают держать меткое ружье, а страсть твоя выслеживать дичь все растет. Не нужно человеку мяса больше, чем может поместиться в котел. Горы наши – не только наши, а и тех, кто еще придет. Будь хозяином гор, а не будь их врагом – они могут тебя покарать. И тогда запоют песню твои недруги, а заплачут близкие, и потухнет тогда свет наших глаз.

С большим почтением слушал Бийнегер мудрые слова, но слушал только ушами, а гордое сердце его было глухо.

Не взошли добрыми всходами в его сердце семена мудрых слов, и горы покарали его.

Очень сурово покарали.

Заболел внезапно старший брат Бийнегера – Умар. Одно лекарство помогло бы ему на всем свете – молоко белого марала.

Три дня рыскал Бийнегер по крутым отрогам Басхана и наконец напал на след дичи... Измучился он, изнуря себя, но об отдыхе было думать нельзя... Долго он карабкался на скалы, карабкался до тех пор, пока след не привел его к неприступной круче на Минги-Тау...

Наполнил Бийнегер свой башлык снегом, стал лепить на камне лестницу и по ней взобрался наверх. Невиданное увидел он: белое на трех ногах, задние короче передней, с острыми копытами, подобными шилу, которым подшивают чабыры.

– Не убегай, – крикнул Бийнегер. – Если ты козел, дай прицелиться и спустить курок. Если ты коза, дай подоить тебя – у меня брат болен. А может, ты джин или шайтан?

– Не джин я и не шайтан. Не козел я, чтобы стрелять в меня, и не коза я, чтобы доить меня. Я – прекрасная Фатима, дочь Апсаты – духа гор. Ел ты наше мясо – не наелся, пил кровь нашу – не напился. И вот тебе за это мои пожелания: пусть небо над тобой будет чистым и высоким, а круча под тобой еще круче. Чтобы справа была у тебя бездна, чтоб слева тоже была бездна, чтоб впереди у тебя стена до неба была, а сзади еще выше. И чтоб дней для радости у тебя было много между этих стен...

Пятнадцать дней жил на скале Бийнегер. Гончую собаку свою кормил мясом своих ног, а сам питался мясом своих рук...

Увидел Умар во сне, что случилось с братом. Примчался он, примчались люди, но спасение охотнику не сумели придумать.

Стал просить Умар брата со слезами:





– Прыгай вниз, милый Бийнегер, не умирай на камне, не делай наше несчастье еще более тяжелым – дай похоронить твои кости в земле...

– Не проси, брат, – отвечал Бийнегер, оставаясь наверху. – Жить хочу. Не брошусь насмерть, пусть она сама придет. Посмотрю хоть на нее, пока еще жив.

Отыскал Умар в Балкарии любимую брата и сказал ей, зачем пришел...

Зарыдала любовь Бийнегера, запричитала, превратила ноги в коня, руки – в плетку, густые волосы буркой распустила и, заливая дорогу слезами, примчалась к Бийнегеру.

– О, несчастная я, как мне дотянуться до тебя? Не хочу, чтоб ты там остался и тело твое делили орлы... Милый, завяжи себе глаза рубашкой, что сшила тебе я, и прыгай – вот моя белая грудь, которой ты так часто любовался.

Бросился охотник вниз, на грудь любимой, но только клочок от кудрявого чуба долетел до нее.

Выхватила бедная женщина чей-то кинжал и тут же с воплем воткнула себе в живот.

Так погубил Гезохов сын себя и свою любовь.

Слишком высока оказалась башня Апсаты, на которой очутился Бийнегер, потеряв свой разум.





Адиух

Стройной невестой в подвенечном платье белеет на крутом берегу реки Большой Зеленчук старинная башня, из окон которой некогда печально глядела вдаль прекраснейшая из всех женщин.

Когда она протягивала к солнцу белые руки, они излучали яркий свет, затмевающий солнце. И ее звали Адиух – светлорукая.

Красота ее лица сияла когда-то еще ярче, а теперь на нем лежала тень грусти, лежала с того самого дня, когда Адиух, еще совсем юная, спустилась однажды к звонкому ручью за водой и всадник в черном, ястребом налетев сзади, накрыл ее буркой и помчал далеко в горы.

С того дня ни разу Адиух не покидала стен одинокой башни на высоком берегу Большого Зеленчука, ни разу она не видела, как встает после дождя в родной долине радуга, не видела, как зацветают весной на зеленых полях ее родины первые подснежники.

Только длинными ночами в коротких снах возвращалась она в свое детство, смеялась с подругами, слушала знакомые песни и звон ручья, на берегу которого выросла.

На горы спускались осенние туманы, но прилетал ветер, и туман уползал. Снега покрывали собой горы, но грело солнце, и снега таяли, обнажая светлые склоны... А печаль с лица Адиух ни весной, ни осенью не уходила.

– Чем ты, женщина, недовольна? – спрашивал ее красавец-князь Псабида в редкие минуты возвращения домой после ночных горных дорог. – Разве мало золота и роскошных нарядов в моей неприступной башне? И есть ли у одной хоть жены такой отважный и знатный муж, как я? Разве не переполняют твое сердце радость и счастье, когда ты видишь меня?

– Башня твоя просторна и богата, – соглашалась Адиух, робко смежив длинные ресницы, – но мало в ней света для меня. Мое сердце бьется сильнее, когда я вижу тебя, но вижу мало. Ты каждую ночь, накинув черную бурку, ска-





чешь куда-то в горы, чтобы пригонять все новые и новые табуны... А я все одна и одна. Зачем ты меня привез на седле и заточил в этой каменной башне, если я тебе не нужна? Зачем заставил полюбить себя?

– Ты мне нужна, женщина, – отвечал князь сердито, – иначе я не морил бы своего прекрасного скакуна, похищая тебя...

– Тебе нужна не я, – говорила Адиух. – Когда ночами в снегопад и в дождь по шаткому мосту через грозную реку ты гонишь в башню стада и табуны, я протягиваю навстречу тебе руки, они светятся, и ночь становится светлой, как день... Без света моих рук ты не можешь жить, только потому и похитил меня...

– Останови свой язык, женщина, – загремел по пустынным комнатам башни гнев князя, – слепой сове нужен свет твоих рук, орел и темной ночью ясно все видит... Вот мой меч – посмотри... Если ты еще раз высунешь в окно руки, я отсеку их этим мечом.

Ночью вновь он отправился в горы, и Адиух по привычке ждала его, гоня сон. Не было ни звезд, ни луны. В плотной мгле бурлила, ворочала камни река под мостом. В ущелье протяжно выли волки и тонко рыдали шакалы. Гуляка-ветер буянил меж скал.

Крепко закрывала свои глаза Адиух, но лицо мужа не уходило в темноту. Красивым было это лицо и непроницаемым.

Столько лет всматривалась в него все простившая и полюбившая Адиух, пытаясь увидеть в нем душу Псабиды и в душе его увидеть хотя бы немного нежности и тепла, может быть, почему-то от нее до сих пор спрятанных.

Хорошо смотрела Адиух, но ничего ни разу не сказало лицо Псабиды о нежности, недаром, видно, звали его Псабидой – твердой душой.

Но она любила его все равно, и тревога за него была в эту ночь такой же сильной, как всегда...

Где несется твой конь, Псабида, сейчас, в непогоду и мрак? Зачем гонишь статных коней к своей башне не днем, когда над крутыми дорогами висит яркое солнце, а темными беззвездными ночами, словно вор, заметающий следы?

Где скачешь сейчас ты, Псабида, в безлунную ночь, когда конь твой не видит, куда поставить тяжелое копыто?

Прилетел к окнам башни бродяга ветер и принес с собой топот множества копыт, который был подобен горному обвалу...

Вскочила Адиух, подлетела птицей к окну, хотела было, как всегда, протянуть руки, чтобы сделать светлой темную дорогу мужа, но вспомнила его гнев и замерла, опустив их, точно птица перебитые крылья...

А Псабида был уже близко. Скоро путь между ним и башней стал равен длине моста над пропастью, где гремела темная вода.

Посмотрел Псабида вверх через левое плечо – не увидел светлой луны, посмотрел через правое – не увидел ярких звезд, посмотрел в сторону своей башни – не увидел сияния золотых рук. Хотел Псабида крикнуть той, что ждала





его, но гордость плотно сомкнула его губы. Стал он молча бороться с ночью, уже половину моста одолел, но захрапели кони, испуганно вздыбились перед мраком, идущим из пропасти...

Все свое мужество позвал на борьбу с ночью Псабида, но судьба повернулась к нему спиной.

Трудно человеку без света, совсем трудно. Рухнул мост, и все поглотила пропасть...

Горько рыдала над телом мужа Адиюх, била о скалы белыми руками, из которых уже сочилась кровь. От этой крови скалы на берегу Большого Зеленчука и сейчас стоят красными...

До самого заката лила Адиюх горячие слезы, стекавшие прозрачным потоком в холодные воды Большого Зеленчука...

На закате могучий и стройный всадник осадил рядом с нею коня, спешил, тронул ее за плечи и бодро сказал:

– Добрый день, прелестная женщина!

– Какой же он добрый, – горестно воскликнула Адиюх, – он черный, этот день, как ночь.

– Нет, он добрый, – твердо сказал незнакомец. – Но хватит спорить... Предадим земле то, что принадлежит уже ей. Да простит она Псабиде его тяжкие грехи и да станет она ему уютным и теплым домом...

Глубокую яму молча вырыл приезжий, положил в нее Псабиду и высокий холм воздвигнул над ним. Потом расстелил под холмом свою бурку и усталый свалился на нее...

– Станный незнакомец, – заговорила с ним Адиюх, – объясни мне свои слова. Почему день, принесший моему сердцу такое горе, ты назвал добрым?

– Не спрашивай, женщина, – услышала она, – мой ответ может сделать тебе очень больно.

Но Адиюх стала настаивать. И незнакомец сказал:

– День я назвал добрым потому, что в этот день не стало злого человека, который убивал в горах неосторожных пастухов и угонял их окот, чтобы увеличить число своих уже бесчисленных стад и табунов... Я нарт Сосруко, о котором ты могла не раз слышать, сто дней и сто ночей искал встречи с этим человеком, чтобы наказать его, и вот сегодня встретился с ним, уже наказанным рукой судьбы. Не говорят о покойниках плохо, но этот покойник не достоин твоих слез, потому что много крови и слез пролил его меч.

– Зачем ты мне это сказал, Сосруко? – отчаянно заломила руки Адиюх. – Я не могу теперь его любить. Он оскорблял мою гордость и любовь своим равнодушием, но я простила ему его холод. Он разлучил меня с самым дорогим, что у человека бывает, – с родиной, но я простила ему это и полюбила его... Но как я могу ему простить воровство и убийство? И я вот этими руками освещала ему дорогу разбоя...





Бросилась Адиюх на могилу мужа и безумно принялась ее разгребать, до локтей вонзая белые руки в черную землю.

– Зачем? Ты хочешь отдать его тело хищникам?! Мертвых не наказывают! – крикнул Сосруко и, вскочив, попытался удержать женщину. Он прижал ее так крепко, что вдруг почувствовал, как в его богатырском теле зажглась кровь...

– Сосруко, что ты делаешь со мной! – удивленно спросила Адиюх, почувствовав, как непривычно забилося ее сердце, а по телу разлилась приятная истома.

– Ты не знала мужчины? – изумился Сосруко. – Как несчастен был Псабида, если страсть к разбою ни разу за столько лет не уступила в нем места ничему другому, даже страсти к такой прекрасной женщине, как ты...

– Как плохо было бы, – ужаснулась Адиюх, – если б ты не сказал мне, кем был мой муж... Мое сердце осталось бы навсегда верным Псабиде. Как хорошо, что я встретила тебя!

– Теперь твое сердце свободно, и я самый счастливый нарт из всех нартов, – сказал Сосруко и увез Адиюх с собой.

А Псабида остался лежать на берегу Большого Зеленчука, недалеко от своей неприступной башни, остался в могиле, принявшей вид седла после того, как Адиюх пыталась ее разрыть.

Как невеста в подвенечном платье, белеет башня на зеленом берегу, и только сторона ее, повернутая к могиле Псабиды, покрылась мертвым мхом и почернела, словно солнце испокон веков светило мимо этой одной стороны.





Живой ключ Ак-су

Богат был и знатен Иштерек, ногайский князь, богаче всех своих близких и дальних соседей. Очень много земли покрывали его стада и табуны, когда он кочевал по зеленым степям. А кочевал он всегда: скоту его свежая трава нужна была, а ему – счастье...

В новых краях все новых и новых женщин и силой, и хитростью заставлял князь делить с собой ложе любви, но ни одна из них не могла подарить ему детей.

Все больше озлобляла Иштерека судьба, которая ему, способному одеть в золото сто наследников, не давала ни одного, в то время когда жены нищих его пастухов безудержно плодили на свет босоногих детей, бегавших целыми днями от шатра к шатру, оглашая степь вечным криком о пище...

Знойным летом на желтых, как золото, лугах Прикумья судьба перестала испытывать терпение Иштерека, и голубоглазая русская полонянка родила ему дочь Султанет.

Сама она не перенесла плена и вскоре умерла, но перед этим отдала дочери всю красоту лица и тела.

Твердо поверил Иштерек в свое счастье, два раза в день – ранним утром и поздним вечером – благодарил он небо, принося ему в жертву овец и быков, чтоб их кровью поддерживать свет счастливой своей звезды.

Но снова тусклыми ему показались яркие звезды, когда неожиданно заболела и начала увядать его единственная дочь.

Богачом сделать обещал князь всякого, кто сумеет вернуть розовые краски здоровья лицу Султанет.

Много лекарей и знахарей из больших и малых земель пытали счастье, но ничем княжне помочь не сумели.

Лишь один из них, старец, много видевший и еще больше слышавший, сказал Иштереку о том, что есть у реки Дон черный мертвый ключ – Кара-Су и белый живой ключ – Ак-Су, воды которых делают больных здоровыми.





Быстро собрался в путь Иштерека: ни днем ни ночью не отдыхая, со всем своим кочевьем переплыл он семь больших и малых рек, перешел семь бескрайних степей и наконец добрался до желанных берегов Дона.

Долго рыскали на быстрых конях посланцы Иштерека в поисках ключей, но удача была, наверное, не в той стороне, куда вели лошадиные копыта.

Ковыли шумели на их пути, да дикие звери и птицы испуганно шарахались по степи от конского топота и ржання; безлюдье стояло вокруг, не у кого было спросите дорогу к целебным ключам.

Уже на исходе недели всадники увидели человека, уходящего к раскаленному от зноя горизонту, и, заторопив скакунов, нагнали седого старика.

Старик был длиннорост, высокого роста. Одет он был в звериные шкуры и говорил на непонятном языке. С трудом, с помощью переводчика, понял князь рассказ старика: целительные ключи Ак-Су и Кара-Су, что зовется еще Мертвым Донцом, лежат не очень далеко от Иштерекова становища, путь к ним проходит через Темерницкий лиман, и скорее всего к ним можно добраться водой – у людей, там живущих, есть быстрые, как чайки, лодки...

– Что это за люди и кто их князь? – спросил Иштерека.

– Из разных племен и живут без князя, – удивил Иштерека старик. – Это вольные казаки, и атаманом они держат такого же казака, Сары-Азмана, что значит «рыжий человек».

– Когда этот рыжий сможет доставить мне лодку, если успею приказать ему сегодня? – спросил Иштерека.

– Ему не прикажешь, – снова удивил ответом старик. – Силен Сары-Азман и свободу любит, а просящему он никогда не откажет.

Крепко подумал Иштерека и, сумев потушить свою гордость, отправил нарочного с подарками к Сары-Азману...

На другое утро, едва занялась над Доном заря, полетела вниз по светлой воде украшенная дорогими коврами лодка с двенадцатью гребцами... Рядом с отцом на мягких подушках лежала красавица Султанет и тихой улыбкой отвечала внимательным взглядам статного белокурого атамана Сары-Азмана, сидевшего у руля.

Единственный раз отвернувшись от княжны, чтобы посмотреть назад, Сары-Азман увидел, что следом за лодкой по берегу Дона незаметно едет около полусотни ногайских всадников, а за ними вдаль движется остальное войско Иштерека.

Усмехнулся Сары-Азман, прищурил синие глаза и молча кивнул гребцам. Они сильнее налегли на весла, и лодка, далеко позади оставив конницу Иштерека, стрелой влетела в Темирницкий лиман, заросший камышом и осокой.

Соловьем два раза свистнул казачий атаман, и высунулись из зеленой прибрежной заросли носы легких лодок с вооруженными людьми.





Ухватился Иштерек за рукоять богатого кинжала, но Сары-Азман не дал его обнажить.

– Не бойся, гость мой, – оказал он, – эти люди не разбойники, а вольные казаки – мои верные друзья. Показал же я их тебе, чтобы ты понял, что рать твоя многочисленная не спасла бы тебя, если бы мы могли задумать худое...

И еще показал потому, что ты удивился, как могут простолюдины жить людьми без князя... Посмотри, Иштерек, они давно свободны, и каждый из них стал сам себе князем...

Увидел Иштерек гордые лица и смелые глаза скуластых татар, светлолобых русов, темнокожих кызылбашцев. И очень удивился тому, что так дружны люди разной крови и разной веры.

– Не таи обиды за мои слава, Иштерек, – попросил Сары-Азман и снова кивнул гребцам. Челны немедленно исчезли в камышах.

Еще до заката привезла лодка Султанет к заветным ключам. Выкупали няньки княжну в Кара-Су, и она, с радостью почувствовав легкость в юном теле, пришла к лодке сама, без помощи нянек.

Прискакал на другое утро Сары-Азман в становище Иштерека с двумя запасными конями, сделал из ковров и легких дротиков висячие носилки и повез Султанет к живому ключу.

Из-под высокого каменистого бугра по желтым камням шумным ручьем бежала чистая студеная Ак-Су...

Ушла боль из груди Султанет, и розовый цвет лица пришел к ней, когда она напилась волшебной воды...

Потянуло в тот же день Иштерека к родным прикумским степям, над которыми как будто снова засияла счастливая звезда Иштерека, но Султанет умоляла не увозить ее от живой воды, которой ее напоил молодой атаман...

– К тебе вернулись свежесть и сила, Султанет, – сказал Иштерек, – и нас ждут степи, где много зеленой травы. Она нужна овцам, которые мне нужны, чтоб я был отцом самой богатой княжны.

– Я хочу, чтобы ты был отцом счастливой княжны, – возразила робко Султанет, – оставь меня здесь с Сары-Азманом, если не можешь сам остаться, сегодня люди его приедут просить у тебя моей руки.

– Не для атамана казачьей ватаги растил я красавицу-дочь, – гневно сказал Иштерек сватам Сары-Азмана. – Идите к нему, не потеряйте в пути мои слова и благодарите судьбу, что я не отрезал вам языки.

Всю первую половину ночи готовились люди Иштерека, чтобы выйти с зарей в путь к далекой прикумской земле, а во вторую половину ночи вышла из шатра Султанет, осторожно прошла мимо дремавших стражников и спустилась в глубокую Кобяковую балку, где ее ждал Сары-Азман с двумя быстрыми воронными конями...





Еще до рассвета поднял Иштерек на ноги всех своих воинов и, кипя яростью, приказал истребить казаков Сары-Азмана, а его самого привезти, не тронув на нем ни одного волоска...

Глухой ропот войска, в первый раз отказавшегося ему служить, оглушил Иштерека...

Проклял князь все и, взяв несколько джигитов, оставшихся ему верными, поскакал искать встречи с Сары-Азманом.

Все отнял у него этот человек – атаман вольницы: и дочь, и войско и, кажется, силу...

У каменистого бугра, под которым текла Ак-Су, то ли плохая дорога, то ли отчаяние и слепящая злоба седока подсекли ноги его коня, и он на полном бегу сорвался с крутого обрыва.

Перед тем, как навсегда закрыть свои глаза, Иштерек успел поднять лицо к небу и увидел, как в утренней выси быстро угасала маленькая тусклая звезда...

Много лет прошло с тех пор. Забылась почти эта история, и только название последнего становища Иштерека напоминает о ней. «Кыз-тирилди» называется это место, что значит «девушка ожила». А станица, выросшая у ключа Ак-Су, названа Аксайской. Теперь этой станицы нет. Она стала шумным и веселым городом, носящим имя Аксай.





Джелимауз

Совсем не таким, как теперь, был лик земли много тысяч лет назад. Не было на земле тогда ни гор, ни глубоких ущелий, ни больших морей...

Много тысяч лет назад и в небе не бывало того, что бывает иногда теперь: два больших глаза, которыми небо смотрит на землю – луна и солнце, – никогда не моргали, светили постоянно, и неведомы были людям тогда ни лунные, ни солнечные затмения...

Тот, кому интересно будет знать, отчего изменилось лицо земли и почему небо изменило привычке смотреть, не моргая, пусть слушает этот рассказ о Джелимауз.

Джелимауз – значит «рот с клеем» – так назвала мать девяти сыновей рожденную десятой единственную дочь. Малютка при появлении на свет удивила всех не по-детски большим и красивым ртом, который почти всегда оставался плотно сомкнутым и открывался лишь для того, чтобы крепко схватить сразу оба соска материнской груди и не отпускать до тех пор, пока не оторвут силой.

Братья безумно обожали сестру-малютку. Но только самый младший из них сразу помрачнел, как только увидел ее, спустившись с гор, где пас до этого овец.

– Ее нужно немедленно отнести в лес и бросить, – сказал он матери.

– Пусть лучше тебя съедят волки в том лесу, – ответила мать сердито. – И если ты способен так говорить о сестре, знай, что один ноготок на ее мизинце мне в сто раз дороже, чем ты.

– Если так, пусть с вами остаются покой и счастье, – грустно сказал сын, – а я ухожу из этих краев подальше, потому что глаза мои не могут видеть эту девочку.

Пастух одиноко бродил в далеких землях, пока не встретил двух слепых – старика и старуху – у которых жил очень долго как сын.

Старые слепцы так полюбили, так были довольны своим приемным сыном, заботливым и добрым, что однажды от счастья прозрели.

Много ли прошло времени, мало ли, никто точно не знает, но в один из солнечных дней пастух затосковал по земле, где родился, и решил пойти и





хоть одним глазом, хоть издалека посмотреть на свой аул, с которым так давно простился.

– Мы ослепли от горя, когда умер наш единственный сын, – сказал ему на прощанье старик, – и от радости снова прозрели, когда пришел к нам ты. Нелегко нам отпускать тебя, но ничто человеку не заменит родины... Иди. Счастье, которое ты нам подарил своим приходом, так велико, что останется в нас и после твоего ухода... Пусть легким и близким будет твой трудный и далекий путь к родине. Возьми в дорогу моего коня, мой длинный меч и обеих моих борзых собак... Они тебе пригодятся..

Но пастух наотрез отказался от дорогих подарков и, чтобы не обидеть старика, взял у него только охотничью сумку с едой, питьем, бритвой, деревянным шилом и точильным бруском.

Еще издали, прислушиваясь к своему сердцу, пастух почувствовал беду: приближаясь к аулу, он не встретил ни зверя, ни птицы, не услышал обычного лая собак... Не увидел он привычных струек дыма над аульными трубами, не увидел и самих труб, и домов.

Аул исчез, остался один лишь дом, дом, в котором он родился и рос, где оставил отца и мать, братьев и сестру-малютку с недетским сильным ртом.

Она и встретила его, обняла, усадила и, почти не раздвигая синих губ, каким-то странным утробным голосом затрубила:

– Любезный братец мой, подожди немного, сейчас я позабочусь о том, что нужно для желудка.

– Беги, глупый, – запищала вынырнувшая перед ним из-под земли белая мышь. – Она пошла подточить свои зубы. Сначала она съела свою мать; потом отца и братьев, потом всех аульчан... От нее никто убежать не смог, но ты беги, в сторону солнца беги, оттуда к тебе, как я слышу по гулу земли, мчится помощь.

Как ветер несся вперед охотник, а Джелимауз мчалась быстрее ветра. За полдня пробежала она дневной путь брата и громовым смехом загрохотала, нагоняя его.

– О заходящее солнце, – взмолился он, – преврати этот точильный брусок в горы на пути моей страшной сестры!

И тут же выброшенный из охотничьей сумки брусок превратился в громадную гору Минги-Тау, что значит Эльбрус.

Джелимауз хотела обежать ее, но выросла перед ней другая гора – Казбек.

Так она металась с одной стороны в другую, и перед нею вырастали все новые и новые горы. Но сколько бы их ни выросло, Джелимауз одолела все и стала нагонять брата.

Брат опять взмолился солнцу и бросил сразу и бритву, и деревянное шило. Глубокие ущелья легли и дремучие леса встали перед Джелимауз. Но и это задержало ее лишь до вечера.





– О всходящая луна, – в третий раз взмолился пастух, бросая назад суулук с водой, – преврати это в большие моря.

Одно за другим всю ночь переплывала моря Джелимауз и к утру снова захохотала за спиной брата.

Когда погасла на небе последняя звезда, она наконец догнала его и схватила железными пальцами за горло...

Высунул язык пастух и захрипел, но пальцы на горле внезапно разжались, открыл он глаза и понял, что спасен...

Две борзые, рыча, терзали Джелимауз, а невдалеке, потрясая мечом, скакал на коне старик...

Джелимауз свирепо отбивалась от псов, сама рычала и кусала их, а когда увидела, как близок старик со сверкающим мечом, выпрямилась, взмахнула руками, как крыльями, и со страшным хохотом начала подниматься под облака...

Две борзые, впившись клыками в ее бока, поднялись с нею в небо и не вернулись на землю.

Они, говорят, вернуться, когда Джелимауз состарится, – высохнет и обратится в прах.

А пока она сильная и пока сильна в ней ненависть к людям, надо крепко держать ее за бока и не пускать к луне и солнцу, чтобы она не смогла погасить свет и тепло, рожденные на небе для земли.

Очень утомителен вечный поединок со Злом и Ненавистью, сторожа иногда засыпают, и сразу мир начинает погружаться во мрак. Поэтому при лунном или солнечном затмении люди на земле гремят в колотушки, звонко бьют в медные тазы, отчаянно кричат: будят уснувших сторожей.

Сами мы этого не видели, но вот так, рассказывают, изменился лик земли, и небо изменило привычке смотреть на землю постоянно светлыми глазами – лунной и солнцем.





Черная скала

Многие, конечно, видели скалу, что стоит в Марухской долине у родника, называющегося Змеиные слезы. Она совсем черная, но не этим удивляет видевших ее.

Это скала-дом. Четыре громадные стены, сгорбленная крыша, широкий проем для дверей... нет только окон и трубы, но это не мешает путникам укрываться здесь от дождей и ветров. А чабаны, пригнавшие свои отары с летних пастбищ, живут здесь всю зиму.

Многие видели эту скалу, многим дарила она в непогоду уют меж своих тысячелетних стен, но немногие знают, как она стала домом и отчего почернела, как уголь.

А было, рассказывают, так.

Когда-то давным-давно молодой охотник Джигит из аула Морх, преследуя резвую лань, неожиданно обнаружил, что заблудился в хорошо знакомом лесу. Он долго мучился, не находя дороги, устал и уже подумывал о смерти, как вдруг заметил впереди свет и радостно поспешил туда, увидел перед собой прекрасную девушку, озарявшую своей красотой темный лес.

– Человек ли ты, прелестное существо, – спросил Джигит, – и что ты здесь делаешь?!

– Да, я женщина, – был ответ, – и, к несчастью своему, слишком красивая... В моем ауле из-за меня мужчины стали губить друг друга, и я ушла в лес, чтобы перестать приносить горе.

– Лучистая звезда! – воскликнул молодой охотник. – Ты можешь приносить только радость. Подари мне ее – войди светлым солнцем в мой дом, как вошла в мое сердце.

Женщина робко положила руку в протянутую ладонь охотника и пошла с ним, разгоняя своим сиянием мрак леса.

В ауле, когда гости веселились на свадьбе и хором желали молодым счастья, отец Джигита позвал его к себе и обеспокоено сказал:





– В моей душе лег камень тревоги, сын, мой. Хороша твоя невеста, но посмотри – какой странный нечеловеческий блеск в ее взгляде... Ты ослеплен ее красотой и не видишь того, что видят люди. Они, как и мое сердце, говорят, что ты должен отвести и оставить ее там, где нашел.

Не поверил Джигит словам отца. Не поверил и людям, считая, что они говорят так из зависти.

– Она – ангел, отец, – возражал он, – если бы не сияние ее глаз, лес не пустил бы меня домой...

– В ее горящих глазах, – снова пытался убедить сына отец, – мои старые глаза различили зерна, которые взойдут несчастьем для людей... Я не хочу разбивать твое слепое влюбленное сердце... Но смотри хорошо, ангел она или шайтан? Это ты скоро увидишь сам. Те, кто несет людям зло, не могут долго быть в облике человека.

Пожелтел и высох за половину своего медового месяца Джигит, стали сохнуть и умирать в ауле дети, на окот напала непонятная болезнь, почти иссякла вода в реке Морх, и поблекла на полях пшеница...

Снова заговорил о лесной женщине старик...

Однажды ночью Джигит, лаская жену, вдруг заметил, что тело ее слишком гладко и холодно, а на животе нет никаких следов от пуповины, будто и не рождалась она от матери, как все люди. Он сказал об этом отцу...

– Она – не женщина, – вновь заявил отец. – Сегодня ночью накорми ее чем-нибудь очень соленым, разлей нечаянно всю воду, что она припасет, притворись спящим и жди – так мы узнаем наконец, кто она.

Сделал Джигит все, как велел отец, и притворился спящим.

В полночь жена приникла ухом к его груди, послушала, решила, что спит, и, оставаясь в его объятиях, стала вытягивать шею, превратившись в громадную змею, просунула голову в открытое окно, дотянулась до реки Морх, вылакала ее половину, а потом втянулась обратно и снова стала женой Джигита.

Джигит до утра потел со страху, промок, словно вся вода, выпитая женой-змеєю, вылилась на него. Он корил себя за то, что пренебрег советами отца, мнением людей. А утром прибежал к отцу...

До самого полудня думали они, как избавить себя и весь аул от чудовища, как искупить вину перед людьми. А в полдень сел Джигит перед женой и, сделав грустное лицо, заговорил:

– Далеко-далеко в горах зарыт сундук с золотом. Я отправился бы туда и вернулся богачом, но боюсь оставить тебя одну. Ты ведь знаешь, что многие в ауле не любят тебя... Если ты не против, я решил так: вырублю в скале крепкий неприступный дом, приготовлю запас дров на целый месяц, дам двух прислужниц, и ты, никого не боясь, будешь жить в том доме, пока я вернусь...

Велика была скала и тверда. Три дня и три ночи долбил ее Джигит, тринадцать потов сошло с него, тринадцать раз он падал, обессилев, но желание





скорей искупить хотя бы маленькую частицу большой вины перед аулом заставляло его всегда подниматься.

На четвертый день дом был готов и обложен со всех сторон дровами.

– Почему здесь нет окон и трубы? – спросила жена Джигита, когда зашла осмотреть свой дом.

– Это чтобы ты не могла оттуда выбраться, – крикнул Джигит, захлопывая за нею каменную дверь, и стал разводить огонь.

Пока дрова не разгорелись, пока было не слишком жарко, змея все оставалась женщиной и плакала женскими слезами, но когда огонь поднялся, она стала той, кем была.

От ударов ее хвоста, говорят, тряслись горы, а от шипения змеи глохли в ауле люди...

Очень страшно загремел тогда гром, очень часто заметались по небу молнии...

Треснула внезапно земля, и оттуда ударил горячий ядовитый родник – Змеиные слезы...

Прошли века, добрая земля поглотила уготованное людям зло, родник очистился от яда, и вода в нем сейчас прохладна и светла.

А черноту каменных стен, долго пылавших в очистительном огне, не могли смыть ни дожди, ни снега, ни время.





Карча – вождь свободных

I. Рассказ о земле отцов

Ветер бежит по деревьям, и деревья шелестят листьями, но пусть ветер уснет и уснут деревья.

В степи звучным ржанием зовут жеребят кобылицы и храпят сытые кони, но пусть их звуки спрячет густая трава...

За шатром плещет сильное море, над морем кричат чайки и колышется песнь рыбаков, но пусть море застынет и замолчат рыбаки...

Весь мир до краев полон гула и звона, но пусть я буду глух ко всему, чтобы слышать только твой голос и твои слова.

Прилетел бы к тебе я раньше, но Трам отбил мои крылья, когда я мчался сегодня за раненым тигром, чтобы огненной шкурой его ты в дни без солнца мог греть свои старые плечи...

Ты послал Трама, и Трам долго кричал, чтобы я остановился, но не виден был мне он, потому что был за спиной, и не слышен был, потому что был далеко. Не смог Трам настичь меня ни скачкой, ни криком и послал за мной стрелу, которая быстрее и коня, и крика.

Резвее ветра был пламенный тигр, и я два раза хлестнул своего коня, я не видел, что в боку его торчит стрела, сделавшая его копыта тяжелыми. Конь мой остался лежать там, где догнала его смерть, а я примчался к тебе. Трам сказал, что ты хочешь видеть меня как можно скорее. Я бросил в пути свой тяжелый шлем, чтобы легче было бежать, снял стальную кольчугу, чтобы легче было дышать. На ногах моих раны и на дорогах кровь от ран.

«Открой же глаза, отец, и скажи, что хотел сказать...»

«Не могу открыть глаз, мой отважный батыр, желтый туман смерти заполнил их, но я скажу тебе всё, что запер в груди очень давно...»





Слушай слова о прекрасной земле и о тоске по ней, слушай внимательно, я тороплюсь.

Ты был не выше меча, воткнутого в землю, когда от яда стрелы уснул могучий алан Батырбий и мы насыпали над ним высокий курган. У этого кургана учил я тебя держать щит и владеть мечом, чтобы сила Батырбия вселилась в тебя.

Ты вырос воином настоящим и стал главою лучшей сотни стражников-телохранителей хана Аслан-Герия, потомка великих хазарских каганов.

Кровью был залит взор Батырбия, но и перед смертью он видел только одно, видел, как горит в упрямом огне и рушится белый, будто снег, город Ма-Асс, где он родился и жил бы до смерти, если бы не вынырнул однажды из-за крутых склонов его родины желтый бунчук узкоглазого хана Бату, внука Чингиза-завоевателя, поклявшегося приторочить весь мир к седлу монгольского коня.

Мчались по Вселенной под желтым знаменем хана тысячи диких всадников, напоив себя яростью к чужим народам и кровью напоив чужие земли.

– Аланы! Откройте ворота, – кричали они, окружив дивный город Ма-Асс.

– Мы покорили множество близких и далеких от вас племен. Храбро бились и ваши соседи, но теперь их вожди – и кипчакский Бачман, и чиркезский Тюкбаш, и асский Иджис – все собирают кизяк для наших костров. Смиритесь, аланы, склоненную голову меч не рубит.

– Склоненную голову топчут в грязи! – неслись им в ответ гневные слова вместе с тысячью длинных стрел.

Крепка была стена Ма-Асса, и высоки были его башни, звезды ночью ложились на них отдыхать, а полуденное солнце могло уходить выше их только на локоть. Но невиданное оружие было у неведомого врага: стрелы с горящими хвостами срывались с его тугих луков и несли в город пламя и чад; камни, большие, как лошадиная голова, металы его деревянные чудища и разбивали вековые башни и стены Ма-Асса...

Сражались маассцы, пока могли стоять, а когда не могли, падали непокоренные, укрывая собой свой израненный город и ненависть врага...

К колесам походных повозок поставил Бату детей аланов, приказав оставить в живых только тех, кто не выше колеса.

– К ним еще не пришла ненависть их отцов, – сказал он, – а сила и мужество к ним придут. Пали аланы, не упав передо мной на колени, и под пеплом будет земля их – Алания, пока буду жив я, а дети их забудут, чьи они дети, и будут служить моей славе...

Развезли монгольские седла по горам и равнинам вселенной детей непобежденных. Батырбий был ростом с меня, а я был среди тех, кто не перерос колеса, но мы были не такими уж маленькими, потому что колеса были все же большие.





Тенью стал, прахом стал Бату-хан, а земля наша и теперь под пеплом, а сами мы умираем далеко от нее, под небом Хазарии (Крым), между водами двух морей (Хазарское море – Черное море).

На синей реке Итиль (Волга) в богатом городе Сарай-Берке сидит хан Узбек, еще выше поднявший знамя Бату.

Вьючат верблюдов баскаки (татаро-монгольские сборщики дани) хана слезами и потом народов от самого Хорезма до синих пределов Рума (Византия) – оплота вечерних стран, и караваны по длинным дорогам везут в далекий Сарай золото...

Богата дань и из Хазарии, отправляемая на Итиль Аслан-Герием, коварным нашим владыкой и монгольским верным рабом. Богата дань бедного народа, тяжело везти верблюдам томящие грузы в чужие края, согнулись их горбатые спины. Еще ниже согнулись мы под бременем неволи в чужом краю.

Слушай, сын мой, теперь то, что нельзя было раньше тебе говорить, потому что ты был слишком молод, слушай то, что сейчас нельзя не сказать, потому что я ухожу туда, откуда нет возврата.

Я зову тебя сыном уже много лет, но отец тебе тот, кто лежит под курганом, а я его друг, учивший тебя всему у его могилы, чтобы ты во всем был похож на него...

Взгляни завтра утром на тусклое солнце Хазарии – Батырбий проклял его, потому что его солнце было другим. Много раз собирал он аланов, чтобы их увести под свое солнце, но в последний раз стрела ударила ему прямо в сердце. Её принес ветер, вылетевший из золотого шатра ничтожного потомка великих предков – Аслан-Герия, чью жизнь и покой до сих пор охраняли твои надежные руки.

Слышу: ждали пальцы твои серебряную рукоять меча, и меч гневно звенит. Пусть никогда не утихнет эта песня гнева.

В глазах твоих пламенем вспыхнула ненависть, пусть она никогда не угасает. Пусть она тебя греет, если в пути мороз, пусть она тебе светит, если в пути темно.

А путь твой будет далек – воды моря, семнадцать зеленых долин, столько же снежноголовых гор и еще тридцать рек отделяют тебя от Алании.

Собери своих земляков – ты их узнаешь по тоске в глазах – и разбей все живые и мертвые стены на пути к ней. Ты узнаешь ее, землю отцов, она отлична от всех, потому что прекрасней всех. Ты узнаешь ее по пахучему стеблю травы, спрятанной уже много лет в рукояти твоего меча, которую ждали сейчас твои железные пальцы. Разожми их, открути рукоять и теперь клинком осторожно ее раскрой – видишь? Только в стране аланов растет эта трава, нигде ее больше нет. Мать Батырбия сорвала ее, расставаясь с родной землей, а Батырбий сберег ее в сердце меча и меч оставил тебе, чтобы крепкой была твоя рука и неугасимой была любовь твоя к потерянной родине.





Силен этот стройный стебель, сочны эти узкие листья, цепки эти длинные корни на родных склонах, ни зной, ни бураны там для них не страшны. Людям нужен сок стеблей и листьев. Сок этой травы, поивший твоих предков, был темно-красен, как кровь, почти черен, как чай, и ее называли Кара-чай.

Поэтому и тебя назвал отец этим звучным и сильным словом – Кара-чай, а я, чтобы стала длинней твоя жизнь, сделал имя твое коротким, и стал ты Карча.

Я сказал тебе всё и могу умереть, тебе умирать желаю под небом Алании. Но живи много лет и будь похож в любви и ненависти на своего отца. Полюби свою землю и прокляни чужое, холодное солнце и чужие дожди».

II. Песня пастуха Таулу

В долине Басхана, в густом орешнике, под чинарами лежал аул Карчи – Эль-Джурт. В знойный полдень, когда Карча со всеми мужчинами жал ячмень далеко за рекой, ворвались с боевым кличем в аул незнакомые всадники, опустошили дома, навьючили лошадей, чем могли, и побросали всех красивых девушек поперек седел.

Четырех грабителей пронзил четырьмя стрелами юный пастух Таулу, единственный из мужчин, кто им встретился.

До самого вечера незнакомые всадники тащили на аркане пастуха, а вечером, когда пришла пора отдыха и загорелись костры, Абдулла, предводитель отряда, сильным взмахом ножа разрубил его путы и гневно сказал:

– Четырех орлов погубил молодой волк, но волк не умрет. Он будет стеречь лошадей и готовить нам пищу, пока не высохнет в нем кровь от жажды и голода. Сейчас он нам сварит своих лучших овец, а мы позабудемся со своими пленницами.

Связал десять любимых овец Таулу, поднял брошенный ему нож и нагнулся красить овечьи шеи. И когда запах крови пропитал его яростью, он, птицей перемахнув костер, вырос из пламени перед Абдуллой, схватил его за длинный ус, запрокинул голову и молча воткнул нож в горло.

Потом, крутясь вихрем среди врагов, Таулу стал делать то, что делает волк в отаре. Долго он показывал гостям, как пляшет смерть у вечерних костров. А когда его снова связали и повесили над огнем, он запел:

Эх, как мучила жажда
сегодня меня.
Эх, как вражеской кровью
Я жажду унял!
О-рай-да, рий-да-ра,





О-рай-да, рий-да!
Десять бедных овец
Я послал на тот свет,
Вдвое больше врагов
Им отправил вослед!
Как учил меня Он,
Так и сделал я!
Эх, мне тоже пора –
Орайда – умирать,
Эх, на вражьих телах
Так удобно лежать.
Как учил меня Он,
Так и бился я!
Поднят я над огнем
Многим множеством рук,
На моем лице смех,
А на вражьих – испуг!
Так учил меня Он –
Пусть Он здравствует!
Я недолго пожил, но пожил,
Как хотел,
Перед смертью теперь
Одного б я хотел,
Чтобы Он на коне
Показался вдруг.
Чтоб за склоном вдали
Его шлем засверкал,
Чтоб Он видел конец мой
И гордо сказал:
«Как учил я его –
Так и умер он!»

– Одинаковой дорогой приходят в мир – с плачем, а уходят по-разному, – так сказали чужеземцы, изумленно внимая гортанным словам пастуха, висевшего над пламенным зевом смерти. – Невиданной доблестью нас ослепивший пастух, чем защитил ты сердце свое от страха? Какими стрелами ты сумел поразить наши души? Скажи, о ком твоя последняя песня, и допой ее до конца – смерть тебя подождет.

– Надо сердце заполнить любовью, чтобы не осталось в нем места страху, – так ответил Таулу, когда его развязали. – Песня моя о тех, кого я люблю: она очень длинна, но я ее допою, и пусть доживут свои дни те, о ком я пою.





Вырезал Таулу сыбызгы из прута орешника, наполнил грудь воздухом, и крутая, как подъем в горы, клокочущая, как река, густая сильная песня понеслась далеко сквозь сердца суровых пришельцев через горы и туман на горах...

– Лес, не шуми – я, пастух из Эль-Джурта, сейчас буду петь о народе своем и о Карче, Батырбиевом сыне, свободу нам давшем.

В далеком Крыму жил Карча, его иссушала тоска по отчизне, томили душу ветры, прилетавшие из синих долин, будили по ночам стон отчих полей, одичавших без добрых семян и заботливых рук.

Созвал он однажды товарищей верных, среди которых были и Трам меткоглазый, и сильный, как лев, Адурхай, и быстрый, как рысь, Будиян с Наурузом бесстрашным.

Раскрыл свое сердце Карча перед ними и так им сказал:

– Без родины – мы все мертвецы между живыми, на родине – мы и среди мертвецов все живые.

Потерявший глаза
может песню услышать,
Потерявший уши
может радугу видеть,
Потерявший руки
может на свадьбе плясать,
Потерявший ноги
может друзей обнимать,
Потерявший все
может в родной земле лежать,
Потерявший родину
что может делать?!

Готовясь к побегу, собрали друзья всех аланов и лунной ночью, когда в тихом море стоял их корабль, напали они и разбили отряд безбородых крымчаков, которые посланы были Аслан-Герий-ханом с таким повеленьем: сначала дорогу отрезать аланам, потом за их головы взяться...

– Вах, чудо какое-то мчится по степи, – удивился Аслан-Герий, на рассвете разбуженный гулом. – Синий туман перед чудом клубится, и черные галки летят из тумана, слепящее солнце горит перед чудом, а позади – серебрится луна.

– Ох, то не чудо, – сказали Герию его сыновья, – то несется к нам конь богатырский: туман из ноздрей выпускает, земля черными комьями от копыт его отлетает, и искры подковы его высекают из кремня.

Мчится на нем стальнорукий Карча, рассекая поднятым мечом небеса; на груди его латы сверкают как солнце, а щит за спиной – как луна...





Как смерть беспощаден Карча, злом карающий зло, хищных Гиреев, себя называвших Асланами-львами, вогнал он в могилы, как в норы шакалов, и со своими людьми ушел в море.

Был долгон на родину путь – три дня и три ночи туда, где дневное светило восходит, несли паруса, как орлиные крылья, аланов свободных, их жен и сестер, от счастья впервые запевших.

На утро четвертого дня на беду им внезапно разгневалось небо: шитом своим синим оно загремело, и тучами черными солнце закрыло, и принялось огненно-желтые копыя метать.

Спокойное море, пронзенное болью, взбурлило – восстала вода, разбуянились волны, и крепкий корабль аланов разбили, как щепку, на скалы прибрежные бросив.

Судьба, что беду посылает, и помощь пошлет, когда нужно: надежную руку свою протянул потерпевшим крушение народ той земли – апсуа (так называют себя абхазцы).

В краю их цветущем, в горах Джеметея, прожили аланы, пока не окрепли, и лет через шесть по крутым перевалам, идя снова к солнцу, спустились в Архыз, что лежал за снегами и льдами большого хребта.

Был чист небосвод над долиной Архыза, богат был Архыз и зверями, и птицей; и туры, и овцы там быстро плодились, но не росла там трава Кара-чай...

В поисках этой травы исходили мы много земель и наконец дошли до Басхана, чтобы здесь отдохнуть, а потом ее снова искать.

Так закончил свою песню Таулу и спросил:

– А что ищете в этой земле вы, рожденные далеко от нее? Что пожать вы хотите осенью, посеяв весну своей жизни страхом и смертью?

И так ответили ему помрачневшие воины:

– С несчетным войском идет по горам и равнинам сын Тарагай-амира Темир-Асхак – Железный Хромец, родившийся от матери с зажатым в кулаке стукотом крови. Под его знаменем за одно лето мы прошли, покрыв пеплом, и страну картвелей – Гюрджюстан, и страну Огня – Азербайджан, и страну Гор – Даг-и-стан. У подножия снежного Минги-Тау, что белеет сейчас перед нами, Темир-Асхак разбил Тохтамыша, великого хана Золотой Орды, и, не дав нам вытереть со лба пот боя, разослал нас всюду по горам, чтобы не осталось ни единого не склонившего перед ним головы. С другого конца света идем мы, земля наша далеко, мы забыли ее лик, покоряя чужие земли, а Темир-Асхак ведет нас все дальше, и там, где ступает его пята, надолго умирает трава и перестают смеяться дети. Истерлись наши ноги в походах, истерлись наши сердца, устали мы от огня и крови, жаждем мы сеять и жать ячмень и пшеницу, как твои соплеменники, и, как они, возвращаться по вечерам под мирные кровли и качать на коленях сыновей. Поэтому вчерашней ночью мы отста-





ли от своего отряда – эти дремучие горы могут нас скрыть от Темир-Асхака. Поэтому сегодня в полдень мы взяли себе в твоём ауле хлеба и жен.

И сказал тогда им Таулу, что не может награбленный хлеб дать телу соков, а похищенная жена стать матерью верных сынов. И еще сказал: просторна земля, щедры поля, добры люди в ауле Эль-Джурт – кров и тепло, мужскую дружбу и женскую любовь мог бы всякий найти, открыв людям сердце, а меч оставив спящим в ножнах.

– И рады бы мы к стае пристать, – ответили ему, – да перья у нас не те. Красны наши руки от крови. Научатся ли они держать кетмень и пастушью ярлыку вместо меча? Отмоют ли их пот и дожди? Отвагой блистающий юноша! Будь для нас, твоих врагов, братом, усни мирно с нами, а утром помоги решить нашу судьбу...

Но неожиданное утро настало для них. Когда ушли последние звезды и разгорелась пламенная заря, из-за синих холмов вылетел на легконогом коне Карча в светлых латах и сияющем шлеме, а слева от Карчи и справа, вонзая копыя во встречный ветер, выскочили все его воины.

Двое из них, Будиян и Боташ, вздыбили своих коней в самой гуще похитителей и засверкали мечами.

Но Таулу не дал пролиться крови: схватив скакунов за уздцы, он начал свой рассказ о том, что в душах чужеземцев уже высыхают травы зла и вырастают цветы раскаяния и мира.

Слушал Карча пастуха, пронизывал долгими взглядами неподвижных воинов Железного Хромца. А потом начал им говорить, что они, сохранив честь похищенных ими девушек и жизнь смелого пастуха, сохранили свое право жить. А всякий живущий должен быть свободен: незнакомцы могут направить своих коней в любую сторону, а если решат войти друзьями в аул Эль-Джурт, никто не станет помнить, как они вошли в него однажды врагами.

– Посмотрите на нас, – сказал им Карча, – из разных земель, из разных племен и в разное время пришли мы в Эль-Джурт, но кровь у нас стала одной. Пусть скажут, что это правда, и кипчаки из желтых степей, и болгары с реки Итиль, и крымчаки с Карасу-Базара, и бесленеевцы, и сваны из соседних долин, и все аланы, с которыми пришел я сюда из-за широких морей и через высокие горы...

Когда взошло солнце, эльджуртцы, обнявшись с пришельцами, сидели вокруг утренних костров, костров дружбы, жарили мясо овец, принесенных в жертву счастливому дню, и слушали новую песню пастуха Таулу.





III. Враги и друзья

Не один раз меняли горы зимние и летние свои одежды с тех пор, как поселился Карча в долине Басхана. Но неизменным было все время счастье в его ауле, пока не проведал рыжий Асланбек, сын Кайтука, кабардинский князь, о том, что рядом с ним живет неизвестное племя, которое не платит ему дани.

– Ты нашел среди гор и лесов дремучий угол, – сказали Карче люди Асланбека, – но ни один угол от судьбы тебя не спрячет. Княжеская служанка, спустившаяся из замка за водой, увидела, как волны Басхана несут свежие щепки, и вот мы, идя вверх по реке, нашли вас. Не один год, видно, сеете хлеб и пасете стада вы на этой земле, но ни одного колоска и ни одной овцы не послали до сих пор тому, кто рожден хозяином этой земли...

Большое внимание оказал гостям Карча, не стал щедроту свою от них прятать, на почетное место их посадил и сам их старым вином и молодым мясом принялся угощать. Полные артмаки подарков к седлам гостей своей рукой приторочил и, провожая их в путь, так сказал:

– Дома в Эль-Джурте открыты для вас, как открыты сердца эльджуртцев. Лица ваши мы будем с любовью помнить, а слова постараемся забыть, потому что они были недостойными вас. Хозяином земли не рождаются, хозяином становятся, когда начинают ее лелеять, пахать и засеять, орошать соленым потом, чтобы хорошо на ней росли и хлеб, и трава, и цветы...

Невеселыми ускакали послы Асланбека и грозными прискакали через несколько дней опять. И не теплые слова приветствия, а жесткие и тяжелые слова принесли их уста.

– На земле твоей, – сказали они Карче, бряцая богатым оружием, – перестанут расти хлеба и цветы, а вырастут могильные холмы... Без шапки и босиком должен ты погнать сейчас с нами пару жирных волов и сам их разделать: ждет князь тебя со своим войском на полдневном пути отсюда и желает, чтобы сегодня за его столом ты был шапой и своим усердием снял со своей шеи тяжкий камень вины...

Неподвижно и молча стоял на плоском и гладком камне Карча и крутил длинный ус, и чуть заметно загорались от гнева глаза. Старший из княжеских слуг подошел вплотную к нему и протянул руки к белоснежной шапке его и, может быть, сумел бы снять ее, если бы вдруг острый меч Карчи не отсек ему голову... Гневно топнул ногой Карча, и камень под ним треснул, а послы князя упали перед ним на колени.

Посадили эльджуртцы не в меру усердных холопов князя на коней, прикрутили ремнями к седлам и, привязав к спине одного из них околевшего старого пса, сказали:





– Везите князю нашу дань. По чести ему это мясо.

– Не снимая оружия, легли спать эльджуртцы, и на рассвете, когда их дозорные зажгли на высоких вершинах костры тревоги, все они вышли, готовые встретить войско рыжего Асланбека...

Многим не пришлось увидеть поднявшееся в то утро солнце, но чем больше падало сраженных, тем яростней бились живые. Катились потерянные щиты по склонам, как колеса, кони топтали коней, мечи расщепляли мечи, и разгоряченным бойцам нельзя было напиться из Басхана воды, потому что она покраснела от крови.

Лучше в бою сложить голову, чем склонить ее перед врагом – так решили эльджуртцы, хотя их было совсем мало, и продолжали биться. С каждым часом их становилось все меньше и меньше, и скоро, может, совсем бы не стало, если бы прибежавшие из аула седые матери не бросили к ногам противников белые шали со своих плеч.

Опустились копья, застыли поднятые для ударов мечи, застряли в колчанах наполовину вытянутые стрелы...

– У тебя, – сказал Асланбеку Карча, – было больше рук, и ты одолел. Пей теперь нашу кровь и разорь дома. Гони наши стада, дели их со своим ненасытным повелителем – крымским ханом. Но ты еще прикусишь в раскаянии свою губу и проклянешь этот день.

Через год Карча ушел за перевал, взяв с собой Отара, княжича из рода Дадианов, которого усыновил много лет назад, когда жил в Джемете, ушел, но скоро вернулся с многочисленным отрядом друзей-сванов, поклявшихся помочь Карче вернуть свободу...

Большим праздником был в Эль-Джурте этот день, великий той был устроен в честь гостей, и старший из них – Адуа – первый тост на этом пиру поднял за дружбу между гостями и хозяевами, которая началась сотни лет назад, когда царь аланов Доргулель Великий выдал свою сестру-красавицу Борену замуж за грузинского царя Баграта.

– Умерли давно и Баграт, и Доргулель, – сказал Адуа, – много еще царей после них умерло, но дружба жива, потому что живы народы, которым нужна дружба. Завтра мы вместе сразимся с вашим врагом и будем пировать снова, если победим, а если падем за друзей – падем, не жалея о недожитых днях. Но огонь вражды зажег один – князь Асланбек, сын Кайтука, проливать же кровь будут много таких же людей, как мы. Поэтому мы с Карчой перед тем, как вырвать из ножен мечи, решили предложить Асланбеку вернуть все, что взял он у вас, и вернуть пленников, чтобы он не смел больше посягать на вашу свободу и покой.

Узнал Асланбек о численности и мощи своих врагов и принял все их условия...





Через три дня пастухи его пригнали в Эль-Джурт отары овец, табунщики – косяки лошадей, а старший из Асланбековых послов, красивый и мудрый старик, подвел к Карче двух юношей и сказал:

– Это сыны хороших, почитаемых нами отцов. Пусть живут они под твоим крылом, и пусть их внуки, их правнуки и они сами принесут твоему народу в сто раз больше добра, чем горя, которое принес ему наш неразумный князь.

IV. На земле отцов

Удачлив был на охоте Боташ, не имел себе равных ни в силе рук, ни в меткости глаз, ни в быстроте ног. Охотился он обычно один, только сына Карчи – Джантугана – иногда брал с собой, потому что Джантуган был так же упорен и неутомим в охоте.

На высотах Садырла, за горой Минги-Тау, подстрелив двух оленей, Боташ и Джантуган летним вечером разложили костер отдыха и, пожелав друг другу хорошей ночи, уснули богатырским сном.

Но несчастливой оказалась ночь: приползла змея и ужалила в грудь Джантугана.

Два дня вез Боташ юного друга, устроив на конских спинах носилки из веток березы и молодой травы. Торопился Боташ, понукал лошадей неустанно, но не привез в Эль-Джурт живого Джантугана, а привез его холодное тело.

Нагнулся печальный Карча над мертвым сыном, порывисто обнял его и вдруг увидел охалку травы на носилках.

– Боташ! Где ты ее нарвал?! Это она – трава Кара-чай, чей запах томил нас столько лет. Она, чей высохший стебель до сих пор похож на рукоять отцовского меча, чьи соки текут в нашей крови! Скажи же, Боташ, где она растет?!

Карча прижался лицом к зеленой траве, и ее листья оросились его слезами.

– Она растет там, – ответил Боташ, – за великаном-горой Минги-Тау. В прошлом году, в первый раз там охотясь, я пустил лошадь пастись, из худовой торбы рассыпалось несколько горстей ячменя, и в этом году я не поверил глазам, увидев, как хорошо он цветет. И лесом, и дичью богат тот край, бродят в нем никем не пуганные стада оленей, туров и коз. Земля там так прекрасна, что не смог я ее проклясть даже в тот день, когда она влила яд в грудь моего друга.

– Это земля наших отцов, – сказал Карча, – и нет на свете ничего, за что можно было бы проклясть отчизну. Я благословляю тот день, который вернул мне родину, хотя отнял у меня единственного сына.

Похоронили Джантугана на высокой горе близ Эль-Джурта, которой дали потом его имя, и сразу же Карча стал готовиться в путь.





Больше половины эльджуртцев ушло с ним. Прощаясь с оставшимися, Карча сказал, что и в разных землях будут они одним народом, между ними будет стоять великая гора Минги-Тау, но не будет она преградой их любви и братству. Две ее вершины будут как две груди матери, и как молоко одной матери будут пить оба народа воду рек, стекающих с этих вершин в разные стороны, к восходу и заходу солнца.

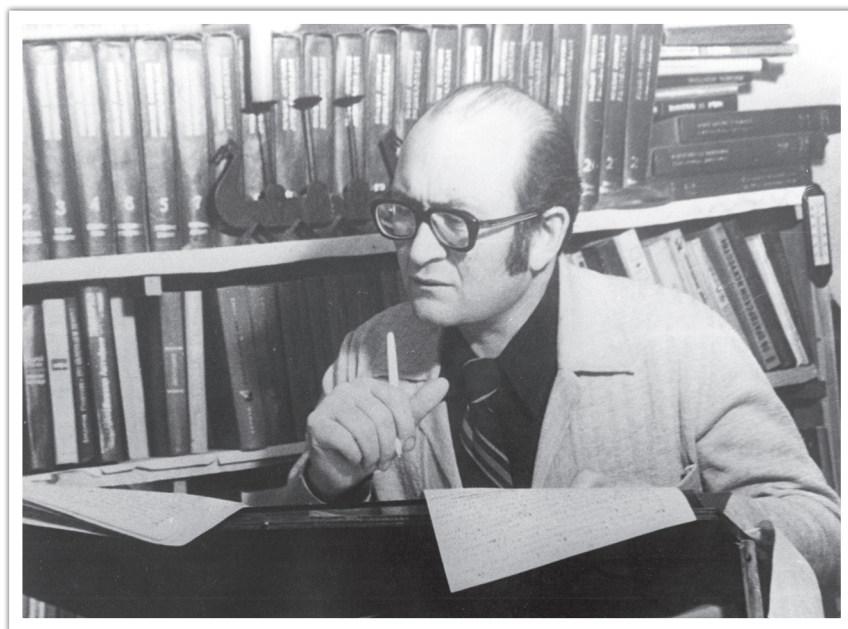
Самым старшим и почитаемым среди оставшихся был мудрый Малкар, и поэтому их называли малкарцами, а те, что ушли с Карчой, стали называться карачаевцами.

Показал Боташ в широкой долине меж крутых гор клочок оголенной земли, траву с которой он сорвал, чтобы мягче было лежать умирающему Джантугану.

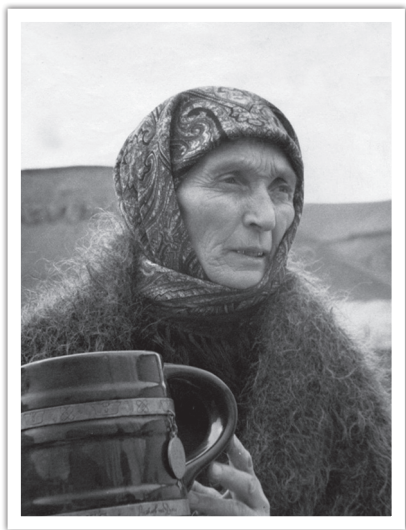
– Наш Карт-Джурт! – вскрикнул Карча, и лег грудью на этот клочок, и лежал неподвижно до вечера. А вечером, когда зажглись звезды, Карча, распрямив богатырские плечи и широко расставив ноги, гордо стоял на родной земле, и Млечный путь сверкал за его плечами, как крылья.

Там, где он стоял, построили первую саклю первого карачаевского аула Карт-Джурт, что значит «Древняя отчизна».

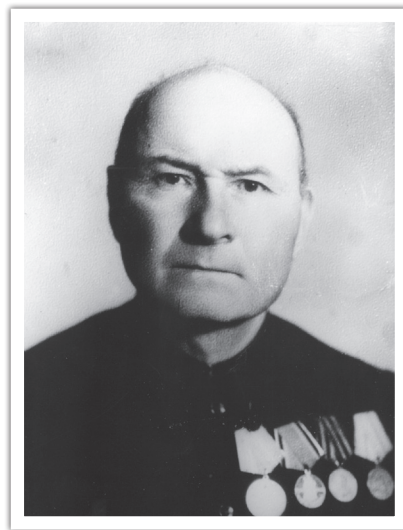




Мусса Хаджи-Кишиевич в своем рабочем кабинете.
Аул Кумыш, 1980 год



Мать поэта Батчаева Шамак Османовна.
Кумыш, 1979 год



Отец – Хаджи-Киши Ибрагимович.
Кумыш, 1974 год



Родня Хаджи-Киши Батчаева. Сидят (слева направо): его дети Фатима, Борис, Амыр; во втором ряду: его мать – Джанибекова Меккяхан, дядя Муниямин, Мусса – учащийся 5 класса; стоят в третьем ряду: Супруга Муниямина – Боташева Зухра, супруга Хаджи-Киши – Джанибекова Шамак, сестра Зулейко.

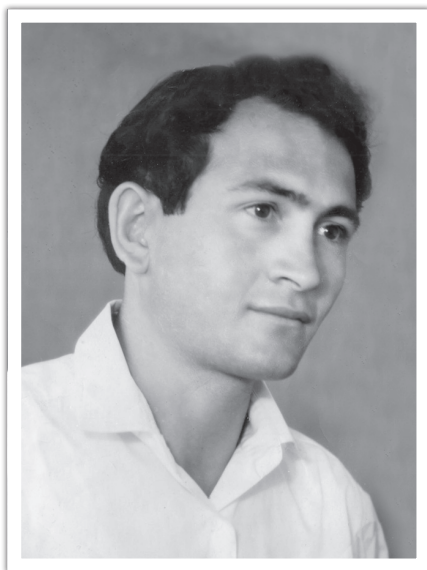
Киргизская ССР, Чалдовар, 1952 год



Родные Муссы Батчаева.
Черкесск, 2010 год



Дочь Эльвира Муссаевна Лайпанова со своей семьей.
Черкесск, 2010 год



Мусса Батчаев, студент второго курса Карачаево-Черкесского государственного педагогического института.

Карачаевск, 1958 год



В годы учебы на Высших литературных курсах. Справа от поэта Фатима Урусбиева



Молодожены Мусса Батчаев и Фатима Чотчаева в кругу родных и друзей в день бракосочетания.

Черкесск, 1974



Мусса с дочерью Эльвирой.
Черкесск, 1976 год



Мусса (в середине) с братьями Магометом и Зиотдином Батчаевыми.
Черкесск, 1976 год



Труппа Карачаевского театра после премьеры спектакля «Джазубла намыс» («Судьба и честь»). В первом ряду (слева направо): Заслуженный артист России Руслан Темрезов, Народный артист России Азрет-Алий Акбаев; во втором ряду: Заслуженный артист России, член Союза композиторов России Маджит Ногайлиев (Карамурзин), Заслуженный артист России Борис Уртенгов, Заслуженная артистка Карачаево-Черкесии Тамара Батчаева, Заслуженный работник культуры, Заслуженный артист Абхазии, режиссер Борис Тохчуков, Заслуженная артистка России Роза Халчаева, Заслуженная артистка Карачаево-Черкесии Ума Акбаева; в третьем ряду (справа налево): Заслуженная артистка Карачаево-Черкесии Лиана Ижаева, Заслуженный артист России Умар-Али Бостанов, Заслуженный художник России Умар Мижев.

Черкесск, 23 мая 2000 г.



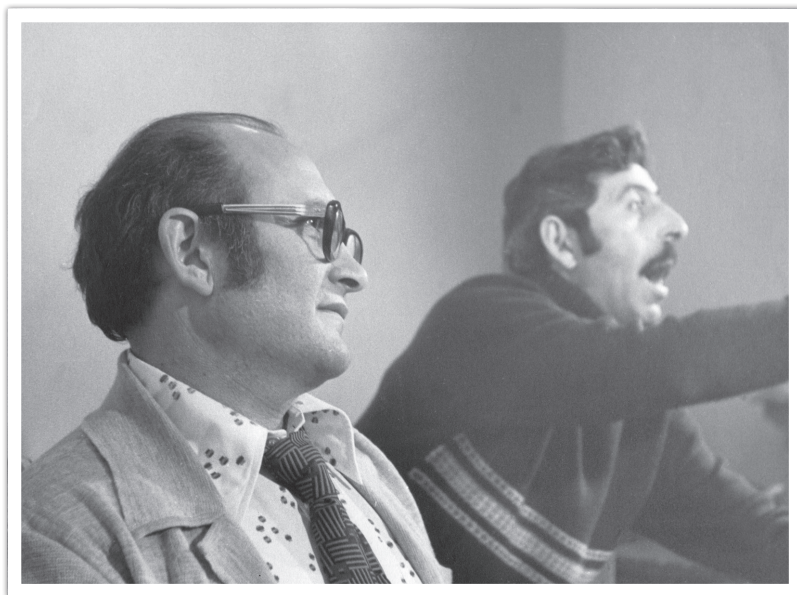
Муса Батчаев с актерами карачаевского театра после спектакля «Аймуш». Сидят (слева направо): А. Заузанова, Муса Батчаев, Р. Хапчаева, Б. Тохчуков, Р. Текеева; стоят: Х. Биджиев, Б. Урtenов, Ш. Тебуев.

Черкесск, 70-е годы

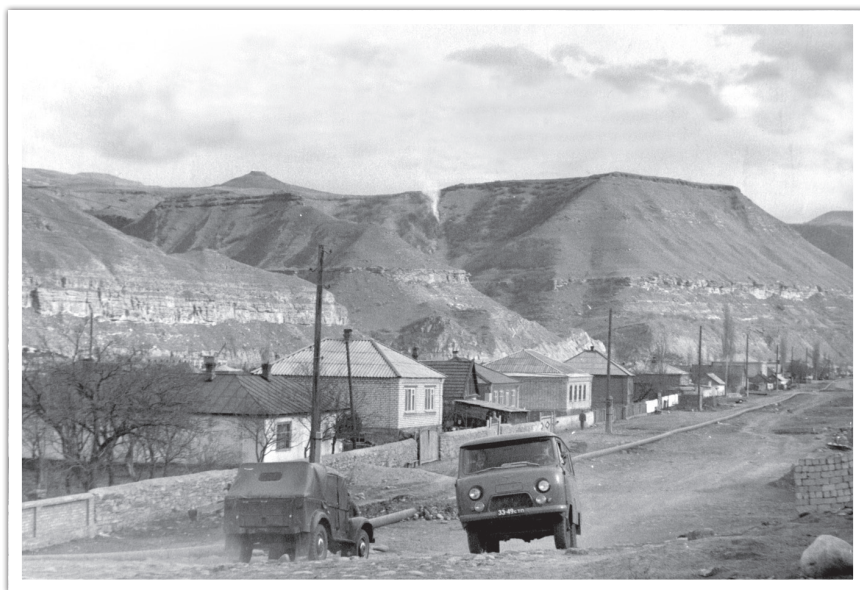


Муса Батчаев с актерами карачаевского театра.

Черкесск, 1979 год



Мусса Батчаев с режиссером Шахарбием Алиевым на репетиции спектакля.
Черкесск, 1978 год



Аул Кумыш, родное село поэта.
1979 год



Поэты и писатели Карачаево-Черкесской области в Волгограде.
70-е годы





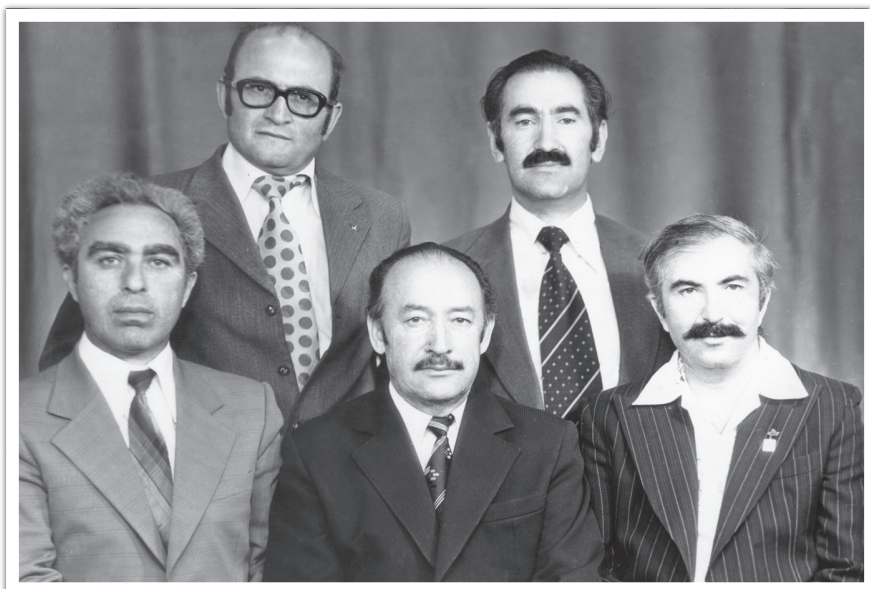
Мусса, мать поэта Шамак, тележурналист Л. Прозорова, телеоператор В. Григорьев, племянница Муссы Акбаева Эльвира.

Кумыш, 1979 год



Фото на память. Мусса Батчаев со съемочной группой Ставропольского телевидения (оператор В. Григорьев, журналист Л. Прозорова).

Кумыш, 1979 год



Мусса (стоит слева) с коллегами. Сидят (слева направо): поэт Магомед Мокаев, драматург Исса Боташев, режиссер Борис Тохчуков. Стоит рядом с поэтом журналист Бахауддин Этезов.

Черкесск, 1978 год



Мусса Батчаев с двоюродной сестрой Риммой Батчаевой (слева) и литературоведом Фатимой Урусбиевой.

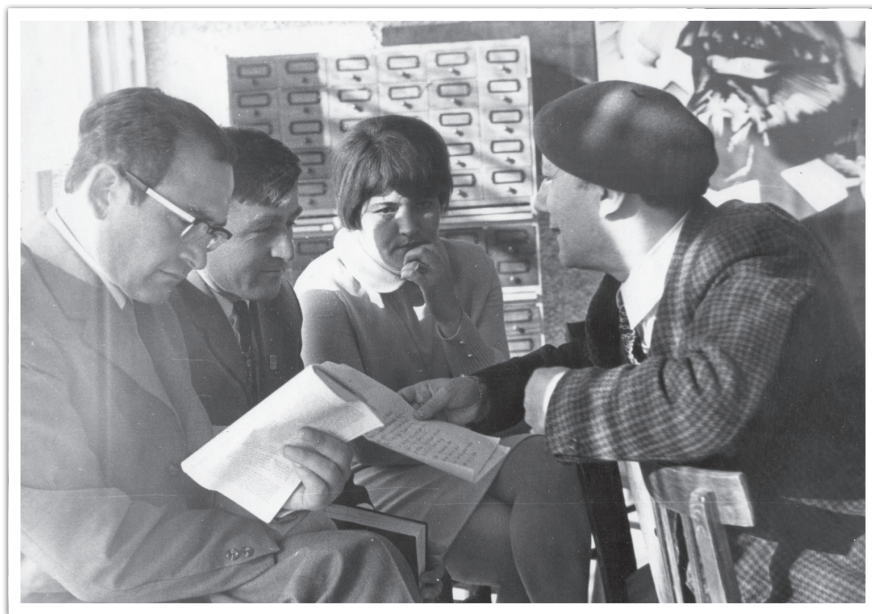
Москва, 1979 год



На встрече с писателями в Карачаево-Черкесской государственной библиотеке.
Черкесск, 1980 год



Переводчик С. Вольский декламирует стихи Муссы Батчаева.
70-е годы



Литературные встречи. Мусса Батчаев, поэты К. Дугужев и К. Кумратова, переводчик С. Вольский.

Черкесск, 1980 год



Поэты и писатели Карачаево-Черкесской области в Волгограде.

70-е годы



*Воспоминания и отзывы
о жизни и творчестве*



Концепция человека в творчестве Муссы Батчаева

Детство, опаленное войной

...У тех, кто вошел сегодня в пору зрелости, остались на той войне отцы и деды, там лилась родная им кровь. Не только во внешнем своем облике, но и в облике духовном они несут черты тех, кто пришел с войны, или тех, кого они знают только по рассказам матерей. Как же им быть глухими к тому великому времени? Жизнь народа длится и не прерывается никогда, она есть единый могучий ток крови и мысли через поколения и века. И мысль сегодняшняя неотделима от мысли вчерашней, которая способна через какой-то срок вновь поразить силой и новизной.

Молодой карачаевский прозаик Мусса Батчаев в предисловии к сборнику «Серебряный дед» говорит о том, почему он обращается к теме войны, почему эта тема до сих пор остается животрепещущей, и возвращение к ней помогает осмыслить большие проблемы современности и творческие позиции самого писателя.

Нелегкой оказалось судьба писателя и его сверстников, потому что их детство совпало с годами небывалой в истории войны. «Мы были малы для войны. Воевать ушли наши отцы. Сколько их ушло от нас – не знаю. Знаю – больше двухсот в аул не вернулось. Для моего аула Кумыш это было много. Слишком много. Мы были малы, но мы выросли. Мы видели безногих и безруких, мы все яснее понимали, что потеря было еще больше, гораздо больше, чем двести жизней. Израненные, изувеченные войной бывшие солдаты встречались нам всюду – во всех аулах, во всех городах. Они жили рядом, не давая нам все эти годы забыть о войне. А когда они умирали, я всегда думал: они умерли раньше срока, потому что их силы отняла война.

Не дают мне забыть о войне и сверстники. Их лица, мне кажется, отмечены особой печатью. У моего поколения не было детства. Война не дала нам как



следует вырасти. Мы на целую голову ниже тех, кто родился после Победы. Мы раньше седеем. Беда войны не кончается вместе с войной. Всякая война рано или поздно кончается, но беда ее остается на долгие годы. Тридцать лет отделяет нас от последней войны. За это время не одно новое поколение выросло. Но о войне мы не забываем. Ни молодые, ни старые. Она в нашей памяти, в наших судьбах. И в наших книгах...»

Мусса Батчаев рассказывает о тех, кого так или иначе коснулась война, о детях, которые сами не совершили подвигов жизни, но были очень чутки к добру и злу окружающих.

Человек и история... В карачаевской литературе не было произведения, которое бы с такой психологической глубиной и достоверностью, с такой эмоциональной силой показало, как стремительно происходит в детской душе приобщение к огромности мира, охваченного трагедией войны. Казалось бы, как может детское сознание постигнуть его? Но писатель сумел рассказать об этом, заставить нас активно сопереживать с ним и размышлять.

Подлинной художественной правды писатель достигает в рассказе «Серебряный дед», передав волшебство детского мировосприятия, в котором воображение, фантазия, питаемые народной мифологией, сказками и легендами, окрашивают все явления повседневности, делают их более значительными, яркими.

Начало рассказа – собственно экспозиция – рисует неторопливое течение жизни аула в восприятии подростка, который выделяет из нее наиболее важное для его детского мироощущения: мельницу на берегу Кубани, для него столь же таинственную, как сказочная избушка старой Бабы-Яги. «Сам мельник тоже был для меня волшебником, пришедшим из сказки. Весь убеленный прожитыми годами и густой мельничной пылью, он казался отлитым из серебра. Потому, видно, и звали его Серебряным дедом». Ореолом таинственности и волшебства окружено для мальчика все, что связано со стариком: а может быть, он и вправду такой кривой, потому что однажды проглотил коромысло, как он говорит, а прибитые ржавым гвоздем рога над его дверью приносят счастье и изобилие в дом: «И в самом деле, не было у него с тех пор ни одного мрачного дня – все его уважали, достаток в хозяйстве был, сыновья радовали силой и удалью».

Но наряду с этими элементами сказочно-романтического восприятия мира сознание мальчика запечатлевает те моменты, которые относятся к становлению, самоутверждению его личности, чему в немалой степени способствует Серебряный дед.

«Каждый полдень, когда ласковое солнце нависало над аулом, Серебряный дед, совершив обеденный намаз, приходил к нам. Нравилось ему, когда двое из нас в том кругу больных устраивали борьбу. Победитель надолго становился его любимцем. В это лето им был я, и старик даже подарил



мне свою плетку. Я и сейчас помню зависть мальчишек в тот день и слова Серебряного деда:

– Что?! Завидуете, шайтаны! Клянусь – хорошо делаете. Добрая зависть – это конь, на котором можно легко уехать.

Я был счастлив тогда...»

Безмятежный ход событий приобретает драматический характер, когда чувство здорового мальчишеского соревнования уступает место обиде, глухой неприязни менее удачливых «соперников», желанию отомстить, посягательству на счастье другого.

Завязка конфликта рассказа очень достоверна, психологически мотивирована, и вместе с тем она поднимает проблему утверждения собственной личности, занимавшую ребенка, до большого социального звучания.

Один из мальчишек отнял славу победителя у героя рассказа, и Серебряный дед посулил ему подарить все, что он ни попросит. А тот решил попросить оленьи рога, приносившие счастье дому деда. Не в силах смириться с поражением, совладать с обидой, подавить мстительный порыв, герой ночью срывает рога и, не зная, что с ними делать, просто бросает их в темные воды реки: «Раз я утратил счастье, пусть и ты лишишься его». «Зачем я потопил рога счастья?» – мелькнула у меня мысль, но только на мгновение. – В это время я не думал о счастье, о нем начинают думать, когда оно покидает человека. Я же, как и все дети, был счастлив. Не знал я в ту ночь, что на следующий день детство мое кончится». И, как в сказке, действительно грянула беда, «потушила огонь в очаге старого мельника, развеяла радость и счастье по всему берегу, а я, восьмилетний мальчик, остаток своего детства облил горечью, считая себя единственным виновником этой беды». Беда эта называлась войной. И в сознании ребенка его вина слилась с виной тех, по чьей злой воле джигиты вынуждены были взять винтовки и уйти от залитых золотом нив. Отправлялись на фронт «все новые и новые люди, много их ушло, но ни один пока не возвратился назад», и считает себя повинным в том, что «Серебряный дед был первым, кого посетила беда». Люди узнают о похоронке, пришедшей на его имя.

Особенно глубокую скорбь мы ощущаем вместе с героями рассказа тогда, когда выясняется, что это уже третье по счету извещение – все сыновья старика погибли.

Сострадание его горю люди выражают по-разному: *«Женщины, целыми днями торчавшие на почте, зашущукались, пустили слезу. Полилось тихое всхлипывание. Горбун (заведующий почтой Ибрагим) заерзал на месте.*

– Не плачьте, перестаньте, – повторил он несколько раз и вдруг вскочил.

– Уходите отсюда все, – взвизгнул он фальцетом и заплакал, заплакал открыто, не стесняясь, как женщина.

Старуха с широким лицом, в морщинах которого стояли слезинки, то ли себе, то ли горбуну в утешение сказала:



– Да попадет его душа в рай и да возвратит Аллах старику двух других живыми.

– Вы ничего еще не знаете, – простонал горбун, – смотрите... Это тоже мельнику. Я никому не говорил...

Длинная рука его нырнула за пазуху и вынырнула с двумя похоронками – такими же маленькими бумажками, как и первая».

Люди скрыли от старика гибель сыновей. Почтарь Ибрагим, видя, что старик все больше молится, чахнет, что конец его недалек, сам начинает писать неграмотному старому человеку письма от имени его сыновей, чтобы поддержать в нем гаснущую искру жизни. Но когда приходит смертный час, раскрывается все духовное величие старика – оказывается, он все знал, но из последних сил скрывал свое горе, чтобы хоть этим отблагодарить людей за их чуткость, отзывчивость, сострадание, стремление переложить на свои плечи тяжкий гнет беды: *«Собрав последние силы, он забросил руки за плечи горбуна и, прильнув к нему всем телом, прерывисто заговорил:*

– Душа моя, спасибо. Я все знаю. Ты плакал... Я стоял у двери... Тогда, на почте. Я все знаю, – повторил он еще раз».

Вот так от поколения к поколению – от Серебряного деда к Ибрагиму, сверстнику тех, кто воевал, а от него к восьмилетнему мальчику, которому еще предстояло жить да жить, передаются такие проявления подлинной человечности, как чуткость, отзывчивость, умение сострадать людям, делить с ними радости и невзгоды. Причем урок этот дает ребенку сама жизнь, люди, живущие с ним бок о бок. И не в виде абстрактного поучения, отвлеченных рассуждений, а в потрясающих душу ребенка первом опыте, первых самостоятельных суждениях и поступках. Вот почему мальчик с особой остротой ощущает свою вину, искренне, с отчаянием признается в ней:

«– Это я, – закричало во мне что-то, – я бросил рога в воду... – Из глаз моих лились слезы.

Толпа вздрогнула от моего крика, а Серебряный дед повернул голову в мою сторону и прошептал:

– Прощай, сынок... Ты очень сильный. Ты добежишь скорее всех... Прибеги ко мне, как только война закончится. Крикни у моего камня – кончилась... Обязательно прибеги, чтоб я спал спокойно.

Это были его последние слова. Прошло много лет, как я прибежал к его могильному камню и крикнул, что война кончилась... Ее нет... Спи спокойно, дорогой мой человек – Серебряный дед».

Серебряный дед может спать спокойно, потому что взрослый человек, в которого превратился тот мальчик, никогда не забудет уроков, преподанных ему людьми, никогда не поддастся завистливому, мстительному чувству, не будет равнодушным к чужому горю, не посягнет на чужое счастье, на замахнется рукой на мир.



Дети в рассказах Муссы Батчаева «Хочалай и Хур-Хур» и «Алибек – сын Дыгаласа» остаются детьми, хотя на их плечи тоже ложится беда взрослых, невзгоды, лишения, а порой и непосильный труд. В стиле писателя своеобразно сплавлены драматизм и светлый, окрашенный грустью юмор. Это драматизм первых жизненных испытаний ребяташек, для которых они очень серьезные, огромны, непосильны.

Детское воображение начинает работать, создавая олицетворение этих испытаний, свою мифологию, проводя своеобразные этимологические изыскания в связи с бытующими в народной речи образными выражениями, которые вдруг становятся для ребенка реальностью. Мир вокруг населяется существами, созданными воображением ребенка. Они живут и действуют рядом, дают о себе знать в критические моменты и вот-вот станут зримыми. И конфликт в рассказах представляет собою противоборство ребенка с этими силами, которые, по сути дела, не что иное, как беды, лишения, трудности, принесенные в детскую жизнь войной. Существует у карачаевцев шуточное присловье: «Тур-турдан хапар келсе, хур-хурдан хайыр джокъду» – «Коли тебя начинают будить, нет пользы пытаться продолжить сон». Наверное, и родилось оно на кошах, во время страдной поры, когда дело заставляет вставать ни свет ни заря. Для маленького Хочалая, который вместе со своим отцом, вернувшимся с войны без одной руки, работает на коше, Хур-Хур – не отвлеченное понятие.

«– Э-эй! Батыры! – рокочет перед каждой зарей самый старый косарь Домалай. – Пора Хур-Хуру за горы, не держите его, пусть уходит. И нам давно время схватить ноги в руки.»

Голос Домалай рождается не в груди, как положено, а ниже, в самых глубинах чрева, потому и успевае на длинном пути вверх набрать силу грома.

Но что такое Хур-Хур? Об этом спросил Хочалай еще в первый день сенокоса, и ему, улыбаясь, ответил Хайдар:

– Хур-Хур – это маленький, жилистый, крючковатый мужичок, который вцепится в тебя вечером и не отстанет до утра, чтобы ты с ним ни делал.

– Неправда, – не согласился Хопай. – Хур-Хур – это грузный дядя, навалится вечером, придавит к постели и держит до утра.

Еще узнал Хочалай, что Хур-Хур вездесущ, не спрячешься от него, найдет хоть под буркой, хоть под шубой. И особенно легко находит лентя – любит его. А боится Хур-Хур только холодной воды и голоса Домалай: как только услышит Домалай – сразу убегает от человека. Одним словом, оказалось: Хур-Хур – это сон. Пришел он – закрывай глаза, а когда уходит, в постели делать больше нечего, надо вскакивать и одеваться. Прощаться с Хур-Хуром дольше положенного срока – для косаря позор. Дружи, косарь, ночью с Хур-Хуром как хочешь, а на заре гони его в шею, берись за косу, пока не ушла роса в небо».

Неотступно преследует Хур-Хур Хочалай на коше. Мужчиной, работником стремится быть Хочалай, чтобы помочь отцу прокормить семью, чтобы вместе



с ним не уступать остальным косарям. И нет для него лучшей награды, когда отец наедине признается: «Вырос ты, Хочалай, и рука моя словно выросла...» Похвала отца дороже всего. Особенно приятно слышать, что он вырос, и отец теперь не чувствует себя одноруким. Но доказывать каждый день и каждый час, что он может сделать не меньше, чем потерянная рука отца, нелегко. А тут еще рядом коварный Хур-Хур, который неотступно плетется по пятам, любит наваливаться на человека, рад свалить Хочалая в любое время, хитрит, уговаривает вкрадчивым голосом, кладет на плечи тяжелые руки. Хочалай тогда одерживает победу над ним, когда, самовольно отправившись вместо отца за припасами и водой в аул, возвращается мимо Красных утесов по тропе шайтана, опасной, но более короткой дорогой, где может пройти только настоящий мужчина. Настоящему мужчине Хур-Хур не страшен, и после возвращения мальчика он превращается в счастливый богатырский сон.

Таких, как Хочалай, немало. Это и Алибек – сын Дыгаласа, прозванный за цвет волос Соломенным шайтаном; и внук хромого сторожа Заур – Шайтан-скелет, потому что он худ и тощ; и толстый двоюродный брат Заура – Шайтан-бочка; и Харун, сын кузнеца, – Шайтан из трубы, потому что он смуглый, и волосы у него черные.

В рассказе «Алибек – сын Дыгаласа» прозвища мальчишкам дает старый белобородый Абдулла, за что Алибек очень на него сердит.

«...Абдулла ни с того ни с сего придумал Алибеку совсем неподходящее отчество – Дыгалас улу. Кому это понравится?! Слово такое невеселое. Дыга-лас! – обидно звучит. Выговаривать неохота, слушать тоже. Конечно, все знают, что такое дыгалас. И объяснить это можно просто. Встретит карачаевец карачаевца:

– Салам алейкум, алан!

– Алейкум ассалам!

– Как жизнь твоя?

– Не спрашивай – отвечать не хочется. Дыгалас моя жизнь... А твоя, алан?

– Тоже дыгалас!

Все ясно. Обоим туговато приходится. Или нездоровится, или сено кончилось, нечем козу накормить, или мука на исходе... Одним словом, «дыгалас» можно понимать как несладкую жизнь, а тогда, выходит, «Дыгалас улу» такой смысл имеет – сын Несладкой жизни. Почему он, Алибек, сын Несладкой жизни?

Дома Алибека родные зовут «душа моя», «око мое», «свет глаз моих», «кормилец наш», потому что он единственный в семье здоровый мужчина. А для Абдуллы он Шайтан, потому что носится туда-сюда, а потом сюда-туда, и никто его не видел сидящим или стоящим на одном месте. И как ни старается, не может скрыть своей обиды на Абдуллу Алибек и высказывает ее Абдулле, когда они вдвоем едут в далекую Волчью балку за камышом. И вот тут старый Абдулла, когда они управились с работой, поели, объясняет мальчику, почему он придумал ему такое отчество. *«Хорошее имя у твоего отца, и сам он золотой,*

ты, мальчик, знаю, достоин называться его именем. А про то слово мой язык забудет... Это я просто так, потому что несладкая у тебя в самом деле жизнь, у друзей твоих тоже... И ты, и Шайтан-бочка, и Шайтан-скелет, и Шайтан из трубы – все вы сыновья несладкой жизни. Что поделаешь – время такое, война! Всем вам отец – Дыгалас. Горько это, тяжело, но совсем ничего оскорбительно-го здесь нет. Если подумать, в этом даже хороший смысл имеется: сыновья Дыгаласа никогда слабенькими, плохонькими мужчинами не вырастут... Дыгалас их и рано вставать, и поздно ложиться научит».

Дальше рассказ повествует о том, как жизнью проверяется справедливость слов старика. Мальчика с возом камыша на трудной зимней дороге застанут ночь и снегопад. Он сбивается с дороги, упускает коня, но не теряет присутствия духа и делает все, чтобы вернуться домой, представляя себе, как обеспокоены родные. Ему страшно. И со страху начинают вспоминаться все рассказы о шайтанах: рогатеньких, волосатеньких, черненьких-черненьких, которые «носятся туда-сюда», по словам старого Абдуллы, и черных, волосатых, козлоногих чертях с горящими глазами и желтыми, противными оскаленными зубами, которые «скулят, воют, беззвучно ржут, ругаются нехорошими словами» и крутятся вихрем в кромешной тьме, как рассказывала бабушка. И вот здесь, ночью, в морозной степи мальчику чудятся за спиной черти. Ему мучительно хочется оглянуться, удостовериться, что там, позади, на самом деле никого нет, или, не оборачиваясь, внезапно лягнуть их, как конь, в темноту сзади. И вместе с тем стыдно: а если чертей нет?.. Одним словом, мы видим, как сын Дыгаласа выбирается из беды, победив невзгоды и свою слабость.

Откуда же берутся физические и духовные силы в этом маленьком человечке?

Так же, как у Хочалая, их рождает чувство долга и любви к отцу, олицетворяющему для мальчика все самое хорошее и благородное.

«– Дать бы по шее ему хорошенько, – вдруг сердится Моргунов. – Мальца в степь послал, сам дома ждет...

– Нельзя давать моему отцу по шее... – тихо говорит Алибек. – В степь он не может. Все время дома, как с фронта вернулся. Ног нет у него...

– Как нет?! – изумляется Моргунов.

– Вот так! – вытягивает под одеялом ноги Алибек и проводит по ним рукой чуть выше колен и вдруг начинает плакать. Он не ревет, как маленький ребенок, не голосит, как старая женщина, он просто плачет – прикусил, как мать, нижнюю губу, и из глаз его капают слезы... Он не хочет слез, но они сами льются. Их вытягивает изнутри что-то – непонятное, сильное, неподвластное ему. Может быть, это белая, холодная, громадная степь, которую он не смог победить в ту ночь, может, это обида на коня, предавшего его, может, это страх и тяжесть дороги, спрятавшейся от него под снегами, а может, это угрюмое, бледное лицо отца, который сидит сейчас в их низеньком домике, закрыв глаза,

плотно сомкнув губы, положив подбородок на руки, сжатые в кулаки...» Мальчик засыпает, слыша слова о потерях, о неизбежном конце войны, победе и будущей хорошей жизни. В эту ночь Алибек перестал быть ребенком, стал настоящим маленьким мужчиной.

Чингиз Айтматов, говоря о замысле повести «Ранние журавли», подчеркнул свое стремление показать человека-подростка не в прямом, а в косвенном столкновении с войной. Подросток – частица общества, и на него ложится определенная тяжесть. Но война не может разрушить человека. Она меняет привычки, жизненный уклад, отношения между людьми, приносит лишения материального плана – голод, холод, может ожесточить людей, заставить их бороться только за себя. Но вопреки природе войны и как бы бросая вызов ее разрушительной силе, человеческая душа расцветает. Выдвигает свои лучшие, свои защитные силы, чтобы амортизировать зло. Чингиз Айтматов, так же, как и Мусса Батчаев, говорит о том, что детские и юношеские впечатления очень важны в творческой жизни писателя, они становятся святым родником, из которого черпаются мысли, картины, лики людей. И читатель не может не ощутить этого в произведениях, рассказывающих о военном детстве.

Юмор в рассказах Муссы Батчаева рождается из непривычного сочетания детскости и раннего повзросления героев. Стремясь быть мужественными в условиях трудностей военного быта, они подражают взрослым и внешне, держатся солидно, стараются быть немногословными. Для них блюсти свое достоинство – это своевременно давать отпор попыткам взрослых вести себя с ними и разговаривать как с детьми.

Психология рано повзрослевших маленьких героев отражается в их прямой речи и мыслях, органически сливающихся порой с авторским повествованием. Вот пример:

«– Нельзя обижать осла, – сказал отец, когда купили Упрямца. – Уважай его.»

Хочалай уважает. Пусть не осудит его встречный путник, подумав: «Такой большой мальчик, а едет на чужих ногах». Умей Упрямец разговаривать, он бы сказал:

– Эй, путник, не думай о Хочалае плохо. Он только минуту назад взобрался мне на спину. Ног у него в два раза меньше, и усталость пришла к нему раньше. Это во-первых. Во-вторых, дорога наша длинна – будет Хочалаю еще время потрудиться. У Красных утесов я отдохну, а Хочалай прольет семь потов. Пусть бережет силы...

– Спасибо тебе, – треплет серую холку друга Хочалай, – ты все хорошо понимаешь. Ни у кого во всем Карачае больше нет такого умного осла.»

Юмористически воспринимается в речи ребенка архаичная лексика и фразеология, естественная в устах взрослого человека:

«Есть дурная привычка у Упрямца – и шагу не ступит, когда на нем спят.»

– Чтоб на тебе мертвецов возили, – ругает его Хочалай. – Грех, по-твоему, человеку глаза сомкнуть? Мог бы в таком случае разбудить меня, а не стоять посреди дороги, как пень. Ведь и тебе краснеть придется, если хлеб к утру не привезем».

Но, как правило, эти пространные взрослые речи ребята произносят, обращаясь к животным, к тем, кто помоложе, и главным образом про себя. Тут они красноречивы – слова их порой ехидны, порой строги и назидательны. Так, обиженный на молодого Хайдара, Хочалай в душе постоянно препирается с ним:

«– Какой ты карачаевец, раз айран не любишь? – будто бы удивляется Хайдар. – Тогда отдай мне сестру.

«Так и побежит она за тебя», – только успевает подумать Хочалай, а Хайдар снова улыбается. Есть у него нехорошая привычка – угадывать не сказанные слова.

– Может, она не согласится, – говорит он, – но ты можешь ее выкрасть. Чем плохой зять буду, только нос немного великоват...

«И кривой», – хочет добавить Хочалай, но молчит».

А вот целый внутренний монолог, в котором злосчастный Хайдар морально уничтожается со всем своим родом и потомством.

«Лучше вспомнил бы, как зовут его деда, деда Хайдара зовут Мухамматом, но в ауле еще четыре Мухаммата, не считая двоих, умерших в прошлом году, и, чтобы не путать с ними, его зовут «Мухамматом, который палец в айране заквасил». Дед Хайдара, когда еще не был дедом с седой бородой, а был мальчиком чуть моложе Хочалая, опустил палец в молоко, выясняя, достаточно ли оно остыло для квашения, и, не успев вытащить, так и заснул и спал всю ночь, пока молоко не стало айраном. Теперь дед Хайдара не мальчик – дед с седой бородой, а его и теперь иногда называют «Мухамматом, который палец в айране заквасил». А Хайдар забывает, что он внук этого деда, и говорит разные нехорошие слова о других».

А вот пример того, как изображается немногословие и стремление сохранить мужское достоинство. Абдулла и Алибек, старый и малый, садятся обедать:

«– Бисимилля! – произносит громко Абдулла и отправляет в рот сразу одну треть своей доли.

– Бисимилля, – повторяет вслед Алибек и отправляет в рот тоже немаленький кусок лепешки.

Улыбается Абдулла и, проглотив наконец то, что так долго жевал, говорит:

– Заметил ты, Соломенный шайтан, что сегодня не очень разговорчивый был? Это первое твое слово за целый день.

– Угу! – продолжает жевать Алибек.

– Что «угу»?

– Заметил.

– Наблюдательным растешь человеком. Хвалю...

– Угу! – проглатывает очередной кусок Алибек.

– Что «угу»?

– Таким расту...

Абдулла перестает жевать, смотрит, удивляясь, в глаза Алибеку.

– Что случилось, мальчик! Почему ты такой мрачный, а? Ишак, что ли, у тебя подох?

– Нцэ! – цокает языком Алибек и отрицательно качает головой.

– Что «нцэ»?

– Не подох ...

– Да что же ты, а? Не желаешь со мной говорить? – говорит Абдулла и кладет назад на платочек последний кусок своей лепешки. – Что случилось?

– Ничего. Моего отца зовут Умар. Я сын Умара.

– Ну и хорошо. Будь им... В чем же дело?..

– Не нравится мне то слово...

– Какое слово?

– Дыгалас.

– А-а! Э-э! – тянет Абдулла.

Это трагикомическое стремление детей казаться взрослыми – свидетельство того, что детство, его радости, непосредственность безвозвратно утрачены. И автор говорит нам об этом: «Смотрит Алибек, как все дальше уходит от него в белую степь человек с белой бородой, и хочется ему громко, очень громко крикнуть вслед: «Абдулла! Я не сержусь на тебя, Абдулла! Слышишь?! Я люблю тебя, Абдулла!..»

Но кричать о том, о чем не смог сказать, еще труднее».

О раннем социальном возмужании подростков в период войны хорошо сказал сибирский писатель А. Приставкин: «В эти годы мы были очень самостоятельными, мы уже работали, отвечали за себя и за других. Война подрезала, сократила наше детство... У меня так и время делится: до войны, война и все остальное... Война в нас лежит глубоко, как неразорвавшаяся ржавая бомба, в которой, однако, цел детонатор».

Для истории нет ничего важнее того духовного здоровья человека, выше героизма тех усилий, нравственных, и физических, того патриотизма, которые были проявлены в годы войны. И истоки концепции человека у современных писателей следует искать в том периоде, когда формировалось и изменялось под воздействием войны их мировоззрение. Война была проверкой ложных и истинных понятий добра и зла, душевной щедрости и черствости, жестокости и справедливости, страха и бесстрашия, война была мерилем требовательности к себе и другим. Тогда складывался тот идеал человека, основные черты которого живут в душе советских людей сегодня. Писатели по-разному выра-

жают свое представление об этом идеале. Но при всем самобытном, национальном в этом идеале, в воплощении эстетических категорий возвышенного и прекрасного есть общие типологические черты.

Каким виделся этот идеал писателю Муссе Батчаеву? Об этом он прямо говорит в своей повести «Элия»:

«Я любил отца, гордился им и при мысли, каким буду, когда вырасту, хотел видеть себя похожим на него во всем.

Отец был сильный. Отец уважал людей. И в словах, и на деле был мужчиной. Многословием не страдал. Ему всегда удавалось найти правильные и короткие слова, чтобы сказать, что он думает. Одно его неторопливое замечание могло остановить спорящих, удивив простотой и такой ясностью, после которой нарушать тишину уже казалось неудобным.

Отец никогда не суетился. Мелочность считал позором для мужчины. Жизнь понимал. И сам был понятен и открыт.

Отец любил работать. Вечером, завершив день, он спокойно ложился отдыхать, утром спокойно просыпался, готовый к новому дню.

Он твердо стоял на земле.

Я думал, он, как кусок горы, – скала крепкая, неизменная, которую ни дождь, ни солнце – ничто – не может поколебать, преобразить, сплющить, только разбить ее можно, расколоть, разрушить, если найдется такая большая сила...

Отец не был суров. Мужество в нем уживалось с добротой. На камень и дерево, на птиц, на горы и солнце отец смотрел добрыми глазами. Ко всему был внимателен. Думаю, он прекрасно чувствовал место, право и обязанности человека на земле... Уверенность отца, его спокойствие и могущество были уверенностью, спокойствием, могуществом мудрого, ответственного за все правителя, владыки, повелителя. Когда отец глядел в ночное небо, мне казалось, он заботится и о нем, как о крыше нашего дома, и перед тем как лечь, передает звездам свою волю светить завтра тоже... Отец умел, ни над чем не возвышаясь, царить над всем. И я поклонялся отцу...

Сам отец был естественным на земле, как сильное, зеленое дерево, и я, его сын, был естествен, как ветка на этом дереве. Мир был прост. Я не боялся ветра – шумел под ним, не боялся дождя – мок под ним, а когда выглядывало солнце, сбрасывал с листьев капли воды, грелся.

Я любил отца, мне было хорошо...»

Что значит быть Человеком?

...Этические нормы, их претворение в жизнь, их художественное осмысление и воплощение – вещи неоднозначные. Потому важно выяснить при анализе произведения позицию художника, рассмотреть, как преломляются

нравственные нормы в его художественной концепции и в его позиции по отношению к изображаемым явлениям действительности.

Перед нами те же исключительные события и столь же исключительные натуры, что в повести О. Хубиева, и та же иллюстративность в доказательстве основной идеи произведения, тот же трансформированный жанр хапара, творческое освоение которого не идет дальше расширения границ его формы.

Преодоление этого противоречия между формой и содержанием, органичное и творческое преломление традиции хапара и восточной притчи, бытовавшей в карачаевском фольклоре, мы найдем в произведениях Муссы Батчаева. Проблема гуманизма, поставленная в произведениях сборника «Быть человеком» в связи с темой Великой Отечественной войны, находит оригинальное, совершенно новое этическое и философское решение.

Творчество Муссы Батчаева, несомненно, является сплавом критически воспринятого опыта карачаевских писателей-предшественников, всего того, что сделано карачаевской периодикой и литературой в этом направлении, и художественного освоения автором жизни народа, его духовного бытия вчера и сегодня.

Совершенно очевидны новые черты в идейно-нравственной позиции писателя, в той роли, которую М. Батчаев сознательно предназначает ему как выразителю народного сознания.

Позднее, в повести «Мои земляки», М. Батчаев изобразит юного Хохалая, который всерьез перебрал множество профессий и каждый раз возвращался к одной и той же мысли – как стать писателем... Перечитав все книги карачаевских писателей, сравнивал одну с другой, но так и не понял, у кого из писателей лучше слог, кому стоит подражать, у кого надо учиться. Думал, думал и решил: учиться нужно у всех, а подражать никому не нужно. На его вопрос о том, какую книгу карачаевской литературы следует считать самой интересной, самой умной, самой хорошей, учительница литературы и русского языка сказала: «Каждый ответит на этот вопрос по-своему».

«– Значит, такой книги, которая понравилась бы всем сразу, нет?»

– Нет! – уверенно заявила Зубайда. – Такую книгу написать нельзя.

Хохалай не стал говорить, что не согласен с учительницей. Если нет такой книги у карачаевцев, рано или поздно кто-нибудь из писателей ее напишет, решил он.

Такая книга поможет людям жить лучше и красивей. Прочитав эту книгу, слабые станут сильнее. Слишком твердые и холодные, как камень станут теплей и мягче. Слишком мягкие, рыхлые станут тверже. А люди надменные, заносчивые станут проще и человечней...

Хохалай не представляет, о чем будет говориться в той книге. Главное – чтобы она обладала чудесной силой изменять людей, делать их лучше...

Хохалай подозревал, что написать такую книгу – совсем не легкий труд...



Сколько знать нужно, сколько видеть, сколько работать! Сколько слов перебрать, чтобы выбрать из них одно-единственное, самое точное, самое верное. Со спокойным сердцем такую книгу нельзя написать. Но ради такой книги можно отдать и сердце...

Мечтает Хохалай о будущем, мечтает о волшебной книге».

Знаменательно само название первого небольшого сборника рассказов и повестей М. Батчаева: «Быть человеком».

Смысл его раскрывается в новелле «Самое главное». Мы видим аул в горах, дорогу, которая, начинаясь от порога дома, неуклонно идет в гору, к скале с орлом на вершине.

Именно оттуда начинались «сотни разных дорог и тропинок».

Именно здесь человек, выбирающий одну из них, слышит властный голос своих предков, который спрашивает его, с чем он отправляется в путь, кроме жажды взлететь, жажды покорить небо.

«– Ты хочешь открыть мир, взять его радости?»

– Да, я открою и возьму.

– А есть ли в тебе самое главное для этого?»

– У меня есть мужество.

– Разве это главное?»

– У меня есть сила.

– И это не главное.

– Я умен и красив.

– Не о том речь ведешь. Есть ли в тебе гораздо большее, идущий? Человек ли ты?»

Вся композиция сборника М. Батчаева подчинена задаче ответить на вопрос, что значит быть Человеком, и с точки зрения зывающего к нему предка, воплощающего в себе многовековую мудрость и опыт родного народа, и с точки зрения нового, социалистического общества, современного человечества.

Казалось бы, рациональность и философичность замысла книги, та позиция моралиста, которую, в сущности, выбирает для себя автор, неизбежно должна была привести его к дидактичности, которыми неоднократно грешили его карачаевские собратья по перу. Но замечательной чертой творческой манеры М. Батчаева является удивительно удачное и редкое сочетание рационального мышления с богатством образно-эмоционального воспроизведения действительности. На наш взгляд, это свойство является замечательной чертой творчества лучших представителей того молодого поколения писателей, к которому принадлежит Мусса Батчаев, поколения, обретшего писательскую индивидуальность и вошедшего в литературу примерно во второй половине 1960-х годов. Приходят на ум такие имена, как Ч. Айтматов, А. Битов, В. Белов и др.



Социальная психология отметила одну из характерных черт молодого поколения этого периода – известный рационализм мышления. Порой он сочетается с незрелостью социальных эмоций. Именно в этом направлении, в воспитании социальных эмоций и необходимо вести большую работу. Но в творчестве писателей, которых мы упомянули выше, наиудачнейшим образом сочетается рационализм мышления с богатством социальных эмоций, благодаря чему их произведения оказывают сильное воздействие на умы и сердца подрастающего поколения.

Конечно, миссия проповедника нравственных норм могла бы показаться претенциозной для двадцатилетнего М. Батчаева, если бы он предстал перед нами в качестве ментора. Но в том-то и дело, что автор – носитель морали, которую выковали сама социалистическая действительность и многовековой опыт народа, в которую сам народ и вносит коррективы с позиций коммунистической этики.

Вот почему читатель не оказывается в роли ученика, который выслушивает избитые истины. Наоборот, он ощущает себя исследователем и творцом, который проходит сложный путь нравственных исканий вместе с автором, потому что писатель решает нравственные проблемы не просто с позиций нашего современника вообще, но и с позиций современного карачаевского читателя, со своих личных позиций.

Что раньше для карачаевца означало быть Человеком? Прежде всего следовать шариату, адату, нравственным нормам своего народа.

Один рассказ М. Батчаева свидетельствует о том, что ныне установления шариата не властны над сознанием народа, и даже те, кто должен являться их носителем, в сущности, от них отrekliсь.

Так, в рассказе «Двое» перед нами предстают образы Аббаса и Мугаталима, «дуэт» интересный в том смысле, что Аббас – сын богача и хаджи (человека, совершившего паломничество в Мекку), «защитник веры» и «носитель истины», а Мугаталим – темный, забитый бедняк, которого даже два десятилетия после революционной жизни не выпрямили духовно. Люди из прошлого, они оказываются вдвоем, отгороженными от мира в наспех срубленном домике среди непролазной чащи в горах, в то время когда весь советский народ ведет жестокую битву с фашистскими захватчиками. Свое дезертирство, предательство Аббас обосновывает перед Мугаталимом своей правотою: *«Дорогой братец, – медленно говорит Аббас, – я тебе объяснял еще в ауле – мы мусульмане. А как должен думать мусульманин? Приди во гнев и прими бой, лишь когда посягнут на веру твою... А сейчас гяур режет гяура – мусульманин, возрадуйся и не лезь... Постарайся осмыслить это – тебе еще пригодятся твои зубы».*

О самом затаенном – о надежде на возвращение прошлого – Аббас здесь не говорит, хотя, в сущности, все его поведение определяется именно этим, пока он отсиживается в своем логове.



Однако автор показывает, как в сложной, драматической ситуации Мугаталим искренне пытается разрушить противоречие между законами «веры» и законами человеческими – долгом человека, мужчины по отношению к родной земле, народу. *«До боли ясно представился ему сейчас тот день, когда он сам так бездумно, так внезапно перечеркнул свою судьбу. Тогда было лето. Тогда он был таким, как и все. Где-то, говорили, была война. Ушли туда два брата его, ушли друзья. Ушел чахоточный Исмаил. А он ждал, он не торопился. Зачем торопиться, если все равно позовут? Но когда позвали, его в ауле уже не было... Навьючив скорбом большого серого осла, уходил он в тот вечер с Аббасом в горы, уходил от войны, от мужского долга, уходил тайком, оглядываясь, как вор. Почему он тогда не сказал Аббасу, что им не по пути? Почему?..»* Только теперь он с беспощадной ясностью понял, что главным было желание спасти свою шкуру: *«Я думал: телу не больно и душе хорошо».*

Но душе плохо. И не только потому, что здесь, в глуши, в тайнике, где достаточно дров и мяса, Аббас измывает над ним, унижает его человеческое достоинство, не скупится на зуботычины – словом, ведет себя так, будто вернулись старые времена, но и потому, что в душе просыпается вслед за угрызениями совести презрение к себе. Душа опустошена, жить незачем и нечем. Не страх наказания движет им дальше. В нем впервые пробуждается человек, способный мыслить, беспощадно оценивать себя и свои поступки: *«Как можно было любить себя так сильно? Забыть все, кроме своего спасения, кроме себя? Повесят... А если простят, пожалеют? Тогда он будет жить еще двадцать или дважды по двадцать лет... Он состарится, отпустит белую бороду и будет жить, требуя уважения к своим сединам, что так свято в любом ауле... Но будут ли его уважать? Если будут, то только из жалости, из великодушия. Люди в душе простят ему все, но ничего не забудут, и позор его, сколько бы он ни жил на свете, будет жить с ним, а после его смерти проклятым бременем ляжет на плечи его детей... Мудро сказано древними: позор длиннее жизни. И Аббас верно сказал: если отец уходит на тот свет в плохой шкуре, могут драть шкуру с его сына.*

Мугаталим зябко передернул плечами и мотнул головой. Хорошо, очень хорошо, что у него нет детей – кровь его скверная течет только в нем самом... Мугаталим внезапно оцепенел, озаренный мыслью, что совсем не любит себя и совсем не хочет прощения».

Вся композиция рассказа, основные моменты его сюжета способствуют развенчанию ложной религиозной догмы. Если завязка рассказа – осознание Мугаталимом противоречия между догмой и истинным долгом человека, то кульминацией его становится понимание, что не догма, а животный инстинкт самосохранения руководил им.

Но смысл изображаемого еще глубже, чем развенчание ложных представлений как таковых. В финале рассказа до конца становится ясной мысль автора. Господство догматического мышления, религиозных канонов бесчеловеч-



но по своей сути. Прикрываясь ими, бездумно следуя им, человек живет как животное – без ума, без чувств, без чести. Первый же проблеск мысли пробуждает человеческое в Мугаталиме, которое уже несовместимо с животным инстинктом самосохранения.

Мугаталим инстинктивно ощущает это, и в нем просыпается не только презрение к себе, но и ненависть к тому, что низвело его до этого, что так долго держало его на уровне скота. Вот почему он кончает не только с собой, но обрекает на мучительную, позорную смерть человека, ставшего для него воплощением бесчеловечности, символом прошлого: *«Аббас проснулся от холода... На полу, перед печью, порошился проникший в трубу вместе с ветром снег, а наверху, на толстом поперечном бревне, уставясь выпученным глазом в потолок, висел неподвижный Мугаталим.*

Он грозно вытянулся, выпрямил сутулую спину, стал каким-то большим и заслонил перед Аббасом все.

Ударил неистовый порыв ветра, мороз кольнул Аббасову спину – он почувствовал, что не может шевельнуться. Крепкий сыромятный ремень безжалостно впился в его тело, сковал его руки и ноги. Аббас сжался стальной пружиной, остановил дыхание и с нечеловеческой силой рванулся с места...

Протяжно и глухо выли волки. Лес гудел и могучим басом вторил их вою. Аббас вдруг подумал о том, что будет дальше, и беспомощно застонал.

Мугаталим что ни делал, делал навсегда».

Здесь все значимо и несет идейно-эмоциональную нагрузку: и этот глаз самоубийцы, уставившийся в потолок, и грозно распрямившаяся сутулая спина, огромность тела, заслонившего от Аббаса белый свет, вой волков и могучее гудение леса – сама родная природа поет отходную ему, живому воплощению бесчеловечности.

Карачаевские поэты, прозаики и прежде, особенно в начале 1920–1930-х годов, развенчивали догматы религии, обличали ее носителей, изображая их пагубное влияние на жизнь народа и судьбы людей, они не жалели черных красок. Их произведения дышали гневным пафосом отрицания, но никто из них с такой эмоциональной силой, лаконичностью и философской глубиной не вскрыл процесса духовного раскрепощения человека. Может быть, это происходило оттого, что в характере, изображенном М. Батчаевым, отразилась трагедийность ситуации, какой явилась война. Здесь речь шла уже не о трагедии отдельных человеческих судеб, а о трагедии народа, перед лицом которой человек должен был предстать во всеоружии своих самых высоких, самых лучших нравственных качеств.

Автор не прошел мимо традиций своих предшественников, развенчивая, но более реалистически, убедительно, в образе Аббаса носителя вырождающихся религиозных догм. Его оружие – не сатирический пафос, а убийственно меткий сарказм, реалистические детали облика и быта персонажей.



Сам по себе Аббас ничтожен. Нет социальной почвы для его процветания, нет сподвижников, кроме тех, кто, подобно Мугаталиму, влачит бессмысленное существование, находится вне нравственных норм социалистического общества, вобравших лучшие традиционные этические нормы народа. Только в среде этих забытых людей, отгородившись от действительности, Аббас может еще чувствовать себя как хозяин и лелеять надежду на возвращение прошлого.

Все его низменные склонности: чревоугодничество, тяга к спиртному, сквернословие, грубость и цинизм, его кичливость, невежество, презрение и ненависть к людям, – противоречат той роли законоучителя, на которую он претендует, более того, делают нелепыми эти его претензии.

Качества, которыми наделен в рассказе Аббас, в сущности, те же, что и в произведениях писателей 1920-1930-х годов, однако перед нами отнюдь не схема, а живой человеческий характер, проявляющийся естественно во всем его облике и поведении. И меньше всего этому служит авторская характеристика или самохарактеристика, т.е. та описательность, которой страдают до сих пор большинство произведений карачаевской литературы.

Главным средством социальной и психологической характеристики образа Аббаса у М. Батчаева становится диалог. Из него возникает образ самодовольного типа, наконец-то получившего возможность распоясаться, подмять под себя человека:

«Аббас вытер нож и, низко согнувшись, вошел в домик. Не снимая шубы, развалился на лежанке у печи. В темном углу сидел на корточках человек и пучком соломы чистил грязный казан.

– Мугаталим, – протянул Аббас, – скажи-ка мне, о чем я думаю?

– Не знаю.

– Не зли, догадайся.

– О том, что сегодня курман-байрам?

– Об этом думают все.

– О том, что холодно?

– Об этом думай ты. Я в шубе!

– Может, решил: пора в аул?

– Еще рано – после войны.

– О чем же ты думаешь?

– Да все о тебе. Думаю, какой Мугаталим осел. Понял?

– Гы...

– А почему я так думаю?

– Не знаю. Может, что сделал?..

– Вот именно – не сделал. С утра не можешь вычистить казан; шевелись, и чтобы я не успел моргнуть, пока ты сваришь мясо. Большой ты лодырь, сув-в-воличь!»

То, что Батчаев делает диалог главным средством характеристики Аббаса,





служит двум целям: с одной стороны, обнаруживает бездуховность его существования, его натуры, а с другой – является скрытым сатирическим приемом, который особенно понятен национальному читателю: болтливость, сквернословие – качества, принижающие мужское достоинство.

Здесь раскрывается живучесть сословных предрассудков. Именно нищета духа питает их, заставляет Аббаса кичиться своими предками:

«– Скажи-ка, братец, ты кто, а?!

– О чем ты спрашиваешь?

– Спрашиваю, ты кто, слышишь?

– Ты же видишь, кто!

– Я-то вижу, но ты скажи сам. Ну?

– Если хочешь, я осел или сув-в-воличь...

– А если я не хочу?

– Не знаю.

– Не знаешь? Тогда скажи, кто был твой отец, твой дед и все твои прадеды?

– Как?

– А вот так, открой рот и скажи. Может быть, падишахи, знатные бии или знаменитые богачи?

– Они были бедняки.

– Люби точность – были нищие. А кто был мой дед, мой отец? Забыл? Нет? Как же ты осмелился назвать отца моего просто по имени? Ровня он тебе, голоштаннику?

– Вай, Аллах! Прости, Аббас. Осман-Хаджи, мубарек, слуга божий. Да будет много света в его могиле...

– Вот видишь, скот, одно невежество оставили тебе в наследство твои отцы. Впрочем, у них ничего, кроме этого, и не было».

Средства характеристики Мугаталима отличаются необычайной выразительностью: мы как бы видим тяжелое биение мысли, пробуждение сознания этого человека, не способного связать двух слов, но умеющего действовать.

Итак, в сущности, в рассказе «Двое» писатель ставит вопрос о соотношении в сознании человека этических норм различного порядка: религиозных, живучих норм адата и новой морали.

Цепи религиозных догм разбиты. Их выкорчевала сама жизнь, доказав их несостоятельность в самом существенном.

Другое дело, неписанные законы – адаты, т.е. традиционные этические нормы, складывавшиеся веками у народа. Ведь они так же были непререкаемы, так же незыблемы, как и исламское право – шариат. Что стало с ними, что из них ушло, что живет, что будет отмирать и что органически войдет в нравственный кодекс? Автор как бы приглашает нас вместе с ним исследовать эти вопросы.

Но ведь всякое исследование социальных проблем – это уже творчество, в котором и заключен высший смысл гуманизма – сделать человека творцом, а





не рабом. Не Бог, не царь и не герой, но лишь свободная воля человека способна сделать реальностью тот моральный кодекс, который позволит преобразить мир человеческих взаимоотношений, будет способствовать наивысшему расцвету всего лучшего, что есть в людях.

Такова основная идея сборника М. Батчаева.

Рассказы, притчи, названные писателем новеллами, и повесть сборника как бы поочередно рассматривают каждую из нравственных проблем, а в целом осмысливают вопрос вопросов – что значит быть Человеком?

Быть Человеком, по М. Батчаеву, это прежде всего наследовать высшие духовные ценности, выкованные веками истории народа и передающиеся от поколения к поколению. Это значит также уважать и любить старших, обладающих знанием и опытом, – отца и мать, давших тебе жизнь и тебя воспитавших; женщину – возлюбленную, жену и мать твоих детей; человека вообще, что подразумевает доброту, отзывчивость, чуткость, самоотверженность; любить свою Родину, народ и с этой точки зрения воспринимать высокое понятие мужества, чести, достоинства, долга труженика и воина.

Характерен сам перечень этих моральных ценностей. Он охватывает не все составные высокой морали. Но именно на них сосредоточено внимание писателя и именно они становятся предметом эстетического исследования. Водораздел между героями книги «Быть человеком» проходит именно по этим линиям: одни из них преступают этические нормы или превращают их в догмы, понимая формально, а не по существу, у других они вошли в плоть и кровь, никогда не вступают в противоречие с добром, не приносят человека в жертву букве морального канона.

Эпизоды народной жизни, изображаемые М. Батчаевым, не являются иллюстрацией к той или иной «прописи», хотя встречается у него жанр, который ближе всего к притче (правда, писатель назвал его новеллой).

Возьмем для примера притчу «Лепешки». Перед нами образ ребенка, девочки, которая в голодные годы войны еще неспособна понять, почему мать самую большую лепешку отдает старому больному деду, если сама говорила соседке, что он вот-вот умрет...

Свое недоумение ребенок высказывает вслух при дедушке, и мать в горестном смущении не находит ответа, но вряд ли её слова смогли бы оказать такое воздействие на душу ребенка, как урок, преподанный дедом: когда он умер, под его подушкой нашли лепешки, сбереженные для дочери и внучки.

Разумеющееся само собой для человека из народа молчаливое самопожертвование в трудную годину, душевная щедрость... Их символом в нашем сознании, как, наверное, и в сознании девочки, становятся эти лепешки. И, по сути, перед нами преемственность душевного благородства, которую зоркий глаз художника сумел открыть в буднях военных лет.





Несомненно, в этих произведениях сборника отразились впечатления детства автора, и он с удивительной эмоциональной силой сумел поднять их до широкого философского обобщения.

Каждый из подобных сюжетов заставляет нас прежде всего остро эмоционально пережить, прочувствовать предложенную ситуацию, и, лишь закрыв книгу, мы начинаем мысленно перебирать тот круг вопросов, те проблемы, которые поставил перед нами автор, формулировать свои выводы и суждения, которые независимо от того, соглашаемся мы с писателем или нет, уже стали и нам близкими. Мы не можем не решать их для самих себя. Мы приобщились к мысли и чувствам писателя. Началось сотворчество. Не в этом ли и заключается великая сила воздействия художественного произведения на тех, кому оно адресовано?!

Муссе Батчаеву удалось, на наш взгляд, перейти труднейший рубеж от факта к вымыслу, органически сплавить личный жизненный опыт, социальные эмоции и социальные идеи современности в своих произведениях.

И это является предвестием начала качественно нового этапа в развитии карачаевской литературы.

А.И. Караева,

литературовед.

«Обретение художественности».

«Наука». Главная редакция «Восточной литературы».

Москва, 1979 г.





Зрелость

В понятие «настоящий мужчина» горцы вкладывают очень многое: мужество и сдержанность, верность в дружбе и умение победить свои слабости, выносливость и терпение, ловкость и высокое мастерство в избранном деле... Именно такие герои пришли к читателю со страниц первых произведений карачаевского писателя Муссы Батчаева лет пятнадцать назад. Но не только умение создавать самобытные характеры, не только острые нравственные проблемы, которые в них ставились, привлекли уже в тех ранних рассказах молодого прозаика. Радовал поэтичный образный русский язык, средствами которого Мусса Батчаев создавал прозу по колориту, ритму, интонации – очень национальную, именно карачаевскую, успешно продолжая творческие традиции замечательного дагестанского писателя Эффенди Капиева.

Я помню, как впервые попали в альманах «Ставрополье» рассказы никому не известного учителя из Карачаево-Черкесии Муссы Батчаева. Тогдашний ответственный секретарь альманаха поэт Игорь Романов долго и радостно изумлялся: «Нет, ты посмотри, какой язык! И ведь не перевод. Сам по-русски пишет. А характеры какие!»

Впечатления ответственного секретаря разделили все члены редколлегии, и рассказы были напечатаны.

Как Мусса Батчаев пришел в поэзию? Учился он в Карачаевске, в пединституте. В тесной комнате общежития его соседями оказались два молодых поэта, люди шумные и восторженные. Их литературные споры, чтение стихов даже ночью мешали ему спать. И однажды, было это на пятом курсе, раздосадованный Мусса решил, что он, наверное, тоже сможет писать стихи.

Написал. И они были опубликованы в областной газете на карачаевском языке.

Я нисколько не сомневаюсь, что даже если бы и не было досады на шумных соседей, талант Батчаева все равно привел бы его в поэзию. Простой



случай, пусть даже немного смешной, способствовал свершению того, что должно было свершиться. Но случай случаем, а два человека сыграли очень важную роль в литературной судьбе Муссы Батчаева: преподаватель института Людмила Петровна Егорова и писательница Халимат Байрамукова. Первая привила Муссе любовь к чтению, раскрыла перед ним красоту и могущество слова, вторая активно способствовала развитию его дарования и много сделала для того, чтобы произведения молодого автора не остались рукописями и увидели свет.

Правда, надо сказать, что Мусса довольно долго не верил, что сможет сделать в литературе нечто интересное. После окончания института он работал учителем в ауле Кумыш, писать продолжал, но никуда написанное не посылал. Только после областного семинара молодых писателей, в работе которого принимал участие Леонид Соболев и на котором произведения Муссы Батчаева заслужили одобрение, он понял: надо писать всерьез. Было это 1967 году.

И вскоре появилась его повесть «Когда осуждают предки». Она увидела свет на страницах альманаха «Ставрополье», а затем вошла в первую книгу писателя «Быть человеком», изданную в 1968 году, позднее эта книга была удостоена литературной премии имени Героя Советского Союза Александра Скокова, учрежденной Ставропольским райкомом комсомола.

Как-то я спросил Муссу Батчаева, почему он пишет прозу на русском языке, а стихи только на родном. И он ответил, что недостаточно хорошо знает русский, а поэзия требует особенной языковой точности. В этом ответе сказалась его высокая требовательность к своему творчеству, которое к тому времени уже получило высокую оценку. Хочу сослаться на авторитетное мнение известного калмыцкого поэта Давида Кугультинова, который в докладе на одном из пленумов правления Союза писателей РСФСР сказал: «Мусса Батчаев пишет стихи по-карачаевски и столь же поэтическую прозу по-русски. Для его творчества характерны раздумья о Родине, о судьбе народа и смысле жизни. Он умеет убедительно и по-своему сказать о том, что считается привычным, давно известным, умеет находить точные слова...»

Вот несколько строк из рассказа «По закону жизни». Я не выбирал их специально, просто раскрыл книгу и цитирую то, на что упал взгляд:

«Хмурое будет лето с большими дождями и маленьким солнцем. Не хочет ветер признать весны, совсем по-осеннему разговаривает. Дует без устали, не иссякает, будто река течет. Только на миг присядет за синим хребтом, послушает небо и снова свистит и скачет шайтаном...

Озябшая орешина стучится в окно, вздрагивает, машет ветками, как птица летящая».

Так написано все, что мне довелось читать у Муссы Батчаева.

Он часто пишет о детях, о том, как они наблюдают и судят о мире взрослых. Это позволяет ему резче расставить акценты – ведь дети не знают компромис-



сов, они максималисты в своих представлениях о добре и зле, о любви и ненависти. Таковы герои его рассказа «Хочалай и Хур-Хур» и повести «Элия».

Однажды в разговоре со мной Мусса сказал, что один из любимых его писателей – Достоевский. Своих героев Батчаев тоже часто ставит в необычные, драматические обстоятельства, требующие от них напряжения всех душевных сил, ярко выявляющие силу и слабость человека, его истинные качества. Можно вспомнить маленького мужественного Хочалая, который не побоялся тяжёлой и долгой горной дороги, когда нужно было помочь взрослым. Можно вспомнить юношу Баграда («Когда осуждают предки»), вступившего в борьбу с вековыми предрассудками во имя своей любви. Наконец, можно вспомнить Серебряного деда из одноименного рассказа. Три сына его погибли на фронте, но местный почтальон, не желая нанести старику тяжелый удар, скрыл похоронки и сам стал сочинять письма, которые якобы писали отцу молодые джигиты. Письма читались вслух неграмотному деду. Весь аул знал истину, велись споры о том, хорошо ли скрывать недобрые вести. И никто не подозревал, что Серебряному деду известна горькая правда. С огромным самообладанием слушал он придуманные письма от мертвых сыновей, так как не хотел огорчать хорошего человека, почтальона.

Есть одна особенность, присущая всем любимым героям Батчаева, хотя они очень разные и по внешности, и по характеру, и по возрасту. Все они – люди гор, мужественные, великодушные, обладающие своеобразным юмором.

Легко, весело, остроумно рассказывает он о различных событиях из жизни аула Кумыш в повести «Мои земляки». Но и здесь в шутливой форме автор ведет с читателем разговор о вещах серьезных, о подлинной дружбе и подлинном мужестве, о честности, о силе человеческого духа. Критик Валерий Гейдеко в книге «Проба характера» писал: «Все характерное, что есть в обычаях и нравах Карачаево-Черкесии, находит в лице М. Батчаева своего поэта и летописца».

Первый сборник Батчаева «Быть человеком» открывает рассказ «Сколько у козла ног?» Как часто бывает у этого писателя, здесь в забавную юмористическую форму облечена очень серьезная мысль. По горной дороге едет на лошади старик. Вдруг на пути его оказывается молодой пастух и дерзко заявляет старику, что хочет с ним бороться. Дал, мол, такую клятву: не пропускать по этой дороге ни одного путника, не положив его предварительно на лопатки. Старик напоминает парню о своих почтенных годах, о слабости. Он предлагает сосчитать, сколько ног у козла, прибавить еще столько же, тогда станет ясно, скольких сыновей вырастил он, старик, и «...сын моего самого младшего сына уже старше, заметно умней и намного почтительней тебя...»

Но никакие увещевания не действуют на пастуха.

«У козла-то, старый, одна нога. Это совсем немного, так что... слезай», – отвечает он и почти стаскивает старика с седла.





Спокойно и крепко схватил старик парня за пояс, и тот мгновенно оказался лежащим на земле.

«Это будет один, душа моя! У козла пока одна нога!», – считал старик, поднимая пастуха.

«А это будет два! У козла две ноги, свет глаз моих!» – продолжал он, снова опрокидывая того на землю.

Восемь ног насчитал парень у козла. И только после этого старик отпустил его и уехал, посоветовав впредь не ошибаться в счете.

«...Старики хитры, – пишет автор, – знают многое, их трудно сразу понять, их надо уважать. Так принято у нас на Кавказе».

Много настоящих людей встречаем мы на страницах произведений Муссы Батчаева. Но любовь к землякам делает глаза автора зоркими и строгими по отношению к тому, что мешает им жить в мире и справедливости. Мусса Батчаев с уважением пишет о стариках, но не хочет мириться с их заблуждениями, если эти заблуждения ложатся тяжелым бременем на плечи молодых. Ведь любое, даже самое замечательное, правило, самая великолепная традиция оборачиваются несчастьем, если следовать им слепо и бездумно.

Впрочем, и молодежь не находит в Муссе Батчаеве безоговорочного защитника. Писатель умеет разглядеть нравственные изъяны молодых и зло высмеять эти изъяны. Как в том же рассказе «Сколько у козла ног?» или в сцене заседания комитета комсомола («Когда осуждают предки»), где молодые демагоги бездумно рассыпают заученные фразы вместо того, чтобы серьезно и доброжелательно разобраться в деле.

Говоря о творчестве Муссы Батчаева, нельзя обойти еще одну тему – тему войны. В рассказах о войне его герои тоже оказываются в кризисных ситуациях и должны делать и делают решающий выбор.

Пастух по прозвищу Смеющийся из рассказа «Белая скала» невольно привел фашистов к месту, где прятались эвакуированные евреи. И только увидев наведенные на людей автоматы, он понял свою ошибку. Смеющийся начал понимать, что совершил преступление. А когда фашист приставил пистолет к уху одной из женщин, ему стало ясно – это начало страшного конца. Пастух схватил человека с пистолетом за плечи и гневно сверкнул глазами. Тот, изумленный и взбешенный, выстрелил в лоб пастуху. Пуля содрала кожу. Боли не было, была властно нахлынувшая ярость... Высоко подняв над собой стрелявшего, Смеющийся шагнул к бездне...

Сборник «Быть человеком» предваряет эпиграф из стихов Евгения Винокурова:

Двадцатый век! Бродивших по дорогам
среди пожаров к мысли привело:
легко быть зверем и легко быть Богом,
быть человеком это тяжело!





Этот эпиграф отражает главный смысл всего творчества Муссы Батчаева. Он пишет о том, что значит «быть Человеком» в самом высоком значении этого слова. Пишет и в прозе, и в стихах.

В одном из стихотворений возникает образ моря, которое некто, ненавидящий свободу, заковал в скалистые берега, словно окружил крепостями из гранита. Вот как звучит подстрочный перевод второй части стихотворения:

Не забыло море свободу...
Кто видел его спокойным?!
Оно борется!
Полная гнева волна
бросается грудью на гранит
и разбивается, но за нею сразу
рождается готовая к бою волна.
И камень понемногу сдается.
Борись, море! Рождай
мужество в волнах.
Будущий день борющегося прекрасен,
А тому, кто с ярмом смирится, –
проклятье,
А тому, кто привыкнет к оковам, –
сто проклятий!

И здесь те же, что и в прозе, поэтизация борьбы, и здесь образный разговор с читателем о том, что значит быть настоящим человеком.

К сожалению, стихи Муссы Батчаева пока русскому читателю практически не известны, они написаны на родном карачаевском языке. Это относится и к драматургии, которой Мусса Батчаев увлекся в последнее время. Его пьесы шли в постановке карачаевской труппы областного драматического театра и стали естественным продолжением того, что делал он в других жанрах.

Первая пьеса «Судьба и честь» («Побежденная судьба») представляет собой драматическую поэму, построенную, в основном, на законах, характерных для произведений народного творчества, с их условностью и символикой.

Судьба судьбой, говорит зрителю автор, но самому надо быть человеком. Тогда окажется, что и судьба не столь уж всесильна.

Вторая пьеса-притча тоже выполнена в условной манере. Герой оказывается между двумя могущественными силами – Князем Ночи и Князем Дня. Но в конце концов он преодолевает все трудности, препятствия и соблазны и освобождает из мрачного подземелья земляков, попавших туда из-за собственного корыстолюбия, в погоне за золотым бараном.

Быть свободным – значит любить солнце на небе, а не его золотое изображение, прибитое к потолку золотыми гвоздями, быть героем – значит тормо-





шить полусонных и привыкших к рабству людей, даже против их воли, вытаскивать из темноты подземелья на свет. В этом смысл пьесы-притчи «Батыр-джаш и золотой баран».

В последней по времени написания пьесе Мусса Батчаев отходит от сказовой манеры. Это реалистическое произведение, созданное на материале из жизни современного карачаевского аула. Название пьесы звучит по-русски несколько странно, «Ушибленная звездой». Смысл его в том, что героиню Аймуш многие окружающие воспринимают как блаженную, человека не от мира сего. Однако по ходу спектакля зритель имеет возможность убедиться, что странные поступки Аймуш направлены на одно – достижение счастья людьми. Пьеса «Ушибленная звездой» направлена против стяжательства, чванства, ханжества – пороков, которые, увы, не назовешь, отошедшими в прошлое. Вот почему она встретила живой и заинтересованный отклик зрителей.

Мусса Батчаев не нуждается в творческих командировках, чтобы собирать материал для произведений. Он живет среди своих героев, материал для художественного исследования жизни ждет его в соседнем дворе, на соседней улице. Талант писателя, его умение видеть за маленькими событиями, происходящими в ауле, значительные современные проблемы, придают его произведениям масштабность, вызывают к ним интерес далеко за пределами Карачаево-Черкесии. В заметках о прозе Северного Кавказа, опубликованных в этом году в журнале «Дружба народов», дагестанский критик и литературовед Казбек Султанов пишет: «В последние годы имя Батчаева непременно упоминали в разговорах о молодой прозе Северного Кавказа. Сегодня, думаю, Батчаев уже несколько перерос молодую прозу и стал интересным, ищущим художником».

С этим суждением можно полностью согласиться.

В. Белоусов,

литературный критик.

«Ленинское знамя», 25 октября 1980 г.





Неповторимый мир Муссы Батчаева

...Я не сомневаюсь в том, что в лице Муссы Батчаева мы имели и имеем крупное и неповторимое явление в нашей литературе во всех ее видах, в нашей духовной жизни и в целом в развитии культуры народов области. Нет сомнений в том, что наше литературоведение и театроведение скажет свое весомое слово об одном из ярких представителей литературы народов СССР, каким является Мусса Батчаев. Нет сомнений в том, что светлая и многогранная личность Муссы Батчаева будет чем дальше, тем больше привлекать внимание нашей творческой интеллигенции. Нет сомнения в том, что с именем Муссы Батчаева связано нечто новое, неизведанное и во многом еще и непознанное явление в нашей литературе и драматургии. Нет сомнения в том, что творчество Муссы Батчаева может послужить темой для крупных изысканий научной мысли области. Да, все это вне сомнения, и в ближайшем будущем мы будем свидетелями «раскрытия» и «открытия» большого мира, каковым является Мусса Батчаев. Здесь же, в этих записках или воспоминаниях о моем друге я хочу остановиться на некоторых характерных чертах Муссы Батчаева как человека и художника. Как правило, личностное человека и его дарования составляют гармоническое целое – чем богаче внутренний мир человека, тем выше он как личность и как художник, творец духовных ценностей. Поэтому мне хочется начать с того, что является для меня наиболее близким и впечатляющим в Муссе Батчаеве как в человеке.

Я в своей жизни мало встречал таких людей, как Мусса Батчаев, для которых такие понятия, как злоба, зависть, высокомерие и другие подобные характеристики были бы совершенно чуждыми. Доброта Муссы, казалась, была безгранична. Трудно сказать или привести примеры его доброты, ибо она пронизывала все его существо, все его деяния и поступки. Эта доброта определяла и абсолютную внимательность ко всем, с кем находился в дружеских, товари-



щеских связях. Это качество притягивало людей к нему, с ним всегда было уютно и интересно, его всегда хотелось видеть, с ним всегда хотелось поделиться мыслями, в нем всегда и везде была необходимость.

Мусса был человеком высокой культуры. Его познания были широки и глубоки. Он живо интересовался всем, что происходит в нашей стране и за ее рубежами. Он был в курсе почти всех событий в культурной жизни планеты: он знал о новой пьесе молдавского драматурга Иона Друце и о концерте корякского фольклорного ансамбля, о вернисаже Ренатто Гуттузо и новом романе Амаду... Суждения его о том или ином произведении искусства и литературы, событиях политического и экономического порядка свидетельствовали о его компетентности, оригинальности и глубине его мышления.

Когда мы говорим, что Мусса Батчаев был человеком высокой культуры, мы подразумеваем и то, что его культура была взращена и питалась из неисчерпаемого источника культуры своего народа, народов нашей страны и прогрессивной общечеловеческой культуры. Мусса, как губка, впитывал в себя все лучшее, все светлое, все благородное, все человеческое, все возвышенное – и все это умел соединить со своим миром мыслей и чувств, а затем излучать вокруг себя в своих произведениях, на близких и родных, друзей и товарищей, обогревая их, просветляя, облагораживая, возвышая.

Мусса был мудр, как аксакал; умен, как философ; эмоционален, как артист; сдержан, как дипломат. Меня особенно поражала его сдержанность. За все время, что я знал Муссу Батчаева, в каких только ситуациях он не бывал, я ни разу не слышал, чтобы он когда-нибудь повысил голос, а тем более снизошел до брани и оскорблений. При этом я был свидетелем таких ситуаций, в которых вряд ли многие из нас не вышли бы из себя. Это как ничто другое характеризовало его высокую воспитанность, воспитанность, которая вбирала в себя все лучшее из нравственных норм его народа, норм общечеловеческой культуры. При этом Мусса был очень мужественным человеком. Однажды, когда мы с ним поздно вечером прогуливались у кинотеатра им. Горького, заметили, как несколько подвыпивших хулиганов избивали двух молодых людей. Я не успел оглянуться, как Мусса оказался среди этой группы и стал защищать избиваемых, несмотря на то, что у некоторых хулиганов в руках сверкнули ножи. Мусса обладал настоящими бойцовскими качествами, когда он выступал в защиту своих принципов. И здесь он был сдержан и логичен, последователен и убедителен.

Я не знаю такого другого собеседника, каким являлся Мусса Батчаев. Он мог часами внимательно слушать тебя, лишь изредка тактично делая свои замечания, задавал попутные вопросы. При этом можно было видеть, как беспрерывно течет его мысль, какова реакция на рассказываемое тобой. Умение слушать собеседника, дать ему возможность полно высказаться – это неце-



нимое качество человека, кем бы он ни был. Как часто мы прерываем своего собеседника, сбиваем его с мысли, мешаем ему поведать нам сокровенное, навязываем свои суждения и рецепты, опровержения и обвинения, мешаем ему выразить то, что он хотел. Мусса не был таким, он был интеллигент в истинном и высоком понимании этого слова. Чувство юмора! Как много значит оно в нашей жизни. Этим чувством Мусса обладал сполна. Любая добрая шутка находила в нем отклик. Он от души мог посмеяться над интересной историей, поиронизировать в свой адрес. Так, однажды встретились после долгого пребывания на косьбе, а бывал он там ежегодно, он сказал: «Я сделал одно запоздалое полугениальное открытие о самом себе. По-моему, животноводство очень много потеряло, что я стал литератором. Я великолепный косарь и никудышный писатель».

Его общительность и доступность снискали ему множество приятелей среди всех категорий людей. Однажды я встретил его на проспекте Ленина, ведущим под руку старушку. На мой вопрос, кто эта женщина, и куда они держат путь, он ответил, что старушка приезжая и не знает, как пройти в юридическую консультацию, и что он доведет ее до места и придет ко мне, есть разговор о замысле новой пьесы. Он был обязателен, и для него все имело значение: поддержать молодого поэта и дать отзыв о картинах молодого художника; как можно шире рассказать о новом сборнике стихов Халимат Байрамуковой и походатайствовать об улучшении жилищных условий артистов; определить в больницу незнакомого человека, попросившего его о помощи, и заступиться за собрата по перу; принять деятельное участие в организации юбилея своего коллеги. И много-много больших и малых дел были постоянными и неизменными спутниками его короткой, но полнокровной и яркой жизни.

Муссу Батчаева характеризовала беспредельная преданность гуманистическим идеалам, его отличали высокая гражданственность, принципиальность и последовательность. Он ненавидел предателей Родины, хулиганов, насильников, рвачей, карьеристов, склочников, краснобаев, спекулянтов и других антиподов нашей действительности.

Бездуховность он относил к разряду преступности, ибо все неблагоприятное, как правило, является порождением этого зла. Его ненависть к подобным явлениям была активной и направленной на искоренение их как в его произведениях, так и в повседневной жизни, он боролся с ними неустанно. Мусса был настоящим гражданином и патриотом своей Родины без суеты и парадности. Эти его качества многогранно, самобытно и оригинально проявлялись в его творчестве.

Говоря о Муссе Батчаеве как о литераторе, мне хочется подчеркнуть тот факт, что он был и остается новатором в карачаевской литературе. С полным правом его можно назвать самым ярким представителем карачаевской литературы,



творчество которого вобрало в себя достижения современной многонациональной советской литературы, основным содержанием которой является углубленное исследование внутреннего мира наших современников и процессов, происходящих в обществе, разнообразных связей, определяющих взаимоотношения общества и человека.

Проблемы, выдвигаемые Муссой Батчаевым, всегда носили и носят глубокий социальный, психологический и философский характер. Его произведения – национальные по форме, идейное же содержание их выходит далеко за пределы одной национальности, приобретая общенародный, человеческий характер. Достаточно напомнить в этом смысле одно из лучших творений писателя, рассказ «Серебряный дед». (Должен сказать, что данная статья не претендует на глубокое литературоведческое исследование творчества писателя и является наброском к его портрету. Поэтому я избавляю читателя от приведения тех или иных выдержек из произведений автора, рассчитывая на то, что знакомые с его произведениями легко поймут меня, а те, кто не читал их, смогут убедиться в истинности характеристик, познакомившись с творениями писателя). Его произведения поистине интернациональны, ибо проблемы, решаемые им, носят общечеловеческий, общенародный характер. И не потому ли его книги, изданные на русском или карачаевском языках, вызывают большой резонанс в литературной и читательской среде как в Карачаево-Черкесии, так и за ее пределами. Обусловленность духовного развития карачаевского народа в русле духовного развития всего советского народа – главная тема творчества Батчаева. Этой своей теме писатель верен во всем, чего бы то он ни касался, о чем бы ни говорил или писал.

Говоря о стиле писателя, невозможно не остановиться на языке его, который на сегодняшний день являет собой крупное достижение карачаевской литературы. Образность, афористичность, богатая колористичность, смысловая выразительность, богатство оттенков и граней – вот далеко не полная характеристика языкового строя его произведений. Мусса Батчаев открыл богатейшие выразительные возможности карачаевского языка, основываясь на традициях разговорной речи, фольклора, достижениях карачаевской и многонациональной советской литературы. Все это особенно наглядно проявилось в пьесе «Тёппесине джудуз тийген» («Аймуш»), поставленной карачаевской труппой облдрамтеатра, в которой язык стал главнейшим выразительным средством. Работа Муссы Батчаева над языком своих произведений должна стать образцом для наших писателей, а сам его язык является школой современного карачаевского языка.

Творчество Муссы Батчаева имеет непреходящую духовную ценность и представляет собой значительный вклад в сокровищницу многонациональной литературы; его произведения стоят рядом с произведениями таких предста-



вителей современной советской многонациональной литературы, как Чингиз Айтматов, В. Распутин, В. Шукшин, Н. Думбадзе и другие.

Литературное наследие Муссы Батчаева непременно станет объектом глубокого изучения литературоведов и займет достойное место в советской литературе. Говоря о его творческом наследии, мне хотелось бы несколько подробнее остановиться на Муссе Батчаеве как драматурге.

Мусса Батчаев, карачаевский драматург, открыл новую и яркую страницу в развитии карачаевской драматургии. В подтверждение сказанного можно привести следующие аргументы. Первая же пьеса Муссы Батчаева «Судьба и честь», написанная в форме легенды, сразу же привлекла к себе внимание молодой карачаевской труппы областного драматического театра. Спектакль, поставленный по этой пьесе, вызвал большой резонанс среди зрителей и в прессе. Постановка ее и огромный зрительский интерес знаменовали собой этапное явление в творческом становлении карачаевской труппы, основной темой пьесы и спектакля стало утверждение автором добра, высоких моральных принципов честности, самоотверженности, дружбы, человеколюбия, добропорядочности как главной сути вечных ценностей человечества.

После показа этого спектакля наметился глубокий интерес зрителя к театру.

Вторая пьеса Муссы Батчаева «Тёппесине джуддуз тийген» (краткое название – «Аймуш») знаменовала собой рождение принципиально новой драматургии с глубоким проникновением во внутренний мир человека, раскрытием глубинных процессов, происходящих в душе его. Пьеса, написанная в форме публицистичной притчи, поднимает проблемы, волнующие наших современников, проблемы истинных ценностей в современном обществе. Человеческая доброта, честность, сознание гражданского долга приходят в столкновение со злом, воплощенным в современной драматургической классике. Это «Хитроумная влюбленная» Лопе де Вега и «Невольницы» А.Н. Островского, «Дуэль» Мар Байджиева. Эти переводы являют собой образцы творческого подхода к явлениям иноязычной литературы.

Лебединой песней Муссы Батчаева для театра стала его пьеса-сказка для детей «Батырджаш и два князя», постановку которой театр осуществил в 1984 году.

Как правило, талант одаренного человека проявляется во многих сферах деятельности, подчас даже весьма далеких друг от друга. Мусса Батчаев был не только талантливым прозаиком и драматургом, но и хорошим публицистом. В многочисленных своих проблемных статьях, очерках, рецензиях он, оставаясь верным своей теме утверждения высших моральных принципов нашего общества, постоянно пропагандирует все передовое, прогрессивное, придавая им высокое гражданское звучание. Содержанием его публицистики являлись



и литература, и театр, и музыка, и живопись, и многое другое. Эта сторона деятельности Муссы Батчаева является большим разделом его творчества, имеет актуальное значение и заслуживает пристального внимания.

Во всем творчестве Муссы Батчаева мы видим, как ярко и последовательно проявляются его личностные характеристики, везде присутствует его партийное и гражданское, народное и эмоциональное «Я». Помимо этого в произведениях встает перед нами человек, глубоко и многогранно знающий жизнь в многообразии ее измерений и подробностей. Предметом его творчества является народ, его судьба, и народ же является его учителем и школой. Он был постоянно в гуще жизни, его можно было видеть среди чабанов, косарей, шоферов, студентов, педагогов, учащихся, рабочих, артистов, художников, писателей, журналистов, среди стариков и молодежи. В общении с людьми он черпал свои замыслы, пополнял арсенал своих выразительных средств, он не расставался с блокнотом – и всегда он слушал и смотрел, смотрел и слушал. Муссе Батчаеву был чужд дух кабинетного писателя. Потому-то он предпочел быть профессиональным писателем, не связанным деятельностью в том или ином учреждении с постоянным заработком, хотя в этом он подчас очень нуждался.

Мусса Батчаев очень дорожил своей профессией писателя, призванного воспитывать народ, идеологически воздействовать на массы. И не потому ли каждая книга, пьеса или статья писателя вызывали широкий интерес всех слоев читателей, независимо от их социальной или национальной принадлежности.

Нельзя сказать, что все, что выходило из-под пера Батчаева, принималось безусловно. Отнюдь! Многие его произведения вызывали не только позитивную, но и негативную реакцию, как всякое новое и непривычное. А подобная реакция – удел большинства талантливых творений незаурядных писателей, композиторов, художников и других творцов художественных ценностей. Это закономерно, и принимать надо как должное, как процесс рождения нового, в чем-то исключавшего существующее. Это объективная реальность. Еще при жизни Мусса получил характеристику талантливого писателя, и это было справедливо. Талант же предполагает самобытный взгляд на жизнь. Таланту свойственны оригинальность и неповторимость творческого стиля, что вызывает в значительной мере непонятность, а следовательно, и отрицательную реакцию даже со стороны весьма принципиальных и сведущих лиц. Так, когда А. Вампилов приносил довольно маститым режиссерам и в известные театры свои пьесы, они, по меньшей мере, недоумевали, а в ряде случаев воспринимали их как нечто случайное и весьма посредственное. Сейчас же режиссеры и театры в один голос признают несостоятельность своих прежних суждений, характеризуя пьесы Вампилова как выдающееся, этапное явление в развитии советской драматургии. (Но это признание, к сожалению, пришло уже после трагической гибели драматурга.)

Подобные оценки чаще всего – результат автоматизма нашего мышления. И в связи с этим я позволю себе реплику в адрес нашей литературной (карача-

евской) критики, и прежде всего той критики, которая в основном представлена в прессе, которая делала и делает попытки разобраться и дать оценку творчеству Муссы Батчаева. На мой взгляд, в ней сложился определенный стереотип, который заключается в том, что произведения Муссы Батчаева рассматривают через призму романа Х. Аппаева «Черный сундук» и позицию А. Уртеннова, И. Каракетова и других ярких представителей зари карачаевской литературы, характерной особенностью которой были публицистичность, открытая тенденциозность и агитационность, что было оправдано самой эпохой и острой классовой борьбой того времени. Сегодняшние же требования к литературе, как по содержанию, так и по форме, видимо, носят более глубокий характер. Поэтому оценка современной литературы не может основываться на приемах и эстетике литературы 1920-х и 1930-х годов, как бы мы их не почитали и ценили. (Кстати сказать, Мусса Батчаев очень высоко ценил первопроходцев карачаевской советской литературы). Оценка современного художественного произведения должна опираться в первую очередь на достижения современной многонациональной советской литературы. Естественно, необходим учет и достижения предыдущих поколений, но не абсолютизация их. К сожалению, в отдельной части карачаевской критики имеет место такая абсолютизация. И это вызывает недоумение, поскольку мы вправе полагать, что представители этой критики хорошо знакомы с достижениями современной советской литературы, в частности с произведениями Шукшина, Айтматова, Распутина, Думбадзе и других современных советских авторов.

Одной из лучших и сильных сторон творчества Батчаева была его опора на достижения современной советской литературы, за которой он очень внимательно следил и в подходе к теме, проблематике, охвату жизненных явлений. Он, несомненно, учился у ведущих мастеров советской литературы.

Его профессионализм зиждется на опыте лучших представителей родной литературы и фольклора, зарубежной и советской классики, современной советской и зарубежной литературы, на знаниях, полученных им в стенах литературного института им. А.М. Горького, на Высших литературных и драматургических курсах. В Муссе Батчаеве глубоко сочетались его незаурядный талант с высоким профессионализмом, что делало его творения подлинными, оригинальными и современными произведениями литературы.

Еще одной яркой характерной особенностью Муссы Батчаева представляется то, что он является ярким (и на сегодняшний день единственным в карачаевской литературе) представителем той категории двуязычных современных национальных писателей, которые одновременно владеют и родным, и русским литературными языками, что значительно расширяет их читательскую аудиторию. В произведениях, написанных Муссой Батчаевым на русском языке, мы видим ту же многогранность владения русским, что и карачаевским.



Здесь то же богатство словарного фонда, афористичность, построенная полностью на стилистике, образности карачаевского языка.

В целом можно сказать, что творчество Муссы Батчаева выходило за пределы так называемой местной литературы, и это подчас вызывало весьма широкую оппозицию к нему как к художнику и человеку. Конечно, его оппонентами двигали различные мотивы, но в целом – это неумение оценить его смелость и новаторство как в области формы, так и в области содержания. Кстати, когда друзья упрекали его в том, что он может пожимать руки и быть в приятельских отношениях с теми, кто яростно боролся с ним, он отвечал, что это нормальный литературный процесс, где должны иметь место разные точки зрения и борьба. Они-де оппоненты мои, а не враги, в этом он, конечно, был прав. Но печально то, что эта борьба выходила за рамки литературной политики и не способствовала творческому вдохновению, особенно когда она начинала носить организованный характер.

Особенно это относится к последним годам, когда Батчаев находился в поре расцвета духовных, творческих и физических сил. Он порой на долгое время выбивался из творческого состояния. А быть в этом состоянии для него было просто необходимо, ибо вдохновение – определяющее начало творчества любого таланта. Только графоманы могут писать всегда и везде.

Конечно, каждому писателю свойственно ошибаться, но дело чести всех нас – и читателей, и руководителей творческих союзов, и других, от кого зависит судьба художника, – уметь найти ту меру воздействия, которая принесет максимальную пользу писателю, деятелю искусства, а не затянет его в длительную, изнурительную, подчас бесплодную борьбу по защите своих творческих принципов, своего творческого «Я». И в этом отношении показательно то, что за последние свои пять лет Батчаев почти ничего не написал, хотя у него были интересные замыслы и планы, в том числе он вынашивал широкое эпическое полотно, которое должно было охватить период после освобождения от крепостного права и до наших дней. Это полотно предполагало охват большого количества исторических событий, личностей и призвано было показать судьбу карачаевского народа в переплетении и радостных, и трагических общественных, социальных и человеческих коллизий. Но этот и другие интересные замыслы не были осуществлены, в чем немалая вина тех, кто выбивал его из творческого состояния.

И, несмотря на все это, Мусса Батчаев оставался верным своим принципам, не бросался в крайности, оставался верным своим партийным и гражданским идеалам. В этом сказывалось его благородство настоящего художника, истинного таланта.

Творчество Муссы Батчаева, как и его светлая личность, оказывало и оказывает большое воздействие на нашу творческую интеллигенцию, особенно





на его сверстников и молодое поколение. Надо отметить, что многие наши начинающие поэты и прозаики испытывают на себе влияние творчества Муссы Батчаева, и это хорошо, ибо за ними будущее карачаевской литературы.

Говоря о значении творчества Муссы Батчаева в духовном развитии Карачаево-Черкесии, можно с полным правом утверждать, что он сделал крупнейший вклад в развитие культуры народов Карачаево-Черкесии, и его произведения войдут в сокровищницу нашей многонациональной литературы. Мусса Батчаев – один из тех, кто выводит карачаевскую литературу на всесоюзную арену, и в этом его большая заслуга!..

Б. Тохчуков,

театральный режиссер.

16 июля – 22 августа 1982 г.

Железноводск – Черкесск.





Мелькнувшая молния

О нем я писала и говорила не раз, но никогда не думала, что придется писать и такую горестную статью – послесловие к его жизни. Гибель Муссы Батчаева – неожиданная и трагическая, острой болью пронзила сердца его читателей, его истинных друзей и близких. И хотя время, отделяющее его, живого, от нас совсем незначительно, все же остро ощутима та пустота, которая образовалась с его уходом из жизни. Это всегда так, ведь талантливый писатель, каким был Мусса Батчаев, является для других как бы незримой опорой и советчиком, и потому никто и ничто не может заменить место, которое принадлежало только ему.

Одна из повестей М. Батчаева называется «Элия», что в переводе с карачаевского означает «молния». Вот так и жизнь Муссы промелькнула, как яркая молния, оставив за собой не только блестящее творческое наследие, но и показав пример того, как надо входить в литературу, как надо в ней трудиться и жить.

...В 1961 году, в Москве, я получила очередной номер областной газеты «Ленинни байрагъы», где прочитала небольшое стихотворение неизвестного мне автора Муссы Батчаева. Оно покорило меня свежестью, своеобразием языковых средств, удивительно тонким поэтическим чутьем. Несколько дней я находилась под впечатлением этого стихотворения, и на душе было празднично. Так бывает всегда, когда я читаю хорошую книгу или слушаю хорошую музыку. Потом, не утерпев, я написала письмо в Черкесск, редактору газеты, которого просила рассказать об авторе, а если редакция располагает, то и прислать другие его стихи. Тогдашний редактор газеты Х.Т. Тохчуков тут же прислал мне ответ и номер газеты, в котором напечатали мое письмо. Так состоялось наше заочное знакомство с начинающим поэтом.

А потом мы встретились: крепко сбитый молодой учитель из аула, простой, обаятельный, с подкупающей улыбкой сразу расположил к себе. Весь его об-





лик, умение держаться, говорить не спеша, философское отношение к жизни – все говорило о его незаурядности.

С того дня началась наша крепкая творческая дружба. Он считал меня своим наставником, для меня же он был человеком, самым близким по духу, по взглядам на жизнь, на творчество.

Несмотря на свою молодость в возрастном отношении, у Муссы не было творческой молодости – в литературу он вошел уже зрелым писателем, что бывает весьма редко. Стали появляться одна за другой его поэтические и прозаические книги: «Быть человеком», «Раздумья», «Серебряный дед», «Когда осуждают предки», «Земляки», «Элия», «Веление века», пьесы, статьи, рецензии. Он издал в соавторстве книгу о революционере Умаре Алиеве, обработал карачаевские легенды. Мусса Батчаев создал и современный, качественно новый репертуар для карачаевской труппы областного драматического театра, этим самым по-настоящему прочно заложив здесь основу драматургии. Одинаково хорошо владел родным и русским языками, он писал на обоих языках. Первая же книга новелл «Быть человеком» сразу обратила внимание читателей и критики на молодого писателя, и общее мнение сводилось к тому, что в литературу Северного Кавказа пришел по-настоящему талантливый литератор.

В чем заключается успех его произведений? На мой взгляд, в первую очередь в том, что он нашел свою собственную, лишь ему присущую тропу в творчестве, и никому не подражал. У него было что сказать, и он знал, как сказать. В его произведениях мы видим удивительное органичное слияние современности с лучшими традициями прошлого. Мусса умел видеть и показать большое в малом, а касаясь таких сложных тем, как военная, пережитки прошлого, он шел от личного к общечеловеческому и избегал даже малейшей надуманности. Ему были присущи острое чувство слова и философский подход к изображаемому. Интернационализм, дружба между народами в его произведениях являлись органическими компонентами, в чем сказывалась четкая партийная позиция автора.

Мусса Батчаев не относился к писателям, которые говорят, что, мол, они пишут для своего народа. Такое узкое понимание значения своего призвания ему было чуждо. Выходить через свое национальное к общечеловеческому, интернациональному – в этом он видел призвание каждого национального писателя. Потому-то его и принял общесоюзный читатель.

Талант писателя в нем вызревал в самой гуще народа, и он уверенно, спокойно поднимался к своему зениту без чьего бы то ни было протекже. Он не искал лихорадочно славы, как это делают некоторые, собирая разные свидетельские бумажки и отзывы маститых литераторов. Муссе важно было высказаться, и делал он это во всех жанрах, что тоже является чертой настоящего писателя. Ему были чужды ненужные красоты. Книги Муссы, как сама жизнь – правдивы, сложны, философичны.



Все это выпукло выделяло Муссу – писателя среди всех наших литераторов, и его замечали. Повесть «Элия» была напечатана в журнале «юность», и вскоре тогдашний редактор журнала Борис Полевой прислал письмо автору, где ставил эту повесть рядом с «Прощай, Гульсары» Чингиза Айтматова. Наверное, Мусса мало кому говорил о нем, тем более показывал это и другие подобные письма – ведь ему было чуждо тщеславие.

В шестидесятых годах мы проводили семинар молодых литераторов области, куда пригласили в то время председателя правления СП РСФСР, известного писателя Леонида Соболева. Он познакомился с Муссой, ему понравились его новеллы, манера письма, его начитанность, взгляд на жизнь (об этом Л.С. Соболев написал потом в еженедельнике «Литературная Россия»), и он пригласил его в качестве штатного сотрудника в «Литературную Россию». Жизнь в столице сулила, конечно, много интересного. Но через несколько дней Мусса сказал, что обдумал все и решил... не ехать, мотивируя свой отказ тем, что ему нельзя отрываться от корня. Реши он по-другому, возможно, не появилась бы потом глубоко колоритная, интересная книга «Мои земляки».

А учиться на Высших литературных, затем сценарных курсах в Москву он поехал с удовольствием. По его вышедшим в Москве произведениям «Серебряный дед», «Элия» проводились читательские конференции, о чем тоже писали «Литературная Россия», «Учительская газета».

Но не все шло только гладко. Ведь обычно бездарь терпит подобных себе, а если человек не вмещается в стереотипную рамку, ему начинают строить козни. Так порой поступали и с М. Батчаевым. У него были трудные дни, и тем приятнее было видеть, как настоящие друзья, партийно-советские органы бережно относились к его таланту.

Чистосердечный, доверчивый, как ребенок, он как бы спешил жить и делать людям добро (и погиб-то, желая спасти человека), приходил на помощь, если это было надо, радовался чужому успеху.

Помню, в Карачаевске состоялась премьера моей комедии «Бесфамильная невеста», и я видела, что Мусса больше, чем я, радовался успеху спектакля.

...Последняя наша встреча состоялась в день премьеры оперы «Последний изгнанник», 18 мая этого года. Незадолго до премьеры он зашел ко мне, как всегда, попросил чашечку кофе, пил его стоя и посмеивался над собой:

– Посмотрите на меня, вырядился и так непривычно чувствую себя в этом костюме. А все сестра Фатима: мол, в театр идешь, а не куда-нибудь.

После премьеры, за ужином, он шутил со всеми, радовался, что у нас уже есть опера, свидетельствующая о расцвете культуры народов Карачаево-Черкесии. Потом он проводил нас домой. Это было наше последнее рукопожатие.

Потом... Потом он позвонил и сказал, что приехал (он больше жил в ауле) в Черкесск, сейчас ходит на дачу, посмотрит, что там и как, и поедет строить дом.



– Строить-то хорошо, но я боюсь, что от этого могут пострадать твои «крылья», – ответила я, имея в виду, что уже много лет он работал над большой книгой прозы под названием «Горизонт бескрылых».

– Будут и новоселье, и «Горизонт бескрылых», это я обещаю, – твердо заверил он.

Но на следующий день его не стало...

Его гибель нанесла нашей литературе невосполнимую потерю. Но то, что он успел создать за свою короткую творческую жизнь, вошло навсегда в литературу Северного Кавказа. Книгам Муссы Батчаева суждена долгая жизнь.

Х.Б. Байрамукова,

писатель.

«Ленинское знамя», 4 сентября 1982 г.





Вершина и склоны

Рано и трагически погибший Мусса Батчаев, несомненно, был настоящим писателем... Что это значит и почему ныне можно смело высказывать подобное утверждение, не боясь ошибки и греха преувеличения?

У прозы Батчаева был свой мир, своя маленькая вселенная с границами родной Карачаево-Черкесии и центром, сердцем – аулом Кумыш. В сущности, Батчаев писал одну и ту же вещь – некую сагу о своем крае и его людях. Он шел в этой саге от рассказа к рассказу, от повести к повести, и вели его поводыри очень надежные и испытанные, лучшие для писателя поводыри, – Любовь и Знание.

Это они делают сердце пишущего зорким – ведь самого главного, как известно, глазами не увидишь! – раздвигают и как бы укрупняют рамки текущего, позволяя за пестрой, изменчивой чередой повседневного упрямо прозревать лик постоянного, неизменного и корневого для своего народа... Любовь тут неотрывна от Знания, Знание – от Любви, и обе эти великие, могучие силы поддерживали и питали талант Батчаева, формировали его писательский облик, его творческое лицо.

В том, что успел написать Мусса Батчаев, – а эта книга – наиболее полное собрание созданного им, чуть ли не в первую голову подкупает авторская интонация... О ней часто говорят как о чем-то словно бы второстепенном, числа ее по разряду «тонкостей мастерства», меж тем как интонация – отражение авторского взгляда на мир, его осмысления и оценки... Интонация – это позиция пишущего, это он сам, в конце концов.

Внутренний голос прозы Муссы Батчаева всегда был очень естествен и доверителен... В нем не чувствовалось дистанции, разрыва меж читателем и автором. Автор все время был словно рядом с тобой, ты чувствовал на своем плече тепло его ладони, потому что Батчаев верил в читателя и любил его так же полно и открыто, как и своих земляков. У этой веры и любви никогда не





было осторожных оговорок, оглядок через плечо – были простота и надежность сильного чувства, сильного человека.

Все это Муссе Батчаеву удалось сполна передать бумаге, и потому я, например, вижу и хорошо чувствую его, хоть, к сожалению, знаком с ним не был, не довелось... Я вижу открытого, сильного, веселого человека, с которым легко, просто и – надежно.

По надежности все мы тоскуем все более. Тоскуем, искривляясь в псевдоложности наших взаимоотношений, забывших правду и силу открытого жеста, открытого взгляда, проза Батчаева возвращала нам их... Она словно снимала с нас груз лет, гнетущую осторожность нажитого зрелостью опыта, и мы снова начинали смотреть на мир молодыми и смелыми глазами, видящими все так, как оно есть, и ничего не опасаясь... Это прекрасно – смотреть так, и только за одно это можно быть навсегда благодарным писателю!

Во взгляде Муссы Батчаева на мир и человека были некая внутренняя широта, просторность и то оптимистическое и сильное великодушие, которое не тычется пунктуальным лбом в сегодняшние неурядицы и огрехи, а любит и умеет смотреть вдаль, вперед, зная, что люди в основе, массе своей – хороши, а не дурны, и время обязательно докажет это.

Подобный взгляд и вывод чаще приходят – либо не приходят – к нам с годами и значительно реже даруются от рождения... Но с Муссой Батчаевым было, думаю, именно так.

Погибший, едва вступив в годы, которые именуются порой зрелости, он обладал каким-то, видимо, врожденным чувством такта и спокойной, надежной мудростью человека, твердо знающего, что в жизни почем.

Думаю, что из всех добродетелей и достоинств рода человеческого Батчаев превыше всего ставил чувство долга. Не в экзотическом и этнографическом его понимании и толковании – законы рода, «мужская честь» и прочее, – а в том широком и столь важном для всех нас значении, когда человек только потому и человек, что исполняет на земле ему положенное.

Мотив этот чрезвычайно силен в творчестве Муссы Батчаева, и само время рождения этого писателя – 1939 год – определяет тут очень многое.

Батчаев был весьма чуток к тому, что именуем мы судьбой поколения... Он был неизменно и твердо верен стану своих сверстников, жизни и времени, что выпали им на долю, и, видимо, считал важнейшей своей задачей рассказать нам, как же жили эти ребята, как росла и мужала их душа, что она для себя решала.

Все они, родившиеся в 1939 году, выросли в трудные военные и послевоенные годы, в пору, когда во всем была нехватка, а жить бодро, в полный размах, жить, уважая себя, можно было только при одном условии... Нужно было много, очень много и трудно работать, не видя в том ни драматизма, ни особенной личной доблести, а просто зная, что иначе сейчас нельзя. Без права





на выбор росли они, трудились – в этом видели свой долг, и уклонение от него считалось равносильным малодушию, бесчестию.

«У моего поколения не было детства, – писал Мусса Батчаев. – Война не дала нам как следует вырасти. Мы на целую голову ниже тех, кто родился после Победы. Мы раньше седеем. Беда войны не кончается вместе с войной. Всякая война рано или поздно кончается, но беда ее остаётся на долгие годы.

...Многие герои мои очень молоды. Они ничего не успели ещё совершить в жизни, но чутки к добру и злу. Встречаясь с трудностями, они начинают серьёзно задумываться о жизни. Конечно, есть на свете слабые, никудышные люди... Но я пишу о тех, кто выдерживает испытания своей нелегкой судьбы».

Вот Хочалай из рассказа «Хочалай и Хур-Хур» и Алибек («Алибек – сын Дыгаласа»). Оба – совсем еще дети, им бы жить по законам своего возраста, когда на первом месте игры да развлечения, а время и жизнь требуют от этих мальцов сознания взрослых людей, отягощенных заботами и обязанностями, которых за них не выполнит никто... Но детская душа – все равно детская; она упрямо не хочет отдавать своей непосредственности, ранимости, доброты, и это вот соединение внутреннего мира ребенка с жесткостью и однозначной требовательностью внешней жизни как раз и «держит» эти рассказы, создает их особую, волнующую и абсолютно правдивую интонацию.

Рассказ при этом никуда не «ведет», не кособочит, потому что автор и детскости своих героев не выпячивает, страдая и причитая над ней, ущемленной, и не ужасается суровым ликом их жизни, которая, как ни крути, «дыгалас» – тяжелая, несладкая... И Хочалай, и Алибек выполняют свой долг, как и все окружающие их люди. Выполняют – и все тут.

«Хочалай и Хур-Хур», «Алибек – сын Дыгаласа», «Серебряный дед» написаны просто, стилистика их подчеркнута скромна; автор словно намеренно уводит в тень свое чувство, оставляя нас один на один с мальчишками из этих рассказов и их жизнью.

Иное дело – миниатюры Муссы Батчаева... Тут на первом месте – романтическая экспрессия, прямой и горячий контакт автора со своими героями, с тем мигом, что настиг их и вот сейчас, на наших глазах, фиксируется писателем.

Смотрите, как делает это Мусса Батчаев...

«Солдат вернулся с войны...

Долго стоял как вкопанный – в утреннем воздухе стыли развалины родной деревни. Черные стены... Черные немые трубы.

Немые и одинокие, как громоотводы. Там, где был его дом, сейчас не было ничего, лишь обугленный тополь с молчаливым укором тянул к небу голые сучья...

– Всё сожгли, – сказал солдат и большим пальцем раздавил слезу.

Солнце ударило в сапоги, взобралось на грудь, тронуло пшеничные кудри.





– Но я победил, – добавил солдат, нагнулся и поднял покрытый гарью кирпич, первый кирпич будущего дома.

(«Дом победителя»)

Здесь невозможно не заметить выразительную ёмкость деталей, штриха, и потому миниатюра, равно как и многие другие вещи Батчаева, написанные в этом жанре, напоминает хорошую гравюру или чеканку... Если же искать аналогии поближе, в ряду собственно литературном, то ярко выраженный романтизм, неожиданность и выразительность образного ряда, точность внешнего жеста, адекватного жесту внутреннему, заставляют вспомнить Бабеля, новеллы Александра Довженко.

Да, Мусса Батчаев был достаточно разнообразен, но – и это важно! – разные грани его творчества – словно разные плоскости, склоны все одной и той же вершины, устремленной к одной и общей для них точке... Этой точкой было для Батчаева постижение Человека.

Прекрасно понимаю, что подобная аттестация достаточно рискованна и может показаться элементарным трюизмом – чем же, мол, как не человеком, и должна заниматься литература?!

Да, конечно, все так, но тем не менее ни для кого не секрет, что довольно часто человек, авторский интерес к нему лишь обозначаются функционально, делаются скорее неким знаком, нежели реальностью текста... Соблюдается тактический декорум, литературные правила игры, не более того.

Мусса Батчаев так никогда не поступал. Его проза была естественна и абсолютно правдива, и разные «склоны» ее свободно и открыто демонстрировали нам то, что и было всегда ее основой, – глубокий и постоянный авторский интерес к человеку, его внутреннему «ядру».

Среди разнообразия «склонов» прозы Батчаева особняком стоит – для меня, во всяком случае, – повесть об ауле Кумыш. Она преисполнена внутреннего тепла, света, согрета авторской улыбкой и потому – очень обаятельна.

Внешне это – хроника аула Кумыш, в котором автор знает всех и всё.

Строится эта повесть очень просто – она кругом, чередой обходит дома и семьи кумышанцев, подробно рисуя нам их характеры, нравы и лица.

Нечто подобное сделал некогда Владимир Солоухин, когда писал свои «Владимирские проселки». Там мы тоже, вслед за автором, переходили из избы в избу, переходили и знакомились с хозяевами. Ритуал этот, как и положено в сельской местности, был очень серьезен, церемонен и почтителен.

У Батчаева, при общей схожести избранной с автором «Владимирских проселков» методологии, подобная серьезность отсутствует напрочь... Есть нечто совсем иное.

Вот как начинается, например, эта повесть...

«В том, что аул Кумыш оказался именно там, где он есть, а не в каком-то





другом месте, повинен козел старого Мырзы. Что касается самого Мырзы, то он был убежден, что место для аула подыскал не козел, а Аллах».

И нарочитое косноязычие – «...оказался именно там, где он есть...», и намеренная тяжесть официоза – «...что касается самого Мырзы...», и замечательное, безошибочно вызывающее улыбку снижение, ставящее вместе, рядом козла старого Мырзы и самого Аллаха, – все это неминуемо отзывается в мало-мальски чуткой читательской душе предощущением праздника, когда, судя по всем приметам, нам обещает текст легкий, дышащий озорством, вольным, естественным юмором!

В повести об ауле Кумыш есть что-то от полузабытых нами и потому вдвойне сладостных детских ощущений: та же абсолютная внутренняя свобода, прозрачность воздуха и красок, когда все видится как-то особенно четко и ясно, и – постоянная бодрость и радость!.. От чего? Да от жизни, от того, что она есть, я и ты – в ней!

Мы легки на эту радость в детские годы, потому что просты еще в отношении к миру, просты, доверчивы и естественны. Мы не думаем о дурном, не ждем его, не опасаемся, будто его и вовсе нет в природе..

В этом, наверное, как раз все дело, и повесть Муссы Батчаева «Аул Кумыш» так светла и хороша именно по этой причине. Она обезоруживающе оптимистична и написана так, будто весь мир – это и есть аул Кумыш, существует и живет по тем же, кумышанским законам.

Подобное тождество, вера в него дорогого стоят.. Их нельзя симитировать или искусственно привить себе. Они даются Любовью и Знанием, когда понятие Родины не просто анкетно присутствует в писательской судьбе, но определяет и формирует ее.

«Я гляжу с высоты и думаю, что этот прекрасный зеленый шар, не будь на нем моего аула и моих аульчан, был бы просто похож на холодный каменный мячик, летящий в холодном пространстве неведомо куда, неведомо зачем.

Но есть на земле мой аул, мой Кумыш, есть мои кумышанцы. Я думаю сейчас: земля вечна и вечны люди на ней – мои земляки».

Известно: подлинная внутренняя близость исключает патетику и котурны; она демократична... Смех царит на страницах этой повести – чего стоит только одна «комическая пара» Даут и Хаджи-Даут, бойкая, палец в рот не клади, Шамда, язычка и нрава которой боится даже наезжающее в Кумыш начальство!..

Да что там начальство – Шамда, можно сказать, стала чуть ли не ходячим апокрифом, вошла уже в фольклорное сознание народа! Не верите?.. Напрасно!

Поссорились однажды два горца. Рвались схватиться, да Кубань им мешала. Начали проклинать друг друга.

Один изощрялся до вечера, ни разу не повторившись... Но в конце концов иссяк.





«Я длинных проклятий не знаю, – сообщил второй горец, когда наступил его черед. – Пожелание мое короткое. Пусть сделает тебя Аллах хотя бы на месяц мужем Шамды из аула Кумыш! Скажи «аминь», если не боишься!

– Чтоб язык твой отсох! – крикнул первый, но сказать «аминь» побоялся.

И на такой вот женщине решил жениться Хаджи-Даут, решил, находясь хоть и в преклонном возрасте, но в здравом, как говорится, уме и твердой памяти! Правда, он долго колебался и хотел для начала посоветоваться с другом своим Даутом... Про то – целая сцепка, и – прелестная.

«Такой серьезный разговор, – решил он, – нельзя начинать без пристрелки. Сначала надо пристреляться, а тогда и в цель попадешь.

Старик подошел к зеркалу, слегка поклонился ему и произнес:

– Салам алейкум, дорогой друг. Как твое самочувствие? Покойным ли был твой сон?

Из зеркала на Хаджи-Даута смотрел серьезный и даже чуть опечаленный Хаджи-Даут. Проситель закрыл глаза и представил, как навстречу ему поднимется и протянет руку Даут.

– Алейкум ассалам, мой дорогой толстый друг! – скажет он. – Сон мой был покойным и приятным. Надеюсь, и твой был таким же. Присаживайся и расскажи, какое дело привело тебя ко мне.

– Дело небольшое, простое дело, – ответит Хаджи-Даут и усядется.

Хаджи-Даут замолчал, напряженно думая, куда следует дальше направить разговор. Из стекла смотрел на него растерянный, с наморщенным лбом Хаджи-Даут. Старик не понравилось такое выражение собственной физиономии, и он с досадой отвернулся от зеркала.

– Что же ты замолчал, сын Кара-Мырзы? – послышался ему насмешливый голос соседа.

– Видно, дело у тебя не столь простое, как ты сказал. Не сиди так, плотно сомкнув уста, будто боишься, что в рот влетит муха. Редкая муха рискнет влететь в рот с новыми стальными зубами. Таким замечательным вставным зубам шашлык нипочем, а уж о мухе и говорить нечего...»

Смешно?.. Да, конечно. Но помимо юмора, смеха здесь, несомненно, присутствует искренняя теплота авторского чувства, его любовь и близость к своим героям. Оттого внутренний строй повести об ауле Кумыш подлинно, неподдельно лиричен, почти нежен... Так говорят о дорогом и любимом, о том, что светло и прочно помнит сердце.

Впрочем, сердце помнит не только хорошее. То, что врезается в него глубокой и болевой зарубкой, оно тоже способно хранить долгие, долгие годы.

Про то – повесть «Элия». Повесть драматичная и – очень мощная, мастерски написанная. Вся она словно повернута острием внутрь, потому что круг внешних ее событий беден, почти скуп.





Отец героя повести, карачаевского мальчишки, растит породистую, очень резвую кобылицу: «Элия» по-карачаевски значит «молния». Но председатель колхоза велит избавиться от нее – в те поры коней почему-то запрещали держать. Для отца, любящего лошадей больше жизни, этот приказ – острый нож, но он все же выполняет его...

Вот, собственно, и все, и весь смысл, вся боль повести – внутри фабулы, «за кадром» ее.

Прежде всего – мальчишка очень любит своего отца... Для него сокрыты в нем смысл и гармония всей жизни, порядок и неизбежность мира, ибо он мерит их по отцу, по его несгибаемости, твердости и надежности.

«Я думал, он, как кусочек горы – скала крепкая, неизменная, которую ни дождь, ни солнце – ничто не может поколебать, преобразить, сплющить, только разбить ее можно, расколоть, разрушить, если найдется такая большая сила...

Сам отец был естественным на земле, как сильное, зеленое дерево, и я, его сын, был естествен, как ветка на этом дереве. Мир был прост... Я любил отца, мне было хорошо...»

Видите, какая глубокая, жизненно важная связь: «я любил отца – мир был прост...» И вот по ней, по связи этой, идет раскол и трещина; связь рвется, и, стало быть, рушатся мир и жизнь. Они ведь не то чтобы неполны для героя без любимого им отца; они без него – непредставимы. И все это падает на детскую, ранимую душу, воспринимающую все очень непосредственно и горячо, поскольку она еще не огрубела в житейских бурях, не нарастила панциря и не обзавелась защитным цинизмом.

Таков внутренний расклад этой душевной драмы, и Мусса Батчаев вводит нас в нее рукой жесткой, решительной, не пытающейся что-либо сгладить... Напротив... Само начало повести «Элия» таково, что хоть сколько-нибудь искусственному читателю ясно – речь далее пойдет о трудном.

«В нашем доме поют...

На нашем дворе, на белом снегу – красный круг...

Я сижу спиной к дому в нашем сарае. На стене против меня в одной связке восемь подков.

Самое ненужное, самое лишнее сейчас на свете – эти восемь подков, думаю я. И еще думаю об отце, который поет с гостями...»

Это начало – из конца повести, когда отец, подчиняясь обстоятельствам, уже зарезал Элию. Потому на белом снежном дворе – красный круг.

Он страшен, этот круг, и мальчик видит его во второй раз. В первый – когда мать Элии зарезал волк.

«И смерть, и столько крови я видел впервые. Кровь словно выжгла снег – на нем горел алый круг. Мне подумалось, ручьем уйдя в снег, течет кровь, течет невидимая, красная, теплая, течет по ложине вниз...»





Невидимый алый теплый поток... Запомним этот страшный и сильный образ – он нам еще встретится. Он будет в конце повести, а пока она, естественно развиваясь, достигает светлого и праздничного момента.

Элию объезжают, отец вручает сыну повод.

«...И, стоя возле Элии на плоском камне, с которого можно было легко вспрыгнуть на нее, я подумал, что и отцу моему в мальчишестве не раз послужил этот камень, и от этой мысли почему-то я впервые особенно остро почувствовал свое родство с отцом, как никогда остро почувствовал желание быть похожим на него во всем, а сейчас это значило – надо победить, обязательно победить, как побеждал отец...»

Эта мысль-толчок, мысль-импульс, разом промахивающая большую временную дистанцию и связывающая меж собой прошлое с настоящим, выражена здесь, думаю, прекрасно, очень естественно... Она – не умозрительна, а почти физически ощутима, потому что каждый из нас испытывал на своем веку нечто подобное.

Страстная любовь к отцу, стремление походить на него получили еще одно подтверждение, но все кончилось, рухнуло в один «миг, когда там, на заснеженном зимнем дворе...»

«...Никто не поймет, как мне плохо и почему плохо. И отец не поймет. Он тоже предал. Предал Элию. И я, его сын, боюсь тоже кого-нибудь когда-нибудь предать, хотя сейчас не чувствую себя родной ему веткой. И отца не чувствую ни зеленым сильным деревом, ни куском могучей горы. Он был как скала, но он раскололся, разбился на куски. Я кажусь себе одним из этих кусков. И боюсь, что меня когда-нибудь разобьют на еще более мелкие куски, будут разбивать потом все мельче, пока не стану пылью, песком.

Отец сказал: когда вырасту, все пойму, все прощу.

Думаю: нужно ли понимать все, если потом прощаешь все?

Сейчас я не пойму, почему не мог остаться снег на нашем дворе белым? И мне плохо, мне кажется, и за этим алым кругом течет, уйдя под снег, кровь Элии. Течет, дымясь, горячая красная кровь по всему двору, по всем улицам, под всеми белыми сугробами, которые без усталости намывает январский ветер. Непонятно только, почему не растает подогретый снизу холодный снег?..»

По-моему, это очень сильно написано... Просто, страшно и – мудро. «Нужно ли понимать все, если потом прощаешь все?»

Мальчишеские годы, красный круг на снегу, такие вот мысли... Потрясение.

Повесть переламывается на этом эпизоде, приобретает драматическую остроту и законченность. Она, наверное, и впрямь могла бы кончаться так, производя немалое художественное впечатление, но Мусса Батчаев уходит от этого эффектного финала.

Он длит повесть далее – «Я вырос» – и смотрит на алый круг, пробитый горячей кровью Элии, глазами взрослого человека.





«Я вырос, и теперь никого не могу винить за тот невеселый день... Вы жили не в моем, а в своем взрослом мире. И если бы мне тогда было не двенадцать лет, может быть, и я пел бы с вами.

Да, отец, ты оказался прав. Я вырос. Все понял. Все простил.

Но только почему и теперь, через столько лет, не может оставаться для меня светлым и тихим тот мой час, тот мой миг, когда оживает вдруг память, и я вижу, как, не чуя под собой земли, мчится по заснеженным улицам тонконогая белая лошадь?

И почему она направляет свой стремительный бег не ко мне, а уносится прочь от меня, все дальше и дальше, пока не исчезнет, и я ей могу сказать только «прощай», как говорят детству или первой любви?!»

...Человеческая душа прожила, прошла свой круг, в котором были и безоглядная любовь, и вера, и яростное свержение вчера нежно любимого, и зрелое понимание неизбежности утрат и разочарований, и тихая, не уходящая печаль по всему этому...

Не про всех ли нас «Элия», и только ли про лошадь да про мальчика писана она? Так ли?..

Печальный свет, словно от тихого, в себе умирающего заката, исходит от этой повести, и он достигает, уверен, каждого человеческого сердца, если только не разучилось оно откликаться на чужое живое чувство...

Не в этом ли задача и смысл литературы, слова и голоса ее, обращенного к человеку, который может быть и низок, и прекрасен, и недалек, и мудр, а дело писателя – видеть все так, как оно есть, но желать лучшего, упрямо поднимаясь к Вершине...

Игорь Штокман,
литературовед.

*Предисловие к книге Муссы Батчаева «Быть человеком»,
Москва, 1987 г.*





Мусса из рода Батчаевых

(К 50-летию со дня рождения)

В последнее время я особенно часто вспоминаю его. Пытаюсь представить, что смог бы он написать, какие замечательные книги мог бы подарить читателям, если бы дожил до нынешних дней.

Мальчишкой он пережил вместе со своим народом трагедию изгнания карачаевцев с родной земли, а юношей разделил с ним счастье возвращения из ссылки после смерти Сталина. Верю, что Мусса Батчаев смог бы написать об этом мужественно, честно и высокохудожественно. Получилась бы горькая и глубокая книга. Знаю, Мусса принимался за эту тему, но какова судьба рукописи, мне не известно.

Да, о многом прежде запретном мог бы написать сегодня этот талантливый писатель, чья активная творческая жизнь совпала с брежневским безвременьем. Гремели пропагандистские фанфары о ежегодном дальнейшем расцвете социалистической демократии, а тем временем мастера соответствующей квалификации зажимали рты писателям, просто честным людям.

Тяжелое время для работы в литературе. Увы, писатель не может выбирать по вкусу эпоху, в которой ему хотелось бы жить и работать. Но может выбрать свою позицию в том времени, которое досталось ему на долю. Можно пойти в лакеи – славить своим пером то, что прикажут, и обличать то, что прикажут; сегодня одно – завтра нечто противоположное.

Мусса Батчаев предпочел иное, он старался говорить правду читателю в самые глухие и темные времена.

Мне кажется, этот писатель словно перепрыгнул период ученичества, когда из текста торчат локти неуклюжих фраз, а банальные сентенции, плоские характеры и трафаретные повороты сюжета вгоняют читателя в глухую тоску.

Уже первая маленькая книжка Муссы Батчаева «Быть человеком», вышедшая в 1968 году, сразу привлекла внимание критики. Положительные отзывы о ней появились не только в местной печати, но и в столичных газетах и журналах. Крайком комсомола отметил сборник премией имени Александра Скокова.



Вот что писал Валерий Гейдеко, в то время молодой литератор, позднее ставший известным московским критиком, в своей первой книге «Проба характера»: «Все характерное, что есть в обычаях и нравах Карачаево-Черкесии, находит в лице М. Батчаева своего поэта и летописца. Книга М. Батчаева «Быть человеком» передает национальную самобытность области. Передает не только описанием удивительной ее природы, ее традиций. Передает уже художественным строем самой книги, ее языком, ее образностью».

Сказано совершенно справедливо. С любовью и вдохновением пишет Мусса Батчаев о родных горах и живущих там людях, стариках и юношах, зрелых мужчинах и женщинах, о мальчишках. Сейчас все они, живущие на страницах, написанных в разные годы рассказов и повестей, собрались под крышей одной книжной обложки сборника, вышедшего в издательстве «Современник» уже после смерти автора, в 1987 году. Эта книга, как и первая, называется «Быть человеком».

Если учесть, что, кроме отличной прозы на русском языке, Мусса Батчаев создал немало превосходных стихов и несколько пьес на родном карачаевском, то окажется: не так уж мало успел он сделать за короткое время работы в литературе, отмеренное ему судьбой.

А началась та работа неожиданно и даже вроде бы случайно. Мусса как-то рассказывал мне об этом с юмором.

Был он студентом пединститута в городе Карачаевске, жил в общежитии. И надо же такому случиться, что два соседа по комнате оказались молодыми поэтами. А молодой поэт, если приблизиться к нему на достаточно близкое расстояние, может быть источником разного рода неудобств. Написанные десять минут назад стихи кажутся ему прорывом в дотоле неведомые человечеству поэтические просторы – значит, человечество должно узнать об этом прорыве немедленно. Если же привлечь внимание человечества бывает довольно затруднительно, то сойдет и сосед по комнате. Ну а если в одной комнате сразу два молодых поэта...

Для соседей Муссы одним из главных удовольствий в жизни было чтение собственных стихов вслух и немедленное их обсуждение. Время суток, естественно, значения не имело.

Мусса же до определенного момента был нормальным студентом, жившим по старому мудрому принципу: лучше переест, чем недоспать. Под звон рифм и возгласы «Гениально!» он ворочался на жесткой кровати и проклинал «этих типов», устраивавших поэтические семинары в два часа ночи.

В комнате ничего не менялось, и однажды он подумал, что тоже мог бы писать стихи не хуже. Да, выход был один: стать здесь третьим поэтом. Хоть не обидно будет, когда опять сон перебьют.

И он написал первое стихотворение, с которого все и началось.

Ну а дальше Мусса рассказывал уже серьезно. О том, что даже после первых публикаций долго не верил в свое призвание, о том, что большую роль в



его творческой судьбе сыграли преподававшая в институте литературу Людмила Петровна Егорова и известная карачаевская писательница Халимат Башчиевна Байрамукова.

Он окончил институт и стал работать в школе своего родного аула Кумыш. Однако литературное творчество вошло в его жизнь навсегда, и спустя несколько лет Мусса Батчаев стал профессиональным писателем.

Профессионализм в литературе понимается по-разному. Существует такое мнение, что истинный профессионал может написать о чем угодно. Смотался на недельку в какой-нибудь колхоз, а через полгода извольте получить роман о сельских жителях.

Муссе Батчаеву не было надобности в подобных командировках. Он жил в родном ауле среди людей, которых знал много лет, знал так, как не узнаешь человека за время командировки любой длительности. Эти люди и переходили из жизни на страницы литературных произведений. У Батчаева есть даже повесть «Аул Кумыш» (раньше она называлась «Мои земляки»).

Да, Валерий Гейдеко подметил правильно. Мусса Батчаев был и летописцем, и поэтом своего народа. Но он не относился к числу тех ультрапатриотов, которые сейчас визгливо тянут на одной ноте: «Мой народ – самый лучший в мире» и которые еще сравнительно недавно столь же однообразно глаголали: «Все народы братья!» Они так заморозили окружающих этими фразами, что сегодня многих людей оторопь берет при известиях о межнациональных стычках. Как, дескать, были братья, а теперь друг на друга с кинжалами? И начинают винить демократизацию.

Слыша такие разговоры, я вспоминаю повесть Муссы Батчаева «Когда осуждают предки», написанную двадцать с лишним лет назад. В ней люди не режут друг друга ножами, не жгут дома и не грабят. Мирная жизнь лениво течет вокруг главного героя Баграда. Но от этого его столкновение с национальной и религиозной нетерпимостью не становится менее острым. А в чем-то оно приобретает особенно драматическую окраску. Ведь сталкивается Баград не с кем-то, а с любимой бабушкой, которую привык почитать с раннего детства. Банальная история. Баград полюбил русскую девушку, а бабушка заявила, что не потерпит в доме невестку другой веры. Баград не сдастся, но ему очень трудно.

Пока звенели бокалы под замысловатые тосты о «нерушимой братской дружбе» на разного рода банкетах, Мусса Батчаев своей вроде бы незамысловатой историей предупреждал: искры нетерпимости не угасли, они тлеют, они могут вспыхнуть и более опасным пламенем.

О многом предупреждали честные писатели. Только за громом победной меди не слышен часто был их голос.

Целых две крупнейшие современные проблемы вобрала в себя небольшая повесть Муссы Батчаева «Элия», напечатанная в четвертом номере журнала «Юность» в 1976 году.

...Много лет, усевшись рядом с крестьянином, задушевно убеждали его разного рода начальники и пропагандисты: «Ну, будь хозяином! Попробуй хотя





бы». А он не становился им и все тут. И уже готовы легенды об этих ленивых крестьянах, которых ничем не проймешь. Только в последнее время было честно и прямо сказано: отученный от земли человек не может чувствовать себя хозяином, а из крестьянина хозяйское чувство вытравлялось десятилетиями.

О том, как это делалось, как раз и рассказывается в повести «Элия». Здесь небольшой житейский эпизод становится источником размышлений о времени и о судьбе народов. Отец мальчика-рассказчика очень любил лошадей. Волей случая в доме появился жеребенок. С великой любовью выращивал отец его. И вот уже живет во дворе всеобщая любимица Элия («молния» в переводе с карачаевского). Тут-то и подстерегает семью беда. Нет у нас ничего более прочного, чем нелепые старые запреты. Некогда в годы насильственной коллективизации было учреждено, что человек не может держать во дворе лошадь, ибо она источник вероятной наживы. Давно уже люди машинами стали обзаводиться, где под капотом не одна лошадь запрятана, давно уж настоящие лошади из источника дохода превратились в источник постоянных расходов, а запрет живет.

И вот на отца героя начинают оказывать давление: сдай свою Элию. Но ни «душевные» советы, ни угрозы не могут поколебать мужественного и верного человека. Элию удастся погубить лишь с помощью древнего обычая, которому отец противостоять не смог. Вот как люди переставали быть хозяевами в своем доме, в своем ауле, в своей стране. И хотя карачаевский колорит чувствуется и в характерах героев, и во всей обстановке повести, однако подобную историю могли бы рассказать в России, в Украине и в Белоруссии – в любой точке нашей шестой части суши. История эта интернациональна. Как интернационален еще один момент повести. Ложь и насилие, приведшие к гибели Элии, внимательно наблюдает мальчик. И делает свои – резкие, бескомпромиссные – выводы.

Мусса Батчаев писал об этом почти пятнадцать лет назад. Литературная судьба его внешне выглядит благополучной. Но таковой на самом деле она не была. Однако писатель всегда оставался самим собой. Его произведения зеркально отразили личность своего создателя. Автор предисловия к посмертной книге М. Батчаева «Быть человеком» Игорь Штокман написал: «...Я, например, вижу и хорошо чувствую его, хоть к сожалению, знаком с ним не был, не довелось... Я вижу открытого, сильного, веселого человека, с которым легко, просто и – надежно».

Я был знаком с Муссой Батчаевым, дружил с ним, любил его творчество и его самого. И я полностью подписываюсь под сказанным.

В. Белоусов,
литературный критик.





О творчестве Муссы Батчаева

Сам уход его – от заземлившейся молнии высоковольтной линии в шесть тысяч вольт – был кричаще несправедлив, и долго еще казалось, что он в очередной раз мистифицирует, он, так часто игравший в своих рассказах и повестях со смертью.

Самый факт этой нелепой и ранней смерти как будто бы подтверждал правоту своеобразного нравственного ригоризма М. Батчаева – не участвовать, не «включаться», не порицать словами, не подсказывать, не подвергать нравственному суду своих земляков, но быть всегда открытым и беззащитным для их суда. И в частных отношениях, и в сфере общественной этот принцип действовал почти безотказно. И в этом высшая нравственность художника, близкая к аскезе, и высшая свобода от жизни для творчества. Боязнь просто жить, просто любить. Многие не любили его, считали мудреным, но он был и сам неуязвим для нравственного суда многих...

Именно нравственная зрелость побуждала его звонить в колокол о эле непонимания: «И хочется крикнуть на весь мир, хотя бы на весь СССР (скажем, ворвавшись на центральную радиостанцию, чтобы гремели все репродукторы): «Дорогие мужчины и женщины! Пишите друг другу! Оставьте все дела, оставьте обиды! Найдите время, чтобы заполнить страничку! Будьте добры, внимательны к людям, которые вас любят, которые умереть за вас готовы. Очень может быть, что все наши принципы, руководствуясь которыми вы наказываете друг друга молчанием, яйца выеденного не стоят... Война, болезнь, трагический случай могут оборвать вашу жизнь, и вы покажетесь себе мелочными и злыми! И как наказание за свою жестокость вдруг однажды почувствуете в душе не уходящую боль, не заполняемую отныне пустоту»... (Из личного письма). Он не знал тогда, что предсказывает свой собственный трагический уход, но пережил его в творческом допущении, и каким же это стало наказани-



ем оставшимся в живых и большим недочувствием, человеческой незрячестью людям из его близкого окружения!..

Он ненавидел всякую анемичность, музейность в искусстве, предпочитая им «всяческую жизнь», и считал, что теперь, когда он усвоил в возможных пределах категорию «как», то есть хитрости ремесла, на первый план для него выходит категория «что». Ибо «я чувствую, что время шелестит, как песок, сбегая по ресницам»... И теперь надо писать со скоростью руки, имея перед собой лицо, которому ты рассказываешь, а не просто выражаешь себя. Обращенность к конкретному собеседнику, под которым он понимал не обязательно интеллектуала высокой пробы, а уважал «среднечеловеческое» в человеке, не сковывающее доверительность рассказа. В этом и заключается секрет демократичности, «людности» и, как высшее ее выражение, народности его прозы, постоянно отождествляющей себя с каждым среднечеловеком, со своими земляками и, в конечном счете, с родом человеческим.

«Писатель – канарейка в шахте» – это изречение было для него определяющим.

«Национальное», «интернациональное» и «общечеловеческое» – эта понятийная триада рассматривается у него не в отвлеченных дебатах, а на уровне среднечеловеческого общения: на базаре, где представители рода человеческого продают картошку в жесточайших условиях «рыночного закона конкуренции», или в фарсовых ситуациях злключения поборника новых обычаев – сельского учителя Козлова-Текеева в повести «Аул Кумыш», или введением в локально этническую среду «космополитических персонажей» (еврейский мальчик в новелле о расстреле немцами жителей села, цыганка, иностранка в «Горизонте бескрылых» – неоконченном романе писателя, девушка Ирма в повести «Когда осуждают предки». Первый его редактор, работавший с книгой «Быть человеком», сразу сделавшей писателя известным, был удивлен краткостью его слога, не оставляющей места для редактуры. Каждая фраза – будто шарада и связана с предыдущей и последующей накрепко. Можно изучать, как нотную запись, его короткие повести, рассказ «Сколько у козла ног?», новеллы из книги «Быть человеком». Судя по сохранившейся, испещренной его пометками, книжечке с рассказом Маркеса «Самый большой утопленник», его заявления о легкости письма кажутся не относящимися к нему самому.

Мусса Батчаев уплотнил до предела свою прозу, насыщая ее ткань диалогам и идейными оппозициями.

Он родился под созвездием Весов...

Творчество Муссы Батчаева пришлось на время сдвигов в социальном и в этнопсихологическом сознании.

Родоплеменное сознание, не прошедшее этап общей духовной культуры, выработанной человечеством, легко и механически накладывалось на соци-



альные механизмы застойного периода, порождая чудовищные паллиативы замещения сущностей.

Так, роль интеллигенции в культуре народа подменялась волевым некомпетентным администрированием, разумные принципы хозяйствования, основанные на вековом опыте народа и рачительном отношении к природе, – кампаниями, заклеяемыми в литературе под ставшим знаковым в 1960-е годы «Созвездием Козлотура», принадлежащим Фазилю Искандеру. В кумышских «мистериях» Муссы Батчаева «Мои земляки» такие социальные аномалии существуют не в «негативной», как тогда это называлось, подаче, а растворены живой карнавализованной стихией здорового народного бытия. Кампания с изгнанием ишаков, непомерные налоги на масло, передача лошадей в общественное пользование, внедрение нового обряда и кампании по праздничному убранству проезжих улиц с подкрашиванием заборов, как в потемкинских деревнях, – все это существует на фоне естественного бытия Кумыша, который предстает «некой неформальной общиной со своей Конституцией», подвергается ее суду и преодолевается тем же нормальным течением народной жизни. В публицистике последнего времени обозначился «феномен» Павлика Морозова, стали говорить о деструктивном значении всякой гражданской войны для национального и общечеловеческого сознания... Сколько писательской мудрости и исторической «взрослости» (пользуюсь его же термином) понадобилось тогда Муссе Батчаеву, чтоб, не дождавшись официального соизволения, писать о народе правдиво, не сбиваясь на бесовские соблазны ярлыков и радостного приятия или неприятия и без того уже признанного и дозволенного.

Старший его собрат по карачаевской литературе Халимат Байрамукова в некрологе, названном ею «Мелькнувшая молния», писала об этом его отношении к прошлому, далекому и недавнему: «А что касается таких сложных тем, как военная, пережитки прошлого, он шел от личного к общечеловеческому и избегал даже малейшей надуманности. Как жаль, что мы вытаскиваем из-под спуда ярко и законченно сформулированные мысли только тогда, когда надо оградить себя высказыванием из классика. Вот оно, высказывание В.И. Ленина, которое так было необходимо все эти годы и которое работает на наше сегодня – о «приоритетности интересов общественного развития, общечеловеческих ценностей над интересами того или иного класса». И о том, как «вредно смешивать политику (особенно плохую) и культуру».

Обвинения доносителей, выдвигавшиеся после очередной новой публикации или премьеры пьесы Муссы Батчаева, всегда выстраивались в эту самую систему «плохой политики»... Как бы не замечая, что не было в то время в Карачае писателя-современника, более работающего на время и живущего не показными, из последней передовицы, а «длинными» мыслями о прошлом,



настоящем и будущем своего народа, ответственностью за него. Трудно было уложить в мистерию, в смешные истории новый быт Кумыша, а вместе с ним и всего Карачая, и он перешел на прямую публицистику – в своих пьесах, статьях по поводу негативных явлений и «отклоняющегося» поведения он говорил о хулиганстве, корни которого он, как всегда, искал глубоко.

Самым главным идейным врагом его был кулак всех времен и формаций. Для него это было понятие не классовое, а из области антидуховной, разрушающее человека, нацию. Таков власть предрежащий в послевоенном селе кулак из пьесы «Аймуш», почти плакатно обращенный к нашему дню...

Бороться с кулаком во всех его исторически изменяющихся ликах было его миссией.

Таким же деструктивным, разрушающим для национальной культуры, для нашего человеческого «качества» злом он считал «человека без памяти». Этот человек, не выдерживая органики изображаемого им столь пестро и многолюдно общества «земляков», выглядит почти искусственным. Теперь это зло уже названо и талантливо изобличено пером Чингиза Айтматова, став художественным символом «манкурт» из «Буранного полустанка». Но трудно приходилось писателю столь немногочисленного «национального меньшинства» у себя дома, где литература существовала в условиях жестокого социологического подхода со стороны курирующих организаций. Ленинский принцип соотношения свободы и партийности в литературе на местах часто извращался пониманием единства как противопоставления. И чем талантливее был писатель, тем легче было учинить «охоту на ведьм», ища крамолу в любом факте литературной условности.

«Почему положительные герои Даут и Хаджи-Даут в повести «Мой аул» пьют?» – возмутились ревнители.

Другой вопрос: «Почему в полуфольклорной пьесе-легенде «Честь и судьба» герой – не из народа, а князь?»

Мы не приводили бы здесь эти вопросы, если бы они не ставились на заседании, посвященном разбору произведений М. Батчаева, а в присутствии сотрудника обкома КПСС, с записью беседы на магнитофон...

Впрочем, результаты заседания были сведены к нулю, и следующие анонимки так же тщательно разбирались, но уже на заседаниях райкомовских активов... Писательская родословная М. Батчаева многое объясняет в этом несовпадении с господствовавшим тогда духом услужения и идейного прагматизма («чего изволите?»), установившимся в литературной среде.

Его талант раскрыло время 1960-х, время после XX съезда КПСС, обретения им возвращенной родины, возрождения культурного строительства в Карачае во всех областях, включая собирательство и издание фольклора.

«Здесь чужая юность брызжет кровью на мои поляны и луга» – любимые



им есенинские строки связались для него навсегда с «полями» и холмами Карачаевска, города его студенческой юности, когда все казалось возможным, все было по плечу. Общее оздоровление духовной жизни, громкие поэтические «штудии» Евгения Евтушенко, Андрея Вознесенского, проза шестидесятников – все это стало на всю жизнь «символом веры», сформировало характер присутствия в литературе, который уже не менялся применительно к обстоятельствам в «застойные» 1970-е.

Повезло ему и с литературными наставниками. Первое напутствие в мир литературы, данное ему чуткой к молодым и старавшейся быть всегда заодно с талантом Халимат Байрамуковой, семинар С. Антонова, уроки партийности и гражданственности, полученные из курса Куницына, общение с товарищами по Высшим литературным курсам – Ю. Селезевым, В. Ковдой, И. Ракшой, А. Тер-Акопян – все это стало его литературным и гражданским семинаром, а не просто отметкой об образовании.

Еще был семинар драматургов при ГИТИСе в конце семидесятых, где слушателями были энтузиасты нового «поствампилловского» театра.

Надо сказать, что его присутствие в качестве ученическом заслуживает оговорок. Нестандартность личности, нравственная и художественная зрелость принимались сразу, он становился как бы тамадой не только в смысле общения неформального, но и как человек, воплощающий в себе качества мужчины, хорошего человека и человека профессии, несуетного, с безошибочными ориентирами. Он, пожалуй, не только учился, но и воздействовал на другую среду уже своей личностью, приобщая все большее количество знакомцев и болельщиков к своей национальной культуре.

«Мне чертовски понравился Мусса. Я поверил, что он хороший писатель, даже ничего не прочитав...» – так высказался о нем критик Вадим Ковский, увидев его однажды... «Батчаев верил в читателя и любил его так же полно и открыто, как своих земляков. У этой веры и любви никогда не было осторожных оговорок, оглядок через плечо – была простота и надежность сильного чувства, сильного человека» (из предисловия Игоря Штокмана к последней вышедшей в Москве книге «Быть человеком»).

У него не было пиетета перед понятиями «тайна творчества», «призвание». Он пришел в литературу со своим содержанием: «быть человеком», и в этом смысле литература для него была самой активной формой «собеседования», влияния на жизнь. По тому, как он ощущал время, что вся жизнь и творчество были поделены на «этапы», четко им разграниченные, по тому, как вообще относился к писательству, которое не было для него какой-то каторгой, на которую обречен, а было делом. Однажды на упрек, что так не следует поступать писателю (по какому-то житейскому поводу), он ответил, что охотно откажется от писательства, если придется выбирать между ним и здоровьем,





допустим, брата Ахмата, даже мизинцем этого младшего брата. Обыкновенность подхода к своему призванию – еще и оттого, видимо, что он вырос в большой семье, где нужно было поднимать детей и где писательство не было в особой чести, а почиталось наравне с другими занятиями, привилегий за это не полагалось. Удивляет бескорыстие его, отсутствие хлопот о своем житейском обустройстве.

В конце жизни осуществил для себя только маленькую «Аркадию» – дачку, да и то скорее для друзей и нечаянных гостей: с каким-то ненормально плодородным огородом, урожай с которого он с детской гордостью раздаивал... Мечтал посадить большой сад у себя в Кумыше... Собрался строить у дороги то ли дом, то ли писательскую гостиную... Собирался...

Писательство было мечтой, прорывом в «другую жизнь», которого так и не получилось – не позволяли многие заботы, более неотложные.

При жизни он был полупризнанным пророком своей родины, ее глашатая, известным многим собратьям по перу и читателям за пределами своего края, но девушки со швейной фабрики, находившейся неподалеку от его дома, или ближайшие соседи могли не догадываться о том, кто живет с ними рядом. Хотя он очень гордился тем, что какая-то девушка, пожелавшая остаться неизвестной, в каждый день рождения присылала ему букет белых цветов.

И то, как он произносил «Мусса Батчаев» – в одно слово, без дальнейших обязательных представлений, как паспорт, данный ему народом, – тоже говорило об осознании миссии.

Заниматься делом развития национальной культуры было для него насущным и естественным, не требующим специальных виз и признаваемым всеми безоговорочно.

Он не ждал официальных установлений, когда способствовал созданию карачаевской переводческой группы при Литинституте, изданию книг о соратнике В.И. Ленина – Умаре Алиеве в Ставрополе и «Политиздате», появлению альбома о Домбае в издательстве «Планета» в уникальном полиграфическом исполнении, для издания которого собрал сообщество людей, с полной отдачей работающих для этого. Судьба молодежного литобъединения или конкурсов на лучший рассказ, либретто для первого карачаевского балета...

С каким-то острым любопытством относился к театру, старался делать его сам – от совершенно новой драматургии, которая писалась именно для этой публики, и даже для определенных актеров, до присутствия на репетициях. Помню, как настойчиво он искал оптимальную декорацию к неопубликованной пьесе «Особые обстоятельства», которая бы конструктивно и образно выражала идею пьесы и помогала актерам.

Уникальным было и отношение к жизни спектакля уже после премьеры. Он разъезжал с актерами по всему маршруту его «проката», дабы участво-





вать в процессе общения со зрителями. Ему, видимо, была интересна реакция именно этого зала, этого села, и он сам был зачинателем обсуждений и бесед после спектакля.

«Театр Муссы Батчаева» напоминал площадной театр 1930-х годов с его импровизированными громкими рукоплесканиями зрителей, сливающихся в одном чувстве.

Его не пугала эта соборность, иногда смех невпопад, стулья в проходах и атмосфера митинга, ибо он сам, своей фантазией и талантом, своей родной речью, звучащей у него так убедительно и узнаваемо, сотворил этот праздник, где на его глазах «толпа превращалась в нацию».

Читатель и писатель совпадали в эффе́кте присутствия «здесь и теперь», и об этом, наверно, втайне мечтает каждый писатель.

Театр-колокол, театр ярко агитационный, лечащий и просвещающий был его сознательной установкой уже зрелых лет, был альтернативой кабинетному творчеству, в рамках которого ему уже было тесно.

Он подарил своим землякам Лопе де Вега на их родном языке – испанские гранды и кокетки чувствовали себя на карачаевском в «Хитроумной влюбленной» вполне естественно, на деле осуществляя тот перевод или диалог культур, который так необходим всякой развивающейся культуре. Но его театр становился плакатным, словно раздвигал сценическую площадку до пространства всего Карачая, когда нужно было звонить в колокол, говоря народу о нравственном неблагополучии. Словно глашатаи перекликаются со скалы на скалу голоса в пьесе «Аймуш».

«Странные» сюжеты его пьес всегда содержали помимо видимого, событийного, злободневного еще и бытийный, экзистенциальный слой.

«Аймуш» так и осталась бы социальной драмой образца 30-х годов, если бы конфликт в ней был между новым и традиционным. Здесь же – не рецидивы этнически отсталой психологии, а новые трудности чисто социального плана. Это – тема одиночества, опасности, некоммуникабельности в обществе, где на смену родовому единству приходят волчьи законы приобретательства, престижа. Это – пьеса идей, а не событий, как и пьеса «Особые обстоятельства». В последней такой же странный, судя по названию, сконструированный сюжет. Особые обстоятельства – это пропажа опытной партии яков, привезенных в горы из Сибири, поиск их группой из четырех человек. «Быть человеком» – понятие антологическое для прозы Муссы Батчаева, то, ради чего он пришел в литературу! Его не интересует описание само по себе, или «культурные» сюжеты сами по себе, или самовыражение само по себе.

Нравственность, по нему, органически присуща человеку. Ведь нельзя предсказать все ситуации «как поступить», должен быть генетический код, иначе наступает «дурная бесконечность», человек «рассыплется». Недаром он



проверяет нравственность на «слезе ребенка», по Достоевскому, перевесившей мир. Летописцы всех событий, случающихся со взрослыми, у него – дети. Маленький праведник Хохалай с больным сердцем, находящийся на попечении как бы всего села, ведущий «Красную книгу» села Кумыш; мальчик из «Серебряного деда», забросивший рога со счастьем в воду и считающий себя виновником всех бед, приключившихся и с дедом; мальчик, а затем юноша, герой повести «Элия», так рано узнавший неравнозначность утешений и потерь.

У каждого сколько-нибудь серьезного писателя есть проблема, которую он пытается разрешить в своей жизни и творчестве, обозначает, но не до конца разрешает, ибо и сам писатель ведь – только инструмент познания, текущая материя...

Есть она и у Муссы Батчаева, это – раздвоенность меж человеком рода и общечеловеком, «гуманоидом», как назвал своего героя Нодар Думбадзе. Ведь род налагает на человека известные ограничения, он, чтобы выжить, не потеряться, не раствориться в космической пыли со своей выработанной культурой, кодексом нравственности, закрывает свои границы для других общностей. Именно эта рассогласовка родового и личностного составляет пружину действия повести «Когда осуждают предки». Живая кровь проблем, несогласие с самим собой, а не схоластика готовых истин строят прозу Муссы Батчаева, потому так различимо возвышаются они, эти проблемы, в его прозе, похожей на горную местность, а не на унылую равнину. Вот некоторые из них: слово и молчание, соблазн познания и верность колее предков, жизнь и смерть как бытийственные превращения, жестокость и доброта в их нерушимой диалектической связи, вертикаль и горизонталь духа, которые тоже не могут одна без другой.

Это уже – состав философский, а не просто проблемный, позволяющий его прозе остаться в будущем.

Он вернулся в Черное ущелье по Колее предков.

И если его Элия убегает от предков героя и от нас в необозримость, то он, уйдя, вернулся к нам... Его творчество обратилось к землякам, ушло в Карачай.

Процессия, провожавшая его в последний путь, шла по обжитому пространству: вот Кубань с плотиной, швейная фабрика, где прошла жизнь Аймуш, вот школа, где Мусса учительствовал и где уборщицей работала тетя Поля. Вот тропа, ведущая на кладбище, в Черное Ущелье, где произошел знаменитый поединок Шамды с Даутом и еще всякие забавные истории...

Все уже готово было принять его: и нежаркий летний день, и безветрие, и особая тишина, разлитая кругом, отделившая весь мир от места этого народного прощания и давшая почувствовать запах горя, настоящий на травах ущелья.

«Это она, трава Карачай, чей запах мучил нас столько лет, она, чей высох-



ший стебель хранит в себе до сих пор рукоять отцовского меча, она, чьи соки текут в нашей крови!» – эти строки из переложенной им легенды – о нем самом и его творчестве... И только потом небо разразилось на неделю непрекращающимся дождем, словно омывающим народную потерю. На его могиле, как ни странно, говорились обычные речи, и он слушал их на этот раз без всегдашней улыбки», говорили и те, кто при жизни не очень его жаловал.

Мусса Батчаев, так уверенно приравнявший Бытие Кумыша к Бытию Мира, воплотил счастливое состояние духа карачаевского народа, его «золотой век» в своем творческом имени, с которым, я уверена, будет отождествлять себя отныне скупой на похвалы и одобрение несуетный наш народ.

Ф. Урусбиева,
доктор культурологии.
«Эльбрусид», 2005, № 1.





Живая сила творчества

Размышления о книге «Быть человеком» и ее авторе

Пожалуй, никто из карачаевских литераторов не поднимался так высоко в своем художественном развитии и писательских возможностях, как Мусса Батчаев. Справедливо, что предисловие к его книге «Быть человеком», изданной в конце 1987 года издательством «Современник», Игорь Штокман начинается с определения ее автора «настоящим писателем». С именем Муссы Батчаева были связаны не только надежды на качественные изменения в карачаевской литературе. Творчеством его, особенно прозой, был совершен поворот, после которого невозможно, не должно писать плохо. И не будет преувеличением сказать, что в этом сборнике собраны не только лучшие рассказы и повести, которые успел создать трагически погибший писатель, но лучшее в карачаевской литературе последнего времени. О том, что отличает прозу М. Батчаева, что делает ее непреходящей ценностью для читателей всех возрастов, начиная с самого юного и кончая, как говорится, познавшими мудрость жизни, не раз писала критика. Мне бы хотелось, по прочтении этого сборника прозы, вернее, по прочтении уже хорошо знакомых рассказов и повестей, сказать о том, что, на мой взгляд, делает их неповторимыми, привлекательными.

В переводе своих произведений на русский язык, а в рассматриваемом сборнике большинство переводов самого автора, писателю удалось сохранить многозначность и живописность слов, образный строй, интонацию, особенности поэтической формы оригиналов. В этих переводах отчетливо видны языковая культура карачаевского литератора, масштабы его мировоззрений, уровень его дарования. Множество использованных при этом писателем выразительных средств, сочных метафор, оригинальных сравнений, интересных эпитетов, рифм не только украсили его книги, но и показали богатство и красоту карачаевского литературного языка, неисчерпаемые возможности его развития.

М. Батчаев не прибегает в своих повествованиях ни к каким экзотическим эффектам, сугубо «горским одеждам» и ухищрениям, чтобы с первых же фраз





придать своему повествованию какой-то заданный тон. Кем бы ни был его герой по национальности, он человек с чувствами, присущими всему роду человеческого. Его произведения нелегко читаются: они требуют душевных затрат, беспокойства, сострадания, доброты читающего, его участия в происходящих, нередко драматических событиях. Пересказывать содержание произведений М. Батчаева – дело неблагодарное. Общение с ними должно быть личным, но все же на некоторых из них хотелось бы остановиться подробнее.

Ядро книги «Быть человеком» составляют повести «Элия», «Аул Кумыш», рассказы «Серебряный дед» и другие.

Название «Элия» несет двоякий смысл. Это слово в переводе с карачаевского означает «молния». В повести же так называется лошадь, вокруг которой разворачиваются основные события. Породистая красавица-лошадь, беспредельно любимая ее хозяином, становится отрадой как детского, так и взрослого населения аула. Гордый от сознания, что лично укротил крутой нрав Элии, подчинил ее своей воле, разъезжает на ней двенадцатилетний мальчик, от имени которого ведется все повествование. Он с отцом когда-то спас Элию от матерого волка, а затем они вместе с трудом ее вывели. И вот теперь, когда молодой лошадию восхищается и стар, и млад, руководство села и района требует отказаться от нее: в личном подсобном хозяйстве колхозникам не разрешено держать тягловый скот.

В повести «Элия» нет ни одного героя, которому удалось бы сохранить душу незапятнанной. Тот двенадцатилетний мальчик, которому после убийства Элии отец сказал: «Когда вырастешь, все поймешь, все простишь», вырос и действительно все понял, все простил отцу. То, на что маленький мальчик смотрел как на преступление, ему, уже взрослому, представляется в порядке вещей. Его теперешние муки – не ностальгия по детству. Он принимает взрослую жизнь, соглашаясь с ее правом на свои особые законы. Хотя он сейчас и считает, что отец был прав, но все же с неизбывной горечью оглядывается на свое прошлое: «Но только почему и теперь, через столько лет, не может оставаться для меня светлым и тихим тот мой час, тот мой миг, когда оживает вдруг память, и я вижу, как, не чуя под собой земли, мчится по заснеженным улицам тонконогая белая лошадь?! И почему она направляет свой стремительный бег не ко мне, а уносится прочь от меня, все дальше и дальше, пока не исчезнет, и я ей могу сказать только «прощай», как говорят детству или первой любви?!»

Я думаю о том, почему знакомство с этой повестью не ложится камнем на сердце? Не потому ли, что и мы, читатели, и все люди на земле привыкли к неизбежным нравственным потерям на крутых дорогах жизни, приноровились отказываться при необходимости от прежних детских своих представлений о хорошем и плохом, отказались от прежнего своего максимализма и непосредственности, ибо, как говорит автор повести «Элия», вступили совсем в другую жизнь, где иные представления о дозволенном и недопустимом, иные измерения добра и зла. В сущности, об этом повесть «Элия».



Проблема создания положительного образа современника, героя нашего времени до сих пор остается острой в карачаевской литературе. Она, конечно, стоит и перед писателями других народов нашей страны. Эта проблема актуальна для всей советской литературы. Жизнь не стоит на месте, она требует новых произведений, новых подходов, нового осмысления. В произведениях М. Батчаева очень много хороших людей, в них сказано столько хорошего о людях, ощущается столько веры в их душевную чистоту, доброту, разум, что и читателя они призывают к самосовершенствованию, высокой нравственности.

В повести «Аул Кумыш» поставленная писателем цель широкого отображения народной жизни привела к своеобразному композиционному решению, иным методам художественной работы. Она состоит из отдельных новелл, но создается впечатление целостного произведения благодаря единой интонации, создающей твердую сюжетную линию. Вряд ли еще в каком-либо своем произведении использовал Мусса Батчаев в таком множестве притчи из народной жизни, пословицы и прибаутки, которые так органично слились в ткань созданного писателем полотна.

В книгу вошли и лучшие рассказы писателя. Это «Серебряный дед», «Когда осуждают предки», «По закону жизни», вызвавшие в свое время немало пересудов, так как они нарушили своим появлением определенные запреты, не вписывались в апробированные в тот период формы. Писателя одно время и «били» за это, обвиняя в искажениях советской действительности. Так было в конце 1960-х годов, когда появились первые книги Муссы Батчаева на родном и русском языках. Так «били» и в 1970-х годах, когда он бы уже членом Союза писателей, с интересом воспринятым всесоюзным читателем.

Особое место в книге «Быть человеком» занимают небольшие, но тем не менее яркие, запоминающиеся новеллы: «Ласточка», «Память», «Самое главное». Они написаны лаконичным выразительным слогом.

Известно, в литературе и искусстве истинные художественные приобретения не скудеют с течением лет, но, все больше раскрываясь, переосмысливаясь, обретают новую жизнь.

Сердце Муссы Батчаева перестало биться в расцвете его таланта. Но многие поколения читателей еще откроют его произведения для себя, ощутят их пульс, станут свидетелями художественных удач и исканий писателя. Останется уроком непосредственность писателя, доверяющего своему читателю правду жизни. Ту правду, которая каждому его земляку-кумышанцу так дорога. Правду, утверждавшую те нравственные ценности, которые в течение веков взлелеял, сохранил, приумножил народ. Правду, зовущую вперед, заставляющую быть чище, добрее, человечнее. Именно ею пронизаны страницы книги «Быть человеком».

К.-М. Тоторкулов,
литературовед.

«Ленинское знамя», 8 сентября 1988 г.



Мы в долгу перед ним

Кайсын Кулиев как-то заметил, что талант – достояние не только того, кому он дан, но одновременно он является национальным богатством. Одним из самых талантливых писателей Карачая был Мусса Батчаев. Его художественное слово, проникнутое мощью и целомудрием народной души, так сильно и честно выразило наше время с его небывалыми потрясениями и невзгодами, что принесло ему не дешевую популярность, а глубокое всеобщее признание. Писатель сказал свое слово во многих областях литературного творчества – поэзии, прозе, драматургии. И везде ощутима печать неповторимости его дарования, свет его щедрого сердца. И, как подобает подлинно талантливому писателю, он был правдив и совестлив. Как справедливо заметил Игорь Штокман, автор вступительной статьи к книге Муссы Батчаева «Быть человеком», вышедшей в 1978 году в издательстве «Современник», у писателя «никогда не было осторожных оговорок, оглядок через плечо, были простота и надежность сильного чувства, сильного человека».

В творчестве Муссы Батчаева была тема, к которой он возвращался вновь и вновь – тема Великой Отечественной войны. И это понятно. Он принадлежал к тем, чье детство было опалено войной. «Легкой судьбы ни у меня, ни у моих сверстников не получилось, – писал Мусса Батчаев. – Мы были малы для войны. Воевать ушли наши отцы... Мы были малы, но мы выросли... Израненные, изувеченные войной бывшие солдаты встречались нам всюду – во всех аулах, во всех городах. Они жили рядом, не давая нам все эти годы забыть о войне.

Не дают мне забыть о войне и сверстники. Их лица, мне кажется, отмечены особой печатью. У моего поколения не было детства. Война не дала нам как следует вырасти. Мы на целую голову ниже тех, кто родился после Победы. Мы раньше седели. Беда войны не кончается вместе с войной. Всякая война рано или поздно кончается, но беда ее остается на долгие годы...»



Батчаев-писатель обладал необыкновенной душевной чуткостью, добротой. Он был убежден, что «люди в основе, массе своей – хороши, а не дурны, и время обязательно докажет это» (И. Штокман). В одном из своих ранних стихотворений Мусса Батчаев писал, что в день своей смерти он хотел бы забрать все человеческие невзгоды, болезни, всю печаль земли... Но судьба была к писателю жестока и несправедлива. Смерть пришла к нему внезапно, не дав ему возможности «подвести черту стариковской палочкой», «на самом доньшке посидеть на солнышке» (А. Твардовский).

Он умер мгновенно от удара электрического тока высоковольтной линии во дворе дома, который начал строить... Родственники тут же закопали его в землю, вызвали «Скорую помощь», но тщетны были их попытки воскресить его... Я была на похоронах. Они были очень многоядными. Боже мой! Как горячи, как искренни, как трогательны были речи над его могилой в родном ауле Кумыш! Я подумала тогда: «Как жаль, что хотя бы сотая часть этих добрых слов не была высказана при жизни писателя!» Правда, Мусса Батчаев – этот общительный, щедрый и остроумный человек – не был обделен друзьями, их вниманием, заботой, добрым отношением. Но мы, те, кто близко и рядом с ним работал, знали, сколько энергии и душевных сил забирали у него упреки в «идейной ущербности», всякие разбирательства на высочайших уровнях, огульная «критика», врезавшаяся в его сердце глубокой болевой зарубкой.

И не в эти ли минуты душевной невзгоды после очередного «разбирательства» написаны им эти горькие строки из повести «Элия», поведавшей «просто, страшно и – мудро» (И. Штокман) о трагической судьбе белой тонконогой лошади Элия: «...Никто не поймет, как мне плохо и почему плохо. И отец не поймет. Он тоже предал. Предал Элию. И я, его сын, боюсь тоже кого-нибудь когда-нибудь предать, хотя сейчас не чувствую себя родной ему веткой. И отца не чувствую ни зеленым деревом, ни куском могучей горы. Он был как скала, но он раскололся, разбился на куски. Я кажусь себе одним из этих кусков. И боюсь, что меня когда-нибудь разобьют, пока не стану пылью, песком... »

Говорят, что человек живет до тех пор, пока о нем помнят люди. Мы помним о Муссе Батчаеве и до сих пор не можем примириться с его смертью – такой безвременной, такой горестной, такой невозполнимой. Вернуть его не можем, но мы должны сделать все, что в наших силах, для увековечения его памяти. Мы в долгу перед ним. Сейчас живы люди, которые хорошо знали Муссу Батчаева, учились, работали, тесно общались с ним, дружили. Вот почему, не откладывая в долгий ящик, надо подготовить и издать книгу воспоминаний о писателе. Желательно включить в нее как можно больше сохранившихся у родственников и друзей фотографий.

В 1999 году мы будем отмечать 60-летие со дня рождения писателя. Время еще есть, чтобы подготовить и издать полное собрание его сочинений со вступительной статей и комментариями.



И еще. Мусса Батчаев был активным собирателем карачаево-балкарского фольклора. Еще будучи студентом пединститута, он неоднократно принимал участие в фольклорных экспедициях Карачаево-Черкесского научно-исследовательского института истории, филологии и экономики. Им были собраны многочисленные сказки, легенды, нартские сказания («Алауган», «Сын Алаугана» и др.).

Его всегда интересовало творчество народных певцов (джырчы). Неизменно вызывали его восхищение песни Капруч улу (Муссы Байчорова). Чтобы написать о нем очерк, писатель несколько раз выезжал в аул Верхняя Теберда, жил в доме певца, ходил вместе с ним на свадьбы. К сожалению, очерк Муссы Батчаева о Капруч улу увидел свет лишь на страницах газеты «Ленинское знамя», ни в одну из его изданных при жизни и после смерти книг он не вошел.

Часть собранного фольклорного материала Мусса Батчаев успел опубликовать. Так, в 1969 году в соавторстве с Е. Стефанеевой он издал сборник легенд на русском языке под названием «Горы и нарты». Но большая часть собранного Муссой Батчаевым фольклорного материала не издана. Думается, что нартские сказания, сказки, легенды, записанные писателем, надо также собрать и издать отдельной книгой. Напрашивается и переиздание сборника легенд «Горы и нарты», ставшего библиографической редкостью...

Р. А.-К. Ортабаева,
фольклорист.

«Вестник Кавказа», 1992 г. № 5(20)





Писатель о писателе

К 70-летию классика карачаевской литературы М. Батчаева

Я не был, к сожалению, знаком с Муссой Батчаевым. И никогда даже не видел его. Мы разминулись, как говорится, возрастом, временем и эпохой. Но все опубликованное им на русском языке не может не вызывать восхищения и уважения к писателю, которому в 2009 году исполнилось бы всего 70 лет. И можно только представить, сколько он написал бы еще высокохудожественных произведений, обогатив родную и российскую литературу в целом новыми образами и темами, если бы не роковой случай, оборвавший его яркую жизнь. Судьба оказалась к талантливому писателю, автору знаменитых повестей «Элия» и «Серебряный дед», безжалостна. Тем не менее написанное Муссой Батчаевым еще при жизни выдвинуло его в ряд незаурядных мастеров слова не только родной Карачаево-Черкесии, но и России.

Незадолго до смерти выдающаяся российская поэтесса, классик карачаевской литературы Халимат Байрамукова, с которой мне посчастливилось быть знакомым и общаться на протяжении нескольких лет, предложили записать на магнитофонную пленку свои воспоминания о Муссе Батчаеве, которого она по праву считала одним из по-настоящему талантливейших писателей Карачаево-Черкесии и Северного Кавказа XX века. Увы, наша встреча с Халимат Башчиевной оказалась тогда последней. Текст воспоминаний поэтессы, по её просьбе, был передан в центральную газету Карачаево-Черкесии, издающуюся на русском языке, «День республики», и опубликован в сентябре 1996 года. С того времени прошло много лет, но, полагаю, мысли, изложенные Халимат Байрамуковой, её оценка творчества Муссы Батчаева не потеряли своей актуальности и значимости. Кроме того, предлагаемая статья Халимат Байрамуковой «Жизнь в кадре и за кадром» проливает свет на многие, далеко не всегда известные широкой аудитории страницы жизни и творчества Муссы Батчаева.





ва. Особенно в период его становления как писателя-философа, успевшего за очень короткий жизненный и творческий срок, отпущенный ему Всевышним, оставить в родной карачаевской, впрочем, как и во всей литературе Карачаево-Черкесии и России, свой весьма заметный след.

Михаил Накохов, журналист.

Жизнь в кадре и за кадром

О Муссе Батчаеве я писала немало, говорила в устных своих выступлениях не раз, ибо облик настоящего писателя в моем понимании олицетворяется с его обликом. Вскоре после его гибели вышла моя статья «Мелькнувшая молния», а затем другая – «Вспоминая Муссу». В альманахе «Ставрополье» вышла фундаментальная статья о нем, написанная по моей просьбе кандидатом филологических наук Фатимой Урусбиевой. О нем будут писать всегда.

Я не собираюсь здесь анализировать творчество Муссы, это сделают другие. Мое слово о том, что было за кадром, то есть за его книгами, ибо от судьбы самого писателя-человека зависит многое в его творчестве.

Трагедия народа застала его мальчиком, и он испил чашу горя вместе со всеми. В его творчестве нашли отражение переживания этого мальчика, не понимавшего, собственно говоря, для чего люди рождаются на свет, коль им выпали такие тяжелые испытания.

Жизнь Муссы не была легкой и потом, но он со свойственной ему тактичностью переносил все в себе, не жаловался, не копал яму тем, кто это делал для него. Он полностью отдавал себя творчеству, и это было лекарством от всех напастей. Он был доверчив и наивен, как все талантливые люди, и иные пользовались этим, чтобы уколоть, сделать ему больно.

Как он вошел в литературу? Газета «Кызыл Карачай», как только была воссоздана, письма получала чуть ли не мешками, и среди них – большое количество рифмованных слов, называемых стихами. Люди, вернувшись в родные места, свою радость выражали таким образом. И правильно делала газета, печатая их, ведь голод на родное слово был неутолимым.

В то время я уехала учиться в Москву, и мне присылали газету. В очередном номере я прочитала настоящие стихи, а внизу было написано: «Мусса Батчаев». Работая в газете, я не знала такого автора. Стихи взбудоражили меня, я все повторяла про себя:

«Къуш уяча, къая ранда турад Къарачай».

Жизнь за кадром. Она у Муссы была недолгой, но внутренне драматичной. Он все также жил в Кумыше и преподавал там в школе. Часто встречались, чувствовалось, что его распирает желание высказать себя, у него хорошо был развит юмор, с ним можно было легко беседовать на любую тему.

С 1964 года я стала работать в Союзе писателей. Мусса теперь часто заходил к нам, порой приносил стихи или новеллы, совершенно зрелые в творче-



ском отношении, и я с удовольствием читала их, передавая в газету и на радио.

Вообще, Мусса не имел творческой молодости, в семью литераторов он вошел уже зрелым писателем.

Жизнь за кадром. Мусса выдавал прекрасные стихи, новеллы, рассказы. В 1968 году вышли его книги «Быть человеком», написанная на русском языке, новеллы, книга стихов «Раздумья». В обеих книгах философский подход к теме, новеллы и стихи жизненны, афористичны, образны. Вот, например, новелла «Тетя Поля»:

«Когда-то очень давно мы приходили в первый класс.

– Здравствуйтесь, – говорили мы.

– Здравсьте, – улыбалась нам тетя Поля. Она работала уборщицей и каждый день встречала нас в коридоре, прося чистить ноги. И каждый день, когда мы уходили, мыла в классах полы. Три класса по сорок квадратных метров и коридор – первая смена, три класса и коридор – вторая смена.

С деревьев облетали листья – приходила осень, наваливал снег – зима, потом, как водится, наступали весна и лето. И каждый день тетя Поля мыла полы...

И опять проходили годы, время текло рекой. Первоклашки становились десятиклассниками. К тете Поле привыкли, как привыкают к школьной парте или доске...

Видеть часто – значит не видеть. Было так.

Сегодня у меня волосах седина. Я опять прихожу в школу, но уже сам ставлю малышам оценки «хорошо», «плохо».

– Здравсьте, – говорю я басом тете Поле.

– Здравствуйтесь, – улыбается она.

Тетя Поля по-прежнему моет полы. Четыре класса и коридор – первая смена, четыре класса и коридор – вторая смена. Много ли будет квадратных метров, если взять это столько раз, сколько восходило солнце за всю жизнь тети Поли?! Может быть, земная часть нашей планеты... Вымыть земной шар!»

Какая неожиданная и философская концовка! Собственно, чего удивляться, талант всегда проявляет себя с неожиданной стороны.

Помню, как Мусса поступал в члены Союза писателей. Несколько раз я ему напоминала о том, что ему надо подготовить документы и принести. Казалось, он не обращал на это никакого внимания – внешние атрибуты его не интересовали, для него главным являлся творческий процесс как таковой.

Наконец удалось вырвать у него документы и послать в приемную комиссию в Москве, где в скором времени рассмотрели их. Потом мне показывали протокол заседания комиссии, где были записаны такие выступления:

«Сегодня мы присутствуем при рождении настоящего таланта, за последние 10–15 лет мы не принимали в Союз писателей человека с таким талантом». А известный поэт и переводчик Яков Козловский вскоре прислал письмо Муссе, где написал о том, что хотел бы перевести его стихи.



Вот так он вошел в ряды Союза писателей СССР – с достоинством, без суеты, спокойно. И поневоле вспоминаешь некоторых наших нынешних людей, объезжающих чуть ли не всю страну, собирая документы, свидетельства известных писателей, никогда не читавших их произведения, о том, что они талантливы. Или же обивают пороги Союза писателей РСФСР, плача, угрожая, только чтобы вступить в члены Союза писателей.

Талант – это то, что является само документом и ни в каких бумажках не нуждается.

Мусса с самого начала принимал активное участие в работе писательской организации. Мы практиковали дни поэзии Карачаево-Черкесии в различных республиках и городах страны, эти мероприятия помогали пропагандировать нашу литературу на всесоюзной арене. Мусса был постоянным участником этих выездов, и когда он выходил на трибуну где-нибудь в Херсоне или Ленинграде, я была спокойна – выступит достойно.

Мусса начал сотрудничать с драмтеатром. Пригласил на первую премьеру, которая прошла с большим успехом. Помню его смущенного, улыбающегося, как будто он был виноват в том, что своей пьесой собрал здесь столько людей. Сотрудничая с театром, он очень хорошо относился к актерам, всегда тепло говорил о главном режиссере Борисе Тохчукове.

Жизнь за кадром. У настоящего писателя она всегда драматична и не вмещается в обычные стереотипы. Мусса рос творчески не по дням, а по часам, и это начало раздражать околосредствников, ведь серость всегда завистлива, она терпит только себе подобных. Начались гонения, наветы, но доброе, отзывчивое сердце Муссы никому не желало зла, он лишь был предан своей работе. Конечно, он переносил эти уколы болезненно, но не выдавал свою боль. Мне кажется, что его родной аул был тем средством, которое излечивало его от всяческих поношений, в нем созревала его будущая книга о своих земляках. Как все талантливые люди, он был несколько наивен и добродушен, и это его качество тоже обращали недруги против него.

Помню статью, напечатанную в газете «Ленинни байрагы». Мусса в ней обвинялся во всем. С этой статьей сразу после выхода я познакомилась в самой редакции. Меня спросили авторы: «Ну как?» Смысл этого вопроса был таков: «Ну, теперь ты убедилась, какой он писатель?!»

Да, я убедилась, тот Мусса, о котором писалось в статье, действительно не был писателем, это был какой-то и халтурщик, и антисоветчик, и я сказала: «Да это статья о ком-то, но я знаю другого Муссу».

Дома перечитала те вещи Муссы, о которых говорилось в статье, и – ничего общего. Но грязь всегда находится, если ею решили облить человека.

О его произведениях начали писать в центральных газетах, зато здесь, на родине, писались иные письма в различные инстанции. Помню, с каким трудом мне пришлось отстоять его кандидатуру на премию краевого комсомола имени А. Скокова. Материал оформлялся через обком комсомола, а там уже





лежали анонимные письма о Муссе, которые считались сильнее всего, но, как ни странно, удалось переубедить некоторых товарищей, и Мусса был удостоен этой премии.

О писателе нужно судить по его взлету, а не по падению. Творческим взлетом Муссы я считаю его повесть «Элия». В этой повести все совершенно: изложение материала, правда жизни, изобразительные средства, язык, национальный колорит и т.д. Она впервые была напечатана в журнале «Юность», № 4 за 1976 год. Вскоре Мусса получил письмо о том, что повесть «Элия» не уступает повести Ч. Айтматова «Прощай, Гульсары». Иной пишущий носился бы с таким письмом, показывая его каждому встречному, но только не Мусса. Мало кто знает об этом.

Это был думающий писатель, имеющий обо всем свое мнение, на мир смотрел глазами философа. Он, как свои пять пальцев, знал наш фольклор, издал вместе со Стефанеевой наши легенды. Знал историю нашей литературы с первых её шагов. Доискивался до всего, изучал историю нашего народа, прослеживал пути его известных людей. Вместе с К. Лайпановым написал книгу об Умаре Алиеве.

Стать обладателем членского билета для некоторых престижно, для Муссы же это не имело значения – ему было важно высказать себя. Настало время для меня выйти на пенсию, и я в тот же день пошла с заявлением в обком партии. Когда меня спросили, кого же вы думаете поставить на свое место, я не задумываясь ответила: «Муссу Батчаева, потому что он всем своим обликом, творчеством, авторитетом у читателей заслужил это». На это заметили, что они такого же мнения, хотя на него частенько приходят к ним анонимки, как, впрочем, и на меня. Одним словом, пошлите его на учебу в Москву, а до его возвращения работайте.

Так я его отправила на Высшие литературные курсы, где он проучился два года и вернулся в 1975 году. После возвращения с ним беседовали в обкоме, взяли у него нужные документы, а мне сказали ввести его в курс работы писательской организации. В это время в Москве готовился очередной съезд Союза писателей СССР. В обкоме мне сказали, чтобы я выхлопотала гостевой билет на съезд для Муссы как будущему руководителю писательской организации области.

Стали готовиться к отчетно-выборному собранию писателей, но кто мог знать о том, что недруги Муссы в это время не спали ночами, чтобы вновь облить его грязью. С одной стороны, прослышали о том, что его собираются рекомендовать на мое место, с другой стороны, не могли простить, что он становится известным, о чем уже писали в Москве, в частности, известный в то время критик Валерий Гейденко. И разве можно было допустить, чтобы его выделяли?! Парадоксально то, что некоторые организаторы этой кампании сегодня причисляют себя к друзьям Муссы.



Сегодня, особенно молодым, наверное, трудно поверить в то, что донос имел свое влияние на судьбу человека. А это было так. Донос решал все. Человек, на которого он писался, уже считался в чем-то замешанным, запачканным, в идейном отношении неблагонадежным. Так, кандидатуру Муссы уже нельзя было выдвигать. Кто знает, перейди он тогда на работу в Черкесск, может быть, и не случилась бы трагедия. Это наша общая беда, когда подставляют ногу человеку неординарному, талантливому, ведь серость прощает только себе подобных и преследует непохожих на неё.

Мусса продолжал творить. Проза его была блестящей. Поэзия тоже. Его пьесы открыли новый этап в работе нашего театра. Выступал он и как талантливый публицист. Принимал активное участие в общественной жизни. Но ухищренные гонения продолжались. С помощью тогдашнего начальника управления культуры Юсуфа Кочкарова удалось вновь отправить его на учебу в Москву, на этот раз по драматургии. Таким образом, он получил возможность два года работать спокойно, творчески.

В 1977 году в Москве вышла моя публицистическая книга «Мать отцов». Я её еще не видела, когда получила письмо от Муссы. Это письмо характеризует не только его стиль, но его как человека, потому я привожу его:

«Неделю тому назад мне принесли друзья Вашу новую, пахнущую типографской краской книгу. Вы еще раз, как никто до этого, талантливо воспели мать отцов наших – Карачаево-Черкесию. Как житель её – горд, как литератор – завидую и рад, как поклонник настоящего таланта – в восторге, как любящий Вас карачаевец – счастлив, что Вы, несмотря ни на что, полны сил и творческой энергии».

Так своеобразно мог написать только Мусса.

Он вернулся во второй раз с учебы. На этот раз, как мне показалось, с головой ушел в драматургию. Когда я заметила ему об этом, он сказал:

– Нет, это не совсем так. Я задумал большую прозаическую вещь, пока называл «Горизонт бескрылых». Понемногу работаю над ней.

Он был своим человеком в моей семье. Моя сноха Земфира, тоже Батчаева, сначала заваривала ему кофе, а после уже Мусса, как свой, проходил на кухню и кофе заваривал сам, видимо, свой рецепт нравился ему больше. Однажды, в один из своих приходов, он сказал:

– Сколько лет мне в голову приходит вопрос, но никак его вам не задам. Как вы себя чувствовали в октябре 1957 года, когда после четырнадцатилетних унижений и оскорблений на высылке выступали в Москве на площади у Курского вокзала, а затем – в Колонном зале Дома Союзов от имени участников декады, ведь между этим событием и вашим возвращением на родину прошло каких-нибудь два-три месяца, и вы пока еще не были раскованы? Об этом я думаю давно, – сказал он.

В памяти вспыхнули те моменты из моей жизни. Я ответила так, как было на самом деле.



– Была, – сказала я, – невменяема, не знала, как выступала, не понимала, почему аплодируют.

Этот поразительный контраст запечатлелся в памяти Муссы.

В мае 1982 года в Черкесск приехал из Орджоникидзе музыкальный театр с первой национальной оперой «Последний изгнанник». Её написал композитор Салим Крымский на мое либретто. Кстати, сейчас её записали на фирме «Мелодия», и вышел клавир. Мусса пришел к нам домой задолго до вечера. Одет был празднично, на нем ладно сидела вельветовая тройка. Заметив, что я его рассматриваю, сказал:

– Это моя сестра Фатима заставила одеть.

И пошел готовить себе кофе. Вернулся в кабинет, тихо прохаживаясь, отхлебывал кофе, сказал:

– Вот теперь у нас есть опера. Как здорово!

На премьеру он пошел вместе с нами, и мы сидели рядом. Он был взволнован, настроен празднично. Он умел радоваться чужой радости.

После премьеры он был на праздничном ужине. Тостов взаимных было много, но его тост не затерялся среди них. Поздно ночью он проводил нас, заходить не стал, и больше я не видела его живым.

Через несколько дней он позвонил по телефону.

– Был на даче, поработал, а теперь еду в аул, – сказал он.

– Работать на даче хорошо, но ты не забудь о «Горизонте бескрылых», – сказала я.

Главы «Горизонта бескрылых» я прочитала уже без него. Это – художественно-публицистическая, философско-лирическая проза, в ней перемешивается действительность с вымыслом. Будь она закончена, стала бы своеобразной, необычной вещью в нашей литературе. Между прочим, в ней есть строчки – оценки Муссы, данные некоторым нашим сегодняшним знакомым, меткие и правдивые.

Жизнь Муссы, внешне спокойная, уравновешенная, на самом деле была драматичной, но он никогда не жаловался, не старался мстить недругам – жалел их. Талантливый человек всегда нуждается в поддержке, это парадоксально, но это так, потому что он не умеет да и не хочет работать как всякая серость. Он не стремится к вождизму, народ сам делает его своим лидером, прислушивается к его слову. Никогда не надо делить места, это бесполезно, ибо место каждому писателю дают читатели и время.

Х.Б. Байрамукова,
писатель.

«День Республики», 24 сентября 1996 г.





Мусса

Мы об этом однажды толковали под звездным небом с Муссой Батчаевым – гордостью карачаевского народа, учителем и членом КПСС с 1966 года – в ауле Кумыш, в доме его родителей. Мы говорили, что нет среди нас лучших и худших. Все мы – грешные творения Божьи и стали смертными из-за падения Адама и Евы, вкушивших запретный плод там, в неведомом нам рае, и теперь мы обязаны трудиться, в поте лица добывать хлеб свой насущный, молиться и каяться, подняв голову к нему, обращаясь к нарожденному, безначальному нашему отцу.

Помню, как Мусса в ту ночь, глядя на звезды, рассказал мне горскую притчу о том, как у одного человека – его звали Хаджи – родились три сына. Один из них, повзрослев, решил стать пахарем, другой – воином, защитником нашего отечества, а третий – поэтом. Помню хрипловатый, гортанный голос Муссы и его страстные слова: «Помоги мне, Вадим. Я – учитель русского языка и литературы кумышской средней школы. Ты – русский писатель. И я хочу стать поэтом, давно пишу, печатаюсь в газетах. Но полон сомнений, получится ли из меня профессиональный литератор? Или надо поступать в Литературный институт имени Горького?»

Я читал рассказы Муссы «Хочалай», «Агаз» в газете «Ленинское знамя», и они поразили меня своей чистотой, искренностью. И был я членом редколлегии альманаха «Ставрополье», ответственным за молодых, вместе с поэтом Игорем Романовым в те незабвенные шестидесятые годы мы, буквально как волки, рыскали по огромному краю в поисках молодых талантов. Так «нашлись» Андрей Губин, Микаэль Чикатуев, Александр Екимцев, Назир Хубиев, Раиса Котовская и многие другие, которых мы поддержали, редактировали, переводили на русский язык и печатали в альманахе. Светлое то было время...

И вот что удивляло меня. Мусса писал стихи только на карачаевском языке, а прозу, т.е. рассказы, повести, – только на русском. Он знал русский язык



хорошо, очень любил его и часто повторял тургеневские слова: «О великий, могучий русский язык...». Он упрямо шел путем другого горца, Эффенди Капиева, который переводил с аварского отца Расула Гамзатова.

От природы наделенный большим и оригинальным литературным талантом, Мусса Батчаев, как и Эффенди Капиев, был очень трудолюбив и быстро добился признания читателей, стал гордостью не только карачаевского народа, но и всей России. В 1968 году у него выходит книга рассказов «Быть человеком» в Ставропольском книжном издательстве на русском языке, а на карачаевском в Черкесском издательстве – сборник стихов «Раздумья». В 1971 году Муссу буквально «на ура» принимают в Союз писателей СССР, в 1972 году ему за сборник «Быть человеком» и повесть «Когда осуждают предки» была присуждена премия имени Александра Скокова, учрежденная Ставропольским крайкомом ВЛКСМ. А затем его посылают учиться в Москву, на элитарные Высшие литературные курсы, которые он оканчивает одним из лучших. В Москве в те же годы издается его книга «Серебряный дед»... Ему не было и сорока лет, а какой стремительный взлет! А что можно было бы ожидать от него, когда он достигнет писательской зрелости, когда ему будет пятьдесят, шестьдесят лет? Даже трудно представить!

Но Мусса Батчаев, как Лермонтов или Пушкин, не дожил до этих юбилеев. За несколько дней до своей трагической гибели на берегу Кубани он был у меня в Ставрополе, подарил «Серебряного деда»: «Брат, – сказал он, – я жду тебя в Кумыше на день своего рождения».

Он родился 2 октября 1939 года там, где и умер, сраженный высоковольтным разрядом. Богу, наверное, тоже нужны талантливые, чистые душой люди. Узнав об этом, я плакал, говорил: «Брат мой Мусса, зачем ты меня оставил на этой грешной земле, обрек на одиночество?» А вот теперь я, старея, все чаще и чаще вспоминаю любимые тобою стихи Пушкина: «Недаром темною стезей я проходил пустыню мира. О нет, недаром жизнь и лира мне были вверены судьбой». Вспоминаю твою прекрасную улыбку, твое по-детски наивное признание: «Иногда мне кажется, что эти стихи написал я, а не Александр Сергеевич. Только ты не смейся, брат. Может, его душа живет во мне?»

В этом году вся Россия отмечает юбилей Пушкина, 200 лет со дня его рождения. Я очень надеюсь, что будет, Мусса, отмечен и твой юбилей, 60 лет со дня твоего рождения, и будет издан в связи с этим том твоих произведений. Ты заслужил это!..

В. Чернов,
писатель.

«Новая жизнь», 26 мая 1999 г.



Талант бессмертен

Редко кому, особенно если еще молод, при жизни удавалось стать «притчей во языцах» известным на весь мир человеком. В самом хорошем смысле.

Редко, почти в одночасье, о нем заговорили как о новом таланте, настоящем мастере художественного слова. О нем заговорили в Карачаево-Черкесии, на Северном Кавказе, на всей территории бывшего СССР. Его произведения начали издаваться не только в Ставрополье, Москве, в союзных республиках, даже за пределами «железного занавеса». Известный во всем мире своими романами, ставшими лучшими бестселлерами художественной литературы, Муштай Карим как-то признался, что он был бы горд иметь такую повесть, как «Элия» Муссы Батчаева.

Да, именно о нем, Муссе Батчаеве, резко возвысившемся над остальными писателями не только северокавказского региона, с болью в сердце говорим мы сейчас. Его жизнь, сверкнувшая, словно комета в темном поднебесье, оборвалась трагически в самом начале творческого расцвета. От того нам вдвойне больно сегодня, что в его шестидесятилетие нет Муссы, прекрасного друга, Человека с большой буквы. Нет с нами автора знаменитых трудов «Быть человеком», «Серебряный дед», «Хочалай и Хур-Хур», «Алибек – сын Дыгаласа», «Когда осуждают предки», «Белая скала», «Элия»...

Нет гения Муссы Батчаева. Живут и будут жить в народе его книги. И все же щемит сердце. Слишком уж больно... За раннюю утрату...

Билял Кубеков,

писатель.

«Новая жизнь», 2 декабря 1999 г.





Память

В тот вечер мы были вместе: я, Виктор Кустов, который сейчас живет в Ставрополе, поэт Юсуф Созаруков...

Мусса посадил нас в беседке, обвитой виноградной лозой. Сам ходил босиком по даче, угощал овощами прямо с грядки. Говорил тосты остроумные, с притчами.

Если в компании была женщина, Мусса любил поднимать стакан со словами:

– Гуси спасли Рим, а из-за Елены Прекрасной разрушили Троию. Так давайте выпьем за прекрасных женщин!

Я запомнил на всю жизнь тот вечер: ни сам Мусса, ни мы не знали, что вскоре нашего старшего товарища не станет...

Когда я учился в Литературном институте им. Горького, напечатали мой первый рассказ в журнале «Юность». Мусса учился на Высших литературных курсах, жили мы в одном общежитии. Он тогда позвал в свою комнату всех наших земляков.

– Выпьем за будущего классика советской литературы! – с этими словами он открыл то памятное застолье. Конечно же, это была шутка. Но сколько было в этих словах великодушия!

Когда вышла повесть «Элия», тоже в «Юности», это было событием. Весь институт зачитывался великолепным произведением. Перед вахтой на столе размещалась корреспонденция для живущих в общежитии. Каждый день в течение длительного времени приходили десятки телеграмм в адрес Муссы из разных уголков страны. Потом мы узнали, что специальный курьер доставлял их из редакции журнала. К выходу «Элии» Мусса уже был известным писателем у нас в Карачаево-Черкесии, и на Ставрополье его знали как автора повести «Когда осуждают предки» и знаменитого «Серебряного деда»... А тут





на наших глазах начала расти всесоюзная известность. Многие видели в перспективе, что растёт писатель ранга Айтматова, Карима и других, тогда очень популярных...

Я не знаю, что было бы с биографией Муссы, останься он в Москве. Как повернулась бы его творческая жизнь? Но у писателя нет иной жизни. Есть только судьба. Он вернулся в Карачаево-Черкесию... Его тянуло в родные места, к своим, к народу... И начались чёрные годы. Серость и посредственность была напугана перспективой роста известности карачаевского писателя. И здесь эти шарлатаны играли втемную. Мусса же искренне верил в чистоту человеческих отношений, в благородство, во все высокое, разумное и справедливое. Он противостоял своим противникам с раскрытой душой, с обнажённым сердцем, а тут у многих коллег и высокопоставленных чиновников в рукавах были спрятаны ножи...

Помню и то знаменитое обсуждение книги «Элчилерим» («Мои земляки») в здании областного Дома политпросвещения (ныне телестудия). В тот вечер ложные, явно надуманные обвинения посыпались не только на второй вариант «Серебряного деда», но и на безобидную, полную народного юмора, жизнерадостную повесть «Мои земляки». Многие тогда возмутились кощунством злопыхателей. Тогда на сторону Муссы стали критики-литературоведы: черкешенка Лейла Бекизова, абазин Владимир Тугов, карачаевки Фатима Урусбиева и Назифа Кагиева.

Когда начались нападки на драматургические произведения Муссы, я как раз приехал из Москвы, где прожил около года. Встретились с Муссой, я уже был в курсе всех его дел и, чтобы посочувствовать, говорю:

– Вот, вернулся, как коммунист в пиночетское Чили... Когда уже издохнет это зверь?!

Мусса понимает, улыбается, кивает головой.

– Ничего, ничего, – говорит он. – Все ещё изменится. Я в жизни пережил и похуже.

Видимо, он имел в виду страшное детство в выселении. Он никогда не говорил об этом времени, как что-то сокровенное держал в глубине сердца. В большинстве случаев писатели часто впадают в депрессию и становятся неврастениками. Сколько я знал Муссу, ни одной жалобы от него не слышал. Это подчеркивало его большое мужество.

Сегодня очень тяжело осознавать, что по возрасту мы пережили Муссу. А ведь он был младше... Ему было неполных сорок один. Нам – за пятьдесят. Горько вспоминать, что враги торжествовали после его смерти. Они проводили себе пышные юбилеи, присваивали звания и были убеждены, что они – корифеи литературы. Они скомкали его 50-летие. Многие в 1989 году хотели отдать должное таланту Муссы Батчаева, но прижизненные его злопыхатели





всячески препятствовали. Но талант Муссы непоколебим, бессмертен и наконец сегодня получает достойное признание на своей родине.

Ничтожные и беспринципные литераторы, всю жизнь профанирующие себя общественности писателями, наивно думали, что, навесив на свое бездарное творчество звания, ордена и медали, стали достоянием народа. Ан нет!..

«Серебряный дед», «Когда осуждают предки», «Мои земляки» – вот настоящие духовные, эстетические, художественные ценности.

И дай Бог, чтобы у нас появились государственные мужи, ясно понимающие это!

И. Капаев,
писатель.

«Новая народная газета», № 4 (25) 2–8 февраля 2000 г.





Проблема традиционного и нового в повести М. Батчаева «Когда осуждают предки...»

Одной из серьезных нравственных проблем в художественной концепции М. Батчаева является проблема «сопряжения традиционного и нового, общественного и индивидуального». Об этом свидетельствует повесть «Когда осуждают предки...»

Герой повести М. Батчаева «Когда осуждают предки» Баград Османов полюбил русскую девушку Ирму. Бабушка Баграда представить себе не может, чтобы ее внук женился на девушке иной, не мусульманской, веры. Юноша оказался между двумя жерновами: любовью к Ирме и почтительным уважением к бабушке, потерявшей всех семерых сыновей, чье слово было непреложным нравственным законом для семьи.

Совсем иное, чем у бабушки Баграда, мнение у школьного сторожа Мунира, тоже старого, бывалого человека: «Любишь, говоришь, ее? А бабушку обидеть боишься?.. Хорошо яблочко за забором, да можно штаны порвать?.. Не смотри на яблоки, иди, ломай забор, потом починишь. Ее любишь – плюй на всех, потом вытрешь...»

Баград действительно любит Ирму. Только не так-то просто выступить против патриархальных норм, ибо юноша понимает, что узы, связующие человека с традицией, не нитка, которую легко оборвать.

Сумеет ли Баград без боли, без жертв соединить эти две свои любви? Мучительно трудный вопрос. Юноша пожертвовал бы всем, лишь бы разрешить это неразрешимое пока противоречие, когда счастье одного близкого человека дается ценой несчастья другого. Но в том-то и трагедия, что его жертвы не нужны, а нужна именно эта трудная плата.

Авторское несогласие с пережитками прошлого, с мещанской моралью не перерастает в повести в открытый протест. Непреклонность бабушки в желании сохранить свой очаг «чистым» не вызывает прямых авторских упреков. Ошибочность ограничений, диктуемых неписаными законами, выявляется





становлением и развитием истинного чувства, вот это живое человеческое чувство и одерживает в итоге победу над родовой моралью.

В каждом произведении, на разном материале М. Батчаев упорно подводит к мысли о трудной обязанности оставаться человеком при любых обстоятельствах, в любых ситуациях. В повести «Когда осуждают предки...» таким человеком оказалась русская девушка Ирма. Она уезжает, и не просто уезжает: она, как может, пытается снять тяжесть с души любимого человека, девушка оставляет любимому письмо, в котором объясняет причину своего отъезда. А причина вот в чем. Тетя Баграда сказала ей: «Пусть лучше две змеи обовьют мою шею, чем его твои руки».

Важнейшим условием полноты и достоверности раскрытия характеров М. Батчаев полагает «предельное обострение» нравственной, психологической коллизии, принятие решения в конфликтных ситуациях. При этом автору удалось избежать одноцветной, романтической обрисовки характера. В центре повести «Когда осуждают предки...» – герой рефлектирующий, обрезающий истину на пути вечного поиска, вечного духовного движения.

Обратившись к проблеме традиционного и нового, М. Батчаев добивается определенных результатов, отказавшись от социологического разрешения проблемы и переходя на рельсы психологического раскрытия характеров героев.

Р. Бадахова,

литературовед.

«Алиевские чтения». Карачаевск, 2000 г.





Всадник литературы¹

Не помню, когда мы с Муссой Батчаевым стали друзьями. Дружба наша возникла как-то сразу, как мгновенно засиявшая утренняя звезда, как внезапно блеснувшая молния на черном небе, как неожиданно встретившийся на крутой горной тропе добрый человек. Но уже в 1969 году мы с Муссой Батчаевым друг к другу относились как настоящий брат к настоящему брату. Мы не были рождены одной матерью, но мы были рождены одной землей. Нас обоих пронизали до глубины души одни и те же чувства: боль за наши языки, боль за наши литературы, боль за судьбу нашего Слова. Ни он, ни я никогда не стремились понравиться никакому партийному руководству! Скажу без ложной скромности: мы оба знали, что мы талантливы, и знали цену своему слову, и никогда не стремились уподобиться флюгеру в жизни и литературе. И мы как могли защищали друг друга от разных нападков: и когда мою книгу маленьких поэм «Абазинские всадники» обвинили в антисоветизме, и когда в его повести «Когда осуждают предки» некоторые партийные деятели и завистливые стихотворцы позволили себе увидеть идеологические просчеты. И нас обоих защищал выдающийся поэт Кавказа Кайсын Кулиев, который приезжал к нам с известным переводчиком Наумом Исаевичем Гребневым...

Было у нас в Союзе писателей Карачаево-Черкесии «Бюро пропаганды художественной литературы». Оно организовывало платные писательские выступления по нашей области. «Бюро» заключало договоры с различными хозяйствами, выдавало нам путевки – и мы, писатели, разъезжались кто куда и выступали перед читателями в аулах, селах, станицах и городах. И наши писатели делали это, кажется, с видимым удовольствием, ибо это поддерживало их морально, без чего пишущему становится трудно жить. И мы с Муссой почувствовали себя хорошо в этом «Бюро», когда его возглавил талантливый ка-

¹ Печатается с сокращениями.



рачаевский поэт, выпускник нашего литинститута, добрейшей души человек – Альберт Турклиев. Он торжественно вручал нам бланки путевок, и мы с Муссой уезжали на целую неделю выступать. Как нам нравилось выступать перед разной публикой! Вдвоем! Мы это делали с таким вдохновением. И – честное слово – наши выступления были ничуть не хуже писательских выступлений в студии Останкино! Нам об этом говорили в станицах Зеленчукской, Преградной и Исправненской. Был у меня тогда беленький «Жигуленок», на котором мы разъезжали по области. Как говорится, география наших выступлений была самая разнообразная и широкая: Курджиново, Преградная, поселок Медногорский, Сторожевая, Зеленчукская, Хурзук, Карт-Джурт, Учкулан, Старая Джегута, Эльтаркач, Учкекен, Кичи-Балык...

Звонит Мусса поздно вечером: «Микаэль, как ты думаешь, полетит наша «маленькая птичка» в сторону Учкекена?.. Ибрагим Аппаков – это тот, который в Терезе, настойчиво приглашает нас с тобой...» Или: «Мне приснилось, что наша «маленькая птичка» полетела в Преградную, где очень ждет нас секретарь парткома совхоза «Преграденский» – мой младший брат Амыр...»

Мы с Муссой прекрасно понимали друг друга. Сказать о нас так: родство душ – это очень мало! Конечно, у каждого настоящего поэта свое солнце в небе, своя дорога на земле, но их роднит одно – неизменно общее: абсолютно честное отношение к Слову. И еще родниковой чистоты человечность. И еще Богом данный талант, без чего совершенно немислим разговор о Поэзии и Слове. Мы с радостью ощущали это друг в друге! И это сближало нас еще больше. Мы договаривались с заведующим «Бюро» Альбертом Турклиевым, чтобы он послал нас в Хабезский и Адыге-Хабльский районы. Я много рассказывал Муссе о талантливом черкесском поэте Мухадине Бемурзове, который живет в древнем черкесском ауле Хахандуковском, работает в школе.

«Какие прекрасные стихи он пишет, Мусса, – говорил я ему о Бемурзове. – Молодой, а уже талантлив!..» «Ну конечно! – отвечал Мусса, на лету поймав мою веселую шутку. – Талант – как солнце: оно видно с утра...» Хотели поехать и в его аул...

Говорить с Муссой, общаться с ним всегда было интересно. И не только потому, что он был прекрасно образован, начитан, обладал великолепным багажом всевозможных знаний, и не только потому, что, казалось бы, его писательскому любопытству и пытливости не было предела. На мой взгляд, главной чертой его человеческого и писательского характера была абсолютная искренность его отношения к миру. Я бы так сказал: искренность его окрыленной души, искренность его человеческого сердца. Без такой искренности, по моему глубокому убеждению, нет человека и писателя. Мусса Батчаев обладал ею в самой высшей степени...

Однажды на расширенном заседании секретариата Союза писателей РСФСР обсуждали творчество Муссы Батчаева. Такие обсуждения были в



обычае: раз в три месяца устраивали подобные обсуждения творчества самых ярких молодых писателей, выдвинувшихся в молодых литературах народов РСФСР. И в секретариате Союза писателей РСФСР, естественно, не могли не заметить яркий талант молодого карачаевского писателя-прозаика и поэта. В обсуждении принимали участие видные российские писатели: Кайсын Кулиев, Алим Кешоков, Давид Кугультинов, Халимат Байрамукова, Аткай, Фазиль Искандер, Мустай Карим, Владимир Санги, Василий Белов, Михаил Дудин и казахский поэт Олжас Сулейменов. На этом заседании творчеству Муссы Батчаева дали самую высокую оценку, молодого карачаевского писателя назвали «одним из талантливых кавказцев» (из выступления народного поэта Калмыкии Давида Кугультинова). Народный поэт Башкирии Мустай Карим спросил Муссу: «Ты одинаково хорошо пишешь и стихи, и рассказы... Но скажи, пожалуйста, прозу ты пишешь по-русски, а стихи – по-карачаевски – почему?» ...И ответ Муссы Батчаева был встречен присутствующими с восторгом и рукоплесканием. Он сказал: «Прозу, которая идет больше от рассудка, можно писать и приобретенным языком, а стихи, которые идут от сердца, можно писать только языком матери, то есть языком, который ты впитал в себя вместе с материнским молоком...» И Давид Кугультинов, уже будучи у нас в Черкесске, с восхищением вспоминал тот случай и те слова Муссы Батчаева и говорил: «И мы – все участники Секретариата Союза писателей РСФСР – поняли, что перед нами – будущая гордость Кавказа!..»

Очень жаль, что трагический случай оборвал жизнь этого превосходного писателя. 43 года – это самый расцвет настоящего таланта!.. Как он любил жизнь! Как он любил людей! Как он восхищался успехами и удачами наших писателей!.. Вспоминается такой случай: мы, группа карачаево-черкесских писателей (Алим Ханфенов, Суюн Капаев, Мусса Батчаев, Виктор Прытков, Ахмат Кубанов, Микаэль Чикатуев), выступаем на всем нам запомнившейся великолепной сцене Дворца культуры Невинномысской шерстомойной фабрики. Поочередно выходя на высокую трибуну, читали стихи, рассказы, отрывки из повестей и романов. Рабочие фабрики очень хорошо принимают нас, каждому аплодируют искренне и бурно. Но вот очередь доходит до Муссы Батчаева, и он с тоненькой белой папкой в руке не спеша выходит на трибуну. Читает новеллу «Тетя Поля» из его замечательной книги «Быть человеком». Надо было видеть самому, чтобы воочию убедиться, как бурно рабочие рукоплескали нашему Муссе! Трижды – честное слово! – вызывали его на «бис» и заставляли снова и снова читать его прекрасную «Тетю Полю»!.. А он почти безразлично отнесся к своему успеху, забыл его, и когда мы все сошли со сцены, радостно поздравлял известного черкесского поэта Алима Ханфенова, громко говорил: «Ну, замечательные стихи у тебя, Алим! Просто отличные. И запоминаются просто: «Посадил Яхья редиску...» Но мальчик Яхья забыл ее поливать, не ухаживал за ней... И редиска говорит в конце: «Не поил меня водою... Вот и



выросла я злою! Терпкой, горькою на вкус!.. На тебя я, ух, сержусь!..» Замечательно, Алим!.. Оказывается, ты пишешь и стихи для детей... Я-то думал: Алим Ханфенов – чистый лирик...» И помню хорошо: по дороге в Черкесск в нашем десятиместном маленьком автобусе, под впечатлением встречи в Доме культуры Невинномысской шерстомойной фабрики, мы говорили о том, что нам в Карачаево-Черкесии необходимо иметь свой литературно-художественный журнал на русском языке, чтобы мы на страницах этого единственного для всех нас журнала могли читать друг друга на русском языке, могли публиковать лучшее в наших литературах; говорили, что сам Бог послал нам всем поистине великий русский язык, чтобы мы через Слово, через литературу понимали друг друга лучше, чтобы, перенимая друг у друга все лучшее, взаимообогащались...

Жил Мусса в Черкесске в доме № 81 по проспекту Ленина. Кажется, это была не его квартира, она принадлежала его сестре, но, видимо, сестра уступила ему ее, и он там проживал в одиночестве. И мы с ним часто встречались там, в небольшой полутораконатной квартире. Читали друг другу свои новые стихи, рассказы, много и долго говорили о литературе Карачаево-Черкесии, о литературе Кавказа и литературе вообще. Это был наш своеобразный литературный салон... Однажды я получил из Москвы большой конверт с переводами моих стихов от переводчика Валерия Черкашина. С ними я пришел на квартиру к Муссе. «Будем читать стихи!» – сказал я ему, кладя большой синий конверт на стол. Мусса посмотрел на меня и громко рассмеялся. «Почему я смеюсь? – переспросил он. – А помнишь: Ставрополь, 1966 год?.. В районах Ставрополья проходила «Декада литературы и искусства Карачаево-Черкесии». И мы с тобой были в числе делегации наших писателей, поехавших в Ставрополь. Я попал в Пятигорскую группу писателей, а ты, как заместитель Халимат Байрамуковой, возглавлял группу наших писателей, поехавших в Кисловодск... А в заключительный день все группы вновь собрались в Ставрополе, в краевом драмтеатре... Твое выступление было включено в заключительную программу... Я очень хорошо помню: ты вышел на сцену и грубоватым крестьянским голосом произнес: «Будем читать стихи!..» И прочитал стихотворение «Обычай орлов» – замечательно прочитал!.. А помнишь, до твоего выступления мы сидели в буфете театра и пили какое-то хорошее ставропольское вино. С нами были Владимир Гнеушев и Игорь Романов... Помню, подошел к нам старейший, как его тогда называли, черкесский поэт Хусин Гашиков. Мы все встали и пригласили его сесть за стол с нами, но он поблагодарил и отказался. И обратился к тебе со словами: «Чикатуев! Ты что делаешь? Тебе вот-вот выступать, а ты пьешь вино? Я тебя прошу, больше не пей... В зале присутствует все партийное руководство края. И сам Горбачев здесь!.. Из наших поэтов, кажется, только ты выступаешь на заключительном вечере... Понял, братишка?» – озабоченно сказал он... Он же всегда был очень беспокойный человек? И ты воскликнул: «Не беспокойтесь, Хусин Ханахович! Все будет в ажуре!..» «Хорошо, – ска-



зал Гашоков, немного успокоившись. – Ты сегодня – наш голос, наше лицо... Извините, ребята», – сказал он как всегда тихим голосом и ушел... И ты действительно хорошо прочитал. Когда ты вышел на сверкающую сцену и своим крестьянским голосом громко и грубовато объявил: «Будем читать стихи!» – зал заплодировал... Вот эту фразу твою я вспомнил сейчас... А сегодня с чем ты пришел? Что в этом синем конверте?...» – «Стихи! – сказал я как-то торжественно. – Переводы Валерия Черкашина! Только что получил!..» – «Читай!» – весело сказал он, когда мы сели друг против друга за его письменный стол... И я читал, наверное, больше часа. Каждый перевод мы тут же обсуждали. Мусса делал замечания, одобрял или отвергал те или иные строчки. Но в целом похвалил переводы. И сказал: «Черкашин – хороший переводчик, не теряй его. Он, видимо, и хороший поэт. Но не всякий хороший поэт становится хорошим переводчиком... Прочитай еще раз стихотворение о коне, которого ты упустил в облака!.. Мне оно особенно понравилось...» И я прочитал снова:

Что со мною?!
 Ослабла рука?!
 Я коня упустил в облака!
 Вороной одичалый скакун
 Превратил облака в свой табун!
 И по скалам, сквозь грохот копыт,
 Сумасшедшее пламя летит!
 На краю, как на грани клинка,
 Я стою и ловлю облака!..
 Небо дрогнуло: конь мой в узде!..
 Улетаю навстречу звезде!

«Замечательные стихи! – сказал Мусса. – Просто великолепные! И как хорошо Черкашин перевел их! С каким поэтическим вкусом!.. Будешь писать ему, не забудь передать и мой большой привет! Он – настоящий поэт!.. Микаэль, посвяти мне это стихотворение – ведь я всю свою жизнь чувствую себя всадником!..» И мы оба, совершенно инстинктивно, протянули и пожали друг другу руки – и мне казалось, что это было самое крепкое, самое братское рукопожатие на земле!..

Еще в литературном институте, со студенческой скамьи, любил писать и поэмы. Но они большей частью получались у меня какие-то «фольклорные», что ли. Какие-то «легендарные», с романтическим пафосом, со «сказочной душой», как говорил руководитель нашего семинара поэзии в литинституте Василий Дмитриевич Захарченко, изумительной доброты человек. И потому, наверное, единственный абазинский литературовед Владимир Тугов называл меня поэтом-фольклористом. Правда, я очень люблю фольклор. Не только своего, абазинского, народа, но и фольклор прежде всего нашей земли: караевский, черкесский, ногайский, в котором чувствуешь духовную близость



культуры наших народов. И вообще, как можно поэту не любить фольклор любого народа мира, где явственно ощущаешь биенье сердца народа, крылатость его души. Фольклор любого народа – высочайшее духовное богатство мира. Эту мою безграничную любовь к фольклору, иначе говоря, к устному народному творчеству, отмечал профессор Андрей Васильевич Попов, когда я был еще студентом филологического факультета Ставропольского пединститута. Любовь к народным сказкам, легендам, притчам, пословицам и поговоркам, крылатым выражениям народа мне привила с детства моя мама Мурида Татхуновна Чагова-Биджева, которую в нашем селе – древнем Зеленчукско-Лоовском – все жители называли Мудрой старушкой. Она, кроме родного абазинского, в совершенстве владела арабским и кабардино-черкесским языками, знала русский, карачаевский, ногайский языки. Мама моя знала и прекрасно рассказывала много разных легенд, старинных былей и небылиц... Но – удивительно! – легенды, на которых основывались мои поэмы, я сочинял сам! И читатели, в том числе литературоведы и переводчики, были совершенно уверены в том, что эти легенды и «предания старины глубокой» являются частью абазинского фольклора! Но они, за редким исключением, мои сочинения, плод исключительно моей фантазии! И «Человек и Тысячелетие», «Два абрека», и «Искатель счастья» (или «Под Стожарами»), и «Разговор планет», и «Русский кунак», и «Песня и Дьявол», и «Поющее сердце» (или «Легенда о Песне»), и «Песня Высокой Скалы» (названная мной «Карачаевской легендой»), и «Акмарал» (о выселении карачаевцев), и многие другие... И вот тогда, на одной из наших встреч (мы их называли поэтическими), я рассказал Муссе об очередной легенде, сочиненной мной: о юноше, который в сонном состоянии поднимался ночью с постели, уходил в горы, в скалы и пел; не мог не петь – таково было состояние его души... Муссе эта легенда очень понравилась. «По-моему, – сказал он задумчиво, – ты не сочинил эту легенду, а взял из нашей жизни... Ведь ты в легенде рассказываешь людям о судьбе талантливого поэта. А каждый талантливый поэт – он всегда живет, будто в изгнании, живет в одиночестве... Вспомни всех настоящих поэтов – какова была их судьба?.. Микаэль, – сказал он в конце, стараясь быть более веселым, – посвяти мне эту легенду... Когда-нибудь вспомнишь о наших встречах... Ведь и мы, к сожалению, не вечны на этой земле», – грустно закончил он... «Поющее сердце» (или «Легенда о Песне») я написал уже без моего друга, и пришлось после названия поставить печальные слова: «Памяти моего друга Муссы Батчаева».

Хочется вспомнить еще одну нашу встречу с Муссой... Я только что вернулся из Сухума, из моей любимой Абхазии. Привез оттуда десять больших семисотграммовых бутылок прекрасного абхазского вина «Ачандара». Передал их мне известный абхазский писатель Алексей Джения – для Муссы. Алеша и Мусса учились вместе в Москве, на Высших литературных курсах при Литературном институте им. А.М. Горького. Курсы эти были двухгодичные, и созданы

они были для членов Союза писателей СССР, то есть писателей-профессионалов, для повышения их писательской квалификации, для расширения кругозора; курсы, конечно, много давали писателю из периферии: они образовывали его, прибавляли его мастерству зрелости. В год на ВЛК принимали 40 человек со всего Советского Союза, и, разумеется, далеко не каждому пишущему выпадало такое счастье: попасть на эти курсы и учиться целых два года в самой Москве! Вышекурсники (как мы, студенты литинститута, называли их), сами говорили нам, студентам, что попасть на эти курсы – большая удача для них. В годы моей учебы в литинституте (1956–1961) на ВЛК учились, например, балкарский поэт Кайсын Кулиев, кабардинский поэт Адам Шогенцуков, адыгейский поэт Кирымизе Жанэ, абхазский поэт Киршал Чачхалиа, кумыкский поэт Аткай, чеченский поэт Магомед Мамакаев, ингушский поэт Джемалдин Яндиев, даргинский прозаик Ахмед-хан Абубакар, киргизский писатель Чингиз Айтматов, русские писатели Виктор Астафьев, Василий Белов, Валентин Распутин... Учеба у прекрасных профессоров литературы Пospelова, Артамонова, Мотылевой, Сидельникова, Архипова, Друзина; общение друг с другом в институте и общежитии; участие в творческих семинарах и творческие встречи с выдающимися деятелями русской культуры; поездки в достопримечательные места России: в Ясную Поляну (к Толстому), в Михайловское (к Пушкину), в Шахматово (к Блоку), в Грешнево (к Некрасову); и учиться два года в самом центре российской культуры – в Москве! Музеи, театры, различные центры, где непрерывно проводятся самые разные выставки культуры народов мира... Все это открывало писателю с российских окраин очень большой мир – самый высокий, самый светлый, самый прекрасный... Прошу прощения, но не мог не сказать об этом. Вот там, на этих литературных курсах, учились вместе абхазский писатель Алексей Джения и карачаевский писатель Мусса Батчаев. Там они и познакомились. «Не только познакомились, – говорил Мусса с доброй улыбкой, – но мы навсегда подружились! Алеша – прекрасный человек! А какой юморист! Он не только изумительно рассказывает маленькие смешные истории, но сам их на ходу сочиняет!.. Ах, Алеша, Алеша!.. Спасибо ему!.. «Ачандара» – это великолепное (Мусса часто употреблял это слово, это было его высшая оценка) абхазское вино, которое делают из прекрасного абхазского винограда сорта «Ачандара». Сорт назван по имени села, где родился и вырос сам Алеша: Ачандара... Видишь, как интересно?.. Ну, открой пару бутылок! Выпьем за Алешу, за Ачандару и за его прекрасную Абхазию!.. Кажется, и твой дед оттуда?.. Значит и за твою Абхазию!..»

Сидим, пьем прекрасное абхазское вино, рассказываем разные писательские байки... И вдруг, обрывая себя на полуслове и становясь совершенно серьезным, Мусса спрашивает: «Скажи, Микаэль, как складываются дела твоего алфавита? Ведь ты, кажется, составил новый абхазо-абазинский алфавит на основе кириллицы?.. В прошлый раз мы толком не поговорили, нас пре-



рвали... Ты говорил, что первоначальное обсуждение намечается в редакции абазинской газеты, оно состоялось? Как восприняли? Что сказали? Хотя один человек поддержал тебя?..». «Да, Мусса, – оживился и я. – Один человек поддержал! Это Кали Джегутанов! Мы с ним всегда понимали друг друга! Сделал он кое-какие замечания по отдельным буквенным начертаниям, а так, в основном, одобрил мою работу... Я тогда конспектировал выступление каждого... Знаешь, Мусса, в нашей писательской и журналистской среде, к сожалению, немало таких, которые на полном серьезе думают, что Бог всем одинаково дал и ум, и сердце, и талант. К примеру сказать, если Микаэль Чикатуев может составить новый алфавит, то почему и он, Каду Какишев, не сможет этого сделать?! И только лишь поэтому эти люди на корню подрывают любое доброе начинание! Лишь за то, что это дело не зачато ими! А человеческие способности – это для них что-то второстепенное, что-то вторичное! Стоит лишь только им захотеть – и зрелые рассказы напишутся! Лишь только им захотеть – и прекрасные стихи сложаются!.. Я допускаю, что в поэзии, например, возможно и сочинительство, но это – при наличии таланта, господ! При наличии настоящей зрелости поэта, при наличии истинного мастерства! И все это достигается (при наличии таланта!) огромным трудом, каждодневной, кропотливой работой над Словом! В поэзии – настоящей поэзии! – легких путей не бывает!..» «Знаешь, – сказал Мусса задумчиво, – это зависть. Идеология бездарей (назовем вещи своими именами!) такова: сам не ам и другому не дам! Почему, думают они, будет принят народом алфавит, созданный не ими, а другим?!» «Но Мусса! – воскликнул я. – Ради Бога. Пусть любой из них составит новый алфавит – я буду только рад этому! Честное слово! Какие тут могут быть личные амбиции?! Главное – иметь единый унифицированный, абхазо-абазинский алфавит. Чтобы абхаз мог читать абазинский текст, чтобы абазин мог читать абхазский текст! Чтобы мы, являясь в этом мире самыми близкими по языку, не удалялись друг от друга, а напротив, все больше и больше сближались, как, скажем, карачаевцы и балкарцы, кабардинцы и черкесы, ингуши и чеченцы, имея единые буквенные начертания сходных звуков в языках! Мусса, дорогой! Для нас, малочисленных народов, это необходимо, как воздух, – простой, единый алфавит! Иначе мы очень быстро и очень скоро уйдем в небытие! Иметь единый алфавит и идти дальше по жизни, обогащая друг друга, все больше и больше друг друга понимая!.. Неужели, Мусса, это так трудно понять?!.. Читать абазину гениальные стихи, поэмы, баллады великих абхазских поэтов Иуа Когониа, Леонтия Лабахуа, Баграта Шинкуба, Алексея Ласуриа в переводах – это, ей-богу, преступление! Переводы, как бы хороши они ни были, никак не могут сказать и показать всего богатства красок и звуков, которые таят в себе строки стихов настоящих поэтов!.. Вот, Мусса, к чему я стремлюсь, чего я хочу, за что я борюсь всю жизнь... Понимаешь, получается так: два брата говорят друг с другом через толмача-переводчика... Это обидно и больно до глубины души!..» Мусса очень нежно,





по-братски положил руку мне на плечо и сказал: «Я тебя прекрасно понимаю, Микаэль... Верь: придет день, когда осуществится твоя мечта. Обязательно придет! Не может не прийти!» «Знаешь, Мусса, я иногда вот о чем думаю: отчего некоторые наши писатели не хотят иметь с абхазами единый алфавит? Может, оттого, что их слабые сочинения оголятся перед более пронизательным взором абхазского читателя?.. Поведение некоторых наших пишущих наводит меня на такое печальное размышление...» Мусса улыбнулся и сказал: «У нас в Кумыше живет один старик-мудрец, и он часто говорит так: «Далеко живущий брат роднее близко живущего...» Может, они исходят из такого принципа?! Это, конечно, шутка!.. Но все равно! – истина должна взять верх! Иначе – солнце не взойдет! Иначе – звезды не появятся на небе! Иначе – человек не пойдет по дороге! Иначе – просто нет смысла жить!..»

С Муссой общаться всегда было приятно. Он был всегда искренен. Не выносил фальши и лжи, от кого бы они ни исходили. Ненавидел притворство. Притворный смех, притворная улыбка, притворные слова, идущие откуда-то извне, но только не из сердца человека, стоящего перед тобой, – всё это люто ненавидел. Как и я! Наверное, и это объединяло нас. Ненавидел в людях мерзкое, холодное равнодушие, которое убивает в человеке все человеческое. Он часто повторял слова – эпитафия к роману «Человек меняет кожу»: «Не бойтесь врагов – в худшем случае, они могут убить вас; не бойтесь друзей – в худшем случае, они могут предать вас; бойтесь равнодушных: только с их молчаливого согласия существуют на земле убийства и предательства...»

Воспоминаний много... Разве не интересно это: Мусса Батчаев – как-то совершенно неожиданно! – взял да поехал в Тифлис! (Мы всегда так называли этот город.) К кому? Да к самому Чабуа Амирэджиби – автору знаменитого романа «Дата Туташхиа», который, выйдя в свет, завоевал сердца и завладел разумом миллионов читателей во всем мире! Вот к нему и поехал наш Мусса Батчаев – к самому автору «Дата Туташхиа»!.. «Как я мог не поехать к нему?! – восторженно говорил мне Мусса по возвращении. – Вот послушай, какими словами он начинает свой роман!..» И Мусса начал читать:

«... И было человеку дано: Совесть, дабы он сам изобличал недостатки свои; Сила, дабы он мог преодолевать их; Ум и Доброта на благо себе и присным своим, ибо только то благо, что идет на пользу ближним; Женщина, дабы не прекращался и процветал род его; Друг, дабы познавал он меру своего добра и жертвенности во имя ближнего; Отчизну, дабы было ему чему служить и за что сложить голову свою; Нивы, дабы в поте лица добывать хлеб свой, как и заповедал ему Господь; Виноградники, сады, стада и прочее добро, дабы было чем одаривать ближних своих; и целый Мир, дабы было, где все это свершать и воздавать должное той великой любви, которая и была Господом Богом его. И как было тут речено, так все и свершилось. Вера и закон отцов наполняли любовью плоть и дух человека...» Мусса бережно закрыл книгу и сказал: «Вот к



этому человеку я не мог не поехать... Он принял меня очень радушно. Часа два мы с ним сидели на веранде его дома и разговаривали... А потом Чабуа Ираклиевич спросил, что меня привело к нему. И я сказал: «Ваш роман «Дата Туташхиа». Роман большой, но я прочитал его залпом. И после прочтения ни дня не мог усидеть дома!.. Прилетел к Вам... Я задумал написать большое полотно о карачаевском народе, и главным героем его хочу сделать предводителя карачаевского народа Карчу... Карча для карачаевцев – как Моисей для еврейского народа: он был их истинным защитником, он спасал их от многих катаклизмов природы, от разных набегов врагов, от многих потрясений и бурь, разыгравшихся над их беззащитными головами... Карча, можно сказать, создал этот горский народ... И ваш роман еще больше вдохновил меня на написание этого художественно-исторического полотна... И я приехал, чтобы увидеть вас, хотя бы полчаса побыть с вами, послушать ваши советы. А советы старшего очень много значат для кавказца, и особенно, если этот старший – Чабуа Амирэджиби», – сказал я, не переставая удивляться мудрости и человеческой простоте выдающегося грузинского писателя... Когда я говорил эти слова, мы с ним стояли у стены его большого рабочего кабинета, где висели увеличенные иллюстрации к роману «Дата Туташхиа», и он показывал их мне. После моих слов Чабуа Ираклиевич по-дружески обнял меня за плечи. И мне было приятно это: показалось, что он благословляет меня на создание задуманного...»

Очень жаль, что не смог Мусса Батчаев осуществить задуманное: написать художественно-историческое полотно об отце карачаевцев, о сущем и легендарном Карче. Я уверен: роман этот стал бы выдающимся явлением в мировой литературе, ибо создатель его, без тени сомнения, уже был одним из прекрасных творцов Человеческого Слова. И потому он всегда чувствовал себя Всадником Литературы. И только Всадником!

М. Чикатуев,

поэт.

«Экспресс-почта», 11, 18, 25 сентября 2003 г.



*«От моего на много ближе к звездам...»,
или о поэтической звезде Муссы Хаджи-Кишиевича Батчаева*

Мусса Батчаев в ряду корифеев карачаево-балкарской литературы занимает особое место и... время. Собственно, именно время обусловило феномен его появления в карачаевской литературе 60–70-х годов прошлого века...

По сути, появление Чингиза Айтматова, Олжаса Сулейменова – кыргызского и казахского шестидесятников, типично, как и появление у нас Муссы Батчаева. Естественно тут перекинуть мостки к опыту русских шестидесятников, начиная с Овечкина... и далее к Распутину, Белову (деревенщикам), к щемлящему душу Рошину. А простота и искренность – к незабвенному Астафьеву. Родственность всего этого великого ряда советских писателей очевидна, да и как иначе, если все это поколение ранено было именно войной, опытом жизни под Советами, ностальгией по истокам, где погребено было самое чистое, всамделишное и безвозвратно уходящее. Осуществление на самом деле в пределах Союза искусственной модели социализма, этой утопии в дьявольской плоти, походя разрушившей естественное бытование народов великой империи, высекло из груди целого поколения лучших творческих натур огромный пласт взывающей к совести прозы.

К голосу своих собратьев присоединил свой горский голос Мусса Батчаев, сын малочисленного, но испытывавшего неисчислимы страдания карачаевского народа. Но более всех творческая манера и поэтическая интонация Муссы Батчаева глубоко родственны прозе Чингиза Айтматова. Можно только с горечью констатировать, что трагический обрыв жизни Муссы в 42 года не позволил ему выйти на зрелый этап и создать произведения, которые поставили бы его в один ряд с великим Чингизом. Но и то, что Мусса сумел создать в прозе за короткое время жизни, позволяет говорить о нем как о карачаевском Чингизе. Повести «Серебряный дед», «Когда осуждают предки», «Элия» – это прямые «переклички» с Чингизом. Появление же «Элчилерим» («Мои односельчане») свидетельствовало о рождении карачаевского «Кола Брюньона», автор которого вышел на большой («мировой») этап своего творчества. И это тоже закономерно: горечь и ностальгия первых прозаических опытов преодолевается Мус-



сой в «Элчилерим» стихией народного задора и оптимизма героев, прототипы которых мастерски выхвачены поэтом из гущи народной жизни. Переключка с народными героями лучшего шедевра Ромена Роллана, созданного им в зрелые годы, очевидна. Если бы не нелепая трагическая смерть, мы стали бы свидетелями больших эпических произведений Муссы, логика творчества которого подарила бы нам произведение, обобщающее непростой путь его народа в изгнании... Ведь «И дольше века длился день» – и для карачаевского народа, который, в отличие от персонажей литературного произведения Чингиза Айтматова, в полном составе прошел через немыслимую каторжную жизнь рядом с «литературным» Буранным Едигеем.

Нет никакого сомненья, отпусти Бог Муссе еще немного земной жизни, мы бы имели кавказский, «кубанский вариант» иссык-кульского гения.

Масштаб личности Муссы Батчаева сродни именно Чингизу Айтматову. Как знать, если бы в свое время за Муссой стоял статут республики союзного значения, что удалось бы ему сделать еще при жизни?! Неслучайно он стремился посредством русского языка и литературы выйти к большому союзному читателю.

И прорывался, несмотря на козни местных собратьев по перу, норовящих всегда подставить ножку... До сих пор вызывает омерзение пасквильный некролог «корифея местной литературы», который через неделю после гибели Муссы, характеризуя его последнюю поэтическую книгу «Ёмюрню дауу», написал, что язык этой поэтической книги Муссы нельзя назвать вполне карачаевским. Привожу по памяти, так как в 1982 году, в год гибели Муссы, это врезалось в сознание, не оставляя желаний сохранить этот номер «Ленинни байрагы». В свое время на подобный выпад в свой адрес со стороны этого литературного охранителя власти великий Исмаил Семенов написал стихотворение «Разговор с «известным» певцом», в котором рефреном проходит строка «Карачаю не нужен подобный певец», предрекая тому полное забвенье в памяти юного племени. Так оно и вышло. Исмаил на слуху нынешнего поколения. Мусса – также, а охранитель сошел в небытие, хотя его адепты до сих пор пытаются продлить свою «олимпийскую» агонию, называя подобных себе живыми классиками карачаевской литературы, тогда как их просто не читает никто. Увы, увы...

Настоящая литература – что проза, что поэзия – живет в самом сокровенном – в сознании и в сердце народа, став его составной частью, его плотью и духом. Мусса живет в сердцах тех, ради кого (и кому!) он творил. И будет жить, пока эти сердца живы, ибо они – народ!

Не вдаваясь далее в околослитературную тематику, хотелось бы остановиться на поэзии Муссы Батчаева, которая, в отличие от его прозы, не находила ни адекватных переводов, ни подобной же прессы. Между тем поэзия пронизывает всю ткань и прозы Муссы, иначе бы она так не подкупала читателя. Поэтическая интонация присутствует в каждой прозаической фразе Муссы. Да и как



же иначе, естественная ёмкость тюркского наречия, нанизывающего на перо (калам) пространство и время, и есть сама поэзия, тогда как нанизанные образы созвучиями, оттенками, всем аллитерационным рядом вызывают к жизни целую череду воспоминаний, ассоциаций. Естественно, что Мусса был прежде всего поэтом, и его прозу вполне нужно отнести к прозе поэта. Для знающего всю поименованную выше прозу Муссы, чтение его поэтической книги «Ёмюрню дауу» – это продолжение этого трепетного действия, т.е. запойного чтения. Именно поэтому его стихи на карачаевском требуют такого же выхода к союзному читателю, к оглашению на другом языке, способном вынести его на просторы страны, подобно тому, как из горных теснин вырывается Кубань на широты России.

Поэзия Муссы напрочь лишена искусственности и нарочитости, по-детски чиста и прозрачна. Она преодолевает традиционную для кавказской поэзии «советской поры» комплиментарность и клишированность, у нее особая поэтика, свои одежды и приемы. Она появилась, потому что не могла остаться за гранью небытия. Это живой голос поэта, продолжающий жить и звучать, однажды воплотившись в карачаевские письма. Надеюсь, его неподдельный поэтический голос ощутим и в языке перевода его стихотворений на русский, кои и представляются читателю. У этих переводов своя 22-летняя история, они переведены мной в далеком уже 1982-м – в год трагической гибели поэта. Два из них опубликованы в «Антологии литературы народов Северного Кавказа» в 2003 г. Каждый чтит ушедшего поэта по-своему. Нежданная и горькая потеря вызвала у меня естественное желание познать все оттенки творчества поэта, сделать что-то важное и нужное для увековечения его в своем сердце. Уверен, пристрастное и вдумчивое чтение переводов оставит в сердце читателя «духовные» зарубки и отметины, когда также вдруг услышав их звучание, нежданно и негаданно из глубины души вырвется «Ах, Мусса!.. Почему так рано... почему как рана?..»

«Твой дом – в затишье, и куда теплее. А мой – открыт ветрам на склоне мерзлом. Но я живу... и вовсе не жалею. От моего – намного ближе к звездам!» – писал Мусса. Он всегда хотел быть ближе к звездам, их высота и чистота были его путеводной звездой и при жизни, став главным мерилom его творческого и человеческого кредо, снискав ему заслуженное уважение среди народа.

В небе над родным его Кумышом, над всем Карачаем горит звезда Муссы Батчаева. Кто способен, окинув ночной небосклон, увидеть звезду Муссы, непременно вернется к своему очагу, снимет с полки одну из заветных его книг и с головой окунется в его поэтический мир, сопереживая с ним, воскрешая в памяти наше родное, человеческое, карачаевское...

Н.-М. Лайпанов,
литературовед.

Газета «Экспресс-почта», 20 апреля 2005 г.





«Жизнь и мир мне были вверены судьбой...»

Говорят, что дерево легче измерить, когда оно упало. В этом отношении человек подобен дереву, ибо наиболее объективную оценку его жизни и деятельности можно дать лишь после ухода. Человек, о котором пойдет речь, заслужил у народов Карачаево-Черкесии не только мемориальную доску, установленную на минувшей неделе на аллее знатных людей города Карачаевска, но, не побоюсь этого слова, и памятника.

– Событие для города прекрасное и значительное, – сказал, открывая торжественный митинг, заместитель главы администрации Марат Чотчаев, – сегодня мы увековечиваем память большого писателя – Муссы Батчаева. Он был человеком счастливой творческой судьбы.

– Оглянем мысленно прожитую писателем жизнь, – к микрофону подходит кандидат филологических наук Лейла Борлакова. – Мусса Батчаев родился в ауле Кумыш в многодетной семье. Отец Хаджи-Киши Ибрагимович, ветеран Великой Отечественной войны, и мать Шамак Османовна воспитали восьмерых детей и всем дали в то нелегкое время высшее образование. Свою трудовую биографию Мусса начал рабочим в совхозе «Карачаевский», затем пошел в шахту. Впоследствии, окончив КЧГУ, работал учителем в родном ауле. В 1973 году был зачислен на Высшие литературные курсы Литературного института имени Горького. После окончания курсов был принят в Союз писателей литературным консультантом. А в 1976 году был зачислен на Высшие курсы при театральном училище. Он был очень талантливым человеком, поэтому открытие мемориальной доски закономерно, народ ждал этот день.

– Мусса Батчаев был яркой личностью. Он был мудр, умен, порядочен, – сказала доктор филологических наук Лейла Бекизова. – Я живо сейчас вспоминаю, как в далекие 60-е мы сидели у меня на кухне и вели долгие разговоры о дружбе, литературе, о нашей писательской миссии, о том, что если умирает слово, умирает и народ... Его слово оказалось очень весомым, очень драгоценным, и было оно о своем крае и его людях.

– Очень трудно привыкнуть к мысли, что Муссы больше нет, – сказал министр культуры КЧР Рамазан Бороков. – Это был цельный в своих пристра-





ствиях, благородный и последовательный человек. Верный друг, с которым невозможно было быть неискренним, фальшь он чувствовал сразу...

У каждого народа есть писатели-легенды, рассказы о которых передаются из поколения в поколение, шлифуются, все более придавая центральному образу черты национального героя. Карачаевская литература дала миру замечательную плеяду поэтов и писателей, но есть в ней особенно яркие звезды. Они – совсем разные. Но помимо литературного дарования они обладали еще и особым человеческим талантом. Заразительная энергия, обаяние, невероятнейшая общительность, желание не взять, а отдать, – это о них, и в первую очередь о Муссе Батчаеве. Об этом и многом другом сказали в своих выступлениях ректор КЧГУ Бурхан Тамбиев, народный поэт КЧР Азамат Суюнчев, заслуженный деятель искусств РФ Борис Тохчуков, кандидат филологических наук Софья Акачиева.

– Мусса прожил до обидного мало, всего 42 года, – сокрушается народный поэт КЧР Назир Хубиев, – но – и это истина – жизнь измеряется не количеством лет, а качеством их. Разница между горением и тлением не вычисляется по шкале времени. Я желаю роду Батчаевых побольше таких самородков, как Мусса.

На митинге присутствовала и единственная дочь Муссы Эльвира с мужем и двумя детьми. Глядя на эту печальную женщину, невольно вспомнилась повесть Муссы «Элия», точнее отрывок из нее.

«Я думал, он (отец – авт.) как кусочек горы – скала крепкая, неизменная, которую ни дождь, ни солнце – ничто не может поколебать, преобразить, сплющить, только разбить ее можно, расколоть, разрушить, если найдется такая большая сила...

Сам отец был естественным на земле, как сильное зеленое дерево, и я, его сын, был естественен, как ветка на этом дереве. Мир был прост... Я любил отца, мне было хорошо...»

Жизнь, которая была так добра к нему, к его дочери, преподнесла страшный сюрприз. Муссу убило током. Как, почему, зачем – теперь глупо об этом полемизировать. Батчаева больше нет.

«Но печальный свет, словно от тихого, в себе умирающего заката, исходит от его произведений, и он достигает, уверен, каждого человеческого сердца, если только не разучилось оно откликаться на чужое, живое чувство», – написал в предисловии к книге Муссы «Быть человеком» Игорь Штокман.

Тихо, печально ниспало покрывало, и на собравшихся глянули прекрасные глаза – умные, глубокие, ласковые, понимающие...

Это была прекрасная жизнь и прекрасная история с печальным концом. Этой нарочито оптимистической нотой можно было бы и закончить свой рассказ, но сказать, что нам не хватает Муссы Батчаева, значит, не сказать ничего...

А. Джаубаева,
журналист.

«День республики», 26 августа 2008 г.





Мусса Батчаев

Мусса Батчаев (1939–1982) вошел в карачаевскую литературу в 1960-е годы. Он родился в ауле Кумыш и еще в младенческом возрасте перенес ужас депортации. Вернувшись на родину в 1958 году, он стал студентом Карачаево-Черкесского пединститута, где царил особая творческая атмосфера: среди преподавателей было немало членов Союза писателей СССР, ими стали и некоторые студенты, часто проходили литературные вечера. Немного медлительный, немного застенчивый, Мусса Батчаев читал свои первые стихи. Надо признаться, стихи были наивные, но что-то трогательное и чистое было во всем мальчишечьем облике их автора. Очевидно, это было отражение той большой внутренней работы, которая незаметно для окружающих и самого Муссы шла в нем.

Став учителем русского языка и литературы – отличным учителем, о котором тепло вспоминают его ученики, – М. Батчаев писал прозу и печатался. Событием в литературной жизни Карачая стал сборник его рассказов в переводе на русский язык «Быть человеком» (1968), получивший высокую оценку критики. На обложке этой книги белоснежная вершина Эльбруса окрашена алым заревом. Тревожная и необычная гамма красок, так же, как эпиграф из Евгения Винокурова:

Двадцатый век!
Бродивших по дорогам
Среди пожаров к мысли привело:
Легко быть зверем и легко быть Богом,
Быть человеком – это тяжело!

усиливали эмоциональное воздействие книги. Затем были Высшие литературные курсы при Литературном институте им. Горького в Москве, годы напряженной творческой работы, которую оборвала ранняя и неожиданная смерть





(Мусса хотел предупредить человека о смертельной опасности, но последняя настигла его самого). Батчаев работал в разных жанрах – поэзии, прозе, драматургии, но к всеобщему читателю он вышел со своей лирической прозой, которую большей частью переводил на русский язык сам.

Мусса Батчаев принадлежал к поколению, сформировавшемуся после войны, но покорила читателя проникновенностью в изображении народного горя и величия народной души, несломленной и протестующей. В рассказе «Серебряный дед» грянувшая вдруг беда потушила огонь в очаге старого мельника – Серебряного деда, прозванного так за убеленность сединами и покрывавшую его густую мельничную пыль. Погибли все сыновья мельника – рослые, плечистые, угольноволосые, а сам он, умирая от горя, «верит» письмам, написанным рукою почтовика Ибрагима. «Душа моя, спасибо. Я все знаю. Ты плакал... я стоял у двери... тогда, на почте, – говорит мельник своему другу перед смертью. – Не пойму только, какую вину искупаем мы смертью сыновей... кто виноват? Зачем война?!» В рассказе прекрасно раскрыта психология ребенка, с детской непосредственностью верящего в народные приметы и искренне считающего себя виновником несчастья, ибо это он снял с двери бревенчатого домика старого мельника оленьи рога, приносящие счастье.

Муссе удавались страницы, окрашенные детским и юношеским восприятием. В его рассказах радуется поэтическая свежесть видения мира. Видел ли читатель, как речная вода вертит мельничное колесо? Она «тихо вползала в пасть старенькой мельницы», а та днем и ночью глотала и не могла проглотить эту бесконечную голубую струю. Старый мельник ходил низко согнувшись, «словно вечно искал под ногами потерянную молодость».

Общим горем карачаевского аула стали страдания идущих с Украины еврейских беженцев. К несчастью, одноглазый пастух, по неведению приведший немцев к белой скале, понял все слишком поздно. «Он выбросил вперед руки, схватил человека с пистолетом за плечи и гневно сверкнул глазом. Тот, изумленный и взбешенный, выстрелил в лоб пастуха». Погибая, пастух совершил акт справедливого возмездия: «Высоко подняв над собой стрелявшего, он шагнул к бездне...» («Белая скала»).

Те же, кто уходил от войны, от мужского долга, были наказаны страшным судом совести: «Я думал: телу не больно – и душе хорошо», – мучается Мугаталим, легковерно пошедший за дезертиром Аббасом. «Он снова вспомнил ночь ухода, с навьюченным ослом, с гулким перестуком оробелого сердца, крадущимися лисьими шагами... Как можно было любить себя так сильно?! Забыть все, кроме своего спасения, кроме себя?! Мудро сказано древними: позор – длиннее жизни...» И Мугаталим уходит из жизни, страшно наказав искалечившего его судьбу Аббаса. «Ударил неистовый порыв ветра, мороз кольнул Аббасову спину – он почувствовал, что не может шевельнуться... Мугаталим что ни делал, делал навсегда» («Двое»).



Острый драматический сюжет с неожиданной и трагической развязкой в рассказах Муссы Батчаева гармонично сочетается с лирически-задушевной интонацией рассказчика. Лиризм особенно заметен в маленьких новеллах. В миниатюрах «Ласточка», «Дом победителя», «Тетя Поля» некоторая «заданность» рассказа-притчи не скрадывает непосредственность чувств автора. Идущие от самого сердца строки, пожалуй, лучше всего раскрывают основную мысль книги, воспевавшей трудное счастье «быть Человеком». Пусть в твоей жизни нет ничего героического, кроме ежедневного упорного труда, но какой неожиданный волнующий смысл вдруг открывается в нем. Сколько квадратных метров прошла со шваброй школьная уборщица? «Может быть, это земная часть нашей планеты... Вымыть земной шар!»

Лирическая повесть М. Батчаева «Когда осуждают предки» хорошо передает искренние порывы юности, рвущейся из родного гнезда в неизведанный мир: «Полюбить жизнь, живя в моем маленьком ауле, кажется, невозможно, – размышляет Баград Османов, от лица которого ведется повествование. – Слишком тихо здесь и однообразно. А вокруг аула леса и горы, горы и лес. Я удивляюсь, когда нашими краями восторгаются приезжие туристы или больные, что добирались сюда за тридевять земель, чтобы подышать здесь чудесным, как они утверждают, воздухом. А мне надоело все на сто верст во все стороны...

Может быть, надо очутиться где-нибудь далеко-далеко, чтобы понять, оценить красоту своей земли?»

Казалось бы, зачем остановка? Вот и школьный сторож Мунир, лучший друг покойного отца героя, советует: «На нас не смотри: в свое время повидали мы много земель и вод... Теперь в нашей жизни вечер, а вечером в дорогу не выйдешь. С утра надо – езжай, не оглядывайся...» Но в условиях горского аула подобное легче сказать, чем сделать. Отъезду внука в город на учебу препятствует бабушка. Она говорит, что и в маленьком ауле можно стать большим человеком: ведь и в капле дождя, и в бездонном море небо отражается одинаково. Вступающему в жизнь юноше очень трудно выйти из-под ее опеки. Бабушка героя, однако, не схематичный образ, введенный для наглядной демонстрации отживающего уклада жизни. Монументальная фигура старой карачаевки овееана подлинным драматизмом: «Бабушке моей завидовали когда-то только потому, что она родила восьмерых детей и ни один из них не умер от голода. Мудрость змеи и выносливость лошади нужны были ей, чтобы окрылить-оперить свой выводок, – размышляет юный герой повести. – Сколько надо иметь в себе соков, чтобы воспитать около десятка жизней и не засохнуть при этом вконец». Потеряв семерых сыновей на фронтах Великой Отечественной, бабушка всю свою любовь перенесла на внуков. «Ни днем, ни ночью ни разу мы не шагнули без ее ведома, и ни один наш шаг, маленький или большой, не остался без ее осуждения или одобрения».



Конфликт в повести М. Батчаева переносится в сферу душевных переживаний героя, влюбленного в русскую и пытающегося примирить непримиримое. А как это можно сделать, если бабушка говорит – нет, не Баграду, о «проступке» которого она пока ничего не знает, а его брату: «А если ты собираешься сделать ее нашей снохой, подумай, смогу ли я качать на коленях твоего сына, рожденного женщиной другой веры?» Гораздо большая, чем в русских семьях, зависимость от старших занимает мысли героя, трудно выйти ему из-под опеки бабушки, тем более что многие ее суждения не лишены житейской логики. В колоритной сцене семейного совета, где сидящая на самом почетном месте бабушка – единственный и непререкаемый авторитет, выносящий приговор от имени всех мужчин рода. Автор тонко подметил уязвимость позиции, освященной именем предков, прямолинейную однозначность решений: «Средних оценок у нее нет». «Это очень хорошо» или «Это очень плохо», скажет она о любом незначительном поступке, и эти слова звучат у нее как приговор высшего судьи». А в мальчишеском восприятии это отражено куда лаконичнее: «Сказала, будто гвоздь забила».

Баград переживает мучительное раздвоение. Он любит бабушку и готов поверить, что «нельзя любить, если эта любовь иголкой колет чье-то близкое сердце». Пытаясь забыть Ирму, потому что в семье никогда не признают сноху-«иноверку», он соотносит свое поведение с тем, что для него остается пока высшим критерием: «Довольна ли ты мной, моя бабушка?» Но уже в этом вопросе заключен горький сарказм и понимание обедненности собственной судьбы: «Душа молчит, но если запоет, то будет петь только те песни, которые любит бабушка». Даже ночь любви – неожиданное счастье после долгой размолвки – не снимает тягостного напряжения: «Из-за гор уже вползает утро, грозит светом, как карой за преступление. Нет вины, нет ошибки, но почему-то надо бояться».

Тема любви карачаевца и русской девушки поднималась горской литературой не впервые. Но нельзя пройти мимо щедрого и многокрасочного изображения переживаний влюбленных. Песней торжествующей любви хочется назвать эту чистую и светлую повесть-поэму: «Пусть дни впереди будут тусклыми, дни без тебя, но не скажу, что жить – плохо. Пусть будет тоска, но тоска по тебе останется радостью. Я разделю на равные дольки счастье этого года, и его хватит на все мои ночи и дни. И сколько б теперь скупых и холодных душ я не встретил на пути, буду учиться быть только щедрым и любящим, помня о твоей любви и доброте».

Любовь – это прежде всего приобщение человека к миру, и то, что вначале казалось обыденным и привычным, теперь расцвечено взволнованностью первого чувства. Но разрешение конфликта в повести отложено на будущее. Герой надеется примирить любовь к родным, к родному аулу с любовью к Ирме: «Я буду любить и тех, кого люблю. И я найду ее. Я буду с ней. И не осудят меня предки мои и потомки мои».



Правда суровой реальности снимается здесь поэзией первого и очень юного чувства, которое вряд ли будет иметь серьезные последствия в житейском плане, оставаясь поэтической мечтой, путеводным огоньком, не разрушившим – с болью и кровью – уз родства.

Художественная ценность повести – в открытии героя размышляющего. Духовный опыт повествователя накладывается на непосредственность юноши, который личные перипетии соотносит с судьбой своего поколения: «Ведь часто у нас судят так: в Черное ущелье путник всегда идет по колее предков. Все сотрется в памяти аульчан, все исчезнет рано или поздно, как исчезают следы колес на дороге, но зигзаг в сторону от древней тропы не забудется и не простится. Судей ничто не смягчит – ни то, что эта тропа, может быть для кого-то узка, что на ней уже до крови стер кто-то ногу, и ни то, что по ее сторонам может быть много теперь колючек, впившихся в одежду и тело».

Новым этапом в творчестве М. Батчаева стала повесть «Мои земляки» о родном ауле писателя. В ней воплощен интерес писателя к онтологическим основам человеческого бытия. Аул Кумыш, один из многих и внешне не самый колоритный аул Карачая, прилепившийся у современной и бойкой автомагистрали, стал благодаря выросшему там писателю одним из самых поэтических образов в карачаевской литературе, образом-символом, где, говоря словами Казбека Султанова, прочность национального микрокосмоса выявлена как метафора человеческого существования. «Все мы, кумышанцы, – говорит автор, – переплетаемся друг с другом, как зеленые ветки одного дерева, корни которого так крепки и сильны, что никакая беда, никакой ураган никогда не вырвут это дерево из земли, не повалят его на землю».

В жизни аульчан рассказчик Хохалай находит неиссякаемый родник общечеловеческих ценностей: готовность защищать и беречь родную землю, верность дружбе, трудолюбие, священный обычай гостеприимства, когда самой верной клятвой твои звучат слова: «Пусть ляжет на нас страшный позор, как он ложится на тех, кто гостю не рад».

Хохалай свято чтит традиции народного этикета, дорожит вниманием и уважением аульчан. Поэтому наряду с героем, персонифицирующим становление личности в недрах патриархального сознания, у М. Батчаева появляются образы, это сознание олицетворяющие. Поэтизация патриархального обычая у Батчаева несет в себе обязательную поправку на современность, дабы не забыл читатель, что конец XX века задает свой ритм не только большим городам: «Жизнь в Кумыше, как быстрая речка. Жизнь – как всюду, где есть синее небо и солнце».

Идейно-художественная структура повести «Мои земляки» выверена мастерски. Самоутверждение национального мира представлено рядом национальных характеров и сцен, поданных через восприятие повествователя, чье отношение к изображаемому не вызывает никаких сомнений в его горячей



сыновней привязанности, в любви к отчему краю. Достаточно перечитать описание портрета старой Агаз, сморщенной, высохшей, но с большими, натруженными, готовыми к любой работе руками: «...встретишь Агаз, хочется силой распрямить ее согбенную фигурку, хочется ладонями разгладить глубокие морщинки на ее лице. Много бед она испытала, много видела горя. Она – живая память аула и бережно хранит в своей памяти не только свое прошлое, но и прошлое своих аульчан, прошлое всего своего маленького народа. По пальцам может перечесть все светлые и мрачные дни, что выпали на долю Карачая. О чем угодно спроси, обо всем Агаз сумеет рассказать, и нет для нее более тяжкого греха, чем вражда к ближнему».

И вместе с героями рассказа автор повторяет: «Пусть еще долгой будет твоя тропа на земле, Агаз».

Душевное здоровье народа, его будни и праздники, неиссякаемое и в трудные дни чувство юмора проявились в изображении двух старых кунаков, Давута и Хаджи-Давута, с которыми в повесть входит мир народных традиций, обычаев, порой и предрассудков. Над последними кто-то откровенно посмеивается, как, например, над умыканием невесты по доброму согласию не только ее, но и ее родителей. Но если разобраться, то древний, осужденный обычай, лишившись своей жестокой сути, стал формой утверждения новых взаимоотношений, открывая дорогу современному, психологически облегчая перестройку сознания людей. С сарказмом пишет Батчаев о слишком ретивых гонителях старины, каким предстает школьный учитель физкультуры Текеев: «Он яростно бросается на любое проявление пережитков. Бросается очертя голову. Он похож на того петуха, который всегда кричал раньше, чем наступал рассвет. А когда его упрекали в этом и просили: «Дай рассвету наступить, не кричи до этого, пожалуйста!», он отвечал: «Глупые люди! Как же наступит рассвет, если я кричать перестану?». Такие, как Текеев, готовы забыть и свой родной язык, и автору понятно предостережение аксакалов (старейшин): «Как может ребенок, не зная родного языка, хорошо понять русский? На каком языке тогда ему надо объяснять, как надо говорить и писать по-русски? То, что у всех людей будет когда-нибудь один язык – это хорошо. Кто скажет «нет»? И, конечно, к тому месту, где такое слияние произойдет, народы придут, не позабыв свой язык, свои обычаи, свои наряды. Растущее дерево, чтобы оно росло быстрее, нельзя каждый день вверх дергать. Можно и корни оборвать». Но жизнестойкость народа улавливает и комизм ситуации: «Можно оборвать у дерева корни, а можно и грыжу нажить, если сильно поднатужишься».

Параллельно с утверждением незыблемости национального бытия раскрывается самосознание личности. В повествование неоднократно вводятся тетради склонного к литературе Хохалая, дабы читатель без посторонней помощи убедился в искренности его переживаний. Хохалай – двойник повествователя, его второе «Я», и это несколько ослабляет пружину действия.



Но путь духовного приобщения личности к миру национального, как его понимает автор, прослеживается четко, он относится с уважением к народному этикету. В Черноморской здравнице, где он, страдающий тяжелым недугом, провел немало дней, цветущее побережье не вытеснило из его сердца образ родного аула. И на берегу моря он думал о самом дорогом, о самом светлом, о самом чистом, что связано с его родиной. Вернувшись домой после лечения, Хохалай тронут вниманием уважаемых аульчан: «Много вопросов задают мне земляки. А я сам хочу знать все аульские новости – шутка ли, целый длинный месяц не был дома. Но я не в глухом лесу рос – обычай знаком. Зря волнуется бабушка, никогда ее не подведу». И все же старый Айдамбул обеспокоен взволнованными рассказами Хохалая о городе у моря: «Чудесный город, мальчик? Олла, чудесный. А раз он все равно чудесный, то не хвали его, мальчик. Слушаю я, слушаю и думаю: нет, не затащить меня в этот чудесный город жить, даже быкам не затащить, потому что я здесь, в горах, родился. Я в этом чудесном городе несчастным стану, легкая жизнь в этом городе, даже на улицах железные бочки сами людям стаканы протягивают. От такой легкой жизни обленюсь я, ожирею, до земли живот вырастет... Пусть цветет этот город у моря. Пусть счастливо живут рожденные в нем люди, они счастливы будут только там. А я буду счастлив только здесь, в горах, в своем ауле. И дерево, и человек хорошо живут только на той почве, где выросли. На родной почве...»

Образ дерева, значимость которого мы уже отмечали выше, образ дерева, ушедшего корнями в родную почву, становится лейтмотивом повествования. Возникает он и в момент окончательного выбора героем жизненного пути, в разговоре с его дядей-горожанином. Знает Хохалай: нелегко расставаться с аулом, где родился, где столько прожил, где множество друзей, где все знакомо и привычно. «Корни... уже пущены, и обрывать их трудно. Все равно, что пересаживать взрослое дерево из родной почвы в другую». Дядя с ним не согласен. «Почва, собственно, та же, приживутся корни, дерево устоит. Ведь город уже не за горами, рядом». Но выбор Хохалая уже сделан. И этот выбор определяется не только избранием местожительства, но, главным образом, нравственными ориентирами. Выбор героем жизненного пути совершается осмысленно: он остается в родном ауле, здесь он будет строить свой дом (именно такой дом построил в Кумыше уже известный писатель Батчаев): «И на крепких дубовых сваях у дома, – мечтает герой, – в час моих радостей и моих бед будут сидеть мои земляки. И я буду приходить к ним. И буду делить их радости и горести. Мне с ними жить, с ними трудиться. Я – кумышанец, как и все».

Муссе Батчаеву не надо было брать творческие командировки, чтобы изучить жизнь косарей или пастухов. Говоря об идеале человека, мужчины, герой повести «Элия» (1976), опубликованной в журнале «Юность», вспоминает отца, выделяя наряду с другими его достоинства и его любовь к труду. «Вече-



ром, завершив день, он спокойно ложился отдыхать, утром спокойно просыпался, готовый к новому дню. Он твердо стоял на земле.

Рассказу «Хочалай и Хур-Хур» особый эмоциональный настрой придаст посвящение «Сорвиголове Ахмату – младшему сыну моей матери». Этот рассказ, переведенный самим автором, заслуживает особого внимания. С тяжело нагруженным слепым осликом по кличке Упрямец Хочалай проходит по дороге, которую могут осилить только настоящий мужчина или шайтан. Бездонная пропасть и огромные, готовые сорваться на голову камни пугают осторожных и робких. Но Хочалай знает, что за перевалом его ждут косари с недельным запасом воды и хлеба. Особенно трудно пробраться через Красные утесы, где не пройти навьюченному ослику. Хочалаю приходится тащить груз на себе, тащить по камням волоком, то длинными, то короткими рывками: «Грохот и скрежет металла эхом скачут в каменном коридоре, семикратно повторяются, растут и, прежде чем куда-то исчезнуть, долго звучат то в правом, то в левом ухе».

Борьба усталости и чувства долга составляют сюжет этой мастерски написанной новеллы. Хур-Хур – это жилистый крючковатый мужичок, который вцепится в тебя вечером и не отстанет до утра, чтобы ты с ним ни делал. Хур-Хур бывает виноват, когда не получается айран или в пути надолго задерживаются продукты. Косари шутят, что Хур-Хур особенно любит Хочалая. Не только в дороге, о которой идет речь в рассказе, но и в любое время он готов свалить мальчишку. Собирает ли он кизяк или колет дрова, моет казан или чистит картошку – Хур-Хур неизменно где-то рядом. Особенно близко он любит подкрадываться, когда Хочалай, сев у костра, слушает, как гудит закипевший котел, и думает только об одном, как бы не убежало молоко.

В единоборстве с Хур-Хуром Хочалаю помогает мысль об отце. Как и в повести «Элия», этот образ выступает мерилom нравственных ценностей, и прежде всего отношения к труду. Потерявший на войне руку, отец – незаменимый работник при стоговании: «Упряжка волов отца не знает усталости. Она стремительно взбирается на крутую гору, останавливается, послушная его команде, отец легко захлестывает копну арканом, подтягивает вниз. И как бы крут ни был спуск, сколько бы камней ни лежало на пути, они не свалятся, она будет покорна крепкой руке отца, которая глубоко вонзила вилы и надежно держит».

Следуя ярко выраженной в русской литературе традиции, Батчаев поэзию земледельческого труда оттеняет картинami природы, подчеркивая рождаемое ею чувство прекрасного: «Будит его (Хочалая) дождь. Тяжелые крупные капли падают на лицо, ползут по щекам, бьются о камень. И светит солнце. Неяркое и теплое, висит оно над извилистым нечетким горизонтом. Дождь ровный, мерно стучат капли, и по земле ползет мягкий шорох.

Слепым дождем называют дождь при солнце. Почему слепой этот самый чистый, умывающий лик солнца дождь? Говорят, когда он идет, маралы в лесу





рождают детей. Это дождь изобилия, он радует всех. Хочалаю радостно. Он поднимает лицо, оборачивается, а щеки его начинают дрожать, губы вздрагивают и расплываются в улыбке. За его плечами стоит радуга так близко, что кажется, можно попасть камнем, если не бояться разбить ее на кусочки. А под радугой на крутом синеватом склоне, прижавшись друг к другу, стройные и высокие, серебрятся четыре стога, а вокруг них маленькие, как их дети, и круглые, как шапки кумыков, рассыпались копны. Почему они серебряные, удивляется Хочалай. Это все, наверное, дождь. От самого неба до земли протянулись его прямые нити, и на этих серебряных нитях, кажется, висит земля, вся серебряная, с горами и с лесом, с высокими стогами, с ним самим и с Упрямцем».

Прекрасный русский язык Муссы Батчаева, поэтичность его видения природы, мастерство психологического анализа в раскрытии духовного мира юного горца делают этот небольшой рассказ, как и все творчество, заметным достижением карачаевской литературы, завоевывают любовь и признание всероссийского читателя.

Л. Егорова,
литературовед.
г. Ставрополь.





«Солнце светит всем»

Мусса Батчаев... Много сказано о нем, много написано о его творчестве. Он один из немногих наших писателей, кого узнают по имени, чьим именем дорожат, гордятся. И каждый, кто сказал о нем свое слово, сделал это искренне и как мог. Но постигнуть глубину его творчества и суметь сказать об этом как того заслуживает его талант, мы еще не смогли.

Сколько бы ни возвращался читатель к его стихотворениям, рассказам, новеллам, повестям, драматическим произведениям, всегда находит для себя что-то доселе не замеченное, будто автор только что раскрыл еще одну грань своего безграничного дарования.

Герои его произведений с достоинствами и недостатками своими настолько притягательны, что радуешься каждой встрече с ними, чувствуешь желанность этих встреч, ощущаешь необходимость такого общения.

Каждый раз, когда человек оказывается перед выбором между честью и бесчестьем, любовью и ненавистью, правдой и ложью, смелостью и страхом, решительностью и малодушием, верностью и предательством, начинает звенеть внутри него «звоночек», который зовет или к вершине, или в пропасть. Мне думается, герои рассказов Муссы – это те «звоночки», которые зовут к вершине света и добра. А творческое наследие его – это колокол, зовущий всех нас быть Человеком.

Человек духовный, как сказал кто-то, это человек с совестью. Герои его произведений в основе своей люди духовные и потому читателя приковывают к себе.

Муссу читатель всегда любил, при жизни Бог дал ему возможность испытать, почувствовать, что значит быть любимым, одаренным, успешным в выбранной стезе. Он неоднократно слышал в свой адрес теплые слова, слова благодарности, восхищения и восторга. Его благословляли на литературное творчество великие писатели двадцатого столетия Халимат Байрамукова,





Кайсын Кулиев, Давид Кугультинов и другие. Но, как у всех особо одаренных людей, было немало недругов, которые не любили его не потому, что он им мешал, а потому, что он был безмерно талантливым и чрезмерно скромным, всегда доброжелательным и чутким, в том числе к ним самим.

Это Мусса мог сказать:

Зло поджечь,
Чтобы в огне его
Согрелась доброта.

Я несколько раз встречалась с Батчаевым на писательских семинарах. Улыбчивый, с открытым лицом. Мне казалось, он под очками скрывал свою природную застенчивость. Он больше слушал, чем говорил. Как это часто бывает, он не старался удивить окружающих ни эрудицией, ни интеллектом, ни талантом. Как правило, оказаться недооцененным, непонятым бояться люди посредственные, а Мусса «писал, как дышал» и больше думал о другом, чем о себе.

Прав был тот, кто утверждал, что книга – мозг и душа народа. В этом еще раз убеждаешься, когда остаешься наедине с книгой Муссы Батчаева, добрым собеседником, мудрым аксакалом, задушевым другом, своим ровесником. И особенно остро ощущаешь его безвременный уход, когда читаешь такие строки:

Я все победил – только
Время меня победило...

Его творчество время не сумеет победить, пока живы люди, знающие цену художественному слову.

Я счастлива, что мы имеем возможность еще и еще соприкоснуться с бессмертными произведениями нашего замечательного писателя. Да, не только «солнце светит всем», но и творчество Батчаева светит всем и греет всех, кто открывает для себя планету, которая называется «Мусса».

Ф. Байрамукова,
писатель.





Библиография

Сборники

Раздумья. Стихи (на карачаевском языке). Черкесск, 1968.

Быть человеком. Рассказы, новеллы, повесть. Ставрополь, 1968.

Земляки. Две повести (на карачаевском языке). Черкесск, 1972.

Побежденная судьба. Драма (на карачаевском языке). Черкесск, 1975.

Элия. Повесть. // М., «Юность», № 4. 1976.

Серебряный дед. Повесть и рассказы. М., 1978.

Горы и нарты. Кавказские легенды (В соавторстве со Стефанеевой Е.).
2-е изд., Ставрополь, 1978.

Веление века. Стихи и поэма (на карачаевском языке). Черкесск, 1979.

До самой смерти. Сборник пьес (на карачаевском языке). Черкесск, 1982.

На крыле времени (в соавторстве с Лайпановым К.Т.). Черкесск, 1986.

Быть человеком. Повести, рассказы, новеллы, М., Современник, 1987.

Коллективные сборники:

Айран. Черкесск, 1965.

По закону жизни... Черкесск, 1971.

В семье единой. Черкесск, 1977.

Антология карачаево-балкарской литературы. Анкара, 2002.

Антология литературы народов Северного Кавказа. Т. 1. Пятигорск, 2003.

Антология карачаевской поэзии. М., 2006.





Статьи и рецензии о жизни и творчестве:

Кулиев К. Доброго пути молодые. // *«Литературная газета»*, 02.04.1969.

Байрамукова Н. Дорогой раздумий. // *«Ставрополье»*, № 3, 1969.

Герашенко А. О книге Муссы Батчаева «Горы и нарты». // *«Дон»*, № 12, 1970.

Белоусов В. Люди гор. Очерк. // *«Ставрополье»*, № 4, 1972.

Белоусов В. Быть на земле человеком. (О рассказах Муссы Батчаева). // *«Ставропольская правда»*, 20.05.1972.

Султанов К. *Достоинство слова*. М., 1975.

Белоусов В. О тех, кто выдерживает испытания. // *«Молодой ленинец»*, 23.11.1977.

Прозорова Л. Это случилось в ауле (Пьеса М. Батчаева «Осенняя звезда»). // *«Театральная жизнь»*, № 22, 1979.

Караева А. Концепция человека в творчестве Муссы Батчаева. // *Обретение художественности*. Наука. М., 1979.

Султанов К. Молодая проза Северного Кавказа. // *«Дружба народов»*, № 1, 1980.

Белоусов В. «Зрелость» (творческий портрет Муссы Батчаева). // *«Ленинское знамя»*, 25.10.1980.

Байрамукова Х. Сверкнувшая молния. // *«Ленинское знамя»*, 2.09.1982.

Некролог. // *«Ленинское знамя»*, 15.07.1982.

Акбаев А. Костер памяти Муссы Батчаева. // *«Книжное обозрение»*, 22.03.1985.

Штокман И. Вершина и склоны. Предисловие к книге «Быть человеком».

Караева З. Социальная действительность и современный герой... // *Современный литературный процесс. Герой и время*. Черкесск, 1988.

Караева З. Три лика жизни (К 50-летию писателя). // *«Ленинское знамя»*, 4.10.1989.

Караева З. Проблемы соотношения историзма и современности в литературе Карачаево-Черкесии. // *Современный литературный процесс. Проблемы историзма*. Черкесск, 1989.

Урусбиева Ф. Он оставил нам свою судьбу. // *«Ставрополье»*, № 6, 1989.

Известные люди Карачаево-Черкесии. *Краткий биографический словарь*. Черкесск, 1997.

Егорова Л. Мусса Батчаев. // *Литература народов Северного Кавказа. Очерки*. Ставрополь, 2004.





Оглавление

Караева З.Б. Истина, Добро, Красота 5

Проза

Серебряный дед

В атаке. <i>Новелла</i>	11
Дом победителя. <i>Новелла</i>	11
Ласточка. <i>Новелла</i>	12
Ставший песней. <i>Новелла</i>	12
Снова в бой... <i>Новелла</i>	13
Памятник. <i>Новелла</i>	13
Лепешки. <i>Новелла</i>	14
В гостинице. <i>Новелла</i>	14
Белая скала. <i>Рассказ</i>	16
Двое. <i>Рассказ</i>	21
Память. <i>Новелла</i>	28
Хочалай и Хур-хур. <i>Рассказ</i>	29
Серебряный дед. <i>Рассказ</i>	40
Алибек – сын Дыгаласа. <i>Рассказ</i>	45

Солнце светит всем

Самое главное. <i>Новелла</i>	62
Тетя Поля. <i>Новелла</i>	63





Тук-тук... <i>Новелла</i>	64
Элия. <i>Повесть</i>	65
Когда тает снег. <i>Рассказ</i>	89
Когда осуждают предки. <i>Рассказ</i>	93
По закону жизни. <i>Рассказ</i>	113
Волки. <i>Повесть</i>	122
Солнце светит всем. <i>Повесть</i>	143
Сколько ног у козла. <i>Рассказ</i>	160
Аул Кумыш. <i>Повесть. Авторизованный перевод Л. Лукьянова</i>	163

Драматургия

Батырджаш и храбрый козел. <i>Одноактная пьеса-сказка</i>	264
---	-----

Поэзия

«Без путника дороги не бывает...» (Пер. Н.-М. Лайпанова)	279
«Если гармонь не бодрит кровь...»	279
Молодость моей бабушки (Пер. Н.-М. Лайпанова)	280
Мой отец (Пер. Р. Добровенского)	282
Язык один (Пер. Р. Добровенского)	283
«Если земля – арба...» (Пер. Р. Добровенского)	284
Не жалею (Пер. Н.-М. Лайпанова)	284
Счастье	285
Все же (Пер. Н.-М. Лайпанова)	286
«В смертный час мой...» (Пер. Р. Добровенского)	287
Словно слезы чисты (Пер. Н.-М. Лайпанова)	288
«Кто золото не найдет...»	289
«Ни искорки давно в твоих очах...» (Пер. Р. Добровенского)	289
«Когда мы умираем...»	289
«Время грузом своим...»	290
Жалобы эмигрантов	290
«Пастух овцу потерял...»	290





«Не видели мы...»	291
«Тот, кто зрения лишился...» (Пер. С. Вольского)	291
«То ль давно, то ль давным-давно...» (Пер. Р. Добровенского)	292
«Высоко на придорожной круче...» (Пер. С. Вольского).	293
Об астрономии (Пер. Р. Добровенского)	294
«Зима идет...» (Пер. Н.-М. Лайпанова)	295
«Я устал, я озяб...» (Пер. Р. Добровенского).	296
Белое – черное.	297
Дождь пошел (Пер. С. Вольского).	299
Посвящение.	300
Вальс для нас	301
«Не позабудь оставленного края...»	302
Любе	303
Остров Жени.	304
На восточные мотивы	306
Монолог обезьяны	306
«Я все победил...»	307
«Хотел я заплакать...»	307
«Сердце ты...»	307
«О, как хотел бы...»	307
«Враги отца друзьями...»	307
«Радуга моя...»	308
«Мне сдаётся порою, что прежде...»	308
«Не стучись ко мне...»	308
«Отец еще не возвратился с фронта...»	309
«Море Черное скучает...»	309
«До свиданья, Море!...»	310
Журавли	311
Если бы знала	312
«Вор живёт – чтоб быть пойманным...»	313
«Бродит пастух и денно, и ночью...»	313





«И понял я: иного не дано...»	314
На терренкуре	314
«Мать, сшей рубашку белую...».	315
Веление века. Поэма. (Пер. с карач. Ю. Созарукова).	316

Легенды

Горы и нарты	326
Зулихат	329
Аймуш	331
Горький родник (по материалам Р. Бураева)	333
Бийнегер	336
Адиюх	339
Живой ключ Ак-Су (по материалам А. Сикалиева)	343
Джелимауз	347
Черная скала	350
Карча – вождь свободных	353

Фотоальбом	365
-----------------------------	-----

Воспоминания и отзывы о жизни и творчестве

Караева А. Концепция человека в творчестве Муссы Батчаева. / Обретение художественности. «Наука». Москва, 1979 г.	379
Белоусов В. Зрелость. // Ленинское знамя, 25 октября 1980 г.	399
Тохчуков Б. Неповторимый мир Муссы Батчаева. 1982 г.	405
Байрамукова Х. Мелькнувшая молния. // Ленинское знамя. 4 сентября 1982 г.	414
Штокман И. Вершина и склоны. / Быть человеком. М., Современник, 1987 г.	418
Белоусов В. Мусса из рода Батчаевых	427
Урусбиева Ф. О творчестве Муссы Батчаева. // Эльбрусид, 2005, № 1.	431





Тоторкулов К.-М. Живая сила творчества. // Ленинское знамя, 8 сентября 1988 г.	440
Ортабаева Р. Мы в долгу перед ним. // Вестник Кавказа, 1992, № 5 (20). . .	443
Байрамукова Х. Писатель о писателе. // День Республики, 24 сентября 1996 г.	446
Чернов В. Мусса. // Новая жизнь, 26 мая 1999 г.	453
Кубеков Б. Талант бессмертен. // Новая жизнь, 2 декабря 1999 г.	455
Капаев И. Память. // Новая народная газета, 2 февраля 2000 г.	456
Бадахова Р. Проблема традиционного и нового в повести М. Батчаева «Когда осуждают предки...» //Алиевские чтения. – Карачаевск, 2000 г.	459
Чикатуев М. Всадник литературы. // Экспресс-почта, 11, 18, 25 сентября 2003 г., № 38-40	461
Лайпанов Н.-М. «От моего намного ближе к звездам...», или О поэтической звезде Муссы Хаджи-Кишиевича Батчаева. // Экспресс-почта, 20 апреля 2005 г., № 16.	471
Джаубаева А. «Жизнь и лира мне были вверены судьбой...» // День республики, 26 августа 2008 г.	476
Егорова Л. Мусса Батчаев. // Литературы народов Северного Кавказа. Очерки. Ставрополь, 2004.	485
Байрамукова Ф. «Солнце светит всем».	487





*Литературно-художественное издание
серия «Карачаево-балкарская литературная классика»*

Батчаев Мусса Хаджи-Кишиевич

СОЛНЦЕ СВЕТИТ ВСЕМ
Полное собрание сочинений

Составители

Батчаев Амур Хаджи-Кишиевич,
Байрамукова Фатима Ибрагимовна

Техническая редактура и компьютерная верстка

Л.А.-А. Батчаевой

Корректурa

З.К. Айбазовой
О.Н. Киселевой

ISBN 978-5-91075-011-5



Формат 70×100/16. Печать офсетная.
Печ. л. 31. Тираж 3000 экз.

Отпечатано в Латвии при содействии ООО «СМИК ПРЕСС» с готового оригинал-макета
издательства фонда «Содействие развитию карачаево-балкарской молодежи
«Эльбрусоид»

